

A stylized, high-contrast illustration in shades of tan and black. It depicts a man's face in profile, looking upwards. Above his head is a large, circular mechanical component, possibly a lens or a part of a machine, with several small, circular elements inside. The background is dark, and the overall style is reminiscent of mid-20th-century graphic design.

МИХАИЛ
КОЧНЕВ

Оптор

Михаил Кочнев

Отпор



...Если будут к нам гости, будем потчевать гостей,
Испечены пироги, черным маком чинены,
Они в Туле крещены, в Москве – высушены,
Есть у нас закусочка у солдат на штыке.
Есть у нас похлебочка – у солдат на бедре.
Уж мы столики поставим – Преображенский полк,
Скатерти расстелим – полк Семеновский,
Мы вилки да тарелки – полк Измайловский,
Мы пойлице медвяное – полк драгуншек,
Мы кушанья сахарны – полк гусарушек,
Потчивать заставим – полк пехотушек.
(Русская народная песня)

Да Семеновский полк покажет им толк!
(К. Рылеев и А. Бестужев)

...Но перед всеми отличался
Семеновский прекрасный полк.
И кто ж тогда не восхищался,
Хваля и ум его, и толк,
И человеческие манеры?
И молодые офицеры,
Давая обществу примеры,
Являлись скромно в блеске зал.
Их не манил летучий бал
Бессмысленным кружебным шумом:
У них чело яснилось думой,
Из-за которой ум сиял...
(Федор Глинка)

ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ



Часть первая СОЛДАТСКАЯ НЕВЕСТА

1

Высоко в подернутом серыми тучами небе над светло-желтыми Семеновскими казармами с фасадом на Фонтанку раздавалось приветственное курлыканье спешивших с юга журавлей.

Вот они, издревле всей России известные, опрятные, будто перед праздником, внешними дождями умытые Семеновские в два этажа казармы с подтянутыми часовыми у ворот. Когда-то изобретательная щедрая Москва звонкие имена своих знаменитых сел и слобод, как мать сыновьям, даровала первым гвардейским полкам, поначалу как бы для ребяческой забавы выпестованным чудодейственным гением юного, ничем не укротимого Петра: Семеновский, Преображенский, Измайловский...

А в 1719 году прославленный герой Полтавы, уже успевший превратить дотоле неведомую Неву в державно-царственную реку и сделать ее достойной сестрой Волги, осмотрел топкие места на заболоченной Московской стороне и указал исполнительным помощникам:

– Сии пустующие места назначаю под селыдбу полков гвардии!

Со временем на оживленной Московской стороне возникли слободы Измайловского и Семеновского полков. Вокруг слобод было привольно и просторно, пустоши и луговины ждали прихода бурно растущего города.

При Екатерине гвардейские солдаты жили в светлицах, которые были выстроены по обеим сторонам улицы в ровную линию. Для каждой роты – отдельная светлица. Офицеры же квартировали в добротнo слаженных деревянных связях. Офицерские квартиры в те времена напоминали богатые барские покои.

Внук Екатерины, высочайший шеф Семеновского полка, еще будучи наследником, на свои деньги выстроил каменный полковой двор, церковь и лазарет, три флигеля для офицеров и казармы для рядовых. Строительство велось под началом архитектора Волкова. Но казармы из-за сильной и постоянной сырости в них оказались малопригодными для жительства. Участились случаи заболевания солдат ревматизмом, чахоткой, хирагрой, а в каморах для семейных, как мухи по осени, мерли солдатские дети.

Наследник к тому времени стал уже царем. Однажды посетив внешне веселые и приветливые казармы, Александр повергся в уныние и тихо сказал:

– В круглую копеечку обошлось мне это приличествующее первому в гвардии полку сооружение, в то время когда я сам так остро нуждался в деньгах; как истинному христианину хотелось мне сотворить моим семеновцам благо, сделать большое удовольствие, а не получилось...

Молодой царь, любивший щеголять в семеновском мундире, потужил и уехал. Но и на этот раз царь не оставил без внимания нужды любимого своего полка: он получил службистому и деловитому графу Комаровскому заняться сырыми жилищами и сделать все для того, чтобы можно было безвредно обитать в них.

Комаровский созвал лучших столичных архитекторов и каменных дел мастеров. Они нашли, что почти все надо начинать заново. Александр не согласился на это. Ограничились полумерами: решили пристроить к казармам особливые кухни и прачешные. В старых помещениях по-прежнему было сыро. Вдобавок к старым возвели еще несколько зданий.

В целом же Семеновская слобода долгие годы оставалась невзрачной, похожей на затерянное захолустье. По соседству с вместительными казармами находилось обширное так называемое плац-парадное место, из поколения в поколение целых сто лет служившее школой ружистики и шагистики.

Небо хмурилось. Было ветрено. Солдаты, отбивая полный гвардейский шаг, поглядывали на клубящиеся тучи, про себя молили, чтобы ударил дождь, да покрупней и подробней, и помог измаянным маршировкой усачам поскорее покинуть плац. А дождь что-то не спешил с приходом.

Двадцатипятилетний капитан Иван Щербатов сначала сам обучал экзерциции рекрут из новоопределенных, потом сдал их службистому унтер-офицеру Мягкову. Тот выстроил новичков по шести человек и поручил «шестаки» отличным солдатам. Одну из шестерок он отдал под команду сообразительному остро слову и остро мыслу Ивану Дурницыну.

Дурницын чинно отвел новобранцев в сторону, разгладил усы, крутнул их кончики, выразительно моргнул и уж одним видом своим прибавил бодрости каждому, кто робел перед новой обстановкой и очень нелегкой службой.

– Для чего государь наш батюшка повелел всем гвардейцам носить усы? – начал урок Дурницын, прохаживаясь перед строем. – Прежде всего – для пущей красоты! Служба солдатская без распорядка все равно что ружье без кремня или без пороха. Толку от него никакого. Вот когда теща зятя блинами угощает, и то порядка придерживается. В жизни от всего польза, что распорядком подпирается.

Сказовитость и простота бывалого солдата, от самой природы получившего дар наставника, пришлась по душе тем, кто внимал ему.

– У настоящего гвардейца всему своя честь и полное внимание: и плюсне, и локтю, и голосу, и волосу, и походке, и выправке. Вот и начнем, голуби-сизари, скажем, с волосу, из которого бог девкам на полюбование, вдовушкам на вздыхание гвардейские усы сотворил! Да еще какие! Полные! В полковом строю, проще сказать, в наставлении так и сказано: нашему брату гвардейцу, гренадерам, к примеру, усы иметь полные! Во! Как у меня! Чтобы ус гвардейский молодецкий был не похож на висячий ус купецкий. Нафабри усы, зачеши вверх, да не как-нибудь, а по правилу: несколько на обе стороны и вкось!

Дурницын взъерошил, спутал, как только мог, а потом извлек из кармана деревянный гребешок, завернутый в холщовую тряпочку, и на виду у всех привел усы в прежний образцовый порядок, нафабрил, зачесал вверх и несколько на обе стороны вкось.

– Ну, а теперь, у кого отрос волос, сделай по-моему! И раз! И два-с!

Солдаты взъерошили усы и привели их в порядок.

– Молодцы! И еще одно не забывайте: в середине под носом, посередине губы выбривать дорожку или хоть, молвить, канавку на одну шестую долю вершка.

Солдаты слушали его с доброй улыбкой, веселость изложения не мешала им серьезное воспринимать по-серьезному.

С такими же неизменными шутками и простецкими сравнениями цветистый на слово Дурницын рассказывал о том, как принимать и сдавать караул, как ходить в отпуск в город и в штаб, как содержать себя в полном убранстве и в чистоте дорогой и по приходе туда, куда послан, как надо вычиститься, прибраться и припудриться, как смазывать у ружья винты и шурупы кусочком ветчинного сала, которое надо всегда иметь при себе, завернутое в тряпичке.

Продолжению веселого урока помешало появление форсистого фельдфебеля Брагина, равного которому в знании ружистики и шагистики не было, пожалуй, во всем полку. Он никогда не рукоприкладствовал, не бранил, не оскорблял не только полковых старожилов, но и новоопределенных. Рядовые в роте к нему относились по-разному: одни его хвалили за то, что он умеет всякое упражнение, как и капитан Сергей Муравьев-Апостол, если только того захочет, сделать забавою для рядового, другие подсмеивались над его манерами и даже внешностью, называя между собой то чудью белоглазой, то смоленским петухом – он происходил откуда-то из Смоленской губернии. Брагин назубок знал всю премудрость экзерцирования. Плац-парад для него был домом родным. Здесь он расцветал. Во время его занятий иногда сходились посмотреть фельдфебели из остальных рот. У него было чему поучиться как новичкам, так и старым гвардейцам: он толково наставлял солдат искусству захождения и обхождения неприятеля, скорой и исправной пальбе. Он был трудолюбив и от каждого солдата требовал того же. Старательные солдаты с его помощью быстро и прочно усваивали науку движения ног и действия рук. Рекруты из новоопределенных после непродолжительной выучки у Брагина верстались уже со старыми рядовыми.

Во всем первом батальоне только унтер-офицер Мягков да старый солдат Иван Дурницын не уступали Брагину как в звании экзерцирования, так и в умении обучать. И за это Брагин недолюбливал своих соперников.

Каштанового цвета усы у Брагина были нафабрены и расчесаны еще лучше, чем у Дурницына, что последнему не очень-то понравилось.

Брагин отставил Дурницына и начал объяснять шестерке, из чего состоит экзерциция, говорил доходчиво и понятно об обращениях и маршировании, учил тому, как приобрести гвардейцу смелый военный вид.

– Ходить ходи, да вперед гляди! Пятачки не искать, потому что никто их из гвардейцев не потерял, – без запинки говорил Брагин глуховатым голосом. – Голову вниз не опускай! Стой станом прямо! Как штык! Грудь чтобы колесом! А ну, покажи грудь вон!

Солдаты выпятили вперед грудь.

– Ничего... Ничего... Смелее выпячивайте, не переломитесь! Вот так! Брюхо в себя! Еще, еще, еще! Так! Колени вытянуть! Носки разно! Каблуки сомкнуть в прямоугольник!

Новобранцы старались. Фельдфебель обошел их, оглядел, похвалил.

– Глядеть бодро и осанисто! У гвардейца печали не бывает! Гвардеец весь срок службы как бы на празднике пирует! С настоящего гвардейца стенописцы картины пишут. Вот для чего нужна осанка и поступка бравая! Гвардеец, это тебе не армеец! Самим государем привилегия дана гвардии рядовым. Гвардейцу положено знать себе цену, – учил Брагин. – Гвардеец, знающий себе цену, говорит со всякою особою смело, с вышним и нижним начальником так же.

Услышав слова фельдфебеля о смелости, Дурницын поморщился.

– И когда начальник о чем спросит, надо отзываться громко, голову держать прямо, глядеть в глаза, станом не шевелиться, ногами не переступать, коленей не сгибать... Поняли?

– Поняли! – уверенно ответила хором шестерка.

– Ну-ка, перескажи мои слова, послушаю, как ты понял, – спросил Брагин высокорослого правофлангового.

Тот бойко начал:

– Топерича-нонича, голову держать прямо, ногами не шевелить, станом не переступать...

– Отставить! – махнул рукой Брагин. – Понял курам на смех... И чтобы я больше не слышал ни от одного из вас разных костромских и чухломских топерича-нонича и других всякого виду подлых речей крестьянских!

Брагин со знанием дела начал обучать шестерку поворотам поодиночке, по двое, по трое. Затем приказал собрать все шестаки. Собрали. Принялся гонять пошереножно. Потом совершенствовал всю компанию в три шеренги.

Новоповерстанные, хотя и здорово их нынче муштровали, не чувствовали сильного изнурения и даже некоторые упражнения выполняли как своего рода забаву.

В полку все командиры и нижние чины знали, что царь особенно взыскателен к хождению, и потому хождению в три шага обучали особенно тщательно.

2

Ротный приказал Дурницыну поупражняться с рослым, но уж очень робким и застенчивым новобранцем. Дурницын взял новичка к себе в артельный покой, напоил чаем с тульскими пряниками, отодвинул стол к стене, чтобы дать простор ученику, и как бы ради забавы принялся втолковывать, именно втолковывать, а не вколачивать, «словесность» слишком тихосмирному новобранцу с кудрями белыми, как вологодский лен, откуда-то из-под Галича попавшему в рекрута по жребью.

– Это, знать, про мою армию сказано: один рядовой, да и тот кривой, – шутливо, но незряшно начал Дурницын урок «словесности». – Но ты не обижайся, ты, конечно, не кривой и со светлой головой. Говоришь, мать провожала, сама причитала: «Провожая в некрутчину – что в могилу»? Может, и не такими словами, но приблизительно похожими. По своим проводам сужу. Не забыл. Одну и ту же службу можно сделать и унылой и веселой. Запомни наш семеновский девиз и следуй ему; знай службу: плюй в ружье, да не мочи дула – и все пойдет на лад, будешь получать три деньги в день, куда хочешь, туда их и день. – Дурницын заложил пальцы за ремень стоявшему перед ним новобранцу. – Подтяни, на казенных харчах такие запасы ни к чему: казна с голоду не уморит, да и досыта не накормит. А эта вот суконка – лоск и блеск наводит на ружье, на все железные и медные части! А делается это

вот так, – и Дурницын, взяв у солдата ружье, стал наводить лоск и блеск. – Чем ружье чище, тем душе спокойнее, совести приятнее. Знай, братец: казенное добро страхом огорожено, и лучше никогда не переступать через эту огородку, без которой и богатейшее государство может развалиться. Казенное добро, но при всем при том солдату не чужое – вот в чем вся премудрость. – Он возвратил новичку начищенное до блеска ружье. – Гвардеец везде поспевает и все успевает, потому среди солдат и говорится: день государев, а ночь наша. А что это значит? А вот, что значит. Скажем, вернулся с учения, а на вечерней тапте тебя на завтра назначили в утренний караул, так ты уж ночь не поспи, а мундир и предметы амуниции, будь добр, приведи в такой порядок, чтобы заступать в караул чин-чинарем! Иди прямо, гляди браво и всегда будешь молодцом! Вот так!

И Дурницын, прежде чем заставить пройти новобранца, показал, что значит ходить прямо и глядеть браво. Новичок повторил за ним и очень удачно.

– Где надо, будь мягок, как воск, и тверд, как сталь! – внушал Дурницын. – А уж ежели придется чарочку-сударочку выпивать, то ума не пропивать. Чтобы в итоге бытия не получилось, как у того несчастливца, который на том свете жаловался, что ему пожить не привелось, как все добрые люди живут: родился – мал, вырос – пьян, умер стар – и свету не видал. И на солдатской службе свет можно увидеть.

– На переключку! – раздались голоса по всем трем этажам казармы.

Государева рота в полном составе выстроилась на втором этаже. И на этот раз в роте не случилось никаких происшествий. Почему же прибыл в роту штабс-капитан князь Иван Щербатов?

Бывалые солдаты, умевшие по выражению лица своего командира предугадывать не только его настроение, но и мысли, не сводили глаз с Щербатова, отличавшегося щегольством. На нем был новый, только что с иголочки мундир, празднично сиявший золотым шитьем. Почти все деньги, которые присылал ему отец из Москвы, а присылал он немало, воспитанный в аристократических правилах офицер тратил на обмундирование. К этому понуждала его не только страсть к щегольству, но и особенное в полку положение – командира государственной роты. Щербатов отличался скромностью, благовоспитанностью, приятными манерами. Книжки с отрочества были его лучшими друзьями. Его уважали в полку. Молодость его проходила весело, но не скандально. Он ни разу не дрался на поединке, что являлось редкостью для молодого гвардейского офицера.

Щербатов считал себя счастливым уже и тем, что состоял в сердечном дружестве со многими сослуживцами, по уму и строгим правилам считавшимися гордостью полка. К нему неизменно были благосклонны и доброжелательны в царском дворце, где ему по делам службы приходилось бывать довольно часто. С ним любила побеседовать царица Елизавета Алексеевна, благоволившая его прелестной сестре княгине Наталии Дмитриевне Шаховской, жене князя Федора Шаховского, ныне капитана 38-го Егерского полка.

Его друзьями и единомышленниками в полку были капитан Сергей Муравьев-Апостол, полковник Ермолаев, штабс-капитан Рачинский, штабс-капитан Казаков.

Служба в Петербурге не охладила его укоренившейся с детства неизменной любви к древней столице Москве. Щербатовы имели в Москве на Девичьем поле собственный дом, в котором протекли годы детства будущего семеновца князя Ивана Щербатова. Весну и лето семья Щербатовых обычно проводила в селе Рождественное Серпуховского уезда Московской губернии.

«Командир не зря прибыл на вечернюю тапту», – подумал Дурницын, въедливо наблюдавший за Щербатовым.

И Дурницын не ошибся: после переключки Щербатов обратился к роте с неожиданной новостью:

– Братцы, государем императором наложен высочайший запрет на посещение кабаков нижними чинами гвардейского корпуса. Хотя за нижними чинами государственной роты и всего нашего Семеновского полка не значится ни единого порочащего гвардейскую честь проступка, все же государев приказ относится и к вам...

– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, – сорвалось с чьих-то уст в третьей шеренге.

– Прощай, чарочка-сударочка, – добавил кто-то.

Щербатов слышал, но не придавал никакого значения этим соболезнованиям.

– Братцы, – продолжал Щербатов, – приказ государя вовсе не значит, что вы останетесь навсегда без чарочки и приятных бесед-застольев. Я отлично знаю, как и все наши остальные господа офицеры, семеновцу, любимому государем разумному слуге престола и отечества, не столь сама по себе дорога чарочка, сколько дорога тихоскрамная артельная беседа за чарочкой! Так ли, братцы?

– Так! Так!

– Золотые слова ваши! – дружно отозвались солдаты.

– В праздничные и викариальные дни беседа без чарочки – все равно что вешний день без солнышка, – после всех, но зато отчетливее других сказал усач Дурницын.

– Верно, верно, Иван Потапыч, – совсем не по-командирски заметил Щербатов. – Отныне вводится по всем ротам такой порядок: из своей среды выбирайте доверенное лицо, этому лицу выдадим билет на покупку вина, которое будет доставляться в роту и продаваться виночерпием. А весь прибыль от продажи пойдет в вашу же артельную казну на улучшение харчевого припаса.

Нововведение было так неожиданно, что солдаты на минуту будто оцепенели. Затем заговорили.

– А кого выбрать-то? – как бы сам себя спрашивал Амосов, стоявший в первой шеренге. – Тут надо честного из честных.

– А разве наша государева рота из бесчестных? – крикнул из второй шеренги Янтарь, сверкнув синеватыми крупными белками цыганских глаз.

– Выбирай, лишь бы не плутовал и под ноготь не зажимал артельную копеечку. Вон хоть Захара Жикина! Потому как, я сам тому верный свидетель, имеет самое нежное обхождение с порожней посудой и знает разное неглиже, – что значит слово «неглиже», Амосов не знал, но обходиться без него не мог. – Без неглиже порядочной виночерпии не получится. А Жикин, когда входит в кабак, по-грамотному кланяется полке с посудой: «Здравствуйте, мои рюмочки, здорово, мои стаканчики, каково поживаете, государеву роту вспоминаете?»

Щербатов не ждал от этого солдата такого остроты, посмеялся вместе со всеми.

– Захара так Захара! – подал голос Дурницын.

Но тут вдруг почти вся рота, будто по сговору, рванула:

– Дурницына!

И стая киверов взлетела к потолку.

– Итак, Иван Потапыч, ты единодушно избран в ротные виночерпии, – поздравлял штабс-капитан солдата. – Завтра в канцелярии получишь билет с гербовой печатью на право покупки и пронос в казармы вина. Будешь покупать ведрами, а там посмотрим, возможно, станем брать и куфами.

Солдаты расходились с переключки по покоям слегка возбужденные. И каждый давал свое толкование государеву приказу.

Амосов потихоньку жаловался рядовому Отроку, обрусевшему и принявшему православие татарину, с черными, как уголь, бесконечно возбужденными глазами:

– Все ж таки не того выбрали...

– Да брось ты, Амосов, наводить тень на ясный день, – одернул его грубоватый, но добрейшей души человек, белобрысый ефрейтор Петров.

– А я разве навожу? – внезапно изменился Амосов. – А я разве не кидал шапку к потолку?

Петров происходил из волжской закоренелой староверческой семьи. Воля и сила духа его предков и родителей была закалена на пламени негасимого раскола, эту закалку духа Петров принес с собой в гвардию. Он был одним из самых малоразговорчивых семеновцев, но в исполнении служебного долга безупречен.

С Амосовым схватился задиристый и бесстрашный рядовой Заброцкий.

– Ты – переметная сума.

– Есть о чем спорить, – в упрек обоим говорил Петров, – а по мне, хоть век не будь ни табашного, ни хмельного, потому что то и другое – от дьявола на погибель человеку и его душе принесено в мир.

Ефрейтор Петров не брал в рот хмельного и не переносил табачного дыма. Он страдал, когда ему приходилось порой находиться среди пьющих и курящих. После совместного сидения с табакурами ему казалось, что целую неделю от его мундира разит дьявольским потом, так он называл табачный дым. И чтобы скорее избавиться от этой напасти, он, когда это было можно, целыми днями готов был страдать на морозе, на пронзительном ветру, только бы проветриться. В прошлом году во время лагерей дивизия давала в шатрах обе в честь приехавшего к гвардейцам государя. Тысячи гвардейцев опорожнили чарки за здоровье императора, Петров же ограничился лишь поднятием чарки. Об этом Севрук, минуя фельдфебеля, донес командиру роты князю Щербатову, но Щербатов оставил донос унтер-офицера без последствий и с этого дня стал презрительно относиться к Севруку, который вдруг открылся с самой отвратительной стороны.

В этот вечер по всем артельным солдатским покоем и семейным каморкам много говорилось об избрании виночерпия, и что это избрание сулит роте.

– Нашему капральству, братцы, прямо скажу, повезло, – в одном чистовымытом нижнем белье сидя на разобранной кровати, говорил Штанников. – Ведро с вином будет стоять в нашем покое... Чего же вам еще? Подходи и угощайся! Так ли, Иван Потапыч?

– У нас слишком тепло, прокиснет, надо погреб, где похолоднее, – со своей постели отозвался Дурницын из-под ватного стеганого одеяла.

Миролюбивые соседи по кроватям Амосов с Дурницыным затеяли спор о том, кто из них первый женится и получит отдельную семейную камору.

– Вестимо, я скорее, – уверял Амосов. – Твоя невеста там где-то, а моя рядышком – на Выборгской стороне. Прошлым летом печи с Хрулевым перекладывал у одного старой веры купца... А дочка Дуня у него – в саду ягодка малинка... И смигнулись... Она не против...

– Ох, и хвастун ты, Василий красивый.

– Глазыньки мои лопни, ежели вру! Как перед иконой!

– Ну, дай тебе бог счастливой семейной жизни... Но я все ж таки тебя опережу, – не сдавался Дурницын. – Деревенская-то в нашей нелегкой солдатской жизни надежнее городской...

– Ну не скажи, случалось, и деревенские убегали из семейных покоев, – заметил Амосов.

– Та, которую я приведу, не убежит.

– Сама не убежит, так добрые люди помогут.

– Не хочу и слушать тебя, Василий... А ежели старовер не пожелает отдать за солдата свою дочь? – спросил Дурницын.

– Тогда я этого старовера обращу в другую веру, – зло намекнул на что-то Амосов. – А сам с горя...

– Что не договариваешь? Утопишься?

– Одно из двух: или утоплюсь или напьюсь.

– А ты знаешь, что за это будет?

– Ничего не будет.

– Эй вы, запоздалые женихи, кончай базар! Нам затемно в караул вставать! – крикнул из дальнего угла ефрейтор.

И в спальном покое все утихло до утренней побудки.

3

Дурницын с Жикиным возвращались к себе в казармы после отпуска в город.

Около моста, недалеко от Семеновских казарм, они увидели кучу толпившегося и чем-то возмущенного народа. Подошли полюбопытствовать. И услышали осудительные голоса:

– Ну и назюзюкался... Мундир-то семеновский...

– Еще, поди, из государевой роты...

Дурницын и Жикин оба так и вскипели, услышав, что петербуржцы бесчестят Семеновский полк. Да могут ли семеновцы потерпеть такого бесчестия! За десять лет ни один семеновский солдат не был подобран пьяным на улице или у ворот казармы.

Дурницын свысока поглядел на болтливых обывателей и протиснулся в самую середину кучи, за ним – Жикин. И глазам своим не поверили: на мостовой лежал вдрызг пьяный рядовой государевой роты Амосов, которого уже не раз выручали из беды товарищи по капральству. Дурницын и Жикин со злостью схватили нахлеставшегося и поволокли, лишь бы скорей убраться с глаз людей, продолжавших обстреливать насмешками пьянчугу.

Дурницын и Жикин волокли Амосова силой, он еле шевелил ослабелыми ногами. Волокли и немилосердно бранили. Бранили и готовы были насажать ему синяков и шишек.

– Хознуть вот башкой о забор, чтобы не позорил весь полк, – встряхивая обвислого Амосова, угрожал Дурницын. – И хозну, брюшина солощя! Или ты не мог у себя в роте выпить по-человечески положенное самим государем? Свинья рыжая...

Они притащили Амосова на второй этаж к старшему стрелковой комнаты ефрейтору Хватову.

– Вишь, налопался!

Ефрейтор, взрывчатый как порох, чуть не избил Амосова. Он подергал хмельного за жесткие усы и немедленно доложил фельдфебелю Брагину. Тот возмутился еще больше – первый такой случай в полку, чтобы на улице подобрали до одурения нализавшегося семеновца.

Фельдфебель чуть не съездил в рыло пьяному. Донес дежурному по роте офицеру Мягкову. Тому ничего иного не оставалось, как рапортовать командиру роты штабс-капитану князю Щербатову.

Щербатов приказал посадить Амосова на гауптвахту, а сам поспешил к дежурному по полку – полковнику Ермолаеву. Дежурный, выслушав, спокойно заметил:

– Боюсь, будет большой шум.

– Генерал возмутится?

– Генерал наш шуметь не будет, вы же его знаете.

– Во дворце разгневаются?

– Не во дворце, а здесь, у нас в казармах. Помяните мое слово, Иван Дмитриевич, семеновцы не потерпят такого оскорбления их чести и потребуют изгнания из полка проштрафившегося. Кстати, как же опростоволосился Амосов, солдат-то, кажись, не из плохих?

– Солдат исполнительный, Дмитрий Петрович. И все же, думается мне, что вы преувеличиваете возможные последствия. Солдаты сжалятся над проштрафившимся.

– Я же знаю семеновцев! Не зря вот десять годков из одного блюда с ними кашу ем. Семеновец не только учтив, но и надменен и весьма чуток к малейшему пятнышку, марающему репутацию первого в гвардии полка.

Щербатов задумался.

– И все-таки, мне кажется, полк сжадется над Амосовым. У него, насколько мне известно, нет врагов ни в своей, ни в чужих ротах, – предполагал Щербатов. – А главное: как-то государь взглянет на это происшествие.

– Конечно, не похвалит. Жди внеочередного налета, инспекторского смотра, всеобщей встряски, полной переаранжировки и разносного приказа по гвардейскому корпусу, – мрачно предсказывал Ермолаев.

Явился командир 1-го батальона полковник Иван Вадковский. О возможных последствиях он был такого же мнения, что и Ермолаев. Так как происшествие случилось в его батальоне, то Вадковский счел своим долгом поспешить с донесением к командиру полка генерал-адъютанту Потемкину. Перед уходом из полковой канцелярии он огорченно сказал:

– С Амосовым придется нам распрощаться. Выписка в полевые полки неизбежна. Но боюсь, попадет это дело в руки Васильчикову, и он не упустит возможности исполосовать дурня шпицрутенами или фухтелями.

– Возможно, что сей дикой оргии нам уже не избежать.

Вадковский покатил на городскую квартиру к генералу Потемкину.

Той порой во всех покоях солдатских и каморах семейных только и разговоров было, что о проступке Амосова.

Фельдфебель Брагин ходил из капральства в капральство и прислушивался к тому, что и как толкуют солдаты и унтер-офицеры. И ни от кого не услышал ни одного слова в защиту Амосова.

Вот он вошел в покой, где кипел такой бурный разговор, будто над Амосовым вершился товарищеский неумолимый суд.

– Мы в наших казармах промеж собой вот уж сколько лет не слышим не только грубой брани, но и крупного слова, – взвинченно рассуждал Хрулев. – А он сквернословил на улице... В семеновском-то мундире! И на ученье у нас никто не ругается, и никто на нас не кричит. Семеновцу не нужно ни палки, ни брани, он с одного строгого взгляда, с полуслова спокойного поймет, что ему надо делать, что от него требуется. Амосова выдворить из полка!

– Стоит того!

– Таких жалеть нечего!

– Фельдфебель, слышишь? Все капральство требует! – обратился Штанников.

– Вся рота! – добавил Пироженко.

– Весь 1-й батальон! Фельдфебель, не забудь же довести до сведения командира роты! – наказывал Штанников.

Во всех ротах 1-го, 2-го, 3-го батальонов по капральствам разгорались вот такие же бурные обсуждения.

Фельдфебели донесли об этом командирам рот и просили уважить общее желание – навсегда удалить Амосова из гвардейского полка. Мера наказания для семеновца доселе не слыханная, за все время командования полком генерала Потемкина еще ни один солдат, ни один нижний чин не был уволен в армию за нарушение правил гвардейской чести.

На вечерней переключке солдаты единодушно повторили свою просьбу. И эту просьбу предстояло доложить царю.

Нынче вторым дежурным офицером по полку был Муравьев-Апостол. Сын известного писателя и дипломата, белолицый, с закудрявленными спадающими на лоб темно-русыми волосами, подвижный и статный, Сергей Муравьев-Апостол был одним из выдающихся и любимых офицеров в Семеновском полку. В нем гармонично соединились неисчерпаемое добродушие с бескомпромиссной воинской взыскательностью, строгость с нежностью, монашеская суровость в часы серьезных занятий с веселостью беззаботного дворянского счастливца во время дружеских встреч и холостых пирушек.

Солдаты 3-й роты 1-го батальона не зря гордились своим командиром, который с тех пор как принял роту под свое начало, ни разу не прибегнул к угрозе наказанием, ни разу не возвысил голоса на рядового или нижнего чина, но рота его всегда оставалась на виду у всего полка, как образцовая, ни в чем не уступающая государевой. Особенно сердечная дружба связывала Муравьева-Апостола с героем многих сражений – изжальненным вражескими пулями полковником Ермолаевым и происходившим из старинной дворянской семьи штабс-капитаном князем Иваном Щербатовым. Они втроем занимали одну общую квартиру в офицерском флигеле при Семеновских казармах.

Как и у Ермолаева, у Муравьева-Апостола к плохой погоде ныли зарубцевавшиеся раны. В глубине его очень выразительных южнославянских темных глаз, если всмотреться в них, теплилась приветливая милая улыбка, какая бывает свойственна лишь людям богато одаренным, умным, образованным, волевым, умеющим видеть мир таким, каков он есть, и с радостью принимать его, как бесценное благо.

Аристократически изысканные манеры Муравьева-Апостола не отталкивали от него подчиненных. Аристократизм его не был внешним, холодно-салонным, не являлся легкодумной данью моде светского ветренника и повесы, не был подражанием чопорной столичной знати, а был сущностью его натуры, достоянием ума и сердца. Свет души и разума этого молодого блестящего аристократа, воспитанного и выросшего в Париже, как бы падал на всякого, кто с ним дружил и служил. Речь его делалась немного медлительной и неровной, когда он, не без затруднения, говорил по-русски, но зато, легко перейдя с родного языка на французский, он без труда мог обставить любого парижанина.

Дружбой с ним дорожили самые разборчивые и родовитые офицеры-сослуживцы. К его словам и мнениям прислушивались однополчане.

В установленный час второй дежурный капитан по полку Сергей Муравьев-Апостол поехал с рапортом во дворец. Высокой чести – ежедневного доклада лично государю – удостоен был лишь один Семеновский полк!

Царь, если пребывал в хорошем настроении и чувствовал себя здоровым, принимал вечерние рапорты в своем рабочем кабинете, в бельэтаже дворца. Он обычно встречал Муравьева-Апостола благосклонной улыбкой, выслушивал, отечески положив холеную руку на его плечо. И всякий раз, кроме полковых дел, Александр заводил разговор о семье капитана, о его братьях, об отце – дипломате, писателе, сенаторе и на прощание намеком давал понять, что отец капитана скоро будет снова приближен к особе монарха и определен к государственным делам, достойным дарования и необыкновенного трудолюбия этого умнейшего человека.

Умеренно тучный царь болезненно поморщился, узнав из рапорта о подобранном на улице пьяном семеновце. Он поднял похолодевший взгляд к потолку, слегка склонил голову к плечу. Задумался.

– Я русский император, и никто меня не упрекнет в том, что я не люблю русских и мешаю их продвижению по службе, – вдруг часто и с необычным для него надрывом заговорил Александр. – Но какие же бывают свиньи эти русские, как только почуют, что пахнет кабаком и водкой. Видите, капитан, на мне, как и на нем, на этом несчастном пьянице Амосове, мундир семеновца. Вся гвардия знает, и я не боюсь признаться в этом, семеновский мундир с детских лет предпочитал и ныне предпочитаю всем прочим гвардейским мундирам... И пускай мне простят мою личную любовь и нежную привязанность к избранному прекрасному полку преображенцы, измайловцы, московцы, павловцы. Но что же произошло? Случилось невероятное в летописях моего полка! Пьяного солдата, что валялся на улице, могли созерцать не только здешние обыватели, но и господа иностранные послы... Через несколько дней газеты разнесут об этом на всю Европу. А завтра я вот в этом мундире выйду на ежедневную часовую прогулку, и мои подданные, увидев меня, будут шептаться между собой, будут смеяться, станут говорить: вот вчера в таком же мундире один валялся под забором. – Царь с каждым словом приходил в еще большее раздражение. – Господа офицеры, не слишком ли мы изнежили солдат и нижних чинов Семеновского полка? Не есть ли виной столь прискорбному происшествию излишние привилегии, почести, жесты высочайшего благоволения?

– Ваше величество, если мне будет позволено сказать свое мнение, то я буду перед вами, как и всегда, предельно правдив и искренен.

– Говорите, капитан!

– Знаки высочайшего благоволения, ваше величество, – самая желанная награда для солдат и командиров нашего полка! Солдаты и офицеры умеют высоко ценить ваше отеческое благоволение и почерпают в нем силы, усердие в службе, бодрый дух, смелость, уверенность в себе, в своих силах, постоянную готовность с оружием в руках встать на защиту любезного отечества. Случай, столь прискорбный для нас всех, явление единичное, мы обещаем дальнейшей, еще более усердной службой смыть с полка это пятно! Верьте верным вам семеновцам, государь! Они с радостью отдадут за вас жизнь, кровь – капля по капле.

Царь повертел в руках рапорт, положил в стол.

– Генералу Потемкину доложено? – вдруг совершенно изменившимся голосом спросил Александр, на лице его изобразилась печать равнодушия, словно речь шла о чем-то маловажном.

– Рапортовано, ваше величество!

– Благодарю, капитан! – поклонился царь и подал на прощанье белую мягкую руку. – Потемкин достаточно мудр для того, чтобы все это дело решить в рамках полка. Разумеется, ему видней, лично я не считал бы дальнейшее пребывание рядового Амосова в моем полку желательным. Но это мое личное мнение... Вы там решайте сами. Я никому и никогда ничего не навязываю, с благодарностью выслушиваю всех и бываю вполне удовлетворен, если мои подданные и мое мнение иногда выслушивают с должным вниманием. Желаю вам успехов на службе.

Муравьев-Апостол, не раз бывавший с вечерними рапортами у царя, на этот раз выходил со странным неясным чувством; он не мог решить для себя, где в словах императора кончалась правда и начиналось отточенное изворотливое лукавство и лицемерие. Капитану было ясно одно: высочайший покровитель полка возмущен выходкой Амосова и больше не желает видеть его в своем полку.

Неясно было другое: примет ли гордый генерал Потемкин царское желание беспрекословно? Такой не побоится перечить царю, что уже и случалось. Царь не раз в раздражении и гнев покидал Семеновский полк, не сошедшись мыслями с непоколебимым Потемкиным. Офицеры дивились, как это самодержец до сих пор не отнял полк у столь строптивого командира.

4

Амосов проспался. На другой день его освободили с гауптвахты. С больной головой пришел он в стрелковую комнату. Почти все капральство было в сборе, так как в этот день учений на плацу не производилось. Провинившийся остановился у порога, помял киверную шапку в руках и рухнул на колени.

– Братцы, простите... Ныне я и белому свету не рад...

В ответ он встретил холодные презрительные взгляды.

– Братцы...

– Замолкни! Ты нам со вчерашнего дня уже не братец. Ты – свинья. Ты не нужен нам больше! – закричал Захар Жикин.

И остальные подобными же словами встретили Амосова. Он со склоненной головой какое-то время посидел на своей кровати и куда-то поплелся, лениво двигая ногами.

Постоял около двери в покой фельдфебеля и решился войти. Брагин сидел у стола и чинил набеленные панталоны. Перед ним лежал клубок белых ниток, ножницы, комок воску.

– Ах, Амосов, Амосов, что ты натворил, – посочувствовал Брагин. – Такой исполнительный и периимчивый солдат и вдруг... Государю о тебе доложено. Плохо твое дело, брат.

– Ваше благородие, спаси несчастного! Сколько хочешь возьми, но оборони! – возопил Амосов и опять опустился на колени. – У меня здесь есть сбережения, – погладил он полу мундира. – Есть. Последним поделюсь.

Брагин еще ласковее заговорил с ним. Велел сесть на стул. Амосов взял со стола ноженки, осторожно подпорол подкладку мундира и достал оттуда четыре ассигнации – двадцатипятирублевки.

– Возьмите за заступничество! Век не забуду доброту вашу, – упрашивал Амосов.

– погоди, Амосов, после сочтемся, – сказал Брагин, но от денег не отказался.

– Уж больно Дурницын с Жикиным нападают на меня. Да еще Хрулев, Хватов и Штанников, – жалобно жаловался Амосов. – Поклялись из полка выжить.

– Эти могут выжить. И ты с ними не царапайся. Как это ты сплюшал?

– С большого горя... С женитьбой у меня не ладится. Черт старый купец уперся – не хочет отдавать свою дочь за солдата, – жаловался понурый Амосов. – Генерал за мою хорошую работу на полковом огороде дал разрешение на семейный покой, а черт старый мешает.

– А она как?

– Невеста-то? Дуня-то? Она хоть сейчас. Она не против. А с ее отцом, со старым-то чертом, чуть не подрался. На обратном пути с горя заглянул в харчевню и тяпнул-то, кажись, совсем немного, а гляди-ка ты, как схватило. С третьей чарки сшибло. Знамо дело, дьявол кабатчик беленой разбавляет, чтобы крепче брало.

– Иди к господину ротному командиру и вот так же излейся пожалобней и почистосердечней, – наставлял Брагин, – а уж я-то замолвлю слово, ежели меня спросят. Штабс-капитан князь Иван Дмитриевич Щербатов душевнейший человек. Ежели его уломаешь, то он не только на государеву роту, а и на самого командира полка может повлиять.

Амосов отважился навеститься на квартиру к ротному командиру. Стоявший у входа в офицерский флигель часовой сначала решительно отказывался пропустить Амосова, а потом сжалился, увидев слезы на глазах расстроенного солдата.

Щербатов, еще совсем недавно ставивший Амосова в пример другим и мирволивший ему, нынче разговаривал с ним как с ничтожным человеком, не достойным ни доверия, ни снисхождения. Ни стояние на коленях, ни слова не помогли проштрафившемуся.

– Я хотя и командир, но я не могу поступать наперекор единодушному решению роты, – были последние слова Щербатова. – Как государева рота пожелает, так и будет. Ежели ты хочешь остаться в полку, честь и достоинство которого унижил, то проси всю роту.

Амосов вернулся в казарму. С ним никто не разговаривал. Даже глядеть на него не хотели. Находясь среди близких людей, с которыми вместе перенес столько тягот, он вдруг почувствовал себя страшно одиноким. И может быть, только сейчас по-настоящему понял, что такое одиночество и как тяжело находиться под его бременем. Правда, на вечерней зоре у переклички он стоял в коридоре вместе со всей ротой. Стоял и в то же время был почти уверен в том, что это последнее его стояние.

В шесть утра, когда еще мутная мгла не рассеялась с улиц, Семеновский полк побаталионно колоннами шагнул на полковой плац. Командиры с минуты на минуту ждали появления генерала Потемкина, который вместе с командующим гвардейским корпусом генералом Васильчиковым рано прибыл в полковую канцелярию.

Едва рассвело, штабс-капитан Щербатов приказал Амосову выйти из шеренги и повернуться лицом к сурово молчавшей государевой роте.

– Перед вами тот, кто своим поступком нанес ущерб гвардейской чести каждого из вас и знаменам нашего полка. Что скажете, братцы?

– Выгнать! – грозно грянула вся государева рота.

– Братцы, смилостивьтесь! – встал на колени Амосов с обнаженной головой.

– Выгнать пьянчугу! – единодушно повторила рота.

Амосов, заливаясь слезами, пытался упрасивать, но ни одно сердце не откликнулось ему, слезы еще больше возбуждали солдат против него.

– Видишь, Амосов, – обратился Щербатов к солдату, – я не могу пойти против воли всей роты. Но я разрешаю тебе, с позволения старшего командира, обратиться с просьбой о прощении к остальным ротам, возможно, найдется рота, которая будет согласна принять тебя.

В этом совете командира Амосов почувствовал как бы соломинку, брошенную для его спасения.

В сопровождении фельдфебеля Брагина он переходил от роты к роте и перед каждой ротой повторял одну и ту же просьбу о прощении и о том, не согласна ли будет рота принять его в свои ряды. Он снимал шапку, опускался на колени, со слезами на глазах обращался к семеновцам и в ответ слышал решительный отказ. Ни одна рота не хотела простить ему и не желала принять в свою артель.

Офицеры собрались кружком около баталионного командира полковника Вадковского. Они на французском негромко, но оживленно обсуждали случившееся.

– Господа, то, что мы сегодня видим и слышим, – знаменательно и поучительно во многих отношениях, – говорил Муравьев-Апостол. – Единодушное возмущение рядовых и нижних чинов – в этом я вижу необыкновенно возросшее чувство человеческого достоинства в солдате. Солдат из безропотного исполнителя чужой воли становится гражданином, сознательно оберегающим отечество.

Брагин привел Амосова обратно к государевой роте. Но уже не разрешил ему встать в шеренгу, а остановил шагах в семи от офицеров. Сам доложил ротному:

– Ни одна рота не изъявила желания взять Амосова, и никто не желает для него снисхождения.

– Прикажи солдату, чтобы подошел сюда.

Амосов подошел. Командир баталиона Вадковский сказал ему:

– Видишь, весь полк не желает служить с тобой. Сейчас же отправляйся в канцелярию и оформляйся на перевод в армию.

У Амосова дрогнули поджилки, он по рассказам хорошо знал, насколько хуже и обременительней служба в напольных полках, там солдат всего получает вдвое меньше, там в ходу палки, шпицрутены. Амосов же битья палками боялся больше, нежели смерти.

Он хотел излить еще какую-то просьбу, но в голове его мутилось, и мысли путались.

Подъехал генерал Потемкин. За руку поздоровался с офицерами.

– Как решили? – спросил Потемкин.

– Весь полк единодушно желает удалить Амосова, – доложил Вадковский.

– Весь?

– Решительно весь, ваше превосходительство! – повторил Вадковский.

– И не удивительно, господа, ведь полк-то Семеновский. Я, признаюсь, рад такому высокому мнению солдата о своем предназначении! – перешел на французский Потемкин. – Подойди! – поманил он пальцем Амосова.

Отлично вымуштрованный Амосов вытянулся в струнку перед генералом.

– Ну, что, молодец, влопался в беду?

– Ваше высокопревосходительство, смилостивьтесь! – ноги у Амосова подкосились, он опять встал на колени.

– Фельдфебель, что скажешь о стрелке Амосове?

Брагин, стоявший на почтительном расстоянии, быстро подошел, щелкнул каблуками перед генералом.

– Рядовой Амосов до вчерашнего происшествия ни в чем мною замечен не был, поведения примерного, в исполнении приказов усерден!

– А что скажет штабс-капитан? – обратился генерал к Щербатову.

– Фельдфебель сказал правду об Амосове: взысканий не имел, в штрафах не был, жалоб от товарищей не поступало.

С похвалой отозвался и полковник Вадковский. У Амосова, который слышал весь этот разговор, стало полегче на сердце. Неужели генерал не прислушается к этим отзывам?

– Ваше высокопревосходительство, простите меня... Я больше никогда не позволю себе... Даже о женитьбе перестану думать, – взмолился Амосов.

Генерал приказал ему встать. Солдат снова вытянулся в струнку. Потемкин с минуту не сводил с него глаз, и в этих глазах провинившийся читал сострадание к своей горькой участи. В них не было ни озлобления, ни тупой генеральской надменности.

– Простите, – уже не просил, а стонал Амосов.

– Да я-то простил бы тебя, но товарищи твои, то есть весь Семеновский полк, не простят мне такого прощения. Оформляйте к безотлагательному переводу в армию. Фельдфебель, проводите его в полковую канцелярию.

Брагин повел Амосова по канцеляриям. Полк приступал к учению, нынче предстояло заняться повторением хождения церемониальным шагом.

Солдаты весьма довольны остались тем, что их артельное желание не только услышано господами офицерами, но уважено самим генералом-адъютантом – Амосов изгоняется из полка.

До обеда было оформлено отчисление Амосова в армию. Каптенармус принял от него все, что являлось собственностью роты. Дело оставалось за подорожной и точным назначением места новой службы, о чем должны были позаботиться дежурный генерал Закревский и командир гвардейского корпуса Васильчиков.

Амосову было запрещено и на минуту отлучаться за ворота ротного двора. Остаток дня он пролежал в своем покое на гвардейской кровати, которую приходилось менять на армейские нары.

Вечером с рапортом во дворец явился полковник Ермолаев. Царь любезно встретил его. Выслушал рапорт и прежде всего спросил, чем кончилось с рядовым Амосовым.

– Решили отослать в армию, ваше величество!

– Решение правильное, Дмитрий Петрович, – одобрил царь. – Дружба дружбой, а служба службой. Я сам считаю всякого семеновца от гренадера и до генерала своим родным братом, и все же в жертву личной привязанности я не могу приносить интересы отечества.

Дружеский тон разговора побуждал полковника к полной откровенности.

– Ваше величество, сие отчисление Амосова в армию отвечает артельному гуртовому желанию солдат и нижних чинов всего полка. Оставление Амосова в государевой роте значило бы пренебрежение желанием и волей трех тысяч человек, чего, конечно, наш командир полка никак не мог допустить.

Пояснение полковника как бы вдруг чем-то очень озаботило царя. Заметно изменилось выражение его округлого приятного лица. И в голосе зазвучали нотки сдерживаемого раздражения. И только сейчас Ермолаев подумал: «А не сказал ли я чего лишнего?»

– Повторите, повторите, полковник, вашу мысль, – быстро заговорил царь. – Что это такое: желание и воля трех тысяч человек?

Ермолаеву стало ясно: царь крайне раздражен и недоволен упоминанием о воле трех тысяч человек. Полковник доложил о том, как упрашивал Амосов солдат об оставлении его в полку и как весь полк в один голос отверг просьбу.

Александр помрачнел еще больше и как-то сразу оборвал беседу, сказав:

– В армию так в армию. А впредь вам и командиру полка следует помнить: в Семеновском полку нет и быть не может желания и воли трех тысяч человек, там все решалось, решается и впредь будет решаться только моим желанием и моей волей...

Ермолаев еще не успел покинуть дворец, а царь уже приказал срочно послать нарочного за генералом Потемкиным, разыскать его во что бы то ни стало и в любое время доставить во дворец.

Потемкина у себя дома не оказалось, Пришлось разыскивать по всему городу. Лишь ополуночи нашли его на квартире у артиста Брянского, где он вместе с генерал-губернатором Милорадовичем играл в бильярд.

Царь в нетерпеливом ожидании командира Семеновского полка томился в своем кабинете. Чтобы не скучать, он пригласил к себе Аракчеева. Тот немедленно приехал из деревянного чертога, что на Литейной.

Царь рассказывал своему другу о случае с семеновским солдатом и о воле и желании трех тысяч. Аракчеев сочувственно внимал и покачивал большой поседелой головой.

Прибыл генерал Потемкин. Царь принял его с подчеркнуто прохладной вежливостью, заставил доложить во всех мельчайших подробностях о проступке Амосова, о его хождении по ротам, об увольнении провинившегося в армию.

– А не находится ли такое увольнение гвардии рядового и в прошлом примерного солдата из гвардейского в напольные полки в противоречии с духом и желанием трех тысяч человек? – хитро расставлял ловушку царь.

– Никак нет, ваше величество, ныне Семеновский полк являет собой чудесный монолит, полк единодушно раньше моего решения уже требовал от господ ротных офицеров удаления провинившегося в армию.

– Чудесный монолит... – вяло повторил царь и уставился на поблескивающего стеклами очков Аракчеева. – Слышите, граф? Что солдаты захотят, то генерал и делает. Как такое называется?

– Батюшка, я нахожу – наш слишком ученый бонжура-генерал за французской модой гонится, а возможно, и за аглицкой. В Семеновском полку господа офицеры собираются учить солдат бедокурить, что-то будет, – неприязненно сказал осипший после простуды Аракчеев.

Царь стиснул зубы, и так сильно, что заныл больной коренной. Длительным молчанием испытывал он стоявшего перед ним Потемкина, что очень нравилось Аракчееву. Александр заговорил державным тоном, не терпящим малейших противоречий.

– Нынче семеновцы на полковом своем вече решили удалить из гвардии провинившегося рядового Амосова; завтра они легко подберут вину на своего командира и решат удалить вас; а там, лихо начало, найдутся молодцы и потщатся удалить меня из шефов. Вы, генерал, как мне известно, доктор исторических наук и почетный член Оксфордского университета. Не знаю, как на сей предмет смотрят там, в вашем Оксфорде, а в моем Петербурге смотрят так, как я смотрю. – Царь еще ближе подвинулся к генералу. – Амосова оставить в гвардии Семеновском полку в соответствии с желанием и волей не трех тысяч, а по моему высочайшему повелению. О наказании же подумайте сами. Не мне

изобретать меры наказания солдат моего любимого полка, где нам издавна знакомо и памятно каждое лицо. Знайте, генерал, что боль солдата и нижнего чина больна и государю. Поезжайте.

Из дворца Потемкин проехал в полковую канцелярию, чтобы сделать необходимые распоряжения назавтра в связи с высочайшим повелением.

Аракчеев, стариковски кряхтя, поднялся из кресел, облокотился о стол и сказал царю:

– Батюшка, Лексанта Павлыч, бонжура Потемкин вконец испортит твой лучший полк. Дурной пример, как зараза, как парша, прилипчив. Глядя на семеновцев, и в других гвардейских полках пустые головы начнут болтовню о воле и желании трех тысяч. А всякая воля и желание толпы несовместны с волей и желанием государя – ставленника божия на земле...

– За Потемкиным, друг мой, надо смотреть! И это лучше всех можешь сделать ты, – призвал царь на помощь неизменного советника.

5

У лежавшего на кровати Амосова мороз пробежал по жилам, когда фельдфебель Брагин распахнул дверь в стрелковую комнату и начальнически строго позвал:

– Амосов, ко мне!

Мрачный Амосов поплелся в покой к фельдфебелю.

– Ну, что, Амосов, как спалось, что во сне виделось? – спрашивал Брагин, а сам расхаживал по покою.

– Плохо дело, ваше благородие. Все пожитки собраны в дорогу...

– А много их у тебя, пожитков-то?

– Никаким пожиткам не рад. На белый свет глядеть не хочется. И все через Дурницына и Жикина, бог им это не простит, – вяло жаловался Амосов.

– На кого невесту-то покидаешь? Хоть бы отказал мне, что ли? Все равно ведь не попользуешься: за гвардейца, за семеновца, отец не отдавал, а за солдата напольного полка и думать нечего.

– Зайду, прощусь, а там ее воля.

Брагин, упревая руки в боки, остановился перед понурым Амосовым.

– А сколько бы ты не пожалел отвалить тому, кто бы тебя оставил в Семеновском полку?

– Ничего бы не пожалел! Все бы отдал, что накопил! Да еще и в ноги бы поклонился спасителю, только нет такого спасителя, – отвечал Амосов.

– Отречешься от своих слов?

– Не отрекусь!

– А поклянись перед святым образом спасителя! – указал Брагин на икону с изображением распятия Христа.

– Клянусь! – перекрестился Амосов.

– Так вот знай: я спас тебя! А как спас, то мое дело. Остаешься в Семеновском полку. Но ежели много болтать будешь, то плохо тебе придется.

У Амосова закружилась голова. Он не сразу поверил фельдфебелю. А тот тряс его за полу мундира.

– Давай раскошеливайся.хлопоты за тебя знаешь во сколько мне обошлись?

Амосов смотрел, словно иступленный, ничего не понимающими глазами и не шевелился.

– Ты ошалел? Или решил прикинуться нищим? У тебя же есть при себе! Вот здесь зашито, где вчера подпарывал. Жалко стало?

– Ничего мне не жалко, я никак с мыслями не соберусь. Не верится мне, – бормотал Амосов.

– А ты верь! Брагин не обманет! Брагин врать не станет.

– Коли так, то спасибо! – в пояс поклонился Амосов. Ножницами подпорол подкладку мундира и извлек все свои сбережения до последнего рубля. – Вот все тут! Спасибо, ваше благородие!

– А себе?

– Обойдусь. Разживусь с божьей помощью.
– Все мне не надо! Давай пополам! – Брагин сосчитал деньги и половину возвратил Амосову. – Жениться собираешься – понадобится. Песни петь пой, но впредь пить, боже тебя упаси...

– Зарекаюсь по гробовую доску, ваше благородие! – клялся и божился воспрянувший духом Амосов.

– Ну, ступай в свой покой, а через полчаса – к каптенармусу, и я к тому времени буду там, – распорядился Брагин.

Амосов, от радости не чуя под собой ног, выскочил из фельдфебельского покоя. Позавчера он был пьян от водки, а сейчас опьянел от внезапно подвалившего счастья.

Брагин, набросив дверной крючок, сосчитал выручку и зашил ее в подушку. У него поднялось настроение.

Насвистывая и приплясывая, возвращался Амосов в артельную комнату. Своим круто изменившимся поведением он немало изумил всех жильцов большой стрелковой комнаты.

– Ты что, Амосов, или опять хватимши? – осудительно спросил строгий Жикин.

– На прощанье с фельдфебелем клюнули? – незлобиво подтрунивал добродушный гренадер Афанасий Пироженко.

– А может, у него с горя умопомрачение, – как бы сочувственным тоном сказал рядовой Щербаков.

Амосов, наплясавшись около своей кровати, встал на колени и начал усердно молиться на артельную икону. И уж только после жаркого моления обрел душевное равновесие. Он пошел от кровати к кровати, каждого радостно оповещал, благодарственно жал руку.

– Братцы, милосердный боже смилостивился, остаюсь с вами и обещаю больше не напиваться до упаду. Поверьте, братцы! Я вам все прощаю, братцы, простите же и вы мне. Приказано снова амуницией обзаводиться.

Не сразу солдаты поверили ему. Но когда он вернулся от каптенармуса с возвращенными ему предметами амуниции, что были сданы на ротный склад вчера, сомнений не оставалось в его водворении в государеву роту. Амосов радовался, но государева рота затаила недовольство. Солдаты были уверены в том, что их недовольство разделит весь 1-й батальон и весь полк.

Воспрянувший духом Амосов снова усердно маршировал вместе с теми, кто еще вчера требовал его изгнания.

6

Всхлопнув крыльями, на повети громко пропел горластый петух, в ответ ему, словно переключка в солдатском строю, покатила от двора к двору, от насеста к насесту петушина заутреня.

– Третьи петухи. Как ночка-то быстро пролетела, будто ласточка-крылатка мелькнула – и нет ее, – грустно проговорила чернобровая Луша, прижимаясь горячей щекой к плечу статного отпускного гвардейца Ивана Дурницына, который отгуливал последние деньки у себя в родном селе Синегорье.

– Да уж розовеет на восходе. Эх, душа моя, красна девица ненаглядная, взял бы я тебя на руки, кабы воля моя, и на руках донес до самого Питера, – на песенный лад напевно заговорил усатый гвардеец в разукрашенном золоченым шитьем мундире, в киверной шапке с султаном. – Но ты не горюй, что обещал, то исполню. Зря бы похваться не стал. Пустая похвальба не лучше вранья. А я тебе говорю: наш начальник полковой командир генерал Яков Алексеевич Потемкин никогда во вред солдату не сделает. Он уже многим разрешил обзавестись семьей и семейные каморы дал женатым.

Разговор отпускника с пригорюнившейся девицей слушала кустистая черемуха, свидетельница их встреч и хранительница тайны.

Село привольно раскинулось на крутом берегу. Под берегом в низине, над рекой и лугом, поднимался первый в этом году туман, как бы радуясь теплой, тихой погоде.

– Я твоим обещаниям, Иван Потапыч, верю, потому как вижу в каждом слове доброе намерение, – слегка картавя, говорила Луша, сама ласково гладила киверную шапку на его голове. – Только больно страшно... Питер-то, я чаю, далеко-далеко?

– Не близко. Но есть города и далее Питера, да люди доходят.

– Вдруг начальники не дадут дозволения?

– На женитьбу-то? Не может этого быть, – уверял он. – Баталионный у нас полковник Иван Федорович Вадковский не хуже Потемкина, а наш ротный командир штабс-капитан князь Иван Дмитриевич Щербатов к солдату относится как брат к брату. Ни с чьей стороны не предвидится препятствия.

– Ой, у вас, знать, весь Семеновский полк, как на подбор, одни Иваны, – засмеялась Луша. – Солдаты – Иваны, командиры – Иваны...

– Всяких много. Но Иванов, конечно, как водится, больше, нежели Захаров. К слову молвить, Луша, в полку, где Иванов много, веселее служить, – с приятным юморком вел речь складный на слово солдат. – Говорится: стужа, да нужда, да царская служба – нет их хуже. Не спорю. Есть у нас фельдфебель Иван Иваныч Иванов. Не из плохих. Прислали к нам однажды капитана из немцев, он по-нашенски еле-еле языком ворочает. Говорит, самый трудный на свете язык ваш. Стал этот немец знакомиться с ротой, кого как зовут и по фамилиям.

– Иван Иванович Иванов, ваше благородие! – отрапортовал фельдфебель.

Немец глаза выпучил, трясет головой, не принимает рапорта:

– Один Иван – должно; два Иван – можно; три Иван – никак невозможно...

Насилу немец привык к тройному Ивану.

– А каморы для семейных тоже при полку?

– В казармах же...

– Ой, сердце мое на частички разрывается, вдруг житье в каморе станет, как на военном поселении.

– Ты не сомневайся и не огорчай сама себя всякими страхами, – успокаивал он. – Я, во-первых, солдат государевой роты, а не какой-нибудь! Нашу роту опекает сам государь. Попробуй кто-нибудь зря обидеть семеновского гренадера!

– А вдруг тебя навечно оставят в солдатах?

– Не оставят. Отслужу государев срок – и домой. Восемь годков оттяпал, остается еще семнадцать... Срок выслужу, и воротимся. Хочешь – в село, хочешь в городе поселимся; мы с тобой оброчные крестьяне, нам вольготности побольше, нежели, скажем, дворовым.

Луша задумчиво внимала Дурницыну, а сама думала над словами, не раз слышанными от отца с матерью: «Солдатское бремя и жену пригнетает: муж на службе, а жена в нужде – оба равны».

Такое равенство страшило ее. Но сильнее этого страха в сердце ее вдруг загорелась какая-то более властная сила с того дня, когда впервые из окна увидела она прошедшего мимо избы ладного гвардейца. Все на нем, начищенное и набеленное, светилось, сверкало, золотилось, как золотятся купавы в низине у реки в пору цветения.

Она была годами десятью моложе Ивана Дурницына и переняла любовь к нему по наследству.

В 1812 году Ивана по рекрутскому набору поверстали в солдаты. Пошел он служить, заменив собой женатого старшего брата. Осталась после него в селе его зазноба Домна, старшая сестра Луши, такая же чернобровая, смышленная, дельная. Ждала она его год, ждала другой. Война с французом кончилась, а ее жених-солдат все не возвращается. Три зимы минуло, а на четвертую в мясоед к ним в избу наведалься языкастая сваха. И вышла Домна не за того, за кого хотелось, а за кого судьба судила.

Когда уходил Дурницын в рекруты, Луше было всего десять неполных лет. Пока он воевал, пока раны врачевал, пока маршировал на полковом плацу, младшая сестренка навсегда потерянной невесты выросла, расцвела и так во всем была похожа на старшую, что отпускник, впервые после долгой разлуки увидев ее, удивился и сначала сам себе не поверил, что перед ним не Домна, а ее сестренка. Она не только лицом и статью оказалась вылитой в сестру, но и характером своим повторяла Домну: такая же смиренная, сострадательная, рассудительная и говорила, как Домна, с приятной картавинкой.

Много всего повидал и услышал Дурницын за эти годы, немало вычитал из книг и журналов, попадавших в казарме.

И никогда Луша не устала бы слушать его повести о походах и баталиях, о смотрах и разводах, о встречах семеновцев с царем, пересказы вычитанных историй о необыкновенных похождениях удалых гвардейцев, о проделках воров, мошенников и жуликов, которых тоже немало в Петербурге, сманившем в свои дворцы не только одних богатых счастливых, но и продувную голь, нищету со всей России.

Белесый туман над низиной на рассвете становился более видимым, постепенно редел.

Из тумана вышел с наметкой на плече запоздалый рыболов. Длинный шест покачивался впереди его, в мотне распушенной наметки трепыхалась живая рыба, и, кроме того, на боку у него висела глубокая торба, полная карасей и линей. Он, насвистывая, поднимался по тропинке в отлогую гору.

– Андрон Добросотов. Он всегда мимо нашего крыльца с реки возвращается, – тихо говорила Луша, а щеки ее заалелись. – Он с моим отцом в зимнюю пору плотничать ходит.

Не досказала всего, что думала. Смутилась. Дурницын заметил ее смущение.

– Вдова Жикина сказывала, Андрон в ухажеры к тебе напрашивается.

– Мало ли кто к кому напрашивается, но ведь силой милому не быть, – совладев с собой, заговорила она. – Ты на него не имей обиды, он не из плохих и зла не помыслит.

Договорить Луше не удалось – с ними поравнялся Андрон. Он не ждал, что на его пути попадется парочка, растерялся от неожиданности. Остановился.

– Здравствуйте... Уж и не знаю, с чем поздравить: с полночью или с добрым утром.

– С тем и с другим, – ответил Дурницын, подкручивая усы.

– Ой, Андрюша, сколько рыбы-то. И все крупная, – просунув пальцы в крупные ячейки сети, удивлялась Луша. – Ты всегда такой счастливый. Живая... Серебряная...

– Есть и золотая. В торбе. – Он чувствовал себя здесь лишним, и потому ему было неловко, и все, что он ни говорил сейчас, ему казалось и неудачным и не тем, что следовало бы сказать. – Я сейчас вам подарю... Обоим...

– Спасибо, спасибо, Андрюша, – уговаривала Луша. – Неси домой.

– Дома-то у меня всякого сорта: и вяленая, и копченая, и соленая. – Он, не внемля уговорам, сломал с ивы два удобных прута и начал низать на них отборных лещей и судаков. – Это вот тебе, Иван. Я слышал, скоро отправляешься к полку. А это тебе, Луша, и всему вашему семейству, – подал он увесистую связку Луше, но она продолжала отказываться от подарка.

Тогда он повесил связку на дверной пробой, постоял, переминаясь с ноги на ногу, и, видя, что его присутствие здесь не в радость, поклонился и пошел мимо крыльца Жегачевых по тропинке на проселок, который вел к соседнему селу. Луше вдруг стало жалко его: за всю доброту не удостоили парня даже беседой.

– Мой отец им не нахвалится, – принялась Луша рассказывать об Андроне. – Он лет пять ходил в учениках у отца, а теперь они наравне снимают подряды. Не пьет. Не курит. И худого слова никому не скажет.

– С заработками, поди, подарки дорогие таскает?

– Какие? Кому? В масленицу карман орехов принес.

– И только-то? Жадный, значит.

– И вовсе не жадный.

В избе что-то стукнуло. Скрипнула дверь.

– Мать встала, коров доить пошла, – заторопилась Луша. – Ну, прощай... До свидания... А то сейчас отец выйдет, он страсть какой строгий у нас...

Она то одной, то другой щекой припала к холодному серебру Георгиевского крестика на груди у гвардейца, чмокнула его в мягкие усы и порхнула на крыльцо.

Суровым человеком слыл плотник и печеклад Никон Жегачев, отец Луши. Он вырастил четверых сыновей и трех дочерей; ни о ком из его детей не прошло по селу худой славы. Малоразговорчивый, внешне неприветливый он никогда не изгонял из своего сердца

заботы о детях, но во всем строго следовал дедовскому завету: мужик в семье и в доме – всему делу голова, за ним первое и последнее слово в любом разговоре, в любом споре. Никон по-своему был прав, потому что знал – случись какой-нибудь грех в семье, главный спрос будет с него, с Никона, отца семейства. Луша боялась даже одного строгого взгляда его и никогда ни в чем не перечила, опасаясь вывести отца из терпения. А вывести его из терпения было не трудно – стоит сказать поперек два-три слова – и отец вспыхнет гневом. Во гневе он становится страшон и не слушается никого. Но таким Луша редко видела его.

Никон зашел в дом к Дурницыным, чтобы попрощаться с гвардейским отпусником.

Он позвал Дурницына в клеть.

– Вот что, Иван свет Потапыч, не обидься на меня на откровенном слове. Хороший ты человек. Из доброй семьи вышел. И службу государеву, вижу, несешь исправно и с похвалой. Награды заслужил. Одет, обут в полном гвардейском фасоне. И мое уважение к тебе ты и сам знаешь... Думали мы с женой состоять в родстве с Дурницыными, когда ты водился с нашей Домной. Но война с французом, постылая рекрутчина все поломала. Такова, значит, воля всевышнего.

Говорил Жегачев слова похвальные солдату, но больно становилось от них солдатскому сердцу. По суровости взгляда Жегачева Дурницын ждал чего-то крайне неприятного.

– Лукерья, младшая дочь наша, с твоим приходом в домовой отпуск всякий покой потеряла, – продолжал Жегачев. – Получилось, вскружил ты девке голову и дал обещание по осени или в начале зимы приехать за ней и, сыграв свадьбу, увезти с собой в Питер.

– Буду считать себя на всю жизнь счастливым, если наше желание божья воля и злые люди не нарушат, – с почтением сказал Дурницын. – Уповаю на моих начальников, которые к хорошим солдатам и сами бывают хороши.

– Ванюша, не попомни зла на мне, и не лишай ты нас нашей дочери, все равно, если даже твои начальники разрешат, никогда далеко на чужую сторону мы ее не отпустим. И не заводи греха...

Дурницын, насколько хватило у него умения, пытался рассеять беспокойство невестина отца, но тот оставался непреклонным и все рассказы Ивана о сносной жизни осемьянившихся солдат называл пустой украсой.

– Какая же может быть у солдата семья, если он не имеет постоянного пристанища, – говорил Жегачев. – Солдата начальники гоняют с места на место – и жена вынуждена кочевать за ним, солдат терпит всякие лишения – и жена через него должна терпеть. Выкинь-ка нашу девку из своей головы, если уж на то пошло, подбери себе какую-нибудь в Питере, которые поближе к казармам, а нашей девке подходящий жених находится из соседнего села.

– Она же не любит его...

– Зато я люблю. Парень хороший и солдатству не подлежит. А Лукерья еще только в полные лета входит и мало думает о будущей своей жизни. Веселое горе – солдатская жизнь.

– Я бы этого не сказал.

– Вот так-то, Иван, слово мое крепкое, бесповоротное, и не вводи ты во грех себя и нас, отложи о нашей девке все свои попечения. Я – отец и полный хозяин своему детищу. Против моей воли пойдешь – ничего не найдешь. Жегачевы слов не бросают на ветер. Обещаешь?

– Нет, не обещаю...

– Ну, так нам с тобой друзьями больше не быть. А Лушку мы замуж отдадим за здешнего. Не знавать жене счастья с мужем-солдатом, не зря же молвится: солдаткиным ребятам вся деревня отец. Да и тебе самому ради чего разводить семибатишных сынков.

– Или уж, по-твоему, солдат не человек?

– Человек, но только лучших лет жизни лишенный...

Из клетки они вышли с тягостным чувством отчуждения друг к другу. Жегачев, минуя избынную дверь, прошел на высокое дощатое крыльцо с оконцем, украшенным резным наличником.

А солдат решил добиваться своего.

Напрасно до самой полуночи расхаживался Дурницын по-над кручей и насвистывал соловьем. Луша так и не пришла к заветному месту – старой дуплистой иве, что склонилась в сторону реки. Не пустил отец.

Отпускной гвардеец досадовал на строгого родителя. И уж в его голове рождался план самовольно увезти возлюбленную в Питер и там повенчаться в своей полковой церкви. В мыслях он прикидывал, хватит ли у него скопленных денег на лихих ямщиков и на прочие расходы по свадьбе. Концы с концами сходились. И это радовало. Не пугала и будущая семейная жизнь – умелые руки не только оброчного землепашца, но и гвардейского солдата кормят.

На рассвете ушел он домой с улицы. И уж лежа на соломенном тюфяке в избе, на полу, он решил, прежде чем пуститься на крайний шаг, еще раз попытаться уговорить непреклонного Лушина отца.

Поутру, после завтрака, он сам пошел прямо в теремную, старинного северного образца, избу Жегачевых с небольшими высокими окнами и откладными дощатыми ставнями, украшенными замысловатой резьбой.

В светлой горенке стучал подножечный стан. Луша, вставшая с зарей – дотыкала последнюю точку, – сама была во власти печальных размышлений после вчерашнего строгого отцовского окрика, показавшегося ей грубым. Она покорно смолчала. Поклонившись отцу, легла спать. И всю ночь проплакала. У нее не оставалось сомнений в том, что отец, сколько его ни упрашивай, настоит на своем.

Дурницын вошел в первую избу, звавшуюся черной. После улицы все здесь ему показалось мрачным, серым, темным. Почти половину избы занимала черная русская печь с голбецем и заломчиками. В стене слева виднелся свежий задел – совсем недавно изба топилась по-черному, а ныне труба выведена над кровлей и даже побелена.

В первой избе в это время никого не оказалось. Иван смело, но с подчеркнутой столичной почтительностью открыл дверь в светлую, опрятно убранную горницу. На стенах цвели узорами вышитые льняные полотенцы, холщовые самодельные коврики, на подоконниках рделись расцветшие герани; пол был застлан разноцветными, из веретя сотканными половиками.

– Бог на помощь, Лукерья Никоновна, – молодецкато сорвав с головы кивер, приветствовал он от порога. – Эка прядева-то страсть, что некуда класть! – указывал он на корзину с заготовленными початками. – До белых мух не переточешь. Больно точа-то узка... Пошире бы, поспору бы подавалось.

– Так уж тятенька велел...

– Не помочь ли? Я ведь тоже умею челноком играть, – встав рядом с ткахой, спрашивал он.

– Помоги... Погляди по берду – нет ли близи.

Он с придиричивостью заправского ткача поглядел по берду.

– Все в порядке, душа красна девица! Хорошо ткаха точет...

– Да время-то больно уж быстро течет, – перестав прибавать уточину бердом, жалостливо говорила она. – Я не по своей вине не вышла вчера... Собралась было... Отец схватил за рукав, велел казакин повесить на крючок...

– А где он?

– На омшанике что-то мастерит.

– А мать?

– Холсты отмывать понесла на реку.

– Значит, мы вдвоем. – Дурницын, склоняясь к горячему порозовевшему уху ткачихи, заговорил торопливо. – Коли отец твой кладет такое препятствие, давай я тебя на ямских увезу!

– Куда?

– К себе в Семеновские казармы... Там и повенчаемся...

– Что ты, что ты, Иван Потапыч, мыслимо ли такое? – вдруг пришла в ужас она. – Тятенька не знаю, что и сделает со мной... Свет ты мой, розан мой... Разве можно... От людей и от бога грешно. Ведь воля-то родительская непрекаема. Да и догнать могут... А

матери через такое мое непослушание какая остуда причинится. Беглую-то и венчать откажутся.

– В нашей полковой церкви... Мы не скажемся, что беглые...

– Ох, ты, солнышко красное, как ты меня встревожил, – то бросая руки на полотно, то сжимая крепко роговой лоснящийся скользкий челнок, сокрушалась она. – Ты-то смелый... А я боюсь... Страшнее всего – за ослушание родители проклясть могут.

– А вот мне, Луша, легче с матерью расстаться, нежели, милая моя, с тобой, – разгорячился Дурницын, щеки его запылали. – Пойду к твоему отцу в омшаник, на последний мой смертный приступ.

Он отошел к порогу, держа кивер в руке. С минуту постоял. Снова шагнул к стану, обнял Лушу и начал целовать ее в щеки, в шею, в розовые уши.

– Перестань... Пятна останутся... Сейчас отец войдет... Знать, не сбьется тому, что тобою, Иван Потапыч, загадано...

– А вдруг сбудется?..

Кто-то стукнул в сенях. Дурницын выскочил из горницы, на ходу надевая киверную шапку. Никто ему не встретился. Это кошка в сенях махнула с потолка на ларь.

Никон что-то мастерил в омшанике. Дурницын по крутым ступеням довольно высокой лестницы спустился во двор и вошел в омшаник, срубленный из толстых еловых бревен, почерневших от времени. Омшаник высотой аршин в шесть был расположен под клетью и освещался небольшим продолговатым оконцем, проделанным во втором отверху бревне. Здесь было просторно. Часть земляного пола, начисто выметенная, лоснилась, как летнее грачиное перо. На верстаке теснились плотницкие инструменты, вкусно пахло обжитой столяркой, пропитанной терпким запахом осины и сухой сосны.

– Бог на помощь, Никон Гаврилыч, – приветствовал Дурницын.

– Спасибо, гвардия, коли не шутишь, – отвечал строгий Никон, и брови его оставались хмуро сдвинутыми.

– Больно уж хорошо здесь пахнет, лучше, нежели в сенокос...

– На то и омшаник. В нем пчела зимует. А пчелка – божье творенье, собой не велика и жизнь ее коротка, но труды ее вечно светят спасителю.

– И не только ему.

– Проститься, что ли, зашел? Когда отбываешь?

– Да уж скоро... А зашел я продолжить начатое и неоконченное.

Никон отложил стамеску и киянку, сел на верстак. Дурницын стоял перед ним и продолжал начатое, но неоконченное. Никон, чем больше слушал его, тем строже становился. Дурницын по лицу Жегачева, в рыжей окладистой бороде у которого золотились мелкие стружки, а на жестких слегка загнутых вверх каштановых бровях желтелась опилочная пороша, видел, что тот, как и вчера, остается неприступным, хотя и не возражает резко.

– Зачем солдату принимать на себя лишнюю семейную обузу? – повторял свое Никон.

– Нищету разводить? Ее и без вашей много. От солдатской свадьбы невестину отцу прямая убыль и разорение...

– Как же так?

– Очень просто: скажем, я с жениха не солдата, возьмем хоть того же Андрона, за свою девку выкуп получу, выводные из родительского дома деньги, как исстари заведено. На худой конец хоть сотню... А с солдата что мне причтется? Горсть волос? Лядунка? Начищенная орленая пуговица?

– С чего вы взяли?..

– С фактов беру. Откуда разбогатеть служивому? Откуда ему взять на выкуп? Он и рад бы, да нет у него никакого лишнего пожитка, кроме казенного.

– Есть и у солдата Семеновского полка на что выкупить.

– Что-то плохо верится в солдатское выкупало.

– Сумлевайтесь? Так верьте же! – Дурницын запустил руку под мундир, вынул пачку бумажных ассигнаций. – Вы ждете от Андрона сотню, а я вам кладу целых полтысячи. Да и в долгах роздано... Берите. И еще заплачу, вернувшись из отпуска в полку...

Дурницын положил деньги на верстак, а чтобы кучка не рассыпалась и не упала, поставил на нее маленький рубанок. Жегачев удивился. Он никак не ждал увидеть таким состоятельным отпускного гвардейца.

– Будто все твои?

– Чьи же, Никон Гаврилович? Странно такое слышать...

– Откуда столько?

– Накопил.

– А из каких прибылей скапливал?

– Из разных... Неворованное, неграбленное... С вольных заработков... И к чарочке реже других прикладываюсь... Вино-то в роты покупаем куфами... В винной бочке можно какие хочешь капиталы утопить, а я не из таких...

– Это хорошо, Иван Потапыч, – мягче заговорил Никон и стал выбирать из широкой бороды мелкие стружки. – Запивошек я сам не люблю. Пьянчуг да закачуг и за людей не считаю. Нет такого молодца, чтобы радость себе сотворил из винца.

Смягчение на словах, но что окажется на деле? Никон уважительно поглядел на ассигнации, а дотронуться до них не захотел.

– А прибыли наши вот какие, – весело рассказывал Дурницын, – как свяжу государю, скажем, отменный султан белый или же черный – вот мне в руку и сто рублей ассигнациями. Не поленюсь – два свяжу – вот нам и двести целковых.

– Вон как... А ежели пять султанов сготовишь?

– Значит, пять сот целкашей положу себе в карман.

Суровый мужик только покачал крупной головой, насмешливо фыркнул:

– Ну и хвастун же ты, паря, а еще гвардия... Знать, и семеновцы в домовом отпуску умеют врать не хуже пикеров. Будто, кроме тебя, и услужить государю некому? Еще скажешь – государь за ручку с тобой здоровается? Ври уж заодно...

– Чего пока что с нами не случилось, того не случилось... Но и на это надежды нашей не теряем. А вот султаны только моей, и ничьей кроме, вязки государь носит. Потому что мои всех лучше. Мои султаны сразу делают голову всех выше!

– Не про твои ли султаны сказано: на параде – выше головы, а в сражении ниже задницы? – задирал опять гвардейца капризный, с характером мужик. – Да и на что царю столько много султанов?

– На то он и царь, – без обиды отвечал Дурницын. – А сколько у нас в Питере парадов-то? Смотров-то? Викториальных-то дней? К тому же всякие встречи и проводы высоких персон. Как парад – так новенький Семеновского полка мундир на государе, а раз так, то и султан государю на шапку требуется новый.

Никон опять покосился на деньги, но без большой подозрительности.

– Берите! Это я вам за дочь вашу Лукерию Никоновну! Даст бог, разживусь, отслужусь, может, какое прибыльное дело заведем...

– Как же я их возьму? Деньги твои, а не мои...

– За Лушу... За ваше любезное родительское согласие.

– А я согласия не давал... Кроме меня, у Лукерьи мать имеется.

– И Лукерье Никоновне желательно, чтобы до нашего отбытия в полку милостивое родительское соизволение последовало...

– На что соизволение?

– Хотя бы на помолвку, что равноценно родительскому благословению.

– Такое делается через сваху.

– За свахой не станет, но кратковременное пребывание в здешних приятных нашему сердцу краях заставляет нас самих себе поспешествовать, – старался Дурницын говорить, насколько только возможно, не по-деревенски, а по-городскому, что, по его расчету, должно было придать большую силу словам. – Берите же сей добровольно от всей нашей души приносимый презент, или же взнос.

Никон так и не дотронулся до ассигнаций, и Дурницын не хотел класть их обратно к себе в карман.

– Как хотите, Никон Гаврилович, а деньги я оставляю для вас, – твердо решил Дурницын. – В уповании на смягчение вашего доброго сердца. Не теряю надежды получить

себе желанное удовольствие с вашей стороны. Горячо желательно возвратиться к полку своему в полной уверенности на близкое исполнение вашей просьбы, чтобы я мог перед командирами заблаговременно испросить разрешения и все приготовить к прибытию Лукерии Никоновны, за которой я не премину явиться собственной персоной еще до истечения данного счастливого года.

Он поклонился и пошел из омшаника.

– Возьми, возьми! – настоятельно вслед ему прокричал Жегачев.

Дурницын не воротился. Чу, он уже шагает в сених. Жегачев взял с верстака деньги и поспешил за солдатом. Он выскочил к крыльцу с намерением вернуть солдата.

– Иван Потапыч, воротись! Так не делают. Я еще пуще осержусь.

Дурницын не воротился.

Никон постоял на проулке. Вскоре показался другой отпускной семеновец – Жикин, возвращавшийся из гостей от родни.

– Захар, скажи на милость, – остановив солдата, спрашивал Никон, – у вас в Семеновском полку, зная, разбогатели?

Догадливый Жикин понял, что за этим спросом кроется.

– Это все зависит от того, у кого какие руки: к одним – денежка липнет, а с других – водой скатывается. Я не считаю себя богатым, хоть и не нищенствую.

– А вон у Дурницына, по всем видам, в кармане завелось?

– Не считал, не знаю, – резковато отвечал Жикин, не любивший злословья и сплетен и никому не завидовавший. – Дурницын, чай и сам знаешь, от скуки мастер на все руки, умеет выгодные подряды искать... Ну и зашибает во время отпусков... К тому же он у нас с некоторых пор – ротный виночерпия, винцо доставляет, винцом угощает, сам чарочки наливает, сам и денешки считает, а ведь счет счету рознь...

– Вон как, значит, как бы привилегию имеет перед другими? – И Никон всей пятерней начал чесать затылок. – Как бы кабатчик полковой?

– Не полковой, а всего-навсего – ротный!

– Выхлопотал?

– Повелением самого государя поставлен, на что и государев билет имеет на беспрепятственную покупку вина, доставку и продажу в казарме... Не подумай, что я ему завидую, – вдруг изменил тон Жикин, – самая что ни на есть собачья должность – стоять около бочонка с вином, тут и честного вором назовут, особенно кому надсадишь... А народ-то всякий, есть и такие, что только оторвать да бросить, которым место не в гвардии, а на каторге...

Жикин махнул рукой и пошел своей дорогой.

Домовой отпуск кончился. Дурницын и Жикин вернулись в Семеновские казармы накануне викариального дня. Утром они вместе со всей государевой ротой молились в полковой церкви.

За завтраком в честь праздника каждому дано было по лишней чарке. Весело потекла беседа за чарочкой. Вернувшиеся из домового отпуска рассказывали о деревенском житье-бытье, о гощении у родни, о блинах, о встречах с друзьями, о проводах.

– А вот Дурницыну в домовом отпуску не повезло, – начал слегка подтрунивать над односельцом Жикин. – Такая белорыбица с соболиными бровями сорвалась с крючка! Да и крючок-то не простой, а серебряный. Словно чудо-рыбка, плеснула по воде золотым хвостом и ушла в океанские глубины.

– Разве село ваше на берегу океана? – важно и несколько высокомерно спрашивал Грачев.

– Ну, хоть, скажем, на волжском берегу, все равно сорвалось сватовство, – продолжал Жикин, подмигивая Дурницыну, который даже начал краснеть.

– Завлечь девку не сумели, какие же вы семеновцы, – стал дружески бранить их Грачев.

– Как раз завлечь-то сумели, да не сумели отца завлеченной уговорить. Уперся – и не дает согласия, прямо неприступная крепость, а не человек, – с небольшим преувеличением расписывал Жикин.

– Это правда, Дурницын?

– Верно. Отец с матерью воспротивились, а она бы и не против, – признался Дурницын.

– Жалеешь?

– Ну, еще бы...

– Стоит того, чтобы кручиниться? – щурясь, допытывался Грачев, имея про себя какую-то лукавую мысль.

– Можно сказать, всю жизнь теперь будет сниться, – вместо Дурницына отвечал Жикин. – Ежели ее, скажем, нарядить, как вот эту графиню, что с тобой водилась, то в украшение всей государевой роты такая невеста! Ей-богу, не вру! И как только в нашей глуши расцвела такая пава с черными бровями.

И тут Грачев поверил, что с ним не шутят. Он спросил, как зовут невесту, как зовут родителей, где они живут, в какой губернии и в каком уезде, и на каком положении находятся: обеленные, черносошники, дворцовые. Дурницын все ему рассказал и спросил:

– А на что тебе, Грачев, про все про это знать?

– Хочу помочь твоей беде!

– Моей беде? За столько-то верст? – удивился Дурницын.

– Это уж моя забота, – великодушно повел рукой Грачев, – я, может быть, как ведьма на помеле, ночью на моей фузее через трубу вылетаю и до самого рассвета парю, где мне вздумается.

– Вон ты какой, – выпучил глаза Амосов.

– Неужели, как ты? – набивал себе цену Грачев. – Под облака забираться не боюсь, когда кресты подымаю или трубы чищу. Значит, высота – моя родная стихия, как для птицы. – И к Дурницыну: – Готовь обмывку! Уж ежели я возьмусь сватать, то сосватаю, найду девку даже, если ее под землю спрятают. Жди, Дурницын, приятных вестей и проси заранее у командира полка семейный покой. Да посветлее и потеплей! Чтобы молодая не замерзла и не отсырела в наших казармах. Хороша, говоришь, Жикин?

– Прямо – розан-цвет.

– А не боишься, Дурницын, приводить такую? Сразу все бродячие фельдфебели станут глаза пялить на чужое богатство, – лукаво подмигивал Грачев незадачливому жениху. За него поспел с ответом Жикин:

– А такому фельдфебелю можно и в рыло, а то и прикладом. И такое в полку случалось. Любовь не рукавицы, она самым богом для одних рук предназначена.

– Жди, Дурницын, хороших вестей! – обещал Грачев. – Я знаю, с кем совет держать!

9

Под горой, на лугу, одними концами к реке, другими – к яровому полю, белелись разостланные холсты. Беленье тканей было в полном разгаре. Бабы в длинных сарафанах сошлись под вербой и запели песню. Только Луша сидела в стороне над кручей и швыряла в омут камушки. Они, булькая, шли на дно, оставляя после себя на зеркале воды постепенно исчезающие круги. Она вспоминала о Дурницыне и мечтала о Питере, которого даже и на картинках ни разу не видела.

Какие приятные слова говорил солдат Семеновского полка, когда провожал ее на заре до крыльца, а как ушел из села, так и забыл – никакой вести о себе не подает; знать, нашел другую, городскую.

Ополднях еще раз искупали в реке холсты, перевернули и отправились обедать.

Вернувшийся из поля отец сидел на пороге и вытряхал из калиг землю.

– Ну, Лушка, – сказал он, – нынче по вечеру к нам сват будет. Чтобы все было по чести, как у православных христиан заведено, и моление, и хлопанье пирогом о пирог.

У Луши подкосились ноги. Она испуганными глазами смотрела на отца, не зная, что и отвечать ему.

– Чего испугалась? Дело к тому идет! Не в девках же вековать! А о гвардейце выкинь из головы, не хочу я отдавать тебя далеко на чужую сторону, – говорил отец, окончательно решивший судьбу дочери. – За Андрона отдадим. Он не уступит Дурницыну.

Луша покорно поклонилась отцу и, чтобы не выдать слез, поспешила в горницу.

Никон за обедом сказал Лушиной матери:

– А ты научи ее, как при сватах вопить, чай, не забыла, как сама вопила, сидючи у жернова.

– И вовсе не у жернова я вопила, а сидючи в теплошке, – отвечала жена, – только какое ж то было вопление, одно представление да игра, я не помнила себя от радости, потому что ты был мой ряженный, мой суженый.

– На красной горке и свадьбу отпразднуем, – решил отец.

У Луши огнем горели щеки, ей хотелось убежать из-за стола, скрыться из села, но она и тут продолжала покорно молчать.

Отец велел работу на лугу кончать пораньше. Еще солнце плавало выше рощи, а Жегачевы поклали на вешала полотна и перенесли их в клеть.

А как свечерело, Никон зажег свечу перед иконами, начал молиться. И вся семья последовала его примеру. Он молился и говорил, глядя на божницу:

– Дай, господи, по-доброму святое дело зачать, так же и кончить. Как хмель вьется вокруг тычины, так бы и мысли ее вились вокруг хорошего человека, что облюбовал я себе в зятя, а дочери любезной в мужья.

Будто тяжелые камни падали отцовские слова.

Луша молилась, думая совсем не о том, о чем помышлял ее властный отец.

В это время вошел остроносый с беглыми черными глазками сват в черной мерлушковой до кожи истертой шапке, в буром домотканого грубого сукна кафтане, подпоясанный кумачовым кушаком с кистями.

– Мир дому сему! – заговорил бойкий сват от порога. – Дом – гнездо, отец с матерью – лебедь с лебедицею, дети – лебедята с лебедушками. Отлетала лебедушка из гнезда родительского вместе со стадом лебединым, разметала буря стадо лебединое, приставала лебедушка к стаду серых гусей.

Луша вздрогнула, разгадав иносказание, не о лебедушке разливается сват-говорун, а о ней, о Луше.

Сват помолился от порога, вынул пирог из кулька, который положил к стороне, взял пирог за один конец обеими руками, прихватив вместе с пирогом и полу своего кафтана. Тут и Никон взял с противня такой же пирог и проделал то же самое.

Отец невесты и сват сошлись посередине избы, три раза хлопнули пирог о пирог, а затем поменялись пирогами.

Мать взяла Лушу за руку и повела к специально поставленному в горнице жернову. Дверь в горницу оставили открытой.

– Хороший сват – добрым людям брат, – похвалил Никон свата.

– Наше рукобיתье крепче камня-алатыря, – напевно отвечал сват, – на огне оно не плавится, от удара не колетя.

В это время из горницы послышался вопль сговоренной невесты:

– Светел месяц, родимый батюшка,
Красно солнышко, родима матушка!
Не бейте вы полу о полу,
Не хлопайте вы пирог о пирог,
Не пропивайте вы меня бедную...

Луша плакала не обрядным воплем, а настоящим, каким оплакивают непоправимое горе.

Одна песня вопленицы сменилась другой, а отец с матерью уже накрывали стол бердчатой узорной скатертью, чтобы омыть свершенное рукобיתье, что кончилось сговором.

За столом разговор повели о предстоящей свадьбе. Опять хвалили жениха. А Луша слушала и не могла унять свои слезы. Договорились, когда быть девишнику.

Воля отца решила дело. После сговора Андрон целые вечера коротал у Жегачевых. Отгуляли Лушины подруги девишник, назначили день свадьбы.

Уже сходились и съезжались гости с той и с другой стороны. Луше, перед тем как повести ее в церковь, расплели косу. Она не рада была ни подвенечному платью, ни

прозрачной воздушной фате. Прощание с девичеством ей представлялось таким же страшным, как расставание с жизнью.

Отец, довольный большим выкупом, что обещал жених, воротился от попа и сказал всем, кто был в избе:

– С батюшкой условились. Все ли готово к выводу?

– Все! – услужливо отвечала разбитная сваха.

В горнице толпились подружки, готовые с плачем проводить невесту в церковь.

В дом вошел бородатый бурмистр, только что вернувшийся из города.

– Никон, тебе письмо, из сам-Питера! Получай. А что в нем писано, про то не знаю.

Это было письмо из Семеновского полка. И писано оно было не на простой бумаге, а на веленовой, на казенной – на полковом бланке с изображением императорской короны и двухглавого орла, широко распахнувшего крылья.

Никон умел читать и потому не стал посылать за чтецом. В начале письма по всем почерпнутым из письмовника правилам передавались нижайшие поклоны до земли, пожелания здоровья и долголетия отцу и матери и поименно всей кустистой родне невесты, а уж затем начинался разговор о главном.

Вся родня с затаенным дыханием слушала Никона, сгрудясь вокруг него. Он читал вслух, некоторые слова разбирал с большим трудом, повторял по слогам.

– «...Служит у нас при славном Семеновском полку в государевой роте ваш земляк гвардии рядовой и кавалер многих знаков военного отличия Иван Потапыч Дурницын. Сам государь наградил его знаками отличия, а какими, то вам должно быть известно.

За всю свою службу был Дурницын бодрым и смелым и, можно сказать, самым безунынным человеком во всем полку, а из домового отпуска вернулся в большом душевном сокрушении, опасном для его здоровья и продолжения государевой службы, что и самим государем с высочайшим прискорбием вскоре было замечено, когда Дурницын стоял в карауле поблизости от царских покоев. И спрашивал царь-государь Дурницына:

– С чего ты, **мой** верный солдат, невесел, буйну голову повесил?

Отвечал ему ваш земляк правду-истину.

– Ваше величество, жениться хочу, но не получается.

– Отчего же, солдат?

– Находясь в заблуждении, отец невесты не хочет отдавать свою дочь за твоего солдата, государь.

– Почему же не хочет?

– Опасается, знать, что дочери его жить с солдатом будет плохо.

И сказал на это наш благословенный царь-государь:

– Вся Россия о том ведаёт: Семеновский полк – это мой полк. Нынче гвардии солдаты, как холостые, так и семейные, живут справно, а скоро станут жить и еще справней. И мне крайне прискорбно слышать о том, что среди моих верноподданных селян нашелся такой себе и дочери своей добра не желающий отец или малорассудительный гордец, который не захотел выдать дочь свою за лучшего всей государевой роты солдата, то есть, как бы не пожелал состоять в наидальнейшем со мной, с государем, в свойстве и в некотором родстве. Знать, не подумал тот крестьянин, что я как-никак шеф полка! И мне не безразлично, кого себе в жены берут мои отборные усачи».

Луша и ее подружки, не переводя духу, трепетно замерли у открытой двери в горницу, слушая столь потрясающие необыкновенные новости. Никон так разгорячился, что казалось, вот-вот и от него начнет валить пар. Порой он терял строку и с опасением взглядывал на строгую царскую корону и еще более строгого когтистого орла. И опять читал.

– «...Как бы для ради пущего утешения подарил государь Дурницыну дорогую память, какую досель еще ни одному гвардейцу не даривал, – собственную табакерку, которой и цены нет, и утешил пострадавшего приятными словами.

– За такого, как ты, молодца невесту тебе я подберу в два счета: хочешь – дам роду крестьянского, хочешь – дворянского. И чин тебе, хоть сейчас, офицерский дам. Сам на твоей свадьбе о правую руку сидеть буду, полковникам прикажу служить тебе дружками, а генералам – тысячниками.

– Не род, государь, дорог, любовь дорога.

Еще больше похвалил государь Дурницына и посоветовал:

– Нынче же пиши письмо невестиним отцу с матерью, разрешаю тебе увещевать их моим государевым именем, чтобы они, наконец, поняли и в толк взяли, мол, сам царь-государь сватает за своего жениха любезную дочь вашу Лукерию Никоновну, сватает за примерного солдата и кавалера и по русскому обычаю молится святым иконам, бьет полую о полу, хлопает пирогом о пирог и просит родительского согласия и благословения... А какой ответ отец с матерью дадут на мое царское сватовство, ты, солдат, не мешкая, по начальству доложишь мне рапортом. Судя по ответу, будет и наше царское благоволение.

А верным и первым свидетелем тому разговору был сам генерал-адъютант и командир наш бессменный Потемкин.

Писали же сие письмо по повелению генерала нашего и с согласия земляка вашего Ивана Дурницына каптенармус Зудин и фельдфебель Брагин.

И за сим ждем вашего желательного ответа, как соловей лета, и горячо надеемся на то, что ответом своим вы не огорчите высочайшего свата и нашего шефа и не опечалите роты государевой лучшего солдата, который от несчастной любви и умереть может, что и случилось с некоторыми в других гвардейских полках, а не в нашем».

Письмо, составленное чуть ли не целым капральством, оказалось сильнее сговора и помолвки. Никон не дерзнул поступать вопреки желанию высочайшего шефа Семеновского полка, в истинности же всего писаного он не сомневался, потому что знал: гвардейцы неправдой не живут.

Все остановилось. Никон отказал Андрону, сославшись на письмо. Да теперь и сам Андрон не желал идти наперекор воле государевой.

Венчанье не состоялось. Гости разошлись и разъехались. Не теряя даром лишнего дня, Жегачевы всей семьей, всей родней послали ласковое письмо в Петербург земляку Ивану Дурницыну, в письме том выражалась полная покорность воле императора и готовность, если только приведется, упасть к ногам властителя и в слезах просить у него прощения за то, что неразумием своим мужицким Жегачевы причинили печаль не только гвардии солдату, но и самому государю.

И стали думать о том, когда и с кем проводить дочь в дальнюю дорогу, или же лучше всего – самим отвезти?

О царском сватовстве весть облетела весь уезд и пошла гулять по всей губернии.

10

Командир полка генерал-адъютант Потемкин распорядился устроить гвардии рядовому Дурницыну веселую свадьбу. Полковой казначей получил приказание не скупиться в отпуске денег на угощение и подарки новобрачным. Артельная казна тоже раскошелилась. А каптенармус, любивший гульнуть, показал чудеса ловкости в подготовке свадебного пира, на котором будет гулять вся государева рота, а возможно, веселье так разгорится, что и весь полк получит по заздравной чарке. Генерал Потемкин обещался присутствовать не только на венчании, но и взять на себя роль посаженного отца на пиру.

После венчанья вся государева рота собралась в трапезной за накрытыми столами. Обрученных встретили у порога по всем обычаям русской свадьбы. Каптенармус Зудин осыпал их серебром и отборной пшеницей. Для новобрачных за артельным столом отвели место в красном углу, там, где обычно садился генерал с офицерами.

Первую здравицу провозглашал Потемкин. Он призвал солдат, семейных и несемейных, и всех офицеров, собравшихся здесь, осушить чарку до дна в честь благополучия и счастья солдатской семьи Дурницыных. Генерал первый чокнулся с Дурницыным, затем с его застенчивой супругой. Его примеру последовала вся рота.

Свадьба отмечалась пированием и во всех других ротах. И там в артельных столовых нынче было так же шумно и весело. Пиршество как бы стерло грань, отделявшую солдат от командиров. Ведь бывалые солдаты Семеновского полка по своему общему развитию ушли далеко вперед не только от армейских солдат, но и от солдат других гвардейских полков. И многие из рядовых семеновцев с успехом могли вести разумную беседу с образованным офицером.

Здравицы следовали одна за другой. И как уж водится, чем веселее становились пирующие, тем чаще раздавалось:

– Горько!

Молодые знали, как за свадебным столом горькое чудодейственной силой поцелуя вдруг превращается в сладкое.

При каждом таком возгласе Дурницын, улыбнувшись и поправив отлично причесанные усы, вставал, вежливо кланялся невесте, тем самым просил и ее встать, обнимал и по-гвардейски крепко целовал. И каждый поцелуй сопровождался веселым шумом, порой рукоплесканиями. Сказоватые говоруши из унтер-офицерских и солдатских жен сыпали притчины и присказки, делая поцелуи и здравицы еще более сладкими и звучными.

Ото всех пирующих рот одна за другой приходили солдатские посланцы с поздравлениями и подарками. И с каждой такой депутацией растроганным вниманием и заботой однополчан новобрачным приходилось сдвинуть полные чарки.

Из 5-й фузилерной роты депутацию, в которую вошло по человеку от каждого капральства, привели фельдфебель Ащепков и лучший стрелок роты Сергей Торохов, прозванный Арапом за черные кудрявые волосы и желтые ладони. Ащепков так подгулял, что даже забыл, как зовут жениха. Он долго и бессвязно поздравлял и до того запоздравлялся, что, не стесняясь присутствия генерала и офицеров, приказал Торохову:

– Я начал, а ты, Арап, закончишь! И чтобы поздравление нашей 5-й фузилерной было всех лучше... Не выступишь – на губу посажу. Пей-ка, на дне копейка! Еще попьешь – грош найдешь!

Торохов не подкачал, он поздравлял чету с законным браком весело, остроумно, цветистыми словами, что вобрали в себя краски многих простонародных обрядов и праздничных гуляний.

Его поздравление набегало на пирующих волнами и каждый раз сопровождалось одобрительным смехом, что еще больше возбуждало балагурский пыл. Отдав должные почести жениху с невестой, он взял под обстрел дружек: фельдфебеля Брагина и рядового Амосова, сидевших за столом в самодельных из соломы высоких и островерхих «королевских коронах».

– Короли-королевицы, королевские шапки носите, но мозгами шевелите! Дружка-молчун за свадебным столом – все равно, что пень за селом. Ешьте, пейте, да свое дружеское дело разумеите. Слово золотое разменяйте на серебро, серебро – на медь! Господам командирам нашим верным воздайте честь золотым словом, жениху с невестой серебряным, а мы, честные гости, холостые и женатые, и на медном слове не обидимся, только бы было оно звонкое и катилось скатным жемчугом по зеленому сукну, по красному бархату. Жить вам да молодеть, лет до ста не стареть!

Ащепков преподнес жениху новый ремень с блестящими пряжками, а Торохов одарил невесту серьгами и янтарными подвесками.

А из посланцев от 2-й фузилерной роты отличился Никифор Чистяков, обладавший сильным голосом и потому слышавший лучшим запевалой в полку. Он отважился в поздравительной песне сказать смелое слово о генерале. Сидевший рядом с генералом Потемкиным командир 1-го батальона полковник Иван Вадковский вдруг обеспокоился этим поздравлением – не обиделся бы генерал.

Никифор, подав на блюде итальянский расписной плат невесте, запел могучим голосом:

Ой у нас ли во горнице
Разыгрались князя-бояра;
Молодые-то распотешились;
Генералы-то хвалятся:
«Ой у нас ли полки на руках!»
А Иван-то наш сударь хвалится,
А Потапыч-то – сударь хвалится:
«У меня ль жена хороша!

У ней поступь павлиная,
У ней речь лебединая:
Она пойдет – накормит меня,
Слово молвит – утешит меня».

– Молодец, Чистяков! Песня надо б лучше, да нельзя! – первым откликнулся генерал Потемкин и тем самым враз развеял тревогу командира батальона.

Одобрение генерала прибавило молодецкой удали и подлило масла в веселье. Солдатские души почувствовали себя раскованными, у людей развязались языки, обрело крылья воображение. Слушая песни и блещущие юмором поздравления, можно было только приятно дивиться тому, сколько же ума, сообразительности и настоящего таланта таится в этих людях, которыми так часто многие и многие офицеры высокомерно пренебрегают, которых мундиры и амуниция внешне сделали похожими одного на другого. Но эта внешняя похожесть не убила различия в характерах.

Фельдфебель Брагин в продолжение всего застолья почти не сводил глаз с Луши. И чем чаще он на нее взглядывал, тем больше ему хотелось смотреть в ту сторону. Глядя на невесту, он ощутил в себе чувство зависти к Дурницыну. Солдатская жена была из числа тех русских женщин, о которых издревле говорится: и собой сверстна, и умом красна. Такая и компанию офицерских жен своим присутствием может украсит.

Брагину захотелось чем-то отличиться. И в мыслях его уже созрело все, что он собирался сказать в почесть новобрачным, но воздерживался начинать в присутствии генерала: побаивался – не занесло бы слишком далеко.

Напевшись и наслушавшись хороших песен, генерал уже ополуночи покинул казармы.

Его отъезд не потушил разгоревшегося веселья. На средину вышли в высоких соломенных «королевских шапках» Брагин и Амосов. Они считали себя обязанными перед женихом и гостями отплатить за почетное звание, возложенное на них. Амосов оказался находчивей и забавней фельдфебеля. У него все получалось кругло, ясно, весело. У Брагина же, как он ни старался, так не выходило.

Но вот унтер-офицерские и солдатские жены запели любовные и величальные песни. И на душе у всех сделалось так хорошо, так светло, так чисто. В песнях, сменивших одна другую, слышалось разное: и безудержная удаль, и кипящая радость, и неизбывная печаль. И все же мелодические напевы вечно не стареющей народной поэзии и музыки являли собой подобие сказочного очистительного пламени, проносясь сквозь которое, душа освобождается от всего ничтожного, мелкого, пошлого.

Давнишние друзья Дурницына – солдаты Преображенского полка Осип Капряев и Емельян Сокочрев удивили всех такой вихревой пляской, какой еще от дня своего сотворения не видел Петербург. Они оба, словно бесы, работали ногами и руками. Будто ветром, взметало подолы сарафанов и платьев на унтер-офицерских и солдатских женах.

Уже занималась утренняя заря. Пирующие не торопились расходиться по казарменным покоям: распоряжением Потемкина учения были отменены на два дня.

Хвативший через край Амосов в одном мундире вышел проветриться к ротным воротам. Все белело от снега. И в небе догорали последние бледные звезды. Сотни белесых столбов поднимались ввысь от печных труб. Город просыпался и спешил согреться дровяным теплом.

Амосов, столкнувшись с Никоном Жегачевым у казарменного крыльца, чуть не со слезами упрасивал невестина отца:

– Понимаешь, милый человек, и я хочу жениться. И мне обещали семейный покой... А невесты нет... Понимаешь, милый человек... Невеста, она, может, и есть, но она мне разлюбилась. И приданое есть... Купеческая дочь. Не помню, какой гильдии, а гильдейская. Ей-богу, не вру, не любя она мне... Хочу такую же, как у Дурницына. У вас все такие крали? Павы?.. Гвардии нужны настоящие павы, а нам, государевой роте, тем и наипаче... Привези и мне такую же! Еще лучше привези! Привезешь? Скажи – уважишь? Я сам съезжу, только укажи, как проехать к вам в село. У Дурницына генерал гулял, а на моей свадьбе сам царь, и

императорское величество, собственной персоной прибудет... Не веришь? Спроси фельдфебеля, как я служу...

Он тыкался привздернутым носом в плечо строгому Никону, который смолоду и вину, и веселью знал меру. Порой просьбы хмельного фузилера превращались в несвязное бормотанье, и Никону хотелось оттолкнуть его от себя.

– Лейб-гвардия, а большого ума не вижу, – шевеля высоким плотницким плечом, неласково говорил Жегачев, – или пропил? Что ты тычешься носом в мое плечо, равно глупый теленок бабе в подол?

– Мил человек, в нашем полку служить можно. Мил человек, гвардия... Понимаешь? Все мы – царевы. А царь – наш главный командир. И никто кроме. А у него денег..... Вишь, все эти казармы для нас и вон те ахвицерские флигеля – все он сам... На свои денежки. И церковь, и конюшни. Словом, все его.

Никон кое-как отвязался от Амосова. Солдат, оставшись один, положил руки на коновязь, голову склонил на руки и долго кому-то жаловался на купеческую дочь, которую он вдруг разлюбил.

На крыльце в шинелях, накинутых на плечи, курили трубки фельдфебеля Брагин и Ащепков и с ними миролюбивый унтер-офицер Мягков. У всех у них пошумливало в голове, у всех было приподнятое настроение.

– Хорошую жену бог дал Дурницыну, – сказал Ащепков Брагину. – Вот бы тебе такую-то в твой фельдфебельский покой... А?

Брагин ничего на это не сказал, лишь прилежнее начал сосать трубку: из нее сначала полетели искры, затем вспыхнул лепесток синеватого пламени.

– Ничего бы, – отвечал вместо фельдфебеля унтер-офицер Мягков. – Дурницын рукодел, у него семейная жизнь пойдет на лад. Он и в гуртовом подряде от лучших не отстает и одиночную работу чище прочих сделает.

– За такой молодой да завлекательной женой надо глаз да глаз, – бубнил себе под нос Ащепков, – а то закатится муж с артелью гуртовой подряд работать, а жена без него пригорюнится, а поблизости молодой сержант на часах стоит...

Докурив трубки, они вернулись в столовую, где все еще продолжали петь, плясать и веселиться.

Два дня государева рота гуляла свадьбу, а на третий день снова маршировала на полковом плацу.

11

В посеребренной инеем киверной шапке и с заиндевелыми усами затемно вернулся довольный Дурницын к себе в семейную камору. В медном подсвечнике неярко горела оплывшая свеча. Было тепло, уютно и чисто.

Луша, увидев воротившегося мужа, оставила подушку с кружевами и коклюшки и поспешила ему навстречу, чтобы помочь снять шинель.

– Поди, замерзли, бедняги?..

– Мы-то? И не в такие морозы приходилось маршировать.

Луша не успела помочь ему, он уже стряхнул шинель с плеч.

– Ужин готов.

– Ужин не нужен, была бы ты рядом со мной! Вот погрей-ка руки мои... Сам-то я не озяб, а руки прихватывает к ружью. Знамо дело, железо оно и есть железо...

Дурницын поцеловал Лушу и приложил стылые руки к ее подмышкам.

– Вот где тепло-то!

– И завтра пойдете морозиться? Неужели командиры не сжалятся?

– Завтра я свободен от строевых занятий. Приказано заняться словесностью с новоприбывшими, – отвечал Дурницын, не вынимая рук из-под горячих подмышек. – С непонятливыми буду повторять. Долбить буду то же да про то же. С чего, ты думаешь, непонятливость бывает? Все от безграмотности. Люди грамотные – люди памятные. Плохо служить тем, кто грамоте не умеет. Они как без глаз.

Дурницын сел на деревянную кровать, накрытую голубым покрывалом с разводами. Бросил локоть на белую горку подушек под кружевными накидками. Луша, хотя он и

противился этому, опустилась на колени и стала освобождать его натруженные ноги от башмаков с обледенелыми каблуками и от стылых ботфорт. Она сняла с его ног холщовые портянки и шерстяные чулки и начала руками оттирать плюсну.

– Они ж у меня не замерзли, только стосковались по вольготности. У солдата и душа и ноги тоскуют об одном и том же. А вот простым человеческим шагом, не гусиным и не церемониальным, пройти по полу, ай как приятно! Ну, прямо одно удовольствие.

Он прошелся туда-обратно по цветистому половику и опять сел на кровать. А она продолжала стоять на коленях у кровати, положив себе под ноги из разноцветных тряпочек сшитый коврик.

– Что это ты нынче, будто грех какой замаливаешь, все на коленях да на коленях? – сказал он и погладил шершавой ладонью ее гладко причесанную голову с длинной, ниже пояса косой.

– Не грешна я перед тобой... А мне так-то лучше. Сам бог велел жене быть ниже мужа своего, – отвечала она.

– Это только тогда, когда жена недостойна стоять вровень с мужем своим, – поправил он алую ленту на ее частоплетной трехручейной косе. – А достойная жена – мужу ровня и в делах его верная советница и помощница. Вот и ты будь такой же.

– А другой я и быть не желаю... А что это за словесность?

– Проще сказать, долбежка! Наизусть надо знать весь солдатский катехизис, или же солдатскую памятку, – стал разъяснять Иван. – Он у меня в зубах навяз, я его, словно отче наш, без запинки барабаню, а другим ах, как трудно дается. Ну прямо сущая каторга, да ежели на такого бедолагу грубо накричать или тесаком его ударить, как часто случается в других полках, то такой новобранец при первой же возможности убежит. Вон в Егерском полку сколько утекших и самоубиенных. У нас же в Семеновском, бог миловал, вот уж который год ни одного побега, ни одного самоубийства. Сколько трудов стоит заучить всех особ царской фамилии, братьев и дядей государя! Сколько их, прикинь-ка! И о каждом нужно резать без запиночки! А кроме персон царской фамилии, начальствующих лиц прорва! Целая столица! Вот и мотай солдат себе на ус каждого начальника. Для инородцев же словесность превращается в ту же экзекуцию. А ведь сколько попадает новобранцев, не знающих нашего языка. Прямо иной раз, глядя на них, слезой исходишь и рад душу свою заложить, только бы спасти людей от мучения. Инородцам ах, как тяжело приходится. Беда солдату, особенно в столице, хоть и на улицу не показывайся, сколько всяких начальнических и генеральских рож ездит по улицам, вот и угадай солдат, что за рожа, что за харя появилась перед тобой.

Луша угощала Ивана ужином собственного изготовления и больше всего опасалась, что ее ужин после артельного котла солдату покажется невкусным. Но Иван с большим аппетитом опорожнял оловянное блюдо щей с бараниной и миску гречневой каши с жареным луком, вдобавок выпил полжбана хлебного квасу, принесенного из артельного погреба.

Убрав со стола, Луша сняла витыми щипцами липкий черный нагар со свечи, подвинула подсвечник поближе к подушке с недоплетенным кружевом и принялась за свое рукоделье. Иван на низенькой скамейке грел спину, прислонившись к теплой печи, а сам свиным клыком наводил лоск на ремни амуниции.

– А фельдфебель Брагин вот уж целую неделю сказывается хворым, а по-моему, он придурается, – негромко рассуждал Иван, – вихлеватый какой-то... Скоро предстоит смотр, а он вздумал хворать.

– Какой же он хворый, вовсе не похож на хворого, – сказала Луша.

– Где ты его видела?

– Воду несла, в коридоре встретила.

– Ну, в коридоре-то ладно.

– Он и сюда заходил.

– Пошто?

– Спрашивал какую-то памятку, что тебе давал. Просил порыться в твоей коробье, а я не стала, говорю, вот сам с учения вернется, тогда и приходи.

– Я давно возвратил ему его памятку. Я и без его памятки все помню назубок. Нечего ему здесь делать, – с неудовольствием на лице проговорил Дурницын и надолго замолчал.

Луша заметила изменение в настроении мужа. Она зарделась, будто за ней была какая-то вина перед супругом. Уж такова была с малолетства ее натура: малейшее неудовольствие с чьей-либо стороны или замечание, сделанное ей, повергали ее в смущение, а иногда и в слезы.

– Он же фельдфебель, к тому же гулял у нас на свадьбе, как же я могла не пустить его? – виноватым голосом оправдывалась Луша.

– Я тебя не виню, я виню его; он знает, что в каморы к семейным в отсутствие мужей ходить не позволено. Не принято. Не заведено. На этом мир, порядок и благопристойность прочно держатся, – двигая насуспенными бровями, напомнил Дурницын.

Он принялся белить перевязь. Выбелил. До блеску вылощил зубком, затем кожу на суме воском натер с лоском и герб вычистил с блеском, в башмаки, учитывая круто завернувшие морозы, положил свежих охлопочков и по горсти соломы. В своих всегда заботливо обихоженных башмаках он в любую погоду на марше не отстает от самых прытких.

И только когда все привел в порядок, велел Луше разбирать постель и погасил свечу.

12

С вечерним ежедневным рапортом по полку, вместо дежурного капитана, нынче во дворец приехал сам генерал Потемкин. И для этого у него была основательная причина – он доставил сюда государев заказ.

Царь в черном мундирном сюртуке со светлыми пуговицами шагнул от стола навстречу генералу и встретил его с неизменной обворожительной улыбкой. Царь был в хорошем настроении и первым заговорил приветливо, положив руку на плечо Потемкину:

– Вы, Яков Алексеевич, все хорошеете. И это очень и очень приятно. Люблю видеть вокруг себя все цветущее и плодоносящее! Садитесь, любезный друг, садитесь...

– Ваше величество, я с превеликой радостью всегда готов поделиться с вами моим цветением, если это только возможно, – нашелся генерал, державший в руках шикарную картонную коробку, накрест перевязанную шелковой голубой лентой. – Если генералы – ваши живые цветы, то вы, ваше величество, заботливый, умелый, искусный садовник!

– Спасибо, спасибо... Вы, как и всегда, в карман за словом не полезете, – покровительственно улыбнулся царь. И выражение его округлого лица стало еще привлекательнее. – Слышал, слышал о недавней веселой свадьбе в Семеновском полку.

– Свадебку гвардейскую, ваше величество, сыграли на славу! Жених-то ведь лучший солдат вашей государевой роты, тот самый знаменитый рукоделец Дурницын, что вот уже почти десять лет имеет честь вязать для вашего величества несравненные черные и белые султаны, увидев которые, умерло бы от зависти киргизское султанье. Государь, примите...

Потемкин извлек из коробки черный и белый султаны и не удержался от похвалы:

– Игрушка, ваше величество

Царь, взяв в руки оба султана, полюбовался на них.

– Да, еще никто так искусно не умеет вязать султаны для меня, жаль, что я до сих пор не знаю моего лучшего султанчика в лицо, надеюсь в скором времени познакомиться с ним.

– Он вынул из ящика стола двести рублей ассигнациями. – Вот ему по издавна установленному обычаю – по сто рублей за каждый султан. – Царь передал ассигнации Потемкину. – Видите, генерал, сколько он зарабатывает только на моих султанах. А ведь, поди, вяжет и для других?

– Султанчик Дурницын обслуживает только вас, ваше величество!

– Вот и неправду сказали, генерал, – дружески шутливо упрекал царь, – мой генерал-губернатор заказывает султаны у этого же султанчика. Я уж не говорю о моем друге – графе Алексее Андреевиче Аракчееве... Но я не взыскиваю на них: один – мой друг, другой – мой первый российский генерал-губернатор и большой любитель щегольнуть... И даже перещеголять кое-кого, но не будем вдаваться в подробности, – совсем к примирительной развязке свел царь весь этот разговор. – А за султаны спасибо! Но смотрите, чтобы султанчик слишком не разбогател и своим богатством дурно не повлиял на остальных.

– За этого солдата я ручаюсь, ваше величество. А это вот, ваше величество, молодая супруга султанчика, ныне солдатка-семеновка, прирожденная златопряха и златоткаха, вышивальщица и кружевница, – с вдохновением продолжал Потемкин, – обласканная в день бракосочетания всемилоостивейшим знаком высочайшего благоволения царицы, шлет ей в дар настольную скатерть и нижайше просит принять подарок.

– Яков Алексеевич, царице будет приятнее, если вы сами преподнесете подарок в руки ее величества.

– Рад, государь, исполнить!

Царь потряс серебряным колокольчиком. Вошел камердинер.

– Проводите Якова Алексеевича до покоев государыни.

Камердинер повел генерал, но царь остановил их у порога.

– Я сам провожу.

Он вместе с Потемкиным прошел в покои неизменно тихой, как бы от всего и от всех отрешенной Елизаветы Алексеевны. Она, укутавшись поверх плеч теплой, легкой, белого козьего пуха шалью, подвернув ноги, как девочка, смиренно сидела на тахте с журналом «Сын отечества» в руках.

– Лиза, – ласково начал по-французски Александр, – на минуту отбросим все условности... Потемкин – свой человек в кругу нашей семьи. Жена султанчика дерзнула прислать тебе в подарок вещь собственного изобретения. А что за вещица – скажет и покажет Яков Алексеевич. Прошу, царица, не отвергать сего простодушного знака признания солдатской жены.

Потемкин, галантно поцеловав высвобожденную из-под шали горячую ручку бледнолицой, изящной Елизаветы, развернул перед ней полыхающую яркими красками льняную замысловато украшенную вышивкой скатерть. По углам ее, вплетенный в многоцветный растительный орнамент, пламенел царский вензель, а в середине скатерти свободно распростерла огненные крылья летящая Жар-Птица. Она как бы спускалась на пиршественное застолье с золоченым подносом в когтях, полным зрелых плодов и ягод. Особенно удалась изобретательной искусной вышивальщице дышущая буйной народной сказкой Жар-Птица. Елизавета от души обрадовалась подарку и с удовольствием собственными руками накрыла полыхающей скатертью стол, затем сняла со своих хрупких плеч дорогую белоснежную козьего пуха шаль и вручила генералу с наказом:

– Передайте от меня изумительной вышивальщице. В России издревле любят яркие краски и в совершенстве постигли искусство их сочетания. Я знаю, русские чудо-мастерицы, как бы шутя, играючи, и сулянковые нитки могут обратить в золотую пряжу, а сулянковый холст облагородить ярче парчи. Тому примером служит привезенный мне в позапрошлом году моим супругом драгоценный подарок из-под Олонца, сумун – простонародный красный сарафан с воротником и откидными рукавами... Поблагодарите ее.

– Слушаюсь, ваше величество!

– Художница! Истинная художница, – ласково глядя беломраморной рукой скатерть, признательно и чистосердечно говорила царица. Царь лишь улыбнулся одними глазами, да вдруг передернуло его золотистые брови. Мгновение – и лицо его снова осветилось колдовской неотразимой улыбкой, которая многих вводила в заблуждение.

– Д-д-да-с... Жар-Птица... Настоящая Жар-Птица, – негромко и как бы сквозь стиснутые зубы говорил царь, стоя у стола. – Впервые вижу в натуре. Что это: заимствованная европейская сказка? Символ? Намек? Беспредметная выдумка? – Помолчал. – Лиза, а ты не боишься: не загорятся наши покои от ее огненных перьев?

– А на что в Петербурге имеется генерал-губернатор Милорадович и бравый брандмайор Добрончев? – улыбкой отвечала царица.

Александр с Потемкиным вернулись в царский кабинет. Они подробно обсудили состояние дел в полку. Беседа их протекала ровно и мирно. На прощание царь как бы невсерьез спросил:

– Почему семеновские офицеры редко показываются в большом свете? Их почти перестали видеть на великосветских балах, в богатых гостиных.

Потемкин развел руками.

– Очевидно, предпочитают заниматься учением, ваше величество.

Царь задумался, вглядываясь в лицо умеющего держаться с достоинством представительного генерала.

– Учение, Яков Алексеевич, дело похвальное. Я сам люблю учиться, – заговорил царь тем тоном, который заставлял собеседника подозревать в говорящем двоение мыслей в этот момент. – Обеденная артель среди офицеров все еще не нарушена?

– Изредка возобновляется, ваше величество, – хитрил Потемкин. – Офицеры по привычке бывалой иногда, например перед викториальными днями, складываются, чтобы иметь возможность обедать вместе.

– Бывают на артельных обедах только вкладчики?

– Не только вкладчики, но и все те, которым по обязанностям службы приходится проводить целый день в полку.

– Вот видите, Яков Алексеевич, уже ваша обеденная артель становится как бы подобием чего-то более просторного, – медленно, будто во сне, рассуждал Александр. – И вообще к лицу ли первому в гвардии полку какая-то бурлацко-ямщицкая мужицкая складчина? Артельщина? Не унижает ли все это высокого дворянского достоинства господ офицеров – представителей лучших древнейших российских дворянских фамилий? С солдатской артелью и складчиной еще как-то можно мириться, но складчина среди офицеров, не скрою, претит мне. – Александр утрачивал спокойствие и мирное настроение с каждым словом. – Такие артели – рассадники пьянства и картежничества...

– Государь, и то и другое из Семеновского полка давно изгнано, – уверял Потемкин. – После артельного обеда офицеры наши отдыхают: одни, как Муравьев-Апостол, сражаются в шахматы, другие, как полковник Ермолаев, читают громко иностранные газеты, и каждый следит за всеми происшествиями в Европе.

Александр не просветлел после такого объяснения.

– Это новость, генерал, и новость, ничего доброго нам с вами не сулящая, – поучал царь, уже хмурясь. – Боюсь, за чтением европейских газет мои офицеры забудут о ходьбе в три шага и перестанут учить солдат тройному шагу.

– Ваше величество, тяга современной гвардейской молодежи к знаниям – знамение века! – с подъемом сказал Потемкин.

– Неверно, генерал! – резко возразил Александр. – Это измышления недоучек семинаристов! Гвардейской молодежи излишек знаний просто вреден. Я люблю семеновцев, в каждом из них я готов видеть не просто преданного престолу солдата, но и родного брата, и, несмотря на это, живучую артель надо окончательно разогнать, а потом получше присмотреться к занятиям господ офицеров...

И после непродолжительной паузы симпатичное лицо царя опять оживилось, облагородилось обезоруживающей улыбкой, взгляд отечески подобрел, но за этой добротой таилось и нечто противоположное. Проводив до порога Потемкина, царь примерил султаны, постоял перед зеркалом. С полчаса разминался – ходил по просторному блестящему лаком кабинету и в мыслях рассуждал: «Стремление к знаниям – знамение века... Странно, весьма странно. Знание знанию рознь. Какая цель заставляет их учиться, складываться в артели, заводить библиотеки, наводнять казармы журналами и газетами на разных языках?»

13

Животворящий звон капли сливался с праздничным журчанием мутных ручьев на прямых петербургских улицах и просторных площадях. Солнце с каждым днем становилось щедрей и благодатней. Сухие ночные, уже не страшные полям и людям заморозки подсушивали изникающий снег.

По закате солнца морозец покрывал лужи и даже неугомонные ручейки хрупким ледяным стеклом. Чистый бодрящий воздух в городе и его окрестностях становился звонким и вкусным.

Сергей Муравьев-Апостол наслаждался прогулками в такие чудесные вечера. Они отправлялись обычно компанией: князь Щербатов, Римский-Корсаков, Тютчев, нередко к ним присоединялись Ермолаев и Кошкарлов. Иногда они, увлекшись беседой, уходили далеко на заставу по Московской дороге. Большинство, составляющее эту компанию, были членами Союза Благоденствия.

Нынче весь день Сергей Муравьев-Апостол, пользуясь тем, что был свободен от полевых занятий, посвятил переписке «Зеленой Книги» и переводу ее на французский; этот экземпляр он готовил для передачи проверенным и надежным людям, тоже офицерам, в Преображенский и Финляндский полки. Он, не разгибая спины, провел весь день за письменным столом.

Уже на склоне дня он кончил переписку, убрал оригинал и копию в квартирный тайник и прилег на софу, чтобы отдохнуть. С одним делом еще не кончено, а другое уже ждет его участия: все члены Корневой Управы Союза Благоденствия, а особенно полковник Федор Глинка и Павел Пестель настоятельно советуют Сергею Муравьеву-Апостолу начать работу по приему в союз штабс-капитана князя Ивана Щербатова, капитана Николая Кошкарлова, полковника Ивана Вадковского, полковника Дмитрия Ермолаева и самого командира полка генерал-адъютанта Потемкина, прослывшего за вольнодумца и смелого человека.

Слуга доложил о приходе капитана Римского-Корсакова.

– Зови, братец! – не подымаясь с софы, велел капитан.

Вошел болезненного вида Римский-Корсаков, здоровье которого оставляло желать лучшего, но он не хотел расставаться с военной службой, потому что считал – его уход будет во вред целям Союза Благоденствия.

Он присел на софу, около ног Муравьева-Апостола. Они заговорили об офицерах-однополчанах, по их мнению, вполне созревших для полного присоединения к тайному обществу.

– В Щербатове, Кошкарове, Ермолаеве и полковнике Вадковском я не сомневаюсь, – говорил Муравьев-Апостол, – мы все единомышленники! Я успел познакомить их с первой частью «Зеленой Книги»! Программу и цели наши одобряют! Трудней подбираться с этим предложением к генералу Потемкину. Правда, отношения у меня с ним превосходные! И уже о многом мы с ним беседовали, но генерал-адъютантский аксельбант иногда и с умнейшими людьми делает злую шутку. Вольнодумство на словах и битва за вольности на деле – вещи очень разные.

– Да, с Потемкиным спешить нельзя, хотя он и не аракчеевец, – согласился Римский-Корсаков. – Я сказал бы более, хотя он и непримиримый враг аракчеевщины. Или я не прав?

– Целиком прав! Дежурный генерал Закревский тоже враг Аракчеева, равно как и начальник Главного штаба князь Петр Волконский, но тот и другой к нашей дружине не подходят и никогда не подойдут.

– Я Закревского не понимаю.

– Таким сложным он представляется тебе?

– Да нет, не поэтому.

– Закревский вот каков: с либералами – он либерал, с аракчеевцами – замаскированный аракчеевец, в гостях у Милорадовича – второй рыцарь Боярд, а в целом он – там и с теми, где ему выгоднее в личных видах, – довольно точно и метко определил капитан молодого, быстро продвигавшегося по службе генерал-адъютанта Закревского. – Эгоизм этих господ очевиден. Я имел возможность несколько раз беседовать с ним в салоне у моей тетушки и в доме у адмирала Мордвинова, язык подвешен исключительно легко, но мыслей напрасно ждать.

– Верный кандидат в министры, члены Государственного совета и в пожизненные сенаторы, – подхватил Римский-Корсаков.

Оба они от души посмеялись, и не над одним Закревским.

– Все-таки на завтра я наметил первый разведывательный разговор с командиром нашего полка Потемкиным, – делился своими замыслами капитан Муравьев-Апостол. – Он обещал быть в гостях у моей тетушки Екатерины Федоровны Муравьевой в их собственном доме. Мы с Никитой уже несколько вечеров посвятили его обработке и пока что не жалеем потраченного времени. Словом, нам кажется, что генерал-адъютант Потемкин находится у порога Союза Благоденствия. И ежели он благополучно сей порог перешагнет, то это будет крупным нашим приобретением! Согласен?

– Вполне!

– А полковник Федор Глинка присматривается к собственному начальнику, генерал-губернатору Милорадовичу! Тоже орел! Хотя и другого размаха его крылья, – улыбнулся Муравьев-Апостол.

Вошел, опираясь на толстую палку, украшенную позолоченными кольцами, полковник Ермолаев. Он и теперь на вид казался былинным удалцом, хотя тело его было испытано многочисленными и очень опасными ранами. Все считали, в том числе и сам он, что выжил каким-то чудом. Одна его нога была сильно ослаблена ранениями и порой, особенно когда он волновался, начинала сдавать; в такое время он с большим трудом поднимался по лестнице. За ним упрочилась слава одного из лучших полковых командиров среди всех девяти штаб-офицеров. Его любили друзья, и все шестьдесят девять обер-офицеров Семеновского полка оставались самого лучшего мнения о Ермолаеве, хотя он временами, когда свободен от занятий, бывал гулякой и ёрой.

– А знаете, господа, вчера прилетели скворцы! – празднично оповестил он однополчан. – Я ночь провел на даче у малютки Оленина! Утром встаю, выхожу понежиться на солнце, и вдруг слышу высоко в ветвях божественную музыку чудесной нашей русской весны! Поет чета скворцов! Да так-то выводит, хоть умри от счастья! А через минуту слышу еще а капеллу в лазури – заливается парочка жаворонков! Настоящий весенний бал за городом!

– Почему только за городом? – улыбнулся Муравьев-Апостол. – Таким же звенящим чудом весны я наслаждался нынче утром в Летнем саду!

– Серьезно, Робеспьер? Коль так, то и совсем хорошо! Весна! Да здравствует российская весна! – воскликнул Ермолаев.

– И с республиканским испанским солнышком! – добавил Муравьев-Апостол. – Как на это смотрит наш полковник?

– Полковник на это упоительное желание смотрит точно так же, как и его верный друг капитан Сергей Иванович Муравьев-Апостол! – шумно отвечал Ермолаев. – Эх, господа, кого бы из наших полковых музыкантов, а их у нас, дай бог, почти двести душ в полку, послать в Испанию списать марш Риего! Да сыграть бы эту штучку у нас в Семеновском полку! Страсть люблю благородную музыку и благородных музыкантов.

– Лучше всего послать брата нашего полковника Ивана Вадковского! – сказал Римский-Корсаков.

– Вы имеете в виду Федора Вадковского?

– Да! Он прекрасный музыкант и превосходный сочинитель!

– А не лучше ли, господа, чтобы не тратить дорогого времени, заказать Федору Вадковскому сочинить наш собственный русский марш на манер марша Квируги и Риуги? – лукаво поглядел на всех Сергей Муравьев-Апостол.

– Наш Робеспьер Маратович Муравьев-Апостол всегда предлагает разумное и дельное, и за это я его целую в прекрасный Сократов лоб! – темпераментный Ермолаев, слегка подогретый винными парами, обнял и поцеловал капитана.

Распахнулась дверь, быстрыми шагами вошел подтянутый стройный капитан Кошкарлов в модном испанском плаще, одна пола которого поверх мундира была перекинута через левое плечо. Он был сильно возбужден, и на это обратили внимание.

– Господа, я прямо с дежурства из полкового штаба. С очень и очень неприятной вестью, – начал Кошкарлов. – Эй, человек, подай стакан холодной воды! Обязательно из-под колодезной трубы!

Слуга принес холодной воды. Кошкарлов выпил сразу два стакана.

– Гром среди ясного дня... Во всяком случае, я никак не ждал такого несчастья, – продолжал Кошкарлов.

– Капитан, природа ликует! Весна торжествует полную победу! Вселенная полна трелей пернатых, а вы ударились в меланхолию, – витийствовал Ермолаев.

– У нас отнимают командира полка Потемкина! – поразил всех поистине неожиданной новостью Кошкарлов.

Все повскакали, обступили Кошкарлова.

– Шутить, капитан?

– От кого слышал?

– Кого дают взамен?

– Кого дают – не знаю, но Потемкин уже предупрежден о предстоящей смене дел, – отвечал Кошкаров.

– А я в эту утку, господа, не верю, – весело сказал Ермолаев. – Кто-то отлил пулю. Пули отливают завистники, они свое затаенное желание хотели бы выдать за истину. Не может того быть, чтобы государь оказался таким непостоянным и непоследовательным в своих назначениях.

– Конечно, если такое распоряжение последовало, об этом ранее и вернее других должен знать полковник Яфимович, которому поручена вся внешняя часть полка. Пошли, господа, к Яфимовичу, – позвал Муравьев-Апостол. – Дело столь важное, столь озорчительное для всех нас.

– Господа, а чему удивляться? – начал Римский-Корсаков. – В прошлом году Потемкин назначен командующим 2-й гвардейской пехотной дивизией, одновременно был оставлен командиром нашего полка, и вполне возможно, что совмещение этих двух постов оказалось непосильным и он сам попросил государя об освобождении от Семеновского полка!

– Нет, подобного прошения Потемкин не подаст! – возразил Муравьев-Апостол. – Семеновский полк – его родное детище! И может ли быть для такого генерала-кутузовца в тягость командование первым полком гвардии, любимейшим государевым полком?! Просто невозможно подобное! Боевая слава Семеновского полка – слава и Потемкина!

И офицеры направились во флигель, где жил полковник Яфимович. Здесь они, кроме хозяина, застали и полковника Ивана Вадковского. Оба были опечалены тем же, что и пришедшие.

– Это правда, что у нас отнимают Потемкина? – спросил Муравьев-Апостол. – Или вернее: у Семеновского полка вырывают Потемкина?

– Как хотите, господа, судите, – с неподдельной грустью отвечал дородный и сильно раздужевший Яфимович, – нам предстоит проститься с нашим любимым командиром, под чьим доблестным водительством мы добыли в кровопролитных сражениях наши георгиевские знамена.

– И кого же обещают нам взамен Потемкина под наши пробитые сотнями пуль георгиевские знамена? – спрашивал с негодованием Ермолаев.

– Пока что неясно, – отвечал Яфимович. – Называют разных лиц, но это все гадательно. Потемкин нарочным приглашен зачем-то во дворец. Обещал вернуться в полк. Но что-то долго не возвращается.

– Не дали бы какого-нибудь аракчеевца, – возмущенно резал бурный Ермолаев, часто забывавший об опасности.

– Называют полковника Шварца, – сказал полковник Иван Вадковский, сидевший в вольтеровском старинном кресле с высоким заспинком, украшенным замысловатой орнаментальной резьбой.

– Вы шутите, Иван Федорович! – враз заговорили Муравьев-Апостол и Ермолаев. – Такого никогда не случится!

– Почему же?

– Потому что не может, нет, никак не может командовать первым полком гвардии, шефом которого является сам государь, какой-то никому не известный Шварц. Он всего-навсего полковник, даже не старший! – убежденно говорил Муравьев-Апостол.

– За старшинством дело не станет. Назначат и дадут звание старшего полковника, – свое доказывал Вадковский.

– Этого никогда не случится, – не уступал Ермолаев. – Семеновским полком может командовать только генерал и далеко не всякий. Мы не всякого примем и назовем своим!

– А кого бы вы приняли и назвали своим? – печально улыбнулся Вадковский.

– Вы, Иван Федорович, это знаете не хуже моего, – разгорячено и громче всех говорил немного тугой на одно ухо Ермолаев. – Генерала Милорадовича примем и назовем своим! Примем и Михаила Орлова, а брата его, например, Алешку Орлова, хамобеса, не примем. А вы тут еще с каким-то Шварцем лезете к семеновцам... И ежели этот Шварц не

полный идиот, то сам должен отказаться от такого назначения, потому что должен знать заранее, что его здесь ждет.

– А вдруг и Шварц окажется отличным командиром и порядочным человеком? – пытался внести успокоение в разгорающиеся страсти Яфимович.

– Шварц таким не окажется! Ни за что! – предсказывал Ермолаев. – Я много всего слышал от знающих людей о Шварце.

– Кто он и откуда?

– Из международных бездомных бродяг, из типичнейших ловцов счастья на земле русской, за счет русских и во вред русским, – ожесточался Ермолаев. – Ныне пишется в послужном листе, будто родом он откуда-то из Смоленской губернии, называет себя мелким дворянином, на самом же деле его дворянство насквозь фальшивое, как ассигнации у фальшивомонетчика. Он разбогател, попав в Россию, и с помощью одного лица, самого близкого к государю, приобрел себе аттестат дворянина. На самом же деле никогда и никаким русским дворянином, даже мелким, даже однодворцем, сей международный бродяга не был. Но он сделал одну услугу другу царя...

– Что за услуга?

– Об этом, господа, не спрашивайте, не настало время для ответа, но оно настанет, – продолжал Ермолаев. – Настанет! И вот этот так называемый смоленский мелкий дворянин говорит о себе, будто он происходит из обрусевшей датской семьи...

– Не забывайте, господа, Шварцу покровительствует сам Аракчеев, – напомнил Яфимович.

– Все равно не бывать Шварцу семеновцем! – не уступал Ермолаев. – Он тиран! Такого истязателя мир не помнит! В тех местах, где стоит Калужский полк, которым командовал Шварц, есть целые братские могилы, названные в народе «Шварцовыми могилами», а в них покоятся кости засеченных насмерть рекрутов и солдат. И как такое чудовище может дерзнуть предстать перед семеновцами? Что, господа, невозможно, то невозможно!

А генерал-адъютант Потемкин почему-то все не возвращался. Решили, что он изменил свое намерение и проехал из дворца к себе на квартиру.

Офицеры договорились завтра же навестить своего полкового командира на его квартире.

К концу дня весь Семеновский полк до дна всколыхнуло неприятное известие. Не только штаб- и обер-офицеры, но и все нижние чины и рядовые, строевые и нестроевые, горевали по поводу замены полкового командира.

14

В огромном деревянном дворце на Литейной, в адъютантской, перед массивными дверями кабинета Аракчеева вот уже второй час томился в напряженном ожидании полковник Шварц. Он приехал в этот вечно молчаливый чертог, чем-то напоминающий обиталище злых духов, ровно в шесть утра, чтобы получить драгоценное напутствие.

Адъютант позвал Шварца в кабинет к графу. Аракчеев стоял монументом посредине залы, обставленной громоздкой, тяжеловесной, но дорогостоящей мебелью. На нем был новый армейский мундир и армейские сапоги. Короткое туловище, длинные ноги и длинные руки, крупные кисти которых висели на уровне колен, делали всю его фигуру резко запоминающейся.

Граф свысока и вместе с тем покровительственно заговорил с полковником.

– Наверно, бранил меня, сидючи за дверью?

– Помилуйте, ваше сиятельство, разве можно, – угодливая улыбка изобразилась на чрезмерно полном, лоснящемся лице полковника.

– А ты не лукавь, а говори правду! – сразу одернул Аракчеев. – Ежели тебе было приятно сидеть истуканом за моей дверью, значит, ты дурак! Кому охота сидеть за дверью? Велико ли в таком случае удовольствие? А ежели еще раз соврешь или слукавишь, назову не только дураком, но и заместо Семеновского полка пошлю в Оренбургский гарнизон, а то и в Тобольск махну. У меня не заржавеет.

Шварц перепугался, увидев покровителя не в духе и даже в сильном раздражении, причина которого Шварцу оставалась неизвестной. Он попытался подстроиться под настроение графа.

– Конечно, ваше превосходительство, было слегка утомительно продолжительное сидение за дверью...

– И опять ты врешь! Не слегка утомительно, а надсадно до смерти! Так и говорил бы! Или и ты хочешь заделаться гог-магогой и бонжурой, вроде Потемкина и Милорадовича? Аракчееву служить – до дна правдивым быть. И ты не бойся, ежели друг царя Аракчеев назовет тебя дураком! Радуйся этому! И помни мою первую заповедь: будь ты хоть дурак дураком, да служи мне верой-правдой, как я служу императору, и всегда хорош будешь! Мне твой ум не нужен, у меня свой есть, пускай и считают меня гог-магоги необразованным, делай, что я велю!

– Рад служить, ваше сиятельство.

– Я тебя не спрашиваю: рад ты или не рад, мне это со стороны виднее, – оборвал Аракчеев. – А не станешь служить так, как мне нужно, разотру в пыль. Меня не только гвардия и армия, а вся Европа трепещет! И я не скрываю этого! Такое трепетание любимого государю – ангелу кроткому и благодетелю моему. А почему меня государь любит? Ну скажи, почему?

Шварц встал впень. Он пробормотал:

– За вашу верность и великие труды...

– Дурак! Труды трудами! Ко мне бог милостив – вот почему, а государь – ставленник божий! Посылаю тебя в Семеновский полк дурь из пустых голов выбивать! Выбьешь – генералом сделаю! Не выбьешь – свиней пасти пошлю. Помни: государь – шеф Семеновского полка, а я – шеф государя. Вот и соображай чебурашкой своей, кому ты служишь. Где руки, там и голова. Знаю, что ты не будешь воровать и брать взятки, а вот в отношении твоей жены сомневаюсь. Все жены – алчные мерзавки, и чем выше пост мужа – тем ненасытнее эти твари, произведенные творцом из змеинового ребра.

Шварц слушал и хлопал ушами, не зная, что и как отвечать грубому, но не лишенному ума и наблюдательности другу царя.

– Скажи, как ты собираешься ознаменовать свое появление в Семеновском полку?

– С посещения бывшего командира полка, – начал рассказывать Шварц.

Аракчеев пренебрежительно сморщился и махнул рукой.

– Пустое мелешь! Ежели хочешь, чтобы у тебя дело пошло как по маслу с первого же дня появления в полку, то возьми себе за утреннюю и вечернюю молитву мои слова: замри, душа, остановись, сердце! Вот ими и руководишься! Понял?

– Начинаю понимать, ваше сиятельство, милостивый государь!

– Так-то вот. Вчера во дворце был?

– Так точно, ваше сиятельство!

– С кем виделся?

– С великим князем Михаилом Павловичем!

– Получил наставление?

– Получил, ваше сиятельство!

– Сходственно ли его наставление с моим?

– Сходственно, ваше сиятельство!

– Я знал, что будет сходственно. – Он сел за стол и велел полковнику сесть напротив. – Мне не надо скороспелок. И государь в них не нуждается. Мы всех скороспелок из гвардейских полков повыбрасывали, а теперь по-настоящему с государем беремся за Семеновский полк. В нем скороспелка на скороспелке, бонжура на бонжуре. И ты с первого же шага покажи им всем свою цену, чтобы они знали, что за твоей спиной стоит три твердыни: великий князь Михаил, за князем – я, а за мной – сам государь император. Достаточно этого или мало?

– Достаточно, милостивый государь.

– И еще возьми себе, как заповедь, правило государя: решительно никому ни в чем не верь. Ведь государь правду говорит: люди – мерзавцы и не стоят того, чтобы жалеть их. Люди – навоз, и с ними считаются лишь дураки, которым никогда не бывать у власти.

Только власть раскрывает нам глаза на все ничтожество, подлость и мерзость людей. А подлецы и мерзавцы больше всего кричат о благе, о конституции. Но им нужно не людское благо, а власть! Вот мы тебя и облюбовали для дела нужного и неотложного: тебе предстоит разогнать скопище подлецов и мерзавцев, оказавшихся под гвардейскими знаменами Семеновского полка. Поезжай и приступай.

Из деревянного аракчеевского дворца Шварц поехал в Семеновские казармы.

15

Сияло солнце. На всем лежала печать разгорающейся дружной весны.

После вчерашней резкой размолвки с великим князем Михаилом Павловичем на душе у генерала Потемкина было скверно. Вчера он сказал великому князю, когда тот стал расхваливать Шварца чуть ли не как героя Бородина и Кульма:

– Я могу уступить не только Семеновский полк, но и пехотную дивизию, командовать которой назначен! Между мною и Шварцем нет ничего общего и быть не может, он герой плац-парадный, а я герой окопный.

Они расстались, сильно недовольные один другим.

Генерал Потемкин, кроме городской, занимал квартиру в одном из офицерских флигелей при Семеновских казармах.

Офицеры в полной форме собрались к нему на квартиру. Каждый испытывал чувство тревоги. Штаб- и обер-офицеры отдавали себе отчет в том, что устранение Потемкина из полка означает начало крайне нежелательных перемен.

– Не мы первые и не мы последние, – говорил капитан Муравьев-Апостол. – С Семеновским полком случилось то же, что и с Преображенским.

– В Измайловском и лейб-гренадерском такие же перемены, полезли вверх фредериксы, стюрлеры, – добавил Кошкаров, – вся плац-парадная нечисть всплывает на поверхность.

Всех удрученной в это утро выглядел Ермолаев, он был буквально потрясен всем, что случилось. Еще вчера он всей душой верил в незыблемость устоев в своем полку.

В это время в полукруглую просторную залу с широкими итальянскими окнами и с тремя дверьми, две из которых вели в квартирные покои, а одна в кабинет генерала, вошел полковник Шварц и уже в форме семеновца. Он прибыл, чтобы представиться по случаю перевода. Но его представление с первого же момента всем показалось более чем странным.

– Шварц?.. – в изумлении произнес Ермолаев.

– Он самый... Уже семеновец...

И на какое-то время наступила ошеломительная тишина. Шварц остановился. Он ни с кем не поздоровался, не подошел ни к одному из штаб- и обер-офицеров, находившихся здесь, не обменялся ни одним словом.

Офицеры смотрели на него, как на чужого и лишнего здесь человека.

Шварц стоял в стороне и ждал, когда кто-нибудь к нему обратится. Но не дождался.

Между тем из кабинета вышел Потемкин в полном парадном мундире при знаках отличия в голубой ленте через плечо. Он выглядел совсем молодо. Ему шел всего лишь сороковой год. Он, как и его друг Милорадович, слыл гвардейским щеголем, но это щегольство не затмило его геройства, блестяще и много раз проявленного во время войны. На его высокой и широкой, как у былинного Василия Буслаева, груди едва могли уместиться русские, австрийские и прусские знаки военного отличия. По происхождению он принадлежал к знатной русской дворянской фамилии. Потемкин любил роскошь и удовольствия, но жил не ради них. Он по праву считался едва ли не самым образованнейшим военачальником. Гвардия могла гордиться тем, что ее генерал удостоился звания почетного члена Оксфордского университета и доктора прав.

Статный, подвижный, отличного телосложения, легкий на ногу, он окинул взглядов собравшихся, всем улыбнулся, но не обратил внимания на стоявшего столбом в стороне Шварца, будто его здесь и не было.

Сейчас на круглом цветущем лице генерала никто не заметил и тени раздражения или недовольства. Он был таким, каким все офицеры привыкли видеть его во время дружеских встреч и бесед.

– Господа, друзья, сподвижники по оружию, герои Бородина и Кульма! – с чувством и душок обратился Потемкин к однополчанам. – Вместе с вами я прошел тысячи верст кровавыми дорогами сражений. Благодарю вас, господа, за отличную службу государю, любезному отечеству, за братскую, сыновнюю любовь ко мне! Гордился и до окончания дней моих буду гордиться вашей любовью и привязанностью. Позвольте же и мне навсегда сохранить в моем сердце искреннюю любовь и привязанность ко всем вам вместе и к каждому из вас в отдельности. В каждом из вас я привык видеть не только подчиненного, но прежде всего истинного сына России, своего друга и единомышленника, верного слугу престола. Я оставляю Семеновский полк по собственному желанию... – В этом месте голос его, ровный и мелодичный, вдруг пресекся. Он заметил недоуменные взгляды офицеров. – Я в начале апреля, господа, счел за благо обратиться с просьбой к государю об увольнении меня от командования полком. Иного я сделать не мог... Снисходя на мою просьбу, его величество обещал подобрать достойного нашего полка преемника. – Но и тут он не обратил внимания на стоявшего в стороне Шварца. – Господа, вам известна вся степень щедрых милостей государя к своему любимому полку; прощаясь с вами, желаю сохранить их навсегда и преумножить.

В зале было необыкновенно тихо. Потемкин заметил, как влажнеют глаза у слушающих его офицеров.

– Господа, семеновцам есть что хранить! – перешел на французский вдохновившийся Потемкин. – Вот уже десять лет, как в нашем полку нет и помина о фухтелях, шпицрутенах и палках! Мы изгнали из полка позорное рукоприкладство. Мы пробудили и развили в каждом воине чувство человеческого и гражданского достоинства! Мы давно забыли о побегах рекрут! У нас не было ни одного происшествия, унижающего лучший государев полк! Вот сладостный плод ваших неусыпных трудов, господа! Солдаты ныне видят в вас разумных и строгих наставников, платят вам за это ревностной службой, безупречным исполнением солдатского долга и готовностью пойти за вами в огонь и в воду! Да осенят всех вас на новые подвиги и труды во славу любезного отечества изрешеченные вражескими пулями священные георгиевские знамена родного победоносного Семеновского полка! Ура, братцы!

Задребезжали стекла в рамах от дружного ответного «ура!»

16

Станным было первое появление Шварца в Семеновском полку. Он уехал от Потемкина, не обменявшись с ним ни одним словом.

Шварц возвращался не только растерянным, но и испуганным. Штаб- и обер-офицеры Семеновского полка ему теперь представлялись уже составившими против него сговор. Наказ Аракчеева «замри, душа, остановись, сердце» показался ему неприменимым в отношении семеновцев; они даже внешним видом своим отличаются от офицеров других полков.

Он решил обратиться со своими сомнениями к Васильчикову. И с этой целью отправился в штаб гвардейского корпуса.

Самоуверенный и надменный Васильчиков, выслушав его, покровительственно похлопал по плечу:

– Помни одно: за тебя есть кому заступиться! И хорошо сделал, что не стал ни перед кем рассыпать ласкательств! Не ты перед ними, а они у тебя должны заискивать! А этому оксфордскому профессору с генеральским аксельбантом недолго красоваться в столице, но это строго между нами. Государь давно уже им недоволен за то, что он не только испортил, но прямо-таки развратил Семеновский полк.

Командующий гвардейским корпусом сумел поднять настроение растерявшегося Шварца.

– Недалек тот день, Григорий Ефимович, когда эти всякие краснобаи – Муравьевы-Апостолы и Ермолаевы будут ходить перед тобой по струнке, а коль не так – прямой путь им в армию!

Воспрянувший духом Шварц стал готовиться к приему полка.

Дня через три он был назначен в приказе по корпусу командиром Семеновского полка.

Всего в три дня предстояло все приготовить, сдать полковое хозяйство и представить квитанцию о сдаче самому государю – шефу полка.

Сдача полка происходила в том же духе, как и первое появление Шварца у семеновцев. Он не захотел разговаривать с Потемкиным, и Потемкин не желал никаких объяснений с ним. Он решил обосновать свою полковую канцелярию в отдельном флигеле. Все три дня полковой казначей бегал от одного к другому, чтобы уладить дело по сдаче полка.

Не только штаб- и обер-офицеры, но и все нижние чины в первый же день узнали, как встретил Потемкин полковника Шварца. И уже многдумные все это мотали себе на гвардейский ус.

Расторопный казначей, сбившийся с ног от беспрестанной беготни, немало способствовал тому, чтобы полк был сдан к законному сроку.

Квитанция о сдаче полка была доставлена лично царю.

В тот же день генерал Потемкин отдал предписание всем чинам обращаться к Шварцу, как к новому командиру полка.

В офицерских казармах царило уныние и растерянность. В таком же состоянии находились нижние чины и рядовые. Даже музыкантский взвод и нестроевые как-то сразу приуныли, хотя еще не слышали ни одного распоряжения нового командира.

Шварц собрал к себе на квартиру всех штаб- и обер-офицеров, чтобы представиться им и заявить о своих правилах, которых он намерен придерживаться в отношениях с подчиненными.

Он попросил собравшихся сесть на стулья, расставленные четырехугольником вдоль стен, а сам говорил, стоя посередине, время от времени поворачиваясь во все стороны.

– Я знаю, что за полк принял под свое начало, – говорил он. – Мы тоже нюхивали пороху. И не меньше прочих. За нас не было заступников. Нас вела вверх по лестнице храбрость на поле чести! Я уже на двадцать девятом году дослужился до чина полковника, немного отстал от моего предшественника в Семеновском полку. За ратные подвиги, сами видите, грудь моя украшена всеми орденами, которые можно получить в полковничьем чине. А?! Что?! Я думал, кто-то изволит сомневаться. Лучше впредь и навсегда без сомнений. Все, что у меня на груди, все покрыто дымком и копотью войны. И ни одного отличия, добытого в мирное время.

«А не все ли наоборот?» – думал полковник Ермолаев, слушая Шварца.

Муравьев-Апостол, очень чуткий к слову и слогу, с первых фраз понял, что перед ними – человек необразованный, даже неграмотный, он плохо говорит и еще хуже мыслит.

Кошкарлов был так уныл, что хоть плачь.

– Не думайте, что я какой-нибудь. Из отсталых. Или мужик. Или из торговцев. Я хоть обрусевший, но числюсь российским дворянином. Читать и писать умею, историю, геометрию и арифметику знаю. И не хуже других. Так что нос у меня не задирать! – продолжал излагать о себе и о своем начальническом требовании Шварц. – Я приказывать не собираюсь. Я буду только просить вас, господа! Просьба лучше приказа.

Эта мысль понравилась полковнику Вадковскому, и он впервые обменялся понимающим сочувственным взглядом с новым полковым командиром.

– Я не приказываю, я прошу господ батальонных и ротных командиров, чтобы впредь шинели у всех были вытянуты единообразно и были скатаны как можно туже. Ведь не трудная просьба? Или трудная? Еще прошу, чтобы поперечные ранцевые ремни были выравнены, а не так и эдак, – он начал кривляться, – чтобы не как овечьи хвосты болтались! Ведь не тяжело! И чтобы из фронта и на полногтя не выходить! Али трудно? Знаю, что не трудно. По толкучкам нижним чинам и солдатам не шляться! Ни боже мой! Не потерплю! Служил я с 1809 по 1815 год в гренадерском имени графа Аракчеева полку. Там у меня ох, как насчет этого было поставлено! Не подсунешься. И когда в Калужском служил – тоже... И еще прошу, господа, зимние панталоны белить так, чтобы мел принимали в себя доотказу. Кутасы вытягивать так, как я велю: перебирать наподобие гребня. (Речь шла о шнурках с кистями на кивере). Гвардеец без гребня на кивере все равно что распетушица – ни мужик, ни баба. Рукавицы сменить, купить новые. Всем обзавестись сапогами двухшовными. Образец двухшовных сапог завтра же будет выставлен в каждой роте. Обновить затяжные

ремни! Солдат с незатянутой талией – та же баба рыхлая! Подтяжки и ранцевые ремни сменить же. И чешуйчатые тоже. На гуртовые работы увольнять по одному взводу с моего усмотрения. Образцы мундира и амуниции выставить в каждой роте. Отклонение от образца не потерплю и на один волос. И чтобы на свои деньги солдатам ничего не покупать. Я не приказываю, господа, я покорнейше прошу. Я всегда говорю так ясно, что меня подчиненные ни о чем не спрашивают, а немедленно исполняют все приказанное... Так было в то время, когда я служил в Пензенском гарнизоне, в Екатеринославском полку и в других полках.

И все же капитан Сергей Муравьев-Апостол спросил:

– Где же возьмут солдаты денег на двухшовные сапоги? Как известно, казенный товар отпускается с отрезанными головками, из которого таких сапог не сошьют самые лучшие ротные умельцы – сапожники и башмачники. Солдаты поневоле вынуждены будут обзаводиться двухшовными сапогами на свой счет. Сбережения же солдатские не так уж велики, они едва успевают зарабатывать на клей, на мел, на баню, на мыло, в артель на пищу и на другие издержки, семейным же и еще труднее.

– Капитан, я без тебя знаю, сколько солдат расходует на шило и на брило, – кривляясь, оборвал Шварц. – Я не заставлю солдат продавать с себя последнюю рубашку. И насчет усов! Гвардеец без усов все равно что без головы. Одинакова цена. У кого из солдат нет собственных усов или бог дал такие усы, что на них смотреть срамно, таким наклеивать искусственные. Употреблять на приклепку усов клей особого состава. У кого от клея станет гнить кожа, появятся чирьи с болячками, таким на время выздоровления быть с нарисованными усами. И чтобы ус нарисованный при самом ближайшем рассмотрении не отличался от уса натурального. Это все не трудно, господа, зато образцовый порядок и одно приятство слушать благодарность от высокого начальства во время парадных смотров и от самого государя во время высочайших смотров. Я думаю, господа, все ротные экономические деньги присоединить к артельным.

– Позвольте возразить, – заговорил полковник Ермолаев. – Сего присоединения никак нельзя делать. Сия мера явится большим нарушением прочных полковых обычаев и может привести к самым нежелательным толкам.

– Почему?

– Экономические деньги – плод рачительности, заботливости нижних чинов, плод прилежания нижних чинов, которым вверены хозяйственные должности, и эти деньги являются неотъемлемой собственностью целой роты. Наши солдаты издавна привыкли к жизни лучшей, чем в других полках, потому что большая часть из них – отличные умельцы: башмачники, султанщики, портные, кузнецы, мастера на все руки, они непрестанно пополняют, обогащают казну артельную.

– Остальные как считают? – спросил Шварц.

– Мы придерживаемся такого же мнения, – поддержал Ермолаева полковник Вадковский.

Все девять штаб-офицеров оказались единодушными. Из обер-офицеров поддержали намерение Шварца лишь двое: Скобелыцын и Бибииков.

И Шварц сразу отличил их от прочих, понимая, что таким отличием отравляет атмосферу дружбы между офицерами.

– Вот у этих двоих есть голова, а у всех остальных вместо головы – приспособление для ношения шляпы и кивера. И винную порцию следует урезать или же вовсе отменить! Как ты думаешь? – Шварц пальцем ткнул в грудь хмурого Кошкарова. – Чего скис, как молоко в кринке, в которое мышь попала?

– Для семеновцев не так дорог винная порция, хотя есть среди них и любители водочки, сколь дорога возможность побеседовать за чарочкой о житье-бытье своем, – отвечал Кошкаров. – Зачем же лишать их этого удовольствия? После того как государем было запрещено нижним чинам гвардейского корпуса ходить по кабакам, мы, следуя предписанию, стали назначать, а вернее избирать, солдат, заслуживающих доверия товарищей. Выбранным вручается билет на покупку вина в раздачу его нижним чинам. Сначала брали вино ведрами, а теперь берем куфами.

– А вашим благодушием пользуются в ротах жулики, и солдат-целовальник грабит своего же брата солдата, и я этих грабителей не потерплю! – круто решил Шварц.

Он отвернулся от капитана Кошкарлова, но тот продолжал:

– Ни одного случая грабительства или обмана не отмечено. Через продажу вина в ротах ежемесячно получается ощутимая прибыль, которая идет на благо всей роты: главным образом, на улучшение пищи. Наши солдаты привыкли ежедневно видеть на своем столе говядину или рыбу, кашу с маслом, винную порцию и хлебный квас круглый год и неограниченно, а в праздники сбитень и чай с сахаром для желающих. Кстати, чаек очень обожают семеновцы, потому и самоварами охотно обзавелись.

– Общие солдатские беседы за чарочкой должны быть изгнаны! Не потерплю бесед. Где беседы, там и беды! А государю нужна служба, а не пустобайство ваших запьянцовских башмачников и султанчиков.

Чем больше Шварц говорил, тем грубее и бранливей делался его язык.

Он наказал батальонным и ротным командирам готовиться к батальонным и полковому смотрам и с этим отпустил.

Офицеры возвращались к ротам и батальонам, удрученные сумбурными приказами, которые почему-то командир полка назвал просьбой.

Во всех ротах без промедления Шварц выставил образцы мундиров и амуниции. Командиры оповестили рядовых и унтер-офицеров о предстоящих нововведениях.

И хотя Шварц с первой же встречи пытался показать свою власть и силу, он все же не мог отрешиться от мысли, жалившей его наедине, мысли о том, что он попал в Семеновский полк не по назначению, что эти сани не для него и ему в них долго не удержаться, что он может вылететь из них на первом же крутом повороте.

Обдумав прошедшую встречу с штаб- и обер-офицерами, он решил не идти против их желания и освященных временем привычек, ставших правилами.

В один день Шварц устроил смотр всем трем батальонам полка. Офицеры были немало удивлены, когда он прямо на плац-параде, собрав их вокруг себя, сказал:

– Хождение отработано! Полк вполне исправен! И вижу, что мне тут и делать нечего. Продолжайте в том же духе! Вы меня не подведете, и я вас зря не обижу. Только обратите побольше внимания на игру носков. И еще, чтобы каждый рядовой безотлагательно ознакомился с выставленными по ротам новыми образцами.

Несколько дней офицеры на разные лады промежду собой обсуждали внезапное изменение в замашках и поведении Шварца.

– Все идет, господа, к лучшему, – с удовлетворением говорил полковник Вадковский, когда все штаб-офицеры собрались на квартире у полковника Обрезкова. – Мы мало-помалу перевоспитаем Шварца и, дай бог, из неотесанного пня, из нелюдя сделаем приличного человека, и возможно, нашего с вами товарища, каким был для всех нас незабвенный Потемкин.

– Этого никогда не случится! – бурно запротестовал полковник Ермолаев. – И как ты, Вадковский, мог сравнить свинью с орлом? Потемкин и Шварц – что в них общего? Ничего! Решительно ничего. Потемкин – человек, ума палата, такт, благородство, блеск, достоинство! Шварц – низость, подлость, грубость, неграмотность, бесчеловечие. Потемкин – украшение гвардии! Шварц – оскорбление русского войска!

– Ты, Ермолаев, по природе бунтарь, а я мирный человек, и даже покорный судьбе, – засмеялся Вадковский.

– И я судьбе покорный, но не свинье с бесчестно наворованными орденами! Вздумал от кого ждать исправления!

– Я согласен с Ермолаевым, – определенно высказался Обрезков. – У меня уже сложилось вполне ясное мнение, что за особь прислали к нам в полк!

– Именно особь! – с удовольствием повторил Ермолаев.

– Особь крайне строптивая, которая, очевидно, и не подозревает о том, что в нашем прекрасном русском языке есть ласковые слова. Он всегда зол, угрюм, раздражен и недоволен. В его недавнее просветление и потепление я не верю, оно ненадежно, обманчиво.

– Твоими устами, Ермолаев, говорит сама истина, – баском сказал Яфимович.

– Вижу, господа, что я с моими радужными надеждами остаюсь в одиночестве, – обводя всех взглядом, с грустью заключил Вадковский.

– Возможно, Иван Федорович, у вас есть доказательства, которых мы пока что не знаем, рады будем их выслушать, – хитровато обратился к Вадковскому сидевший напротив него Ермолаев.

– Откуда же им взяться, Дмитрий Петрович? Или я нахожусь на особом положении в полку?

– Шварц почему-то тебя чаще, нежели других, приглашает к себе на квартиру и подолгу о чем-то беседует. Или я не прав?

Вадковский принял это замечание с заметным смущением и даже изменился в лице.

– Да, приглашает, но почему же чаще?

– Потому что чаще, – резковато уточнил Ермолаев. – Я, например, всего один раз был приглашен к Шварцу, и моя беседа с ним продолжалась ровно пять минут. А из обер-офицеров сделались его любимчиками Скобелцын и Бибилов. Так ли?

– Не знаю, Ермолаев, – холодно ответил в душе обиженный Иван Вадковский.

Дело чуть не кончилось крупной размолвкой между ними. Если бы не вмешательство Обрезкова и Яфимовича, то могло дойти и до поединка. Ермолаев все больше подозревал Вадковского в постепенном сползании на позиции Шварца и в прислуживании непостоянному сумасброду. Было такое подозрение против Вадковского и у полковников Обрезкова и Яфимовича. И трудно сказать, кто был тому виною: сам ли Вадковский или Шварца, почему-то проявляющий к Вадковскому больше терпимости и благосклонности, чем к кому-либо другому.

17

Петербург в те годы становился городом казарм и манежей. От барабанного боя, там и сям гремевшего с утра до вечера, глохли не только замаянные солдафонами рядовые, но и штатские жители столицы. Муштра, парады, разводы, смотры, наказание палками за малейшую провинность, изнурительный казарменный педантизм делали военную службу подобием несносной каторги не только для рядовых, но и для офицеров. От того могущественного патриотического духа, которым подвигла себя к бессмертной славе русская армия в годы битв с наполеоновскими полчищами, скоро не осталось и помина. Педанты в шикарных мундирах с неустанностью заводных механизмов, слепо следуя предписаниям заимствованного у немцев артикула и прихотям великих князей, превращали службу в бессмысленное истязательство. Нижние чины и офицеры, которые во время наполеоновских войн привыкли с гордостью видеть в себе сынов отечества, теперь низводились до роли живых игрушек. Овеянные славой полки стали похожими на потешные гатчинские...

Россия не успевала поставлять военному ведомству шкуры на изготовление барабанов и гвардейских сапог – так быстро изнашивались они на непрестанных учениях, церемониях, маневрах, празднествах. Полки гоняли из края в край по столице и ее окрестностям, учение сделалось в прямом смысле мучением. Бородатые хлебопашцы, вчерашние молоденькие рекруты, обтянутые тесными, словно панцири, мундирами, обречены были забавлять и потешать придворную чопорную знать, иностранных послов да бесчисленных родственников императорской фамилии.

Великий князь Николай Павлович узнал от своего адъютанта во время смотра дивизии, что вчера его брат – великий князь Михаил Павлович вызывал во дворец команду солдат-усачей и тренировал их в зале до полуночи. Учением великий князь на этот раз остался вполне доволен.

Николай решил перещеголять брата и, сердитый уезжая со смотра после разносной брани в адрес командира дивизии, распорядился в пику брату вызвать во дворец полсотни старых ефрейторов.

Ввиду предстоящих учений во дворце натирали и без того блещущие, как зеркало, воощенные паркетные, чистили, опраправляли люстры, лампы, запасали свечи, барабанщики проверяли барабаны. Готовился к учениям не только великий князь, но и его супруга Александра Федоровна.

Новый командир лучшего в гвардии Семеновского полка Шварц привел старых ефрейторов во дворец.

Засветили люстры, свечи, лампы, дворцовый великолепный зал на весь вечер превратился в манеж (в манежах в столице большая нехватка и потому многие командиры вынуждены занимать очередь, чтобы попасть на учения в какой-нибудь из них). Под грохочущий барабанный бой начали усачи семеновцы рубить каблуками, вытягивать носки, вскидывая ноги чуть ли не на уровень плеч, под их слаженным безупречным богатырским шагом трещал паркет, вздрагивали стекла в рамах, гулял ветерок по зале.

Посредине залы стоял в мундире гвардейского офицера подтянутый, бравый, вымуштрованный Николай Павлович. Командовал четко, умело. И было заметно, что учение медленному шагу в такой удобной обстановке представляет для него наслаждение. К его складной фигуре очень шел блестяще сшитый новенький мундир, сверкающий золотой мишурой. Белый, слегка покатый лоб великого князя светился испариной – он всегда командовал не только с усердием, но и со страстью, горячася, волнуясь за каждую мелочь, переживая каждую оплошность, – серые, чем-то напоминающие полированный камень, выпукло круглые глаза, взгляд которых, особенно в минуты великокняжеского гнева и раздражения, выдерживали далеко не все, при резких поворотах крупной головы сверкали разноцветными бликами, как грани хрустальных люстр. Он командовал с упоением, показывая знание всех тончайших правил воинского устава.

Часа два ефрейторы под началом его высочества отрабатывали и без того отработанные ружейные приемы. Шварц смирно стоял рядом с Николаем Павловичем и с замиранием ждал какого-нибудь сурового, беспощадного замечания. Но великий князь с каждым блестяще выполненным ефрейторами артикулом становился веселее, добродушнее. Он нынче не только никого не ругал, а все чаще вслух выражал полное одобрение, повторяя:

– Молодцы семеновцы! Так и надо. Бесподобно вытягиваете носок! Отменно!

И вновь раздавалась команда. Ружья взлетали к плечу, падали без малейшего стука прикладов (и боже упаси, лязга) к ноге, брались на полуизготовку и изготовку, как берутся, когда бросаются в штыковую атаку.

Искусством ружейного приема ефрейторы особенно порадовали Николая.

В приподнятом состоянии духа приступил он ко второй части учения – маршировке. Маршировать по скользкому паркету нелегко даже непревзойденным королям шагистики, какими считались старые ефрейторы.

Шварц, казалось, перестал дышать, не только шевелиться, когда вдруг на крутом повороте через левое плечо правофланговый богатырского телосложения и роста усач ефрейтор, поскользнувшись, упал. У командира полка белыми пятнами покрылся нос, ужас отчаяния отобразился на его лице – разнос неминуем.

Однако все обошлось более чем благополучно.

– Больно? Ничего, усач, корова на льду тоже падает, так что не ты первый и не ты последний, – милостиво шутил Николай Павлыч. – Потри причинное место кивером – скорее заживет. За отличие, за усердие, с каким ты умеешь растянуться на паркете, получишь табакерку с царским вензелем.

Белые мертвенные пятна на носу у командира полка начали мутнеть – беда миновала.

Из боковой двери вышла в зал цветущая дама в форме офицера – великая княгиня Александра Федоровна.

Она прекрасно знала, как и чем порадовать его высочество. Вмиг преобразившись, она строевым шагом догнала марширующих и встала на правый фланг рядом с незадачливым высокорослым ефрейтором-усачом, недавно поскользнувшимся на повороте. В ногу со всеми Александра Федоровна великолепно маршировала, легко, грациозно вытягивала носок на радость мужу и в удовольствие себе. Почти ни одна дворцово-паркетная маршировка не обходилась без ее участия, и никто не помнил такого случая, чтобы великая княгиня спутала какой-нибудь артикул, ружейный прием или сбилась с ноги. Ее шаг был ничем не лучше гвардейского. На ее умелом выполнении ружейных приемов можно было учить новобранцев. Двухчасовую маршировку в зале Александра Федоровна проделывала не чувствуя усталости. В оперном театре она скучала и потому не любила оперу, а вот здесь

готова была до рассвета шагать вместе с ефрейторами и по голосу, каким подается команда, определять, доволен ли великий князь ее выучкой, ее умением вытягивать носок.

Участие жены в паркетных учениях доставляло наслаждение Николаю Павловичу. Он становился человечнее, проще, доступнее и даже иногда сильно смягчал ранее отданные распоряжения о наказаниях провинившихся офицеров. В холодных его глазах в такие минуты улавливалось потепление; выговоры и распекаательства уступали место шуткам, он как бы на некоторое время забывал о казарменной бездушной формалистике, переставал говорить о ремешках, темляках, выправке, пригонке амуниций, о неукоснительном исполнении предписаний артикула, о расчесывании усов и бакенбардов, о правилах развода караула, о разборке ружей...

Вдруг усатый детина ефрейтор, шагавший рядом с Александрой Федоровной, как-то неловко чихнул... Да еще раз... Да третий...

Шварц готов был коршуном накинуться на провинившегося и растоптать до смерти на этом безукоризненной чистоты паркете. Он и сам испугался, ожидая взыскания от великого князя или от его жены. Чихание и кашляние для гвардейца во время занятий недопустимо, за такой проступок строго наказывают.

Не успел прочихаться ефрейтор, зачихала и сама Александра Федоровна... Она трясла головой и никак не могла отделаться от привязавшейся к ней чихоты... У Шварца начало сводить ноги и руки от предчувствия неизбежного скандала... Да где? Не на площади, не в Манеже, а во дворце.

Прочихавшись, со слезящимися глазами Александра Федоровна, покинув строй, командирским твердым шагом подошла к будто окаменевшему Шварцу.

— У него пылят мелом панталоны... Он запылил весь дворец, — заговорила она взыскательно. — Не умеют белить панталоны... И еще дурно пахнет потом от этих русских свиней... Вы их гоняете хоть раз в месяц в баню?

— Ежедневно, ваше высочество! — выпалил бледнеющий Шварц. — Я нынче же приму все меры.

— Да обратите особое внимание на панталоны, — уже более мягко говорила великая княгиня. — На следующий раз, отбирая отряд для упражнений во дворце, тщательно отбракуйте таких, от которых дурно пахнет потом.

— Слушаюсь, ваше высочество!

— И посветлее начистите застёжки на ботфортах.

— Будет исполнено, ваше высочество!

Великая княгиня удалилась через те же двери, через которые два часа назад вошла в зал.

Николай Павлович, взяв покровительственно полковника под руку, прошелся с ним по зале.

Скоро вернулась Александра Федоровна, совсем повеселевшая и добрая, она остановила супруга, прогуливавшегося с полковником.

— Выучка, выправка у гренадер отличная! С вашим приходом Семеновский полк стал неузнаваем! За ваше всечасное усердие дарю вам золотую табакерку с бриллиантом и царским вензелем!

Шварц, приняв дар, не нашел слов, чтобы выразить всю глубину верноподданнических чувств...

— Только обратите внимание на их панталоны. Отечески внушите им необходимость являться на учения, парады и смотры в надлежащем образе исправной амуниции.

— Будет внушено, ваше величество!

Тем же вечером в дворцовом манеже ефрейтору-чихачу, заподозренному в том, что его панталоны пылили во время муштровки, по приказанию Шварца и в его присутствии на виду целого батальона было дано полтысячи шомполов. Спину гренадера превратили в кусок истрепанного мяса, она являла собой вид сплошной багрово-синей кровоточащей раны.

Шварц, держа в руке дарственную табакерку с большим бриллиантом и царским вензелем и бросая то в одну, то в другую ноздрю душистый нюхательный табак, наблюдал за

исправностью каждого удара. Семеновец прямо из манежа был отвезен в полковой госпиталь. Там он, не приходя в память, умер на другой день к вечеру.

Сын спившегося сельского попа, лишенного сана за буйство в пьяном виде в алтаре, Заброцкий тянул солдатскую лямку в Семеновском полку наряду с мужицкими сыновьями. Он умел читать, считать и писать и нередко помогал по письменной и счетной части каптенармусу и ротному казначею. К нему добрее, чем к другим, относился придирчивый фельдфебель Брагин. Неграмотные солдаты и солдатские жены считали себя в неоплатном долгу перед ним: он безвозмездно, бескорыстно от их имени писал письма родственникам и читал полученные ответные вести от родных и домашних. К хмельному, на диво всей роте, он никогда не притрагивался. Не курил. Не играл в кости и карты. Не любил свободное время проводить по харчевням и увеселительным домам. Добросовестность и исполнительность Заброцкого заслуживали похвалы. Будучи характера тихого и мирного, он за все время службы не сказал никому бранного слова и сам ни от кого не слышал ругани. Но при всем том он всегда и во всем был вместе с ротой, никогда не увиливал от трудных дел и поручений.

Друзья через своих командиров добились для него немаловажной поблажки: ему было разрешено посещать занятия в ланкастерской школе, одним из основателей которой являлся журналист Николай Греч. Учение в такой школе, где наставниками наряду с партикулярными были и офицеры, доставляло немало радости солдатам в однообразной, притупляющей ум казарменной жизни.

Возвращаясь с занятий, Заброцкий каждый раз увлеченно пересказывал у себя в казарме все, что узнал от учителей, и вскоре пробудил у многих семеновцев желание приобщиться к такой школе.

Рядовые Дурницын, Жикин, Грачев, Штанников, Хватов обратились с просьбой к командиру роты Щербатову: нельзя ли в Семеновском полку открыть свою ланкастерскую школу взаимного обучения. Об этом же просили и солдаты 3-ей роты своего командира Сергея Муравьева-Апостола.

Велика была радость солдат, когда на одном из учений командир 1-го батальона полковник Иван Вадковский уведомил их, что скоро и в Семеновском полку, по примеру других гвардейских полков, откроется своя ланкастерская школа.

Солдаты уже знали, кто из офицеров охотно изъявил желание заниматься с ними. Назывались имена Муравьева-Апостола, Вадковского, Ермолаева, Щербатова, Кошкарова, Рачинского, Левенберга, Бестужева-Рюмина. Это все были начальники, которые прочно завоевали любовь, уважение и послушание рядовых и нижних чинов.

В государственной роте Заброцкий больше всего дружил с Дурницыным и Жикиным.

В воскресенье, выходя после моления из полковой церкви, он незаметно легонько дернул за рукав мундира Дурницына, отбил с ним в сторону и пустился в мрачные предсказания.

– Ефимыч – сей зверь при шпаге – ни за что не даст тебе спокойной жизни. Помяни мое слово – не даст! Он тебя сживет со света. Уж скольких сослал в армию... А сколько в землю легло? Он замышляет всех женатых, таких, как ты, из семейных камор вышвырнуть в общие – холостяцкие. И на кровати посягает... А самовары наши и видеть не может.

То, о чем рассказывал Заброцкий, очень огорчало Дурницына. Он понимал: наступили времена службы каторжной. И надолго ли такое иго чингисханово? И как, и с помощью кого и чего можно избавиться от него самому и избавить других? И мысль не находила ответа. Об этом думал не только Дурницын. Многие открыто, в полный голос кляли Шварца по пути на учения, возвращаясь с плаца, у себя в казармах.

– А может быть, тебе, Иван, посчастливит, – иным тоном начал Заброцкий, – бог даст, поподреет Скот Скотиныч Шварц, и перестанет по ночам, ворвавшись к семейным в камору, стаскивать одеяло со спящих супругов. Ну, как – в летнем отходе большими деньгами разжился?

– Где их больших-то взять. Я и маленьким рад.

– Хочешь заработать?... Много...

– А сколько?

– Пятьсот рублей!

– Долго работать придется за такие деньги. А отпуска на сторону, сам видишь, урезаны донельзя. А что за подряд?

– Выгодный! Почетный.

– Далеко отсюда?

– Близко.

– Далее Охтенских пороховых заводов?

– На месте. То есть в нашем же полку.

– А кто нанимает?

– Один полковник... Ты его хорошо знаешь.

– И тяжелая работа?..

– Все будет зависеть от подрядчика. Ну, берешься? Хочешь за одну минуту полтысячи получить?

– Берусь, если только умения моего и сил хватит.

– Давай руку!

Заброцкий остановился и, держа Дурницына за руку, сказал негромко:

– Полковник Ермолаев дает полтысячи тому, кто убьет Шварца. Я перед тобой в ответе, ты передо мной, а оба вместе – перед богом. Деньги получишь из моих рук в любое время, хочешь вперед, хочешь по исполнении подряда... Я тебя, Дурницын, знаю и потому вместе с тайной вверил тебе свой живот и живот славного начальника Ермолаева.

Дурницын, с мальчишества мастер на все руки, за время солдатства вместе с Жикиным работал на разных больших и малых подрядах по городу, на пристани, в окрестностях столицы, но о таком подряде никогда и не помышлял. Заброцкий схитрил, получалось так, что они будто уже ударили по рукам и этим рукобительем утвердили нерушимо сговор.

Счастливая семейная жизнь в отдельном покое и мысль об истреблении Шварца не вязались в сознании и сердце Дурницына. Одно дело убивать людей, обороняя отечество или творя возмездие за поруганную родину, но совсем другое дело – готовить покушение на своего же соотечественника и получать за это деньги. Такие деньги тяжелее камня оттянут карман.

Заброцкий по растерянному взгляду понял, в какое смятение он ввергнул Дурницына.

– Не только Ермолаев, но и все начальники, за исключением двух-трех прислужников, помышляют об избавлении от Шварца. А о рядовых и нижних чинах и говорить не стоит – они готовы по одной косточке разорвать Скота Скотиныча, – уговаривал Заброцкий. – Все будет подстроено так, что ты останешься цел и невредим. Все уже продумано...

– Кем?

– Когда настанет срок для нанесения удара – все узнаешь, – обещал Заброцкий. – Не таких пиявок, как этот Скот Скотиныч, убирали умные и смелые люди. Петра III ухайдакали в манеже, а сказали – на скаку из седла вывалился. Павлушку I, сукина сына, задушили в постели, а сказали – кондрашкахватила. И все поверили: попы, министры, егеря. А за такую нелюдь, как Шварц, и доискиваться никто не станет. Что, у нас своего манежа нет, что ли? Или конюшни? Лошадь кованая лягнула Шварца и дух из него вышибла.

– А почему ты сам не хочешь такие деньги заработать? – спросил Дурницын.

– Кто тебе сказал, что не хочу? На меня не легче твоего поручение возложено.

– Какое?

– Когда будет исполнено, то все откроется, а раньше срока запрещено обнаруживаться. Ну, стакнулись? Я так и скажу Ермолаеву? – торопил Заброцкий, исподлобья поглядывая на проходивших мимо их в нескольких шагах однополчан.

– Почему в одиночку? – спросил Дурницын.

– В одиночку надежнее, чем меньше людей знают о нашем замысле, тем ближе цель...

Дурницын, не отнимая своей руки из руки Заброцкого, хотел сказать важное, возможно, решительное, но в этот миг подскочил к ним посыльный Пироженко с приказанием.

– Заброцкого немедленно в полковой штаб, требует командир полка Шварц.

– Ступай, я следом за тобой, – неприветливо глянул Заброцкий на посыльного.

– Приказано прибыть в штаб вместе с Заброцким.

Заброцкий подчинился, направился в штаб, не заходя в казармы.

Дурницын после такого неприятного и крайне опасного разговора утратил умиротворенно праздничное настроение, которое наполняет душу верующего в день воскресенья, озаренного богослужением. Набожность Дурницына была известна в роте. В боге он находил то, чего нельзя найти на земле среди людей, потому-то бог и нужен был ему.

– Дурницын, чего ты тут прирос? – подойдя, окликнул его фельдфебель Брагин.

Только сейчас Дурницын вспомнил, что надо идти в казармы.

– А я и не прирос... Жду Захара Жикина.

– Ждешь прошлое воскресенье, а оно не воротится, – ухмыльнулся Брагин, красуясь в своем новеньком мундире и в нерастоптанных башмаках. – Жикин твой давно в казармах.

– Ну так и я в казарму, куда же кроме, – овладев собою, беззаботно сказал Дурницын.

Он нагнал бедовую голову удальца Грачева, красавца и щеголя. Тот с ухмылкой толкнул его локтем:

– Слышь, Дурницын, мечтаю оторвать башку одной бешеной собаке – в тюремном приюте на рукомойник, в монастырской голышне на урыльник.

Дурницын резко взмахнул рукой, как бы тем самым дав Грачеву знак замолчать.

Грачев многозначительно подморгнул и перебежал на другую сторону широкой дороги к степенному невозмутимому Мягкову.

Дурницын вовсе был не рад тому, что в этот праздничный день разговор его с неустрашимым Заброцким зашел так далеко.

18

С Финского залива дул буйный ветер. Приступами шпарил по-осеннему холодный дробный дождь. И хотя уже по календарю начиналась капризная петербургская весна, но тепла не прибывало. На берегах только что освободившейся ото льда Невы было неуютно и сыро.

Под ударами ветра жалобно, страдальчески поскрипывал медный ангел, покорно поворачиваясь на высоко взметнувшемся шпиле над угрюмой Петропавловской крепостью. Когда-то он держался прямо, но со временем дал опасный крен, и каждому, смотрящему на него с земли, казалось, что вот-вот и обессилевший ангел шлепнется в грязь с поднебесной головокружительной высоты: должно быть, во всей прославленной умельцами России не находилось смельчака, который бы поднялся на такую высь, чтобы своим отважным умением помочь выправиться медному ангелу.

В такое ненастье и заядлые любители пеших прогулок не всегда показывались на Невском, и только царь Александр Павлович оставался верен издавна установленному им правилу – ежедневно прогуливаться, не взирая даже на самую промозглую гнилую погоду.

Вот и нынче ровно в одиннадцать он без всякого сопровождения, в одиночку вышел из Зимнего дворца, унылый, сутуловатый, близорукий и тугоухий, в щегольски сшитом мундирном черном сюртуке, с крупными серебряными эполетами, в черной треуголке с высоким султаном, развевающимся на пронзительном ветре. На правой руке у него висел лорнет в золотой оправе. Царь беспрестанно подносил лорнет к слезящимся слабым глазам, чтобы не оступиться в лужу, не споткнуться о камень, чтобы лучше разглядеть отдававших ему честь и здоровавшихся с ним редких встречных. Когда-то густо-голубые глаза теперь казались выцветшими, блеклыми, с младенчества холеное, но уже дряблкое, студенистое лицо его несло на себе легко приметные признаки рано наступающего телесного и душевного одряхления. Задумчивость не покидала царя и за работой, и во время прогулок.

По-женски округленные рыхлые плечи, будто набитые ватой, делали его некогда статную фигуру грузной, да и весь он выглядел расслабленным, излишне изнеженным. Неуклюжая, слишком просторная шляпа, сдвинутая на левый глаз, при каждом порыве ветра готова была сорваться и улететь. Рукою в замшевой белой перчатке придержав ненадежную шляпу, царь навел лорнет на низкое небо, до самого горизонта заполненное быстро бегущими тучами, то черными как смоль, то свинцово-серыми, как вода в Неве, потом

перевел скучающий взгляд на Адмиралтейскую башню и, сутулясь, пошагал по Дворцовой набережной.

По пути он обдумывал предстоящие большие и малые державные дела: намеченный на лето очередной вояж на тысячи верст по многим городам России, предстоящую затем поездку в давно знакомую Варшаву, с которой он научился играть, как кот с мышкой, участие в работе польского Сейма, заготовленную на этот случай речь, еще более жесткую, чем предыдущая. Из Варшавы, не возвращаясь в Петербург, путешествие в Троппау на свидание трех монархов, а оттуда – в Лайбах, где его ждет нелегкая, хотя и дипломатически вежливая грызня не на живот, а на смерть с Меттернихом, этим дьяволом в образе человека.

Думал царь и о поездке за духовным наставлением и душеукрепительной христианской беседой к министру народного просвещения и духовных дел князю Александру Голицыну. Думал он также и о том, чем бы еще отличить друга своего и брата, верного наперсника – графа Аракчеева за мастерское исполнение высочайшего поведения по усмирению и приведению в полную покорность взбунтовавшихся поселенных солдат в Чугуеве и за подобное же усмирение Новгородской парусной фабрики мастеровых людей. Думал еще о драгоценном подарке постоянной своей собеседнице баронессе Крюденер.

На ум задумчивому царю еще раз пришел подозрительный сочинитель, издатель и педагог небезызвестный Николай Греч, уж что-то очень ревностно хлопочущий о насаждении школ так называемого взаимного обучения для солдат и нижних чинов в гвардейских полках, а также школ для солдатских дочерей... На что нужна грамота солдатам и солдатским дочерям? Не с другими ли замыслами льнет этот Греч к гвардейским полкам, особенно Семеновскому и Преображенскому? Фон Фок и Геттун недостаточно тщательно осуществляют нечувствительный надзор над прописями Николая Греча. Издаваемый им журнал напичкан вольнодумством и либерализмом...

Мелькнула мысль о послании рескрипта гвардейскому полковнику, герою Бородина, прославленному романисту и поэту Федору Глинке, ныне состоящему на службе для особо важных поручений при Петербургском генерал-губернаторе графе Милорадовиче. Федра Глинку особенно хвалит царица Елизавета Алексеевна, жена Александра, за недавно вышедший увлекательнейший роман: «Зиновий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия». Этим романом зачитывается царица и ее подруга Амалия. Обе они в восторге и от горячо патриотических «Писем русского офицера», также принадлежащих перу Глинки. Его хвалит знаток истинной поэзии Василий Жуковский, с недавних пор приближенный к царской семье.

Сам Александр не читал ни одной ни стихотворной, ни прозаической строки, сочиненной Глинкой, но зато читал все, что тем же пером ежедневно составляется в канцелярии генерал-губернатора для передачи в собственные руки его величества по линии политического сыска в столице и в губернии. Эти секретные бумаги, составленные Глинкой и скрепленные подписью Милорадовича, всегда приятны своей ясностью, деловитостью, фактами. В смысле слога полковник Глинка, пожалуй, не уступит Павлу Пестелю, ныне пребывающему в армии на юге. Одно лишь омрачало царя при размышлении о рескрипте на имя Федора Глинки: до сих пор по линии нечувствительного сыска не добыто пока ничего уличающего против явно тайного, а раз тайного, то, несомненно, и политического общества, которое называется Союзом Благоденствия и имеет ответвления по многим большим городам. Уверяет граф Аракчеев, что именно в недрах этого тайного общества и сочинена «Зеленая Книга». Правда, в этой рукописной книге довольно пронизательный в таких делах Александр не нашел ничего противозаконного, тем более – преступного, ее главы похожи на правила многочисленных масонских лож, принадлежность к которым для подданных невозбранна. Кочубей – министр внутренних дел и Милорадович – генерал-губернатор находят «Зеленую Книгу» полностью масонской и не видят в ней причины для особого беспокойства правительства. Но граф Аракчеев на этот счет совсем иного мнения, он не перестает внушать царю во время их деловых встреч и за обедом вдвоем, что «Зеленая Книга» придумана хитромудрыми затейниками для прикрытия дел и целей, идущих куда более далеко, нежели какое-то туманное нравственное усовершенствование и воспитание в себе истинно христианских добродетелей.

– Там совсем другому воспитывают, государь, – не перестает твердить Аракчеев, – там готовятся постепенно к первой пробе сил... Поверьте мне, друг мой, там христианскими началами и не пахнет, а пахнет вольтерианскими бреднями. Под безобидным прикрытием «Зеленой Книги», как муравьи под лопухом, орудуют российские карбонары, мечтающие спеть испанскую да итальянскую серенаду на чисто русский пугачевский лад. И тут надо глядеть в оба... А наш министр внутренних дел граф Кочубей только что тем и занят, как лечением своей подагры и хирагры; у генерал-губернатора, как у мальчишки-ветренника, на уме всю жизнь артисточки, фигуранточки... А полностью полагаться на помощников, вроде Геттуна или Федора Глинки, нельзя... Кто пишет стихи и сочиняет романы, тот никогда не может быть преданным слугою государю и священному престолу нашему.

Но Александр, не оспаривая наперсника, не поддается его внушениям и не торопится расставаться с министром внутренних дел Кочубеем.

И Милорадовича государь сместить не решается – уж очень известен он во всей гвардии и армии. О нем и ныне повсюду гремит добрая молва и идет слава, какая ходила о Кутузове и Багратионе. На смену Милорадовичу некого подобрать. Конечно, у Аракчеева нет ладу с Милорадовичем, Кочубеем, начальником Главного штаба – покладистым и незлобивым князем Петром Волконским. Но так-то, пожалуй, и лучше: всегда есть кого столкнуть лбами и сделать козлом отпущения за любую неудачу, как в делах внутренних, так и в международных.

О предстоявших дальних поездках Александр думал с удовольствием. В нелегких дорогах, в непрестанных и небезопасных путешествиях его усталая душа находила то, чего она не могла обрести ни на Каменном Острове, ни в Царском Селе. В дороге он чувствовал себя, хотя на время, свободным от брачных уз, которые ему порою были тяжелее шапки Мономаха. Он всю жизнь вынужден был разыгрывать из себя любящего и верного супруга, никогда не питая супружеских чувств к жене. Он видел, что она не лишена женского обаяния, ума, души, чувства прекрасного, но ее ласки не грели его холодного сердца, а только тяготили душу, мрачили и без того мутный ум. Лишь длительные отъезды снимали с его души изнурительное пожизненное бремя. Она знала все это и продолжала оставаться к нему прежней, ласковой, заботливой, внимательной. Ее письма, полные откровенности и метких наблюдений над русской природой, русским характером, русским складом ума и мышления, над ложью и фальшью высшего света, находили его и на чужбине. Он вынужденно и внешне трогательно отвечал на них, но всегда тяготился этой обязанностью и был рад, когда на какое-то время прерывалась их переписка. Об этой радостной для него разлуке думал он наряду со многими другими делами.

У царя еще ополуночи опять сильно разболелся прочно сидящий в своем гнезде коренной зуб; ночь царь провел беспокойно, спал плохо; лекарство не помогло; и он с наступлением дня решил прибегнуть к испытанному им способу лечения зуба – вдыханием холодного воздуха, благо плохая, мозглая погода благоприятствовала тому.

Он, продолжая прогулку, время от времени широко открывал рот, с присвистом набирал за щеки, насколько можно больше, холодного воздуха, на какое-то время задерживал его во рту, потом повторял все снова; боль постепенно унималась; взгляд его светлел. И он уже, мысленно улыбаясь, думал о том, как по возвращении во дворец за обедом станет шутливо рассказывать графу Аракчееву или князю Петру Волконскому, которых чаще других приглашает к столу, о своем открытии во врачевании зубов, с тем чтобы тонко и остроумно посмеяться над «медицией» в целом и над личным врачом баронетом Виллье. Кстати, расскажет генералам и о том, как предостерегать себя от простуды, лихорадки и насморка зимой в слишком холодную погоду во время затяжных парадов и смотров, как надежно сохранять в себе внутреннее тепло, находясь часами на морозе; способ сохранения внутреннего тепла царь тоже считал своим открытием и не раз делился им со многими не только генералами, но и с камердинером Александром Гавриловым и с личным парикмахером острословом и непревзойденным сказочником Романом.

У Прачешного моста Александр, поевшись от сырого ветра, повернул по Фонтанке. С удовлетворением думал он о том, что наконец-то благодаря настойчивым советам графа Аракчеева удалось освободить от слишком умного и независимого генерал-

адъютанта Потемкина лейб-гвардии Семеновский полк. Потемкин своими учеными степенями вскружил головы семеновским офицерам и отучил их от строгой дисциплины и беспрекословного повиновения старшим начальникам. А без этого нет и не может быть надежной армии, тем более – гвардии.

Александру вдруг захотелось нынче же навестить издавна знакомые и милые его сердцу казармы балованного Семеновского полка, полюбоваться на заглавную, так называемую государеву роту. В этой роте служили отборные красавцы, будто с картины сошедшие, самые выносливые, самые развитые, самые грамотные.

Царь с минуту постоял в нерешительности – все-таки далеко до казарм – и пошагал дальше, отложив высочайшее посещение на будущее.

Крепчающий ветер с сипением и свистом летел по улице, обгоняя царя, крутя полы черного мундирного сюртука с серебряными пуговицами. Захолодевший мясистый жирный зашеек, валиком лежавший на тугом воротнике, начинало пощипывать, ломить – всякое резкое похолодание болезненно сказывалось на самочувствии с детства изнеженного Александра.

Он на минуту остановился, встретив знакомую даму. На ней был темно-зеленый редингот с палантином и полосой на подоле из бархата золотистого цвета, расшитого золотыми нитками. Шляпа же белого бархата со страусовыми перьями и полями, подбитыми розовым крепом, очень шла к ее свежему лицу. Туфельки на ее стройных ножках были цвета редингота, как и перчатки. Так же со вкусом были одеты и ее дети – пятилетний мальчик и семилетняя девочка. Даму сопровождала молоденькая горничная.

Дама и ее дети поклонились царю, он навел на них золотой лорнет.

– Кто вы? И кем служит ваш муж? – спросил Александр, ласково погладив по головам прелестных детей.

– Урожденная княжна Наталья Щербатова, – отвечала дама. – Муж мой – 38-го Егерского полка капитан Федор Петрович Шаховской.

– Знаю, знаю прекрасного адъютанта при генерал-лейтенанте Паскевиче Федора Шаховского, отличный офицер, кланяйтесь ему от меня. И поцелуйте от меня же ваших ангелов деток.

В наружности Шаховской он нашел что-то общее с Нарышкиной и сразу весь восторженно встрепенулся. Он сказал Шаховской еще несколько ласковых и приятных слов и по Невскому проспекту направился обратно.

Прогулка не выпрямила сутуловатых плеч Александра, а сделала их к концу *le tour impérial* как бы еще сутулей, и голубизна выцветших глаз поблекла еще более. Лорнет запотел, помутнел и уже плохо помогал слабому зрению. Бледная, как на ошипанном гусе, кожа на лбу с чего-то как бы омертвела; у него сейчас было странное ощущение – будто ко лбу приклеена какая-то чужеродная беспокоящая заплатка.

Ни с того ни с сего ему вдруг захотелось остановиться среди проспекта, не очень многолюдного в эту пору, и пропеть псалом в стихотворном переложении; но, подумав, он счел неудобным на таком юру снимать с плешивой головы треугольную шляпу, а распевать псалом с покрытой головой грешно для истинного христианина, каким он давно и убежденно считал себя.

Уже в самом конце вояжа явилось еще одно искушение – встретиться с душенаставником и другом монахом Фотием да еще с «дщерью небесной» графиней Анной Орловой-Чесменской и вместе с ними помолиться.

Очень пожалел, что любезного Фотия в этот час нет рядом, а ехать к нему в келью не позволяли обстоятельства – после обеда предстояла встреча, почти товарищеская, со всюду сующим свой нос австрийским послом, чьи шпионские поползновения видны не только полиции, но и последнему дворцовому лакею. После встречи вместе с богобоязненным князем Голицыным – чтение проповедей пастора Госнера, против которого яростно и неусыпно ратоборствует, доходя до умоисступления, непримиримый Фотий. Потом еще нужно продиктовать секретарю очень важное письмо брату Константину в Варшаву. Константин с резкими нападками обрушился на генерала Витта – начальника южных военных поселений. В письме Витт назван вором, мошенником, мерзавцем, подлецом, способным на любое преступление, ненасытным расточителем не только казны, но и жизнью

государевых подданных. Витт, по словам Константина, верную службу престолу и отечеству понимает как цепь сплошных тиранств над беззащитными людьми. Откровенное письмо брата расстроило царя. Александр по причинам, одному ему только ведомым, все-таки никак не желал давать в обиду генерала Витта.

Лицо Александра сделалось печальнее прежнего, оттого ли, что до конца дня предстояло исполнить столько разных скучных и утомительных обязанностей, оттого ли, что он давно уж разочаровался во всех своих стремлениях и непоследовательных начинаниях ко благу подданных и пользе отечества.

На заботе он увидел крупные белые буквы. Кто-то вкривь и вкось набросал мелом злую эпиграмму, которую вот уж больше года повторяет с наслаждением вся столица:

В столице он – капрал, в Чугуеве – Нерон:
Кинжала Зандова везде достоин он.

Александр невольно поморщился и убрал лорнет. «Против кого они негодуют: против Аракчеева или против меня? Мы оба живем в столице и оба бываем в Чугуеве. Кто сочиняет и размножает сии возмутительные стихи? Пушкин, слава богу, далеко от столицы. Но для стихов, от кого-то я слышал, не существует границ и расстояний. У него здесь осталось много друзей, и они мстят мне этими надписями за изгнанника. Надо нынче же заставить Милорадовича, Кочубея, Глинку и Геттуна заняться размножителями оскорбительных нелепиц».

Часовой с ружьем на посту вытянулся перед царем во фрунт. С Петропавловской крепости донесся бой часов.

– Сколько раз пробило? – спросил у солдата туговатый на ухо Александр.

– Ровно тридцать шесть раз, ваше величество!

Царь уставился на часового изумленными глазами и переспросил:

– Сколько, сколько?

– Ровно тридцать шесть раз, ваше величество!

Александр, сутулясь, пошел своей дорогой, приняв ответ часового за оскорбительную насмешку.

Он еще не решил для себя, как ему отнестись к неслыханной дерзости солдата: наказать или предать забвению? Даже такой пустячный вопрос он не хотел решать, не посоветовавшись с кем-либо из приближенных.

Постоянные колебания в большом и в малом, непоследовательность, неопределенность, щедрость на посулы и скупость на исполнение обещанного расшатывали не только одну его душу и волю, но также душу и волю тех, кто ему служил, кто был исполнителем его противоречивых повелений, сеяли смуту за смутой и разочарование за разочарованием в умах людей. За пустыми обещаниями, кроме обмана и лукавых расчетов, ничего не таилось. Обещано России было много, да не дано ничего. Все люди представлялись Александру в самом мрачном свете. Он видел их неблагодарными, алчными, завистливыми, жестокими, духовно нищими, беспомощными перед роком, не стоящими попечений об их благополучии, заблудшими в тенетах сатанинских наваждений.

Он поднес к близоруким глазам сильно запотевший лорнет и увидел Зимний дворец почерневшим, будто стены от самого основания и до карниза кто-то покрыл слоем жирной сажи.

Александр убыстрил шаги.

Начальник Главного штаба князь Петр Михайлович Волконский, по характеру добродушный, но недалекий совоспитанник монарха, из придворных китов больше всего презирал тупого и властного Аракчеева, пребывавшего все время как бы в тени, но правившего всеми министрами и генералами, а нередко и самим упрямым, но слабовольным царем.

Неприязнь Волконского к царскому наперснику была хорошо известна Александру, который, и не без личных видов, ничего не хотел делать для сближения этих двух друг друга ненавидящих высочайших слуг. Рознь между ними была на руку царю.

Волконский свое высокомерное аристократическое презрение к ныне всесильному выскочке – осколку старинного обедневшего дворянского рода показывал на каждом шагу; Аракчеев же, люто ненавидя этого аристократа, орудовал против него тихой сапой, внешне оставаясь почтительным.

Нынче Аракчеев запиской, присланной с адъютантом, зазывал зачем-то к себе Волконского, а тот ни под каким видом не хотел появляться перед «главным поселенным капралом». Он позвонил в колокольчик и приказал вошедшему адъютанту:

– Учтивейше отпиши Силе Андреевичу, что у меня мигрень и лекарь воспретил мне всякие выезды.

Не успел адъютант составить записку, как появился посыльный из секретарской государя с повелением немедленно прибыть во дворец и прямо к царю.

В бельэтаже Зимнего дворца, где находился кабинет властителя, обратил внимание Волконский, входя сюда, стояла такая же гнетущая тишина, как и в огромном деревянном дворце на Литейной, вот уже много лет служившем гнездом графу Аракчееву.

Две двери вели в тихий покой с зеркально блестящим паркетом. В паркете, как в стекле, ночью отражалась луна, а днем в ясную погоду – лепные потолочные украшения и роспись.

Александр, скучный и унылый, сидел на диване, перед которым стоял небольшой круглый столик и три глубоких, на низких ножках, кресла. На столе лежала раскрытая Библия и сверкал гранями хрустальный графин с водой.

Царь, обычно изысканно учтивый и предусмотрительный с любым посетителем, а с князем Волконским особенно, на этот раз почему-то изменил своему правилу – поленился встать, чтобы приветствовать генерала. Он рукой указал ему место на диване рядом с собой. Таким удрученным Волконский видел царя в начале этого года, тогда любезный, умный граф Каподистрия обрушил на несчастную голову государя ошеломительную весть о революции в Испании.

У Александра и поныне не укладывалось в голове, как это могло случиться, что отборное войско, собранное испанским королем в Кадикс на предмет срочной отправки для подавления опасных волнений в заморских владениях, вдруг с оружием в руках поднялось против королевской короны и легко принудило монарха пойти на страшные уступки мятежникам. Стихийно, без предварительной и тщательно устроенной подготовки такие бури не начинаются. А где надежные гарантии тому, что ветры из мятежного Кадикса не долетят до Кронштадта и до самого Петербурга, до Одессы, до гвардейских и армейских полков, наспигованных каким-то обществами, содружествами...

– Петр Михайлович, скажите мне на милость, что же такое у нас творится?.. Это почти рядом с моими дворцами... Я нынче получил дерзкое оскорбление от одного часового, – пожаловался царь. Он был так обижен и взволнован, что плохо владел своими чувствами, губы его дрожали. – Солдат вздумал посмеяться надо мной... И возможно, по наущению со стороны... Но по чьему?

– Ваше величество, не может этого быть и никогда не будет, пока благословенная Россия стоит под солнцем, чтобы истинно русский солдат дерзнул даже помыслить о насмешке над своим государем, – успокаивал Волинский. – Да за одну мысль о непочтительном слове об императоре я своими руками повесил бы такого вольнодумца!

– Дерзко ответил солдат-часовой... Судя по форме – Семеновского полка, – повторял удрученный Александр. – Нет, я не ослышался... Я переспросил... И что же? «Тридцать шесть раз пробило, ваше величество!..»

Серьезное, приветливое, даже красивое лицо царя, что многих очаровывало с первого же взгляда, сейчас мрачила глубокая и не сходящая скорбь. Во время всего разговора царь улыбнулся лишь один раз, но улыбка получилась холодная. Волконский видел, как подергиваются белесые, с золотистым отливом брови царя. Подергиванием бровей он выражал или крайнее неудовольствие или сильное волнение.

Волконский невольно вспомнил один примечательный на всю жизнь случай, когда вот так же подергивались эти брови... Это было в октябре 1814 года за границей, когда Александр в сильном гневе и раздражении решил драться на дуэли с лукавым, вероломным австрийским канцлером Меттернихом. Правда, поединок не состоялся и не по вине русского монарха, но о несостоявшемся поединке долго говорили при всех европейских дворах, не исключая и Петербургского.

Царь рассказал, как он спросил часового о времени и что тот ему ответил. С такой озабоченностью самодержец России, кажется, никогда не беседовал даже о коварных проделках австрийского министра Меттерниха, когда приглашал к себе на доклад двух главных вершителей международных дел – Нессельроде и Каподистрию.

– Государь, я полностью разделяю ваше возмущение и немедленно приму все меры к подробнейшему выяснению всех обстоятельств и наказанию виновного! – обещал Волконский.

– Займитесь, займитесь. Петр Михайлович, я не хочу поручать этого дела графу Алексею Андреевичу: надо щадить его здоровье, у него снова усилилась боль в груди, а погода, сами видите...

– О провинности солдата, государь, более приличествует вести дело через Главный штаб и аудиториат, – сказал Волконский, довольный тем, что государь по каким-то своим соображениям лишает Аракчеева возможности совать свой нос в чужой огород.

– Выясните, доложите и примите меры отеческого внушения. Да поинтересуйтесь: кто непосредственный начальник сего непочтивца, – наказывал царь, оставаясь во власти грустных раздумий. – Я считаю такой случай очень дурным предзнаменованием, Петр Михайлович... Очень нехорошим... Темные нечистые силы подтачивают корни древа благоденствия, кое мы с вами неустанными трудами своими лелеем для преуспевающего отечества... В Испании, смотрите, никаких изменений к лучшему... Обещанные королем кортесы послужат плохим примером для сил ада в других королевствах... Займитесь, любезный Петр Михайлович... Жду вашего доклада о результатах расследования.

Волконский, всерьез озабоченный дерзкой выходкой солдата, с двумя адъютантами сел в карету и погнал к месту недавнего происшествия.

Часовой безукоризненно встал во фронт перед остановившейся каретой, из которой выскочили два молодых адъютанта, и за ними важно сошел гневный генерал.

– Семеновец?

– Так точно, ваше превосходительство!

– Какой роты?

– Рядовой головной государевой роты!

– Прозвание?

– Дурницын Иван, ваше превосходительство!

– Имеешь ли боевые отличия, медали, ордена?

– Имею крест Святого Георгия за викторию на поле Бородинском. Сей священной награды был удостоен я вместе с другими семеновцами в памятный день вручения нашему полку на поле Бородинском георгиевских знамен.

Развитой и сообразительный Дурницын знал, как нужно отвечать высокому начальству. Особенно складно у него получалось, когда он был в хорошем расположении духа, исправно обмундирован, имел в кармане мелочишку на личные расходы, не подвергался взысканиям начальников и брани придирчивых ефрейторов.

– Ветеран...

– Так точно, ваше высокопревосходительство!

– А ветеран и христианин перед своим начальником должен говорить правду, как перед богом. Знаешь это?

– Так точно, ваше высокопревосходительство!

– Видел ли ты сегодня, стоячи на посту, государя-императора?

– Так точно, ваше высокопревосходительство! Видел, как они изволили прогуливаться задумавшись!

– Не спрашивал ли о чем тебя государь?

– Изволили, улыбнувшись, милостиво спросить: сколько пробило часов?

Адъютанты оживленно переглянулись.

– И что же ты, серая скотина, ответил государю? – вдруг прикрикнул Волконский.

– Я ответил: тридцать шесть раз пробило!

– Сумасшедший! Дурак! Ты оскорбил государя своим ответом! Больше двенадцати никакие в мире часы пробить не могут!

– Могут, ваше высокопревосходительство! Я не врал, я всю правду сказал государю. Не верите – подсчитайте сами: на Адмиралтействе двенадцать раз ударило, а затем столько же стукнуло на дворце, а после дворца – взбрыкнуло двенадцать раз на Петропавловской. А всего – тридцать шесть раз!

Лица адъютантов просветлели. Волконский, став помягче, измерил взглядом находчивого солдата, покачал головой, что-то по-французски пробормотал себе под нос, сел с адъютантами в карету и приказал гнать в Семеновские казармы прямо к штабу полка на углу Гороховой и Фонтанки.

По пути он обменялся с адъютантами несколькими словами.

– Вот что с ним делать? Наказывать вроде не за что, и безнаказанным оставить нельзя, поскольку нанесено оскорбление его величеству... Вот ведь он, солдат-то наш, бывает какой: нынче храбрец, а завтра шельмец... И надо же так случиться – из головной государевой роты... Сие обстоятельство повергнет государя в еще большую скорбь...

Подымаясь в штаб полка по лестнице, Волконский слышал шум на втором этаже. Это кричал на ротных командиров в присутствии фельдфебелей старший полковник Шварц, всех огульно обвиняя в попустительстве рядовым, в небрежном отношении к служебному долгу.

Волконский хорошо знал, что полковник Шварц не только аракчеевский ставленник, но и личный графский доносчик. Довольно темные отношения между нелюдимым Аракчеевым и по-обезьяньи цепким Шварцем давно стали предметом бесчисленных насмешек, острот и анекдотов.

И всякий раз, когда на глаза щепетильному князю Волконскому попадался этот и с виду весьма неприятный полковник, в мыслях генерал-адъютанта невольно возникал образ как бы второго, хотя и карликового по значению Аракчеева. Внешне граф и полковник разнились и ростом, и чертами лица, и голосом, но в повадках и замашках у них было много общего.

Что-то хищное таилось в постоянно злых, круглых, словно циркулем обведенных черных глазах Шварца.

Нос с горбинкой, будто кто по нему сильно ударил, скривился в сторону. Полковник безобразно располнел и не от болезни, а от чревоугодия. Жирное лицо его, особенно после бритья, напоминало ошпаренную и выскобленную свиную кожу. И когда лицо покрывалось обильной испариной, казалось, что Шварц истекает капля по капле...

Мундир, как ни старался над его совершенствами личный графский портной, уже не смог вернуть дрябло-тучной фигуре гвардейской стройности, и никакими ремнями нельзя было удержать огромный вислый живот.

Князь Волконский был весьма не рад вынужденной встрече с этим человеком, но послушаться высочайшей воли не хотел, даже и не помышлял об этом.

Появление Волконского нисколько не охладило Шварца. Отдав рапорт начальнику Главного штаба, он продолжал:

– Господа ротные командиры, так дальше дело не пойдет! Я никому не позволю наносить ущерб достоинству любимого государева полка! Кому я не люб – можете подавать в отставку! Пора прекратить унижительные для истинного офицера занятия в одиночку с новобранцами, для этого есть ефрейторы и фельдфебели! Это относится прежде всего к командиру третьей фузелерной роты капитану Муравьеву-Апостолу, капитану Кошкарову, капитану князю Щербатову, к эстандарт-юнкеру Бестужеву-Рюмину... Всякое излишнее внимание к солдату лишает его ратной доблести, превращает в неженку... После ваших забот, господа ротные офицеры, солдаты могут запросить себе в казармы доставки газет и журналов...

Волконский окинул взглядом молчаливо сидящих в зале командиров баталионов и рот и понял, что все они сейчас глубоко оскорблены поучением командира в присутствии

подчиненных. В мыслях своих Волконский был на стороне офицеров. Вон сидит раскрасневшийся полковник Вадковский, а рядом с ним насупленный Муравьев-Апостол. За обоими давно установилась репутация отличных командиров. Сверлит сверкающими глазами старшего полковника капитан Кошкарлов.

Волконский, извинившись перед собравшимися, прервал заседание и вместе со Шварцем удалился в отдельную комнату, рядом с этим залом.

– Господа, пользуясь присутствием у нас в штабе генерал-адъютанта Волконского, давайте принесем ему все наши претензии на Шварца! – вдруг сказал Кошкарлов.

– Согласен! – первым отозвался Сергей Муравьев-Апостол.

– Приветствую! – громко сказал подпрапорщик Бестужев-Рюмин.

– Господа, не спешите, все, что нужно, уже предпринято, – утихомиривал нетерпеливых полковник Иван Вадковский.

– Почему, почему наш командир свои распоряжения ротным командирам передает через наших подчиненных? – возмущался Кошкарлов. – Так ни в одном гвардейском полку не поступают! Пора, господа, довести обо всем об этом до сведения государя или же всем подать в отставку.

– Зачем, господа, такие поспешные и опрометчивые призывы? – возражал адъютант полка Бибииков, которого не любили и побаивались.

– Не надо торопиться! – вторил ему капитан Скобелев.

Отворилась дверь из боковой комнаты, в которую удалились Волконский и Шварц, послышался голос разгневанного Шварца:

– Командира головной государевой роты ко мне!

Все озабоченно поглядели на князя Щербатова, который, сцепив зубы и глядя в пол, пошел в ту комнату. Дверь опять затворилась. Несколько минут было тихо в зале. Потом снова распахнулась дверь и бледный Шварц объявил с порога:

– Наше собрание, господа, прерывается на неопределенное время по причине, не предвиденной мною... Прошу всех не удаляться из казарм без моего разрешения в каждом отдельном случае! Сейчас же устроить внеочередные переключки по ротам... В полку чрезвычайное происшествие, о чем узнаете позже...

Однако лицо Щербатова в противоположность Шварцу вовсе не выражало смятения. Офицеры разошлись по казармам. Шварц приказал по всем уставным воинским правилам снять с поста рядового государевой роты Дурницына и доставить в штаб полка.

Не прошло и получаса, как в штаб под охраной штыков ввели обезоруженного Ивана Дурницына. Он был спокоен, полагая, что произошло какое-то недоразумение. Не сказав ни слова, Шварц ловко ухватил его за ус и вырвал клочок вместе с кожей.

– Злодей! Я тебя нынче же отправлю на тот свет! Десять тысяч шпицрутен! Как ты смел, скотина, мерзавец и подлец?..

– Подождите... Уж очень вы любите шпицрутен, – осадил Шварца начальник Главного штаба и обратился человечно к солдату: – Имел ли ты намерение, столь преступное, сколь и непозволительное, своим ответом осмеять государя?

– Никак нет, такого намерения и в голове не держал, ваше превосходительство, – отвечал Дурницын, а по подбородку его текла кровь и падала на мундир, на отмеленные панталоны, на паркет и гетры.

– Какое же намерение ты держал в голове?

– Держал я в голове единственное намерение угодить государю и доставить ему веселое удовольствие!

– Чем же?

– Своим ответом! Думал, что государь меня похвалит... За то, что и в такую погоду и на таком ветру не вешаю голову и не печалюсь, а всегда пребываю веселый и довольный государевой службой...

Этот ответ солдата произвел впечатление на Волконского, все более проникавшего в душу рядового.

– А как ты до такой мысли дошел?

– Через рассказы о Петре Великом...

– Через какие же?

– Слышал я, как царь-государь Петр Великий одного Семеновского нашего полку солдата за находчивость и умный ответ на царев вопрос произвел в капралы, а потом возвысил и в генералы!

– Вон как... И ты захотел возвышения в генералы? – вмешался Шварц.

Но его снова осадил Волконский, спросив Дурницына:

– От кого из господ командиров слышал такой рассказ о Петре и солдате?

Дурницын, сделав вид, что припоминает, помолчав, отвечал:

– Запомню, ваше превосходительство! Ей-богу, забыл...

У Волконского явилась мысль доставить этого сообразительного семеновца прямо во дворец, но без предварительного согласия царя он побоялся это сделать – не причинить бы таким поступком еще большей скорби слишком чувствительному монарху.

Он велел посадить солдата под арест до особого распоряжения. И уехал. А старший полковник Шварц, как только отбыл начальник Главного штаба, погнал к Аракчееву, вернувшемуся на несколько дней из имения Грузина.

Аракчеев в своем домашнем кабинете, выслушав Шварца, сказал:

– Волконский – гог-магог, таким он был смолоду, таким и в гроб ляжет... Десять тысяч шпицрутенцов за такую дерзость сам бог велел дать... И это очень полюбится государю, я знаю по моему опыту в Чугуеве, ежели вы сами проявите подобающую истинному командиру твердую распорядительность и не заставите государя утруждать себя обдумыванием меры наказания! А на Волконского, батюшка, поменьше обращай внимания, ничего он не значил и не значит, а сидит при царе для одной чистой декорации, по старой привычке, поскольку когда-то, будучи вот такими, – Аракчеев опустил ладонь ниже стола, – в разбойников вместе играли на травке-муравке в Царском Селе...

Шварц, как боевой награде, обрадовался такой инструкции, уж очень совпадавшей с его желанием. Он помчался в штаб полка, в Семеновские казармы.

Тем временем князь Петр Волконский докладывал царю в императорском кабинете Зимнего дворца о результатах экстренного расследования и принятых мерах. Александр слушал доклад с невыразимой скорбью на страдающем лице, будто речь сейчас шла о неповиновении или бунте целой дивизии. Волконский старался говорить громче, зная тугоухость царя. Александр изредка глубоко вздыхал, повторяя:

– О творец, о творец...

– Итак, ваше величество, хотя мною и были взяты строгие меры к пресечению, но исследование и подробнейший допрос подтверждает, что георгиевский кавалер рядовой Дурницын, лучший и исполнительнейший солдат роты вашего величества, не имел никаких дерзновенных намерений, а лишь по недомыслию своему возжелал показать свою находчивость перед своим любимым государем и шефом полка в надежде заслужить высочайшую похвалу, – суммировал донесение Волконский.

– А так ли, князь? – грустно спросил царь. – И нужно ли солдату показывать свою находчивость в разговоре не только с государем, но даже с фельдфебелем? Разве лейб-гвардия за то получает от меня двойное пропитание против напольных полков, чтобы солдаты упражнялись в столь неуместной находчивости?

– Воля ваша, ваше величество, – отвечал Волконский, – любое повеление будет исполнено немедленно, а именно: телесное наказание на полковом плацу в виду всего полка, заточение в крепость, перевод в отдаленный армейский гарнизон Сибирских полков...

Царь ничего не сказал на это, склонил голову к плечу и обратил взгляд к настенной иконе, словно хотел посоветоваться с нею.

Князь Волконский, давно и хорошо познавший все извилины царской души, непонятной даже для самых близких, понимал, что самодержец впал в глубокую меланхолию, из которой ему будет трудно высвободиться.

– Все в мире изменчиво, – тихо начал Александр. – В старое время нечистая сила проникала в души людские через печную трубу, а теперь она свила гнездо в библиотеках и проникает в умы через пустые либеральные журналы и газеты. Отсылать рядового Дурницына в Сибирские полки воздержитесь. Шварц Григорий Ефимович – хороший командир и добродетельный человек, велите ему от себя, сообразуя вверенные ему начальнические права с законностью и милосердием, отечески наказать болтливую

фузилера, а за ротой, в которой тот служит, установить строжайшее нечувствительное наблюдение, особенно за командирами, не от них ли Дурницын перенял такую вольность. И еще расследуйте негласно: не ведутся ли среди офицеров и нижних чинов непочтительные разговоры о других членах царской фамилии, о начальниках и особенно о новом командире полка.

— Ваше величество, могу сразу сказать: против полковника Шварца ведутся непочтительные разговоры, и не только среди рядовых и нижних чинов...

— Я так и знал, князь, что всякие вольности и непотребства зарождаются первоначально в головах командиров, — все в том же унылом духе рассуждал Александр. — Не было ли жалоб по начальству от командиров?

— Были, государь!

— Не придавать никакого значения, а приносивших взять на особый учет, о чем нынче доверительно оповестить генералов Васильчикова и Бенкендорфа, — распорядился Александр. — Я Шварца знаю, я ему верю, и граф Аракчеев о нем самого отличного мнения.

С этими словами Александр отпустил Волконского.

Когда адъютант князя привез распоряжение начальника Главного штаба в Семеновские казармы, на полковом плацу в присутствии всего полка уже завершалось битье тесаками полуоголенного привязанного к ружьям Ивана Дурницына.

20

Первая в этом году гроза огненными ножницами целую ночь стригла серые тучи над Петербургом, предвещая наступление ясных майских дней. Прошумел ливень.

Утром с восходом солнца засверкала, заискрилась трава в садах и нежная распускающаяся листва на деревьях.

В полк рано утром неожиданно приехал двадцатидвухлетний командир бригады Михаил Павлович и назначил парад.

Это было утром первого мая. Шварц сильно перетрусил. Неожиданное появление строгого и чем-то рассерженного князя наводило Шварца на недобрые мысли.

Музыкантский взвод ревом труб и боем барабанов возвестил начало парада.

Три часа подряд тихим шагом маршировал весь полк. Многие солдаты думали, что у них не хватит духу и они попадают на плацу. Страшный изнурительный тихий шаг, который и богатыря может свалить с ног. Сжатые и стянутые ремнями, тесным мундиром, узкими набеленными панталонами и крагами из твердой, как дерево, кожи, даже закаленные солдаты чувствовали себя мучениками, грешниками в аду, забавляющими сатану. По крайней мере так думал нынче сам о себе Дурницын. Высокие кивера на головах, что держались только посредством чешуйчатых ремней, туго затянутых под подбородком, являли, если наблюдать со стороны, очень живописное и впечатляющее зрелище. Но каково было солдату! Он задыхался оттого, что грудь его сжимали туго натянутые ранцевые ремни, которые перехватывали скатанную и перекинутую через плечо шинель. Каждый молил о долгожданной минуте отдыха, но ни великий князь, ни Шварц не думали о крайней усталости солдат. Под шинельными скатками давно взмокли рубахи. И офицерам было не легче, нежели солдатам.

Шварц поглядывал на увлеченного парадом великого князя, и на душе его становилось несколько поспокойней: командир бригады не только не возмущался, но все чаще хвалил отдельные роты, батальоны, весь полк.

И когда парад окончился, перестали реветь трубы и бить барабаны, Михаил Павлович вместе со Шварцем сам подошел к измученным, вспотевшим штаб- и обер-офицерам:

— Приятнейшим долгом поставляю себе, господа, объявить совершенную мою признательность командиру полка господину Шварцу, а также всем батальонным и ротным командирам; то, что я сегодня увидел, превзошло все мои ожидания! Я увидел безукоризненное устройство, чистоту и примерную плавность и тишину во фронте. Прохождение церемониальным маршем можно назвать верхом совершенства. Я уверен, что с такими бескорыстными помощниками и при таком отличном усердии и ревности господина Шварца, Семеновский полк наравне со всем полками вверенной мне бригады и впредь обратит на себя благосклонное внимание все милостивейшего государя нашего, а тем более

усугубит мою к вам признательность! Господа, нынче же моя благодарность будет отдана в приказе по всему корпусу. Передайте мою благодарность нижним чинам и рядовым!

– Почту за большое счастье, ваше высочество, позжать каждому солдату и унтер-офицеру ручку за их усердие, – обещал довольный Шварц, у которого отлегло от сердца.

Он, едва уехал великий князь, снова собрал полк, часа два муштровал его по своему усмотрению и потом уже объявил благодарность.

Аракчеев, может быть, как никто другой в России, любил гробовую тишину в своем, не уступающем ни в чем царскому, кабинете, во всем огромном петербургском деревянном дворце, во всем Петербурге и во всей России. Что-то в нем таилось от злого гения тишины. Он умел ее оберегать, знал, как усмирить тех, кому не по душе губительная тишина.

В его кабинете стояли высокие часы; чтобы не слышать качания маятника, он приказал домоправителю заключить часы в хрустальный футляр. И такой склеп был изготовлен. Аракчееву нравилось, когда он слышал прерывающееся от волнения дыхание генерала или сановника, сидевшего перед ним, как на раскаленной сковороде. По переменам в дыхании он догадывался, что творилось на душе у посетителя.

Сейчас перед ним стоял навытяжку замерший старший полковник Шварц.

Аракчев сидел в кресле. Слово неживой, и не опускал холодных широко раскрытых, но пустых и бесцветных глаз. Иногда его нарочно придуманное оцепенение прерывалось лишь тем, что он вынимал из оправленного в золото очешника очки, надевал их на мясистый широкий нос, посмотрев на полковника, снова снимал, и терзание тишиной и молчанием продолжалось.

– Дышишь? Смотри-ка ты, живой! – вдруг странно заговорил Аракчеев. – С присвистом, а все-таки дышишь. И в обморок не падаешь. А других без памяти отсюда вытаскивают. Похрабрее тебя, да водой отливают. Ты кто: гог-магог? Бонжура? Я тебя зачем послал в Семеновский полк? А ты чем там занялся? Или забыл мой наказ? Мудрее моего слова всей Россией не придумать! Да ты знаешь, я тебя в пыль истолку?..

Шварц что-то хотел сказать, но Аракчеев так рывкнул на него, что тот чуть не упал:

– Цыц! Замри, душа, остановись, сердце! Или забыл: меня вся Европа трепещет! Умным захотелось показаться? Гог-магогой? Я тебя пошто туды послал? Дурь выколачивать, а ты чем занялся? Парады устраиваешь да благодарности объявляешь бонжурам? В рот сладкопевцам заглядываешь? Подстроиться хочешь под последышей Потемкина? Да я тебя свиньям в корыте ишпинкую. Я все знаю, как ты себя повел! Скверно повел! Моей хватки не вижу. Могу сейчас сорвать с тебя полковничьи погоны! Хочешь? – Аракчеев встал и положил длинную тяжелую руку на плечо Шварца. – Губы трясутся? А хвост трясется? Я с такими, кто из себя умника передо мной корчит, вот как обхожусь... – И Аракчеев сделал ногтем на лаковом столе выразительное движение, показывающее, как давят насекомых. – Хочешь щелкнуть под моим ногтем? Я на этом столе многих вшей в мундирах подавил. А стол все равно чистый. Дурак и гниды не раздавит, чтобы рук не запачкать, а я вот не запачкал, а такие ли вонючие клопы мне под ноготь попадались, взять хоть поповича графа Сперанского... Ты зачем объявил благодарность? Дурак и болван, подумал ли, что ты делаешь? Выходит, ты объявил благодарность изгнанному мною Потемкину? Дурак, в труху изотру!

– Ваше сиятельство, милостивый государь, я не сам... Я исполнил волю их высочества великого князя, который и послал меня в Семеновский полк!

– Цыц! Замри, душа, остановись, сердце! Мне виднее, кто тебя в Семеновский полк послал: великий князь или я... Великому князю я на тебя указал, а то не бывать бы тебе, дураку и дубине, в Семеновском полку! Дошло? – Аракчеев пощелкал чугунными посинелыми ногтями по лбу полковника. – Горшок. Пустой глиняный горшок, в нем не только большой политики, но и солдатской похлебки не сварить. Ну, куда мне тебя девать: в Сибирь? В Шлиссельбургскую крепость? Или рядовым в напольный полк без права выслуги? Выбирай, что тебе лучше...

Такого страху нагнал Аракчеев на полковника, что тот разревелся и никак не мог уняться. Аракчеев с наслаждением, странным и непонятным, смотрел на него и не одергивал.

Он испытывал удовольствие, когда видел перед собой плачущего военного или министра. Чем выше был чин, знание или занимаемый пост плачущего, тем слаще делалось Аракчееву.

– Наревелся? Заверни кран, чтобы больше не капало, а то лужу под себя пустишь, – в обычном для него духе повел речь Аракчеев, вернувшись в кресла за стол. – Руки моей в полку не вижу, духу моего не чувствую в твоих распоряжениях! У тебя солдаты не государеву службу несут, а ремесленничают, отходничают, пьянствуют да чай распивают. До сих пор самовары из казарм не убраны! От самовара в казарме до испанской революции короче воробьиного скока. Слыхано ли, видано ли, чтобы российский солдат на кровати драл? Нынче он себе кровать устроил, а завтра у государя перину потребует! Шинели висят, как на пугалах, гребней на киверах и в помине нет! А до полкового праздника рукой подать. Когда же ты, расканиалья и сукин сын, станешь наводить порядок? Или мне вместо тебя являться в государев полк? Могу пожаловать, только уж после не взыщи... Цыц! Замри, душа, остановись, сердце! Ежели в самый короткий срок не увижу в полку перемен к лучшему, то я из тебя намелю нюхательного табаку! Долой с глаз моих! А то велю слугам, чтобы на конюшню сводили да угостили ременной азбукой! Я не таких паршивцев, а первых флигель-адъютантов угощал березовой лапшой! Что остолбенел? Пора бы тебе, колоде осиновой, знать: я друг государя и на меня жаловаться можно только одному богу, а бог сам меня приставил пожизненно в помощники и слуги благословенному государю нашему! Кругом! Шагом марш! – скомандовал Аракчеев.

21

В Семеновских казармах поднялся переполох. Фельдфебеля, взяв себе в помощники ефрейторов и унтер-офицеров, обходили солдатские покои, холостяцкие и семейные, отбирали самовары, выставляли в коридор; солдаты с недоумением смотрели на все на это. Самовары относили на склад, из складов тащили в казармы доски – бывшие нары, когда-то уничтоженные Потемкиным, из покоев выносили кровати, на их место ставили козлы, на козлы клали доски.

Шварц в сопровождении двух дежурных офицеров, Скобельцына и Кошкарова, метался из казармы в казарму, размахивал палкой и даже колотил по головам нерасторопных солдат и унтер-офицеров. Будто Мамаево нашествие вдруг все взмело, взворошило, опрокинуло вверх дном в казармах.

Дурницын с женой сидели у самовара и пили чай с вяземскими пряниками. Дверь распахнулась, вошел рыжеусый фельдфебель Брагин и с ним унтер-офицер Мягков.

– Приятного аппетита!

– Просим милости к столу, чайком прополоснуться, – пригласил Дурницын.

– Прощайтесь с самоваром, – без всякого энтузиазма объявил Брагин, – с сегодняшнего дня приказом командира полка отбираются самовары у солдат и нижних чинов. Также и кровати.

– А на чем же спать? – испуганно спросила Луша.

– Отбираются пока что только у холостяков. Запасайтесь кипятком, а самоварчик я возьму у вас, – невесело сказал Брагин.

– А ежели я не дам? А чем дышать солдату без самовара, особенно в студеную пору? – вспылил Дурницын. – Сам государь разрешил самовар держать в покоех. Не дам! А Шварц твой – сукин сын и подлец! Знаю, что и ты о нем такого же мнения, только сказать вслух опасешься. Или вру?

Фельдфебель вместо слов выразительной улыбкой дал понять Дурницыну, что он не отрицает его верную догадку.

– И все ж мне приказано отобрать самовар! Не только у вас, у всех, – требовал Брагин.

– Не дам! Отступись! На честно добытые денежки куплено, не воровано! И не лезь! А то обварю, фельдфебель, не наводи на грех!

– Заупрямишься, хуже будет, Иван!

И Дурницын с Брагиным крепко поругались. Луша заплакала.

– Собака ты, Брагин! Перед кем угодничаешь?

– Так и доложу ротному, что оказал сопротивление, а тот отпрапортует батальонному, а батальонный – Шварцу, а уж тогда пеняй на себя, – страдал Брагин.

– Да хоть самому государю рапортуй! Подумаешь, какое преступление – самовар! Или уж солдат и горячей воды не достоин? Или он и этого не заслужил? Уходите из моего покоя! Уходите!

Брагин отступил перед Дурницыным. В покой порывисто вошел Шварц с сопровождавшими двумя офицерами.

– Почему самовар на столе, а не в коридоре? – крикнул он, обращаясь сразу ко всем.

– Препятствие оказывает владелец самовара, – поневоле доложил Брагин.

– Двадцать пять фухтелей, а самовар взять! – распорядился Шварц и сам схватил самовар со стола, чтобы вынести в коридор.

У порога он поскользнулся и упал на самовар, ошпарив себе руку.

– Изверги! – взревел Шварц. – Триста фухтелей! Обоим по триста!

До конца дня продолжалось это нелепое гонение.

Еще продолжали сносить в цейхгаузы отобранные самовары и выброшенные кровати, а Шварц собрал к себе на квартиру всех штаб- и обер-офицеров, чтобы сделать срочное распоряжение.

Смущенные и пораженные всем происходящим, мрачные офицеры расселись по стульям, поставленным около стен. Шварц вышел на середину и, стуча палкой о паркет, изумил всех:

– Никакой благодарности ни вам, ни полку я не объявлял и не собирался объявлять. А что сказал великий князь, то его дело! Я недоволен вами, господа баталионные командиры!

– Как же так, Григорий Ефимович, – заговорил Вадковский, надеясь, что ему удастся притупить вспышку этого полубезумия.

– Цыц! Замри, душа, остановись, сердце! – зыкнул Шварц и вдруг ощутил какую-то сладость от произнесенных чужих слов. – Недоволен! И потому прошу вас зачитать вот этот мой приказ каждой роте! Я так и пишу в приказе: просил я господ баталионных и родных командиров, чтобы шинели были вытянуты орднообразно и были скатаны ту же, а были напротив свернуты слабо; просил я тоже, чтобы поперечные ранцевые ремни были выравнены, но оные были неровны; просил я еще, чтобы из фронта не выходили, а государевой роты стрелок и 1-й роты рядовой были отставши, за что предлагаю командиру наказать рядового при роте ста ударами, а стрелок переводится в шестую роту. Кто мои приказы не будет выполнять, того велю колоть вилками. А кто дерзнет пожаловаться – на кол посажу и семь дней не велю снимать.

Офицеры, пораженные и оскорбленные таким разговором, переглядывались, некоторым начинало казаться, что перед ними человек, свихнувшийся с ума.

Штабс-капитан князь Щербатов, встав, сказал с достоинством:

– Вот уже более десяти лет не только в государевой роте, но и во всех остальных ротах не было случаев телесного наказания рядовых и нижних чинов! Государева рота таким актом будет оскорблена в самых лучших чувствах! Я отказываюсь делать наказание.

– Замри, душа, остановись, сердце! Сразу вижу – гог-магог! Я сам накажу! Вы что – бунтовать? Вы кому служите? – Он бросил свою шляпу на пол и начал истерично топтать ее. – Заговор? Да я с вами, заговорщиками, с этого часу больше не хочу и говорить! Все мои распоряжения и приказания я отныне буду делать через фельдфебелей! И через них буду вычесывать из вас кислую потемкинскую шерсть! Вычешу! У меня подобрана скребница против строптивых. Без моего ведома никто из вас не смеет награждать солдата или нижнего чина! Даже благодарности объявлять не разрешаю!

У штабс-капитана Сергея Муравьева-Апостола судороги сводили крепко стиснутые пальцы. Он удивлялся тому, откуда у него вдруг обнаружилось столько выдержки, терпения, хладнокровия. В ямках около носа забелелось два пятнышка – признак сильного скрытого негодования. Он обратился к Шварцу:

– Не хотите ли вы вашими распоряжениями отстранить ротных командиров от исполнения возложенных на них обязанностей? И думаете ли вы о том, к чему может привести уменьшение власти и влияния ротных командиров?

Шварц осоловелыми глазами уставился на Муравьева-Апостола и буркнул:

– И ты – гог-магог! – И вдруг забесновался: – Я прислан сюда не думать, а командовать! И мне нужны не думающие, а исполняющие! Катитесь думать к своему

Потемкину! Вот так-то. Всё. Вы мне больше не нужны! Мой сегодняшний приказ нынче же объявить по всем батальонам.

Офицеры уходили из полковой канцелярии, как с похорон.

22

Майские жуки весь вечер летали над плацом. В эту весну их почему-то было так много, что капитан Муравьев-Апостол во время вечерней прогулки с полковником Ермолаевым на лету ловил жуков рукой.

– Дмитрий Петрович, мириться со Шварцем никак нельзя, – внушал капитан полковнику, – он разрушит честь и славу нашего полка.

– Я решил проситься в отставку, а Вадковский уже хлопочет о переводе в армию к генералу Ермолову. К Ермолову не удастся – берет к себе Дибич, – отвечал бурный Ермолаев. – И ты, Сергей Иванович, начинай думать о переводе в другой полк, хотя бы через свою тетюшку, у нее же огромные связи.

– Это не выход, полковник!

– Пускай гнусная скотина Шварц набирает в полк таких же скотов по образу и подобию своему, – все больше вскипал неукротимый Ермолаев, – и тогда царь поймет, когда увидит, во что превратили его полк эти негодяи, полнейшие идиоты.

Муравьев-Апостол не хотел и слушать о переводе в другой полк, хотя бы и гвардейский. И для этого у него было много разных причин.

– Нет, Дмитрий Петрович, и еще раз нет! Надо помышлять не об уходе, а о скорейшем удалении этого невежественного первобытного дикаря из нашего полка, пока дело не дошло до возмущения. – И в конце концов он уговорил Ермолаева действовать иным образом.

На другой день в свободное от занятий время офицеры сошлись на квартире у полковника Яфимовича. Все были возбуждены, озабочены, встревожены. И сам хозяин квартиры пребывал в таком же состоянии.

– Мы собрались сюда, чтобы просить вас объяснить самым серьезным образом полковому командиру всю неуместность его странного и недостойного поведения, – обратился Муравьев-Апостол к полковнику Яфимовичу. – Он должен понять, что полк не намерен молчаливо принимать и безропотно сносить несправедливые обиды.

Об этом же и с таким же волнением говорили капитан Кошкарлов, штабс-капитан князь Щербатов, полковник Иван Вадковский. Гневную, полную презрения речь произнес полковник Ермолаев, приходивший в неистовство от одного упоминания ненавистного имени.

– Я призываю вас, господа, сейчас же полным нашим собранием отправиться на квартиру к полковому командиру и объясниться с ним! – так закончил свою речь Ермолаев.

– Я согласен! – первым отозвался Иван Вадковский.

– Думаю, что все согласны! – поддержал капитан Кошкарлов.

– Пошли, господа, к Шварцу! – звал Муравьев-Апостол.

На этой сходке были все батальонные командиры, и каждый высказался за то, чтобы сейчас же объясниться со Шварцем.

Решили вечером идти к полковому командиру. На том и разошлись.

А часа через два один из участников этого собрания полковник Обрезков, не возражавший на сходке против объяснения со Шварцем, приехал к начальнику штаба гвардейского корпуса Бенкендорфу и передал ему обо всем, что нынче было условлено между офицерами:

– Милостивый государь, Александр Христофорович, я делаю это сообщение частным образом и надеюсь, что вы его не поймете превратно и не станете рассматривать как недостойный чести офицера донос на своих товарищей... Я делаю это, движимый чувством безграничной преданности вам, видя в вас воплощенную добродетель, благородство, истинное человеколюбие, – в заключение пробормотал Обрезков.

– Конечно, конечно, полковник, я же вас, слава богу, не первый раз вижу и не первую приятную беседу имею с вами, – отвечал Бенкендорф, – и я рад тому, что наши беседы проходят частным, а не каким-нибудь другим образом.

– Я тоже, ваше превосходительство...

– Значит, мы понимаем друг друга с полуслова.

Обрезков вернулся в офицерские казармы, никому не сказав, куда он ездил.

А через час прискакал вестовой от Бенкендорфа и пригласил всех батальонных командиров Семеновского полка в тот же вечер прибыть в штаб гвардейского корпуса.

Бенкендорф встретил их с подчеркнуто изысканной галантностью. Он был ласков, мил, вежлив. Обходителен. Шутил, острил, не боясь показаться вольнодумцем или либералом, неосторожно перешагнувшим дозволенную грань.

– Ну, что там у вас, господа, новенького? Как привыкаете к полковому командиру? Говорите всю правду! Правда – девиз моей совести! – заявил Бенкендорф.

Первым заговорил полковник Иван Вадковский. Рассказал о невежестве Шварца, о его вызывающем обращении с подчиненными.

– Ваше превосходительство, мнение офицеров нашего полка едино: Семеновский полк погибнет, если он и далее останется под началом Шварца! – так закончил свой обстоятельный рассказ Вадковский. – Мы взываем к вашему благоразумию и не теряем надежды найти в лице вашем предстателя перед господином командующим корпусом и перед самим государем за оскорбленный и униженный полк.

Бенкендорф, пока говорил Вадковский, несколько раз то вставал из кресел, то снова садился.

– Ежели вы не донесете наш голос до государя, то мы вынуждены будем покинуть полк, – предупредил Ермолаев.

Слова Ермолаева повторил и Обрезков, только без того душевного пыла, с каким обычно говорил.

– Может быть, ваше превосходительство, и худшая развязка всей этой истории, – намекнул Ермолаев. – Возмущение и недовольство подчиненных так велико, что оно начинает являть собою вид сжатого пороха... А сжатый порох всегда опасен. Малейшая искра – и взрыв...

У Бенкендорфа проступили алые полосы на холеных щеках, словно кто-то их слегка подрисовал нежной краской. Он стал упрашивать Вадковского подчинить чувства голосу рассудка и набраться терпения.

– Господа, я знаю, что такое Семеновский полк! И вместе с вами горжусь любимым детищем государя! – патетично восклицал Бенкендорф, обращаясь к офицерам. – Ваше возмущение мужланом и грубияном я не только понимаю, но и разделяю. Но при всем при этом прошу оставить ваше намерение об уходе в отставку и прочих мерах выражения несогласия и недовольства. Поверьте мне, господа, своим проступком вы можете вызвать гнев государя, а пользы полку не принесете.

– Что же нам делать? – спросил унылый Вадковский. – Смириться? Это невозможно!

– Желая избавиться от одних неприятностей, вы можете навлечь на себя еще большее, – внушал Бенкендорф. – Запомните мои пророческие слова: если Семеновский полк для избежания всех возможных и почти неминуемых неприятностей еще несколько потерпит, то, клянусь вам святым распятием, в малое время увидит счастливую перемену.

– Можем ли мы надеяться на то, что наше нынешнее вам представление будет доведено до сведения корпусного командира? – спросил Вадковский.

– В этом можете не сомневаться, мой святой долг – беспромедлительно обо всем поставить в известность корпусного командира, именем которого я обещаю вам скорые счастливые перемены. Я не сомневаюсь, что корпусной командир сочтет своим первейшим долгом представить государю всю правду о несносном грубом обращении полкового командира с подчиненными.

Бенкендорф заговорил тоном командира:

– Я вам приказываю успокоить офицеров своего батальона.

– Могу ли я передать моим подчиненным офицерам ваши слова? – спросил Вадковский.

– Можете!

Батальонные командиры вернулись в офицерские казармы далеко за полночь. В сердце каждого ожила надежда на перемену к лучшему в недалеком будущем.

После полевых учений полковник Вадковский собрал у себя на квартире офицеров 1-го батальона и доложил им о состоявшейся встрече с Бенкендорфом. Почти точными словами начальника штаба гвардейского корпуса обещал он скорые перемены к лучшему и просил подчиненных потерпеть, сдерживать не только свои страсти, но и не показывать ничего толкающего к недовольству и возмущению перед нижними чинами и рядовыми.

– Именем корпусного командира генерал-адъютант Бенкендорф дал почувствовать, что ваше терпение не будет продолжительным, а причинить обиду государю и тем самым вызвать его гнев мы не хотим, – сказал Вадковский.

Его предложение было воспринято по-разному, все же подчиненные дали твердое обещание потерпеть еще.

Прошло несколько дней, а Бенкендорф ни слова не доложил о встрече с семеновскими офицерами командующему корпусом Васильчикову, хотя за это время несколько раз виделись. И случилось так не в силу забывчивости Бенкендорфа, его умалчиванию о столь важном разговоре с семеновцами была другая причина: он подсиживал командующего гвардейским корпусом, которого презирал не столько за его холопство и сатрапство, сколько за генеральское хамовесие и тупоумие с претензиями. Бенкендорф встречал с тайным злорадством всякий промах генерал-адъютанта Васильчикова.

– Не слышал ли что нового о Семеновском полку? – как-то раз спросил Васильчиков, навестив Бенкендорфа в его служебном кабинете.

– Все идет своим чередом... Помаленьку осваиваются с новым командиром, – с умильной улыбкой отвечал Бенкендорф.

23

Серое утро обещало серый день. Над Семеновскими казармами беспокойно мчались клубящиеся тучи.

Все двенадцать рот с самого утра занимались усовершенствованием хождения.

Фельдфебели в разных местах полкового плаца обучали поворотам робких новобранцев: поодиночке, пошестакам, пошереножно.

Появился Шварц. Он нынче казался тихим и смирным. Хотя и не поклонился офицерам, но ни на кого не кричал, а прохаживался один, в стороне от всех, будто его вовсе не интересовало происходящее на плацу.

Вдруг он резким окриком остановил государеву роту.

– Вот у этого, и у этого, да еще вон у того колени кривые! Надо выправить, и я покажу, как это делается! Лубки сюда! – приказал Шварц.

Фельдфебель сбегал в цейхгауз и принес охапку лубков.

– Заклечь ноги в лубки!

Солдатам, на которых указал полковой командир, подвязали лубки. Ноги от плюсны и до середины бедра оказались как бы в тесных трубах.

– А теперь продолжайте хождение!

Солдаты с лубками на ногах сбивались с шагу. Лубки причиняли острую боль, они были так туго подвязаны, что врезались в тело. А Шварц продолжал расхаживать отдельно от всех и насвистывать какой-то нелепый, самым придуманный марш – помесь турецкого со шведским.

Штанников, Хрулев, Грачев и Жикин растерли до крови ноги грубыми лубками. А хождение все продолжалось.

Шварц подошел к 5-й фузелерной роте, которой командовал штабс-капитан Казаков.

– Где тот, которого поймали недавно? Или в лазарете? – спросил Шварц.

– Три дня, как выписался, и сейчас обучается поворотам.

– Сколько палок я ему приказал за побег?

– Двести...

– Маловато. Вишь, он как скоро выздоровел. Так-то может и опять убежать.

Шварц повернулся и пошагал туда, где дрессировали новобранцев. С новобранцами занимался высокорослый фельдфебель Ащепков. Новобранцы в эту минуту были выстроены двумя шеренгами.

– Который тут беглец Котлов? – спросил полковой командир.

Тихосмирный новобранец, недавно выписанный из лазарета, изменился в лице. У него даже почернели губы – он ждал нового наказания. Шварц ткнул его кулаком в живот.

– Чего брюшину не подбираешь? А где гвардейская талия? Разве это талия? До сих пор тебя, дурака, не научили, как надо подтягивать талию! Ремень сюда! Вот так подтягивают талию!

И Шварц, опоясав ремнем талию новобранца Котлова, одной ногой уперся ему в низ живота, а руками начал изо всей силы тянуть за конец ремня. Он обладал лошадиной силой. Новобранцу показалось, что его хотят перерезать надвое. Котлов едва держался на ногах. И тут еще одна небольшая беда случалась с ним... Беда, что случается со всяким, равно, как с псарем, так и с царем... Он не сдержал в себе ветер. И это услышал Шварц.

– Как ты смел?

– Ваше высокоблагородие, неумышленно получилось...

– Я тебя отучу пыжами в панталоны стрелять! – закричал Шварц.

Ему показалось, что в той и в другой шеренге несколько лиц улыгнулось. Еще пуще разъярился Шварц.

– Смеяться? Над кем? Над ним? Надо мной? Повернуть обе шеренги лицом к лицу.

Фельдфебель Ащепков выполнил приказание – повернул шеренги лицом к лицу.

– Одна шеренга бей другую по щекам, а другая – бей первую! И чтобы не мазать! Кто будет мазать, того под тесаки! – распорядился Шварц.

Шеренга шеренгу начала бить по лицу. Шварц при виде этого зрелища повеселел. Он наблюдал чуть ли не за каждым ударом и не переставал повторять:

– Сильней! Звонче! Всей ладонью по всей щеке! Румяней станете!

И горе тому солдату, которого он вдруг заподозревал в неполноценном ударе; он тут же подходил к такому и ставил мелом на спине крестик, что означало неминуемое наказание тесаками.

Больше двух часов без перерыва раздавались пощечины. И все это время Шварц не отходил от новобранцев и на одну минуту. У Котлова из носа, как и у многих других, хлынула кровь, и он без чувства свалился фельдфебелю Ащепкову под ноги.

Штанников, Грачев, Хрулев вернулись с учений с искалеченными ногами, лубками натерли кровяные мозоли, содрали кожу.

В этот вечер Штанников после переклички во весь голос проклинал Шварца.

– Сказали: бешеных всех перевешали, но не правду сказали: одного не связали – Ефимыча... – резал однодворский сын Штанников. – Теперь плешивому лукавцу царю только такие и надобны.

Штанникова слушали все восемнадцать жильцов этого покоя, и никто ему не перечил: ни рядовые, ни унтер-офицер, ни капрал.

– Доведет он нас до последней капли терпения – и спалим! Разнесем по щепе все чертоги!

– Согласен! – раздавался приглушенный голос Заброцкого.

– Захотим – все вверх дном опрокинем! – еще пуще разгорался Штанников. – Было же время и у нас на Руси, когда и мужик боярина опрокидывал. Потому и слово об этом в мир пошло: мужик-то хоть и сер, да ум-то у него не волк съел. А мы – гвардия, мы – не серые! Нами и сами наиумнейшие господа офицеры не брезговали...

– Согласен! – вторил Заброцкий.

– За гвардией все пойдут! Благо начало. Армии хуже нашего. А поселенные, стар и мал, рады свою жизнь поменять на каторжанскую! – шумел Штанников на весь покой. – Хватит молчать! Или мы не люди? Во что нас обратили сволочи и палачи кособрюхие? Приравняли к козявкам! А мы не козявки.

– Согласен! – еще громче возглашал Заброцкий.

– Выведут из терпения – мы всех генералов поставим в две шеренги лицом к лицу, как кособрюхая нелюдь Шварц нынче ставил новобранцев, и заставим их бить друг друга по сытым рожам! – возмущению Штанникова не было предела.

А в казармах пятой фузелерной роты в этот вечер один из новобранцев после битья по щекам потерял рассудок, у троих открылась кровавая рвота; двое вскоре впали в беспамятство. Старые солдаты этот недуг определили как сотрясение мозга от чрезмерно сильного и продолжительного битья по лицу.

Душевный и мягкосердый фельдфебель Ащепков сидел около новобранца Котлова, корчившегося на нарах от нестерпимых болей в животе после изуверского стягивания талии, и уговаривал его потерпеть и больше не помышлять о новом побеге.

– Уважь меня, как брат родного брата, – упрашивал Ащепков, – не причиняй мне зла. Может, бог пошлет милость и полегчает служба.

А Котлов повторял:

– Все равно убегу или повешусь. На что мне такая жизнь?

Ащепков впал в уныние: за побег солдата ему придется расплачиваться собственными боками, и он не мог придумать, как и чем помешать Котлову, чтобы предотвратить задуманный побег.

Впервые за все время службы Ащепкову захотелось напиться до одурения. В вине топят не только горе, но и невымещенную ненависть.

Не у одного фельдфебеля Ащепкова появилось такое желание. Многие унтер-офицеры и рядовые, которых никак нельзя было назвать падкими до чарочки, стали мечтать о том, как бы вырваться в кабаки и напиться. И некоторым удавалось исполнить свое намерение.

Путру Шварц вызвал в полковую канцелярию фельдфебелей, чтобы через них отдать распоряжения ротным командирам. Он знал, что такой нелепый способ отдачи приказаний через младших чинов возмущает и штаб- и обер-офицеров, но не собирался изменять своего правила. А фельдфебелю Брагину велел задержаться.

– Я слышал, в государевой роте много всяких мастеров, – обратился Шварц к фельдфебелю, – вели капитану снарядить артель, а лучше – целый взвод рукоделистых солдат и под командой унтер-офицера нынче отправить в Царское Село. Главноуправляющий Царским Селом прислал нарочного: государь распорядился починить царскосельскую церковь: позолотить крест, поправить купол и что-то перестроить на колокольне. Потребны знатные верхолазы и золотых дел мастера. Есть ли у нас в полку такие?

– Сколько угодно, ваше высокоблагородие! Взять хоть Штанникова, если бы лестницу подлинней, он и на небо взберется.

– Снаряжай артель.

24

Весть о царскосельском пожаре всколыхнула всю столицу. Строились догадки, толки, предположения. Истина растворялась в бесчисленных выдумках.

Артель семеновцев возвратилась в полк. Семеновские офицеры озабоченно насторожились. Они спрашивали солдат: не знают ли те, от чего случился пожар? Но солдаты отвечали, что ничего не ведают, ссылались на божье попущение.

Шварц растерялся, не зная, как ему поступить с возвратившейся артелью.

Тем временем Милорадович, по тайному повелению царя, через своего многоопытного помощника Глинку вел усиленный розыск виновников пожара.

Вся артель, работавшая на починке царскосельской церкви, поодиночке была допрошена.

Когда допросы окончились, Глинка решил съездить на квартиру к члену Коренной Управы Союза Благоденствия полковнику князю Сергею Трубецкому, который год назад из Семеновского полка был назначен адъютантом в Главный штаб. В гостях у полковника он застал капитана Муравьева-Апостола. Они заняты были составлением ответа на письмо генерала Михаила Орлова, доставленное по рукам с надежным человеком.

– Чем ныне занят наш славный рыцарь Боярд? – имея в виду Милорадовича, спросил Муравьев-Апостол.

– Царскосельским происшествием – потихоньку подбираемся к поджигателям.

– Неужели поджог? – искренно удивился Трубецкой. – И есть след?

– Есть...

– И куда же он ведет? – еще более заинтересовался носастый длиннолицый князь Трубецкой.

– Прямышенько в Семеновские казармы, а еще точнее – в государеву роту... Трубецкой и Муравьев-Апостол с изумлением посмотрели на следователя.

– Изволите шутить?

– Без шуток. Хотя и твердо держались при допросах солдаты, составлявшие артель, но все-таки их виновность очевидна. Можно спорить лишь о том: сознательно или без всякого умысла они допустили такую оплошность.

– Генерал-губернатору доложено?

– Пока что нет. Вот и приехал посоветоваться с вами: как лучше поступить?

– Поступайте так, чтобы не погубить весь полк! – советовал Муравьев-Апостол. – Уличение в умышленном поджоге вызовет такой шум, что все мы от него оглохнем, непосредственные виновники будут преданы растерзанию по суду или без суда, а полк ждет высочайший гнев и уничтожение, в последнем можно не сомневаться!

– Я целиком присоединяюсь к мнению Сергея Ивановича, – заявил Трубецкой и тоже стал настойчиво уговаривать следователя сделать все от него зависящее, чтобы отвести беду от Семеновского полка. – Господа, ведь речь идет о чести и достоинстве нашего родного полка! Семеновец, куда бы его ни бросили, всюду гордится своей принадлежностью к этому полку.

Было решено составить заключение о результатах расследования причин пожара, целиком отводящее подозрение от семеновцев.

25

Тоска, недобрые предчувствия терзали сердце Луши. Она тосковала не по отцу с матерью и не по родному краю. Муж, замечала Луша, с каждым днем становится сумрачнее, возвращается с учений до того измученный, что не хватает сил поужинать и разуться. И характер изменился: меньше шутит и реже ласкает, будто чем-то опостылела Луша.

С появлением в полку Шварца не один Дурницын стал невеселым.словно метлой вымело из солдатских казарм песни, шутки, присказки, семейные и холостяцкие посиделки в просторных покоех с запевками, с играми, с забавами, как это бывало при Потемкине. Перестали песенники и песенницы воскресными вечерами собираться на лавочках под окнами казарм коротать свободное время.

С самой весны на ротных дворах ничего не слышно, кроме однообразных команд, отдаваемых унтер-офицерами, фельдфебелями, командирами рот.

Луша все большее страшилась такой жизни, все чаще вспоминала предсказания отца с матерью.

И в других семейных покоех теперь было так же уныло. И все ждали еще больших притеснений.

Приготовив ужин, пригорюнившаяся Луша сидела у стола и поджидала мужа с ротных учений. Нынче он что-то запозднился, а утром, уходя, ни о чем не предупредил. Всякая задержка беспокоила мнительную супругу. На плечах у нее цвел крупными розами черный шелковый полушалок – свадебный подарок полковничихи Вадковской.

Воротился муж. Грудь его была туго стянута ранцевыми ремнями, через плечо перекинута шинель в скатку. Набеленные летние панталоны пылили мелом. На мундире белелась подсохшая соль. Он пошатывался от усталости, как хмельной.

– Умаялся? – участливо встретила его Луша и стала помогать рассупониваться гвардейцу.

– Лучше и не спрашивай, – отвечал он, сев на табурет. – Нынче весь день сам зверь в образе человека лютовал на плацу, по четыре часа бесменно заставлял ходить тихим шагом, а сам наблюдал игру носков. Медленный шаг и быка может свалить с ног. Трое из нашей роты не выдержали – упали, приказал каждому дать перед ротой по пятьдесят тесаков.

От рассказа мужа у нее еще темней стало на душе, хотя она и не говорила об этом.

В казармах все утихомирились. Легли спать и Дурницыны. Голова Луши покоилась на утонувшей в мягкой подушке сильной руке мужа. Она шептала ему в ухо ласковые слова, желая хоть чем-нибудь облегчить его.

– Я хочу предупредить тебя, Луша, вот о чем, – решил он открыть ей одно важное дело. – Рота наша пришла к такому выводу: нет больше сил терпеть и каждый день сносить унижения и оскорбления; поскорости предстоит смотр, ожидается какое-то высокое начальство, я да еще один обещались своей роте принести жалобу на Шварца.

У Луши тревожной забилося сердце, эта весть была ей не в утешение, а в новую горе.

– А кто второй-то?

– Заброцкий. Мы начнем, а остальные нас поддержат, сговорились стоять друг за друга, хоть бы умереть пришлось, но не отступать. А в таком деле всяко может получиться, начальство не любит жалоб и жалобщиков. Расправляется с ними: и наказывает, и в армию отправляет. Ежели что со мной стрясется, то ты не падай духом, не отчаивайся, а держись ближе к нашим людям, они в беде не бросят. И среди командиров есть немало добрых... Капитан Сергей Иванович Муравьев-Апостол, полковник Дмитрий Петрович Ермолаев... В трудную минуту можно к ним обратиться.

Луша слушала и плакала. Слезы ее катились на руку Дурницыну.

– Ну ты чего? Зря, знать, я сказал тебе. Надо бы умолчать. Может, ничего и не случится плохого, а ты уж разгоревалась.

– Иван Потапыч, свет ты мой, ясен сокол, зачем ты на верную погибель идешь? – жаловалась она. – Пускай кто-нибудь другой ввязывается.

– Надо кому-то первому начинать, – успокаивал он. – Стариками умными заповедано: поживи для других и другие для тебя поживут. Я стану молчать, другой станет безропотно терпеть, третий тереть к носу, – совсем нас забудут и человеческого житья не дадут.

– Все равно, пускай другой жалуется... Зачем ты сам себя обрекаешь в зачинщики? Вон зачинщиков-то как наказывают.

Всячески уговаривала Луша мужа, но так и не уговорила. Еще тоскливей сделалось на душе у нее.

Утром того дня, в который должен был состояться смотр. Дурницын после утренней тапты невеселый вернулся в покой и сказал жене:

– Вот и зря ты печалилась, не придется мне послужить роте: меня и Заброцкого, вместе с артелью, отправляют на работу в имение командующего корпусом генерала Васильчикова; и еще такую же артель в имение генерала Бенкендорфа, работать, спину гнуть ни за копейку. Кровопивцы, мало им крестьянской крови, так еще солдатской захотели. Всю сволочь в генеральских мундирах нам, солдатам, приходится обрабатывать, как на своих рабов, смотрят на солдат, не считаясь с тем, что мы служим в государевом полку.

А Луша была несказанно обрадована такой переменной.

Пробили утреннюю тапту. Семеновский полк, выведенный на полковой плац, застыл в стройных колоннах в ожидании начала смотра.

Взвод музыкантов ждал знака, чтобы грянуть во все трубы и ударить во все барабаны.

Штаб- и обер-офицеры, в приличном расстоянии от нижних чинов, стояли кучей и обеспокоенно переговаривались.

Капитан Скобельцын предупредил:

– Господа, не случилось бы нам неприятности: среди солдат и нижних чинов существует вроде сговора против командира полка.

– Скобельцын, несите свою новость вашему Шварцу, а здесь она не нужна, – резко оборвал полковник Ермолаев. – Как вам не стыдно клеветать на солдат? Еще один шаг, и вы заявите, что в среде офицеров подслушали заговор...

Ермолаев вдруг вскипел и был готов сделать еще большее оскорбление изменившемуся в лице Скобельцыну.

– В день смотра давайте без взаимных упреков, – миролюбиво призывал капитан Муравьев-Апостол. – Надо стремиться не к разобщенности, а к сплоченности.

Шварц не показывался на плацу и через фельдфебелей не звал никого в полковую канцелярию. Он в это время вел неприятный разговор с приехавшим проводить

инспекторский смотр бароном Розеном. Дивизионный командир нынче сильно напирал на кособрюхого Шварца.

– Вы не командир, а скуловорот! С вашим появлением в полку начались побегі, самоубийства, чего никогда не случалось на протяжении целого ряда лет!

– Я не своротил ни одной скулы, – оправдывался Шварц, – а ежели которого отечески потаскаю за ус или заставлю шагать по паркету в моей квартире босого, то опять же с целью облегчения службы, чтобы не прибегать к палкам. Или кому плюну в лицо, так я плевком заменю сразу сотню шпицрутенів.

Розен не мог скрыть презрения к Шварцу, которого считал самым неспособным командиром во всем гвардейском корпусе, и назначением его в Семеновский полк был крайне возмущен. К чести генерала нужно сказать, он ни перед кем не таил своего возмущения, даже перед великими князьями.

– Вы вашими бездумными распоряжениями решительно подорвали власть и влияние ротных командиров на солдат. Баталионные командиры вас не только не любят, но даже и не уважают. Как же можно дальше командовать первым гвардейским полком?

– Есть и уважающие среди штаб- и обер-офицеров.

– Назовите хоть одного!

– Баталионный командир полковник Вадковский, полковник Яфимович, капитаны Скобелыцын, Бибииков...

– И только-то? И это вы считаете своей опорой? Я приехал сюда с тем, чтобы сделать тщательнейший смотр и о результатах доложить не только господину корпусному командиру, но и самому императору. Во время смотра прошу вас не оказывать ни малейшего давления на господ офицеров, солдат и нижних чинов.

И они направились к полку. Шварц покрылся испариной. На щеках его горели багровые пятна. А толстые маслянистые губы сделались сухими. После неприятного вступления строгого дивизионного командира он считал свое положение не только шатким, но и почти безнадежным. Ему думалось, что Розен не по своей воле говорил с ним так резко и прямо, очевидно, изменилось к худшему мнение о Шварце тех, чьим заступничеством он был вознесен и определен в Семеновский полк. Розен своим видом и каждым жестом как бы желал подчеркнуть перед штаб- и обер-офицерами вполне определенное отношение к Шварцу. Но больше всего ему хотелось, чтобы на это обратили внимание солдаты и правильно поняли дивизионного командира. Он искренне желал услышать от них как можно больше правды о Шварце.

Заревели трубы, загрели барабаны. Утро расцвело синью высоких ясных небес. Было солнечно и тепло. Но лица солдат и нижних чинов, обратил внимание генерал, были сумрачны, вялы, взгляды унылы. Полк выглядел уставшим и изнуренным, и генералу не нужно было доискиваться до причины такого состояния семеновцев: он хорошо знал, что каждый из них почти всю минувшую ночь был занят подготовкой амуниции, приведением в порядок мундира, чисткой, лощением.

Мундиры и сапоги у большинства были новые.

Розен подошел к государственной роте и после положенного взаимного приветствия обратился к солдатам:

– Я прибыл, чтобы произвести инспекторский смотр Семеновскому полку и выслушать от вас все претензии к командирам, начиная с фельдфебеля и кончая командиром полка. Прошу каждого говорить сущую правду и не бояться за последствия.

За спиной Розена стояли полковники Шварц, Вадковский, командир роты Щербатов. Шварц ястребиными глазами свирепо смотрел в лица солдат и унтер-офицеров первых шеренг и ждал, что вот сейчас посыплется жалобы.

– Какие есть у вас претензии? – по-доброму спрашивал дивизионный командир.

Рота молчала.

– Довольны ли службой?

Ничьи уста не открылись, чтобы ответить и на этот вопрос.

Розен был поражен этим непонятным для него молчанием. И воспринимал его, в какой-то мере, как пощечину самому себе.

– Довольны ли новым командиром полка?

В задних шеренгах стало заметно некоторое оживление. Но не нашлось ни одного смельчака, который бы прямо сказал о том, что должен был от имени всех заявить сейчас отсутствующий Дурницын. Штанников, красовавшийся в передней шеренге, слегка тронул локтем стоявшего рядом с ним Амосова, мол, начинай, а мы поддержим. Но Амосов не решился заговорить первым.

Штанников прочитал в обращенном на него взгляде баталионного командира Вадковского страстный призыв говорить всю правду. И этот призыв в глазах командира прочитали многие солдаты, и все ж таки промолчали.

– Не считаете ли вы свое положение тягостным? – трижды повторил Розен.

Ответа нет. Он пожал плечами, круто повернулся и пошел прочь. «Молчат, как гробы, – с огорчением думал он, – вот до чего забиты и запуганы. Но их молчание выгодно Шварцу. Как я теперь доложу командиру корпуса о тягостном положении семеновцев, он и без того зол на меня».

– Вольно! – раздалась команда.

Офицеры удалились, солдаты остались одни. Присутствие унтер-офицеров рядовых не смущало. И тут начались взаимные упрёки и сожаления об упущенном.

– Эх, братцы, чего же мы молчали? – тужил желтолицый Венедикт Семенов.

– Дурницыну было поручено, а его с артелью отослали, – будто оправдываясь в чем-то, лепетал Амосов.

– А что у тебя – языка нет? На чужой надеялся?

– Я-то не надеялся, а ты, Петров, как и я, молчал...

– У меня горло простуженное...

– Вот теперь смотрим друг на друга, да не воротишь генерала инспектора, он же каждого чуть не за язык тянул. Эх, вы, а тоже семеновцы, – укорял сам себя и друзей унтер-офицер Мягков. – Надо было резать правду-матку, а не молчать. Вот и плохо без Дурницына.

– А неужели начальству и без нашей жалобы о положении нашем ничего неизвестно? – заговорил Хватов. – Ведь не с одним человеком и не один день это делается. Я потому нынче молчал, что не верю в заступничество командиров, тем более таких, как генерал Розен. Давайте, ребята, еще потерпим, не будет ли лучше, может, бог даст, и станет полегче.

– Я в полегчание не верю, братцы, – рассудил Хрулев, – но воздержался от жалобы. Поодиночке жаловаться боязно, чуть откроешь рот – и пятьсот ударов получишь, так и в приказе отдано. Являться с просьбами поодиночке – себе на погибель, надо всем сообща, в один голос.

– Начальство само должно заметить наше тягостное положение, – высказывал надежды Амосов, – да и как не заметить? Люди из полка бегут, а прежде таких побегов не было. Объявление же просьбы на инспекторском смотре – ловушка, западня, волчья яма.

– Почему западня?

– А потому, что на зачинщиков генералы охотятся, – задорно отвечал Амосов. – Или не слышали таких англиже, когда на инспекторском смотре просьбы объявлялись, то хотя и было по ним удовлетворение, но объявлявшим просьбу потом было очень худо. Нет уж, братцы, давайте терпеть.

Тем временем генерал Розен продолжал инспекторский смотр остальных рот.

Он трижды повторил свой вопрос и перед 2-й ротой:

– Довольны ли своим командиром?

Все молчали.

Таким образом он осмотрел весь полк, и все роты отделались странным молчанием.

Багровые пятна на лице Шварца начали постепенно исчезать. Он почувствовал себя увереннее и впервые в мыслях поблагодарил генерального наставника Аракчеева за наставления, как выбивать из людей дурь. Аракчеевская заповедь: «Замри, душа, остановись, сердце», сотни раз повторенная перед полком и врезавшаяся в память каждому семеновцу, принесла ожидаемые плоды – полк будто лишился дара слова – ни один не посмел и заикнуться против Шварца.

Садясь в коляску, дивизионный командир, рассерженный на солдат за их холопское молчание, что никак не вязалось со всем обликом прославленных в сражениях орлов-семеновцев, резко бросил Шварцу в лицо:

– Такое молчание всех рот не делает чести командиру полка, и я не расцениваю это уж очень выразительное молчание в вашу пользу. Оно целиком против вас. Вы успели из отборных гвардейцев, людей умных, сообразительных, развитых, сделать полк истуканов! Кому это нужно? Или вы забыли, что сам государь издавна считает для себя удовольствием встретиться и обменяться словом с семеновцем?

Розен с полкового плаца поехал к командующему корпусом Васильчикову, которому порой приходилось весьма трудно лавировать между генералами. Васильчиков не доверял своему ближайшему помощнику, начальнику штаба генералу Бенкендорфу, подозревая его в злокознях и подкопах, а Розена не любил за то, что он на инспекторских смотрах не затыкает рот солдатам и готов выслушать любую жалобу, даже на самого командующего гвардейским корпусом. Розен не тушил, не глушил, не извращал и не скрывал солдатских жалоб, а немедленно доводил их до сведения Васильчикова или Бенкендорфа – добивался рассмотрения, принятия мер, наказания виновных.

Васильчиков уже не раз секретным порядком доносил на Розена начальнику Главного штаба Петру Волконскому и намекал о желательности перевода Розена куда-нибудь в армию. Но Волконский эти донесения клал под сукно, так как не симпатизировал Васильчикову, находя его малопригодным для командования гвардией.

Розен, подав руку Васильчикову, сразу же учинил разнос Шварцу и всему увиденному во время смотра.

– Шварца надо немедленно удалить из Семеновского полка!

– Легко сказать – удалить, а попробуй удалить? Не вы и не я назначали его в Семеновский полк, – отвечал Васильчиков.

– Я не назначал, но вы-то, думаю, имели непосредственное отношение к его назначению?

– В подробности лучше не вдаваться, – вдруг перешел на официальный тон Васильчиков и начал выговаривать Розену: – Ваши инспекторские смотры доставляют мне одни неприятности. Вместо того чтобы затыкать рты любителям пожаловаться на командиров, вы сами вызываете солдат на жалобы. Так случилось во время инспекторского смотра в Измайловском полку, который всегда славился строгостью дисциплины. Вы же вместо смотра устроили какое-то собрание и зачем-то несколько раз повторили солдатам, что они должны жаловаться. И добились того, что восьмая рота пожаловалась на своего капитана. Вам, как командиру дивизии, следовало тут же осадить жалобщиков. Вы же не сделали этого, а наоборот, охотно приняли сомнительную жалобу, обещали рассмотреть ее. И самое ужасное то, что на прощанье сказали солдатам: «Даю вам право приходить ко мне, моя дверь будет всегда для вас открыта». Или вы таких слов не говорили?

– Говорил! Но не так громко, генерал, чтобы они с Измайловского плаца могли долететь до вашей канцелярии.

– Вы своими ласкательствами вскружили полку голову; полк стал сам не свой; полковой командир в растерянности, а капитаны не знают, как им поступать с нерадивыми и дерзкими солдатами; чуть капитан решит наказать которого, как солдаты кричат: «Нам генерал Розен разрешил обращаться к нему с жалобой». От вашего человеколюбия рукой подать до преступной слабости.

Упрек был так огорчителен для Розена, что он сильно возмутился, упрекнув Васильчикова в легковерии.

– Я прошу у вас подробного объяснения в столь важном, сколь и несправедливом упреке!

– Вы слишком милостиво разговаривали с солдатами. Один дерзкий солдат подошел к вам и сказал: «Воля ваша, но нам с этим командиром будет трудно идти в поход, если таковой объявят гвардии».

– В чем вы находите мою излишнюю милостивость?

– Подходил к вам такой солдат?

– Подходил.

– Говорил сии возмутительные слова?

– Говорил.

– Ну, вот видите... И вы, генерал, не только примерно не наказали этого дерзновенного солдата в своем присутствии, но очень милостиво разговаривали с ним, чем подали дурной пример другим дерзким солдатам. Или не разговаривали?

– Разговаривал. Но не перед строем. Я вежливо пригласил его в другую комнату, выслушал, поговорил и тут же приказал отдать солдата под суд, вышел к роте и объявил, что он отдан под суд.

– Знаю, что объявили... Но как было объявлено? Не припомните ли? – ехидно прищурился одним глазом Васильчиков.

– Могу припомнить. Он предается суду не за то, что жаловался, но за то, что посмел сказать, что не может идти в поход со своим ротным командиром.

– И все?

– Все.

– Вот это и есть преступная слабость, генерал! Ваших слов было вполне достаточно, чтобы взволновать умы. А надо было сказать роте, что он отдается под суд и за то и за другое. Жалобщики более опасны, нежели вы думаете о них. Всех опасных лиц надо немедленно удалить из гвардии, о чем я просил государя.

Розен никак не хотел соглашаться с Васильчиковым, настаивавшим на своем.

– Запомните: входя в казарму к русскому солдату, надо забыть о человеколюбии. Наш солдат создан не для человеколюбия. Ему оно во вред! А Семеновскому полку я сам сделаю инспекторский смотр и послушаю, что скажут молчаливики о новом полковом командире.

Розен уехал. А Васильчиков по свежим следам беседы взялся за составление донесения князю Петру Волконскому. На этот раз он обвинял генерала Розена в еще больших грехах и нарушениях и прямо называл человеколюбивые идеи преступной слабостью.



Часть вторая Командиры ваши верны

1

Осторожность полковника Глинка была примером для тех, кто хорошо его знал. Друзья видели в нем северного Аристид¹. Они называли его истинным другом добра и чести, витязем без страха и упрека. Однако не все были такого мнения о нем. Служба при генерал-губернаторе как бы бросала тень на некоторые его дела и поступки. Многие видели в нем не того, кем он был, и не видели того, кем он являлся на самом деле.

Федор Глинка ненавидел Геттуна, правителя канцелярии графа Милорадовича, той же ненавистью, как и всемогущего временщика графа Аракчеева. Между Глинкой и Геттуном не могло быть ни дружбы, ни примирения, так как они являлись людьми совершенно разных правил.

Коллежский советник Геттун из полицейских приставов происками выскочил в правители генерал-губернаторской канцелярии и, как всякий чиновник, денно и нощно помышлял о своем благополучии, продвижении по службе любой ценой, любыми средствами. Ему снилась блестящая карьера, роскошные дворцы, несметные богатства, толпы купленных рабов, купленные села и деревни. Он был один из тех, на ком держались «государственность и порядок» в стране, никогда не знавшей ни порядков, ни законов.

Будучи чиновником для особых поручений при генерал-губернаторе, Глинка знал едва ли не больше, чем его шеф, о всех злодеяниях, о всех политических и уголовных преступлениях, как в столице, так и во всей стране. Он отлично знал всю подноготную Геттуна, располагал неопровержимыми уликами о всех его махинациях. Тут и взяточничество, и разгул, и покровительство опасным уголовным преступникам, и дома, купленные на взятки, и деревни с крепостными, приобретенные плутовским образом, и люди, без всякой вины подвергнутые пыткам, телесным наказаниям, навечно отправленные в каторжные работы в глухую Сибирь. Однако Глинка умел трезво оценивать свои и вражеские силы. В Геттуне он видел сильного, опасного, хитрого врага, которого свалить нелегко. Большие полномочия, данные начальнику канцелярии, позволили оборотистому, не брезгующему никакими средствами Геттуну завязать обширные связи со многими чиновными вельможами, генералами и даже великими князьями. Для Геттуна открылся доступ во дворец, во дворцовую канцелярию, он стал вхож к Аракчееву, к начальнику Главного штаба генералу Волконскому, ему уже покровительствовал сам великий князь Николай Павлович, с мнением Геттуна, с его рекомендациями стали считаться в Сенате. Так Геттун из рядового следственного пристава при министерстве полиции сделался человеком, перед которым иногда были готовы заискивать сильные люди из придворных.

И только Федор Глинка не собирался отступать перед этим преуспевающим пролазой. Соблюдая осторожность, он выжидал благоприятного момента для нанесения удара. Геттун в свою очередь видел в полковнике Глинке не менее опасного и ловкого противника. И главную опасность Геттун справедливо усматривал в том, что полковника невозможно было ни запугать, ни подкупить. Лишь один человек во всей столице мог убрать ненавистного Глинку с пути преуспевающего Геттуна – это сам Милорадович. Было известно, что генерал-губернатор симпатизировал Глинке, ценил его ум, честность, неподкупность, умение быстро исполнять самые ответственные поручения. Потому до поры начальник канцелярии остерегался в открытую выступать против авторитетного и влиятельного чиновника, ждал удобного случая.

Чутье полицейского пристава говорило Геттуну, что Глинка – не просто человек. Замаскированный либерал, если не хуже. Что можно еще ожидать от членов Союза Благоденствия? Благотворительная деятельность Союза не что иное, как фиговый листок. Впрочем, в своих неодобрительных отзывах о «благоденствующих» Геттун избегал резкостей, зная, что генерал-губернатор покровительственно относится к этому обществу.

¹ Аристид – афинский политический деятель и полководец, глава умеренно-демократического течения

Рассеянным, каким его редко видели сослуживцы, Глинка вошел в кабинет к генерал-губернатору. Обыкновенно веселый, беззаботный, любивший пошутить и посмеяться, Милорадович нынче показался полковнику расстроенным.

Не успел вошедший положить на стол генерал-губернатору аккуратно перебеленные и предназначенные на подпись бумаги, как Милорадович проговорил:

– Полковник, нынче утром во дворце я получил выговор в резкой форме от великого князя Николая Павловича, а через полчаса выслушал неудовольствие самого государя.

– Чем же недовольны великий князь и сам государь? – спросил Глинка.

– Излишним человеколюбием и увлечением делами правосудия со стороны чиновника для особых поручений, – ответил генерал-губернатор.

Глинка грустно поник головой и промолчал.

– Да, Федор Николаевич, и на этот раз видна ваша поразительная изобретательность, – продолжал Милорадович. – Чтобы сокрушить начальника канцелярии Геттуна, вы ловко использовали флигель-адъютанта полковника князя Андрея Борисовича Голицына, который на дружеской ноге с одним из адъютантов графа Аракчеева и довольно частый гость в моей канцелярии. Вы воспламенили его ненавистью к выгороженному Государственным советом растлителю малолетних и убийце помещику Ширкову, что ныне находится при делах у нас в столице... Я знаю, что Ширков негодяй, мерзавец и гнуснейший выродок! И вот из-за этого выродка я должен был получить высочайший выговор... Вы воспалили сердце Андрея Голицына, тот по дружбе втянул в эту баталию князя Петра Волконского, а этот последний по простоте и доброте своей сразу толкнулся во дворец... Толкнулся и напоролся на защитников Ширкова... А мне шишка на лоб... Вы, душа моя, неистощимы на хитроумные ходы. Право же, нашли кого взять себе в сообщники: не вольнодумца, не либерала, не карбонара, а заклятого недруга Сперанского – князя Андрея Голицына... Ваш поход против мерзавца Ширкова, хотели вы того или не хотели, оказался походом против графа Аракчеева, а что такой поход сулит вам и мне – уточнять излишне. Черт бы взял этого Ширкова... Не я устраивал его в столичную градскую полицию, это было сделано без моего ведома.

– Знаю, он оправдан перед судом и определен в полицию за огромные взятки старанием Геттуна...

– Оставим, душа моя, в покое Геттуна... – резко говорил Милорадович. – Оставим... Вы и ваш друг князь Андрей Борисович Голицын, – я повторяю высочайшее замечание, что недавно выслушал во дворце, – нанесли оскорбление достоинству начальника моей канцелярии господина Геттуна.

– Геттуна ни унизить, ни оскорбить невозможно, генерал, так как начальнику вашей канцелярии чужды понятия чести, долга, совести, – со спокойной решительностью заговорил Глинка.

– Нет, нет, милейший, прошу вас в моем присутствии так не отзываться о Геттуне, – перебил Милорадович. – Я вам повторяю то, что уже не раз повторял: Геттун – личность незаменимая на том посту, который я ему доверил. Такие, как Геттун, встречаются нечасто.

Глинка рассмеялся:

– Что верно то верно, Михаила Андреевич, такие встречаются нечасто.

– Чему вы смеетесь?

– Вашим заблуждениям, генерал.

– Я не заблуждаюсь. Если хотите, могу вам сказать больше: Геттун дарован мне самим богом...

– Вы шутите, генерал?

– Нынче мне не до шуток. Геттун дан мне, царю и отечеству вседержителем...

Глинка рассмеялся еще пуще, полагая, что все-таки генерал под напускной серьезностью прячет иронию.

– Геттун, как я теперь убедился, в общем и целом... неподкупный чиновник... И все ваши и князя Андрея Голицына разговоры о нем – чистейший вздор, душа моя. Геттун прибегнул к государю, ища защиты своего честного имени. Вот как, бог мой...

– Напрасные поиски.

– Нет, полковник, не напрасные. Вашему другу князю Голицыну уже повелено написать объяснение на имя начальника Главного штаба Волконского, а вам, любезнейший, подобное объяснение придется подать мне лично. Советую не заедаться с Геттуном – у него нашлись заступники там, где вы и не предполагали.

– Истина выше заступников! В данном случае моими устами глаголет истина. Я не теряю надежды на то, что в конце концов к голосу истины прислушаетесь и вы.

Смирить полковника было нелегко. В его искренности едва ли сомневался генерал-губернатор и все-таки почему-то всячески заступался за якобы несправедливо оскорбленного начальника канцелярии Геттуна.

Глинка начинал подозревать Милорадовича в хитрости: сделав промах, приграв около себя Геттуна и доверив ему излишне большую власть по службе, генерал-губернатор не хочет предстать перед всей столицей, царем и царским наперсником Аракчеевым в невыгодном свете. Для престижа и карьеры Милорадовичу выгоднее всего стать на защиту Геттуна.

Милорадович не трус, но и не промах, таких тертых на всех корытах калачей не так уж много наберется в обеих столицах.

Генерал-губернатор умел находить для своей канцелярии нужных ему людей, умел и избавляться от неугодных – строптивых, ленивых, неспособных. Он, возможно, для себя уже твердо решил в недалеком будущем тихо и безболезненно уволить Геттуна, предварительно заручившись поддержкой Аракчеева. Уволить в будущем, но не сейчас, не сразу, чтобы не взбудоражить общественное мнение столицы, чтобы не навлечь на себя и на всю канцелярию язвительные упреки и насмешки, вот, мол, кому вверено было оберегать покой и благоденствие беспечных жителей. Упрек не из легких – ведь управляющий канцелярией едва ли не самый близкий генерал-губернатору человек.

– Я, признаюсь откровенно, с некоторых пор перестал вас понимать, – выговаривал генерал-губернатору Глинка. – Имя Милорадовича овеяно славой. Благородство чувств и мыслей генерал-губернатора приковывает к его имени симпатии всех друзей добра, справедливости, красоты, всех истинно добродетельных и просвещенных людей России. И вдруг какая нелепость – в помощники и подзащитные к нему привился один из самых бесчестных, безнравственных типов. Мне непонятен такой альянс. Что может быть общего между возвышенной, стремящейся ко благу душой Милорадовича и ничтожной, черной душонкой Геттуна?..

Искренность, с какой излагал свои соображения взволнованный Глинка, относившийся с неподдельным уважением к генералу, не только укрощала энергичного, темпераментного генерала, но как бы выводила на суд собственной совести.

– Мне горько не хотелось, Михайла Андреевич, ранить ваше чувствительное сердце, но веление справедливости, служению которой я с радостью посвятил себя, заставляет меня сделать это, – продолжал полковник Глинка. – Ваше имя во мнении императора рано или поздно будет обесчещено, и я считаю своим долгом предостеречь вас.

Напудренные розовые щеки генерал-губернатора сделались пунцовыми. Предупреждение, по крайней мере так смело высказанное ему в глаза, явилось для него неожиданностью.

– Кем обесчещено?

– Тем, за кого вы заступаетесь, – бесчестным стяжателем Геттуном. Будучи посланным от министерства полиции на расследование убийства крестьянской девушки в Курскую губернию, он за крупную взятку выгородил истинного убийцу помещика Широкова и обвинил в смертоубийстве девицы Алтуховой ни в чем неповинного человека, кучера Щеплехина, и с помощью подкупленных все тем же негодяем Широковым чиновников из Львовского уездного суда и Курской уголовной палаты сослал несчастного кучера в вечные каторжные работы в Нерчинск. Вернувшись в Петербург, Геттун, не без помощи всесильного в наш век золотого тельца, протащил дело об убийстве Алтуховой через Правительствующий сенат и тем окончательно обелил мерзкого прелюбодея и убийцу. Один негодяй, так уж повелось у нас в России, не остался в долгу перед другим негодяем. Остальное вы знаете лучше моего.

Генерал-губернатор будто поневоле процедил сквозь зубы:

– Я ничего не знаю, полковник.

– Геттун пригласил убийцу Ширкова в Петербурге, предстал за него перед вашим сиятельством, настоятельно рекомендовал его вам как верного слугу отечества, и вскоре после разговора с вами Геттун устроил Ширкова следственным приставом в столице. О вашем полном и безграничном доверии Геттуну ныне, не без его старания, знает не только одна наша канцелярия, но и вся столица. Но ведь рано или поздно завеса спадет, правосудие восторжествует, злодей будет изобличен и наказан. Хочу сказать о своей решимости бороться с злодеем, пробравшимся на должность следственного пристава, до полного и окончательного его ниспровержения, бороться как против самого злодея, так и против того, кто, обманув закон и правосудие, спас убийцу от возмездия.

Глинка присел к столу, что-то быстро написал и подал лист бумаги генерал-губернатору. Тот прочитал и удивился:

– Прощение об отставке? Мне легче расстаться с Геттуном, нежели с вами.

– Но он же вам дан самим богом... Я же вовсе не божественного происхождения.

– Ваше остроумие мне всегда приятно, полковник. Почему решили в отставку?

– Я разочаровался во многом из того, во что недавно горячо верил.

– Мне нечем вас заменить. Такого чиновника для особых поручений, как вы, я не скоро найду. Вам благоволят во дворце. Вашей безупречной бескорыстной службой отечеству, благотворительности, правосудию доволен сам государь.

– Нет, ваше сиятельство, я чувствую себя недостаточно способным для безупречной службы на поприще добродетели и благоденствия.

– Ваше усердие, полковник, достойно всяческих похвал.

– Усердие, к сожалению, никем не замечено.

– Вы безукоризненно честны.

– Честность едва ли кому нужна у нас.

– Вы, я заметил, похвально терпеливы в достижении благородной цели.

– Терпение не беспредельно. Оно тоже иссякает.

– Куда же вы решили уйти из моей канцелярии?

– Пока что не знаю.

– Возьмите, возьмите свое прошение обратно, – уже ласково, без малейшего начальственного высокомерия, почти по-товарищески уговаривал генерал-губернатор.

Но Глинка был не из тех, кто легко поддается уговорам.

– Или я, или Геттун, генерал. Выбирайте.

– Коли так, то мой выбор решен – Геттун! – помрачнев, резко сказал Милорадович и обиженно поджал губы.

Резкий категорический ответ Глинка пришелся не по вкусу Милорадовичу. Оставшись один, он продолжал мысленный разговор с полковником: «Все я тебе сказал, Федор Николаевич, все, но не до конца, и ты, душа моя, не все понимаешь правильно в моих действиях. Не могу я выгнать Геттуна, потому что за него его друг – фон Фок, а за фон Фока старая царица и великая княжна, их воля нередко водит рукой царя при составлении рескриптов, приказов о назначении. Старая пучеглазая сова, эта хриплая дворцовая ведьма, прилетевшая в Россию на немецком помеле, завтра же выпарапает мне глаза, если я освобожусь от Геттуна. Не я, а пучеглазая сова выдумала слова о том, что Геттун дан генерал-губернатору в помощники самим богом... И когда я повторяю эти слова, быстро долетающие до дворца, она бывает очень довольна. Надо же чем-то потешить эту дворцовую скрягу, день и ночь занятую подсчетами и пересчетами своих богатств... Хочется верить, что Глинка одумается, забудет о своей гордости и вернется на службу. Своим упрямством может худо сделать и себе, и мне, тем более что настроение царя с каждым днем становится все мрачнее. Я лучше кого-либо другого знаю, что полковник Глинка находка для меня и честь для всей русской полиции: когда это было, чтобы первый романист и прославленный поэт, герой Бородина, не побрезговал заняться делами полицейскими! Такие люди, как Глинка, своим бескорыстным усердием могут коренным образом изменить незавидный взгляд на полицию во мнении народном и даже завоевать к ней доверие и уважение. Полиция наконец-то должна сделаться оплотом законности, справедливости, гуманности и просвещения, хватит выворачивать скулы и ломать ребра в полицейских застенках. Век Степана

Шешковского с его усовершенствованными креслами для негласного сечения оголенного места знатных особ канул в невозвратное прошлое! Ни министр внутренних дел граф Кочубей, ни я не хотим следовать по стопам Шешковского... А Глинка не всегда понимает мои благие намерения, о которых нередко мне приходится умалчивать перед самыми близкими друзьями».

Он подошел к высоким массивным часам, стоявшим в углу роскошно обставленного кабинета. Под потолком над черным лаковым футляром размахнул гигантские крылья двуглавый орел в венце и с державой в когтях. Кинжаловидные золотые стрелки незаметно перемещались от цифры к цифре, повинаясь равномерному колебанию сверкающего маятника. Под когтями орла вдруг раскрылись дверцы, выставилась голова кукушки, чтобы отсчитывать часы.

Торжественный мелодический бой часов обратил мысль Милорадовича к философическим рассуждениям, которые он часто заканчивал, стоя перед часами, повторением прекрасных державинских строк из всемирно-известной оды:

Глагол времен! металла звон!
Твой страшный глас меня смущает,
Зовет меня, зовет твой стон,
Зовет – и к гробу приближает.

Очистительная, облагораживающая душу сила наполняла эти вечно нестареющие строки, сила, освобождающая мысль и чувства от всего пошлого, мелкого, недостойного человека.

– Вернется мой гордец! – решил Милорадович, отходя от часов.

3

Прошел день. Прошла неделя, но Глинка не возвращался. Милорадович из соображений начальственного престижа не желал первым протянуть руку примирения полковнику, обладающему не только характером, но и выдержкой.

Часы, осененные размахом крыльев двуглавого орла, продолжали по-державински вдохновенный отсчет времени. Вслушиваясь в «глагол времен», Милорадович отдыхал на голубом диване и мечтал.

Он имел привычку принимать доклады и донесения от своих подчиненных, лежа на этом диване.

Нынче он вызвал к себе управляющего канцелярией.

Впалые, с прозеленью щеки Геттуна были усеяны вечно воспаленными угрями. Поэтому, разговаривая с ним, Милорадович каждый раз смотрел куда-то в сторону.

Генерал-губернатор, конечно, давно догадывался, что между его подчиненными Геттуном и Федором Глинкой укоренилась вражда, знал, но ничего не делал для того, чтобы примирить враждующих. Он придерживался такого расчета: глаз недруга – самый зоркий глаз, ухо недруга – самое чуткое ухо. А Геттун, ненавидя Глинку, вместе с тем очень боялся его.

У Геттуна не было такого ума, таланта и способностей, такого завидного трудолюбия, какими обладал гвардейский полковник Глинка, прославленный литератор. Да и благосклонность Милорадовича к нему заставляли Геттуна быть осторожным как в словах, так и в делах.

Закинув руки за голову, генерал-губернатор лежал на диване и рассеянно глядел на лепной потолок, а Геттун навтыжку стоял у его ног и резко докладывал:

– Причины недовольствия графа Аракчеева Семеновским полком... Виноват, ваше превосходительство, виноват-с... Причины недовольствия государя лучшим гвардейским полком подтверждаются новыми сведениями... Артельные обеды среди офицеров, запрещенные по высочайшему повелению, продолжаются, хотя и завуалированно и не так вызывающе... Собираются на пирушки и для чтения газет, журналов, книг у холостых офицеров в офицерских казармах: у полковника Вадковского, полковника Ермолаева, у капитанов Сергея Муравьева-Апостола, Кошкарлова, князя Щербатова, а также у князя

Федора Шаховского... У семеновцев бывает бывший офицер этого полка ныне отставной подполковник Матвей Муравьев-Апостол во время подозрительно частых наездов с Украины в Петербург. Панибратские заигрывания офицеров и фельдфебелей с рядовыми и нижними чинами продолжаются, как и при Потемкине... – По мере доклада угри на впалых щеках рыхлого Геттуна делались синими, и Милорадович это видел, хотя и старался не глядеть на лицо управляющего канцелярией. – Запрещенная артельная казна для солдат и отдельно для офицеров существует.

– За счет каких пополнений?

– Источники разные: офицеры вносят большие суммы наличными, солдаты, в нарушение высочайшего запрещения и приказов нового командира Шварца, как и раньше, извозничают на бирже, ходят артелями ремесленничать по городу и окрестностям, а заработок по приходе сдают в артельную казну...

– Врешь, душа моя, этого не может быть! – громко возразил Милорадович. – У них же каждый день бывает переключка по ротам!

– Ухищряются, Михайла Андреевич. Ротные всячески выгораживают рядовых и нижних чинов, а нижние чины не выдают своих командиров. Круговая порука. Во время переключек и смотров на место отсутствующих солдат ставят солдат из других рот, и этим солдатам велят откликаться на чужие фамилии...

– Да не может того быть, Геттун...

– Поверьте мне, генерал, сведения получены мною от двух офицеров Семеновского полка и от одного фельдфебеля, которые не пользуются, по вполне ясным причинам, благорасположением и доверием компании капитана Муравьева-Апостола...

– Кто эти офицеры?

– Скобельцын и полковой адъютант Бибииков. Есть информация и из других источников...

– Скобельцын негодяй и скотина, ему верить нельзя... Дальше что достойного моего внимания?

– Новый командир полка – старший полковник Шварц подвергается всяческому осмеянию и поношению... Особенно усердствует в изничтожении добродетелей лучшего государева офицера полковник Дмитрий Ермолаев, – докладывал Геттун, не шевелясь и не качаясь, бесстрастным канцелярским голосом. – Ермолаев пускается на прямые подстрекательства рядовых к нападению на Шварца. Вот два донесения. – Геттун положил на край дивана под холеную руку генерал-губернатора два фискальских извета и продолжал: – Установлено, что высочайше одобренному начинанию графа Аракчеева по сбору среди офицеров денег на нужды военнопоселенным воспротивились первыми в Семеновском полку Сергей Муравьев-Апостол, Кошкарлов, Вадковский, Щербатов, Ермолаев... И особенно отличился своей дерзостью совсем юный Михаил Бестужев-Рюмин, первый приятель Сергея Муравьева-Апостола... Это он, Михаил Бестужев-Рюмин, в открытую рассказывал солдатам о так называемых «Шварцовых могилах», в которых якобы похоронены, как животные, забитые насмерть солдаты. Слух об этом дошел до великого князя Николая Павловича, чем последний крайне возмущился и сказал: «Весь Семеновский полк полностью давно пора отправить в Сибирь!»

– Отправить в Сибирь, душа моя, легче всего... Еще что у тебя?

– Участились побег из Семеновского полка...

– Без доклада знаю, вчера только двоих утеклов допрашивал. Аракчеев вернулся в город?

– Сидит у себя в Грузине... Опять у поселенцев беспокойно. Ясыяны бунтуют... Установлены по четвергам каждой недели какие-то сходбища в доме у Никиты Муравьева, на которых бывают многие офицеры Семеновского полка, а также ротмистр Чаадаев, вольнодум Николай Тургенев и бывший сотрудник нашей канцелярии чиновник для особых поручений полковник Глинка, на квартиру которого регулярно заходят офицеры: Искрицкий, Сенявин, Данченко и служащий по Морскому министерству Устимович, – не меняя окостенелой позы, говорил Геттун.

– Молодежь... Великосветские шалуны... Не стоит придавать особого значения... Душа моя, запомните: кто в дружбе с Глинкой, тот государю и нам с вами не опасен. При

всей заносчивости Глинки, которую я осуждаю, он искреннейший и преданнейший слуга нашего обожаемого государя, нашего ангела благословенного! Еще что?

– В казармах Семеновского полка ходит некая «Зеленая Книга», или же Устав Союза Благоденствия, ее читают офицеры и даже дают читать нижним чинам...

– Не придавайте особого значения: ребячья забава эта книга, в ней нет ничего противозаконного, она давно прочитана государем и получила его одобрение... Еще?

– Пойман бродяга, при котором нет никакого вида и паспорта, на допросах не рассказывает о себе, кто он есть и откуда и как проник в Петербург и с какой целью...

– Где взят?

– На Гостином дворе! При нем был кинжал и кистень! Есть подозрения, что это беглый чугуевский казак, проникший с злодейским умыслом, поскольку он был схвачен во время рассказа о том, как граф Аракчеев усмирять чугуевские уланские полки...

– Чего рассказывать-то, всем известно, как усмиряют... Выпороть, чтобы не болтал, и выдворить из столицы, без всякой волокиты...

– А не лучше ли отослать в Грузию графу Аракчееву на собственное усмотрение?

– Зачем? После его собственного усмотрения прибавится одним убиенным...

Полногласный бой часов прервал доклад. Граф, лежа, вскинул руки и велел замолчать Геттуну.

– Глагол времен! Металла звон! – продекламировал Милорадович, умеющий радоваться каждой искре поэзии.

После доклада Геттун направился к порогу, но Милорадович остановил его довольно неожиданным вопросом.

– Не кажется ли тебе, душа моя, что с некоторого времени из нашей канцелярии просачиваются наружу некоторые деликатные тайны, о которых никто, кроме меня и государя, знать не должен?

Зеленоватые зрачки в узких глазах Геттуна засветились, как у кошки ночью. Он обрадовался такому вопросу, будто давно ожидал его, как нечто неизбежное.

– По вверенному мне управлению, в этом я ручаюсь собственной головой, ни один важный секрет, равно как и неважный, не вылетает за порог канцелярии, – довольно степенно и с сознанием честно исполняемого служебного долга отвечал Геттун. – О других наших сотрудниках, которые всячески ускользали из-под моего контроля, мне говорить трудно.

Для Милорадовича был ясен этот уж очень прозрачный намек на Федора Глинку.

– Какого ты мнения о титулярном советнике Григории Перетце?

– Замечен среди тех, кто бывает на квартире у Глинки...

– Да оставьте же квартиру Глинки! – уже с недовольством сказал Милорадович. – Вон монахи-отшельники и то бывают друг у друга в гостях... Давайте о деле...

Геттун заметно сбился и сробел.

– Этот титулярный советник, Михайла Андреевич, помышляет не столько о делах, сколько о любви, удовольствиях и чинах...

– И уж, конечно же, о деньгах?..

– В деньгах едва ли он нуждается: отец у него – крупнейший банкир в Петербурге, и дядя – банкиры, один в Лондоне, другой в Цюрихе.

Милорадович потянулся на диване и начал озабоченно рассказывать:

– Недавно, как вам известно, высочайшим повелением я обязан был арестовать все бумаги у одного молодого, но уже повсеместно известного сочинителя и привезти их сюда в канцелярию на предмет строжайшего просмотра и нелицеприятного доклада государю; и вдруг в то самое утро, когда решил я послать своих людей на квартиру к сему шумно проводящему свою молодость лицу, это, не скрою, довольно симпатичное лицо само является ко мне и по-рыцарски докладывает мне мои же в отношении его тайные мысли и замыслы... Будто гадалка на базаре нагадала ему, что мне накануне говорил о нем сам государь... Вот какие чудеса бывают у нас в Петербурге...

– Чудеса... Чудеса... – сквозь зубы повторил Геттун, сильно помрачнев. Ему пришла мысль, что вот и наступил долгожданный момент для последнего удара против Глинки. –

Чудеса... А не кажется ли вам, Михайла Андреевич, что сия таинственная гадалка находится в нашей канцелярии?

– Перетц?

– Перетц – мелкая сошка...

– Кто же, душа моя? Ежели знаешь, то скажи – и завтра же этой гадалки не будет в моей канцелярии!

Но в этом твердом ответе генерал-губернатора прожженный Геттун уловил что-то предостерегающее, и потому он из осторожности не рискнул пойти дальше намека, сказав:

– Случается, что современные гадалки носят гвардейский мундир, с полковничьими эполетами, и такую опытную гадалку бывает не так-то уж просто ухватить за жабры. Тем более уличить...

Генерал-губернатор легко, как юноша, взвился с дивана, сделал добродушный вид.

– У нас полковничьи мундиры носят многие! И носят с честью! Уж и не пойму, кого же ты имеешь в виду? Не Глинку ли?

Геттун лишь повел прямыми, будто из доски вытесанными плечами, и сразу поторопился запастись путями для возможного отступления – всякое может случиться с генерал-губернатором.

– Возможно, я ошибаюсь...

– Безусловно, ошибаешься! Ты, душа моя, плохо знаешь Федора Николаевича и имеешь не совсем полное представление о долге, возложенном на него лично самим императором, – расточал искренние похвалы Милорадович своему бывшему подчиненному. – Долг службы заставлял его быть неиссякаемо изобретательным, ловким, сообразительным, находчивым, повсюду вхожим. Но не всякое многотрудное изобретательство, к сожалению, остается незамеченным со стороны, а что еще хуже – верно понятым и правильно оцененным, а отсюда – неизбежны ложные подозрения, кривотолки... Не за Глинкой надо смотреть в оба, а за опасными реформаторами, вроде Василия Каразина и Николая Греча... И мелкую сошку, разумеется, подобную Перетцу, не следует упускать из виду, не через мелкую ли сошку важные тайны улетают из нашей канцелярии? Проверьте-ка, душа моя. – Милорадович испытующе впервые за все время доклада поглядел Геттуну в его неприятные, с кошачьей прозеленью глаза.

– Глинка очень жестокий человек... Бессердечный...

– Вот уж чего я в нем не замечал так не замечал...

– И не заметите. Жестокость его продуманно и глубоко скрытана под улыбками и вежливостью. Он всюду и во всем преследует свои личные виды...

– Какие же?

– Своекорыстные...

– Факты, факты, Геттун!

– Таково мнение многих, сиятельный граф!

– Чье мнение? – строго спрашивал грознеющий Милорадович. – Недругов Глинки? Завистников его дарования? Я знаю, что их у него много, как и у меня! К тому же он поэт не хуже Державина!

– Свой лавровый венок он добровольно без всякого к тому понуждения уступил...

– Кому же?

– Опасному политическому ссыльному Пушкину, который ныне обретается на юге.

Милорадович шумно рассмеялся, найдя это сообщение обычной сплетней.

– Душа моя, не таскайте ко мне в кабинет под видом важных донесений всякий вздор! Как это можно свой талант уступить другому? Такого не бывает! А превзойти поэтическое дарование Глинки не так-то уж просто! Я не вижу таких соперников вокруг Глинки.

– Вот доказательство тому, что Глинка уже два года как уступил свое первенство политическому преступнику Пушкину! В Семеновском полку читают эти стихи Глинки с упоением, читают для того, чтобы подразнить и государя, и нас вместе с ним. Послушайте же, до чего договорился Глинка! – Геттун впопыхах искал листок в папке. – Разве это не прямой вызов государю? Разве это не хитроумный спор с теми, кто удалил Пушкина из столицы... Исполняя волю государя, удаляли мы с вами... Послушайте...

И Геттун, брызжа слюною, плохо выговаривая слова, с сильным акцентом начал читать послание в стихах Пушкину. В нем Глинка выражал свои восторги по поводу прочитанных им двух первых песен «Руслана и Людмилы». Это послание увенчано было пророческими строками:

Судьбы и времени седого
Не бойся, молодой певец!
Следы исчезнут поколений,
Но жив талант, бессмертен гений!..

Милорадович, знавший на память эти стихи, сказал:

– Это признание делает честь Глинке, как человеку беспристрастному, чуждому зависти к истинному дарованию другого поэта! А много ли таких обитателей мы знаем на нынешнем Парнасе? Ведь все наоборот, всякий парнасский муравей лезет в гении...

Геттун вышел из кабинета генерал-губернатора в дурном настроении. У него явилась мысль довести об этой беседе через друга своего фон Фока до сведения старой царицы Марии Федоровны, не любившей как самого Милорадовича, так и Глинку.

Милорадович, отпустив Геттуна, опять вынул из стола наисекретнейшее донесение, полученное через фельдфебеля-фискала, служившего в Семеновском полку, – донесение о заговоре против командира полка Шварца. «Вообще-то, если говорить честно, то эта выкормленная Аракчеевым собака на двух ногах стоит того, чтобы ее пришибли поленом или приколоты штыком солдаты, – думал Милорадович о ставленнике Аракчеева. – Беда вся в том, что Семеновский полк, который все называют красой и гордостью гвардии, – любимый государев полк, и всякое подобное происшествие в полку может непоправимо повредить многим, в том числе и мне. К тому же и у министра внутренних дел графа Кочубея, друга юности государя, уже есть в руках подобные сведения о возможном покушении на Шварца. Надо изловить бездумных заговорщиков или каким-то образом охладить их пыл, но так, чтобы из мухи не раздули слона наши не в меру преданные и не в меру усердные дураки... И это лучше, чем кто-либо другой, мог бы сделать опытный в таких делах Глинка... Но вот возьми ты его, наверно, пишет свои стихи и в ус не дует...»

4

Весть о внезапном уходе Глинки со службы из канцелярии генерал-губернатора ошеломила Сергея Муравьева-Апостола, одного из основателей и ревностнейших деятелей Союза Благоденствия.

Для него оставалось неясным, что заставило Глинку, человека очень разумного и осмотрительного, решиться на такой шаг. Это не сулило ничего хорошего ни для Глинки, ни для дела тайного общества.

Ныне и ротные заботы казались Муравьеву-Апостолу мелкими в сравнении с тем, что случилось. День показался длинным и томительным. Хотя капитан и присутствовал на полевых занятиях роты, но думал совсем о другом.

Вернувшись с полкового плаца в казармы, он наскоро пообедал, отказался принять вызов своего друга полковника Ермолаева – сразиться в шахматы на приз и, даже не заглянув в свежие иностранные газеты, только что доставленные почтой, отправился в город, взял извозчика и поехал к Никите Муравьеву.

Никита не менее его был озабочен неожиданным и печальным происшествием в канцелярии Милорадовича.

Они уединились в кабинете.

– Что с нашим Глинкой? Не понимаю... – сетовал Сергей Муравьев-Апостол. – Неужели он не мог побороть голос самолюбия?

Никита Михайлович, как и Муравьев-Апостол, нашел, что самовольный, партизанский уход Федора Глинки со службы явился едва ли не самым чувствительным ударом по планам тайного общества. Союз Благоденствия лишался самого надежного и почти единственного дозорного, который мог заблаговременно предупреждать своих единомышленников о всякой серьезной опасности, грозящей их делу.

– Все это как-то не похоже на нашего Глинку, – с грустью говорил Никита Михайлович. – Храбрый патриот и гражданин отступил по собственному усмотрению, пренебрег стратегическими соображениями... Мы остаемся совершенно незащищенными с тыла... Он дал повод торжествовать победу Геттуну, фон Фоку и прочим гнусам, с которыми умел так искусно воевать...

– Любой ценой нашего Аристиды нужно вернуть на службу к Милорадовичу, – настоятельно призывал Муравьев-Апостол. – Ошибку надо исправить... Давайте это сделаем общими усилиями... Я могу через бывшего моего полкового командира генерал-адъютанта Потемкина, который в добрых отношениях с Милорадовичем, закинуть удочку в генерал-губернаторское озеро, полное хищных рыб... Потеря нами столь выгодной в определенном смысле ключевой позиции равноценна поражению в крупнейшей битве...

– Согласен, Сергей Иванович... Я полностью разделяю твоё мнение, но мысль твою о возвращении Федора Глинки к прежним делам считаю несбыточной, утопической...

– Почему?

– Во-первых, мы не знаем истинной причины ухода, во-вторых, граф Милорадович, при всех, несомненно, положительных свойствах его характера, не из тех, кто увольняет и снова принимает, – ответил Никита Михайлович.

– Брат мой Матвей, князь Трубецкой, Сергей Волконский, что недавно приехал спроведать мать, в полном унынии, – рассказывал Сергей Муравьев-Апостол. – А Николай Тургенев разочарован в Глинке.

– А что думает граф Федор Толстой? – спросил Никита Михайлович. – Я давно с ним не встречался.

– Не одобряет... Решительно не одобряет... Семенов и Колошины тоже... Да и кто же может одобрять такое безрассудство, – не переставал сокрушаться Муравьев-Апостол. – Вчера Илья Долгоруков говорил мне, как в деревянном дворце на Литейной, где проживает змей Ракчей, было встречено известие об отставке Глинки: «Вот какой форсистый у нас генерал-губернатор: набрал себе полную канцелярию гогов-магогов и не знает, как от них отделаться... Слава богу, одного болтуна выгнал... Не пришлось бы вскоре самому государю заняться всем этим вольноболтунствующим балаганом генерал-губернаторским...» Намек, понимаешь, на что?

– Сразу узнаю почерк железной руки Аракчеева – хотя и неграмотный, хотя и корявый, но ни с чьим другим не спутаешь...

– Как бы там ни было – Федор должен вернуться, – требовательно сказал Муравьев-Апостол.

Решили в ближайшее время собрать членов Коренной Управы Союза Благоденствия, чтобы всем вместе встретиться с своевольником Глинкой и попытаться убедить его взять обратно прошение об отставке.

Между тем на другой же день по уходе Глинки из канцелярии Геттун поднял против него все, что только можно было поднять.

В одноэтажном каменном доме фон Фока, обнесённом глухим забором, Геттун собрал ближайших помощников: Крыжева, Наумова, Фогеля... Они много пили, ели и беспрестанно говорили об опасном полковнике Глинке.

– Глинку надо раздавить, как муху! – призывал захмелевший Геттун. – И раздавим! Трубите во все трубы везде, где только можно, что он искуснейший шпион, сумасшедший – все, что угодно...

На другой день Фогель по делам службы приехал на Литейную в деревянный дворец к Аракчееву, занимавшемуся в это время очередной проверкой по журналу домашних вещей и разных драгоценностей.

Аракчеев, прервав проверку, принял Фогеля у себя в кабинете.

– Ну, какие еще новости? – спросил он, после того как ознакомился с переданными в его руки бумагами от генерал-губернатора. – Кого граф взял на место отставленного Глинки?

– Пока что никого...

– У меня есть на примете один уж очень подходящий для такого дела человек. Да ведь ваш граф гонится за гогоми-магогами, а гогом-магогам не все тайны можно верить... Вон Глинка разносит по всему городу всякие вздорные слухи про генерал-губернаторскую

канцелярию, и до сих пор никто ему не урезал язык... А давно пора бы урезать, пока не разгневался император...

– Глинка явно сошел с ума, – сказал Фогель.

– Неужели? Впервые слышу!

– Начитавшись библии и всякой мутной философии... Люди, видевшие и слышавшие его, рассказывают одно: несет несусветное, то возомнит себя Наполеоном, то государем на Венском конгрессе, а то вдруг начнет отчитываться как бы Милорадовичу о состоянии петербургских тюрем, – безудержно фантазировал Фогель.

– И до сих пор не в госпитале?

– К сожалению, да...

– Какие же мы порой бываем не сострадательные... Христианину так не подобает...

– Не подобает, Алексей Андреевич... Но ведь это такой больной, который и на порог не хочет пускать рядового лекаря. Мне, говорит, нужен или дворцовый личный государев лекарь баронет Виллье, или же личный врач вашего превосходительства, – Фогель сочувственно вздохнул. – Конечно, все это не от каприза, а от сильного умопомрачения.

– Как много у нас сумасшедших стало, – озабоченно качал большой почти четырехугольной, как из дубового чурбака вытесанной головой Аракчеев. – В военных поселениях тоже вот появились сумасшедшие мужеска и женска пола. А виноваты во всем те, кто наловчился бойко бонжурить.

Фогель уехал, а граф Аракчеев совместно с генеральным сокровищехранителем продолжил учет домашних ценностей.

Вполне довольный Фогель заехал к министру народного просвещения и духовных дел князю Голицыну – «серому мужичку», в молодости славившемуся разгульной жизнью, а теперь целиком отдавшемуся делу спасения собственной души. Здесь повесть о сумасшествии Федора Глинки обросла новой подробностью: на днях якобы Глинку укрощали смирительной рубахой в доме Никиты Муравьева, куда он приехал на рассвете в одном нижнем белье. Князь Голицын, крестясь, слушал Фогеля и обещал усердно помолиться за несчастного полковника, к тому же человеколюбиво призвал и Фогеля, на что последний изъявил полнейшее согласие. Отсюда Фогель направился к графу Кочубею в надежде поразить новостью министра внутренних дел.

Чем-то раздраженный Кочубей, не дослушав, прервал Фогеля:

– Вранье... Постыдитесь, Фогель, развозить по городу эти злостные выдумки, что распустили какие-то дураки... Я только час тому назад имел удовольствие беседовать с Глинкой...

От Кочубея Фогель уезжал уже не так бравым, как от Аракчеева и от Голицына.

В дверях собственного кабинета к нему подскочил Крыжев и, подмигнув, шепнул:

– Удалось привести в ярость... Милорадович рассвирепел... Глинке не поздоровится... Об остальном подробно и обстоятельно вечером у Ширкова... Ровно в восемь. Не сомневаюсь – муха с полковничьими эполетами будет раздавлена...

Крыжев посеменил к двери кабинета Фукса, чтобы уведомить и его о желательном развитии событий. Здесь он застал Наумова, который в это время рассказывал, как возмущенная графиня Шереметева, услышав о сумасшествии Глинки, который будто бы в умопомраченном состоянии завязал переписку с королем английским, поклялась завтра же добиться свидания у государя и потребовать, чтобы он освободил столицу от человека, пятнающего дворянское достоинство.

Кроме того, Наумов оповещал своих сторонников, что ему удалось подкупить одного ученика из ланкастерской школы, возглавляемой Федором Толстым и Глинкой. Этот ученик обещал достать все таблицы, по которым их учат письму, чтению, счету, передать все тетради с записями и пересказать при встрече с глазу на глаз все то, что учителя говорят своим ученикам.

– Уже из того, что выболтал мне ученик, становится ясным: эта школа – прибежище злонамеренных и очень хитроумных людей... Там такие таблицы выставляют перед учениками, что хоть завтра бери топор и вилы и отправляйся жечь и грабить... Всех цареубийц прославляют...

Опечаленный и грустный Глинка, склонив голову на грудь, сидел за столом. Перед ним стояло три стакана с остывшим чаем. Он только что проводил навестивших его Сергея Муравьева-Апостола и Никиту Муравьева. Состоявшаяся беседа оставила тяжелый след. Упреки друзей ранили великодушного Аристиды.

Теперь и ему начинало казаться, что он действительно сделал большую ошибку, поторопившись с уходом от генерал-губернатора. Эта ошибка становилась особо ощутимой после неожиданного отказа Кочубея, с которым была полная доверительная договоренность принять Глинку на работу в свое министерство. Глинка не сомневался в том, что такая перемена во мнении Кочубея не могла произойти беспричинно, без вмешательства недругов, которых он мог назвать почти всех поименно. Но оттого ему не становилось легче.

Каждый день приносил новую неприятность. Через пристава Лубецкого, услугами которого, находясь на службе, не раз пользовался, получил крайне мрачную и оскорбительную весть: кем-то отдано приказание установить нечувствительный надзор за его квартирой, за всеми, кто у него бывает. А главное, всячески разведывать, что он говорит. Кто же это распорядился: Геттун, Фогель или сам Милорадович? Если это дело рук Фогеля или Геттуна, то Глинка не стал бы и негодовать, ибо и ранее знал, что Фогель с Геттуном давно собирают против него всякую грязь. Но если это идет от генерала Милорадовича, то трудно понять такой шаг со стороны человека, в котором Глинка с некоторых пор привык видеть прямодушного врага дикого рабства и несправедливости...

Федору Глинке было ясно, что дружески расположенный к нему Милорадович, очевидно, рассердился не на шутку. Во всяком случае, как сегодня сообщил Сергей Муравьев-Апостол, попытка генерал-адъютанта Потемкина «подъехать» с примирением к генерал-губернатору не увенчалась успехом. Милорадович назвал Глинку ломтем, окончательно отрезанным от генерал-губернаторского каравая.

Страшнее всего было мщение Фогеля и Геттуна, удержавших за собой свои важные посты при Милорадовиче. Фогель через подлых тайных агентов, готовых за десятку и за ночь, проведенную в постели с развратной девкой, оболгать, продать, предать кого угодно, мог без особого труда состряпать против Глинки любое дело.

Глинке, лучше чем кому-либо другому, было ведомо, как фабрикуются улики против лиц, обреченных на изгнание из столицы. Для этого вовсе не нужно какого-либо уголовного преступления, для этого только нужно согласие Милорадовича, Кочубея или высочайшее негласное повеление. И тогда уже сам бог не в состоянии заступиться за беззащитную жертву.

Взял перо, хотел писать, но ничего не шло на ум. В квартире было холодно. В окна виднелось серое неприветливое небо. Еще раз перевернул все свои бумаги, письма, выписки и кое-что сжег, в том числе несколько яростных пушкинских стихов, что недавно переписал из тайной тетради у Николая Тургенева.

Почувствовав усталость во всем теле, прилег на диван, набросил сверху шинель и, глядя в потолок, с щемящей тревогой начал мысленно подбивать баланс: долго ли он еще может протянуть на те ничтожные деньги, что имеются у него. Баланс получался крайне неутешительный: даже при полуголодном существовании через какие-нибудь полтора-два месяца ему не на что станет купить себе хлеба, картошки и постного масла... Поступлений ниоткуда не предвидится... Занять? У кого? Еще со старыми долгами не расплатился. Должен Никите Муравьеву, обоим братьям Муравьевым-Апостолам, полковнику Ивану Вадковскому, князю Дмитрию Щербатову... Страшно почувствовать себя нищим и не имеющим возможности, при всех знаниях и способностях, избавиться от нищеты.

Явилась мысль обратиться с откровенным и доверительным письмом к генерал-губернатору, конечно, не раболепным, не унижительным – и в письме том обрисовать всю печальную неопределенность своих прав и судьбы. «Печальная неопределенность моих прав и судьбы моей, – думал он, лежа на диване, – заставляет меня всего опасаться. Моя участь, неожиданно для самого меня, по причинам не совсем ясным, сделалась странной, а теперь я легко могу ожидать, что не сегодня, так завтра, в квартире моей взломают двери или разобьют окна... Я могу предвидеть, что в недалеком будущем у порога моей квартиры

некие доглядчивые люди подберут листок бумаги с возмутительными рассуждениями, и те рассуждения знатоками полицейского ремесла будут приписаны мне...»

Слуга доложил о приезде врача и с ним еще двух лиц.

Глинка сделал удивленные глаза: никакого врача он не приглашал и не ждал, да и не нуждался во врачебной помощи.

– Кто эти лица? – спросил он, сев на диване.

– Не могу знать.

– Узнай и доложи.

Через минуту воротился слуга и сказал:

– Помощники доктора...

Глинка не сразу решил: принять или оказать в приеме, за всей этой затеей ему виделось что-то опасное.

– Зови, и сам будь при мне, – колебавшись, приказал слуге.

Вошел врач и с ним два дюжих молодца во фраках и цилиндрах, было заметно, что они непривычны к такой светской одежде.

– Разрешите представиться: домашний врач сиятельнейшего графа Аракчеева, – отрекомендовался, назвавшись, по имени и отчеству, упитанный, лоснящийся Даллер, – прислан по указанию сиятельнейшего графа, чтобы облегчить ваши недуги... Вашим здоровьем озабочены не только сиятельнейший граф, но и государь император...

Проницательный Глинка сразу почувствовал в словах лекаря ту изучающую настороженность, с какой врач обращается к умственно ненормальному человеку. Он понял, что спасти его может только предельная сдержанность. Вежливо и терпеливо выслушал вопросы севшего напротив врача. Отвечал без возмущения и язвительных насмешек. Затем велел слуге подать чаю всем четверым.

– После часовой беседы с вами я убедился, доктор, что вы сделали жертвой чьей-то злобы и глупости, – уже за столом мирно повел речь Глинка. – Я знаю, что злобные и глупые люди всеусильно распускают обо мне молву то как об опасном шпионе, то как о сумасшедшем, помешавшемся на чтении библии... И еще много разных нелепиц. Прискорбно то, что такой проникновенный государственный и политический деятель, как сиятельнейший и сострадательнейший граф Аракчеев, оказался завлеченным глупцами в заблуждение. Передавайте графу Аракчееву мое наичувствительнейшее признание за его готовность прийти на помощь в беде... Я на всю жизнь сохраню в памяти сей благородный жест с его стороны...

У Даллера не осталось никаких сомнений относительно здоровья Глинки. Попив чая, он и его помощники откланялись.

Не прошло и суток – Глинку посетил дворцовый врач баронет Виллье. Он тоже приехал с двумя дородными помощниками.

Виллье оказался, не в пример Даллеру, скучнее, нуднее, подозрительнее. Беседа с ним с первых же минут сделалась утомительной и несносной для нелепо подозреваемого в тяжком недуге. Виллье более трех часов донимал Глинку разными расспросами. Все усилия его сводились к одному: любой ценой обнаружить в собеседнике признаки умопомрачения, с тем чтобы увезти больного из его квартиры. Редкостной выдержки и самодисциплины потребовала от полковника эта беседа. Временами он уже готов был обрушиться на прилипчивого дворцового лекаря самыми бранными словами, а затем выставить его за порог вместе с помощниками. Но Глинка понимал, что такой его поступок и будет расценен как буйное помешательство. Он принудил себя оставаться покорным, невозмутимым, добродушным и даже веселым. Виллье же очень не хотелось уезжать ни с чем.

Наконец, измотав Глинку своими мрачными вопросами, Виллье уехал.

О нашествии на его квартиру незваных лекарей Глинка незамедлительно оповестил членов Коренной Управы Союза Благоденствия. Друзья со всей серьезностью встретили предупреждение и предприняли все меры к тому, чтобы очистить полковника от клеветы.

Они уговорили Федора Глинку поехать с ними на бал к графу Дивиеру, который с почтительностью относился к Глинке.

Публика, собравшаяся на бал, – это наблюдательный Глинка заметил с первых же минут появления здесь, – уделила ему внимания больше, нежели кому-либо другому. Одни

смотрели на него с явно выраженным сочувствием, другие с удивлением, как на человека, только что вырвавшегося из сумасшедшего дома. Было ясно – клеветники довольно преуспели.

На душе у Глинки стало крайне скверно и от такой повышенной и нездоровой заинтересованности его персоной, и от того, что среди гостей графа он увидел много разномастной и никчемной публики. Для него было странно и неприятно видеть в одном и том же зале рядом с благородной четой Муравьевых – фон Фоков, тоже оказавшихся зваными гостями. Все же Глинка не обнаружил своего мрачного духа – это могло бы только повредить ему. Надо было веселиться с беззаботностью легкомысленного денди, только беззаботная беспечная веселость могла отвести от него подозрения в сумасшествии. Он весь отдался бесцельному кружебному шуму – много танцевал с барышнями, много болтал о пустяках и вряд ли кто догадывался, что творилось в его душе.

Среди гостей метеором сверкнул граф Милорадович. Глинка рад был его появлению, питая намерения использовать эту встречу для завязки делового разговора, но непоседливый генерал-губернатор вскоре покинул бал.

В перерыв между танцами к Глинке подошла со слезами сострадательная, очень добрая сестра Милорадовича. Она смотрела на полковника и ничего не говорила.

– Что вас опечалило? Почему вы в слезах? – спросил Глинка, давно знавший эту женщину.

– Боюсь признаться, Федор Николаевич, – отвечала она, – ведь я посылала к вам своего человека, чтобы проведать, до какой степени сошли вы с ума, как мне о том сказали Фогель и Геттун...

– Кажется, сошел с ума не я, а те, кто повсюду распространяют этот глупый вздор...

– Ну, и дай вам бог светлого разума на многие годы, – сочувственно проговорила графиня Милорадович и по-матерински перекрестила полковника.

Глинка взял ее под руку, и они удалились в конец зала, где стояло несколько свободных обитых розовым плюшем кресел.

– Не верьте, графиня, не верьте, – повторил Глинка, – мои враги поклялись сжить меня со света.

– Я это знаю, Федор Николаевич.

– Вы с вашим умом и обаятельностью можете много доброго сделать для меня в столь трудное время.

– Рада бы... Но как?

– Ваш брат, граф Милорадович, любит вас и ценит ваш ум... Помогите мне вернуть его прежнее доверие, но сделайте это с тем тактом, какой отличает любое ваше действие, – с улыбкой попросил Глинка.

– Буду стараться, но обещать не могу, – отвечала она. – Мне кажется, брат мой охладил к вам и как бы всю любовь свою отдал Геттуну и Фогелю с Крыжевым. И что таить, эти теперь льют на вас все помои, а они по этой части непревзойденные мастера...

6

После скромного завтрака Глинка занялся подсчетом наличных и составление предельно урезанной сметы расходов на харчи, чтобы как-нибудь прокормиться еще месяц вдвоем со слугою. Вошел слуга и доложил, что явился рассыльный с пакетом из канцелярии генерал-губернатора. Это был инвалидный казак Листрат Жоглов. Глинка велел слуге приготовить чаю и налить чарку водки. У Глинки возникла мысль кое о чем расспросить Жоглова.

– Пакет вам от господина Фогеля...

– Сколько всякой фогелей-могелей расплодилось на нашей земле, – разрезая пакет, говорил Глинка, – а много ли Ивановых и Жогловых сидит по департаментам и канцеляриям?..

Жоглов, с которым раньше всегда охотно беседовал Глинка, сейчас молчал, словно глухонемой, лишь моргал глазами с фиолетовым овечьим подцветом. От предложенной водки и чая отказался наотрез.

– Что с тобою, Листрат? Я тебя нынче не узнаю, – незлобиво сказал Глинка. – Уж и ты стал гнушаться мною?

Жоглов продолжал моргать и не отмыкал уст.

Вскрыв пакет, Глинка ужаснулся. Фогель, ссылаясь якобы на согласованность с генерал-губернатором, предписывал полковнику в весьма внешне почтительных выражениях в течение недели освободить казенную квартиру... Глинке показалось, что вся кровь прихлынула к голове. У него отнимали квартиру, его выбрасывали на улицу, как бродягу...

Попытки завести разговор с Жогловым ни к чему не привели. Рассыльный молчал, как истукан. Из него удалось вытянуть лишь несколько слов:

– Не можем отвечать, приказано в разговоры не вступать...

– Кем?

Жоглов лишь тяжело вздохнул в ответ.

Глинка нашел себе пристанище в доме князя Кропоткина, около Конторы адресов. Квартирка была маленькая, всего из двух комнат, но и такой он был рад.

А через несколько дней Жоглов принес Глинке на новую квартиру уведомление о лишении его содержания, столовых денег и всех других весьма незначительных, но крайне важных для поэта житейских благ. Теперь у него было отнято все. Он остался без службы, без надежного крова над головой. Его толкнули на край пропасти. Впереди ждала нищета, скитальчество, унижительный чужой хлеб...

Круг знакомых сразу сузился. Мнимые, искавшие в дружбе с ним своих видов друзья отпали в тот же день, как стало известно о потере им важного поста.

Чужой хлеб для людей, подобных Федору Глинке, бывает тверд как камень и горек как полынь. Чем более он нищал, тем щепетильнее становился. Он готов был скорее умереть с голоду, чем просить за себя.

Наступил срок, когда, пересчитав последние наличные, он приказал слуге отменить утренний и вечерний чай. Но ввиду того, что слуга неповинен в его бедах, велел тому пить чай, как и до этого было.

Глинка же по утрам вместо чая пил воду, съедал кусок ржаного хлеба и кусочек селедки. Слуга, догадавшись о полном экономическом крахе хозяина, стал потихоньку тратить на харчи собственные деньжонки, сбереженные за многие годы. Узнав об этом, Глинка настрого приказал слуге не тратиться и впредь свои скудные сбережения оставить для себя на черный день.

7

Военный генерал-губернатор допоздна играл в бильярд с известным столичным артистом Брянским у него на квартире, которая своими размерами и обстановкой не уступала генерал-губернаторской. Милорадовичу не везло, он часто мазал, и оттого еще больше горячился.

Он вышел из бильярдной раскрасневшийся, в испарине, но по-строевому бравый, подтянутый, осанистый. На него приятно было смотреть со стороны: шаг четкий, твердый, широкая грудь выпячена вперед, усы подстрижены и причесаны с предельным искусством, на которое только способны знаменитые дворцовые цирюльники. Он был нынче в парадном мундире, при всех орденах и с голубой лентой через плечо.

Полнейший разгром в честном поединке на зеленом поле бильярдного стола не испортил веселого настроения. Милорадович заглянул в детскую, где его появлению очень обрадовались ласковые дети Брянских, особенно их чудесная младшая дочурка Дуняша. Ее генерал-губернатор с первого же их знакомства прозвал Дуней-тонкопряхой и каждый раз, встречаясь с ней в детской или гостиной, пел по ее просьбе эту удалую и очень русскую по духу своему песню. И сейчас, едва он успел переступить порог, дети кинулись к нему навстречу, схватились за руки, с криком:

– Чур, мой! Чур, мой!

– Про Дуню-тонкопряху!

– При условии, что вот эта Дуня-нетонкопряха будет мне подпевать! Согласна?

– Буду!

Генерал и маленькая Дуня спели неплохо, с особым чувством генерал повторил забавный припев:

– Дуня, д-моя Дуня, Дуня-тонкопряха!

Потом Милорадович и хозяин дома распили бутылку шампанского под непрерывное ворчание и визжание черного пса – великана Алмазки. Пес имел нрав свирепый и был прикован железной цепью к столу. Признавал он лишь одного хозяина да еще тринадцатилетнего поваренка, а на всех остальных, в том числе и на детей, стоило им заглянуть в кабинет, рычал и лаял. Милорадович считал этого прекрасного пса первым собачьим красавцем и каждый раз, бывая у Брянских, обязательно заходил полюбоваться собакой. Он не только любовался, но и торговался, давал большие деньги за Алмазку, однако Брянский не хотел и слушать о продаже своего четвероногого любимца. Пес незаменим на охоте, а Брянский слыл страстным охотником.

И нынче Милорадович попытался начать торги Алмазки.

– Да на что вам мой Алмазка? – спеялся Брянский. – Вы с ним не справитесь... Он же упрямый и непокорный...

– С губернией управляюсь, а с Алмазкой твоим не управляюсь?

– Кроме того, он еще злопамятный и любит ласковое обхождение...

– Не злопамятней же Аракчеева?

И они оба рассмеялись.

– А сейчас, Михайла Андреевич, перед нами выступит чудодейственный укротитель сего неукротимого зверя, – сказал Брянский и, открыв дверь в переднюю, громко позвал: – Поваренка!

Через минуту вбежал белокурый, курносый невысокого роста подросток, одетый под мужичка ярославского: в синие штаны, розовую рубашку с синей опояской, на ногах козловые сапожки.

– Богатырь Бова, взбунтовался Алмазка... Усмиряй давай, – сказал Брянский поваренку.

– Чичас, барин! Я его в два счета...

Разъяренный появлением детей Алмазка рычал и взвивался на цепи. Дети жались около порога. И только удалой поваренок вел себя героем. Он засучил рукава рубашки, вскинул руки над головой, три раза всхлопнул в ладоши, будто совершал таинство заговора, и смело пошел на рычащего Алмазку, красивые черные глаза которого начинали светиться красным огнем. Шел и уговаривал пса:

– Ну, и дурень! Ну, и дурак... Забыл, сколько костей я перетаскал тебе?.. Забыл? Голодом поморить? И поморю... Чего клыки-то скалишь? Я все равно не боюсь... Попробуй цапни...

И Алмазка вдруг смирился, ласково вилял хвостом, перестал рычать. И хотя взвивался на задние лапы, но уже без яростной злости. На задних лапах он был на две головы выше поваренка. Поваренок не стеснялся этим обстоятельством. Алмазка бросил обе мохнатые черные лапы на плечи удалцу и лизнул краснобархатным языком в конопатую щеку.

– Опять лизаться, вислоухий? Я только недавно душистым мылом умылся, – душевно объяснялся поваренок. – А, вспомнил, кто тебя кормит. То-то же... И чтобы впредь у меня не рычать... Смотри же... А теперь давай поборемся...

У детей обмирало сердце от ужаса, они опасались за поваренка.

А тот не унывал и тормозил могучего свирепого пса.

– На любака давай, злюка! Ты меня лапой по чему попало, а я тебя кулаком...

И началась забавная борьба поваренка с Алмазкой. Пес сделался удивительно ручным, словно ватная кукла, послушным воле мальчишки. Они валялись на полу около стола, то свивались в один клубок, то развивались, мелькали в воздухе собачьи лапы и мальчишечьи руки и ноги.

– А теперь, Алмазка, покажи, как ездят через подвесной мост через Неву! Подарок вкусный получишь!

И поваренок оперся на руки и на ноги, изобразив из себя «подвесной мост».

– Прыгай же, брыластый, а то те покажу! – приказывал он довольно странно, из-под руки поглядывая на растерявшегося Алмазку. – Прыгай, лентяй!

И Алмазка послушался – махнул через спину поваренка.

– Герой! Герой! – восторженно хвалил Милорадович парнишку. – Хотя сейчас в лучший гвардейский Семеновский полк забривай! Поди сюда!

Сообразительный пострел в два прыжка очутился у ног генерал-губернатора.

– Как зовут?

– Харлашка!

– А отчество?

– Не знаю...

– А отца как звали?

– Спиридон!

– Эх, ты, гвардеец... Так вот тебе, Харлампий Спиридонович, за отвагу твою, – и Милорадович с торжественным жестом наградил отличившегося большим имперiałом.

– А что сказать нужно? – довольно строго глянул на мальчугана Брянский.

– Я знаю, что надо спасибо сказать... Только от радости сразу забыл сказать.

– А кто тебя так щедро отличил, знаешь ли? – спросил сам Милорадович.

– Это я давно знаю, ваше превосходительство, – словно вымуштрованный сообразительный гвардеец, отчеканил награжденный без малейшей запиночки. – Наградила меня ваша милость петербургский губернатор и кавалер многих орденов граф Михаила Андреевич Милорадович, который часто в бильярд у нас играет... Я ваше превосходительство давно знаю... И знаю даже, что про вас говорят в городе...

– А что про меня говорят?

– Говорят, ежели кто в пасху придет похристосоваться с графом Милорадовичем, то он каждому ради Христа дает по пяти рублей...

– А ты поверил?

– Поверил...

– Вот пасха придет, проверь... Ну, ступай, молодчина!

И поваренок, и генерал-губернатор остались исключительно довольны друг другом. Теперь маленькому счастливцу хотелось, чтобы скорее пришла пасха.

Милорадович приехал домой поздно. Дремавший в лакейской благообразный, старообрядческого склада лакей Фролыч подал ему пахнущее духами письмо, доставленное на квартиру служителем театра. Генерал тряхнул спадающим на высокий лоб волнистым чубом, уже тронутым сединой, и с наслаждением вдохнул запах знакомых духов. Милорадович жил на широкую ногу, любил удовольствия, а долги, растущие с удивительной быстротой, его почему-то не очень сокрушали. Все время случалось так, что в самый тяжелый момент судьба улыбалась генералу. Его выручал царь: то прощал колоссальные долги, то брал эти долги на себя, то выдавал баснословную денежную награду. И Милорадович считал, что на его век благодетелей хватит, а другие неудачники пускай протягивают ножки по одежке. Да и не гоже управителю столицы и столичной губернии вести жизнь унылую и скучную. А скупость и мелочность, какими прославился Аракчеев, были не только не к лицу генерал-губернатору, но претили его широкой натуре. Он всегда смеялся над скупыми, мелочными, да еще над однолюбам, не понимая и не признавая их самоограничений. Пожалуй, ни о ком другом в столице столько не говорили, как о Милорадовиче. Говорили, конечно, разное, но все сходились на одном: не ошибся царь в выборе генерал-губернатора для молодой столицы. По роду своей службы и высоким полномочиям он олицетворял русскую столицу перед всеми другими русскими городами и всей Европой. За Милорадовича жителям Петербурга и россиянам в целом краснеть не приходилось. Он умел с достоинством и благородством предстать перед кем угодно. Умел слово сказать хоть самому царю, хоть английскому чопорному министру и вежливо, и умно.

Довольный весело проведенный вечером, Милорадович прошел на свою половину, при огарке свечи, мерцавшем на ночном столике, сбросил на кресло мундир со всеми регалиями. Босой, в нижнем белоснежном шелковом белье, долго расхаживал по огромному персидскому ковру в сладостных мечтах о той, чьими духами дышало письмо. В минуты мечтаний о любимых им женщинах для него не существовало ни службы, ни обязанностей, он забывал о своем генеральском чине и только помнил в себе человека и человеческое. Он радовался тому, что на земле есть прелестные женщины, есть любовь, есть трогательные

романсы, есть ревность, наслаждение, боль, есть стихи, от которых кровь закипает и наворачиваются слезы, наконец, есть слава, добытая честно, по-солдатски на ратном поле. Все это принесло ему вместе с трудами немало радостей и наполнило каждый день жизни. Милорадович дорожил такими радостями и потому неохотно брал к себе в подчиненные людей ограниченных, пасмурных, не умеющих веселиться и смеяться от полной души.

Ковер под босыми ногами был пестр и ярк, как луг в цвету, и так же чист. Генерал размышлял о том, что же еще может сделать для своей возлюбленной к ее benefису... И с этими приятными мыслями, выкурив на ночь трубку, он заснул крепким младенческим сном.

8

Утром свежий, сияющий, довольный собой и окружающими, генерал-губернатор плотно позавтракал, написал записку отставному гвардейскому полковнику Федору Глинке с приглашением приехать пообедать вдвоем, записку для передачи по назначению вручил денщику Гавриле, а сам отправился на службу.

Вспоминая вчерашние торги с Брянским, Милорадович напевал вполголоса песенку про Дуню-тонкопряху. Вспомнил нешуточную размовку с умнейшим своим помощником Глинкой, улыбнулся и в мыслях сам себя упрекнул: «Промахнулся я тогда... Да и он показал себя излишне гордым... Его язвительные нападки на управляющего моей канцелярией, конечно, во многом справедливы... Но не во всем... Однако без него скучновато стало в моем полицейском чертоге».

Приглашение к генерал-губернаторскому обеду удивило Глинку и взволновало. Он не сомневался, что за этим неожиданным приглашением кроется что-то более важное, чем обычная беседа двух бывших сослуживцев – начальника и подчиненного. Ехать Глинке на генеральский обед не хотелось: болела голова. Всю ночь до рассвета провел в доме у Никиты Муравьева, где встретились самые деятельные члены Союза Благоденствия – Николай Тургенев, Сергей Трубецкой, Федор Шаховской, Сергей Муравьев-Апостол... Ночь пролетела незаметно, как сновидение... Кипения было много. Немало накалу страстей способствовало новое стихотворение опального Пушкина, присланное в столицу с надежными людьми. Никита Муравьев с упоением читал сделанные им наброски первых глав будущей конституции России. Это чтение вызвало немало разговоров, нередко резких, запальчивых, но всегда искренних и честных.

В труде, замышленном Никитой Муравьевым, очень многое оставалось неясным для него самого, а также и для его критиков и единомышленников. И все же общими усилиями, камень по камню начинало возводиться величественное здание новой России. Было в проекте конституции нечто и от предшествующих заграничных образцов, но с каждой новой строкой и новой главой сокровенно возводимое здание все больше и больше обретало черты русской самобытности и непохожести на чужие модели. Председательствовал на этом немногочисленном собрании сам автор конституции, человек мягких манер, немного медлительный, но всегда внимательный и чуткий.

Приехавший из Москвы генерал Михаил Фонвизин рассказал о делах московской ветви Союза Благоденствия. Но, пожалуй, главным вопросом, обсуждавшимся на этом заседании, был вопрос о неуместной отставке Федора Глинки.

Масла в огонь подлил отставной подполковник Матвей Муравьев-Апостол, брат Сергея. Он недавно вернулся с Украины и вручил северному штабу заговорщиков письмо от подполковника Мариупольского гусарского полка Павла Пестеля. Послание это от начала и до конца было написано по-пестелевски убедительно, страстно, горячо. Пестель с болью упрекал северян за то, что они своевременно не смогли воспрепятствовать Глинке в его уходе со службы в канцелярии генерал-губернатора, вновь и вновь повторял, что Глинка любой ценой должен исправить свою ошибку и под благовидным предлогом вернуться на прежнюю работу, если к этому имеется хотя бы малейшая возможность.

– Павел Пестель, Василий Давыдов, Сергей Волконский, Бурцев, Раевский и все остальные наши крайне огорчены таким просчетом, какой допустил наш горячо уважаемый Федор Николаевич, – в добавление к письму, говорил Матвей Муравьев-Апостол. – Эта наша ошибка может иметь весьма неблагоприятные последствия. Она несравненно опаснее ухода в отставку Ивана Якушкина. Мы не имеем права освобождать важные и даже

второстепенные посты в гвардии, армии, полиции, в ключевых министерствах для людей никчемных или для отъявленных врагов нашего дела. И потому-то все на юге были поражены таким необдуманном шагом Глинки...

Глинка, сжав плотно тугие тонкие губы, молчал, но на лице его можно было легко прочесть ту боль, что сейчас наполняла его сердце.

— Есть ли какие виды к возвращению на старую должность? — обратился Никита из-за стола к сидевшему на диване напротив Глинке.

— Видов никаких... — отвечал тот. — Я ушел из-за негодя Геттуна. Мною руководила не личная обида. У меня была надежда с помощью генерала Закревского взять в свои руки должность управляющего департаментом в министерстве внутренних дел вместо фон Фока. На это изъявил свое полнейшее согласие и министр граф Кочубей. Но, как потом мне стало известно, прилетевший из Грузина всем известный дворцовый Змей-Горыныч не дал своего согласия. Известно: как Змей-Горыныч свистнет, такую подпись царь и тиснет... — После минутного молчания Глинка заключил: — Если нам удастся изыскать способ изгнания от генерал-губернатора управляющего его канцелярией Геттуна, то путь к моему возвращению может оказаться расчищенным.

— Что невозможно, то невозможно, Федор Николаевич, — решительно заговорил стоявший, опершись о мраморную колонну, долгоязыый и длинноносый капитан Преображенского полка Сергей Трубецкой. — Аракчеев за Геттуна, как и за своего клеветы Шварца, готов душу положить, если только она у него, хоть какая-нибудь, имеется... И старая царица благоволит своему землячку. Да и у великих князей эта скотина в большой чести.

— Надо возвращаться, Федор Николаевич, — решительно сказал Сергей Муравьев-Апостол, — и для этого, по-моему, любые пути хороши. Если надо будет, то найдите путь к формальному примирению с негодем и мерзавцем Геттуном. В конце концов с паршивой овцы хоть шерсти клок... Перемирие с Геттуном обратите к пользе нашего дела. Он жаден — так сыграйте на этой струне.

Глинка легко поднялся с дивана:

— Хорошо, господа. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы вернуться в канцелярию Милорадовича.

За окном занимался рассвет...

9

Глинка оделся в гвардейский мундир, взял извозчика и поехал к генерал-губернатору.

Милорадович не любил обедать в просторной столовой с длинным, от стены до стены, столом, за которым одновременно могли разместиться больше ста человек. Он велел лакею подать обед в светлую угловую комнату, обитую голубым плюшем, украшенную портретами в натуральную величину едва ли не всех прославленных танцовщиц и мраморными изваяниями знаменитых актрис. В этой комнате пахло теми же духами, что и от письма, полученного вчера.

Едва адъютант, заглянув в домашний кабинет, доложил о Глинке, Милорадович быстро поднялся с широкого золотистого дивана, на котором любил отдыхать, и с гостеприимно протянутыми руками вышел навстречу полковнику.

— Рад! Очень рад, Федор Николаевич!

— Я тоже...

— Я знал, верил, надеялся, что не может Глинка не отозваться на голос друга! — потрясая обеими руками руку Глинки, гремел Милорадович. — Отлично, полковник! Прелестно! Значит, встречаемся и миримся, как некогда встретились два великих императора в Тильзите, на берегу Немана?!

— Но всему миру известно, генерал, как недолговечен и ненадежен оказался мир, заключенный в Тильзите, — шутливо отвечал Глинка.

— Худо мне без вас, душа моя! Видите, я с вами откровенен. — Милорадович прижал ладонь к богатырской груди. — Худо. Некем мне вас, душа моя, заменить. Безлюдье! Решительно некем! А негодяев и подлецов я не хочу кормить дарма хлебом. Сразу за дело:

помогите мне обезопасить командира Семеновского полка – старшего полковника, небезызвестного вам Шварца.

– Не думаю, Михайла Андреевич, чтобы что-нибудь всерьез угрожало этому господину. Ведь от него в ужасе и смертном страхе пребывают даже офицеры, не говоря уже о нижних чинах, – без всякой заинтересованности отвечал Глинка.

– Поможете? Чтобы это дельце, чреватое нежелательными для меня последствиями, не попало прямо в руки Аракчееву, а следовательно, и на стол государю?

Милорадович взял полковника под руку и повел в голубую комнату, где был накрыт стол. Глинка все сводил к шутке и медлил с определенным ответом. Милорадович же без всякой лести прямодушно и чистосердечно продолжал хвалить его за трудолюбие и искусное умение разбираться в запутанных политических делах. Они сдвинули бокалы, выпили, поговорили о литературных и столичных театральных новостях, о разных интересных и неинтересных придворных интригах и сплетнях, об опальном Пушкине, к изгнанию которого из столицы оба имели самое непосредственное отношение, о разговорах относительно якобы опасной болезни в груди Аракчеева. Затем генерал-губернатор принудил Глинку читать стихи. Глинка читал хорошо, и генерал хвалил его за каждое прочитанное стихотворение.

– Ну, а теперь о нашем деле, Федор Николаевич! – потребовав еще бутылку вина, вернулся Милорадович к прерванному разговору. – Против Шварца настоящий заговор... А ведь кто шефствует над полком! Не дай бог, душа моя, случится какой-нибудь кордебалет в испанской модной декорации. Даже ежели кто-нибудь из-под забора швырнет камнем в Шварца, и если это дойдет до Аракчеева и государя, то они устроят нам кордегардию...

– Может быть. Михайла Андреевич, и заговора-то никакого нет, а всего-навсего обыкновенная болтовня подвыпивших в кабаке солдат и знакомая нам с вами недобросовестность наших подлых фискалов, – сказал, задумавшись, Глинка.

– Вполне возможно, Федор Николаевич, – не оспаривал Милорадович, – вполне возможно, душа моя! А поручи сие деликатное нечувствительное наблюдение какому-нибудь чудаку или малоопытному птенцу – сделать путного ничего не сделают, а только наследят, нагадят, сами себя опозорят, да и мне за них придется краснеть, как краснеет граф Кочубей за своих мерзавцев, которых расплодил повсюду фон Фок. Помогай, помогай, Федор Николаевич, ты умеешь такие дела начинать успешно и заканчивать благополучно!

Глинка пожимал плечами и всячески уходил от решительного ответа. И лишь после нескольких приступов неотразимого генерал-губернатора он наконец сказал, но без всякого энтузиазма:

– Только из моего глубочайшего уважения к вам, генерал... Так и быть – берусь! Но при одном и неперемennom условии, чтобы с этой минуты никто, кроме вас, не впутывался в это особой важности дело. Чтобы никто мне не мешал в поисках следа заговорщиков.

– Согласен, душа моя! Согласен! – и Милорадович наполнил бокалы. – За твое возвращение к прежним обязанностям!

Выпили до дна.

– Никому не дам вмешиваться! – обещал генерал-губернатор.

– Особенно Геттуну.

– У Геттуна своих дел хватит! Геттуна я никогда не сравню с тобой! – Милорадович показал полковнику плохо обработанные Геттуном шпионские донесения и сделал к ним свое пояснение: – Несчастливый этот год для Семеновского полка. С приходом Шварца все шишки посыпались семеновцам на голову.

– Мне рассказывал Сергей Муравьев-Апостол. Шварца решительно все ненавидят, кроме нескольких наушников из офицеров и нижних чинов, – добавил Глинка.

– А за что любить такого? Птица сразу узнается по полету. Переимчивый ученичок Аракчеева, – в тон полковнику говорил генерал-губернатор. – Чего стоит одна лоснящаяся жиром морда!

– Способный ученик, как никто другой. Из гренадерского имени Аракчеева полка перенес он свой богатый опыт в Семеновский полк.

– Ежели бы это был не лучший, не любимый государев полк, то я не придал бы такого значения донесению. Но особое положение Семеновского полка во всей гвардии обязывает нас принять все предупредительные меры по нашему ведомству. Мне горя мало, коли сей

скуловорот и живодер ломает себе шею. Но ведь из-за него и мы с вами можем лишиться благорасположения его величества, – откровенно говорил Милорадович. – Я, между нами говоря, и сам бы – доведись драться на дуэли, – с удовольствием вкатил бы Шварцу пулю в лоб... Не будь он командиром Семеновского полка... В этом, душа моя, все дело. Надо расстроить заговор...

Глинка рассмеялся.

– Заговор. Уж очень громко. Не слишком ли велика честь для ничтожного Шварца?..

– Видите ли, через полковых шпионов стало известно, будто бы полковник Дмитрий Петрович Ермолаев открыто подговаривал рядовых к расправе над Шварцем. А тому, кто убьет Шварца, обещал пятьсот рублей. Вишь, какие затейники, душа моя. Прямо-таки партизаны-храбрецы, на манер Дениса Давыдова. Слышно, будто обещано было пятьсот рублей рядовому Заброцкому, попавшему в солдаты из семинарии за какую-то провинность! Такая же сумма якобы была обещана рядовым Жикину, Грачеву, Хватову, Дурницыну, Онойченко... Кстати, вы лично с Ермолаевым знакомы?

– Да, генерал, имею вполне определенное представление об этом семеновце...

– И каков он?

– Все отзываются о нем как об отличном офицере, но он, кажется, собирается в отставку, если уже не получил ее, – отвечал Глинка.

– С кем из офицеров находится в дружестве полковник Ермолаев?

– Товарищи у него столь же безупречные, как и он сам, и среди них князь Щербатов, Сергей Муравьев-Апостол, полковник Иван Вадковский, князь Федор Шаховской, оба брата Чаадаевы. Всех их еще в Москве, где они были на полковом празднике в 1818 году, прозвали «просвещенной дружиной», за их любовь к наукам, искусствам, стремление к нравственному совершенствованию, за истинно христианское отношение к ближнему, к подчиненному солдату.

– Похвально, похвально! – одобрительно соглашался Милорадович. – Так и должно быть повсюду в гвардии и в армии в наше время, которое далеко умчалось вперед от мрачных времен Мамай и Батыя.

– Так, генерал, среди ротных офицеров давно изжит азиатский взгляд на солдата, как на бессловесную скотину, которую господь сотворил только для битья палками. Ротные, Сергей Муравьев-Апостол, Кошкарлов, Казаков, нередко сами терпеливо занимаются выправкой одиночных солдат, чтобы не подвергнуть новичков грубому обращению ефрейторов и унтер-офицеров...

– Извозничать потихоньку продолжают? Или окончательно Шварц прихлопнул?

– Кажись, прекратили...

– Извозничание семеновцев очень не нравилось государю, он увидел в извозничании опасное общение гвардейцев с партикулярными.

– Не столько государю, сколько графу Аракчееву.

– А не все ли равно, Федор Николаевич, – засмеялся Милорадович, – что не любо Аракчееву, то не любо и государю... А что в полку говорят о бывшем командире Потемкине?

– Якова Алексеевича и сейчас жалеют.

– А офицеры?

– Все жалеют.

Прибыл адъютант Аракчеева, привез генерал-губернатору пакет за сургучными печатями. Милорадович вскрыл его прямо за столом, прочитал и в сердцах выругался совсем не по-графски.

– Не было печали, так черти накачали. Аракчеев просит защитить и оборонить его петербургский двор и имение в Грузии...

– У него же в руках все поселенные полки!

– Как раз от них он и просит оборонить его, – с иронией заметил генерал-губернатор.

– Видишь, граф пишет мне: из Грузина сообщают, что в окрестностях его владений появилась шайка неизвестных людей, которые временами выходят из леса, заходят в ближние села и деревни за пропитанием к обывателям тамошним... У графа есть все

основания подозревать в этих лесных ватагах беглых поселенцев и чугуевских отмстителей, проникших из южных губерний.

– На севере и своих много, кто день и ночь прокликает Аракчеева, – добавил Глинка, – я не удивлюсь после всего того, что сотворил Аракчеев в поселенных округах, если его рано или поздно подденут на нож или спалят Грузино...

– Уведомляет меня, что он уже по этому вопросу послал вестового в Новгород к тамошнему губернатору, одновременно просит, чтобы и столичная полиция взяла его городское местожительство под круглосуточное охранение... – Генерал-губернатор умолк, внимательно посмотрел на Глинку и хитровато прищурился. – Не сомневаюсь: не пройдет и десяти дней, как поступит высочайшее повеление принять полиции все строгие меры к охране царского приятеля! Давай-ка, душа моя, опередим царя!..

Глинка рассмеялся громко и заразительно, такого взрыва смеха давно не видел Милорадович.

– Ну, что ж, Михайла Андреевич, охранять так охранять! Ценности России надо оберегать, как зеницу ока... Где еще такого слугу найдет его величество! Любо видеть палача, пришедшего в смятение от одной мысли о грозящей ему расправе. Давайте охранять! Как подумаешь – хорошо жить тем, кому не надо заботиться об охране своего подворья и своей драгоценной для отечества особы!

– Федор Николаевич, при мне-то можно что угодно говорить про грузинского временщика, но при других будьте осторожнее, – предупредил Милорадович. – Не забывайте: Аракчеев с благословения государя над полицией учредил собственную полицию! Не промахнитесь – его хватка мертвая.

– Благодарю, генерал, за предупреждение. Буду иметь в виду.

– То-то, душа моя.

10

На другой день Глинка рано поутру отправился на службу в канцелярию генерал-губернатора. Милорадович тотчас вызвал его к себе, поднялся навстречу, усадил в покойное кресло у стола и вполне доверительно проговорил:

– Хочешь, душа моя, покажу весьма деликатную памятную записку на мое имя и копию с письма одного знатного, но крайне беспечного генерала, когда-то пребывавшего в свите его величества?... Вот читай, душа моя, и дивись, что творится на белом свете...

Милорадович положил перед Глинкой памятную записку – бумагу весьма секретную. Глинка сгорал от нетерпения поскорее узнать ее содержимое, но не показывал своего нетерпения. Он взял бумагу с ленцой, обнаруживая как бы чисто канцелярское чиновничье равнодушие ко всем и ко всему.

Глинка читал, а Милорадович разминался, расхаживая по пламенеющему радужными красками широкому ковру, и время от времени комментировал содержимое доверительной записки.

– Генерал-майор Михайла Орлов – герой, кутузовец, прошедший через тысячу смертей, умнейший человек и поступает так опрометчиво, – сам себе и другим своей беспечностью причиняет большой вред. Какой-то мерзавец содержимое орловских писем довел до сведения государя... Государь опечален... Граф Кочубей получил строгое взыскание за плохое наблюдение за перепиской некоторых знатных персон, проживающих как в столице, так и вне ее. Вот и нас с тобою впутали... Не знаю, чем все кончится. И как все это не ко времени. Что за нечистая сила толкнула Орлова под руку и заставила затеять переписку с Бутурлиным о его книге «Военная история походов россиян в 18 столетии»? Надобно голову потерять, чтобы вверить бумаге и почте свои мысли о самовластии! Какое непростительное для генерала мальчишество!

Глинка не мог оторваться от секретного циркуляра. Им предписывалось генерал-губернатору по своей линии взять все меры к строжайшему нечувствительному наблюдению за перепиской Михайлы Орлова с его петербургскими друзьями. В списке орловских друзей Глинка увидел немало фамилий основателей Союза Благоденствия.

– Вы-то, Федор Николаевич, читали книгу Бутурлина? – спросил Милорадович. – Небось скука смертная? Что можно ждать от Бутурлина.

– Не скажите, граф. Книга интересная, нужная, полезная... Кстати, судя по копии орловского письма, многие суждения генерала о слабых сторонах бутурлинского сочинения сделаны очень точно и глубоко. И я не понимаю, Михайла Андреевич, что так опечалило государя?

– Душа моя, не опечалило, а возмутило. Боюсь, как бы не спустил собак Аракчеев, узнав об орловской партизанской вылазке против самовластия и рабства...

– Где? Какая вылазка, генерал?

Милорадович взял из рук Глинка список с письма и прочитал кусочек: «Ты говоришь в одном месте, что приобретение Казани и Сибири сделало необходимым принять меры против личной вольности крестьян. Хотя ты восстаешь против сего незаконного действия самовластия, но сие самое не внушило тебе ни одного движения красноречивого, и ты холодно рассуждаешь о предмете, который сделался первою причиною всех наших внутренних неустройств». Каково, по-твоему, полковник? Вот так густо замесил...

– Орловская закваска. В корень смотрит.

– Федор Николаевич, дело крайне опасное самыми губительными последствиями. Вот это место государь трижды жирно подчеркнул и написал на полях: «Лавры Радищева не дают покоя Михайле Орлову. Но генералу не следовало бы забывать, что затем стало с Радищевым». Послушайте-ка, что не понравилось государю: «Войди в хижину бедного россиянина, истощенного от рабства и несчастья, и извлеки оттуда, ежели можешь, предвозвещение будущего нашего величия». Душа моя, как ты хочешь суди, а ведь государь-то прав: Орлов предвозвещение будущего величия России ищет там, где его искал Радищев, а до Радищева откапывал казацкой саблей беспощадный к нашему брату-дворянину удалец Емелька Пугачев. Предписывают взять под строгое наблюдение переписку всех петербургских друзей Михаила Орлова, особенно обратить внимание на братьев Тургеневых. Я и не подозревал, душа моя, что Николай Тургенев и Михаил Орлов давнишние дружки.

– Ну что ж, возьмем. Впрочем, и без нас, я думаю, за Тургеневым ведется наблюдение, – спокойно отвечал Глинка. – Но почему же их величество не обратили внимание на истинно прекрасное место в рассуждениях генерала Орлова о книге Бутурлина? Орлов верно упрекает сочинителя в том, что тот зря пускается в распространения о внутренней нашей политике, которой не понимает. Орлов верно восстает и против славославия, противного нынешнему духу времени. И конечно же, нельзя не рукоплескать Орлову, когда он спрашивает сочинителя: «Зачем возбуждать ненависть к отечеству в прочих народах? Разве тебе не довольно того, что Прад, Биньон, Герц и прочие публицисты восстанут против нашего могущества, ты хочешь также восстановить Европу против нас?»

– Душа моя, все это верно, но все это уже не имеет никакой цены после столь явного и строгого изъявления высочайшего неудовольствия, – воскликнул Милорадович, остановившись перед полковником. – Я целиком присоединяю свой голос – это строго между нами, Федор Николаевич, – к голосу Михаила Орлова в той части, где он с истинной болью говорит о том, что у нас мало пишут о России, мало занимаются собственною нашею славою. Потому всякое сочинение, касающееся до отечества нашего и представляющее его во всем блеске возрождающейся славы, будет принято с восхищением. Но я не государь. И раз нам приказано держать ушки на макушке в отношении Орлова и его друзей, то и будем, следуя своему служебному долгу, строжайше выполнять приказание. Эту памятную записку можете оставить у себя. О ее существовании никто, кроме нас с вами, не должен и подозревать!

Они еще долго говорили о братьях Орловых, о всем мятежном орловском роде, об их участии в разных дворцовых заговорах, интригах, склоках. Глинка узнал, что Милорадович питает неприязнь к старшему из братьев Орловых – Алексею, который ни в чем не был похож на Михаила. Неприязнь эта не таила в себе ничего личного. Алексей Орлов никогда не становился поперек пути Милорадовичу, даже не злословил о нем и при встречах всегда оказывал внешнюю почтительность. Но Алексей Орлов, в отличие от брата Михаила, прославился в обеих столицах черствостью души, презрительным отношением ко всякому, кто стоял ниже его, генерал-адъютанта, по службе или находился дальше, нежели он, от царя. Зато перед лицом всевластного графа Аракчеева забывал Алексей Орлов о фамильной

спеси и гордости и превращался в обыкновенного пресмыкателя. Таких людей прямодушный Милорадович терпеть не мог.

11

На Фонтанке, против Михайловского замка, в верхнем этаже казенного дома, занимаемого «серым мужичком» князем Александром Голицыным, жил его сослуживец по Департаменту Духовных Дел – Александр Тургенев. С ним, в двух небольших комнатах, жил его младший брат Николай.

В этой квартире часто собирались члены Союза Благоденствия на дружеские беседы и холостяцкие пирушки. Здесь часто можно было встретить князя Илью Долгорукова, графа Федора Толстого, капитана Сергея Муравьева-Апостола, Сергея Трубецкого, Никиту Муравьева. Здесь на столах и полках теснились книги, журналы и газеты на всех европейских языках.

Николай Иванович Тургенев был хром на левую ногу – следствие перенесенной в детстве золотухи. Но хромота не испортила его изящной, будто изваянной скульптором, фигуры. Он был подвижен, но не суетлив, ловок и всегда элегантен. Светловолосая круто посаженная голова, темно-серые, необыкновенно глубокие глаза приковывали к себе внимание. Говорил он пылко, любил афоризмы, народные присловия и поговорки. Старшие его братья Александр – один из секретарей Библейского общества и сотрудник Департамента Духовных дел и Сергей – воспитанник Московского, а затем Геттингенского университета, состоявший при Комиссии Составления Законов, относились к нему с неизменным уважением.

Николай Тургенев слыл последователем адмирала Мордвинова, известного своими смелыми мыслями. Он с юности страстно увлекался серьезнейшими экономическими исследованиями, боготворил точные данные, поэтизировал язык цифр, но его исследования никогда не были отвлеченными, чисто академическими, а касались насущных нужд России. Служба в должности помощника статс-секретаря в Государственном совете давала любознательному и восприимчивому молодому мыслителю обильнейший материал для наблюдений, рассуждений, анализа и сопоставлений.

Сюда, на квартиру к братьям Тургеневым, порой заглядывал и действительный статский советник, член многих ученых обществ, убеленный сединой и обремененный многочисленным семейством украинско-слободской помещик Василий Каразин. Он приносил свои различные проекты по улучшению участи крестьян и зачитывал их братьям Тургеневым, а чаще всего – Николаю Ивановичу Тургеневу. Из всех приносимых проектов Каразин делал строгую тайну, будто он являлся закоренелым заговорщиком.

Нынче Каразин принудил Николая Тургенева выслушать устав, на основе которого управлял своею украинскою деревнею. Он читал эту бумагу, захлебываясь от удовольствия, в надежде услышать одобрение от знатока крестьянской жизни и народных нужд.

Вначале Тургенев слушал гостя с большим вниманием, потом заскучал, с трудом подавляя желание позевать.

– Как находите, Николай Иванович, мой устав? – спросил Каразин, кончив чтение.

– Нахожу его, Василий Назарьевич, разорительным для ваших крестьян, – ответил с мягкой улыбкой Тургенев.

Каразин поперхнулся на полуслове, на впалых щеках его выступил багровый блеск, а голубые глаза как-то сразу помутнели.

– Почему же разорительным?

– Потому что весь ваш устав составлен к выгоде помещика...

– Ужели?

– А вы сомневаетесь?

– Сомневаюсь...

– Если сомневаетесь, то спросите ваших харьковских жителей, и они вам скажут то же самое, что говорю я.

Каразин пытался обелить свой проект, представив его обоюдно выгодным для помещика и для его крепостных. Эта защита показалась Тургеневу смешной и наивной, у него пропало всякое желание всерьез опровергать велеречивого собеседника.

Но слышавший добрым семьянином, непоседливый, беспокойный, энтузиаст-изобретатель Каразин был для Тургенева интересен тем, что всякий раз приносил много разных столичных и дворцовых новостей. Да и рассказывать он умел неплохо.

– Что новенького, Василий Назарьевич, на нашей царственной Неве? – спросил Тургенев, желая покончить с надоевшим ему разговором о каразинском деревенском уставе.

– В Петербурге новостей прибывает, как воды в Неве в дурную погоду, – бойко заговорил Каразин. – Граф Воронцов решил заделаться всероссийским ямщиком. Выпустил акции, – вместе с другими учреждает дилижансы. Вот покатаемся. Граф, чуть ли не Рюрикович, а не стыдится выбивать у ямщиков кусок хлеба из рук.

– А что такое дилижансы?

– Вообразите себе сани, а на них две сдвинутые кибитки, – вот вам и костяк дилижанса. В каждом дилижансе четыре места: хочешь сидеть лицом к лошадиным хвостам – плати за место по девятиста пяти рублей, а если сядешь задом к лошадям – то шестьдесят пять. Граф обещает вскоре отправить два первых дилижанса в Москву. Уже в очередь записываются...

– Еще какие новости?

– В Семеновском полку что-то назревает нехорошее.

– А что именно?

– Мутят там... Умно мутят...

– Кто же мутит? И в чем это сказалось?

– Неслыханное дело: первая государева рота Семеновского полка недавно просила одного капитана объявить их жалобу на полковника Шварца, а ежели капитан этого не сделает, то солдаты пойдут всем полком и принесут жалобу высшему начальству. Когда бывало? Чуете, каким ветром повеяло на гвардию? – уверенно сообщал Каразин. – Солдаты вот-вот взбунтуются, а баранье комолое – генералы – и в ус не дуют..

– Это интересно. Очень интересно, – встрепенулся Тургенев, желая подогреть словоохотливость гостя.

– Цензура наша оглохла и ослепла, херит то, что безобидно, и пускает в свет, что вредно, – продолжал Каразин. – А в Семеновском и Преображенском полках офицеры тайно читают какие-то списки с якобинского послания генерала Михаила Орлова не то военному министру, не то историку какому-то.

– А вы читали эти списки?

– Гоняюсь по всему городу, но никак не ухвачу, – сокрушенно всплеснул руками Каразин. – Генерал Орлов со своим приятелем графом Мамоновым чего не придумают...

– Разве они друзья? – удивился Тургенев.

– Да еще какие... Из пожарной кишки не разольешь. Этим летом генерал Михаил Орлов, будучи в Москве, ездил к своему приятелю графу Мамонову. Комедия получилась... Граф Мамонов наедине устрасился всего того, что он когда-то наслушался от Орлова. И не захотел принимать якобинца кишиневского. Велел запереть все двери. Но где тут устоять железным запорам против Орлова! Он все двери выломал, а все-таки ворвался... Вместе с Мамоновым они и состряпали письмо, за которым все теперь гоняются. И конституцию для России вместе сочинили. А уж коль занялись конституциями, то жди беды. По-моему, слух дошел до государя...

– Еще что волнует нашу столицу?

– Министру финансов Гурьеву дано графское достоинство. Как не дать, коли сумел выколлотить из карманов у россиян последнюю полушку. Этак скоро и грабители с большой дороги в графья выйдут, – с тихой яростью изничтожал вновь испеченного графа Каразин. – Вот еще отрадная петербургская новость: государем утвержден план построения храма на Воробьевых горах. Мудрецы придворные весь проект написали на воде вилами. Для этого дела правительство покупает на десять миллионов рублей четырнадцать тысяч душ крестьян у помещиков. Сии несчастные купленные души, освобожденные от всех налогов и повинностей, должны под тяглом работать в Москве. Не знаю, сумеют ли построить храм на Воробьевых горах, а разворовать десять миллионов для наших строителей сущий пустяк. Я уверен, Аракчеев, мимо которого граф Гурьев умудрился провести этот проект, в удобный для того момент схрястает их всех вместе с костями, а главного архитектора упечет в

Сибирь. Сейчас он помалкивает, поглядывая со стороны. В Берлине, говорят, проведены массовые арестации. И у нас не отстают. На Дону, прошел слух, опять бунтуются казаки, как в прошлом году в Чугуеве. Наше правительство собирается сделать или уже сделало новый заем в сорок миллионов серебром через банкиров Бока и Баринга.

Вдоволь наговорившись, Каразин стал расспрашивать Тургенева о разных событиях, но тот отделивался общими словами.

– Каково ваше мнение, Николай Иванович, о царскосельском красном петухе? – спросил Каразин, и выражение его лица говорило о том, что он об этом событии знает нечто очень деликатное.

– Все краснокрылые петухи один на другого похожи...

– Не скажите. Этот петух особый... Государь был так встревожен, что в тот же день, говорят, отдал повеление вызвать с Дона генерал-адъютанта Александра Ивановича Чернышева, который имеет на Дону особо важные высочайшие поручения в связи с волнениями крестьян, волнениями еще более страшными, нежели прошлогодние неурядицы в Чугуеве...

– Впервые слышу, Василий Назарьевич...

– Так вот знайте, Чернышев решил превзойти самого графа Аракчеева по части кровопролития. И уже весь Дон покраснел от мужицкой крови... Вот что у нас творится каждый год, – довольно смело рассказывал Каразин. – По высочайшему повелению министр внутренних дел разослал губернаторам новое циркулярное предписание, в ответ на его циркуляр возмутились крестьяне во всей Екатеринославской губернии. Пугачевщиной пахнет... Чернышев зверствует на Дону, как Мамай. Аракчеев ему и в ученики не годится... Есть слухи, что все начальство не только в Царском Селе, но и в столице заменяется новым. Чернышев станет генерал-губернатором вместо златоуста Милорадовича, которого хочет доконать Аракчеев. Пожар предоставил прекрасный случай для исполнения сего желания.

– Ничего не знаю...

– Плохой у вас министр, если он вас держит в полном неведении, – новость за новостью открывал Каразин, – повсюду распускают слух, что никакой поездки государя в Троппау не состоится, а между тем тайком готовятся к поездке. В Варшаве государь выступит с речью. Но интересно бы знать, каков дух будет этой речи?

– Варшавские речи государя всем памятливы.

– Думаю, что от этой речи монарха будет пахнуть недавним пожаром, – намекал на что-то очень важное Каразин.

– Неужели получится: в Царском Селе горит дворец, а на Варшаву искры падают?

– Не искры, а пепел сыплется... Я слышал от одного господина: оправдалось подозрение государя в том, что артель мастеровых, из-за которой возник пожар, состояла из переодетых в партикулярное платье солдат не то Семеновского, не то Преображенского полка. Уже готовятся большие арестации среди командиров, как главных зачинщиков пожара... Не дай бог, знаем мы, к чему приводят такие арестации.

– Василий Назарьевич, не поддавайтесь басням, что кто-то распускает по городу, – возразил Тургенев, – нелепая выдумка о злонамеренном поджоге Царского Села недостойна даже внимания серьезных людей.

– Говорят, хотели сим пожаром помешать государю принять участие в работах конгресса...

– Ерунда!

– Нет, я несколько иного мнения на сей счет. Пожары бывают не только по небрежности мастеровых... Могу вам, по строгому секрету, шепнуть: есть в городе лица, которые уверяют, что братья Тургеневы радуются нынешним пожарам, уж одни имена Тургеневых доказывают дух партии, к которой они принадлежат... Но государь, по величайшему секрету, не разделяет мнения публики о ваших именах...

– За это ему, если так, спасибо!

Они распрощались внешне вежливо, но холодно.

И холодность беседы была небеспричинна. Каразин, по словам Глинки, поставил себе целью, минуя генерал-губернаторскую канцелярию, через голову тайной полиции и министерства внутренних дел разговаривать с самим царем или его всевластным

наперсником, дабы указывать им на опасности, грозящие России и царствующему дому. Имя Каразина обросло противоречивыми легендами, разобраться в которых было нелегко. Некогда просвещенные люди России видели в этом неутомимом деятельном человеке неподкупного рыцаря добра и справедливости. Либерализму его рукоплескали в аристократических салонах. Ему сочувствовали, полагая, что при Павле I он лишь случайно избежал мученической смерти. Весь Петербург из его рассказов знал о том, как по повелению Павла I восемнадцатилетнего беглеца, Каразина, пойманного на берегу Немана при попытке скрыться за границу, несколько суток катали в боте при завязанных глазах, чтобы преступник не видел, куда и на какой пустынный остров отвозят его, чтобы там высадить и казнить. Бот мчался сквозь волны, и изгнанник, теперь уже не страшась жестокостей Павла I (так впоследствии он сам уверял всех) день и ночь распевал какую-то дерзкую песнь, чуть ли не французский революционный гимн.

К счастью обреченного, пловцы так долго искали в открытом море предназначенный для него необитаемый остров, что в это время в Петербурге успели избавиться от коронованного деспота, а его наследник якобы в первый же час по вступлении на престол распорядился бот с осужденным беглецом незамедлительно вернуть в Кронштадт. Завидная слава мученика за правду открыла перед ним двери в дома Радищева, Державина, Сперанского, Мордвинова. Он любил показывать в салонах список с благодарственного письма, посланного юному императору Александру I в первые же дни по вступлении на царство, в котором подсказывал либерально настроенному монарху, каким образом лучше всего и безболезненнее силами ничем не ограниченного самовластия обуздать самовластие. Смысл поучения сводился к тому, как волку, оставаясь в волчьей шкуре, перестать быть волком. Юный царь тогда не обиделся, ответив благосклонной высочайшей улыбкой юному либералу, и даже нашел ему место при дворе. Но царский двор похож на тесное каменное гнездо, полное вечно враждующих друг с другом стервятников, у которых каменные клювы и железные когти, а желудки не знают насыщения. Пригретого самодержцем либерального подлетка Каразина недолго терпели в высоком гнезде и, пока не окаменел клюв и не сделались железными его когти, с благословения высочайшего покровителя вышвырнули прямо на придворные камни. Вышвырнутый не расшибся и не захотел улетать далеко. Он угнездился на несколько сучьев ниже – в министерстве народного просвещения, не теряя надежды вновь вернуть себе монаршее благоволение сочинением и преподнесением нового проекта и в конце концов стать душенаставником молодого государя во всех его делах. Но рассуждения чиновника о пользе «непреложных законов» пришлись не по душе одному из ласкателей и царских прислужников. Чиновнику-реформатору предложили уйти в отставку. У себя в именье в селе Кручик, верстах в тридцати от Харькова, он занялся научно поставленным винокурением. Свой практический опыт образованного винокура Каразин изложил в труде под названием «Описание снаряда для гонки вина». С целью улучшить существование крепостных помещичьих крестьян в соответствии с его либеральными поползновениями, он открыл способ печения из дубовых желудей вкусного и здорового хлеба. До голодных крестьян столь полезное начинание не дошло, и свиньи не остались в обиде на мыслителя, так как после его открытия в их рационе ничего не изменилось.

...Тургеневу не было чуждо честолюбие, но оно питалось не ядовитыми соками пустой барской спеси, а чувством собственного достоинства, сознанием богатой умственной и душевной одаренности. Его целеустремленную, полную тревог и настоящих радостей жизнь украшала завидная дружба с самыми лучшими людьми в обеих столицах и по всей России.

Несколько лет назад он расстался с генералом Михаилом Орловым, получившим назначение в Южную армию. В Орлове Тургенев ценил человека с необыкновенно богатой душой. Именно это душевное богатство обоих и стало основой их нерушимой дружбы. Под победоносный грохот русских пушек, прокладывавших путь к Парижу, Михаил Орлов и Николай Тургенев едва ли не первыми в России поклялись создать тайное политическое общество.

Они руководствовались благородной целью: вызволить несчастную отчизну из губительных оков единовластия, из пут экономического, политического и духовного рабства. Клятва не осталась словами, сказанными всуе.

И хотя Михаил Орлов, о чем знал весь белый свет, был горд, честолюбив, даже самонадеян порой и тщеславен, все это не мешало проникновенному, разборчивому в людях Николаю Тургеневу любить его по-братски. Тургенев видел в своем друге прежде всего ум истинно государственный, любовь к отчизне неподдельную, познания, особенно в области наук военных, исторических, политических, философских и финансовых, обширнейшие, редкостный дар руководителя и организатора крупного масштаба, решительность и смелость прирожденного вождя. Узнав от Каразина, что списки с писем Орлова ходят по столице, Николай Тургенев почувствовал не столько тревогу, сколько гордость за своего блестящего друга и единомышленника. Не прошло и четверти часа после ухода Каразина, как один за другим приехали Сергей Муравьев-Апостол и Илья Долгоруков. Николай Тургенев рассказал им об охоте Каразина за списками с писем генерала Орлова и не без удовольствия объявил:

– Зачем нам гоняться за ними, когда в наших руках есть подлинники прекрасных орловских эпистол.

Он вынул из шкатулки, что стояла на письменном столе, последнее письмо, по рукам присланное генералом Орловым.

– Вот неустанный Орлов прислал мне любопытнейший проект учреждения общества переводчиков для перевода книг полезных иностранных на русский язык.

– Дело нужное, очень нужное! – поддержал Муравьев-Апостол. – И как вы находите орловский проект?

– И в этом проекте, как и во всем, что выходит из-под его пера, много дельного, обещающего большую пользу государству и всему народу. – Тургенев грустно улыбнулся. – С нашими аракчеевскими законами и равнодушием ко всему общепольному вряд ли можно осуществить этот проект.

Неожиданно распахнулась дверь и на пороге, потирая руки и лукаво щурясь, появился Глинка.

– Попались, господа? На месте преступления? Это кого вы тут возвеличиваете? Некого начальника одной дивизии? Чьи письма читаете? – от порога спрашивал Глинка.

За шутливым и почти веселым тоном улавливалась большая тревога. Пожав друзьям руки, Глинка сел к столу и достал из портфеля переданную ему Милорадовичем памятную записку.

– Совершенно секретно! Довожу до сведения Коренной Управы Союза Благоденствия: нам грозит серьезнейшая опасность. Читайте...

После того как была прочитана памятная записка, в покое стало так тихо, что было слышно, как шарахается ветер за стеной.

– Николай Иванович, или любой из вас, господа, изыщите надежный способ как можно скорее обо всем оповестить Михаила Орлова, – наставлял Глинка. – Сделать это нужно без промедления и архиосторожно.

– Мне и моим братьям придется временно прервать всякую переписку с Орловым, поскольку за ним устанавливается слежка, – решил Николай Тургенев.

Глинка возразил ему.

– Этого как раз и не нужно делать, Николай Иванович. Переписка должна продолжаться своим чередом, я имею в виду переписку по почте. Но письма твои к Орлову и его к тебе должны быть наполнены милыми пустяками или выражениями, приятными высочайшему полицейскому... Списки с ваших писем будут аккуратно доставляться царю... Надо сделать все возможное, чтобы сохранить за Орловым 16-ю дивизию! Потеря дивизии была бы нашим поражением. А Орлову необходимо всерьез преподать азбуку осторожности. Я со своей стороны приму все меры к тому, чтобы через Алексея Орлова отвести высочайший гнев от золотой головы его брата. Это не значит, что я прощаю ему пренебрежение осторожностью. И еще раз всем напоминаю: мое имя в письмах ваших ни в какой связи не должно упоминаться без крайней нужды.

Все знали, как долго царь не соглашался дать под начало Орлова пехотную дивизию. Царь никак не мог простить широкомыслящему генералу и крупному политику его смелость, когда-то проявленную в совете, преподнесенном на высочайшее имя в связи с решением судеб Польши. Эта смелость вдруг пресекла карьеру генерала. Он был немедленно удален из

Петербурга подальше, в Киев, и назначен там начальником штаба. Только сильное заступничество брата Алексея спасло его от более сурового наказания.

За чаем была тщательно обсуждена и принята как обязательное для каждого правило линия поведения петербургских друзей генерала Орлова на случай возможных осложнений.

От Тургенева Глинка поехал к Федору Толстому и Никите Муравьеву, чтобы оповестить их о том же.

12

Многие покои в богатом доме Никиты Муравьева, отец которого когда-то являлся наставником ныне царствующего императора Александра и его братьев, великих князей Контстантина и Николая, были похожи на библиотечные залы. Множество книг и журналов на всех европейских языках теснились на полках, задернутых узорными шелками, и в великолепных с резными украшениями книжных шкафах. Среди необозримого книжного моря было немало редкостных старинных изданий, современных Гутенбергу и первопечатнику Ивану Федорову, здесь же тщательно и любовно сберегались древние рукописные свитки, в том числе уникальные русские и славянские летописи.

В это богатейшее книгохранилище нередко приезжали друзья гостеприимного семейства Муравьевых, едва ли не самого просвещенного семейства во всей столице – князь Федор Шаховской, думающий подать в отставку полковник Дмитрий Ермолаев, полковник Иван Вадковский, капитан Сергей Муравьев-Апостол, князь Иван Щербатов, братья Николай и Александр Тургеневы, капитан Кошкарлов, капитан Корсаков, а с недавнего времени здесь стали желанными посетителями молодые, быстро набирающие сил поэты Кондратий Рылеев и Александр Бестужев. Недавно с этими сокровищами художественной, философской, политической мысли через капитана Сергея Муравьева-Апостола познакомился и юный подпрапорщик Михаил Павлович Бестужев-Рюмин. Он как-то сразу полюбился разборчивому в людях семейству Муравьевых, особенно самому Никите и его матери Екатерине Федоровне, образованной женщине, славившейся острым умом и самобытностью суждений.

В этом великосветском доме не только преклонялись перед героическим прошлым русского народа, но и самоотверженно приумножали его славу бескорыстными и далеко не безопасными трудами.

На подоконнике, заваленном всевозможными замысловатыми табакерками и фигурными трубками различных моделей, стояла большая бутылка, по самое горло наполненная нюхательным табаком. В этой бутылке, в табаке Никита Муравьев хранил секретнейшие документы и главный из них, над которым по поручению Коренного Совета вдохновенно работал – проект будущей конституции России.

Никто из домашних не входил в кабинет, и слуга убирался там обычно только в присутствии хозяина.

Стол был накрыт в кабинете. Розово лоснилась семга, свежо зеленели салаты, сверкали слегка вспотевшие тонкогорлые бутылки клико «V.S.P. под звездочкой», принесенные из холодного подвала.

Все, кого ожидали, были в сборе, за исключением всегда точного, но на этот раз почему-то запаздывавшего капитана Муравьева-Апостола, любимца тетушки Екатерины Федоровны Муравьевой.

Собравшиеся вспомнили врезавшуюся всем в память фразу, брошенную Муравьевым-Апостолом на одной из таких же вот дружеских сходов: «Величественный подвиг, блистательно начатый вооруженным народом на поле Бородине, еще до конца не завершен русской победоносной армией! Он ждет своего достойного России завершения!»

Во что это завершение должно вылиться? Как, кем, какими силами и в какие исторические сроки оно исполнится? Кто и какой дорогой поведет к завершению? Обо всем этом сейчас и велся между собравшимися страстный, неорганизованный, беспорядочный разговор. Кто, стоя, дымил длинной дворянской трубкой, кто, сидя в глубоком кресле и кинув ногу на ногу, курил сигару, кто стоял у шкафов, блещущих золотым тиснением книжных переплетов.

Потом заговорили о нашумевшей «Истории государства Российского» Карамзина, о труде, вне всяких сомнений, величественном и грандиозном, но не сразу и не всеми понятом и оцененном по достоинству. Это превосходное историческое сочинение, сплавившее воедино и яркое самобытное поэтическое вдохновение и завидную проникновенность истинного ученого, обстреливали справа и слева, с тыла и с фронта.

Вошли капитан Сергей Муравьев-Апостол и ротмистр Петр Чаадаев, оба в черных вечерних фраках, на бровях у обоих искрилась дождевая влага.

– Извините, господа, за вынужденное опоздание! – пожимая руки по кругу, объяснялся Муравьев-Апостол. – Нелюдь Шварц задержал без всякой надобности! Более двух часов томил всех батальонных и ротных, экстренно собрав в полковой штаб...

– Был же приятный слух о том, что вы, семеновцы, якобы избавляетесь от этой аракчеевской скотины, – сказал породистый князь Федор Шаховской, куривший около окна трубку, длиной с фузею.

– Все рухнуло! Пытались наши полковники, и я вместе с ними, сделали представление в штаб корпуса... Милорадович поддержал нас, но медные лбы – генералы Васильчиков и Бенкендорф, что лижут пятки великим князьям, всячески глушат и заминают все наши представления по начальству, – с огорчением рассказывал раздумавшийся капитан. – Сегодня опять истязал наш аракчеевец пятерых на полковом плацу... По шесть раз через батальон.

– За какую провинность?

– По чьему-то доносу... Привинил в извозе. Не успевают поставлять шпицрутены. Два лучших моих солдата третьей фузелерной роты были исполосованы до беспамятства... До неузнаваемости... Я готов был застрелить мерзавца Шварца на полковом плацу! И уж не знаю, как и сдержался! Семеновский полк вышел на первое место по количеству наказанных палками за полгода! Позор! Стыд! Когда подобное бывало в нашем полку? Полковник Ермолаев вне себя от возмущения и опять самым серьезным образом ищет среди рядовых человека, который бы подрядился убить Шварца.

– От истязателя Шварца, любезнейший Сергей Иванович, таково общее мнение Коренного Совета, необходимо, и как можно скорее, избавить полк, – напомнил Никита, – иначе он, этот мерзавец, разрушит все, что нам удалось создать там нашей общей многолетней работой! Он своими тиранствами и натравливанием офицеров на солдат может лишить нас опоры, а терять Семеновский полк мы не имеем права. Именно на этот полк нами возлагаются большие надежды! И южане такого же мнения!

– Это я понимаю, но пока не вижу действительного средства против Шварца, – возразил капитан.

– Где же наш конституционный монархист? – оглядываясь, спросил Николай Тургенев, имея в виду отсутствующего Федора Глинку.

– Куда-то спешно послан генерал-губернатором, кажись, в Новгород, чуть ли не в гости к хлебодару Аракчееву, – блеснул глазами исподлобья Чаадаев, листавший какой-то пухлый том около книжного шкафа.

– Господа, есть важные вести из Варшавы от члена Коренного Совета Лунина. Получено письмо по рукам. Вот оно. – С ловкостью фокусника Никита опустил в широкое горло бутылки с табаком два щупа и извлек письмо. – Прошу всех к столу.

Ужинали и под заздравные тосты обсуждали последние вести из Варшавы, где ныне гостил император Александр с царской свитой. Лунин сообщал, что в предварительных переговорах с Меттернихом восторжествовала идея русского царя о созыве конгресса по испанским и неаполитанским делам. Это могло привести к посылке войск Священного Союза, в том числе и русских, в Неаполь и в Испанию для подавления революции.

Лунинское письмо не оставило равнодушным никого из сидящих за столом. Впрочем, почерпнутые из него сведения не были новостью для северян.

Капитан Муравьев-Апостол не раз толковал на эту тему и с неукротимым вольнодумцем – отважным полковником Ермолаевым, и с князем Щербатовым, и с полковником Иваном Вадковским. Прощупывал он настроение и других однополчан. Мнение почти всех семеновских офицеров было единодушным – никто не хотел видеть русскую гвардию и армию в роли душителей свободы. Никто не желал, чтобы

могущественная Россия, уничтожившая наполеоновскую тиранию в Европе, вдруг сделалась главной покровительницей тирании. Об этом же капитан осторожно заводил разговоры и с нижними чинами своей третьей фузелерной роты, теми, что умеют думать и рассуждать. И от каждого из них в ответ слышал одно: нечего нам по чужбинам шляться, каждый сам в своей земле управится; у нас у самих стоит крыша некрыта, об ней и надо думать.

Всем этим Муравьев-Апостол поделился с друзьями.

– Поднимется ли Семеновский полк, ежели вдруг потребуется? – спросил Николай Тургенев.

– Моя рота, уверен, встанет в ружье по первому же моему слову, – убежденно отвечал Муравьев-Апостол. – И таких славных рот, как моя, в Семеновском полку не одна. Все дело портит и осложняет Шварц... – Он замолчал, глаза его неподвижно усталились в одну точку и вдруг оживились: – А знаете, господа, – медленно, как бы нерешительно проговорил он, – не использовать ли нам в своих целях ненависть солдат к Шварцу? Довольно крохотной искры – и ручаюсь, если не сразу весь полк, то часть рот поднимется против Шварца. Это всколыхнет все остальные гвардейские полки, породит дух непокорства и мятежа. Царь примчится в Россию, ему будет не до Неаполя, а здесь мы его сумеем встретить.

Молчанием была встречена взволнованная речь капитана. Чаадаев нервно хрустнул крепко сжатыми пальцами. Никита молча встал, теми же щупами спрятал в табак лунинские письма и, вернувшись к столу, задал короткий вопрос:

– А дальше?

– Дальше? – задумчиво улыбнулся капитан. – Дальнейшее для меня самого, признаюсь, не совсем ясно... Дальше – покажут события. Ведь они сами не приходят, их люди за руку приводят. Неужели гражданское сознание русских офицеров и солдат, сознание лучшей передовой части нашего дворянства менее зрело, нежели сознание испанских моряков и итальянских карбонари? Конечно, к дружному повсеместному выступлению мы едва ли готовы... Но революционный энтузиазм в Семеновском полку несомненен! У преображенцев такое же настроение.

– Неплохо бы знать, что думает на сей счет наш Аристид – Глинка, – задумчиво сказал Никита.

– Чего медлить? Условия благоприятствуют, начинайте, молодцы-семеновцы! – нетерпеливо заговорил ротмистр Чаадаев, социолог и философ, историк и искусствовед, познания которого в различных областях были не менее обширны и основательны, чем у хозяина этого стола Никиты Муравьева. – Поджигайте запал! Ведь и в Неаполе пожар вспыхнул от грошовой свечи!

– Заманчиво! Заманчиво! – возбужденно воскликнул Никита. Он встал, подошел к бутылки с табаком, очевидно, намереваясь достать из нее еще что-то интересное, но, помедлив, вернулся к столу с пустыми руками. – Век приобретает нужную ему стремительность! Лед медлительной истории, наконец-то, навсегда взломан. Река времен приходит в истинное движение, которое теперь уже не преградит никакая плотина, возведенная закоперщиками из Священного Союза. События могут опередить нашу готовность. Моя конституция, к сожалению, все еще пребывает в зачаточном состоянии. То, что сделано и переделано, нуждается в поправках, в обсуждении, строгой оценке... Отставать от века нельзя! – Он наполнил бокалы и провозгласил горячую здравицу в честь неаполитанской революции.

– Семеновцы, начинайте! Преображенцы, измайловцы и гусары вас поддержат! – повторял Чаадаев. – Начинайте! Дайте и мне своими глазами увидеть истинную революцию в России и упиться ее полным торжеством на развалинах самовластия! До смерти наскучили черепаший шаг расслабленной истории! В особенности истории нашей! Начинайте! Я с вами! До последнего моего дыхания. Пальнем же из Царь-пушки в честь свободы русской! Гонца на юг, к Пушкину, пускай он напишет гимн революции! И сам скорее приезжает к нам... – Чаадаев пил менее других, но хмелел заметнее всех. Характеру его были свойственны горячность и порывистость. – Начинайте, господа! Начинайте! – вновь провозгласил он. – Не забывайте прекрасных слов, обращенных к нам:

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы!..

– Все это так, но какими разрушительными последствиями может кончиться наше выступление в случае полной неудачи или раскрытия всех тайн, – трезво возразил вдруг Муравьев-Апостол. – Прекрасному полку нашему грозит неминуемое полное уничтожение, искоренение всего, возвращенного и взлелеянного нами. И это страшней всего, господа! Семеновский полк – наша крепость. Потеря Семеновского полка будет потерей всего.

Душистый дым сигар и трубок всплывал к потолку. Бурные приливы республиканской решительности сменялись ленивыми отливами сомнений, рожденных не недостатком необходимой воли, а трудностями и сложностью обстановки в стране и в Европе. Одна мысль о возможной потере Семеновского полка, главнейшей военной силы Союза Благоденствия в Петербурге и во всей гвардии, не могла не страшить каждого из присутствующих здесь. Поэтому никто на этот раз не отваживался выдавать свое мнение за единственно правильное. И в то же время все понимали, что момент для решительного выступления был не за горами.

Вошел лакей и с поклоном доложил:

– Полковник Федор Николаевич Глинка.

– Прекрасно! Зови! – Никита встал, чтобы встретить гостя.

Глинка только что вылез из сырого тарантаса, обрызганного дорожной грязью. На нем был серый сюртук, а поверх – залубенелый под дождем грубый парусиновый плащ.

В лакейской Глинка умылся, привел себя, насколько возможно, в порядок и вместе с Никитой вошел в ярко освещенный несколькими подсвечниками кабинет.

– Бог в помощь вам, друзья! – Глинка приветственно поднял руку. – До ниточки промок, пока скакал из Новгорода.

– Что там случилось? – спрашивал Никита, наливая внеочередную рюмку водки для Глинки. – Иль поселенные войска опять от жизни райской взбунтовались и жгут дома с аракчеевскими мезонинами?

– Почти что угадал. Волнуются мастеровые люди Новгородской парусной фабрики. Как и четыре года назад. На днях доверенных прислали с жалобой. Опять несчастным суд грозит военный и зверская расправа, – опорожнив рюмку, рассказывал Глинка. Лицо его стало суровым, в глазах проглянула жестокость. – Теперь я, вопреки всем подделкам мздоимца Геттуна, сам убедился, что директор Новгородской адмиралтейской парусной фабрики – Рерберг – сущий вор, насильник и палач. Вконец разорил и без того обездоленных ткачей... Рерберг Иван Иванович... Вот его звериный девиз: чем больше бьют рабочих, тем скорее они помирают, чем скорее помирают, тем лучше, потому что на место одного, забитого насмерть, приходят десять здоровых. У половины рабочих, в том числе у детей и женщин, головы проломлены палками... Преуспевающая благоденствующая Россия! Каково?! Когда же устают бить рабочих по голове палками и поленьями, Рерберг выстраивает всех в ряд, вызывает нескольких конных пьяных драгун и заставляет их топтать народ копытами. Мамай, истинный Мамай! Мне показывали детей, изуродованных подковами с шипами. Это ли не азиатский произвол! Деревянные ветхие казармы, в которых ютятся сии несчастные, не поддаются никакому описанию. Они напоминают преисподнюю ада.

– У них же строились новые казармы? – поинтересовался Никита.

– Новые до сих пор заняты пленными французами.

– Кто ж придумал столь бесчеловечную каторгу для парусинщиков? – спросил Муравьев-Апостол.

– Наш мудрый Комитет министров, в котором все министры, как скоморохи, выхваляясь один перед другим, пляшут под капральскую дудку все того же Аракчеева, – отвечал Глинка. – Сколько же гнева накопилось в народе! Последние капли переполняют чашу терпения... Последние... – Говорил Глинка без жестикуляции, негромко, даже глуховато, но в этой сдержанности чувствовалась ненависть.

– Ужели новый суд грозит новгородцам? – спросил сочувственно Чаадаев.

– Я и Милорадович делаем все для того, чтобы дело их не попало в руки Аракчееву. Но Рерберг да еще сын его, такой же негодяй и прохвост, всячески мешают и порываются уведомить о новых беспорядках государя за границей...

– И пускай уведомят, мешать не надо! – воскликнул Муравьев-Апостол. – Нам на руку уведомление такое!

– Глаза у страха велики, и государь издалека может всех новгородцев упрятать на галеры, – вот что страшно, капитан! – ответил Глинка.

Никита, ознакомив Глинку с письмом из Варшавы, добавил:

– Все насильства и тиранства, которые только что описали вы, Федор Николаевич, суть прямое следствие монархического устройства в государстве. И от них народ не избавит никакая конституция до сих пор, пока существует, пускай и в урезанном виде, единовластие. А вы, кажись, по-прежнему остаетесь сторонником конституционной монархии?

– Не совсем так, Никита Михайлович, – отвечал Глинка. – Жизнь требует беспрестанной проверки самое себя. Вы должны помнить, милейший, я еще в начале этого года на нашем совещании у меня в квартире, в присутствии Павла Пестеля, дал определенное слово поддерживать республику. Республика, конечно, милее сердцу моему... Но... Но... – С наполненным искристой влагой бокалом он обошел вокруг стола и остановился около Сергея Муравьева-Апостола (Глинка любил говорить и читать стоя). – Однако при решении таких коренных начал надо всесторонне учитывать степень политической зрелости и нравственной готовности нации к столь радикальным переменам. По моему убеждению, платформа конституционной монархии осуществима легче, менее болезненно. Она может собрать вокруг нас гораздо больше сторонников среди людей известных, она толкнет в наши ряды многих нынешних нейтралов и даже кое-кого из друзей самовластья поневоле. Например, если мы своим знаменем возьмем императрицу Елизавету, то очень полезные для нас люди – генерал Милорадович, адмирал Мордвинов, бывший государственный секретарь, ныне опальный граф Сперанский будут с нами! Причем из пассивных созерцателей они могут превратиться в деятельных борцов за наше дело!

– А не ошибаетесь ли вы в умонастроениях и симпатиях военного губернатора графа Милорадовича? – поинтересовался князь Федор Шаховской.

– Думаю, что не ошибаюсь! Я имел достаточно времени, господа, чтобы по-настоящему приглядеться не только к внешним манерам генерала, но и к его довольно сложному душеустройству, к его отнюдь не солдафонскому мироощущению и миропониманию. Милорадович – убежденный сторонник Елизаветы! А как велики сила влияния Милорадовича и его авторитет в гвардии, всем вам хорошо известно! За Васильчиковым или Бенкендорфом гвардия не пойдет, а за Милорадовичем, как и за Яковом Потемкиным, пойдет в огонь и в воду!

– Это все хорошо, Федор Николаевич, и ты должен так же успешно продолжать нелегкий труд постепенного приуготовления Милорадовича к той роли, которая со временем может быть ему предоставлена, – одобрил усилия Глинки во всем осторожный Никита. – Но не забывай и об извилистом характере рыцаря Баярда. Он весь во власти живых муз и фигуранток.

Муравьев-Апостол повернулся лицом к стоявшему с ним Глинке, взволнованно заговорил:

– Федор! Истинный поэт с искрой божией в голове и груди! После того навсегда памятного горячего нашего совещания в начале года я много думал и думаю о твоём «Елизаветинском переходном мосте» от неограниченной к конституционной монархии, от конституционной монархии к республике. И по размышлении пришел к выводу: твой «Елизаветинский мост» есть не что иное, как повторение несколько в ином варианте не оправдавшего себя исторического опыта... В твоём «переходном мосте» я нахожу много общего с возведением на престол с помощью гвардии Екатерины Второй. С нею связывалось немало светлых надежд и упований...

– Равно как и с подобным же заговорщическим возведением по обагрённым отцовской кровью ступеням на престол ее любимого внука, ныне царствующего государя, – подметил Николай Тургенев.

– Надежд и упований в том и в другом случае было много, а плодов никаких, – заключил Муравьев-Апостол. – Я прихожу к твердому и, кажется, окончательному умозаключению: для России нет иной дороги, кроме дороги республиканской! А республика на ангельских крыльях на землю не спускается...

И опять горячо спорили, читали на память и по книгам, призывали себе в соратники древних и новых светочей политического и государственного разума. Здесь незримо присутствовали великие тени великих мужей древней Греции и Рима, не раз вспоминались имена Новикова, Радищева, Пугачева, Робеспьера, Марата.

– Под каким знаменем вы, под тем же знаменем и я! – был итоговый ответ возбужденного спорами и вином Глинки. – А сейчас я ознакомлю вас, господа, с некоторыми извлечениями из наставлений, поступающих от государя на имя министра внутренних дел и генерал-губернатора... По роду моей службы я обязан руководствоваться многими высочайшими указаниями и потому имею к ним доступ.

Глинка открывал перед друзьями тайное тайных царской канцелярии. Из этих разительных извлечений было видно, как обеспокоен и напуган состоянием умов самодержец, как вместе с ним напуганы весь двор и все правительство, и какие изобретаются ухищрения для слежки, вынюхивания, обезврежения вольнодумцев, по каким главным руслам столичной жизни направляется всеобъемлющая полицейская слежка. Он рассказал и о том, что имя каждого из сидящих здесь уже взято на заметку и внесено в записную карманную книжку царя, с которой тот никогда не расстанется и всегда сверяется с ней при назначении или награждении кого-либо. Вся же информация была бесценной для боевого ядра Союза Благоденствия и помогала ему своевременно принимать необходимые меры предосторожности и тщательной маскировки.

– Михаил Кириллович Грибовский.

Глинка мгновенно смолк и сунул в карман бумажки с извлечениями. Никита уже готов был сказать лакею: «Зови!», но Глинка, плотно сложив губы, взял Никиту за рукав белой рубахи с кисейным жабо и кивком пригласил в другую комнату, а лакею велел подождать.

Через минуту или около того Никита и Глинка вернулись к столу.

Никита приказал исполнительному и преданному лакею:

– Скажи господину Грибовскому, что Никита Михайлович с утра болен мигренью, лежит в постели со шпанской мухой и никого весь день не принимает. Понимаешь, Ермолай, не принимает?!

Ермолай, мужичище сильнее медведя, разбитной и сообразительный, понял весь смысл дважды и выразительно повторенного «не принимает».

Когда лакей удалился, Никита осторожно, чтобы не лязгнуть, замкнул дверь на ключ. Грибовский мог войти вопреки воле лакея. Такое вполне могло случиться: с каждым из здесь заседающих Грибовский был знаком, был посвящен во все тайны и планы Союза Благоденствия, как один из его организаторов и членов Коренной Управы.

За столом стало тихо. Все невольно взглядывали то на запертую дверь, то на Глинку с Никитой. Глинка на вид оставался спокоен, Никита же казался растерянным.

– Почему вдруг отказали Грибовскому? – с удивлением и обеспокоенно спросил князь Федор Шаховской, у которого всего три дня назад Грибовский в компании преображенских офицеров превозносил французских энциклопедистов и ругал петербургских поэтов и романистов, в том числе и Глинку, за то, что они до сих пор не написали ничего, достойного внимания передовой читающей публики, об Емельяне Пугачеве и об усмирении восстания в Чугуеве. – В самом деле, почему? Он же не чужой человек нашему Союзу... если тут примешано личное, то я решительно против такого образа действий! – Шаховской вскочил с места, готовый сейчас же покинуть собрание.

Невозмутимый Глинка жестом попросил его сесть.

– Господа, не волнуйтесь... Здесь нет ничего личного... Я нашел за лучшее, чтобы Гриб, он же Грибовский, не присутствовал при этом столь важном совещании, тем более я не хочу, чтобы он знал об извлечениях, с которыми я вас только что ознакомил. К сему отказу имеются немаловажные причины, о которых я считаю своим долгом уведомить вас, но не сейчас. Для такого уведомления еще не наступил срок.

– А если столь немаловажные причины не подтвердятся? – с заметным раздражением спросил Шаховской, явно обескураженный поступком Никиты и Глинки.

– Ошибки свойственны смертным... Если я окажусь неправ, то готов буду принести самое искреннейшее извинение уважаемому высокому собранию, а если потребуется, то и тому лицу, которого касается мое вам предостережение. А пока, господа, держите в полнейшей тайне нынешнюю нашу конференцию. Большого по этому вопросу на сегодня сказать не могу.

Предупреждение, сделанное Глинкой, было для всех настолько неожиданным, настолько тягостным, что сразу все заштопорилось: и серьезные разговоры, и шутки. Но едва ли кто сейчас сомневался в том, что у полковника есть основания поступить так, как он поступил.

– За нашу петербургскую палку в колеса императорской кареты, – провозгласил прощальную здравицу Никита.

– За палку в царские колеса! – горячее всех подхватил капитан Муравьев-Апостол.

– И хорошо бы всю царскую карету опрокинуть в ухаб, из которого уже не выехать никак, – добавил Петр Чаадаев и стоя выпил бокал до дна.

Расходились запоздно и при строгой осторожности. На полковом подернутом густым туманом дворе Семеновских казарм часовые начинали играть зорю, когда капитан Муравьев-Апостол возвратился от Никиты Муравьева.

13

Как из сита, сеял мелкий дождь. На обширном грязном плацу весь день раздавались голоса фельдфебелей – муштровали новобранцев. Особенной усердностью отличался исполнительный фельдфебель Брагин с молодецки закрученными усами. Он обладал исключительной выносливостью и мог без минутного отдыха часов по двадцать маршировать по всем жестким гвардейским правилам. Ему в усердности не уступал и унтер-офицер Мягков, старый отменный служака, степенный, ни в чем не запятанный семьянин, отец троих малолетних детей. Он жил в казармах отдельным семейным покоем. Был одинаково строг и справедлив как в своей семье с детьми, так и на плацу с солдатами. За ним давно и прочно установилась добрая слава лучшего наставника гвардейской премудрости. Мягков обучал молодых солдат по своей, им изобретенной, несложной методе. Во все печатные артикулы и письменные уставы он подпускал вполне дозволенные привески: побасенки, шутки, присказки, извлечения из сказок и песен. Когда же таких привесков не хватало, сам изобретал их, и всегда у него получалось гладко, ровно, складно, а нередко даже остроумно и весело. На занятия Мягкова с новобранцами порой приходили посмотреть и офицеры. С Мягковым здоровались за руку, как с равным себе, полковники Ермолаев и Вадковский, а командир государевой фузелерной роты князь Иван Щербатов твердо обещал образцовому унтеру исхлопотание чина подпоручика или даже поручика. На рождество и пасху семья Мягковых ежегодно получала от князя Щербатова ценные подарки. И в других ротах издавна такое повелось: все солдаты получали подарки к большим годовым праздникам и ко дням викториальным.

Нынче ротные командиры и солдаты, даже новобранцы чувствовали себя на занятиях свободно. С утра свирепствовавшего старшего полковника Шварца с нарочным зачем-то вызвали в Главный штаб, где он, к счастью подчиненных, застрял надолго. В углу плаца толпились старослужащие государевой роты. Оттуда поминутно доносились дружные раскаты смеха.

– Дурницын, зуб ноет, – жалуется Амосов.

– А мне какое дело.

– Полечи, ты мастер.

– А ты умеешь глотать лекарство?

– Да уж как-нибудь.

И Дурницын, улыбнувшись, начинает «лечить», да и не одного, а сразу всю роту.

– Вот у нас жила одна ленивая баба. Вот это так ленивая! Эдак же вот зуб у нее заныл, как у тебя. Влезла на печку погреться, скажем. А в крещенские морозы дело-то было. Свиныя

рылом дверь и отворила. А бабе лень слезти да затворить. День лежит на печи. Два лежит. И на третьи сутки дверь остается незатворенной. Наперекор свинье решила сделать. И сделала. Так на печи и замерзла. Вот характер-то бог дал. Ну, зажил твой зуб?

– Чуточку полегчало.

– Ну, давай еще.

Неистоимый на веселое слово, Дурницын принялся за малоразговорчивого однодворского сына Штанникова, угодившего в солдатчину вместе с крестьянскими сыновьями.

– А знаешь ли, однодворец, откуда на Руси однодворцы повелись? – спрашивал на полном серьезе Дурницын, прихорашивая обеими руками поредевшие усы.

– Из обеднелых бар, – поспешил с ответом Амосов вместо однодворца, недружелюбным взглядом встретившего вопрос.

– Не суйся, Амосов, раньше отца в петлю, коли ничего не смыслишь, – вразумлял тоном дядьки Дурницын. – Однодворцы, милостивые государи, не что иное, как чертячьи дети... А произошло однодворское племя вот как: однажды пьяный Черт нес грибы в коробе, да запнулся за пень и рассыпал по бору; и выросли однодворцы. Ну, а ты, Афоня Пироженко, ответь мне: в какой губернии однодворцев больше всего уродилось?

Ни одна догадка не устроила Дурницына, и он сам ответил:

– Всех больше уродилось однодворцев в Воронеже! Но почему в Воронеже, скажем, а не в Саратове? – Он важно обвел всю роту взглядом наставника, как обычно дядька озирает новобранцев. – Скажи хоть ты, Федоров.

– Земля там благоприятнее – русский чернозем!

– Не поэтому, унтер-офицер. – И этот ответ забраковал неторопливый Дурницын. – Вот почему: снова рассердился Черт, после того как один ловкий солдат, вон вроде нашего Заброцкого, скажем, полтора года носил его, Черта, в своей тавлинке, собрал рассерженный Черт всех однодворцев в решето и понес, сам не знает куда... Где-то около Курска самый злой гром грянул, да так раскатился, что Черт, опаленный молнией, скокнул выше туч, достиг Воронежа и выворотил их над Воронежом. Не верите – спросите воронежских! Ей, воронежцы, подтвердите!

В государевой роте оказались и воронежцы, и ни один из них не оспорил Дурницына. Хрулев и Штанников принялись в лицах изображать многотрудный день полковника Шварца.

Хрулева и Штанникова сменили двое таких же неистоимых затейника Отрок и Торохов.

Заброцкий с удивительной точностью воспроизводил неприятный, с характерным акцентом голос старшего полковника Шварца. В искусстве голосового подражания никто не мог тягаться с Заброцким. Походя он воспроизводил и тенор козла Федосея. А потом встал на ходули и начал показывать походку Шварца. Смех поднялся такой, что из казарм повыскакивали все нестроевые.

– А вы, братцы, вот что – потише, – понизив голос, вмешался Мягков. – А то, не дай бог, беду накличете... Видите – офицеры сюда идут.

– Просим милости, – отвечал Штанников. – Кто идет? Ермолаев, Муравьев-Апостол, Кошкарров – эти нас не обидят... Я их знаю...

– Много ты знаешь?

– Знаю, как зять на теще капусту возил, молодую жену в пристяжку водил. «Ну-ка, ну-ка, теща моя! Тпру, стой, молодая жена!» – сыпал Заброцкий. – И еще много знаю, да мало баю, потому что не всех ворон к себе в компанию принимаю. В Испании, слух прошел, король на печке спал, с печки упал, да так-то удачно, что и костей не собрал. Вилы сковали, вилами кости собрали, в гроб поклали, попы отпевали, слезы проливали, а мокрести во всей стране не было...

Мягков усмехнулся, качнул головой, махнул рукой – тебя, мол, не переговоришь – и отошел к новобранцам.

А дождик моросил и моросил. Закончив учения, Мягков отправился к себе в камору. Жены с ребятами дома не было.

Мягков расчесал длинные вислые усы, украдкой глотнул из шкалика водочки и, сам себе подмигнув в зеркало, разложил на коленях набеленные мелом панталоны – стал прилаживать заплатку на прохудившееся место. Вошел шустрый рядовой Пироженко.

– Унтер-офицеру Мягкову приказано прибыть на квартиру к их благородию командиру государственной роты капитану Кошкарору!

– А ты не ошибся? – важничал Мягков, любивший немножко поломаться перед нижним чином. – Или не видишь, чем я занят? Или ты за меня будешь мои панталоны чинить?

– Никак не ошибся!

– А зачем я понадобился? – вертя панталоны, тянул Мягков. – Я причастившись, мне нельзя. Не дай бог, шкура Шварц встренется да заставит дыхнуть, что тогда? Баня до полусмерти. Одного меня требуют?

– Не только тебя, – отвечал Пироженко, – велено также быть у командира рядовым роты его величества: Николаю Степанову...

– Знаю Николашку, хороший парень...

– Той же роты рядовым Якову Хрулеву, Ивану Дурницыну, Митрию Петрову, Алексею Лыкову, Венедикту Семенову...

– Догадываюсь, зачем! – и Мягков отбросил прочь заплатки и нитки. – Раз Хруля и Дурницына зовут, то чую – пахнет песнями.

– И из других рот званы люди.

– А Сергей Торохов из пятой фузелерной?

– Кажись, зван. Опять же Федор Анойченко, Янтарь, Пересеткин. Из второй – унтер Петр Федоров, из третьей – каптерка Федька Бобровский. Ну и, конечно, отставной наш водохлеб Зудин.

Мягков обожал такие вечерние сборы на квартирах у господ офицеров, когда любители пения приглашают самых голосистых солдат. На таких сходках весело и есть, что послушать, а за хорошее пение на прощанье – по чарке водочки и по полтиннику на брата.

Унтер-офицер отправился на квартиру к капитану Кошкарору, который исполнял должность командира государственной роты вместо князя Щербатова, уехавшего в домовый отпуск.

На квартире у ротного собрались лучшие песенники. Были тут и несколько офицеров. Особенно Мягков обрадовался, увидев среди командира капитана Сергея Муравьева-Апостола. Его знали во всех ротах и любили за доброту, мягкое обращение с подчиненными, за готовность помочь солдату в беде всем, чем только можно. К нему из всех рот шли за советами и умудренные усачи ветераны, и робкие, непривычные к казарме новобранцы. Неграмотные запросто обращались с просьбой написать или прочесть полученное письмо. В трудную минуту жизни солдаты не стыдились стрельнуть у него деньжонок на новые пряжки или еще на какие потребности. Каждому хорошо было ведомо и то, что капитан Муравьев-Апостол за малозначущую пустяковую провинность или оплошность не накажет и не взыщет, но большой проступок своей добротой прикрывать не станет.

Офицеры вели себя непринужденно, кто сидел в креслах и курил сигару или трубку, кто расхаживал. Солдаты же и здесь в присутствии начальников держались чинно, подтянуто, не позволяли себе лишних разговоров, пока их не пригласят к беседе. Мягков перемигнулся с Бобровским, подобно Мягкову, любившим при случае приложиться к чарочке, а если повезет, то и не к одной.

Старый семеновец с полувзгляда понял, о чем страждет пересохшая, должно быть, душа унтер-офицера и молодецки покрутил изуродованный полковником Шварцем первоклассный ус, от которого не осталось и половины прежнего.

Денщик внес артельный медный поднос, уставленный чарками, и домашний человек поставил на стол большое блюдо с квашеной капустой и мочеными яблоками.

– Угощайтесь, ребята! – пригласил Кошкарор солдат. – И вы, господа.

Офицеры, стоя вокруг стола, сдвинули свои наполненные чарки с солдатскими.

– Ваше здравие, господа!

– За ваше здоровье и успехи в государственной службе, ребята!

Капуста празднично захрустела на солдатских и офицерских зубах. Первая прошла и вторую за собой позвала.

– За здоровье государя императора!

– За славный наш Семеновский полк, ребята!

После третьей чарки сама песня запросилась из души каждого.

– Запевалы в круг! – позвал Сергей Муравьев-Апостол, любивший пение и сам умевший хорошо петь.

– Дурницын, запевай! Да чур, не оборви голосок, когда вытягиваешь тоньше, нежели волосок! – весело предупредил Жикин и откашлялся.

– Какую прикажете, ваше благородие? – спросил Дурницын.

– На твое полное усмотрение, у тебя все песни хороши, – отвечал Муравьев-Апостол, хотя хорошо знал: этот солдат иногда у себя в казарме такие отхватывает запевки, что из соседних камор солдатские жены приходят жаловаться.

И Дурницын, плавно по-регентски поводя рукой в воздухе, залился голосистым соловьем. Он, как и ожидали от него, начал со своей любимой песни, немного озорной, но не лишенной истинной поэзии солдатских будней.

Вы, солдатушки военны, командиры ваши верны,
Полковнички-адъютанты, где вы были-побывали?

Солдатские и офицерские голоса грозным хором отвечали запевале:

– Мы во Пруссии стояли, много горя принимали,
Много горя принимали, во руках ружья держали,
Крепко к сердцу прижимали и патроны вынимали,
Мы заряды заряжали, шомполами прибивали,
В чисто поле выступали, в неприятеля стреляли...

Солдатами сложенная песня повествовала о том, как бились-рубился трое суток, как на четвертые сутки «стали тела разбирать, свою армию смекать» и о том, как, смекнув свою силу, увидели, что «побитых сметы нет». Но песня солдатская никогда не похожа на кликушеский плач, и солдаты подсчитывают потери не для того, чтобы лить слезы над павшими братьями.

Будто весь переродился всегда серьезный Дурницын и рванул с удалью истинно молодецкой:

Во Расею с маршем шли – все веселости нашли.
Во Москву-город вступили – по фатерам становили,
По фатерам-слободам, по купеческим домам.
Как московские купцы, сказать право, что глупцы:
Дочерей своих скрывали, во чуланы запирали.

– Ваня! Прибавь синь-горох пороху! – крикнул удалец Грачев.
И Дурницын постарался изо всех сил, прибавил!

Девки плакали-рыдали, что солдат мало видали,
Под окошечком сидели, во стеколушко глядели.
Во стеколушко глядели да отцов своих бранили:
«Дураки наши отцы, солдатушки молодцы,
Лицо бело, глаза серы, на поступку идут смело».
Мы кивнем девке бровями: пойдем в лагеря за нами,
Поглядишь наши палаты, там премилые солдаты!

Муравьев-Апостол обнял за плечи возгоревшегося Дурницына, велел домашнему человеку наполнить офицерские и солдатские чарки и провозгласил здравицу:

– За наших солдат, что на всякую поступку идут смело! За премилых семеновцев! До дна!

– И за наших верных командиров! – выкрикнул Амосов.

Много было спето песен, рассказано забавных былей и небылей, много было вспомнано из боевых походов Семеновского полка, осененного георгиевскими знаменами.

– А чего ныне так долго флаг не поднимают над дворцом? – спросил Амосов, любивший послушать умных офицеров, потому что офицеры всегда и обо всем знают лучше и больше.

– Государь не возвратился, вот и не поднимают, – блеснул своими знаниями Дурницын.

– Что-то уж он больно долго гостует там, знать хорошо встречают и сладко угощают, – по-своему рассудил многодумный Яков Хрулев.

– А все-таки что в доподлинности на этой конгрессе государь наш обсуждает и с кем именно? – спросил рядовой пятой фузелерной роты плотный, широкоплечей Сергей Торохов.

Взгляды многих обратились к капитану Муравьеву-Апостолу, что стоял, опершись локтем об оконный наличник.

– Сергей Иванович, растолкуй! – попросил с дивана полковник Ермолаев, ожидающий отставки, но продолжавший жить в Семеновских офицерских казармах.

Он не случайно обратился к Муравьеву-Апостолу. Не только рядовые, но и офицеры любили послушать капитана – память у него была отличная и рассказывать он умел превосходно.

– Обсуждают, как голову свернуть, – туманно, нарочно для затравки проговорил Муравьев-Апостол.

– Кому свернуть? Или уж опять Бунапартия улизнал с острова? – враз спросили Дурницын с Амосовым.

– Обсуждают, как свернуть голову испанцам и итальянцам...

– Это за какую же вину? – подался вперед Торохов. – Уж не за то ли, что они, сказывали у нас в казармах, будто короля взяли за ушко да на солнышко?

– Именно за это, Торохов! – подхватил капитан. – По всем видам идет сговор, кому, когда и сколько войска послать для подавления тех, кто взял короля за монархическое ушко и вывел погреться на республиканское солнышко. А революционное республиканское солнышко народ греет, а царей в озноб бросает. Так и в этом замечательном году случилось в Испании, в Неаполе, в Пьемонте и, дай бог, чтобы на том не кончилось...

– Благо начало, – отозвались солдаты чуть ли не в один голос. – Вот бы и у нас так-то тряхнуть...

– А кого? – оживленно спросил с дивана Ермолаев.

– Нам бы как нелюдя Шварца изгнать из Семеновских казарм, – отвечали солдаты.

– Не изгнать, а его просто надо убить, как бешеную собаку! – громко и зло заговорил Ермолаев. Наступившая вслед за этим настороженная тишина не смутила его. – Я же говорю: с того, кто убьет Шварца, бог снимет сорок смертных грехов, а я даю такому смельчаку пятьсот рублей! А если будет не один, то каждому по пятьсот!

Солдаты переглянулись. Мягков крикнул и погладил вислые свои усы. Кашкаров сел рядом с Ермолаевым и что-то возбужденно начал говорить по-французски. Перешел на французский и Муравьев-Апостол. Солдаты догадывались, что оба офицера упрекают Ермолаева за несдержанность. Ермолаев же с неостывающей возбужденностью горячо им возражал тоже по-французски. А потом подошел к столу, налил себе чарку и чарку Дурницыну, чокнулся с ним и опять сел на диван.

– Хотелось бы знать, как же там научились брать королей за ушко? – спросил Мягков. – Что за смекальцы и кто они?

– Командиры верные и солдаты, которые на поступку идут смело, – солдатской песни словами отвечал Муравьев-Апостол. – Брать королей за ушко – не так-то уж опасное дело, если его начинать согласованно и дружно.

– И кто же там у них, у этих ишпанцев, заварил кашу? – степенно спрашивал Дурницын. – И далеко ли от нас лежит ишпанская земля? И как туда ходят – морем или по земле? И не воевали ли ишпанцы на стороне Бунапартии?

Обстоятельные вопросы Дурницына, а он любил все делать обстоятельно, рядовые встретили улыбками. Муравьеву-Апостолу нравились любознательные солдаты, и он готов был толковать с ними, когда позволяла обстановка, часы напролет.

– Замечательный вопросец! – похвалил он башковитого солдата. – Так и надо, Дурницын. Плох тот солдат, который ни о чем не думает и думать не хочет, плох тот христианин, который живет, как трава растет. Бог тем и отличил человека от всего прочего, что дал ему разум и человеческое достоинство; а так как всяк человек сотворен по образу и подобию божию, то всякий, посягающий на человека, причиняющий ему боль, обиду, оскорбление, есть отступник и противник воли божией, и такому не грешно дать отпор...

– Да вот, видно, полковник Шварц забыл про это, – заговорил Жикин, – с живых кожу норовит содрать себе на сапоги. Стало, выходит, против него не грешно воспротивиться?

Муравьев-Апостол бросил на Жикина короткий взгляд и заговорил о другом, точно бы не расслышал вопроса. Грачев ткнул Жикина пальцем в лоб и шепнул:

– На что тебе бог дал вот эту колокольню?

– Испания – земля, подобная уголку райскому, – рассказывал между тем Муравьев-Апостол. – Если на корабле поплывешь, то недели через четыре доберешься. Ногами пойдешь – не в неделю, не в две, но все ж таки дойдешь; были бы сапоги, а ежели есть на ногах сапоги, то и поводыря не нужно: сапоги дорогу знают – только ноги подвигай... словом, не дальше гроба господня, не дальше святых мест. А сами испанцы – молодцы, храбрецы, вроде вас удалыцы. Они, не жалея живота своего, сражались подобно вам против ненавистного наполеоновского владычества. Да так-то геройски бились, как и мы под Бородином, – или грудь в крестах, или голова в кустах. Хоть и герои испанцы, но долго бы им не сбросить со своей шеи деспота Наполеона, ежели бы не надломили ему хребет в 1812 году. Русская молодецкая удаля здорово помогла испанской храбрости. А люди они гордые и свое человеческое достоинство никому в обиду не дадут: ни королю, ни генералу, не говоря уж о каком-нибудь полковнике... Зато и обидеть их не всякий отважится. – Муравьев-Апостол рассказывал, а сам по глазам и лицам солдатским прикидывал, какое слово его в душу слушающим засело, какое мимо пролетело. – Сбросив одного чужеземного пришлого деспота, они, исполненные духом свободы, не пожелали подчиняться и домашнему деспоту, сказали промеж себя: «Хватит, попил нашей крови, скатертью тебе дорога от нашего порога, мы и сами, без твоего королевского величества, можем управиться».

– Так и сказали? Прямо своему королю? – в восторженном удивлении спросили дуэтом Дурницын и Мягков.

– Да, так и сказали, ведь у них конституция уже существовала.

– Это кто же такая? Королевская жена? – поинтересовался простодушный Амосов.

Муравьев-Апостол с трудом подавил улыбку.

– Нет, Амосов, конституция – это вещь, которая дороже и выше не только королевской жены, но и сильнее всякого короля. Конституция есть такой закон, уж выше которого другого закона не может никто издать во всем государстве!

– Только царь может? – спросил Торохов.

– И царь не может без согласия всего народа!

– А согласие солдат требуется?

– Ни одно дело без солдата крепко стоять на ногах не может, – заключил Муравьев-Апостол.

С вечеринки солдаты расходились запоздно, полные новых размышлений; что было недосказано многознающими, но осторожными офицерами, то солдатами додумано, схвачено рассудком с полунамека. Теперь уж и Шварц не казался им необоримым и неустрашимым, как раньше.

С мутного неба лил петербургский осенний дождь, а мыслями солдаты уносились в далекую неведомую солнечную Испанию, заманчивую, как самая лучшая сказка.



Часть третья
Медный ангел

1

На невидимых веретенах сентябрь прядл чудодейственной тончины пряжу и по ночам, чтобы не видели питерские и новгородские пряжи и ткахи, развешивал по охваченным багрянцем кустам и деревьям, расстилал по скошенным лугам и по жнивью на скудных полях.

Дурницын, вместе с артелью вернувшийся с работ в генеральском имении, застал Лушу опечаленной.

– Ждала?

– Неужто, – отвечала она, припав щекой к его впалой щеке.

– А чего такая пасмурная?

– И сама не знаю... Да ведь и ты стал невесел...

– Было веселье, да уплыло. Опять ни за копейку гнули спину в генеральском имении, будь они трижды прокляты, пауки, клопы вонючие в генеральских золотых наплечниках. – Дурницын вспыхнул яростью. Сел за стол. – Фельдфебель не навевался?

– Как-то раз заходил...

– Зачем?

– Узнать, скоро ль воротитесь с работы.

– Только за этим?

– Зачем же? У меня в тот раз посидельничала с прялкой Мягкова.

– Ну, ладно... А вообще-то я замечаю, фельдфебель Брагин сволочной человек.

– Тебе виднее, Иван Потапыч, он твой начальник...

– Какой он мне начальник? Не я перед ним, а он передо мной дрожит! Надсадит солдатам – может и пулю в затылок получить.

Суровый разговор Ивана Потапыча пугал Лушу. Ей нынче впервые подумалось, что муж подозревает ее в чем-то дурном, недостойном порядочной жены.

– Не слышала: на инспекторском смотре наша государева рота не принесла жалобу высокому начальству? – после молчания спросил он.

– Говорят, побоялись...

– Ах, елки с палками, – взмахнул сжатым кулаком Дурницын. – Вот пустобрехи, а ведь уговор клали.

Он закурил трубку и сел на корточки на пол, прислонившись спиной к стене – с мальчишества излюбленная привычка отдыхать.

– А все ж таки, что тебя так подрезало без меня? – вернулся к беспокоящей его мысли Дурницын. – И в лице перепала, и цветение в глазах поблекло. Уж не обидел ли кто из казарменных? Ты, смотри ж у меня, не скрывай и знай, что я с обидчика вместе с кивером могу и башку снять, у меня рука не дрогнет. А ежели какая казарменная ведьма травит жизнь, то я и у нее язык в два счета укорочу.

– Иван Потапыч, муж мой верный, друг мой любезный, солдатки в казарме хорошие, никто меня не обижает пока, а тоскливо мне стало не поэтому.

И она надолго смолкла. Постояла, глядя в окно, и слезы, слезы покатались по ее щекам.

– Ну, чего же ты льдинкой на огне растаяла? – мягче сказал он.

Встал с полу, подошел, обнял.

– Боюсь, обидишься, если все скажу...

– Говори... Чаю, раскаиваешься, что за меня пошла?

Она ничего не отвечала, только еще ниже опустила голову, да слезы покатались крупней.

Он ждал-ждал ее признания и вдруг сказал такое, от чего ее бросило в жар и озноб:

– А уж коли здесь тебе так муторно, то и душой не криви. Говори прямо. Я бить не буду, как Хватов колотит свою. Я решительный. Хоть и люблю тебя, и женился своей волей по большой любви, но препятствий тебе ставить не хочу. На все согласен... Пускай опять в холостяках коптеть буду...

– Что ты, что ты, Иван Потапыч, бог с тобой, у меня и в мыслях такого не было, – повернулась она к нему и начала ласкаться. – А горестно мне вот почему стало. Как тебя проводила, было со мной такое... показалось мне, что скоро у нас с тобой семья прибавится.

– Ну и дай бог, а чего страшиться? Вон сколько семейных...

– Вот я чего утрашилась: родится, бог даст, сын, и не порадуемся мы с тобой своему детищу: чуть встанет на ноги, по цареву указу отберут его у нас с тобой, – сущую правду говорила Луша. – Вон каких крох забирают в солдатские школы в кантонисты, трехлетних...

– Это раньше трехлетних брали, а теперь таких не берут. Определяют в кантонисты с семи лет, так, говорят, перед царем сам граф Ракчеев настоял, а то уж больно много малолетков гибнет, и никакого проку не получается как царю с Аракчеевым, так и родителям забритого малолетка. Только через это ты и расплакалась?

– Через чего же еще? Или я обещание святое подвенечное не помню?

Она взяла его руку и крепко прижала к груди.

Опять начались ротные учения. Дурницын крепко ругал всех тех солдат из своей роты, которые не сдержали обещания – побоялись объявить претензии на инспекторском смотре. Особенно он нападал на Амосова и Штанникова, называя их храбрецами и артельными людьми только на словах, а чуть дело коснулось – и они в кусты. Он положил зарок на первом же предстоящем инспекторском смотре, несмотря ни на что, объявить жалобу на полкового командира. Рота к общему мнению не пришла: одни советовали потерпеть, подождать возвращения государя, другие подогревали решимость Дурницына.

На этот раз он утаил от Луши свое намерение, чтобы не расстраивать ее. Он видел, что и без этой тревоги она никак не высвободит свою душу из-под бремени печали и мрачных предчувствий.

2

Весь 1-й батальон в поте лица совершенствовал хождение: государева рота отрабатывала аршинный и полуторааршинный шаг. 2-я рота упражнялась в хождении косым шагом на линии, 3-я тихо и скоро показывала свое искусство в хождении гусиным шагом. Учились сдваиванию рядов, взводов и шеренг.

Нынче государева рота почему-то не показала на учении особенного усердия, и, может быть, потому, что ее постоянный командир капитан князь Иван Щербатов находился в домовом отпуску. Он слыл отличным офицером и за успехи по службе не раз был удостоен знаков высочайшего внимания: незадолго до отъезда в отпуск был пожалован перстнем и табакеркой из черепашьей кости, украшенной крупными бриллиантами. Да и по общему мнению однополчан, Иван Щербатов исполнял службу как нельзя лучше.

После него головную роту дали сперва заносчивому, но не очень умному капитану Орсеньеву, прозванному Форой, а потом капитану Тулубьеву, за которым в полку давно упрочилась кличка «Колпак». Новых временных командиров, да к тому же не обладавших твердостью и тактом Щербатова, балованная, знающая себе цену царская рота встречала с прохладцей, близкой к неприязни.

Недавно в государеву роту Шварц перевел нескольких рядовых из других рот на место выбывших по болезни и изгнанных в армию.

У Тулубьева, не умевшего ладить с рядовыми, с первых же дней не пошло дело на лад, и государеву роту дали деловитому и очень выдержанному капитану Кошкаррову, другу Сергея Муравьева-Апостола. Кошкарров был исполнительным командиром и заботливым человеком, но в эти дни мысли его меньше всего были отданы делам государевой роты. Он был занят личными заботами...

Приближался полковой праздник. С его приближением прибавилось работы у командиров и солдат: подготовка к церковному параду, затем к параду-смотру, починка и чистка амуниции, смотры десятками на плацу и на квартире у полкового командира. А кроме общих, у каждого свои личные заботы, ожидания, мечты. Капитан Анненков мечтает о назначении к великому князю Михаилу Павловичу, бурный острослов Дмитрий Ермолаев, который впадает в неистовство при виде Шварца, помышляет об увольнении со службы.

Ежели желание Ермолаева исполнится, то это должно пойти на радость Ивану Щербатову – его очередь быть представленным на освободившуюся вакансию.

О капитане Кошкарове уже пошло представление, и он со дня на день ждет повышения в чине. Полковник Иван Вадковский, ходит такой слух, просит великого князя о полке, и уже налицо есть признаки того, что просьба этого умного и честного офицера не будет положена под сукно. Полк накануне больших перемен и передвижений. Если бы Дмитрий Ермолаев так настойчиво не добивался отставки, то и ему бы, и возможно, раньше Ивана Вадковского, должен бы достаться полк. Но он больше и слышать не хочет о дальнейшей службе. Сейчас он сладостно грезит о том, как по выходе в отставку на радостях станет беспробудно пировать сорок один день подряд (он почему-то считает это число счастливым), пировать вместе с братом Сергеем у многочисленных друзей, у аристократа до мозга костей полковника князя Трубецкого, у прославившихся умом и благородством чувств братьев Петра и Михаила Чаадаевых, на даче у гостеприимных, хотя немного и чопорных Олениных, в петербургском собственном доме и на даче у Катерины Федоровны Муравьевой, наслаждаясь сладостными беседами с ее старшим сыном Никитой Муравьевым, который с упоением работает над книгой о жизни и подвигах знаменитого Суворова.

Ждет повышения и капитан Сергей Муравьев-Апостол, друг и единомышленник Ермолаева. Ему запомнилось обещание, данное государем перед отъездом в Троппау. В тот раз царь, приняв рапорт дежурного по полку капитана, сказал отечески:

– Я твоей безупречной службой, капитан, весьма доволен, равно как и образом твоих мыслей, всецело посвященных на благо отечества. Муравьевых сам бог предназначил для дел государственных. И я это помню... Твой отец, в чем я не раз убедился, ума необыкновенного, верю, что и ты пошел в отца... Скоро, скоро в твоей жизни наступят перемены, и думаю, что они будут приятными и радостными не только для тебя, но и для всего семейства Муравьевых-Апостолов.

...В разных сторонах плац-парадного места раздалась команда: «Вольно!»

Рядовые сгрудились в кучи. Смех. Шум. Шутки. Под присказки друг у друга на виду тут же и облегчение малое, но необходимое выносливому солдатскому животу предпринимается.

Шагах в десяти от солдат офицеры собрались своим кружком.

Анненков отвел Ермолаева в сторону и показал записочку:

– Радость... Из штаба от адъютанта... Можешь, дружище, поздравить меня: уже получен желанный приказ о моем назначении к великому князю!

– Поздравляю, но, честно сказать, не завидую... – И Ермолаев не упустил случая, чтобы не поиздеваться над Шварцем. – Воображаю, как горестно будет тебе расставаться с нашим любезным благородным другом, что ни писать, ни говорить по-человечески не умеет. Кто и чем тебя утешит в скорбный час расставанья с этой скотиной, увешанной орденами?

– Бесспорно, Дмитрий Петрович, тяжело расставаться с сим благородным дикобразом в полковничьем мундире, но как-нибудь, с божьей помощью, переживу...

– Переживем, Анненков! В своей благодарственной молитве творцу помани и меня, чтобы и я скорее отпраздновал сорок одним пиршеством мое освобождение из рабства, из которого тебе удалось вырваться... А что тебя ждет впереди – предсказать не берусь...

Они вернулись в офицерский кружок. Капитан Муравьев-Апостол, пользуясь тем, что поблизости нет Скобелевца и Бибикова, на французском подбивал товарищей повторить вешнюю жалобу на Шварца.

– Наше представление, сделанное по весне начальнику штаба гвардейского корпуса, генерал Бенкендорф оставил без всякого внимания. Как бы нам нашу правду из-под генеральского сукна вытащить?

Ермолаев заговорил о том, что Шварц все больше наглеет, что служить становится невозможно, единственное средство избавиться от тупого притеснителя – выход в отставку или перевод в другой полк.

Муравьев-Апостол возразил ему:

– Выход в отставку – не спасение. Шварцы этого и ждут от нас. Надо как-то по-другому действовать. Не лучше ли, господа, оставаясь в полку, дать сокрушительный отпор

негодяю? Честь и достоинство родного полка всего дороже. Дело помаленьку оборачивается в нашу пользу: государь, отъезжая за границу, выразил свое неудовольствие Шварцу его распоряжениями, особенно сильным поредением государственной роты, а ныне и великий князь уже заметно охладил к своему подопечному. Это все нам на руку... Шварц тщится разрушить узы дружбы и доверия между нами и солдатами. Давайте хранить эти узы любой ценой. Рядовые многие повергнуты в уныние, надо их всячески ободрять.

– Не получая решительного отпора, благородный нелюдь наглест с каждым днем, – сказал юный подпрапорщик Бестужев-Рюмин.

– А как вы мыслите дать отпор? – спросил Кошкар. – От дуэли он откажется... Бить тесаком?

– Отпор можно давать по-разному, – отвечал Бестужев-Рюмин и припомнил газетное сообщение об убийстве Лувелем в феврале этого года герцога Беррийского. – Есть и другие способы...

– А вон и сам гвардии Нерон, – кивнул в сторону офицерских казарм Ермолаев, первым заметив приближающегося Шварца.

– За дело, господа, по своим местам, – негромко сказал командир 1-го батальона Вадковский.

Офицеры пошли к ротам.

– Смирно-о! – раздалась команда.

Рядовой Амосов возвратился в строй минутой позже. Это заметил подошедший Шварц. Он шагнул к вставшему в строй солдату и, схватив его за ус, спросил:

– Почему опоздал?

– По неотложной надобности, – застегивая мундир, отвечал Амосов.

– По большой или по малой?

– По малой.

– Больно долга у тебя естественная надобность, я тебя, мерзавца, научу, как впредь делать надобность покороче и вовремя становиться в шеренгу в застегнутом на все пуговицы мундире, – свирепо заорал Шварц, ничуть не стесняясь присутствием офицеров.

Он выдернул солдата из шеренги и, крепко держа за руку, смачно плюнул ему в глаза. Да еще раз... Да и в третий... Всю слюну израсходовал, а злость кипит. Тогда он схватил Амосова за рукав мундира и повел за собой по фронту вдоль передней шеренги. Вел и остервенело кричал:

– Плюйте!

И солдаты, и нижние чины пришли в смятение, и не каждый хотел подчиниться такому приказанию.

Он, не выпуская Амосова, кулаком другой руки сильно ударил прямо под челюсть детину Штанникова. У того искры посыпались из глаз. Таким же ударом прямо в зубы полковник наградил еще нескольких.

Шварц провел Амосова два раза туда и обратно по фронту перед шеренгой, потом приказал капитану Кошкару:

– Бери его, негодяя, за руку и веди, как я водил, вдоль второй шеренги!

Кошкар, пораженный наглостью нелепейшего приказания, не отвел руки.

– Слышишь мое приказание? – рявкнул на него Шварц.

– Слышу, но исполнить отказываюсь!

– Что?! – и Шварц было с кулаками бросился на капитана, но тот схватился за шпагу.

Полковник, будто помешанный, заметался перед строем. Он бегал взад и вперед, что-то невнятно бормотал, так что и понять его было уже невозможно, и все кого-то искал глазами.

– Ты, птенец желторотый, ко мне! – закричал он, завидев подпрапорщика Бестужева-Рюмина.

Бестужев-Рюмин поспешно подошел к командиру.

– Веди его вдоль всех трех рот! Пускай плюют ему в глаза!

– Не поведу! – решительно отказался юный офицер.

– Молокосос! Выгоню! В армию отправлю! Завтра же! – еще пуще бранился Шварц.

Взбешенный, он снова сам повел бледного Амосова. Вел и угрожающе кричал на солдат, среди которых были и такие, которые, ссылаясь на сухость во рту, отказывались плевать в лицо товарищу или только делали вид, что плюнули.

– Нынче же всех сухоротых я отпотчую квасом...

Увидев фельдфебеля Брагина, полковник передал ему солдата с наказом:

– Веди!

Брагин, хотя и стыдился, но не посмел отказаться. Он повел Амосова, а полковник, неистовствуя, шагал сзади. Он понял, что в эту минуту офицеры настроены против него и если ему не удастся сломить их сопротивление, то весь полк втайне станет смеяться над ним.

В это время подоспел его адъютант Бибиков.

– Свести полк! – приказал Шварц.

Все три батальона выстроились на плац-параде. А фельдфебель все еще продолжал водить перед шеренгами Амосова.

Шварц набросился на батальонных командиров. Они сумрачно молчали, слушая его брань и угрозы завтра же всех разжаловать в рядовые. Их молчание бесило Шварца. Он не переносил безмолвного сопротивления, потому что всегда считал молчавшего более сильным, нежели он. Он вдруг сорвал со своей головы шляпу, бросил ее на землю, будто собирался втоптать в грязь.

– Во что превратили лучший государев полк? Кто вы? Служить государю хотите или журналы и книжечки читать в полковой библиотеке? – разносился над плацом охрипший неприятный голос. – Тосты... Банкеты... Здравницы... Знаю, за чье здоровье вы пьете... Никаких вакансий вам не будет... Ездового к государю завтра же пошлю... Вы не только для гвардии, но и для армии не пригодны... В Сибирские полки всех вас. Назначаю смотр-парад всему полку! Сейчас же! До утра заставлю маршировать! По местам!

Батальонные командиры пошли к своим батальонам.

– Вадковский, назад! – крикнул Шварц.

Полковник Вадковский вернулся.

– Скажи, и завтра же полк получишь, кто из головорезов собирался убить меня? – поразил своим вопросом пришедший в умоисступление Шварц.

– Господин старший полковник, вы меня оскорбляете странным вопросом...

– А? Что? Масонских рож испугался? Сказывать не хочешь... А мне уж без тебя сказали... Все масонские хари мне давно известны, и скоро их здесь не будет. И ты никакого полка не получишь, завтра же все о тебе будет доложено великому князю... Пошел прочь.

Вадковский, готовый застрелить сумасброда, вернулся к замеревшему в тишине батальону.

Шумно разбушевавшийся Шварц, забыв о брошенной на землю шляпе, подбежал к первому батальону и упал на землю, чтобы посмотреть прямизну линий в шеренгах: так он делал не впервой.

– Не вижу прямизны линии! – лежа на земле и вытаращив полубезумные глаза, кричал он во все охрипшее горло. – Не вижу... Каблуки неодинаковой вышины! Каблуки во всем полку должны быть одинаковой вышины! Каптенармусов тесаками! Ротных сапожников фухтелями! По сто раз каждому!

Он не переходил, а переползал от одной шеренги к другой, от роты к роте. Приступ гнева был так силен, что казалось минутами, старший полковник рехнулся. Его крики, угрозы, брань, замечания были похожи на беснование. Весь полк смотрел на это неприятное зрелище с недобрым чувством.

– Так-то вы, презренные русские свиньи, готовитесь к встрече любимого государя? – вскочив, продолжал бесноваться Шварц, – он часто припоминал в таких случаях это любимое дворцовое выражение о русском народе. – Всю экзерцицию забыли. Все вы ленивые, нерадивые, нечестолюбивые... Распутники... Развратники... Воры... Обманщики... Только и умеете артелями по кабакам питье устраивать.

Простоволосый, с плешью величиной с чайное блюдце, размахивая палкой, перебегал он от батальона к батальону и не переставал поносить все и всех в полку. Пошел вдоль шеренги и тыкал палкой кого в живот, кого в грудь и бубнил, как бука:

– Брюхо подбери! И ты тоже! Вишь, развесили брюшины, как сужеребье кобылы... Куда дел грудь? Или на кружале с распутными девками пропил? Что у тебя вид, как у моченого гриба червивого? Где колени? Чего сгибаешь! – И – раз палкой по коленям Захара Жикина, у того от удара потемнело в глазах. – Еще выпрямить? Грудь вон! – концом палки ткнул под челюсть унтер-офицера Мягкова. – Что у тебя голова, как у матерчатой куклы? Держи прямо! Я тебе, скотина безрогая, переступлю! – и опять палка упала на чье-то плечо.

Особенно тяжка была эта проверка для непривыкших рекрут из новоопределенных. Муравьев-Апостол, как и другие офицеры, с отвращением к Шварцу и состраданием к несчастным людям, смотрел на бледных новобранцев. Смотрел и вспоминал суворовское наставление о том, чтобы при обучении солдата фрунту всякое упражнение вообще всем забавою служило... Что ныне осталось от мудрых заветов непревзойденного полководца?

Старший полковник продолжал изуверствовать, адъютант носил за ним его шляпу, поднятую с земли.

– Колоннами! Гусиным шагом! – скомандовал Шварц.

Ударили в барабаны. Затрубили в трубы. Колонна за колонной тихо и скоро, предельно вытягивая носок, шла гусиным шагом. Едва ли не самый изнурительный вид хождения, требующий необыкновенной собранности и огромных физических усилий. Не зря же гусиный шаг многих из новоопределенных, поверстаных со старшими солдатами, нередко доводил до обморока. Даже такой крепыш и богатырь, как Штанников, и тот проклинал гусиный шаг.

Уже по семи потов сошло с каждого солдата и офицера, а Шварц и не думал о прекращении изнурительного хождения.

У солдат дрожали поджилки. У многих были на исходе последние силы. Другие задыхались от недостатка воздуха.

– Вперед аршинным! – прокричал Шварц, не дав марширующим и одной минуты, чтобы перевести дыхание.

Роты рубили аршинный шаг. А командир, стоя на камне, специально приспособленным для подобных внеочередных смотров и парадов, торопил и торопил. Аршинный шаг становился похожим на полубег. На солдатах взмокли не только рубашки, но почернели от пота синие мундиры и набеленные панталоны.

– Полуторааршинным! Не спать, не дремать на ходу! – приказал Шварц.

Ходьба полуторааршинным шагом под конец превратилась в самый настоящий бег.

– Так продолжать до моего особого приказа! – распорядился Шварц и направился с плаца в помещение штаба полка.

Колонны продолжали маршировать. Хождение стало похожим на какие-то адские упражнения. К полковнику Вадковскому подошел возмущенный капитан Сергей Муравьев-Апостол и спросил, обуянный духом мщения:

– Долго ли так будет продолжаться, Иван Федорович? Кажется, наступил предел... Я больше не отвечаю, не только за солдат моей роты, но и сам за себя... Учтите это...

– Друг мой любезный, Сергей Иванович, я, думаешь, могу поручиться за баталион?.. Будь что будет... Негодяй не дает себе отчета в том, что он творит.

– Прикажите сделать передышку, люди окончательно выбились из сил, – просил капитан.

– Но ты видишь, около камня кто стоит? Нелюдь оставил своего наушника, – негромко отвечал Вадковский.

В это время в первой роте на ходу упал без чувств рекрут из новоопределенных. Его падение расстроило ряды по всей колонне. Пришлось остановить весь 1-й баталион. Видя это, прекратили шагистику и остальные колонны.

Подбежал посыльный из полкового штаба.

– Фельдфебелей спешно к господину командиру полка!

Ротные командиры приказали фельдфебелям следовать в штаб. Муравьев-Апостол возмущался оскорбительной для офицеров привычкой Шварца отдавать приказания по ротам не прямо их командирам, а через фельдфебелей. При таком ходе дел получалось, что нижние чины как бы повелевают своими командирами.

Брагин, неторопливо шагая мимо рядовых, вполголоса повторял, будто искал извинения и прощения:

– Братцы, не помыслите плохого обо мне: не по своей воле водил я Амосова перед вами... Приказано, сами поймите, братцы...

– Понимаем и не взыщем, – незлобиво успокоил его Дурницын.

– И ты, Василий, не сердись, – на короткий миг остановился смущенный фельдфебель перед Амосовым. – Я приказание выполнял, а то до полусмерти забудет...

Амосов будто лишился памяти и сообразительности, он ничего не отвечал, потому что хотя и слышал слова фельдфебеля, но плохо соображал. И можно было только удивляться тому, что он еще держится на ногах.

Вскоре фельдфебели вернулись из штаба полка. Брагин испытывал затруднение, не находя подходящей формы для передачи приказа своему ротному командиру.

– Ну, что хорошего принес? – спросил капитан Кошкарлов.

И Брагин передал повеление полкового командира о немедленном наказании тесаками нескольких рядовых из государственной роты. Он назвал до десяти имен обреченных на битье.

С таким же приказанием явился к своему командиру и фельдфебель 3-й роты. Капитан Муравьев-Апостол выслушал и обратился к батальонному командиру:

– Я отказываюсь выполнять безрассудный приказ!

Полковник лишь повел плечами, он и сам не знал, как лучше поступить. Для него было несомненно одно: отказ от выполнения приказа вызовет новый приступ неистовства.

К ним подошел капитан Кошкарлов, тоже не желавший без всякого к тому повода наказывать тесаками старых отборных солдат.

– Ну, что за день нынче, господа? – сокрушенно начал Кошкарлов. – Или он белены объелся? Я сейчас, господа, слышал, о чем вполголоса переговариваются в шеренгах рядовые: «Братцы, все равно пропадать-то! Пальнуть в нехриста... Или же штыком...» Не пощадил даже лучших солдат, имеющих знаки отличия военного ордена: Хрулева, Жикина, Дурницына, Семенова, Степанова, унтер-офицера Мягкова...

– Надо проучить, Николай Иванович, чурбана в мундире, – предлагал Муравьев-Апостол. – Впредь никаких приказаний от полковника через фельдфебелей не принимать...

– Я готов, Сергей Иванович! – без колебаний откликнулся решительный Кошкарлов. – И другие, уверен, готовы. Опасаюсь лишь за фельдфебелей – на них станет срывать тулобное зло сей вурдалак.

Муравьев-Апостол с минуту помолчал, сделал несколько шагов, вернулся к Кошкарлову.

– Идемте, господа, в штаб полка! – позвал он. – Сейчас же!

Все ротные командиры, за исключением одного Анненкова, который нашел увертку, сославшись на то, что с сегодняшнего дня он уже больше не считает себя семеновцем, согласились пойти в штаб полка.

Шварц, спешивший обратно на плац, чтобы не опоздать к началу битвы тесаками, столкнулся с ротными командирами на пороге. Их неожиданное появление напугало его, он отступил перед ними и заговорил совсем другим голосом, не как полчаса тому назад на плацу.

– Зачем вы здесь? И скопом? Я сам спешу разъяснить вам только что отданное приказание. Прощу на улицу, господа...

– Нет, выслушайте нас здесь и в присутствии дежурного капитана, – твердо потребовал Муравьев-Апостол, удивляясь тому, откуда у него берется в эту минуту гнева столько самообладания, чтобы не пристрелить Шварца или не ударить по лицу. – Господин полковой командир, мы решительно протестуем против введенного вами порядка отдавать приказание по ротам через фельдфебелей.

– Как мне заблагорассудится, так и буду приказывать! – повысил голос Шварц.

– В таком случае ни одно отданное через фельдфебелей приказание мы не будем считать для себя обязательным, – резко заявил Муравьев-Апостол. – Вы – первый нарушитель субординации...

– Мой полк, и я в ём полный хозяин, что хочу, то и ворочу.
– Полк, милостивый государь, не ваш, а государев, и вам пора бы об этом знать! – заметил Муравьев-Апостол.
– Государь мне его доверил... И не вам учить меня... Все на плац! – и Шварц указал на дверь.
– Мы нынче же доведем до сведения господина командующего гвардейским штабом, – предупредил Муравьев-Апостол.
– Вы уж доводили, – сардонически захохотал Шварц, – а что из вашей доводки получилось? Мне самим государем и его первым другом светлейшим и ученым мужем графом Алексеем Андреевичем Аракчеевым при вручении полка сказано, чтобы я беспрестанно содержал семеновцев в труде и поте и поскорее выбил из них дурь, чем я успешно вот уже почти полгода занимаюсь изо дня в день. А дури в вас много. Не через вас ли, господа офицеры, дурь и в рядовых проникла? Ну-ка, по своим местам... Что стоите? На гауптвахту желаете? Под арест?

Он бесцеремонно выпроводил ротных командиров из помещения полкового штаба. И сам следом за ними вышел на плац.

Небо окончательно заволокло низкими тучами. Начиналась колючая холодная морось.

На плацу Шварц повел себя еще более нагло, но прямой стычки с капитаном Муравьевым-Апостолом почему-то избегал. Сейчас он напирал на баталионного командира Вадковского. Ординарец пригнал из полковой конюшни оседланного голубого жеребца. Шварц, гарцуя перед сумрачно молчавшим баталионом, продолжал громить нерадивых командиров и нижних чинов. Под конец он все-таки заставил командиров произвести наказание тесаками заодно с рядовыми и нескольких нижних чинов. Не избежал жестокого наказания и старожил полка, один из самых примерных и человечных унтер-офицеров Мягков.

Начинало уже смеркаться, когда кончилась эта расправа. Наказанные, кто еще оставался на ногах, вернулись в шеренги.

Шварц, стоя в стременах и размахивая хлыстом, кричал на присмиривший полк:

– Нынче я вам показал цветики, а завтра могу показать и ягодки... За ягодками дело не встанет. Я нынче много дури из вас повыколотил, о чем и не премину отписать его величеству! И еще: чтобы языки прикусить! Чтобы не лаять зря. Пустолайкам языки укорочу, а обрубки собакам скормлю... Я вас научу рубашки и штаны не в щелоке, а в собственном поту стирать... Шельмы продувные... Пьяницы... Труссы...

3

16 октября дежурным по государевой роте был за унтер-офицера ефрейтор Глухов, а дневальными – рядовые Щербаков и Пироженко.

Весь вечер хлестал по стеклам то вдруг усиливающийся, то затихавший дождь. Тускло мерцали фонари над плитками часовых на полковом дворе.

В верхнем коридоре из покоя в покой, озираясь, переходил Дурницын.

– Переключка! – закричал кто-то наверху.

Ефрейтор, стоявший в это время у пирамиды, насторожился.

– Выходи! Выходи! Выходи! – раздались голоса.

Глухов поспешил на верхний этаж, откуда доносился зов.

Из всех комнат в коридор валили солдаты.

– Кто вызывал? – спросил ефрейтор высокорослого стрелка Жикина.

– Не знаю.

– Зачем выходите в коридор всей ротой?

– На переключку! – уверенно ответил Жикин.

– Переключку делать не приказано, – заметил Глухов, знавший накрепко, что приказание о проведении вечерней переключки не было дано.

– Коли вызывают – надо выходить, – в тон Жикину добавил другой стрелок, Грачев.

Ефрейтор не счел ответ Жикина за непослушание, стрелок Жикин, как и Грачев, были примерными солдатами государевой роты. Он послал возвратившегося из полковой

канцелярии рядового Пироженко уведомить фельдфебеля Брагина о том, что вся рота высыпала в коридор.

Другой дневальный, Щербаков, находившийся в это время в нижнем коридоре, услышал, как топают по лестнице солдаты, валят вниз без крика и шума.

Фельдфебель Брагин пробудился от сильного шума в коридоре. Прислушался. Топот сапог. Возбужденные голоса – солдаты высыпали в коридор, будто по сигналу тревоги.

«Что случилось? Какое-то происшествие...»

Государева рота, как один, вышла в коридор по чьему-то зову. Солдаты держались спокойно, но спаянно, дружно, готовые стоять по правилу: один за всех и все за одного. Там и тут раздавались возмущенные голоса:

– Баталионного давай!

– Мы извели все свои деньжонки на свечи.

– Замаяли нас чистки мелом и клеєм.

– Пускай дивизионный командир удалит Шварца!

– Всем валтом пойдем к дивизионному.

– Мы не против наших командиров, мы только против Шварца.

Фельдфебель Брагин через несколько минут был уже перед ротой.

– Зачем вы все гуртом вышли?

– На переключку! – отвечал Жикин.

– Но кто же вас звал на переключку и кто таковую назначил?

– Доложите ротному, у нас до него есть важное дело, – от имени всей роты попросил стрелок Жикин.

– Зачем вам понадобился ротный?

– Мы хотим принести ему просьбу.

– Со всей покорностью...

– Без своевольтвия!

– Чтобы после не привинили нас по-напрасному!

В мятежном говоре солдат таился зародыш бунта.

Брагин, к которому с доверием относились нижние чины, всеми мерами старался отговорить мятущихся от исполнения их замысла.

– Не ходите к дивизионному командиру, – говорил он вразумляюще. – Если вы не хотите навлечь беду на себя и на голову капитана Кошкарлова.

Возмущившиеся прислушались к словам Брагина, но расходиться из коридора не хотели.

– Мы согласны не ходить скопом ни к полковому командиру, ни к дивизионному, но пускай капитан сам приедет к нам!

– Вытребовать Кошкарлова!

– Нарочного послать!

– Мы готовы соблюдать полный порядок и выправку.

Рота, выстроившись по ранжиру, держала безупречный порядок.

Брагин так и не сумел уговорить солдат, чтобы они отложили свое требование до утра.

Видя непреклонность роты, Брагин приказал гренадеру Осипову:

– Сходи на квартиру к ротному и узнай, дома ли он.

Осипов пошел, но вскоре вернулся один – капитана Кошкарлова не оказалось дома.

Жалобщики не расходились, требуя снова послать за ротным. Растерявшийся фельдфебель подчинился требованию.

– Сходи ты, Мягков, – обратился он к тихосмирному унтер-офицеру. – Ежели капитан приехал, доложи ему, что рота вышла в коридор и желает его просить.

– Слушаюсь!

– Постой, унтер, – добавил Брагин, – коли капитана опять не окажется дома, то скажи обо всем его людям, чтобы они ему о сем тотчас дали знать туда, где он находится.

Но и Мягков не застал капитана на квартире, передал наказ слуге, а сам возвратился в роту и доложил о результатах фельдфебелю. Брагин после недельного отсутствия по болезни

недавно приступил к должности и не мог сразу взять в толк, на кого же они рискнули принести жалобу.

– Не имеете ли вы ко мне каких претензий? Я, будучи больным, более недели нигде не появлялся...

– Нашим фельдфебелем мы довольны.

– Не считаете ли обременительными мои требования на учении?

– Мы ученья не боимся.

– Не от ученья солдат бежит, а от зверства.

– Будем просить ротного, чтобы облегчил наше положение.

– Я сам схожу за ротным, – вызвался Брагин.

– Нет, фельдфебель, вы не ходите, – грянули хором, – вы оставайтесь здесь. Другой сходит.

Фельдфебель, оказавшись не в силах противостоять норовистым просьбам гренадер, велел унтер-офицеру Мягкову еще раз сбежать за ротным.

Вернулся унтер-офицер Мягков и доложил:

– Командир роты приказал, чтобы люди разошлись! Переклички не будет!

– Слышали приказ командира? Исполняйте – расходитесь по комнатам.

Но несговорчивая рота упорствовала, требуя позвать командира.

Унтер-офицеру пришлось в третий раз идти на квартиру к капитану.

Кошкарлова подняли с постели. Он немедленно прибыл в роту. Солдаты и нижние чины повторили перед ним все то, на что они жаловались Брагину.

– Не хотим больше служить Шварцу! – решительно заявил стрелок Жикин.

– Силы нашей не хватает.

– Он, как лютей зверь, тиранит нас! – звонче других раздавался голос Жикина.

– Скольких забил до смерти!..

– Разрыть бы солдатские могилы!..

– И сосчитать всех убиенных Шварцем!

Выслушав, Кошкарлов сказал:

– Я вам верю, солдаты. Сам вижу, что вам тяжело. Я обещаю в скором времени обратить внимание полкового командира на ваши тяготы. Но не ночью же такие дела делаются.

– До того времени, как вы дадите ему почувствовать, он перебьет половину роты.

– Не хотим откладывать!

– Давай сюда Шварца!

– Безотлагательно!

Рота в один голос, не нарушая взятого ею большого порядка, просила Кошкарлова, чтобы он сейчас же отправился за Шварцем и привел его сюда. Здесь ему перед лицом всей роты солдаты выскажут все, что они о нем думают, все, чего он заслужил свирепым обращением с подчиненными.

– Какие ваши неотложные нужды? – спрашивал Кошкарлов, изыскивая способ отклонить настойчивое требование государевой роты. – Возможно, я и сам все улажу без Шварца.

– Много у нас всяких нужд и неурядиц в жизни...

– И в службе.

– Везде солдатам дают воскресение на отдых, а он всякий божий день требует десятки...

– По воскресеньям завел батальонные и церковные парады...

– В церковь не водит, а только на парады...

– Когда же отдыхать солдату?

– Когда же ему силы набираться?

– По семи часов, а то и более гоняет на парадном месте.

То, о чем жаловались солдаты, давно было известно Кошкарлову. Потратив немало времени на увещевания и не видя никаких результатов, капитан начал говорить с солдатами откровенно.

– Я всем вам желаю добра. И готов постоять за вас, перед кем хочешь. Твердо ручаюсь, что вам скоро станет легче. Но желаете ли вы, чтобы вас и меня вместе с вами сочли за бунтарей? Ваше намерение добиться всего сразу, да к тому же ночью, сочтут за прямой бунт. За бунты государь не милует. Если себя не хотите уберечь от гибели, то уберегите хотя меня.

Рота несколько утихомирилась, и наступил такой момент, когда она вот-вот готова была мирно разойтись по спальням. Но стоило кому-то одному из глубины рядов повторить прежнее требование, и снова пробудился дух упрямства: послать за Шварцем!

– Шварца перед роту! – требовал стрелок Грачев.

– Пускай явится Шварц и выслушает нас, – четко излагал просьбу рослый сорокалетний усатый семеновец, стоявший навывтяжку в переднем ряду прямо перед Кошкарковым, – пускай он знает: мы, семеновцы, солдаты государевой роты, готовы и впредь служить императору до последней капли крови, но таким манером, каким нас принуждает Шварц, мы больше не можем...

– Если не пошлете за Шварцем, то мы сами его требуем! – раздался простуженный голос другого пожилого солдата.

Как ни тянул Кошкарков, но в конце концов вынужден был пойти на уступку.

– Быть по-вашему. Но прежде того, как я выполню вашу просьбу, я приказываю вам приготовить к завтраму десятки по-прежнему.

Крики солдат слились в один голос:

– Согласны!

– Все будет исправно!

– Верю вам. И еще одно приказание: я лично отправляюсь к Шварцу, а вы тотчас расходитесь спать и более в коридоре не собираетесь. А завтра будете говорить со Шварцем.

– Слушаемся.

Рота беспрекословно без малейшего ропота начала расходиться в спальни.

Кошкарков сдержал данное солдатам слово – тотчас отправился к Шварцу, чтобы доложить ему обо всем.

4

Брагин проводил капитана Кошкаркова за ворота и здесь, не боясь подслушивания непокорных гренадер, сказал ротному:

– Я главных приметил...

Кошкарков сделал вид, что он ничего не слышит, стал отдавать наставления на случай, если повторится шум в роте.

Фельдфебель, выслушав, снова сказал ему:

– Я знаю, кто всех больше кричал, одних в лицо распознал, других по голосу отличил.

Кошкарков и на этот раз не обратил внимания на слова Брагина, в мыслях обругав его самыми непочтительными словами, и хотел поскорее отвязаться от назойливого провожатого. Но тот продолжал идти рядом.

– Вот они главарики-то, заводили: Жикин Захар, Дурницын Иван, Хрулев Яков, Амосов Василий, Семенов Венедикт...

– Я устал. У меня болит голова... Желаю всякого благополучия, – сказал Кошкарков.

– Как же с зачинщиками?

– Потом, потом... Какие тут могут быть зачинщики, если они гуртом жалуются...

– Стадо вон и то без передней коровы не ходит в поле и из поля. Может быть, мне всех их на бумажку переписать?

– Я не умею хранить бумажки, утром, если потребуется, назовешь крикунов.

– На бумажку-то прочнее... Бумажка-то сразу вам покажет, кому сколько тесаков.

Кошкарков, остановившись, с укоризной сказал Брагину:

– Или вам не известно, что я не наказываю солдат ни фухтелями, ни лозанами?

– Извините... Но в силу такого происшествия, не пришлось бы за лозаны взяться.

Брагин воротился в роту, а Кошкарков до самых офицерских казарм мысленно бранил фельдфебеля за его собачью услужливость, за готовность добровольно подвести под палки и шомпола отличных гренадер, наиболее развитых и смелых. И без фельдфебеля капитан

успел приметить и запомнить многих из тех, кто отважней других защищал роту, требуя довести жалобу до начальства. Слушая покорно приносимые жалобы солдат, Кошкарлов и не думал выдавать смелых зачинщиков командиру полка. А что касается батальонного – полковника Ивана Вадковского, – он сам не станет ни при каких самых деликатных обстоятельствах требовать позорной расправы над застрельщиками ночного схода. Все дело капитану портил фельдфебель Брагин, метивший любой ценой поскорее выскочить в подпоручики.

«Не составил бы список... С этим списком он и нас, командиров, впутает в беду... И запретить такому не в меру усердному дураку опасно».

Солдаты приготовили десятки и больше уже в этот вечер скопом не выходили в коридор. Спать государева рота легла в установленное время.

– Спасибо Шварцу-подлецу – хорошие устроил нары взамен отдельных кроватей, – шепнул Бобровский соседу по нарам Хрулеву. – Как думаешь, добьемся мы своего или нет?

– Богу весть. Боюсь, не прогневался бы император и великий князь, – так же тихонько отвечал долговязый Хрулев. – Хошь бы самовары-то вернули... Бывало, с самоварами нижний чин чувствовал себя как дома, особливо в непогоду.

– И чтобы шпицрутенами не истязал, – добавил глазастый Штанников, сосед Хрулева. – А всего лучше, чтобы нашего командира полка Шварца собаки съели в ночь под рождество!

– Жалко собак – отравятся, – засмеялся Бобровский.

– Бают, император надолго застрял в чужих странах, – заговорил негромко Штанников. – К добру это или к худу?

– К худу, – подал сиплый голос болезненный Степанов (всю осень его трепала крапивная лихорадка, и ревматизм переходил из плеча в плечо). – Без государя генералы затопчут нас в грязь.

– Великий князь Михаил Павлович не дозволит, – сказал унтер-офицер с усами соломенного цвета.

– Нешто великий князь не знает, как нас изводит Шварц?

– Показать бы ему, великому-то князю, «Шварцову могилу», сосчитать бы при великом князе, сколько в нее свалено нашего брата, – с ненавистью заговорил Жикин, подсевший к говорившим. – Молодец Дурницын, ловко он ныне созвал всех на переключку.

– Ловко-то ловко, – ответил Бобровский, – но не сведал бы Шварц – заперет до смерти.

– Уговор святое дело, – напомнил Жикин, – если кто вякнет начальству о зачинщиках, тому не сдобровать.

– Верно, Жикин, – подхватил Штанников. – В одну масть говорить: нет среди нас никаких зачинал, все мы – зачиналы.

– И на том стоять, хоть бы всем нам умереть пришлось, – подытожил Жикин. – Хороших командиров тоже не пачкать, ежели станут нас допрашивать с пристрастием. Фельдфебель в нашу сторону клонит. И ротный сочувствует нам.

– Мы и на батальонного не в обиде.

– Командиры сами, как и мы, молят Христа-господа, чтобы поскорее избавиться от зверя-человека.

Свечи погасили. Рота после дневных и особенно вечерних волнений постепенно успокоилась. Многие заснули. Но все еще не спал Бобровский, любивший поразмышлять, пока другие спят и не мешают ему думать. Он вообразил себя беседующим с самим государем, который в форме семеновского офицера навестил свой любимый полк. Государь спросил Бобровского, кого бы из офицеров посоветовал он поставить вместо ненавистного Шварца.

И Бобровский, выражая мнение роты и всего полка, стал перечислять достойных.

– Сергей Муравьев-Апостол... Полковник Иван Федорович Вадковский... Князь Иван Щербаков... Штабс-капитан Иван Данилов... Капитан Кошкарлов. Можно и Михайлу Павловича Бестужева-Рюмина.

И еще фамилии многих любимых солдатами офицеров назвал гвардеец в воображаемой беседе с царем.

Потом мысли его перенесли в родное село, к семье, с которой давно порваны всякие связи.

Не спал и Жикин, занятый думами о том, как они проведут завтрашнее воскресенье, если Шварц, после доклада Кошкарковым общей солдатской жалобы, не выгонит роту на ученье? Поведут роту в полковую церковь или не поведут? Вернут нижним чинам самовары или не вернут?

В нижнем коридоре около лестницы вполголоса переговаривались дневальные Щербаков и Пироженко. К ним подошел дежурный по роте, с пухлыми, словно булки, румяными щеками, ефрейтор Глухов.

– Кто из унтер-офицеров или из солдат по вечеру кричал роту на переключку? Признали голоса?

Пироженко и Щербаков замялись – кто же из старых солдат не признает звучного голоса Дурницына или близкого к басу баритона Жикина.

– Вижу сразу, что не признали, – со скрытым одобрением заметил ефрейтор. – Если не признали, то так этой линии и держитесь. Я тоже не признал. Значит, без всяких заводов, будто листья осенью по ветру сами полетели, глядя один на другого. Так-то лучше и нам, и им, и всему батальону...

Дождь под утро прекратился. Но скопище низко клубящихся туч не поредело. Затемно раздавался там и сям звон колоколов, зовущих городских обитателей и солдат к воскресной заутрене. Звонили и на колокольне полковой церкви.

Утром в воскресенье, только Кошкарлов заглянул в комнату фельдфебеля, как Брагин тут же сунул ему список.

– Двенадцать человек, половина – рядовые, половина – унтер-офицеры. А рядовой Сергей Торохов грозил отплатить всякому, кто назовет по именам главных подмутчиков. Захар Жикин думает в одно с Тороховым.

Кошкарлов оказался вынужденным принять список.

3

Унтер-офицер ввел десяток в помещение, где уже стрелков поджидал полковник Шварц, вставший едва ли не раньше всех командиров. Перед тем капитан Кошкарлов доложил ему о ночном происшествии в государевой роте. Шварц, пробормотав что-то невнятное себе под нос, немедленно направил в гвардейский штаб нарочного с донесением, а сам, несмотря на то что в этот ранний час в полковой церкви начиналось богослужение, собрался муштровать grenader.

Занятий десятками семеновцы боялись, как наказаний шпицрутенами и шомполами, но бессильны были оградить себя.

Летние панталоны, начищенные накануне мелом, дымились при быстрой ходьбе, будто под ними тлела вата.

Нынче Шварц привел на занятия своего двенадцатилетнего сына. Должно быть, полковник хотел развлечь мальчугана, показать ему вместо оловянных игрушечных солдатиков настоящих живых grenader в начищенной и набеленной амуниции, в киверах и при тесаках, в зеркально сверкающих ботфортах с надраенными медными застежками с боков.

Большелобый мальчик замлел от счастья в предвкушении увидеть, как по всем правилам воинской службы маршируют отборные стрелки в таких нарядных мундирах. Он и не подозревал о том, сколько бед причиняет эта так понравившаяся ему форма, не подозревал, как тяжело солдатам не только маршировать, но и делать самые обыкновенные движения в тесном, напоминающем панцирь мундире, который сжимает, стягивает все тело, лишая его свободы движений. Узкие, как пожарная кишка, панталоны, краги дубовой твердости, пуговицы на которых даже самые ловкие и сильные grenadery могут застегнуть лишь с помощью специального железного крючка, мучительно угнетают ноги. Чешуйчатые ремни, туго затянутые под подбородком, удерживающие кивер на голове, растирают до крови кожу, ранцевые ремни, до отказа натянутые на груди, не дают нормально дышать.

А какие веселые кутасы на киверах у всех! Замечательные кутасы! Хочется мальчику надеть себе на голову вот такой же кивер, своими руками потрогать шнурки на нем. Не

плохо бы померить и большие гвардейские рукавицы с раструбами. А если бы к киверу и голицам еще тесак, вот такой же, как у стрелков... На что ни глянешь – все хорошо, все начищено, отбелено, подтянуто, подвязано. Все так и кричит о себе: и новенькие пряжки, и подтяжки, и ремни для стягивания талий; о золоченых пуговицах на крагах нечего и говорить; пощеголять бы хоть один денек вот так же, как щеголяют эти солдаты, которых сейчас станет учить грозный командир.

– Ну-с, кто из вас вчера шлялся в кабаки? – встав перед десятком, начал учение Шварц. – Забыли? Хотите, чтобы я сам вам напомнил?

Он угрожающе прошелся перед строем, поскрипывая новенькими сапогами, вчера только сшитыми лучшим полковым сапожником.

– Вы знаете, что тем, кто не имеет билетов, запрещено шляться в питейные дома?

Солдаты безмолвно стояли перед командиром. Что они могли сказать ему в свое оправдание, если ни один из них всю неделю не отлучался из казармы и на одну минуту. Скажи – так даст пинок под живот, промолчи – выдерет усы.

Поразмявшись, полковник приступил к делу. Прежде чем приняться за маршировку, он решил взбодрить солдат.

– Что носы повесили? Веселости не вижу! Или на похороны пришли? Кто невесело смотрит, тому по сто розог ради праздничка!

Солдаты старались смотреть весело, чтобы не попасть под розги за унылые глаза. Не всякому удавалось прикидываться веселым.

Шварц остановился против крайнего стрелка и закричал:

– Морда веселая, а глаза заупокойные. А ну сделай веселые глаза!

Стрелок пытался выполнить приказание командира, но у него плохо получалось.

– Где натуральные усы? – полковник пощупал под носом у старого солдата.

– Ваше высокоблагородие, натуральные усы отсутствуют по причине их удаления вашей собственной рукой!

– Что обязан сделать грендер за неимением собственных усов?

– За неимением натуральных нарисовать генерально замену оным!

– Почему же твои не генерально нарисованы? Краски пожалел для ради отличной государственной службы? Негодай!

У правофлангового запершило в горле.

– Кто кашляет в строю? – возмущенно спросил Шварц. – Ты кашлял? После занятий скажешь своему ротному командиру, чтобы он отвел тебя в манеж и выдал тебе двести фухтелей.

Десятка безропотно выслушивала брань командира.

– Ну, а теперь погляжу, научились ли вы, олухи, вытягивать носки.

Началась маршировка. Под команду полковника десятка слаженно чеканила шаг в просторном помещении, но все равно никак не могла угодить начальнику.

– Император любит, чтобы носки при вытягивании играли! – кричал наставник в полковничьих погонах. – Я же не вижу игры в носках. Не вижу! Где она? Запорю! В армию отошлю мерзавцев! Носки!

Более двух часов продолжалась однообразно утомительная маршировка. У солдат от усталости звенело в затылке, взмокшие под тесными мундирами нижние рубашки прилипли к плечам. Курилась меловая пыль с набеленных панталон.

– Почему пылят панталоны? – остановив грендер, шумел командир. – Белить разучились? Леня одолела, пьяницы?

Вопрос этот был обращен к унтер-офицеру, и тот ответил:

– Белили, ваше высокоблагородие, панталоны больше не принимают мела.

– Где ваша талия? Переваливаетесь с ноги на ногу, как супоросные свиньи. Разве так ходят?

Он двинулся вдоль строя, ощупывая талию каждого.

– Не вижу выправки! Или у вас ремней нет? Куда же смотрит баталионный и его помощники? Я научу вас, как увязывать талии!

Браня ротных командиров, Шварц начал пеленать в ремни солдат, с тем чтобы выправить забракованным их талии. Он туго стягивал ремнями животы, будто хотел

выточить торс каждого до толщины рюмочной ножки. Сцепив зубы, сохраняя веселое выражение лица, солдаты терпели до последнего предела. С выправленными талиями дышать полной грудью сделалось невозможно.

Взяв с подоконника шомпол, Шварц продолжил маршировку.

– Носки! Ровней! Стройней! Выправки, исправки больше! Игры в носках опять не вижу, – помахивая шомполом, командовал полковник. – Ускорить шаг!

С быстрого шага десятка переключилась на бег.

У мальчика, наблюдавшего за учением, испортилось настроение, чрезмерная строгость полковника, грубое обращение с солдатами огорчили детское сердце. Набеленная, начищенная до блеску амуниция гренадер уже не казалась ему такой привлекательной. Ожидание обмануло его. Он ждал учения гренадер, как большой игры, в который, по его разумению, вместо маленьких игрушек он увидит большие живые игрушки. Смотреть на то, как они учатся, будет весело. Но здесь он не увидел никакого веселья.

– Качка! Качка в теле! – топая ногой, кричал на марширующих Шварц. – Из кабака в таком виде возвращаются. Неравенство в плечах! Подтянуть панталоны! Того и гляди свалятся. Что вы как мертвые! Всех спроважу в армию!

Из-под киверов катился пот по лицам солдат, а недовольство командира готово было с каждой минутой разразиться грозой.

– Жаловаться мастера, а носками играть не умеете! – обрушился он на солдат. – И командиры ваши не лучше вас!

Воспоминание о ночном смятении еще пуще взбеленило Шварца.

– Разуть ноги! – раздалась команда.

Солдаты разулись.

– А ну, покажи игру в носках!

И вновь десяток голыми ступнями маршировал по полу, но и босые гренадеры не могли показать требуемой от них игры в носках.

– Медленным шагом!

Начиналось самое страшное – хождение медленным шагом с плавным выкидом ноги как можно дальше вперед. Безупречно выдержать такое упражнение не хватало сил и умения у самых ловких и крепких, тем же, у кого похуже здоровье, приходилось совсем худо: они начинали терять равновесие в теле, ровноту в плечах, устойчивость в талии. Чем медленнее была команда, тем мучительнее становилось выполнять этот артикул. Тех, кто срезался на медленной шагистике, Шварц порол нещадно, отсылал в армию, лишал отпусков и других установленных в полку привилегий. Слабосильные нередко во время такой муштры падали в обморок, и маршировка продолжалась.

– Где носки? Где игра? – взревел Шварц, лицом к строю шагая впереди гренадер. – Куда высовываешься?

Он начал наводить стройность в ряду – бить шомполом по босым медленно переставляемым ногам. И горе тому, кто поморщится от боли – такому грозило беспощадное избиение.

Проделав несколько кругов с измученными солдатами, Шварц отдал шомпол сыну и сказал:

– Теперь ты поучи их, остолопов...

Мальчик как-то сразу увял и сник. Он глядел смущенно то на шомпол, то на медленно вышагивающих босых солдат, будто готовых вот-вот поплыть по воздуху, глядел и не двигался с места.

– По ногам их! По ногам... Видел, как я учил?

– Видел... Я не хочу... Возьмите...

И мальчик протянул шомпол отцу.

Гренадер не то от усталости, не то от потери равновесия при повороте споткнулся.

– Ах ты, кабан немеченый! – выругался Шварц, схватил шомпол и, подбежав к упавшему, начал с плеча немилосердно полосовать его по голым, пестрым от синяков ногам.

Гренадер не защищался и не вставал – у него не хватало силы подняться.

С такой яростью давно полковник не колотил никого. Мальчик, заплакав, подбежал к командиру, схватился за шомпол.

– Зачем вы его так бьете? Ему же больно... Он сейчас встанет... Пожалейте его...

Шварц оставил шомпол в руках сына. Гренадеры, хотя и не было команды, остановились.

У лежащего на полу grenадера из синего рубца на тощей ноге сочилась кровь.

Шомпол упал на пол к искалеченным ногам солдата. Мальчик закрыл глаза рукой и выбежал из помещения.

Появился дежурный адъютант с донесением. За адъютантом спешил озабоченный полковник Иван Вадковский.

6

В одиннадцать утра в казармы приехал бригадный командир великий князь Михаил Павлович и с ним начальник гвардейского штаба генерал-адъютант Бенкендорф.

Вадковского встретил в коридоре на втором этаже полковой адъютант Бибииков.

– Вам, полковник, приказано Бенкендорфом находиться в роте его величества до прибытия в нее господина генерал-адъютанта.

– Рад исполнить приказание! – ответил Вадковский и направился в царскую роту.

На лестнице его встретил раздраженный и вместе с тем испуганный полковник Шварц.

– Вы куда, Вадковский?

– Мне приказано генерал-адъютантом находиться в роте его величества.

– Там вам нечего делать, полковник.

Вадковского удивило такое распоряжение командира полка.

– Но приказание высшего начальства меня обязывает к точному исполнению, – отвечал батальонный.

– Я не вижу нужды находиться вам в роте при дознаниях генерала Бенкендорфа, – говорил Шварц. – Вполне достаточно присутствия капитана Кошкарора.

– Я нахожу моей обязанностью быть при допросах, – возражал Вадковский. – Я вынужден отклонить, господин командир полка, ваш мне совет. Я иду выполнять приказание генерала.

Шварц холодно посмотрел на подчиненного и ничего больше ему не сказал..

Явившись в расположение царской роты, генерал Бенкендорф+ прошел прямо в комнату фельдфелбеля, где в это время находился Вадковский.

Вадковский и капитан Кошкарор отрапортовали о ночном происшествии в головной роте.

– Зачинщики выявлены? – деловито спросил Бенкендорф.

– Не удалось, господин генерал-адъютант, – ответил Вадковский. – Да и едва ли и обнаружатся таковые. Недовольство общее...

– Кем недовольство?

– Притеснениями со стороны командира полка полковника Шварца, о чем, кстати, я имел честь довести до вашего сведения еще в мае месяце.

– Май давно прошел, и нечего о нем вспоминать. На дворе осень. Бунты без застрельщиков не бывают.

– Они не бунтуют, они просят лишь выслушать их жалобу.

– А ваше мнение, капитан?

– Никакого своевольтва со стороны солдат ни вчера ночью, ни сегодня утром мною не было замечено, – отвечал Кошкарор.

– Странно, господа... По вашим ответам: бунтовщики ведут себя тише воды, ниже травы. Отчего же командир полка вынужден искать управу у нас в штабе? – Бенкендорф иронически улыбнулся. – Тишина. Спокойствие. Застрельщиков нет, а вот рота его величества самовольствует, не подчиняется приказаниям начальников. Капитан Кошкарор, вы присутствовали ночью при вспышке возмущения?

– Присутствовал.

– Вы, конечно, запомнили самых отчаянных крикунов?

– Говорили все... Запомнить никого не удалось.

– Не поверю!

- К тому же было в коридоре темно.
- Разве вам незнакомы голоса ваших солдат, унтер-офицеров, ефрейторов?
- У меня звуковая память плохая.
- Так ни одного зачинщика и не узнали?
- Ни одного...

Во время допроса фельдфебель Брагин то бледнел, то краснел, волнуясь в ожидании вопросов генерала. Кошкарлов приказующе поглядел на фельдфебеля, и тот понял, что этим взглядом хочет сказать капитан. Командир роты опасался, что службистый фельдфебель выболтает все перед генералом или подсунет список подобно тому, что он подсунул капитану.

Но Бенкендорф перестал допытываться о зачинателях, взялся выяснить во всех подробностях, с чего началось и как протекало все это неустройство в полку.

Он в присутствии Вадковского и капитана Кошкарлова поодиночке допросил дежурных по роте, дневальных, троих унтер-офицеров и несколько рядовых. Разноречий в ответах не замечалось. Рассказы солдат и нижних чинов подтверждали уверения Вадковского и Кошкарлова о том, что не происками каких-то злоумышленников вспыхнуло возмущение, а загорелось оно от наболевшего общего недовольства.

Фельдфебель Брагин, за которого больше всего опасались Вадковский с Кошкарловым, не рискнул при допросе пойти вразрез с ответами полковника и капитана. Он не назвал фамилии ни одного зачинщика, умолчал и о списке, переданном капитану роты.

Генерал Бенкендорф, допрашивая солдат и младших чинов, не прибегал к угрозам, к запугиванию или к обольстительным посулам, лишь бы только выведать то, что нужно. Все допрашиваемые, словно по предварительному сговору, повторяли дословно вчерашние жалобы и просили довести их до сведения самого государя, попечителя первой роты, когда-то находившейся под его командованием. Претензий высказано было много: и о кем-то украденной материи, что предназначалась на летние панталоны солдатам, и об оскудевшей общественной полковой кассе, но больше всего об истязаниях, о несносном обращении командира полка, о забитых до смерти шпицрутенами, об изощренных издевательствах над солдатами за малейшую провинность.

– Господин полковник, – обратился генерал к Ивану Вадковскому, – соберите роту в нижнем коридоре.

Рота собралась дружно и, как вчера, выстроилась в полном порядке. И перед генерал-адъютантом гренадеры не изменили своему уговору, держались спокойно, отвечали на все вопросы с сознанием собственного достоинства, старались говорить скопом, чтобы тем самым оградить от преследования самых боевых и смелых. Эти гуртовые ответы хотя и очень не любо было слышать генералу, но он оказался бессилем заставить гвардейцев говорить поодиночке. И все же внимание его привлек стоявший во втором ряду рядовой Сергей Торохов. Он больше всех отвечал генералу, спорил с ним, за что Бенкендорф назвал его выступления самыми дерзкими.

Беседа со всей ротой не прибавила начальнику штаба гвардейских войск никаких нужных сведений. Солдаты не принимали никаких уговоров, в один голос требуя довести до высшего начальства и до царя их жалобу во всей полноте.

Потратив впустую немало стараний на уговоры, Бенкендорф приказал роте разойтись по каморам.

– Впервые встречаю таких упрямцев, – не то с осуждением, не то с похвалой заметил генерал. – Полковник Вадковский и капитан Кошкарлов, к восьми часам вечера доставьте в гвардейский штаб письменные рапорты о неслыханном происшествии! Поименуйте главных зачинщиков смятения и назовите тех, кто своей преступной нераспорядительностью не пресек в самом зародыше возмутительство.

После того как Иван Вадковский отрапортовал о незаконном сборе людей ночью, бригадный командир великий князь Михаил Павлович спросил, нахмутив вислые мохнатые брови:

– Почему вы нынче утром по прибытии в роту не занялись тотчас разыскиванием зачинщиков возмущения?

– Чтобы разыскать зачинщиков, если только они есть, мне надлежало допрашивать людей поодиночке, на допросы я потратил бы несколько часов времени, но, памятуя смысл 136-го воинского артикула, я счел долгом немедля ехать к полковому командиру с донесением и был уверен, что он сам примет меры к умиротворению и розыску зачинщиков.

Михаил Павлович, не любивший читать и писать, с презрением относившийся к книгам и журналам, спросил полковника:

– К чему же клонит смысл 136-го артикула воинского устава?

– Согласно этому артикулу подчиненный, который слышал или читал о бунте или возмущении, за нескорое донесение о том старшим подвергается равному с виновными наказанию.

Михаил Павлович, выслушав, грубо обругал Вадковского и Кошкарова и приказал батальонному:

– Соберите роту grenадер в нижнем, а стрелков в верхнем коридорах.

Вадковский выполнил повеление бригадного командира: разделив людей на две части, выстроил отдельно стрелков и grenадер. При разделении он заметил неудовольствие и ропот таким размежеванием. Стрелки в полный голос выражали неодобрение:

– Веник, пока в нем все прутья плотно связаны – и сильному не сломать, а рассыпь по отдельному пруту – и ребенок сломает.

– У grenадер и у нас одинаков умысел.

Михаил Павлович сначала подошел к стрелкам:

– Ну как, все повально хотите слыть преступниками, или образумитесь и назовете подстрекателей? Выбирайте, пока не поздно. За упрямство вас не похвалят.

Стрелки не поименовали ни одного зачинщика.

– Преступники... Все вы преступники. И разговор с вами будет, как с преступниками. Если моего гнева не боитесь, то побойтесь гнева государя нашего!

– Наш государь нас, семеновцев, детей своих, никому не даст в обиду.

– От государя скрывают все наши неудовольствия командиром Шварцем, а вот спроведает о том царь-батюшка – заступится.

– Плохо вам будет, преступники! Плохо!

Пригрозив, он отправился к grenадерам.

– Бунтуете, возмутители? Кто вас подговорил? Давайте по именам всех бунтовщиков.

– Мы бунтовать не хотим, ваше высочество, мы хотим, ваше высочество, верой и правдой служить государю.

– Мы приносим всепокорную жалобу на жестокого притеснителя всего нашего полка.

– Все равно зачинщиков разыщем. Половина их мне уже известна. Но заpiresательство всех вас сделает преступниками. По голове преступника топор плачет. Выбирайте одно из двух: или совестью перед государем нашим невиновным быть, или за чужое преступление самому преступником слыть.

Grenадеры дружно стояли на своем.

Тем временем стрелки пришли в полное смятение, они не хотели расходиться и порывались ринуться к grenадерам, чтобы слиться с ними, невзирая на появление великого князя.

Вадковский всячески их отговаривал, увещевал, вразумлял, предостерегал от поступков, которые могут быть расценены как подстрекательство к беспорядкам. Ничто не действовало на рядовых и нижних чинов.

Полковник Вадковский немедля доложил об этом Бенкендорфу, находившемуся в комнате фельдфебеля.

– Люди крайне недовольны их разделением, мои неоднократные напоминания о противозаконности их действий ни к чему не привели. Приказание, отданное бригадным командиром, мало способствует умиротворению подчиненных.

– Что вы предлагаете?

– Чтобы разъединенные не объединились самовольно, я предлагаю сейчас же свести роту вместе.

– Сводите! – согласился Бенкендорф.

Через минуту рота была объединена и на все вопросы, обращенные к ней начальником штаба, давала ответы того же свойства, что ночью и утром.

Бенкендорф и Михаил Павлович в дурном настроении уехали от неуступчивых семеновцев. Вадковский и Кошкарлов в комнате фельдфебеля принялись за составление рапортов в гвардейский штаб. Они и тут, в письменных донесениях, обошли молчанием фельдфебельский список зачинщиков, который был уничтожен Кошкарловым с одобрения Ивана Вадковского.

7

Во дворце с каждым часом возрастало беспокойство.

Несговорчивость государевой роты возмутила и напугала великого князя. Он хотел одного – как можно скорее погасить вспышку, но не знал, каким путем лучше всего это сделать.

Около трех часов пополудни в Семеновский полк прискакал ездовой: великий князь требовал полковника Ивана Вадковского безотлагательно прибыть во дворец.

Вадковский вскочил в седло и погнал ко дворцу вместе с присланным за ним ездовым.

Михаил Павлович был еще сердитее, чем поутру. Встретил полковника у порога кабинета, спросил, не скрывая раздражения:

- Что делается в полку?
- Полк проводит воскресный день по-обычному.
- Не замечено ли каких еще более ужасных беспорядков?
- Везде порядочно и тихо.
- А в государевой роте?
- И государева рота не проявляет неповиновения или своеволия.
- Списки зачинщиков добыли?
- Списков нет...
- А зачинщики есть?

– Я затрудняюсь ответом на этот вопрос, у меня нет никаких данных, чтобы с уверенностью утверждать о происках зачинщиков. Солдаты единодушны в приношении всепокорнейшей жалобы.

– Считаете ли вы их поступок преступлением?

– В их поведении я не заметил чего-либо откровенно преступного...

– По-вашему, они не преступники? Ангелы в киверах?.. Херувимы в плохо надетых панталонах?.. – с издевкой заговорил великий князь. – Если не содрать с них шкуру розгами, эти первозачинатели погубят весь полк, всю гвардию.

Но полковник Вадковский придерживался другого мнения и не отступился от него в угоду бригадному командиру.

– Ваше высочество, прискорбное происшествие будет скоро забыто, если трезво взглянуть на него и без нужды не поднимать шума на весь полк.

– Как же без шума покарать возмутителей?! – воскликнул Михаил Павлович. – Неужели шепотком на ухо упрашивать каждого негодя?

– Вы, ваше высочество, можете легко прекратить все это событие, если захотите.

– Как? Каким образом?

– Я прошу вас: не доводите о случившемся неурядице до сведения высшего начальства.

– Без всякого наказания?

– Ограничьтесь каким-либо домашним наказанием.

– И, по-вашему, такая снисходительная мера гарантирует полк от повторения возмущения?

– Ручаюсь... Русский солдат имеет ум и сердце, он за добро платит добром.

– Уговорил ты меня, – уступил смягчившийся великий князь. – Согласен с тобой – прибегнем к самой мягкой мере – домашнему наказанию, но при одном непременно условии, чтобы ты привез мне нынче чистосердечное раскаяние всех нижних чинов в продерзости их. Беретесь склонить всю роту к раскаянию?

– Приложу все мои усилия.

– Если так, то сейчас же возвращайтесь в роту и приступайте к делу. Промедление непозволительно. Буду ждать вас с полным раскаянием.

Вадковский возвратился в солдатские казармы, вновь собрал роту в коридоре, с тем чтобы склонить ее к принесению раскаяния. Гренадеры и стрелки в суровом молчании слушали своего батальонного командира, который употреблял все способы мирного воздействия на них.

– Вашему поступку вышнее начальство придает значение особенное, оно находит, что ваше неповиновение сулит вам большое горе, если вы не раскаетесь и не принесете повинную.

– Мы повиновались, повинемся и впредь готовы повиноваться нашему государю и всем хорошим командирам, кроме Шварца!

– Хотите ли вернуть себе прежнее благорасположение начальников?

– Хотим! – гудели хором.

– Это можно сделать лишь путем признания ошибочности поступка. Только раскаяние возвратит вам былое благорасположение начальников, – втолковывал полковник.

– Мы за собой вины не видим!

– Мы не супротивники государю и вышним начальникам!

Все способы употребил Вадковский, но так и не склонил ни одного из всей роты к раскаянию.

С тяжелым сердцем возвратился он во дворец и доложил великому князю о неуспехе своего предприятия.

8

К восьми часам вечера Иван Вадковский и капитан Кошкарлов прибыли в штаб гвардейского корпуса с рапортами по случаю ночного возмущения в государственной роте.

Бенкендорф, заметили офицеры, был взвинчен больше, чем утром.

– Шварц в полку? – спросил он, приняв письменные рапорты.

– Местонахождение Шварца нам неизвестно. В полку он не показывался с полудня. В полковой канцелярии, а также и домашние люди не знают, где он находится целый день.

– Зачинщиков не назвали?

– Нет.

– Ах, как плохо они делают сами для себя, – выразил сожаление генерал и тут же отдал новое повеление: – Приведите заблудшую роту ко мне сюда в штаб гвардейского корпуса.

– В каком виде?

– Рядовых в шинелях и фуражных шапках, унтер-офицеров в киверах и с тесаками. Из офицеров при роте приказываю находиться только вам двоим, господа.

«Ночью в штаб? Зачем? – озабоченно пытался догадаться командир батальона. – Не явился бы этот ночной поход последним вольным путешествием для семеновцев».

Он рискнул спросить у генерала:

– Господин генерал-адъютант, хотя, может быть, никак не следует мне знать о причине этого ночного похода, но я дерзнул обратиться к вам вопрос.

– Мое к вам уважение, полковник, обязывает меня открыть вам истинную причину повеления: господин корпусной командир, желая видеть людей, но будучи сам нездоров, а посему в невозможности приехать в полк, требует их в штаб для переговоров. Вот и все. Приведете и ответите...

– Вы, генерал, так милостивы ко мне... Ваша благородная откровенность обязывает меня безупречно исполнить ваше повеление, – признательно сказал Вадковский.

Рядовые в шинелях и фуражных шапках, унтер-офицеры в киверах и с тесаками, чеканя шаг, как на смотре, ровными рядами шли за Вадковским и Кошкарловым. Шли послушно, безропотно, готовые по команде начальников ринуться хоть на приступ – лишь прикажи.

Рядовые Торохов, Жикин, Дурницын, Штанников, Хрулев, Грачев по пути в штаб снова уговаривали гренадер держаться перед командиром гвардейского корпуса так же стойко, как держались ныне утром и днем перед начальником штаба и великим князем.

Вадковский всю дорогу не сделал ни одного замечания роте. Он сокрушенно пытался предположить, чем может закончиться очередная неумная затея двух генералов да еще их наставника великого князя, вчера только поменявшего мальчишечью куртку на гвардейский мундир. Командиру батальона стало жалко своих солдат, но оградить их от беды он был не в состоянии. Припоминая весь разговор Бенкендорфа с монолитно спаянной ротой, он восхищался стойким Дурницыным, мудрым Жикиным, дерзким Тороховым и всеми, кто не дрогнул, не стушевался перед холеным генерал-адъютантом. «Пожалуй, не всякий штаб- и обер-офицер отважился бы с такой прямо-таки благородной независимостью отстаивать себя и товарищей перед столь грозным начальством, – размышлял полковник. – Что это: веяние времени? Результат похода в Европу? Отличительная черта русского самобытного характера? Пожалуй, все вместе породило в них такую удивительную стойкость, организованность, спайку. Мы еще плохо знаем душу нашего солдата. Какая страшная несправедливость: вчерашних спасителей отечества от иноземного ига снова бросили в когти продолжателей гатчинских безумств».

Полковник оглянулся на шагавших за ним солдат. Колония и в вечерней темноте не утратила прочной выучки и полного порядка. Стройно зыблемые ряды отборных высокорослых гвардейцев оставались четкими, как на параде. Среди всей роты, еще днем приметил Вадковский, несколько солдат были заметно опохмеленными, но и они не портили общей слаженности.

Вот и место назначения. Батальонный командир выстроил роту на площади, противу штаба.

Толпы простолюдинов подступили к гвардейцам со всех сторон, любопытные спрашивали солдат, зачем они пришли на эту площадь, общительные сразу завели разговоры с семеновцами.

До слуха Вадковского, когда он проходил мимо рядов, долетел разговор какого-то по всем видам фабричного человека с рядовым Тороховым.

– В караул заступаете или на турка в поход собираетесь?

– С жалобой пришли к высшему начальству на зверское обращение полкового командира.

– Вот царь-батюшка возвратится из дальних странствий – оборонит нас, – уверял кто-то из старых солдат. – Государь император первый наш бывший командир, до того как на престол посажен. Я когда-то под его командой начинал службу в Семеновском полку.

– И государь что-то остыл к своему полку. Кабы не остыл, не отдал бы нас на растерзание хищному зверю.

– Был у нас командир золотой души человек – Потемкин Яков Алексеевич. Вот он уж действительно для нас, для солдат, как отец родной.

– При Потемкине мы службу несли весело: песенки попевали и никакого горя не знавали.

– А теперь в собственной крови купаемся, слезами умываемся, розгами утираемся...

– Жалуйтесь, жалуйтесь, семеновцы... Нас тоже фабрикант замучил. И мы, глядячи на вас, жалобу составим. Только не знаем, кому подавать.

– В дворцовую канцелярию, – сказал другой простолюдин, должно быть, тоже из работных людей.

– Всего надежнее – генералу Закревскому.

– Прямо в руки Аракчееву.

– Да уж Аракчеев поможет, как помог волк кобыле, – до костей последнюю кожу сглохнет.

Вадковский не мешал простолюдыню вступать в разговоры с солдатами. «Тут столько скопилось народу, что место это несколько не приличествует к допрошению людей, – решил он. – Надо об этом сказать мудрецам из дворца и штаба».

В сенях штаба он застал сидевших там командира гвардейского корпуса князя Васильчикова и генерала Бенкендорфа.

– Господин начальник штаба, осмеливаюсь сделать одно замечание: площадь, на которой выстроилась рота, запружена народом, что не приличествует к допрошению людей.

– Не беспокойтесь, надлежащие меры уже взяты, – отвечал Бенкендорф, – постараемся избежать всяких неудобств. Чернь наших разговоров с возмутителями не услышит. Манеж уже отперт и освещен. Итак, ведите роту в манеж.

Вадковский вернулся на площадь. Раздалась четкая команда, рота повернулась лицом к воротам манежа. Командир повел ее за собой.

Растворились ворота, и ошеломленный полковник увидел по обеим сторонам манежа выстроенные рядами в амунии и с ружьями две роты лейб-гвардии Павловского полка. «Зачем они здесь? И с ружьями? Нас конвоировать? Но куда? В казармы? В крепость? – пронеслось у него в мыслях. – Мои унтер-офицеры тоже с тесаками... Не устроили бы свалку...»

В настенных канделябрах и подвесных люстрах горел целый лес свечей и фитилей, а в плошках чадило масло.

Семеновцы, войдя в манеж, заняли всю середину между двумя вооруженными ротами лейб-гвардейцев. Павловцы, обратив внимание Вадковский, держа ружья у ноги, кивками и улыбками встретили появление государевой роты. Приведенные тем же отвечали павловцам. Они без слов понимали друг друга, сочувствовали друг другу, ведь судьба солдатская и у тех и у этих одинаковая. Полковник Вадковский был тронут до глубины души.

9

Васильчиков с двумя адъютантами вошел в освещенный свечами манеж, намереваясь сразу же сломить дух семеновцев. И прежде чем приступить к разговорам, приказал Вадковскому вернуться в штаб гвардейского корпуса и там дожидаться.

Рота соблюдала отличную гренадерскую выправку. Амуния на солдатах была в образцовом порядке – панталоны, ремни особого пошива, кутасы, кивера, сапоги, рукавицы, краги и подтяжки.

Тусклое освещение скрадывало черты солдатских лиц. Да князя Васильчикова менее всего интересовало выражение солдатского лица, для него не существовало отдельных гвардейцев, а существовала государева рота, которую он хотел по-прежнему видеть покорной, трепещущей от первого же слова, терпеливой.

– Ну что, бунтовщики? Чаю захотели? С медом? С сахаром? Вприкуску с розгами и фухтелями? Лапши березовой сверх сыти не хотите? Проводки через батальон сквозь шпигруты не желаете? На полковом дворе или в крепости? – сурово обратился генерал к семеновцам. – Кто вас подбил на бунт? Ну-ка, всех до одного давай их мне в поминанье. С ними у меня будет особый разговор! Сколько их у вас? Унтер-офицеры подзудили вас, растяп? Или штатские? Белить, чистить амунию надоело? А цепями греметь на каторге лучше? Смотры по десяткам я одобряю. Нелюбо показывать артикул перед полковым командиром – приходите на смотр ко мне, но уж потом не раскаивайтесь. Вам государь дал в командиры лучшего полковника-фронтовика. Чего же еще вам? Противление образцовому командиру есть противление милостивому нашему государю. Шварц для того и прислан был в полк, чтобы подтянуть не только рядовых, но и командиров. Разболтанность, расхлябанность, лень не к лицу государевой гвардии. Называй зачинщиков!

Из-за спин первой шеренги раздался напористый голос Дурницына:

– Смотры по десяткам не придают украсы полку, а только портят службу! Мы обнаготились. Три льготных дня в неделю командир отнял у нас. Промышлять на стороне в артельную казну приходится мало. На общем полковом огороде все захирело в этом году. Обнищали до предела. Новую амунию и приклад к ней купить не на что. С утра до ночи только и знаем белим да чистим амунию. От чисток, от белений и сукно и кожа протираются.

– На то вы и есть лучший в гвардии государев полк! – возразил Васильчиков. – Командир обязан строжайше следить за изяществом и чистотой вашей амунии.

– От частого беления все трется и рвется.

– Надо белить так, чтобы не рвалось и не терлось. Фрунтовая выправка – святая святых для гвардейца.

– Мы и рады бы щеголять во всем новеньком, как того требует от нас полковой командир, – вступился Жикин, портной по ремеслу, – да на какие доходы покупать? На вольные работы перестали отпускать, а в лавках дороговизна – не подступись солдат ни к подтяжкам, ни к бляшкам.

– Каждый день только и видим розги, фухтели, шпицрутены.

– Мы не против государя, мы против Шварца. За государя готовы хошь на крест..

– Вы не гвардейцы, а разбойники с большой дороги! – закричал Васильчиков. – Предерзостные речи изобличают ваши замыслы к бунту. О вашем неповиновении я доложу государю императору! Вы нарушили присягу. Знаете, что вас ждет? – и, повернувшись лицом к лейб-гвардейцам, приказал: – Братцы павловцы, отконвоируйте-ка смутьянов в Петропавловскую крепость!

10

У подъезда штаба Васильчиков встретил Милорадовича и, насвистывая мелодию марша, вместе с ним вошел в помещение, где его ждали Вадковский с Кошкарковым.

– Ну, а теперь во всех подробностях давайте изложите, как началось и проистекало все это прискорбное происшествие.

Судя по веселому виду генерала, оба офицера решили, что в манеже дело завершилось благополучно.

Командир батальона, не приукрашивая и не сгущая красок, обстоятельно изложил весь ход событий в продолжение суток.

Выслушав его, Васильчиков приказал:

– Поезжайте в полк и сообщите полковнику Шварцу, дабы он немедленно прибыл ко мне в штаб!

– А как быть с государевой ротой?

– Она уже на пути к Петропавловской крепости...

У Вадковского повлажнел белый высокий лоб от этой вести. Генерал обманул командиров и рядовых: вызвав для переговоров 1-ю гренадерскую роту, отдал распоряжение о заточении ее в полном составе в крепость.

– Исполняйте, полковник! Я покажу кузькину мать Шварцу... Вы что так бледны?

– Устал, ваше превосходительство, я с шести утра на ногах, – ответил Вадковский и покинул штаб.

Оставшись с глазу на глаз с Васильчиковым, Милорадович, озабоченно хмурясь, сказал:

– Знаете, князь: тихая вода, а берега подмывает.

– Какие берега? Какая вода?

– Солдаты выслушали тихо, тихо сказали все, что могли сказать в свое оправдание, тихо пошли туда, куда их повели. Все внешне тихо... Но лучше было б, если бы мы избежали такой ненадежной тишины.

– Ну, положим, что не всякой воде поддаются начальственные берега. Смелый приступ не хуже победы!

– Но у них есть своя заповедь: солдат – правде брат. С этим нельзя не считаться, князь.

– Неужели вы находите в их сумасбродном упрямстве хоть долю правды?

– Но если за ними нет золотника правды, то нет за ними и никакой вины! – смело заявил Милорадович, любивший щегольнуть вольным словом.

– Как нет? А упрямство? А бунт? А непочтительность? – доказывал свою правоту Васильчиков.

– Упрямство, вернее – твердость они действительно проявили и в казарме, и здесь, в манеже. Бунта в их поведении я не вижу. Непочтительности – тоже. Они же приносили просьбу, говоря их словами, с полнейшей покорностью.

– А как они отозвались о командире Шварце?

– Но мы пока что не ведаем, а как командир обошелся с ними?

Васильчикову было крайне неприятно слушать возражения военного генерал-губернатора. Но он терпел, пока у него хватало терпения.

– Ждите, князь, еще больших неприятностей, – предсказал Милорадович. – Круто подсупонишь – далеко не уедешь. Шлите, пока не поздно, нарочного в крепость с новым приказанием.

– Каким?

– Чтобы роту, пока она не заперта по казематам, отвели обратно в казарму.

– Вы серьезно, граф?

– Такое распоряжение было бы полностью в наших интересах. Будем честны: ведь жалобщики не совершили никакого преступления.

– Вы не находите за возмутителями никакой вины?

– К счастью моему и ихнему, не нахожу. Более того, я готов предстать в защиту их перед императором, как только он возвратится.

– В их защиту? Против кого?

– Против несправедливости.

– Значит, против меня? Против великого князя? Против Закревского?.. Однако вы смелы, генерал... Но я уверен, никаких происшествий больше не случится, – предвещал Васильчиков. – Я отделил козлиц от овец и тем самым оградил от порчи незараженное стадо.

– Ну, дай бог пожать плоды своих усердий предусмотрительному пастырю.

Милорадович уехал домой.

11

Государеву роту под конвоем вооруженных павловцев через весь город гнали в Петропавловскую крепость.

Полковник Вадковский с капитаном Кошкаровым возвратились в полк, чтобы передать полковому командиру приказ Васильчикова. Шварц, озлобленный на жалобщиков, выслушал рапорт Вадковского с затаенным злорадством.

– Я верю – справедливость восторжествует, как только возвратится государь! Смутьянам место не в крепости святого Петра и Павла, а на виселице. Никуда они от нее не уйдут. И вы, полковник Вадковский, во многом виноваты, вы не приняли никаких мер, чтобы сразу же подавить своеволие. Вы даже не соизволили ночью приехать во вверенный вам баталион, хотя и знали о начавшейся смуте.

– Я не придавал этому никакого серьезного значения, – ответил полковник Вадковский. – У меня не было никаких оснований для беспокойства после донесения вам капитана Кошкарова о том, что люди государевой роты по единому его приказанию разошлись по комнатам, без всякого ропота и сопротивления, легли спать.

– Вы распустили 1-й баталион и теперь пожинаете горькие плоды.

– Я, несмотря на нынешнее прискорбное происшествие, не считаю свой баталион распущенным. Такого же мнения о нем до недавнего времени придерживались командующий гвардейским корпусом и начальник гвардейского штаба.

– А разве вам не известно мнение великого князя Михаила Павловича? Или вы не читали его последний приказ? – закричал Шварц. – Именно на гренадерах вашего 1-го баталиона их высочество обнаружил плохо отбеленные панталоны, тусклые застёжки на ботфортах, старые темляки и качание всего корпуса... И в этом прежде всего вина командира баталиона. У вас в баталионе процветает панибратство между рядовыми и унтер-офицерами. Вы презрительно относитесь к телесным наказаниям. Почему?

– Да, я убежденный противник телесных наказаний, ибо давно считаю, что применение их унижает не только того, кого наказывают лозанами, но и того, по чьему приказанию свершают истязание. Сия бесчеловечная мера унижает лучший гвардейский полк, облаканный самим государем императором.

– Вам, господин Вадковский, придется подать в письменном виде развернутое объяснение вашего поведения, приведшего к бунту в государевой роте.

– Объяснение будет представлено, господин командир полка. Назавтра моему баталиону предстоит составление караулов, но по причине известных вам обстоятельств, людей не хватит во вверенном мне баталионе, я жду на сей счет ваших приказаний...

Шварц отдал приказания по службе, и Вадковский поехал в баталион.

В батальоне все было в должном порядке. Людей в ротах он нашел уже спящими. Дежурные и дневальные на обоих этажах находились на своих местах.

Передав фельдфебелям распоряжения Шварца относительно караула и не обнаружив никаких нарушений дисциплины и отступлений от заведенного казарменного распорядка, полковник со спокойной душой поехал к себе на квартиру.

Едва успел он раздеться, как услышал на улице топот копыт по мостовой. Кто-то подскочил к подъезду, соскочил с седла, привязал лошадь к фонарному столбу.

Вадковский, шатаясь от усталости, подошел к окну, чтобы поглядеть, кто же подъехал. Это был вестовой из полка.

Полковник вместе с денщиком встретил его у порога.

– Что случилось?

– Первая рота собралась в коридоре, – извещал нарочный.

– А другие роты?

– Пока что безмолвствуют.

– Скачи в батальон, скажи дежурным, что скоро буду!

И полковник торопливо начал одеваться.

Гонец поскакал обратно.

Случилось вот что. В полночь какой-то павловский солдат проник в казармы и прокричал на обоих этажах о том, что государеву роту загнали в Петропавловскую крепость. Солдаты пробудились, снова все пришло в движение и брожение. 1-я и 2-я роты 1-го батальона, услышав о горестной судьбе товарищей из государственной роты, заволновались. Солдаты побежали во 2-й и 3-й батальоны, чтобы оповестить их о случившемся несчастье.

В верхнем и нижнем коридоре толпились солдаты. Охваченные заботой о пострадавших, они не знали, каким образом выручить товарищей из беды. Вест о препровождении в крепость целиком всей государственной роты не испугала семеновцев, а лишь возбудила дух солидарности, вызвала готовность разделить с однополчанами любое наказание.

Вадковский прибыл в первую роту. Дежурный унтер-офицер отрапортовал по всем правилам.

– Вся ли рота собрана? – спокойно спросил командир у возбужденного унтер-офицера, старавшегося не показать своего волнения.

– Весь батальон собрался в третьей роте, – докладывал дежурный.

– В третьей? Кто их туда повел? Кто разрешил?

– Сами себе разрешили.

– На кого они жалуются?

– Ни на кого. Своих жалеют. Головную роту. В крепость наших засадили. Вот и возмутились.

Из рапорта и объяснений дежурного Вадковскому стало ясно, что в полку начинается неурядица, похожая на бунт. Последствия его могут оказаться крайне тяжелыми для командиров и солдат. Он поспешил в 3-ю роту.

Весь его батальон толпился в тесноте и в шумном беспорядке. Все озабоченно о чем-то говорили, что-то обсуждали. Слышалось:

– Они пострадали не за себя, а за нас, и мы за них пострадать должны! Человек не только для себя рождается.

– Если государева рота виновата, то и мы виноваты...

– Кабы великий князь приехал к нам, мы сказали бы ему то же, что и Дурницын с Жикиным.

– Про доброе дело сам бог велел говорить смело!

– Пристрастный суд разбоя злее!

– С мыслей пошлин не берут, за жалобы в крепость не сажают.

– У нас со всего берут и не кашляют...

– Чего они жалобы испугались? Жалоба – не волк, Шварца живком не съест.

Все три роты кипели. Ротные при всем их старании не могли успокоить солдат.

– Ребята, не лучше ли идти спать, – подойдя к толпе, мягко сказал Вадковский.

– Не до сна, ваше высокоблагородие, и не до моления.

– Или государеву роту вороти, или и нас всех води в крепость!

Шум, гвалт, теснота, тусклое освещение не позволяли командиру батальона сразу овладеть вниманием толпы. Вскоре солдаты поутихли.

– Построиться и выравняться! – приказал Вадковский.

Его приказание послушно выполнили, выстроились, подравнялись, насколько позволяла теснота.

Шум и говор прекратились.

– Что же вы не спите? – спросил батальонный.

– Спать на ум нейдет. Голову с плеч батальона сняли – государеву роту упрятали в острог.

– А вы знаете, сколько сейчас времени?

– Время у бога много!

– Кто же устраивает такие сборища в столь неурочный час? И к тому же без всякого на то дозволения начальства? – отечески внушал Вадковский. – Не лучше ли вам успокоиться, не шуметь, а идти по каморам.

– Никак, ваше высокоблагородие, спокойными быть не можем без роты его величества, – ответил степенный унтер-офицер, лет двадцать отдавший киверу и ранцу.

– Начальники из главного штаба крепко обидели нас: заманили государеву роту в главный штаб, и оттуда – к Петру и Павлу. Мы от своих отставать не хотим, – поддержал унтер-офицера другой нижний чин.

– Не ваше дело, солдаты и унтер-офицеры, обсуждать распоряжения начальников и роптать на оные, – не повышая голоса, без окрика уговаривал Вадковский. – Я еще раз приказываю вам разойтись по комнатам и получше готовиться к караулу.

Но солдаты продолжали оставаться в рядах. Наиболее толковые и смелые без дерзости приводили все новые и новые доводы в свое оправдание.

– Мы, ваше высокоблагородие, никогда и не помышляли о сопротивлении, о неповиновении...

– Мы все, как один, рады за вас и всех наших офицеров умереть...

– За тех, кого мы любим.

– И к караулу, вами назначенному, мы будем готовы, но только чтобы с нашей головой – ротою его величества.

– Без нее и служба не служба.

За спокойствием солдат Вадковский почувствовал предварительный твердый стговор, который оказался сильнее страха перед наказанием. Без прежней уверенности повторил:

– На улице ночь. Все спят. И вы ничего не добьетесь.

– Ну что ж... Коли государеву роту нельзя выволить из беды, то давайте хоть сдерем шкуру на барабан с того, из-за кого мы страдаем – с подлеца Шварца! – выкрикнул кто-то из стоявших сзади.

«Вот она – первая ласточка большого бунта, – пронеслось в мыслях Вадковского. – Остановить, немедленно остановить, иначе весь полк погибнет...»

А пламень возмущения разгорался еще жарче.

– Верно! Словить живодера!

– Что стоять-то? В крепость нас все равно не пустят. Пошли искать полковника!

– Всех желающих тащить из норы Змея Горыныча – Шварца приглашаем с нами!

Раздраженных голосов с каждой минутой прибывало. В рядах не было ни одного, кто бы вздумал противиться или заступиться за полкового командира. Вадковский, хорошо зная склад характера солдат и их неутоленный гнев, счел разумным не раздражать их угрозами и строгостями.

– Ну, вот вы опять зашумели, будто уж я уехал домой, – мягко, человечно заговорил полковник. – А я еще здесь. Вы можете помолчать и дать мне поговорить с вами?

– Можем!

– Любое ваше желание исполним с радостью!

– За это спасибо вам. Я в ваших добрых ко мне чувствах и не сомневался, – продолжал Вадковский, когда все смолкли. – Так вот, любите ли вы меня?

– Любим!

– Имеете ли вы ко мне доверие?

– Имеем!

– Если так, то слушайте и запоминайте мой вам приказ, а запомнив, неукоснительно исполняйте, – четко и уже по-командирски говорил Вадковский. – Я дорожу вашим расположением ко мне, дорожите и вы моим расположением к вам. Чтобы уважить ваше общее желание – возвратить баталиону голову, я намерен ехать к начальникам для донесения и ходатайствования прощения виновным. Вы же идите по каморам, а если не хотите расходиться, то спокойно ждите моего возвращения в коридоре 3-й роты. Согласны?

– Согласны!

– Обещаете ждать тихо и мирно?

– Обещаем!

– Ждать не менее часа?

– Согласны!

– Никуда не выходя из роты?

– Согласны!

Прежде всего Вадковский поехал в офицерские казармы, чтобы известить полкового командира о новой, более опасной вспышке возмущения.

Шварца дома не было. Где он находится – никто из его домашних людей и денщиков не мог сказать толком. «Не прячется ли, опасаясь мести?» – пришло в голову Вадковскому.

Тратить время попусту Вадковский не хотел, решил по своей воле ехать с донесением к бригадному командиру в его резиденцию.

Выслушав донесение, великий князь безусый Михаил Павлович нахмурил вислые брови, холодно спросил:

– Почему ты сразу не принял решительных мер к укрощению смутьянов властью начальника?

– Мое присутствие обратило толпу не к должному порядку, а к чисто внешнему, – ответил Вадковский.

– Что значит к чисто внешнему? – еще строже свел брови Михаил Павлович.

– Я имею в виду то, что мои увещания и уговоры не могли устранить застарелой боли, породившей возмущение, ибо такое устранение не в моей воле, его может сделать лишь высокое начальство.

Уверенный и спокойный тон полковника не нравился великому князю.

– Для чего ты осмелился слушать жалобы бунтовщиков?

– Слушать жалобу моих подчиненных я осмелился по прямой обязанности моей, к тому же никакой устав или закон сего мне не запрещает. Если я, командир баталиона, откажусь их выслушать, то могу ли я в дальнейшем надеяться на их уважение ко мне?

– Зачем вошел в соглашение с мятежниками? Зачем вступал в ненужные переговоры, рассуждения?

– Ни в какие переговоры, соглашения, равно как и в рассуждения с нижними чинами я, ваше высочество, не входил.

– Почему ты дерзнул дать безумное обещание возмутителям – ходатайствовать у начальников о прощении 1-й роты?

– Потому, ваше высочество, что я увидел всю крайнюю степень остервенения людей, одетых в гвардейские мундиры, людей, доведенных истязательствами полкового командира до грани отчаяния и не хотел дать этому остервенению обратиться в буйство, в полнейшее неповиновение, – обстоятельно разяснял Иван Вадковский. – Зная доверие солдат ко мне, я решил воспользоваться им, как единственным и, пожалуй, последним орудием, что оставалось в руках моих в столь накаленной обстановке. Люди порывались бежать из роты на поиски полковника Шварца, чтобы учинить над ним расправу. Люди могли разбежаться по полку и все баталионы привести в брожение. Я смотрю на события трезво: полк, самовольно вырвавшийся за ворота полкового двора, укротить не так-то легко. Вполне возможно, что если бы я своим обещанием не приковал их к коридору 3-ей роты, то могли

запылать разграбленные кабаки, и могло нарушиться спокойствие всего города. А сейчас я спокоен: баталион мирно ожидает моего возвращения в казармы, а не буйствует вместе с другими однополчанами по харчевням, трактирам, кабакам.

Михаил Павлович, услышав об угрозе спокойствию всего города, угрозе, отведенной от столицы распорядительностью полковника, перестал обстреливать его вопросами, звучащими как тяжкое обвинение.

– Немедля поезжай за генералом Бенкендорфом, – приказал Михаил Павлович. – Я не хочу ни во что вмешиваться. Можешь доложить ему обо всем...

Вадковский поспешил к Бенкендорфу. В кабинете генерала он столкнулся с полковым адъютантом Бибиковым.

– Беда, Вадковский! – увидев его, воскликнул Бибиков. – Вскоре по твоём отъезде весь 1-й баталион и частью других двух пришли в брожение... Толпа возмутителей сгрудилась на полковом дворе.

– Это не могло не случиться! – в сердцах сорвалось у Вадковского.

Бенкендорф вышел из-за стола, обратился к Бибикову:

– Спешите к великому князю и просите его высочество немедленно приехать в дом корпусного командира. А вы, господин полковник Вадковский, тотчас отправляйтесь в штаб, соберите всех полковых адъютантов, явитесь с ними ко мне, и мы вместе поедem к командиру корпуса.

Вадковский поскакал в штаб полка. Выполнив повеление генерала, он скоро возвратился в штаб.

Стоя у стола, Бенкендорф выслушал его доклад о положении в полку и потребовал себе шинель.

– Едем к командиру корпуса!

Через несколько минут Иван Вадковский, в присутствии Бенкендорфа, посторял доклад перед генералом Васильчиковым. Вадковский докладывал не без тайного чувства злого торжества над командиром корпуса, своими распоряжениями поставившего себя в крайне затруднительное положение.

Генерал Васильчиков, рыхлый человек с одутловатыми щеками, слушал донесение, сцепив зубы, и в глазах у него таился испуг.

– Каково ваше мнение, господин полковник, насчет сих крайне опасных обстоятельств? – спросил Васильчиков.

– Безотлагательное удаление от командования Шварца сразу же внесет необходимое успокоение, – решительно высказался Вадковский. – Виной всему – Шварц. И только Шварц!

– Еще какие меры полагаете полезнейшими для быстрейшего восстановления нарушенного бунтовщиками порядка?

– Осмелюсь прежде всего заметить, ваше превосходительство, я ни вчера, ни сегодня не видел ни одного бунтовщика в баталионе! – начал Вадковский почтительно, но без раболепия. – Затем дерзну внести на ваше благоусмотрение два совета.

– Слушаю.

– Я прошу вас, господин корпусной командир, вместе с отстранением от командования полком и преданием суду Шварца возвратить роту его величества...

Васильчиков сделал большие удивленные глаза:

– Однако не слишком ли вы распорядительны, господин Вадковский? Вы уже не только отстранили Шварца, но и готовы отдать его под суд. К тому же, если я вас правильно понял, вы не согласны признать роту его величества виновной.

– Если государева рота и провинилась, то вина падает не на одну ее.

– А на кого еще? – встрепенулся Васильчиков. – На весь баталион? На весь полк? И что даст возвращение бунтарей?

– Возвращение государевой роты из крепости восстановит порядок и тишину и пресечет распространение слухов об этом несчастном приключении.

– Вы убеждены?

– Смею утверждать, что по отдаче обиженной роты полку, полк завтра же в полной исправности вступит в караул, и тем будет положен конец всякому шуму и роптанию.

– Значит, вы приехали ко мне за тем, чтобы попытаться спасти от наказания провинившихся? – развел руками Васильчиков.

– Вовсе не за тем, ваше превосходительство, – отвечал полковник Вадковский. – По смене полка с караула вы, как корпусной командир, вольны произвести наказание над виновными, какое вам заблагорассудится.

Выслушав, Васильчиков встал и категорично заявил:

– Роту его величества я ни под каким видом не освобожу из крепости, хотя бы вы ползали у меня в ногах! Таковой безрассудный поступок только уронил бы престиж начальства в глазах подчиненных, показал бы слабость начальства, чего я допустить никак не могу. Поезжайте, полковник, в казармы и объявите ждущим вас: в восемь утра я прибуду в полк и произведу инспекторский смотр. На вас возлагаю ответственность за могущие быть беспорядки. Уговорите людей разойтись и лечь спать.

И тут же обратился к генералу Бенкендорфу:

– Приказываю лейб-гвардии Измайловский полк приготовить к караулу! Сам я сейчас имею намерение ехать к графу Милорадовичу.

От порога он вернул Вадковского:

– Предписываю вам доставить мне через особого посыльного офицера подробное донесение о том, какое действие произведут в полку переданные мной приказания. Офицера с вестями буду ждать у Милорадовича.

Вадковский возвращался в полк в дурном настроении – от начальства ничего не добился и порадовать солдат было нечем. Не выполнена самая главная их просьба – выручить из крепости государеву роту.

13

После отъезда Ивана Вадковского в казармы прибыл командир 3-й роты Сергей Муравьев-Апостол. Капитан был уверен, что любое его приказание будет с охотой и беспрекословно выполнено солдатами.

– Что у вас за беспорядок? – спросил он после рапорта дежурного. – Ночь не для того, чтобы толпиться в коридоре, а для того, чтобы спать. Идите-ка по своим каморам!

– И рады бы, да не можем нарушить повеления, – объяснил унтер-офицер с одним настоящим, с другим рисованным усом (ус месяц назад вырвал полковник Шварц). – Командир батальона приказали ждать в коридоре 3-й роты.

– Если бы можно было спать в коридоре, то мы выполнили бы и ваше приказание, – заговорил пожилой солдат с болезненным темноватым лицом (после пинка в живот, недавно полученного им во время учения от Шварца, он занедужил).

– Можете ночевать здесь, только не шумите, не галдите и не мешайте спать другим, – без колебаний разрешил Муравьев-Апостол.

Кое-кто стал укладываться на ночевку прямо на полу. Другие продолжали тесниться кучками по обоим концам коридора.

– Конвой! Конвой! – вдруг раздался тревожный возглас с лестницы. – За нами прислан! Всех хотят гнать в крепость.

Вмиг повскакали с пола те, кто уже утомился. Выскочили за порог и те немногие, что согласились разойтись по каморам.

И опять все пришли в смятение, сделалось шумней прежнего. Сергей Муравьев-Апостол не смог подчинить себе роту, всегда послушную, исполнительную. Сейчас и его слова были не в расчет.

– Все на двор!

– Булгачь остальных! Согласны и в крепость, только не поодиночке!

По лестнице загремели каблуки. Люди валом валили на волю. Вместе с солдатами стремглав выскочил и капитан Муравьев-Апостол.

– Это же не конвой, а караул возвращается из маскарада! – выбежав наперед толпы, закричал он. – Никто не собирается отсылать вас в крепость!

Караул, кем-то по ошибке принятый за конвой от начальства, помог смятению в несколько минут разлиться по всем остальным ротам.

Муравьев-Апостол при всем его авторитете и благоразумии уже ничего не мог сделать с солдатами. Они, словно по чьему-то указанию, рассыпались по другим ротам полка, увлекли за собой тех, нерешительных, кто отсиживался по каморам, разбудили тех, что спали или просто лежали на нарах, припугнули и выгнали домоседов. Больные и те не усидели – двинули вместе со всеми.

К 1-му батальону присоединился 2-й батальон всеми 4-мя ротами. Нестройный солдатский говор гудел на обоих этажах по всей казарме. Ротные командиры не знали, что им делать с подчиненными. Никакие уговоры не действовали. Солдаты рвались за ворота с намерением идти к гвардейскому штабу, а оттуда – в Петропавловскую крепость, чтобы разделить с арестованными все кары начальства.

– Подымай и 3-й батальон! – раздалось в толпе.

– Пошли!

Скоро и весь третий батальон высыпал на полковой двор.

За стенами высокой ограды, отделявшей полковой двор от города, на площадях и улицах было безмолвно и тихо, а здесь, перед госпиталем, все бурлило и кипело. Впервые за всю историю своего существования гордость государственной гвардии – Семеновский полк – пришел в такое брожение.

На угрозы офицеров солдаты повторяли короткий, ставший общим для всех, ответ:

– Поддай сюда государеву роту, а не так, то и нас всех сажай в крепость, чай про всех там места хватит.

Все три батальона смешались в возбужденную толпу на полковом дворе. Разбуженные верховыми нарочными, съезжались к своим батальонам и ротам остальные командиры, но их присутствие уже не могло водворить успокоение.

Муравьев-Апостол поехал с тревожным донесением к полковому командиру, но Шварца и на этот раз не оказалось дома, домашние люди его не знали, где он находится.

Появился среди бушующего солдатского моря на полковом дворе испуганный полковой адъютант Бибилов, прискакавший с намерением восстановить порядок оглашением свирепого приказа командира полка, но, услышав и увидев все, что тут происходит, усакал.

Неповиновение, непослушание с каждой минутой все определеннее обретало черты мятежа. Фузелеры, гренадеры – унтер-офицеры в один голос настоятельно требовали безотлагательного освобождения государственной роты. Дух возмущения, особенно ярко проявленный на полковом дворе 1-й, 2-й, 3-й фузельерными ротами, за какой-нибудь час охватил весь полк. Но уважение к офицерам оставалось неизменным даже при самых горячих порывах возмущившихся, порывах, грозивших разразиться ураганом буйства и погрома.

Муравьев-Апостол, примчавшийся обратно в полк, наблюдал за кипенью нескольких тысяч людей со странным, доселе не знакомым ему чувством смутной тревоги и тайной радости от сознания того, что все происходит именно таким вот образом: «Перед грозой воздух бывает насыщен ее нарастающим дыханием. Приближение грозы ощущает все живое на земле, не только люди, но растения и травы, даже воды рек и озер, задолго до того, как блеснут ее огненные глаза и донесется первый глубокий вздох. Неужели начинается пора предгрозовья? Неужели близка гроза с ее пушечной пальбой?.. Что бы там впоследствии не сказали о молодцах-семеновцах васькичовых, бенкендорфы, закревские, волконские, шварцы, аракчеевы и сам коронованный Шварц Павлович с его братцами, какой бы грязью их ни облили, они первыми показали пример всем. Пример всей гвардии, всей армии. Пример нам, офицерам. Я свидетель рождения военного мятежа. И не раскаиваюсь. Я рад увидеть и услышать семеновцев вот такими, какими их вижу сейчас перед собой!»

В памяти, словно благовест отдаленного, но могучего колокола, раздавались строки из ходящей в списках рылеевской сатиры:

Тогда вострепещи, о временщик надменный!

Народ тиранствами ужасен разъяренный!

«Разъяренными эти люди, вчерашние хлебопашцы и ремесленники, одетые в тесные мундиры, изуверски стянутые ранцевыми ремнями, сделаться могут. Не сомневаюсь. Но

тиранами – едва ли? Я уверен, что среди стоящих передо мной мятежников в груди гудит, как и в моем сердце, поэтический благовест провозвестника бунтов и мятежей! Очистительный благовест. Среди семеновцев немало умеющих писать и читать. В казармы заносят не только водку, но и журналы. Сколько одних исключенных семинаристов обретается в полку...»

А полковник Вадковский все не возвращался.

На площади перед госпиталем беспрерывно раздавались то громче, то глуше голоса возмущившихся. Надежда на исходатайствование государевой роте прощения от начальства заставляла полк терпеливо ожидать полковника.

– Братцы, не тот живет больше, кто живет дольше, – Муравьев-Апостол по голосу узнал рассудительного ефрейтора из 3-й роты, с которым любил побеседовать при случае. – Не та несчастна голова, которая за честь гибнет, а та несчастна голова, которая гнид на себе носит. Пойдемте-ка, кто смел да умел, покажем Шварцу, что высока у хмеля голова, да ноги жиденьки.

– Пошли! – громкий приятный тенорок отозвался с другой стороны двора. – И чтобы Шварц зря на Питер не возводил хулы: не батюшка Питер бока наши повытер, поломал наши ребра тесаками кровопийца Шварц!

Одной искры хватило, чтобы сразу запылали все несколько тысяч буйным костром.

– Веди, согласны!

– На части разорвем!

– По пальцу из рук, из ног повыдергаем!

– Живком – камень на шею и в реку!

Толпа рванулась к наглухо запертым воротам, будто готовилась выломать их всеобщей неукротимой ненавистью, слившейся в единый удар.

У Муравьева-Апостола от этого порыва тысяч людей холодок пробежал по телу, его воображению представилась жестокая картина – в руки несправедливо обиженным семеновцам попался трусливый Шварц. Как они с ним обойдутся? Что останется через несколько минут от спесивой, надменной туши в полковничьем мундире? Где он теперь – не дай бог, не вздумал бы в этот час показаться на полковом дворе или в полковой канцелярии.

– Шварц вернулся домой! – объявил кто-то в толпе. – Видели, как он юркнул в офицерские казармы.

– Ворона на место, а соколы с места! Айда в казармы!

– Открывай ворота! – рявкнули хором.

– Солдаты! Унтер-офицеры! К вам обращается Муравьев-Апостол! – подбежав к запертым воротам, закричал капитан. – Или уж и я стал плох? Или я виноват?

– Ты не виноват, виноват Шварц!

– Если я перед вами ни в чем не виноват, значит, я вам не враг, значит, я вам желаю добра. И вы мне того же, думаю, желаете. Под страхом строжайшего наказания запрещаю ломать ворота.

– Мы ломать не будем! Мы отворим и затворим.

– Толпой выходить на улицу запрещаю!

– Мы не толпой. Мы десятками. По десятку от баталиона. И хватит против Шварца.

– Мы его не тронем, мы ему только скажем: мы тебя почитали за апостола, а ты не стоишь кобеля бесхвостова!

– Скажем, погладим дубиной по спине и уйдем!

– Мы повернем все наши беды воротами к полковнику Шварцу.

Насмешки над Шварцем встречались смехом из тысяч уст.

Несколько десятков солдат все-таки отправились на ночные поиски Шварца. Для Муравьева-Апостола, Кошкарова и других офицеров был ясен исход грозной встречи солдат с командиром полка – не оставят не втоптанном в грязь не только куска полковничьего мяса, но и суконного лоскутка от шинели свирепого истязателя. Его искал суд, о котором Муравьев-Апостол не мог сказать, что этот суд пристрастный, что он разбоя злее.

«Какой же благородный дух спаял их в одну семью? Подозревали ли мы еще вчера, что наши солдаты способны на такое? И подозревали и нет... Никакие государевы отрезвления не искоренили из их душ силы общности и готовности идти вперед без оглядки.

Идти вперед, даже если никто их не ведет... Мы отговариваем их, сдерживаем, слегка пугаем, а они ничего не страшатся. А если бы в этот огонь умело подлить хорошего масла? Если бы все командиры, проникшись такой же храбростью, встали впереди своих взводов, рот и батальонов? Впереди полков и дивизий?.. Впереди гвардии и армии, то что бы остановило их?» – от одной мысли об этом Сергей Муравьев-Апостол будто опьянел. Ему вдруг захотелось из уговаривающего командира сделаться первым мятежником, слить свой голос с тысячами вот этих бурлящих людей, встать во главе, призвать к оружию.

К нему подошел взволнованный юный Бестужев-Рюмин.

– Ну, как настроение, Миша? – дружески спросил Муравьев-Апостол.

– Как и у них, – кивнув на солдат, отвечал тот. – Если им удастся проучить Шварца, то я на них не останусь в обиде. Надеюсь, и вы, капитан?

– Но ведь и нас потянут к ответу. Не боитесь?

– Я люблю всякие волнения и ненавижу всякую тишину. – Он знал доброе к себе отношение Сергея Муравьева-Апостола и в разговорах с ним не таился. – И пример беру с вас, Сергей Иванович.

– Но я никогда не считал себя образцом для подражания, – отвечал Сергей Муравьев-Апостол. – Напротив, я сам всегда ищу в людях образец для себя. Как вы находите, растерзают они Шварца?

– Дай им бог удачи, – улыбнувшись, сказал Бестужев-Рюмин. – Только нынче, глядя на семеновцев, я понял, почему Наполеон нашел в России могилу своей славе. Какие же все-таки молодцы – им ничто нипочем!

– А мне и радостно, и грустно.

– В бурях – радость.

– Пропадут ни за что ни про что наши орлы. Царь никогда им не простит. Милости и щедроты заменит преследованием до конца дней своих. Уж если за малейшее проявление либерализма он отрезвляет горячие головы в каменных погребках-казематах крепости, то легко себе вообразить, как он поступит с семеновцами, со всеми с нами. Да к тому же если они сшибут башку Шварцу.

– Как, по-вашему, капитан, это самопроизвольно зародилось, подобно вихрю в тихий летний день, или кто-то исподтишка подтолкнул? – спросил Бестужев-Рюмин.

– Самопроизвольно существует только вечная и бесконечная вселенная, а всему, что происходит на земле, есть причина...

– Я тоже так считаю. – И вдруг мысль подпрапорщика обратилась к другому. – Шварца долой, вместо него надо полковника Вадковского! Под его командованием, как и при Якове Алексеевиче Потемкине, Семеновский полк вновь обретет утраченные блеск и славу.

– Я высоко ставлю ум, способности и высокие правила Вадковского, но после такой истории едва ли ему дадут полк, – предсказал Муравьев-Апостол. – Наверняка не дадут. Не упекли бы его под военный суд, пожар-то начался в его батальоне. Не поздоровится и Кошкаррову вместе со штабс-капитаном князем Щербатовым. Стервятник граф Аракчеев уже, поди, наострил против них когти.

– Правда ли, будто Шварцу покровительствует Аракчеев?

– Если бы не покровительствовал, то этому дубовому пню в мундире никогда не видеть бы Семеновского полка, как свинье неба.

– Откуда только такие пни берутся?

– В России лесу много... До прихода к нам этот байбак подвизался в полку имени самого графа Аракчеева.

– Проще сказать, законченный аракчеевец без примесу... Понятно, почему он палачествует над солдатами, как Малюта Скуратов.

Усталый Муравьев-Апостол отправился домой.

Со стороны офицерских казарм донесся резкий крик, звон разбитых стекол, и все это заглушил пронзительный разбойничий свист.

Весь минувший воскресный день полковник Шварц не мог отделаться от страха перед солдатским самосудом. То, что он поутру услышал во дворце от великого князя Михаила Павловича и от графа Закревского, ободривших его и обещавших поддержку, не прибавило ему храбрости. Он не показывался в полковой канцелярии, и офицеры напрасно ждали его указаний и распоряжений. Только после взрыва возмущения Шварц понял, как велика злоба против него, как накалены сердца солдат, которые еще вчера безропотно трепетали перед ним.

С наступлением вечера беглец совсем потерял голову, не зная, где сыскать безопасное убежище на ночь. Ночевать в своей квартире он опасался – не схватили бы спящего; ехать к приятелю в Измайловский полк стыдился – всяк назовет такой шаг трусостью. Искать спасение в доме у Аракчеева или у генерал-губернатора Милорадовича было опасно тем, что от них с первой же эстафетой узнает государь от его непохвальном поведении в тот момент, когда от командира требуется отвага, рассудительность, твердость, готовность пойти на риск. Ни одного из этих качеств он не обнаружил в себе.

В полночь по темным улочкам, держась подальше от хилого света уличных фонарей, он, переодевшись в штатское, пробрался поближе к офицерским казармам, но войти в свою квартиру, где его ожидали с минуты на минуту, не решился.

Столица, как бы пробудившись от длительной спячки, обратила все свои взоры на Семеновский полк. На улицах там и сям толклись любопытствующие. Шварц крался к дому, страшась быть кем-нибудь опознанным, названным по имени. Пробираясь около одних ворот, он вдруг услышал разговор. Фабричные толковали о том, как семеновцы стакнулись стоять дружно против предателя – полкового командира и покарать его лютой казнью за все злодеяния.

– Кликнули бы и нас, уж так и быть, подмогнули бы своим ребятам, – сказал громко один из этих людей.

У Шварца зашевелились волосы. Он, пряча голову в поднятый воротник сюртука, юркнул за угол. И долго бродил, словно призрак, около забора, и все ждал, когда угомонится разбушевавшийся полк.

«Я знаю, попадись им в руки, они растерзают меня... Но если они без меня ворвутся в мою квартиру, что станет с семьей? Они, эти разъяренные звери, не пощадят никого... Они разбойники. Что я скажу в свое оправдание государю, если останусь жив? – Неизбежность встречи с раздраженным государем страшила крахом карьеры. – Я скажу ему, не оправдываясь: как начальник, как командир полка я во всем виноват. Но как человек, я прав, ибо, уклоняясь от встречи с солдатами, помышлял единственно о том, чтобы не подвергнуть их жестокой каре за возможное мое умерщвление...»

В конце концов, поборов страх, Шварц постучался в свою квартиру. Здесь он нашел все в полном порядке.

– И днем, и вечером трижды были люди из полковой канцелярии, вас разыскивали, – доложил человек у порога. – Спрашивали и господа офицеры: полковник Вадковский, полковой адъютант Бибилов, капитан Муравьев-Апостол.

Денщик помог оторопевшему полковнику снять сюртук. Шварц с утра ничего не ел, но от ужина отказался. Лицо его за день утратило свежий цвет, осунулось, в мутных глазах не проходил испуг.

– Никого не пускать в квартиру, – приказал он денщику, – двери запереть на все запоры, какие только имеются.

Со свечой в руке заглянул он в комнату, оклеенную розовыми обоями. На кровати спокойно спал сын.

Положив под подушку два заряженных пистолета, Шварц велел подать в спальню стакан чаю и пирожок с изюмом – любимое свое лакомство.

Денщик внес на подносе чай и пирожок, в этот миг зазвенели разбитые стекла; едва не угодив полковнику в голову, в стену ударил камень.

Подсвечник со свечкой покатился со стола, свеча погасла, денщик, облившись чаем, выскочил в переднюю.

С улицы вместе с ночным ветром ворвались возмущенные крики солдат.

– К ногтю гниду!

- За такого злодея и сам бог не взыщет.
- Утопить тирана!
- Повесить!
- Кишки вымотать.

Под ударами тесаков затрещала дверь. Слуга в ливрее с галунами и денщик вместо того, чтобы оберегать хозяина, сами не знали, где и как укрыться.

Еще минута-другая, и отряд мстителей вломился в квартиру. Шварц, забыв о заряженных пистолетах, выскочил в окно, что выходило в глухой закоулок.

Впереди и справа – высокая кирпичная стена, слева – конюшня, между нею и забором в узком тупике – огромные кучи перепревшего навоза. Шварц, не видя иного спасения, бросился к кучам и с головой зарылся в рыхлый, горячий навоз.

В квартиру тем временем ворвались разъяренные семеновцы; от некоторых из них сильно разило хмельным. Они бросились по всем комнатам искать ненавистного командира, но не находили и оттого делались еще суровей. Проснувшийся мальчик выбежал из спальни в переднюю. Какой-то гренадер с одним усом вытолкнул мальчишку за дверь.

В руки мстителям вместо самого полковника попался его парадный мундир с золоченым воротником. Воротник с треском оторвали.

- Недостойна такая свинья щеголять в золоте!

Истоптали мундир и, не найдя того, за кем охотились, покинули квартиру.

Кто-то предлагал поджечь дом, кто-то советовал выставить засаду около дверей, кто-то вызвался доброхотом порубать полковника тесаком, как только он покажется.

Одноусый схватил подвернувшегося под руку мальчика – приемыша – и потащил к пруду, что находился шагах в тридцати от дома.

– Что ты творишь? – закричал на одноусого унтер-офицер. – Мальчишка не виноват. И не трожь!

Он отнял мальчик из рук остервеневшего одноусого и отвел в квартиру. Воротясь к солдатам, сказал с жестокостью:

– Ежели вырастет и будет таким же зверчеловеком, как папаша, то успеем и ему сорвать голову. Надо пошарить вокруг да около, не за дворами ли, не в тех ли вон кучах притаился басурман-анчихрист.

Унтер-офицер пошел к конюшне, за ним – остальная буйная ватага. Зарывшийся в навозную кучу слышал приближающиеся голоса и уже от страха не мог больше шептать спасительную молитву.

15

В офицерских флигелях было так же беспокойно, как и в солдатских казармах.

Полковник Ермолаев, не любивший одиночества, часто оставался ночевать у своего друга капитана Муравьева-Апостола.

Вот и нынче он устроил себе постель на софе у Муравьева-Апостола.

- Я устал, как собака, и страшно хочу спать, – сказал он, разделся, потушил свечу.

Оба они заснули сразу же. Но спокойно поспать пришлось недолго. Со свечой в руке вошел слуга и разбудил капитана:

- Солдаты присланы депутацией от всего полка.
- Депутация?..

Муравьев-Апостол проворно обулся, надел мундир и даже пристегнул шпагу.

– Дмитрий, вставай, – потряс он Ермолаева, – что-то там разгорается. Пришла депутация от солдат... Но почему ко мне?

Пробудившийся Ермолаев остался в домашнем халате.

- Пускай войдут сюда, – посоветовал он.

Вошла депутация. В числе депутатов были солдаты от первой, второй, третьей и пятой фузелерных рот. Каждого из них знал в лицо Муравьев-Апостол.

- Ну, вы что, ребята? Почему не спите? – спросил капитан.

– До сна ли теперь, Сергей Иванович, всем полковым сходом к вам присланы, – отвечал Торохов. – С великой просьбой полк обращается и просит поверить нашему честному слову.

– Что же за слово? Как же я не поверю семеновцам? Среди вас вон я вижу и солдат из моей третьей роты: Чистякова, Янтаря, Гульбина, – строго, но не заносчиво говорил Муравьев-Апостол. – Говорите, что у вас ко мне?

– Мы готовы ружья, тесаки похватать и бунтом идти против генералов-подлецов, которые грозятся растерзать и нас, как растерзали, говорят, в крепости государеву роту, – мужественно заявил широколицый Чистяков. – Все согласны! Между всеми ротами полная договоренность! Только некому вести! Солдаты просят господ офицеров возглавить нас... А мы не обманем. Мы на все готовы. Нам ничего не страшно. А которые станут противиться или убоятся бунта, тех силой выгоним и смертным боем бить будем!

У капитана Муравьева-Апостола, ожидавшего чего угодно, но только не этого, солдатская просьба вызвала двойственное чувство: с одной стороны, тайный восторг мужеством этих простых людей, с другой – тревогу за их судьбу. Полк находился на волоске от вооруженного мятежа. Фитиль уже поднесен к бочке с порохом, дело за искрой. И вот эту искру солдаты ищут среди офицеров.

– Грабежей, поджогов и убийств не будет, – обещали солдаты. – Мирных никого не тронем. Только подлецов генералов распотрошим. И купцов не обидим.

– Господа офицеры, не оставьте же нас с нашим гневом наедине, – просил Янтарь. – Только клич бросьте, а уж мы постараемся... Мы хотели ехать к нашему бывшему командиру Потемкину, да не знаем, где живет. А мы готовы пойти всем полком не только за генералом или старшим полковником, но и за любым нашим капитаном пойдем! А за таким командиром, как Сергей Иванович, все готовы, хоть сейчас, с радостью! Умрем, а не отступимся!

– Возьмите над нами полную команду! – просил Торохов.

– Мы не хуже гишпанских орлов и тоже не убоимся взять за ушко да вывести на солнышко того, кто нам всех больше насолил, – вдруг припомнил музыкант Михайло Коколов памятные слова, когда-то услышанные от капитана Муравьева-Апостола. – У нас тоже терпению пришел предел.

– Надо будет – не только генералов-подлецов, а и самого плешивого лукавца, государя-обманщика тряхнем! – всех удалей и решительней оказался бесстрашный Заброцкий, каким-то образом ускользнувший из своей роты по пути в крепость. – А чем наш царь лучше гишпанского короля? Такая же шкура и сволочь! Через него страдаем! Мерзавец Шварц – первый царский друг.

Резкость Заброцкого не всем понравилась. И на него зашикали свои же солдаты.

– Я говорил, что Заброцкого не надо в депутацию, – сказал Янтарь.

– Господа офицеры, не обращайтесь внимания на слова Заброцкого, он бывает горяч да без толку, – смягчал речь приятеля Торохов. – Мы с нашим государем вражды иметь не хотим. Мы не против государя. Мы против подлецов!

Каждого из этих решительных людей Муравьев-Апостол готов был дружески крепко обнять, расцеловать, поздравить, назвать героем. Но он не сделал этого из осторожности, продиктованной интересами большого дела, за которое лично нес ответственность, как член Коренной Управы Союза Благоденствия. Он с великой радостью принял бы их предложение и без колебания встал во главе трех тысяч бойцов, кипящих отвагой. Но не сделал и этого, потому что Союз не готов был к вооруженному выступлению.

Тяжело было Муравьеву-Апостолу, может быть, впервые за все время службы в Семеновском полку огорчить солдат, надеявшихся на него и ждавших от него самой решительной поддержки.

Ему в эту минуту подумалось, что вот и он способен поступиться самым дорогим и священным для человека – совестью, и говорить честнейшим людям в лицо не то, что переполняет его душу, чем кипит мысль, горит кровь... Он сказал им с начальнической строгостью:

– Братцы, давайте условимся: вы не видели меня, а я не видел вас; вы мне ничего не говорили, и я ничего не слышал... Так будет лучше... Идите спать, братцы... Я вас всех люблю и любить буду до конца дней моих, что бы там с вами не случилось... Но не делайте того, что вы задумали... Послушайтесь меня, я добра вам желаю...

Он увидел в глазах у депутатов не только жестокое разочарование, но и недоверие к нему, офицеру-дворянину. Солдаты понуро опустили головы. Слишком огорчительно было услышать отказ. Да еще от кого – от капитана Муравьева-Апостола, которого все считали героем и самым справедливым человеком в полку.

– Э-эх! – не стерпел Заброцкий и бросил киверную шапку о пол.

Депутация покинула квартиру Муравьева-Апостола. Солдаты безмолвно выходили из офицерского флигеля. И каждый из них будто целую каменную гору нес на своих плечах – так подействовало на них вразумление капитана.

На столе догорала накренившаяся над чайным блюдом оплывшая восковая свеча. Муравьев-Апостол и полковник Ермолаев стояли один против другого и, словно испуганные, молча смотрели удивленные в глаза друг другу. Капитан в первые минуты не мог отдать себе ясного отчета в том, что же он сделал? Поступил честно или бесчестно? Что о нем сейчас думают депутаты? Кем они его считают? Посмеет ли он завтра прямо и откровенно смотреть им в глаза? Погасил или не погасил он своим внушением дерзновенный замысел героев духа? Именно настоящими героями духа были все они для него в эти минуты.

– Что я сделал, Дмитрий Петрович? – вдруг спросил он растерявшегося полковника Ермолаева. – Как ты расцениваешь мой поступок? Эти чудесные смельчаки опередили нас... Вернее, не события, а нашу готовность держать под своим контролем оные. И я, кажется, поступил благоразумно, руководствуясь не эгоизмом, не низкими побуждениями страха, не трепетом перед наказанием, а соображениями совсем иного порядка? Или же я просто растерялся перед грозными событиями?

Ермолаев будто пребывал в глубоком шоке, и взгляд его оставался каким-то отсутствующим. Это начинало пугать капитана.

– Ты ничего не говоришь – ты не одобряешь моего решения, моего ответа солдатам, – взяв Ермолаева за руку, с нарастающим волнением высказывал все свои сомнения и противоречия смятенный Муравьев-Апостол. – Ты считаешь меня недостойным твоей дружбы? Неужели я не прав? Бунт преждевременен! У нас еще нет прочной основы в других гвардейских полках... Да я и не уполномочен без ведома Коренной Управы решать такие дела. Я все-таки, кажется мне, поступаю благоразумно, думая о завтрашнем дне, о главной нашей цели... Очнись же, Дмитрий Петрович, твое молчание меня убивает!

– Я счастлив! – воскликнул Ермолаев. – Счастлив тем, что дожил вот до такого дня! Теперь я с гордостью могу назваться русским офицером! Минуту назад я видел перед собой истинных героев! Я слышал их! Я уверовал в них! Они преобразят Россию! Рано или поздно, но преобразят. Позорные дни единовластия не вечны! – Ермолаев был так возбужден, что у него порой начинали дрожать руки. – Твое вразумление все равно не потушит огня. Бунт неизбежен! И дай-то бог. Но я не стал бы глушить их очистительного порыва. Они святые люди! Вот это и есть геройская Россия! Честь и слава ей! У меня бережется две бутылки клико. Слуга!

Вошел слуга.

– Принесешь от меня вино и позовешь капитана Кошкарлова! Скажи, срочно просит Ермолаев.

Вскоре они, стоя около стола, пили клико и возбужденно рассуждали все о том же – об отважных солдатах, ищущих себе вожака среди офицеров.

– Вот когда бы русскому Риеге свистнуть в два пальца, вся бы гвардия, уверен, пошла за ним, – возгорался все больше Ермолаев. – Молодцы! Герои!

Все его тосты нынче были только за солдат, а все проклятия он отсылал Шварцу, Васильчикову, Бенкендорфу, Закревскому, великому князю Михаилу Павловичу, но, пожалуй, всех больше доставалось от него отсутствующему в столице царю. Он подбадривал капитана Кошкарлова, призывая его не падать духом и ни при каких обстоятельствах, даже под страхом смертной казни не выдавать ни одного из зачинщиков среди солдат и нижних чинов.

– Так и знай, Коля, кто солдата выдаст или предаст – тому нет места среди человечества, тот будет отвергнут не только друзьями, но и всем человечеством, – положив руку на плечо Кошкарлову, говорил он, – а я без всяких условий готов пристрелить предателя

на поединке или без поединка. Возможно, тебе как временному командиру государственной роты придется туго, но будь человеком до конца.

Ермолаев не сомневался, что Кошкаров таким и останется.

Бутылки опорожнили. Кошкаров ушел. Муравьев-Апостол снял мундир и опять лег в постель. Ермолаев, накинув халат хозяина, лежал на софе и все еще продолжал хвалить солдат-вожаков. Свечу не гасили. Внезапно прерванный сон уже не возвращался к Муравьеву-Апостолу. Он все еще сокрушенно думал о том, что терзало его мозг и грудь – об отказе возглавить солдатский мятеж.

Но вот ресницы его начали смежаться. Он опять ощутил благодатное веяние сна над изголовьем. Что-то стукнуло около самого уха. Он открыл глаза. Около его кровати стоял в мундире и при шпаге полковник Ермолаев.

– Благослови, Сергей Иванович, и пожелай удачи! А если выспался, то приглашаю со мной...

– Ты куда?

– В полк.

Муравьев-Апостол, сидя на кровати, отдернул занавеску.

– На улице тьма, полночь.

– Они просили кликнуть клич, и я, подчиняясь повелению совести, иду к ним, чтобы кликнуть этот клич и остаться с ними до конца... Иду, чтобы умереть вместе с ними... Но я не собираюсь уступить жизнь мою по дешевой цене, – эти слова не были бравадой полковника, и это сразу почувствовал капитан.

– Дмитрий Петрович, я самого высокого мнения о твоей совести, – вскочив с постели, в одном нижнем белье Муравьев-Апостол заступил дорогу полковнику. – Ты горяч, порой слишком горяч, я это знаю! Но послушайся меня: не ходи! Не надо! Я не боюсь ни суда, ни смерти! На меня возложена большая ответственность, и если я тебя не оберегу от такого рокового поступка, то я окажусь лицом, не оправдавшим возложенную на меня комиссию. Во всяком случае этой ночью братья за оружие рано, просто неразумно.

– Бунтоваться никогда не рано! Чем раньше, тем лучше! – не сдавался Ермолаев, стараясь обойти капитана и покинуть покой.

– Это несерьезно, Дмитрий Петрович, – урезонивал Муравьев-Апостол. – Через несколько дней, возможно, все может измениться, и тогда я первый призову тебя на то дело, на которое ты рвешься сейчас.

– А по-моему, мы упускаем такую возможность, которую Россия ждала целых сто лет и которая еще может лет сто не повториться. Жалеть будем, что не воспользовались.

Ермолаев, уступая уговорам друга, сел на стул, но снимать мундир не захотел.

– Я читал в «Зеленой Книге», что ты мне давал, и там есть прямой призыв к человеколюбию, – припоминал прочитанное Ермолаев. – Высшим проявлением человеколюбия я считаю не красивые разговоры в салоне или на масонском сборище. А выступление с оружием в руках за поправленного и униженного человека! Одна пуля, пущенная во врага, принесет человечеству больше пользы, чем все оргии перепившихся и обожравшихся чревоугодников франкмасонов! И ты, друг мой, не препятствуй мне проявить высшее человеколюбие.

– Мне в голову пришла вот такая мысль: до нынешнего события никто из нас по-настоящему не знал душу русского солдата, не знал и не понимал во всей глубине его умонастроения. Не понимал, конечно, и я! Солдат во сто раз лучше, нежели мы думали о нем.

– А солдаты, в свою очередь, по-настоящему не знали душу и умонастроение своих командиров. Да, не знали, – с беспощадностью к самому себе заметил Ермолаев. – Мы оказались во сто раз хуже, нежели солдаты думали о нас. О том говорит наш холодный ответ на их призыв...

Муравьев-Апостол вскоре задремал. Ермолаев, придерживая шпагу, вышел на цыпочках из покоя с намерением сейчас же отправиться в полк.

Утренник припудрил инеем жухлую траву около забора, вставил хрупкие стекла в лужицы. Подмороженная тонкая корочка потрескивала под ногами. Ветер, став суше, дул резвей и задиристей.

С полуночи и до рассвета взбунтовавшийся полк простоял перед госпиталем на полковом дворе. Ни уговоры, ни угрозы баталионных и ротных командиров не могли заставить солдат вернуться в постылые казармы.

Трехтысячная толпа всю ночь повторяла одно и то же требование:

– Или подай сюда государеву роту, или и нас всех сажай в крепость!

– Мы все своими мыслями с государевой ротой!

– Ежели бы великий князь пожелал говорить с нами, мы бы ему ответили точно так же, как и государева рота!

С наступлением рассвета у наглухо запертых ворот полкового двора начали собираться толпы жителей.

Ворота распахнулись – на полковой двор въехал верхом генерал-губернатор Милорадович с двумя адъютантами. Бравый кавалерист по-парадному держался в седле. Взгоряченный трензелями резвый скакун вороной масти не мог успокоиться, выгибал шею колесом, тряс гривой, подергивая поводья, словно просил свободы у всадника. Отличный авангардный генерал, сподвижник Суворова в Италии, спаситель Бухареста твердо стоял в стременах, прямо с седла обратился к притихшей толпе:

– Здравствуйте, молодцы!

– Здравия желаем, ваше... ство! – на диво дружно грянул весь толпившийся в беспорядке полк.

– Давно вы тут бунтуетесь?

– Мы не бунтуем, мы все – покорнейше ждем ответа на нашу всепокорную просьбу.

– И давно ждете?

– С полуночи!

– Не до сна, когда за всех нас погибает государева рота.

– Давайте-ка, братцы, расходиться по покоям, – мирным тоном заговорил Милорадович. – Не будем упрямым своевољствием огорчать ангельское сердце нашего всемилостивейшего государя-императора. Вы его любимцы, его гордость!

– Не хотим в казармы!

– И еще ночь простоем, пока не уважат нашей жалобы!

– Куда же вы хотите?

– Да хоть в Петропавловскую крепость, уж если господом богом положено и нам пострадать за других, как другие пострадали за нас. Примем без ропота и этот крест.

Перебирая поводья с серебряными бляшками, Милорадович красовался перед толпой на рысистой все время беспокойно пританцовывающей лошади. Он с разных сторон пытался подойти к солдатскому сердцу.

– Семеновцы, стрелки, гренaдеры, унтер-офицеры, я говорю с вами, как старый солдат говорит с другом по оружию. У многих из вас грудь украшена Георгиевскими крестами. Не вместе ли с вами громили мы полумиллионную армию на поле Бородинском? Не вместе ли принимали ключи от Парижа из рук поверженного вашей беспримерной храбростью коварного врага нашего отечества? Во мне и в вас бьется славянское сердце! В моем и в ваших сердцах горит славянский пламень отваги. В моих и ваших жилах течет горячая славянская кровь! И моему и вашему уму дороги и близки наши славянские думы, славянские песни. Так неужели мы, как братья, не пойдем и не уважим друг друга? Вы, други мои, солдаты, опаленные, израненные в боях, и я – солдат, прошедший через огонь тех же боев!.. Идите, братцы, по своим каморам... А там во всем разберемся...

– Без государевой роты никуда не пойдем.

– Ни пить, ни есть, ни спать не хотим без нашей головы. А наша голова в крепость посажена.

Генерал-губернатор держался перед непокорным полком, не обнаруживая ни растерянности, ни гнева. Говорил он весело, и разговор этот, казалось, доставлял ему удовольствие. Хотя виски его слегка убелились первыми сединами, холеное лицо оставалось молодым. Он, очевидно, не без умысла приехал в полк, как на высочайший смотр – в

парадном мундире при ленте, орденах и прочих регалиях. Один уж вид его долженствовал произвести на солдат впечатление.

– Шалуны вы, ребята, шалуны. Пора кончать шалость. Пошалили, и хватит, – уламывал он солдат. – Давайте отдохнем, разойдись по казармам, а там, с богом, за свое святое дело – государеву службу. Кто государю отменно служит, тот не горюет и не тужит.

– А нам тужить приходится.

– И горе принимать великое через командира Шварца, – гудела толпа.

Неуступчивость гренадер веселила сердце Муравьева-Апостола. На его глазах происходило событие, которое уже давно ждали и призывали думающие офицеры. Он был свидетелем окончательного крушения выдуманной царем и царскими сановными приспешниками легенды о беспримерной верности гвардии императорскому дому, о ее беспрекословной слепой покорности бездарным генералам. Сворачивалось первое за всю историю отечества преобразование души солдатской: войско в лице самого привилегированного полка заявило о готовности стоять до конца за свои права и за тех, кто пострадал, защищая эти права.

Испробовав все доводы, Милорадович развел руками, сожаляющее покачал головой и уехал.

Полк продолжал стоять перед госпиталем.

С улицы через забор заглядывали мальчишки, мастеровые. Среди мещан и обывателей у забора скопилось немало фабричных людей.

Не прошло и часу – на полковой двор въехали генералы Бенкендорф и Бистром.

– Где командир полка? – спросил Бенкендорф у службистого полкового адъютанта Бибикова.

– Со вчерашнего дня никто не видел полковника Шварца, – отвечал Бибиков.

– Странно, – себе под нос проговорил Бистром, брезгливо сложив губы.

Бенкендорф вынул из портфеля бумагу и, подняв над головой, показал солдатам.

– Можете успокоиться и разойтись по казармам. Всепокорнейшая ваша справедливая жалоба на командира полка Шварца высшими начальниками рассмотрена и уважена. Приказом по корпусу полковник Шварц с сего часа отстраняется от командования Семеновским полком, командиром оного назначается господин генерал Бистром. Он прибыл к месту своей службы, чтобы принять полк на законном основании. Итак, вот ваш новый командир! С этой минуты подчиняетесь только его повелениям!

Но безуспешно прилагал усилия новый полковой командир в попытках удалить полк со двора, нарушить его монолитность. Семеновцы стояли на своем: верните государеву роту.

– За своеволие будете наказаны по всей строгости государевых законов! – пригрозил Бенкендорф.

– Мы не своевольники! Мы за справедливость согласны пострадать все вместе.

– При бывшем командире Потемкине мы не допускали своеволий.

– При Потемкине никогда бы такого неустройства не случилось!

– Потемкин был русский человек и понимал русского солдата!

– А всякие шварцы-баварцы ведут дело на изничтожение и самого солдата, и солдатской доблести!

Бенкендорф и Бистром ни с чем покинули полковой двор. Теперь им представлялось бессмысленным разведывать пущих зачинщиков к мятежу – весь полк сплошняком мятежный.

Бистром, приехав в штаб, созвал адъютантов и приказал им принять все меры к розыску пропавшего полкового командира.

В квартире от людей Шварца удалось узнать о ночном побеге перепуганного полковника через окно... А дальше след его терялся. Разыскивающие вернулись в штаб и высказали предположение о возможном убийстве Шварца возмущенными солдатами, ворвавшимися ночью в его квартиру.

Бистрому это предположение представилось вполне достоверным, и он, прекратив розыски, немедленно поехал с докладом в гвардейский штаб к Васильчикову.

Надменный, но сильно перетрусивший Васильчиков, отдав повеления о том, чтобы привели в боевую готовность полки, квартировавшие в Петербурге, в смятении ждал новых неприятных вестей. После неудачи парламентариев Милорадовича, Бенкендорфа и Бистрома единственной надеждой оставался своенравный тридцатидевятилетний генерал Потемкин. Ему, бывшему прославленному командиру Семеновского полка, поручил Васильчиков любой ценой склонить солдат к повиновению, ведь слово Потемкина для семеновцев – всегда радостный призывный клич.

Зная свою горячность, чрезмерную, гневливую несдержанность, в глубине души уже сожалея о сгоряча принятых крутых мерах и вместе с этим не допуская и мысли об отмене опрометчивого распоряжения, жертвой которого стала государева рота, командир гвардейского корпуса изобретал благовидные предлоги для того, чтобы избежать личной встречи с мятежным полком. Он страшился последствий такой встречи.

Но чаяния его не оправдались: поездка Потемкина к семеновцам не увенчалась успехом, переговоры ни к чему не привели. Солдаты встретили его восторженно, у многих блеснули слезы на глазах.

Давнишняя многолетняя дружба генерала с солдатами не помогла ему успешно выполнить поручение; все попытки генерала без всяких угроз уговорить солдат смириться со злосчастной участью, постигшей государеву роту, встретили единодушное непоколебимое сопротивление.

В расстроенных чувствах покидал он полковой плац.

Обо всем об этом заметно огорченный Потемкин, блистательный генерал в отличном мундире Семеновского полка, доложил Васильчикову и теперь, сидя напротив него перед столом, ожидал какого-то решения. Командир корпуса в раздумье пожевал губами и обратил растерянный взгляд на Потемкина.

– Как будем дальше? Я не верю, что в этом умысле не замешаны офицеры. Солдатам без их наущения не додуматься бы до такого маневра.

– Я ручаюсь за благонадежность и верность присяге большинства офицеров-семеновцев, – ответил Потемкин. – Происшествие крайне прискорбное, но не следует делать из него далеко идущих выводов.

– Ну, что ж, придется мне их уговаривать картечью! Я уже отдал распоряжение на этот счет, – ошарашил Васильчиков генерала.

Потемкин выпрямился, с удивлением глядя на командира корпуса.

– Ради бога, генерал, не прибегайте к таким крайним мерам. Прошу вас изыскать иные способы умиротворения. Крайность породит крайность.

– Все решено. Я еду сам к бунтовщикам и поступлю с ними военной рукой, – резко ответил Васильчиков. – Но чтобы они не вырвались из шор, в которые я их возьму, надо изыскать способ лишить их оружия и патронов!

– Крайне опасно, генерал... Мы не знаем: согласятся ли они, будучи возбужденными, отдать оружие и патроны, – трезво рассуждал Потемкин. – Судя по их единодушию, они не уступят оружия. Что вы сделаете дальше? Бросите на них другой вооруженный полк? Может вспыхнуть кровавая потасовка.

– Их надо перехитрить. И я перехитрю разбойников. План у меня созрел еще ночью и одобрен великим князем Михаилом Павловичем.

Васильчиков вызвал адъютанта и велел пригласить генерала Бистрома. Едва тот переступил порог кабинета, Васильчиков отдал повеление:

– Берите, генерал, в свое распоряжение егерей и по возможности как бы исподтишка стягивайте их ближе к Семеновским казармам и ждите удобный момент. Я еду в полк. И когда я на полковой площади отвлеку внимание бунтовщиков от ворот, вводите егерей на площадь и, никого не задирая и не отвечая на задирки, не мешкая, занимайте пустующие казармы, отбирайте оружие и патроны... А с безоружными мы сумеем справиться. Полагаюсь на вашу порядочность и энергичность, генерал.

– Приложу все усилия!

– Егерские полки у нас самые надежные из всех пехотных. Имейте в виду, вы будете действовать не один: к площади подвинет конно-гвардейский полк генерал Алексей Орлов, ему уже отдано приказание.

И Васильчиков велел адъютантам подавать к крыльцу дрожки. Внезапная решительность командующего гвардейским корпусом подавить силой оружия безоружных людей возмутила Потемкина, и он в резких словах высказал свое несогласие Васильчикову, но тот уже не хотел считаться ни с чьим мнением.

Кровопролитие казалось неотвратимым.

«Если бы нашелся среди нашего брата русский Риега или Квируга и, встав перед мятежниками, кликнул: «За мной!», то можно не сомневаться, эти люди пошли бы за ним против сил ада, — размышлял Сергей Муравьев-Апостол, бродя по полковому двору и прислушиваясь к солдатским разговорам. — Каждый из них кипит. Вот выйти сейчас наперед полка и бросить клич: «Ребята, за мной! Выручим государеву роту из крепости! Не дадим погибнуть за правду нашим братьям!» — и взвоят ураган настоящего мятежа. Ничто не устоит перед такой силищей: ни дубовые ворота, ни железные запоры, ни каменные башни. За семеновцами взвихрить преображенцев, павловцев, лейб-гусаров, егерей, морской экипаж... Разве в других полках меньше накопилось гнева и ненависти, нежели у нас, у семеновцев?» От охватившего его страстного желания сделать сейчас же то, о чем он думал, закружилась голова...

Наступил полдень. Полк продолжал стояние на плацу перед госпиталем, не теряя надежды добиться исполнения начальством общего требования.

— Командир корпуса едет! — крикнул кто-то от ворот.

Ворота распахнулись. На полковой двор въехал в беговых дрожках генерал Васильчиков. Солдаты сбились в беспорядочную толпу, преградив путь экипажу на госпитальной площади. Генерал вскочил с сиденья, и в руках его все увидели грязный, порванный полковничий мундир. Семеновцы узнали мундир Шварца.

— Где бывший командир полка? — гневно загремел Васильчиков. — Куда вы его дели? Кто ночью разбойничьим побытом вломился в квартиру командира? Нанес оскорбление чести полковничьего мундира, вы нанесли оскорбление государю-императору. За посягательство на живот командира будет отправлен на виселицу каждый пятый! А если и дальше окажете сопротивление, то все поголовно подвергнетесь экзекуции! По казарма-а-ам! — скомандовал он, будто пролаял.

Минуту трехтысячная толпа безмолвствовала.

— По казарма-а-а-ам!!

Безмолвие вдруг взорвалось тысячами голосов:

— Государеву роту верните нам!

— Без государственной роты никуда не пойдем!

— Готовы принять экзекуцию, но вместе с головной ротой!

— А полковник Шварц — собака! Собачью смерть бог не велел оплакивать!

— Государь не велел карать за собачью смерть!

— Государеву роту на волю!

— Государева рота погибает, а нам велят идти по казармам. Не согласны!

— Государева рота пострадала за всех за нас!

— И мы за нее готовы потерпеть!

В вихре голосов тонул и терялся голос Васильчикова. Он понял, что ему не перекрыть их, не подавить волю к сопротивлению угрозой беспощадной расправы. Генерал сомкнул уста, швырнул на пол экипажа изодранный мундир, дал толпе выкрикаться.

— Все? Требование ваше неисполнимо! Слышите? Не-ис-пол-нимо! Объявляю: роту его величества отдать вам никак нельзя до приезда самого государя. Рота посажена в крепость и будет сидеть до изъявления высочайшей воли.

— Наше намерение твердо: без государственной роты никакое повеление не признавать! — кричали с разных мест из толпы.

— Если ваше неразумное намерение столь твердо, то и вам всем места хватит в крепости! Крепость велика! Мало одной, еще подберем.

— Веди в крепость, мы не против!

— Пойдем с покорностью... Мы не разбойники и не возмутители.

— Открывай ворота! — раздавалось там и тут.

Толпа заколыхалась, заволновалась, зашумела пуще прежнего, готовая навалиться на плацные ворота и выломать их одним натиском – лишь брось призывный клич.

– Веди в крепость!

– Дай дорогу – и мы сами себя отведем туда!

– Вы пойдете в крепость не вольной ватагой, не базарной толпой, а в полном военном порядке, – предупредил Васильчиков. – Пойдете вместе со своими командирами, под их началом. Обязательно полное соблюдение тишины и спокойствия на всем пути следования.

– Согласны!

И толпа постепенно уgomонилась.

– Военный суд грозит всем вам, – все еще не оставил Васильчиков попыток застрашать солдат.

Из толпы в ответ летели голоса:

– Над земными судьями есть божий суд!

– Суд не страшен, страшны судьи!

– Я без суда прикажу расстрелять каждого десятого! Там, на эспланаде Петропавловской крепости! – выходил из себя Васильчиков.

– Расстреливай!!! – тысячью глоток рванула толпа.

В это время на полковой двор вошли егеря и бросились занимать казармы семеновцев.

Рука Сергея Муравьева-Апостола рванулась к карманному пистолету. «Что они творят? Разве семеновцы уступят свое оружие егерям? Кровопролитие неминуемо».

В солдатской толпе раздались разноречивые голоса: одни взывали к братским чувствам егерей, другие призывали к отпору. Но егеря уже успели занять казармы. Полк лишился оружия. На полковой плац въехали пушки. Их появление едва ли кого устрасило. Семеновцы шутками встречали проезжающих мимо пушкарей.

По казармам с воплем побежали солдатские жены, призывая тех немногих солдат, которые отсиживались по каморам, чтобы и они шли на плац.

– Чего вы притаились? Весь полк угоняют в крепость!

– Не гоже подставлять под тесаки чужую шею!

– Идите все вместе.

И солдаты, даже те, кому нездоровилось, покидали казармы и присоединялись к товарищам.

И до полкового госпиталя донесся призывный вопль солдатских жен. Хворых никто не неволил выходить на плац, но они сами, узнав, какая кара угрожает однополчанам, несмотря на препятствия полкового медика и фельдшера, самовольно покидали больницу. Когда догадливые лекари заперли двери на ключ, больные начали выскакивать из окон. С подвязанными щеками, с забинтованными головами, с перебитыми руками на перевязи спешили недужные к своим ротам, а один скакал на костыле, с согнутой в колене ногой. Ни горячка, ни острый приступ ревматизма не удержали солдат на больничной койке.

– Вы зачем? Вы куда? – спрашивал Сергей Муравьев-Апостол недужных солдат. – Отлеживались бы в гошпитале.

– Грешно отлеживаться, когда товарищей притесняют.

– Больней всякой боли несправедливость.

Среди хворых капитан увидел трех стрелков и из его роты. Они встали в строй. «Какова спайка! – думал Муравьев-Апостол. – Вот он – непобедимый русский солдат!»

17

Свершилось невероятное: три тысячи человек, одетых в шинели, в сопровождении офицеров, рота за ротой, в порядке военном, выйдя из полковых ворот, направились к Петропавловской крепости.

Они шли мирно, спокойно, не нарушая тишины. Молчаливое шествие привлекало внимание толпившихся на площади и улицах возбужденных жителей столицы. Генералы и ямщики, князья и каменщики, графини и торговки сбитнем, кадеты и дворовые мальчишки кучами толпились на тротуарах на протяжении всего пути.

Столица уже знала о заточении государевой роты. Но мало кто думал, что могут бросить в казематы весь полк. Да какой полк!

Фуражные шапки солдат и начищенные кивера унтер-офицеров, будто выравненные по мерилу, плавно колыхались в такт ровному, четкому шагу.

У солдат и сопровождающих офицеров глаза слипались от усталости и бессонницы. Начиналась ветряная морось. Но народу на улицах не убывало.

Сергей Иванович Муравьев-Апостол шел впереди своей роты, стиснув зубы и сжав кулаки. Невероятное происшествие поразило его. Он не находил никаких оправданий ни существу самого нелепого повеления, ни возмутительной форме, в какой оно исполнялось. Но, как офицер, он чувствовал себя обязанным беспрекословно выполнять приказание старшего. Справа и слева среди толпящихся зевак он замечал знакомые лица офицеров, статских, чиновников, артистов, писателей. Взрыв негодования на Семеновском плацу подобно подземному толчку привел в брожение всю столицу. О семеновцах заговорили буквально все – и серьезные люди, и легкомысленные.

Когда последние ряды длинной колонны покинули полковой двор, к казармам подкатил во вместительной коляске, одолженной у Шаховского, отставной полковник Ермолаев. У ворот, у входа в казармы, на лестницах и в каморах голосили осиротевшие солдатки и солдатские дети. От их надрывных причитаний разрывалось сердце.

– Жены солдатские, хватит вам реветь! – провозгласил Ермолаев. – Собирайте для своих мужей, у кого что имеется из обуви, одежды, из съестного. Я передам вашим мужьям. Да быстро.

Женщины метнулись в каморы к семейным сундукам, корзинам, наскоро собирали свертки, клали в них, у кого что имелось.

И скоро натащили полную коляску. Ермолаев погнал во весь дух. Нагнав семеновцев, он раздал по рядам свертки (там разберутся, кому что предназначено) и опять приехал к казармам, чтобы погрузить передачи, которые припасли, куда он ездил.

Пока вели арестованных до крепости, полковник Ермолаев успел сделать несколько ездов в оба конца, успел оказать добрую услугу многим солдатам.

Колонна растянулась более чем на версту.

Головная рота вышла на Фонтанку.

Вот и дом Александра Ивановича Тургенева. У крыльца с жестяным козырьком Муравьев-Апостол увидел в куче мещан широколицего, всегда внешне спокойного Александра Тургенева.

– Куда идете? – спросил Тургенев правофлангового унтер-офицера.

– Под арест в крепость... Все из-за Шварца-подлеца.

Вон и брат Александра Тургенева – Николай. Лицо его омрачено печалью. Сколько, сколько таких омраченных лиц на каждой улице. Эти люди скорбят по чужому горю.

А сколько плачущих в голос солдатских детей, солдатских жен с младенцами на руках плетется за полком к крепости!

Вот какой-то отважный солдат в мундире Московского полка бросился к крайнему в ряду семеновцу, обнял его и со слезами проговорил:

– Братья наши, знайте, москвичи никогда не пойдут против вас! Брат на брата не поднимет оружия.

Вытерев глаза ладонью, он пошагал рядом с головным строем муравьевской роты и все о чем-то говорил с арестованными. Командир роты не удалял его.

Недалеко от Троицкого моста к муравьевской роте пристроилось несколько преображенцев. Они тоже вслух выражали свое сочувствие семеновцам.

Муравьев-Апостол услышал, с каким возмущением и горечью говорит рослый преображенец годов сорока:

– Ваша гибель скажется и на нас. Ваша беда откликнется и нам бедой.

Генералы на панелях сочувственными взглядами провожали мирно шагающий полк. И они растроганы до слез. Ни в чьих глазах Муравьев-Апостол не находил ненависти или смятения.

Безоружный полк продолжал печальное шествие, а столица тем временем с поспешностью необыкновенной наполнялась войсками: вводились части гвардейских казачьих, кавалергардского и гренадерского полков, они занимали ключевые позиции в городе в целях предосторожности и устрашения жителей.

Кряжистые пушкари разворачивали орудия на площадях, у мостов, на позициях, удобных для обстрела картечью прямых улиц.

18

На Фонтанке, недалеко от квартиры Тургеневых, отставной подпоручик Рылеев увидел попавший в немилость Семеновский полк. Он сразу догадался: «Гонят в Петропавловскую...» В крепостных казематах уже томила́сь государева рота.

Он увидел двух или трех знакомых семеновцев, с одним даже удалось обменяться приветствием.

Шествие обезоруженных гвардейцев, не утративших достоинства и в беде, всколыхнуло его до глубины души. Видал он на маршах, парадах, смотрах батальоны, полки, дивизии, бригады, корпуса, но ничто так не врезалось в сердце, как эта картина, тронувшая его чуткое к чужим радостям и горестям сердце. Вместе с толпой по-обывательски любопытных, но равнодушных зевак и людей, озабоченно встревоженных, пошел и он за полком.

Город, наводненный войсками всех родов, становился похожим на прифронтовой. Обилие войска на улицах сеяло не успокоение, а еще большую смуту среди горожан, порождало фантастические толки и слухи, то нелепые, то полные страхов и ужасов.

Рылеев шел за опальным полком, повторяя в мыслях строки из собственной сатиры «К временщику», только что напечатанной в столичном журнале «Невский зритель», строки, как бы отлитые из звонкого металла.

Поэт и сам немало дивился тому, что его рыцарски обнаженное творение пропустила неусыпная цензура. Проглядел цензор или же и среди цензоров встречаются люди с умом, сердцем и честью? Радость омрачалась предчувствием гонения и мести со стороны лица, бесстрашно выставленного поэтом на моральную казнь. Аракчеев, как никто другой, умел расправляться с противниками и знал вкус во мнении.

То, что сейчас происходило перед глазами, показалось Рылееву как бы живым продолжением его дерзкого поэтического вызова.

«Всякая поэзия имеет смысл и завоевывает право на внимание к себе лишь тогда, когда она свое начало берет вот на такой, как эта, улице и находит свое завершение на улице, – думал Рылеев. – Если это еще не первый гром, то предвестник первых раскатов...»

Рядом с ним шли незнакомые люди: местные и приезжие, купцы, торговцы, ремесленники, мастеровые, обыватели, мещане.

Жалкий вид солдатских жен и детей в ветхих лохмотьях и рубищах, в голос вымаливавших неведомо у кого помилования мужьям и отцам, печалил поэта. С младенческих лет его отличало сострадание к людям. Чужое горе он переживал как свое. С отрочества в нем горел дух протеста против несправедливости, лжи, лицемерия, жестокости, коварства. Мятежные веяния, откуда бы они ни долетали – из книг ли, из самой ли жизни, – он впитывал, не зная утоления. Не все в этих веяниях легко поддавалось претворению в действие. Однако они не пропадали бесследно для ума и характера. Грозовая туча тоже не сразу обретает заряд сокрушительной силы.

Рылеев признал колоритную фигуру знаменитого портновских дел мастера – пожилого солдата Ефтея Протасова, который год назад с напарником шил суконную шубу на дому у Рылеевых и, чтобы не скучать за шитвом, тешил сам себя и всех, кто его слушал, забавными рассказами об уморительных похождениях ловких портных и прочих разных мастеровых. Запасники в его памяти казались неисчерпаемыми, а умение рассказывать просто и образно было так совершенно, что Рылеев с истинным наслаждением подряд несколько вечеров слушал этого самобытного Гомера, родом откуда-то с Кубри-реки из-под Переславля-Залесского.

И портного вместе с фузелерами, гренадерами, флейтчиками, барабанщиками гнали в крепость.

Морось сменилась дождем. Ветер свирепо бросался на прохожих, на заборы и строения. С унылым свистом ошаривал мертвенные сады и пустые клумбы.

19

Угрюмая, похожая на гигантский могильный склеп крепость, обнесенная валом, разверзла чугунную пасть, чтобы заглотнуть в прожорливое каменное чрево сразу три тысячи человек.

Из ворот навстречу семеновцам вышли хромой комендант крепости желтолицый генерал Сукин и вечно хмельной плац-майор Подушкин с глазами оловянного цвета. О жалком старике инвалиде Сукине, отупевшем и обесчеловечившемся от раболепия и пресмыкательства, по столице ходили презрительные рассказы. Его называли одноногим псом, приставленным стеречь двери ада. Его равнодушие к страданиям жертв заточения можно было сравнить лишь с холодностью камня ужасных стен, которые он оберегал. Рассказывали о нем, что он вместе с плац-майором любит поживиться, обирая узников, живых и умерших.

В этот день в крепости в наружном и внутреннем карауле стояли лейб-гренадеры. Они сочувственно встретили семеновцев.

– За что вас, братцы?

– За Шварца-подлеца!

– Командир нашего полка Стюрлер не чище вашего Шварца.

– Сегодня вы тряхнули Шварца, а завтра мы тряхнем Стюрлера.

Разговоры лейб-гренадеров с семеновцами вновь и вновь обращали Сергея Муравьева-Апостола к раздумьям об удивительно быстром стихийном созревании духа мятежного товарищества. В солдатских речах угадывалось сознание силы. «И вот этих людей мы, вернее не мы, а они, шварцы, стюрлеры, бенкендорфы, как скотов, бьют палками везде и повсюду, – с содроганием подумал Муравьев-Апостол. – Между тем солдаты при всем их горестном состоянии выше многих из нас. Где среди нас признаки солидарности и сострадания, какие я вижу и слышу на каждом шагу среди них? Русский солдат, как ни тиранствуют над ним всякие прибалтийские бароны, остается богатырем. А с богатырями шутить надо умеючи. Вот они что сулят Стюрлеру. Это же они могут посулить и Бенкендорфу».

Весь гвардейский штаб в полном составе следом за полком въехал в крепость. Прибыл на дрожках и Милорадович.

Командиры построили роты.

– По казематам! – скомандовал Васильчиков. – Не хотели разойтись по казармам, теперь будете ждать военного суда под стражей. Суд мною уже наряжен!

Семеновцы невозмутимо выслушали брань и угрозы и начали размещаться по казематам.

Генерал Сукин, припадая на деревянную ногу, подобострастно суетился перед блистательным Милорадовичем. Сергею Муравьеву-Апостолу было неприятно смотреть на пресмыкательство жалкого старика. В России все издревле держалось на лакействе. Чем одареннее лакей, тем выше его положение. Под мундирами, орденами, звездами, лентами, крестами скрыты едва ли не самые смердящие души. Да и можно ли их, этих как бы из дерева сколоченных столпов отечества назвать существами одушевленными? Они обладают лишь внешней оболочкой. А загляните под эту оболочку!..

Но они властвуют... Муравьев-Апостол чувствовал, как у него вздрагивают руки от возмущения.

Подошел юный подпрапорщик Михайла Бестужев-Рюмин. Заметно было, что грозные события не обескуражили его. Высокого роста, широкоплечий, он выглядел старше своих лет. Смелый и быстрый взгляд его свидетельствовал о том, что этот юноша умеет наблюдать, сопоставлять, оценивать и размышлять по-серьезному.

– Каковы? А? Я при всем самом высоком мнении о наших солдатах не ждал проявления такой доблести, – кивая в сторону казематов, с воодушевлением говорил он. – Хороший подарок преподнесли царю в Троппау. Если бы еще полка два взбунтовались! Всех в крепости не заточишь – казематов не хватит, как ни богата Россия тюрьмами.

Повеления об арестовании офицеров не последовало, и было разрешено им, кроме Ивана Вадковского и Кошкарлова, вернуться в казармы. Вадковского же и Кошкарлова прямо из крепости пригласили проехать в штаб гвардейского корпуса.

Луша вернулась в камору. Страшная печаль терзала ее. Душа ни в чем не находила успокоения. Такой тоски, как нынешняя, еще ни разу не знавала она. В этот день весь Петербург с его сказочной красоты дворцами и убогими хижинами на окраинах показался ей самым страшным и равнодушным к человеческому несчастью и страданиям городом. Обоймя голову, молодая солдатка неутешно заревела. Брызгал дождь, и наружные стекла плакали крупными слезами.

Вошла унтер-офицерша Кристинья Мягкова и с ней трехлетний малыш в заплатанной холщовой рубашонке и с морковкой в руке. И Кристинья за эти дни выплакала все слезы, вид у нее сейчас был такой, будто она целый месяц не вставала с больничной койки.

– Солдатки, что делать-то? – тужила Кристинья, присев на табуретку около стола. – Зима на пороге, а уже слух пошел – скоро всех нас выгонят из казарм. Бездетным горе, а нам с детьми – вдвое.

– Ой, правду мне говорили отец с матерью, когда Иван, придя в домовой отпуск, посватался ко мне, не зная с солдатом спокойя и счастья в жизни не увидать, так и получилось, – жаловалась на судьбу Луша. – А вдруг их не выпустят из крепости? Или в Сибирь угонят?

– Пускай в Сибирские полки посылают, только бы из темниц выпустили, – решительно говорила Кристинья. – Мужей в Сибирь, и мы за ними. А чего страшиться? Глаза страшатся, а руки делают, ноги версты меряют. Дойдем как-нибудь, только дали бы до тепла дожить, чтобы детишек малых не поморозить. А я, скажу тебе, Луша, не боюсь никакой Сибири: чай, и в Сибири живут люди. И ты не бойся и на судьбу свою не ропщи, коли по любви, по доброй воле шла замуж. Тебе легче, нежели мне: ты моложе меня, здоровьем крепче, и детей пока что у вас нет.

– Нынче нет, а время придет, и появятся.

– И этого не страшись, а радуйся. Плохо одно, больно мало у нас скоплено на черный день, – не жаловалась, а говорила истину Кристинья. – Мой, как и твой, такой был добряк, что за все годы для себя и для семьи так ничего и не скопил, словно красное солнышко, свое последнее валил в артельный котел, хотелось обогреть каждого. Да я и не виню его... Зато никто плохого слова о нем не сказал. – Она порой прерывала речь, сильно кашляла.

Луша, глядя на нее, думала: «Уж не чахотка ли привязалась? И в лице ни одной свежей кровинки, а годами не так-то уж стара».

– Вся надежа, солдатки, на скорое возвращение государя, – продолжала Мягкова. – От здешних генералов нечего ждать послабления, они хотят во всем привинить солдат. Весь первый батальон, в котором наши-то служат, день и ночь допрашивают. Говорят, скоро допрошатели и за нас примутся.

– Не приведи-то бог, – в ужас приходила Луша от одной мысли о допросах в следственной комиссии.

– А коль позовут в комиссию, смотри, девка, лишнего слова не оброни в ущерб нашим, – наставляла Кристинья, – я в свое время насмотрелась на этих поганных допрошателей, негодяев, мерзавцев и вымогателей.

– Я ничего не знаю.

– Вот так и говори, самый верный ответ.

Мальчик сгрыз морковку и потянулся к начищенным солдатским ремням, манившим светлыми пряжками и бляшками, что разложены были на широкой скамье, примкнутой к стене.

Вошла остроносая Хватова, в черных очках с крупными круглыми стеклами. На ней был длинный темный сарафан с алыми оборками, на плечи накинута серая вязанка.

Малыш посмотрел на нее и сказал серьезно:

– А ты как галка!

– А ты как воробей! Что, семеновец? Вот как я тебе отплатила! – наклонилась Хватова и легонько ладошкой похлопала малыша по штанишкам.

– А я не воробей! У меня и нос не такой! И черных колесиков на нем нет. А ты галка, – развеселился мальчишка.

– А галка – птица благородная, дворянского звания, она в Питере живет, сырные корочки клюет, – распевно завела речистая Хватова, – а воробей звания крестьянского, он в деревне под стрехой живет, мякину клюет... Вот и ты, воробей, полезай под стреху.

И мальчишка опять занялся ремнями. А солдатики продолжали мыкать горе, которому не видно было конца и края.

– Семеновки, вот что я вам скажу, – начала о своем деле Хватова. – Все волнение произошло через фельдфебеля Брагина, из-за рыжего пса. Он всех возмутил, а с какой целью – и не догадаешься. Какой-то свой интерес преследовал, я всегда считала его своекорыстным. На него на одного и надо все валить, если допрашивать станут. И солдатам-то бы то же присоветовать, вот только как с ними свидеться.

– А Брагин ли во всем виноват? – усумнилась Луша.

– Кто же, кроме него? Брагин всех взбулгачил. Он и господ офицеров поднял на ноги среди ночи, а кабы не поднял, солдаты разошлись бы спать, – уверенно обвиняла фельдфебеля унтер-офицерша. – Брагин всех и взбунтовал, пускай он и отвечает.

– Ежели Брагин всех поднял, так уж скорей всего он радел не ради своей корысти, а к общей выгоде всей роты, – возражала Луша, – ведь солдаты на него не жаловались. Он никого не обижал, даже новобранцев пальцем не трогал.

– Все равно я этого рыжего усатого кота не люблю, – не уступала Хватова. – Он противный какой-то, ему верить нельзя, и ты, Лукерья Никоновна, за него не заступайся, не стоит он твоего заступничества.

– Я не заступаюсь, – явно смутилась Луша.

– Заступаешься, девка, – моргнула Хватова. – Или сережки подарил? Или только обещал?

– Тетя Даша, да разве так можно? – тряхнула ее за плечо Луша. – Ты меня в краску вогнала.

– Вижу, что покраснела. А я вот что же не покраснела? Я подольше твоего живу в казармах и знаю все повадки рыжего казарменного кота, знаю, как он и за какими мышками любит охотиться, – резала напропалую Хватова. – Больно уж много интереса до чужих жен имеет и все выбирает помоложе...

Луша замахала обеими руками на Хватову, незлобиво упрекая ее:

– Ну и говоруша, ну и баена. Баешь, рассуждаешь, как порошей посыпаешь, знать, в мать пошла?

– И сама не знаю в кого, может, в мать, может, в отца, может, в проезжего молодца, – не сдавалась Хватова, которая и при несчастье не любила тужить и плакать. – А на твой порог этот рыжий разве не заглядывался? Разве не мурлыкал усладительные фельдфебельские песенки? Я знаю этого мурлыку, мой бы семеновец за такое мурлыканье ему усы вместе с головой отсек, а твой-то все по-христиански, вот и приучил усатого кота к порогу.

Хватова так разыграла Лушу, что хоть убегай от нее из покоя. Мягкова не вмешивалась в присказки соседки, потому что не знала, что в них назвать правдой, а что выдумкой.

– Вот так давайте и сговоримся, однополчанки, все на фельдфебеля Брагина валить, а своих мужей выгораживать, – призывала Хватова, не имевшая и малейшего понятия об истинной причине возмущения, о главных зачинщиках, к которым принадлежал и ее муж.

Она же чистосердечно считала его совершенно непричастным к происшествию.

– Не жалейте рыжего усатого кота, не стоит он вашей жалости; так и говорите везде и всем: Брагин затеял всю ночную катавасию.

– Дарья, знать, на тебе и креста нет, – вступилась в речь Мягкова. – Ежели фельдфебель Брагин и все начал, то зачем же его одного в яму валить? Он же не только для себя, а для всей государевой роты желал добра. Почему же такая к нему несправедливость? Он на риск шел! Ведь его Шварц мог наказать тесакми, как наказал пятой роты фельдфебеля Ащепкова за то, что тот зажиленные холсты для солдат требовал у начальства во время инспекторского смотра. Нет, я не согласна с тобой, Хватова.

Ветер с залива свистел в мачтах военных кораблей и шимботов на Кронштадтском рейде, пенил невские волны, со свистом налетал на неустойчивые парусники. Нева грозно темнела, словно собиралась за что-то отомстить огромному городу, утвердившемуся на века на ее болотистых берегах. На залив напознала мгла с моря, разъяренного до белой кипени. Она окутывала квартал за кварталом, остров за островом. Непогодь вела за собой сумерки раньше срока.

Вслушиваясь в угрожающие посвисты вихрей, Рылеев стоял около решетки набережной. Мятужное пробуждение реки навевало образы и мысли, просящиеся на бумагу. Лишь в мятежном брожении зарождаются и крепнут силы. Совсем недавно смиренно несшая холодные воды своенравная река, не раз дерзко отмщавшая порабощителям, на глазах у множества людей устрашающе быстро набирала буйные силы. Она всегда вот так ярится перед разрушительным броском на город. Стихийное непокорство ее готово сделать вызов всем: людям, царям и богу.

Плеск ее бунтующих волн, подобный реву водопада, сливаясь с шумом ветра, как бы пророчил городу басурманское нашествие и разрушение.

С кадетской поры любил Рылеев Неву вот такую, недовольную, рвущуюся из каменных берегов, дерзновенно готовую спорить с гранитом, железом и инженерной мудростью. Она своим бурлением будто подсказывала людям, как вести себя, когда им тягостно, неуютно, тесно в еще более мрачных, чем ее ложе, берегах человеческой жизни.

К Рылееву подошел хороший знакомый Федор Глинка. Он нынче, как и тысячи петербуржцев, едва ли не весь день провел на улице.

– Ветрено. Холодно, – сказал он.

– Кому холодно, а кому и жарко.

– Ты прав, Кондратий... Задали нам хлопот братцы-семеновцы, – ежась, говорил Глинка. – Мы с моим генералом две ночи не спали. На этом, думаю, встряска не кончится. Назначены круглосуточные патрули. Жандармское бдение усилено. Через каждые два часа приказано доставлять военному губернатору донесения о положении в городе. Твоя сатира, Кондратий, восхитительна. Но ко времени ли она? Политическая погода с воскресенья здорово испортилась и, кажется, надолго. Личность, в которую ты метил перуном, безусловно узнает себя. Но как она отнесется ко всему этому, глянув на свой нравственный портрет? Предположения разные...

– Я имел в виду в сатире Рубеллия и никого кроме, – ответил Рылеев, на его плотно сомкнутых губах Глинка заметил подобие застывшей улыбки.

– А я разве что-нибудь другое сказал? – отшутился Глинка.

Оба засмеялись, поняв друг друга.

– Пойдем, посмотрим, Федор Николаевич, на опустевшие казармы.

И они пошли. На углу одной улицы, где все еще толпилось много любопытных зевак, Глинку схватил за руку незнакомый Рылееву юркий человек с живыми острыми глазами. Рылеев обратил внимание на его крупные оттопыренные, как у теленка, уши и в мыслях улыбнулся.

– Господа, в Петербурге начинается революция! – воскликнул незнакомец.

– Помилуйте, да революцией и не пахнет, – сдержанно возразил Глинка.

– Что же это такое, если не революция? Гвардейские полки мнут, бунтуются! Гвардейцев загоняют в крепость. Генералы потеряли голову. Даже Милорадович растерялся... Бури неаполитанские долетели до невских островов...

Прислушиваясь к этим пылким речам, Рылеев смотрел с безразличным видом в сторону, давая понять Глинке, что он не желает заводить знакомства с этим громогласным господином.

– Не сорвали бы неаполитанские буйные вихри шапку с венценосца в Троппау и гвардейские кивера с его братцев, – громко рассуждал возбужденный молодой щеголь. – В России запахло Америкой! Это же хорошо! Если Россия, бог даст, обретет такое же нестесненное дыхание, каким наслаждается Америка, то она скоро весь мир удивит чудесами. В России такие колоссальные силы повержены в сон вечного бездействия, что их хватило б всю землю обновить, перестроить, переиначить и на месте российского ада воздвигнуть российский рай без тирании, без подлости, без лжи, без ненависти, без убийств

и насилий. С помощью молитв мир на земле русской и благоволение в сердце человека не воздвигнешь. Нужен меч революции, нужна решительность Робеспьеров и Маратов! А их у нас, увы, нет и не предвидится.

Рылеев покосился на него одним глазом, но ничего не сказал. Из-под черной шляпы с высоким круглым цилиндром, слегка расширенным кверху, выбивались кудерчатые смоляного цвета волосы. Разбитной незнакомец, заведя кого-то на другой стороне улицы, метнулся туда, бросив на ходу:

– Пардон! Нужно переговорить с одним весьма осведомленным лицом.

– Кто этот болтун? – спросил Рылеев.

– Григорий Перетц, сын известного петербургского ростовщика, – пояснил Глинка, – и чиновник нашей канцелярии.

– Вот уж никогда не думал, что у молчаливых банкиров могут родиться такие болтливые дети. Он всегда такой словоплодный?

– А я хотел вас познакомить.

– Но я же к ростовщикам не имею никакого отношения, Федор Николаевич.

– Он малый, кажется, не из дурных, – говорил Глинка, – Я к нему приглядываюсь и нахожу образ его мыслей довольно либеральным.

– У нас некоторые разучились проводить грань между либеральной болтовней и либерализмом истинным, то есть либерализмом действенным.

– Трудно бывает разграничить, Кондратий Федорович.

– Вон у нас некоторые, даже во дворце, считают опасным карбонаром издателя «Сына Отечества», безобидного словоплюя Николая Греча, самого верноподданного из верноподданных. А либерального словоблудия он действительно извергает немало.

– Ты, Рылеев, прав! Греч, кажись, на дурном счету у государя и на примете у моего шефа генерал-губернатора Милорадовича. За ним велено смотреть в оба. А вдруг окажется, семеновцы взбунтовались оттого, что начитались его статей в «Сыне Отечества».

Рылеев задорно рассмеялся.

– Шутник ты, Федор Николаевич! Распотешил ты меня в этот столь траурный для России день. Впрочем, нынешний день одет не только в траур... Начитавшись статей из «Сына Отечества», можно погрузиться в мертвый сон, но чтобы взбунтоваться?.. Для этого нужно совершенно иного качества чтение. Радищевское «Путешествие» надобно...

В дружеской беседе дошли они до Семеновских казарм. Здесь все еще толпились любопытные. Ворота на полковой плац были заперты. Егеря, занявшие казармы, сидели по каморам.

К казармам с разных сторон подкатывали дрожки, коляски, экипажи, брички с военными и штатскими. Публика нынче приезжала сюда из разных кварталов города узнать, что происходит в Семеновском полку.

Вот на дрожках лихо подъехал чуть ли не к самым воротам бравый драгунский офицер поручик Александр Бестужев. Узнав Глинку и Рылеева, он, сидя в дрожках, приветственно помахал им белой кожаной перчаткой.

Драгун, спрыгнув с дрожек, поговорил с каким-то подпоручиком, вышедшим с полкового плаца, и браво подошел к Глинке и Рылееву.

– Ну, что новенького у семеновцев?

– Семеновцы меняют амуницию в крепости, – сказал Глинка.

– А я торопился моим присутствием выразить им одобрение. Каковы наши ребята?! Вот удалцы! Кто в казармах?

– Егеря.

– А их когда поведут в крепость? Во дворце очень приятное настроение, похожее на самочувствие жителей у подножия Везувия в час, когда начинает просыпаться подземный титан и встряхивать землю, – энергично рассуждал драгун. Бестужев, отступив шаг назад, окинул восхищенным взором приятеля Глинки и спросил, будто незнакомого:

– Это вы тот самый Рылеев, который в последнем номере «Невского зрителя» опубликовал сатиру «К временщику»?

– Кажется, да...

– Разрешите обнять и поцеловать вас!

Обняв и расцеловав смущенного поэта, Бестужев взял его под руку и пылко заговорил:

– Россия давно ждала вашего прихода! С того дня, как она потеряла великого Радищева. Знаете ли вы, дорогой, отныне и навсегда боготворимый мною поэт, что ваша сатира уже, подобно вешнему грому, гремит в умах и сердцах друзей добра, справедливости и красоты?! Ею зачитываются все! Друзья бесчисленные вам заочно рукоплещут. Мстительные враги, увидев в магическом зеркале вашей сатиры свое отвратительное сановное мурло, взбешены и, конечно, готовы повесить вас на оглоблях саней, как беглого рекрута... Но вы не из тех, кто убегает с поля брани. Так ли, несравненный наш северный Ювенал?

Рылеев слушал пылкового офицера, склонив голову, его глаза были полны печали.

– Мужайтесь, поэт! Не падайте духом! Лучшие чувства лучших людей Петербурга и всей России на вашей стороне, равно как и на стороне Семеновского полка.

Они втроем втиснулись в дрожки и поехали от казарм.

– Мой ленивый домосед Бетанкур – и тот в тайном восторге от вашей сатиры, – рассказывал Александр Бестужев. – У себя за обедом в тесном семейном кругу заставил меня несколько раз читать и перечитывать вслух. Весь мир сразу же узнал в вашем временщике достопочтенного графа Аракчеева. Интересно, узнает ли он сам себя? И чем-то такое узнавание окончится? – И к Глинке: – А как встретил эту бомбу ваш высокий начальник Милорадович?

– Во всяком случае, я не заметил, чтобы у него испортилось настроение по прочтении последнего номера «Невского зрителя», – отвечал всегда осторожный Глинка. – Даже изволил пошутить: «Ценить надо стрелков, которые умеют хорошо целиться и точно пускать стрелу!»

Глинка стал рассказывать о лютых похождениях пропавшего без вести Шварца, о его педантизме, равном бездушию, о какой-то почти болезненной склонности к тиранству, о бироновской жестокости и бессердечности. И при всем этом Шварца нельзя было обвинить в нечестности, в экономическом ущемлении интересов солдат. Он не присваивал экономических денег из общей полковой кассы, не давал спуска солдатам, нижним чинам и командирам, если замечал кого или даже только подозревал в посягательстве на солдатскую копейку.

Когда же Глинка упомянул о высокомерно-презрительном отношении этого аракеевца ко всему русскому, Рылеев со свойственной ему страстностью заговорил:

– У России по ворохам и по крохам все разворовали алчные иноземцы, они ненасытные ловцы счастья, богатеющие на русской крови! Копнитесь поглубже, вдумайтесь и вы поймете сами. Все, все разворовали вплоть до русских имен и фамилий. Под прикрытием наших фамилий во сто крат удобнее обманывать, грабить, оскорблять русских и все русское. Пускай русские чудаки, кто попроще и подоверчивее, думают, что россияне топчут россиян! Кто ныне пользуется особым благоволением государя? Поворошите и увидите: Иван Иванович... Дибич. Генерал-адъютант. Кто этот Иван Иванович? Чистокровный пруссак. А вот еще Иван Иванович. Морской министр. Кто этот Иван Иванович? Полнейший французской выпечки и выучки беглец. Сколько их... Сколько их... Все эти Марии Федоровны и Елизаветы Алексеевны оттуда же, откуда и дибичи... Ныне все подделывают прожорливые саранчуки: золото, бриллианты, ассигнации, паспорта, имена, национальную принадлежность, всем спекулируют: национальной гордостью, женами, поместьями, должностями, чинами, хапают везде, где только можно: в судах, в департаментах, в армии. Перетцы, дибичи, адлерберги, медоксы – подлинное несчастье страны. Их прожорливость поразительна. Их жестокость, их бесчеловечность, их равнодушие к страданиям не имеют себе равных примеров... Они опустошают не только наши карманы, они опустошают наши души; они беззастенчиво обворовывают нас, но еще больше – потомков. Они презирают Россию, ее народы, ее язык...

Рылеев говорил так, как присуще людям истинно огненной души. Он сравнительно немного пожил на свете, но успел побывать во многих местах и многое повидать. В городе фешенебельных царских и аристократических дворцов, богатых особняков он научился видеть суровую жизнь трудового люда, читать по лицам униженных и оскорбленных.

Погода окончательно испортилась. Морось перешла в мокрый липкий снег.

На прощанье драгун Александр Бестужев, тряхнув новеньким кивером с высоким султаном, обнял Рылеева:

– Я люблю вас! И преклоняюсь перед вашим поэтическим дарованием. Вы не просто поэт! Вы поэт-гражданин!

– Я так мало сделал, вернее, я еще почти ничего не сделал и потому не заслуживаю столь высокой оценки, – стирая пальцами тающий снег с густых черных бровей, отвечал Рылеев. – К тому же поэтов нужно уважать, но отнюдь не благоговеть и не преклоняться перед ними. Благоговение ведет к обожествлению, всякое обожествление унижает человека. Превозносить следует доблесть, ум, но не личность.

Дрожки остановились около квартиры Рылеева.

22

Земля уже грезила о близком санном пути, о ледяных мостах через Неву, кучера и каретники готовили в первую обкатку сани.

Но мокрый снег оказался недолговечным: попорочил и отступил перед мелким, секучим, как дробь, дождем. Грязь и лужи сделали улицы и площади похожими на болота.

У Милорадовича к утру разболелась голова: он всю ночь вместе с адъютантом и чиновником для особых поручений Федором Глинкой провел в своей канцелярии. Еще вчера были взяты меры для охраны порядка и спокойствия в столице: всю ночь один за другим приезжали с докладами квартальные, через каждый час частные приставы доставляли письменные и устные донесения о положении в околотках, несколько раз в течение ночи приезжал встревоженный обер-полицмейстер Горголи. Курьерам и жандармам не давали и минуты покоя всю ночь: их непрестанно рассылали с разными поручениями во все кварталы и концы города, то к корпусному гвардейскому командиру, то к дежурному генералу Закревскому, то во дворец к бригадному командиру Михаилу Павловичу.

Глинка, приглядываясь к своему начальнику, заметил, что нынче, по истечении суток после начала волнения, он уже не так беззаботен, каким был в воскресенье. Но генерал с прежней решительностью обещал, как только возвратится царь, предстать перед ним в защиту семеновцев.

– Если потребуется, валяться в ногах буду у царя, но вымолю высочайшую милость.

Он не раз повторял это при подчиненных и даже при посторонних лицах, зная, что его слова завтра же будут известны всему городу. Тем самым он надеялся отделить себя от безрассудных повелений Васильчикова, Бенкендорфа, Закревского и великого князя. Милорадович лавировал. Не желая попасть в немилость к императору, он не хотел навлечь на себя и презрения салонных говорунов и клубных оракулов. Он должен был остаться хорошим для всех и вместе с тем не дать кому-либо повода упрекнуть его в нераспорядительности или каких-нибудь иных должностных упущениях.

Неожиданно воскрес из мертвых Шварц. Ночью он прокрался в дом к Милорадовичу, чтобы под его сильной рукой найти себе защиту.

Утром, захватив с собой Федора Глинку, Милорадович отправился верхом провести мятежников в Петропавловскую крепость.

Арестованные солдаты эту ночь провели почти без сна; в казематах, набитых людьми до отказа, было так тесно, что и на полу негде было вытянуть ноги. В камерах и коридорах, прямо под ногами у караульных, возле сторожевых площадок, солдаты лежали вповалку, как сраженный бурей лес. Сырость, духота, грязь в первую же ночь свалили с ног слабых, хворых и изуродованных палками солдат.

Вторые сутки полк оставался голодным: ни вчерашним днем, ни вечером, ни нынче утром заточникам не предложили ни еды, ни питья.

Солдат по приказанию Милорадовича выстроили на крепостном плацу. Как и на полковом дворе в воскресенье, генерал-губернатор не хотел открыто ссориться с семеновцами.

– Здорово, ребята!

– Здравия желаем! – будто на параде рванули все три тысячи.

– Как прошла ночь? – обратился он к хрому старику Сукину.

- Без каких-либо происшествий, – отвечал комендант крепости.
- Такое поведение к чести семеновцев. Государь учтет это. Не было ли жалоб от караульных?
- Караульным никаких обид, притеснений, огорчений не причинено, – охотно отвечал Сукин.
- Коли так, комендант, то на дальнейшее нет особой нужды содержать караулы, – распорядился Милорадович. – Они же не мятежники, и это доказывают всем своим поведением.
- Тесно. Дышать нечем. Уж лучше содержите под открытым небом, – подал голос гренадер в ветхой шинельке и в еще более ветхой обуви, хоть на ботфортах и сверкали начищенные медью застёжки.
- Воздуху, ребята, в России хватит. Простору тоже. Стеснять не станем. Нынче же все уладим, – обещал Милорадович.
- Света нет. Мы так-то ослепнуть можем... Как же мы, слепые-то, служить свой срок станем нашему государю? – не унимался все тот же смелый солдат, стоявший в третьем ряду против Милорадовича.
- Долго вам здесь томиться не придется, мы всех вас скоро отправим в поход, – намекнул на что-то генерал-губернатор.
- Что за поход? Куда поход? Против кого поход? И почему именно Семеновский, а не какой-либо другой полк назначен вдруг к выступлению в поход? Уж не замыслили ли генералы, чтобы скрыть свою вину перед царем, спровадить подальше лучший гвардейский полк? Не против ли царской воли поступают они?
- Мы похода не боимся! Мы против корсиканского сыча дважды хаживали и не охали! Надо будет – и в третий раз сходим, но тогда пойдем в поход, когда прилепите к нам государеву роту! – выкрикнул смельчак из рядовых. Рябой Андрей Бобыль.
- Как тебя звать? – спросил Милорадович.
- Солдат назвал по фамилии, имени, отчеству.
- Кто твой ротный командир?
- Сергей Иванович Муравьев-Апостол.
- Отличный командир, – заметил Милорадович и негромко посоветовал Сукину: – Этого солдата держите отдельно.
- Сейчас изыдем, – рванулся хромым старик к плац-майору Подушкину, который стоял поблизости.
- Потом, – остановил его Милорадович. – На время следствия содержите отдельно. – И к полку: – О государевой роте не станем пререкаться. Государевой роте – полный хозяин сам государь. Государь приедет и порешит дело. Запасемся терпением, смирением и подождем.
- В то же утро по приказанию Васильчикова были вытребованы в крепость командиры всех трех батальонов: штаб-офицеры, обер-офицеры. Зачем их вытребовали – никто не знал. Строились различные догадки. Офицеры собрались около дома коменданта. Кошкаров, подойдя к Ивану Вадковскому, беззаботно сказал, будто все, что произошло, не имело к ним никакого касательства:
- Пострадали нижних чинов штабные мудрецы, а теперь повелят вести обратно по казармам.
- Казармы уже заняты.
- Егерей выдворят.
- Освободив казематы от нижних чинов и рядовых, не законопатили бы нас в крепость, – сказал ротный Левенберг.
- Хорошо князю Щербатову – посиживает себе у отца в деревне и не думает, что натворила его рота, – заговорил Сергей Муравьев-Апостол, подойдя к командирам, которые стояли шагах в двадцати впереди выстроенного полка. – Чем-то кончится 19 октября?
- Тем, чем началось 17 октября, – сказал обладатель серебряного темляка подпрапорщик Бестужев-Рюмин. – Я знаю, зачем нас сюда созвали – разводить семеновцев...
- По разным казармам?

– Возможно, по разным крепостям – держать всех скопом – опасно, да и перемереть люди могут от ужасной тесноты и прочих лишений.

– Я, господа, вчера сильно простудился, чувствую себя нездоровым, – заявил Сергей Муравьев-Апостол, – и если мне прикажут сопровождать роту до другой крепости, до другого города, я не смогу выполнить приказания.

– Я хотя и не простудился, но в таком случае тоже назовусь больным, – откровенно сказал Бестужев-Рюмин.

– Мне тоже сильно нездоровится, – заявил Нарышкин.

– Левенберг тоже болен. А ты, Кознаков?

– Я как и Нарышкин.

Большинство полковников, подполковников, майоров, капитанов, штабс-капитанов, поручиков сговорились назваться больными, если последуют новые кары над пленным полком.

Тем временем в штабе гвардейского корпуса совещались Васильчиков, Бистром, Бенкендорф, Закревский и совсем молодой великий князь Михаил Павлович.

Васильчиков минувшей ночью разработал детальный план немедленного удаления основного состава мятежной части за пределы столицы. Бистром разделял намерение командующего корпусом, но генерал Бенкендорф выражал сомнение в возможности успешного вывода батальонов из крепости и города.

– Я опасюсь откровенного бунта, господа, – говорил он, имея к тому веское основание. – Мы не сломили упрямства непокорных своевольщиков на полковом плацу, не сломим его и там, в крепости. Без государственной роты они никуда не пойдут!

– Ни в коем случае своевольную роту я не соединю с остальными, – категорически объявил Васильчиков. – Если я только уступлю их требованию, то все мои дальнейшие повеления потеряют силу и авторитет.

– Полк может устроить беспорядки.

– Что же вы предлагаете, Александр Христофорович?

– Не торопиться с выводом.

– Присутствие семеновцев в городе более опасно нежелательными последствиями, чем насильственное вооруженной рукой выдворение из крепости, – говорил Васильчиков. – Судя по донесениям полковых командиров, они не ручаются за своих солдат. Преображенцы, павловцы, кавалергарды открыто выражают бурные симпатии к семеновцам.

Бенкендорф настаивал на изыскании каких-то других способов к безболезненному выводу полка из крепости, способов с применением обмана, посулов, хитрости. Он не одобрял крутых мер, которые, на его взгляд, тут же вызовут остервенелый отпор, и тогда неведь чем все может кончиться.

Расправа с полком военной рукой была бы опасна для всей гвардии, кровопролитие может вызвать всеобщее возмущение.

– Нынче же заточников надо разобрать по частям, – стоял на своем генерал Васильчиков. – Сейчас возьмемся за раскассирование. Бунтовщиков из 1-го батальона оставляем в Петропавловке, второй и третий батальоны под присмотром командиров отправляем в Свеаборг и Кексгольм. Итак, господа, приступаем к действию.

– Иного пути я не вижу, – согласился молодой и строптивый Закревский.

– Штыками выбьем из крепости! Картечью выбьем! Каждого десятого расстреляю! – вскричал генерал Васильчиков. – Убеждением не возьмем, силой принудим к повиновению. Приказываю: привести в боевую готовность казачий, кавалерийский и гренадерский полки. Занять удобную позицию артиллеристам. В случае упорства мятежников – дать несколько залпов из шести пушек картечью. О возможности такой атаки сразу же объявить преступникам по нашем прибытии в крепость! Руководство подавлением мятежа возлагаю на вас, Александр Христофорович, сам я своими советами буду помогать вам в принятии необходимых решений.

Казачи, гренaдeры, кавалергарды стягивались в места, указанные Васильчиковым. Пушки расставили на позициях, с которых, при надобности, можно вести обстрел крепости.

Горячка, с какой командующий корпусом отдавал повеления, свидетельствовала о том, что он все еще перепуган. Бенкендорф так и не сумел склонить его к более благоразумным действиям.

23

В помещении коменданта крепости Сукина командир гвардейского корпуса отдал приказание плац-майору:

– Первый батальон оставить здесь, если окажется тесно, часть батальона запереть на Охтинских пороховых заводах – там прохладнее. Два других батальона сейчас же отправить в Свеаборг и Кексгольм. Действовать согласно моему предписанию. Меры предосторожности, как в городе, так и по пути следования, мною заблаговременно взяты. Всякая попытка выручить из-под ареста государеву роту должна быть подавлена. Если понадобится, не колеблясь, применить оружие.

Это свое решение, выйдя на крыльцо комендантского дома, Васильчиков крикливо объявил офицерам.

– Надеюсь, господа офицеры, приказание вами будет выполнено с честью! О вашем ревностном исполнении служебного долга я непременно уведомлю его величество!

Но каково же было удивление Васильчикова, когда он услышал от многих офицеров просьбу освободить их от марша по болезни.

– Столько хворых? Все простудились? Еще и холодов настоящих никто не видел, а вы уже заболели. Я не пойму, господа, или вы впрямь больны, или, стакнувшись, сказываетесь больными? Знаете, господа, вы не хотите конвоировать – генералы отконвоируют. Нужно будет, и вас, господа, отправим вместе с солдатами. Не Шварц, а вы во всем виноваты. Вы своим небрежением и попустительством подали дурной пример.

Командиры угрюмо молчали. Их молчание не обещало ничего доброго. Муравьев-Апостол опустил голову, чтобы не бросить в лицо корпусному командиру вертевшиеся на языке дерзкие слова.

– Я найду конвойных, которые служили и впредь желают служить верой и правдой благодетелю нашему государю! – все более распаляясь, кричал Васильчиков. – Полковник Вадковский, вы, по общему нашему мнению, в эти трудные дни показали себя молодцом. Государь будет вами доволен. Поручаю вам сопровождать второй батальон до пункта назначения!

– Слушаюсь, ваше превосходительство, – службисто вытянулся Вадковский. – Когда я вернусь обратно в город?

– Сие во многом будет зависеть от вас самих. Чем скорее доставите команду в Свеаборг, тем быстрее возвратитесь.

– Я хотел бы проститься с моим семейством. Разрешите отлучиться? – попросил полковник.

– Даю вам ровно час.

Сергей Муравьев-Апостол исподлобья глянул на покладистого полковника, который без выдумки уже вторые сутки был болен. Что это? Службистский раж или преувеличенное понимание долга?

Вадковский поспешил в офицерские казармы проститься с семьей. На дорогу туда и обратно требовалось времени более получаса, на прощание оставался ограниченный срок.

Жена в испуге слушала его наказы и советы на всякий непредвиденный случай:

– Я сопровождаю батальон в крепость Свеаборг. Когда вернусь и вернусь ли – неизвестно. От наших начальников можно ожидать всякого. Вот эту записочку, Ноннушка, передашь брату Федору. Ход событий тебе известен, если я где-либо и почему-либо застряну и не буду иметь возможности уведомить обо всем родных, то ты сама напиши меньшому Александру о семеновской истории в выражениях весьма осторожных. При беде и несчастье уповай на государя и его милосердие, я был, есть и останусь его верноподданный и покорный слуга.

– У тебя же лихорадка. По лицу твоему видно – ты нездоров. И в такую гнилую погоду, – горевала до слез обеспокоенная жена. – Почему ты не отпросился по болезни?

– Такая просьба может быть превратно понята начальством, и что всего страшней – превратно истолкована перед государем, – отвечал Вадковский. – Служа верно государю, я тем самым служу моему отечеству.

Чтобы возбудить и поддержать подорванные переутомлением и болезнью силы, не садясь за стол, Вадковский выпил три рюмки крепкой кизлярской, трижды поцеловал озабоченную жену в горячий лоб и потеплее оделся.

У порога он встретился со средним братом, кавалергардского полка эскадрон-юнкером Федором, смелым, нетерпеливым, резким, любившим блеснуть свободомыслием и независимостью суждений.

– Куда, Иван?

– В поход.

– На царскосельских турах?! И я с тобой! Давно пора бы на острие штыков всех вельможных дураков и с ними сопляков – великих князьков, – сразу загорелся эскадрон-юнкер. – До какого позора дворцовые мерзавцы довели гвардейский полк! Все негодуют, все возмущены! Вчера в английском клубе было такое настроение, что если б там появился собственной персоной Шварц, то его разорвали бы на куски.

– Я тороплюсь, Федя, мой архикраткосрочный отпуск уже истекает.

– Иван, ты свидетель, очевидец и участник происшествий, расскажи всю правду, а то в городе такие нагромодили выдумки...

– Некогда, Федя. По возвращении, если оно состоится.

– Неужели и тебя в каземат? О подлецы, о негодяи! А вы, офицеры, почему забыли, что у вас есть оружие? Почему забыли о том, что честь положено оберегать всеми средствами, в том числе и оружием? – вскипел юный кавалергард. – Мне хочется написать марш семеновских солдат! России нужна своя «Марсельеза».

– Мне некогда, брат. До встречи по возвращении.

– Я провожу тебя, Ваня!

Братья Вадковские вместе выходили из офицерских казарм.

– Во-первых, Федя, никакое это не восстание, – на ходу рассуждал полковник Вадковский. – Все случилось из-за скота Шварца и нелепых распоряжений глупейших штабистов. Что наши штабные придворные генералы сплошняком негодяи, мерзавцы и тупицы, о том известно всей гвардии и армии.

– А государь?

– Государь тут ни при чем, Федя. Государя путать не нужно. Государь, вернувшись, может и взыскать с них. Они же, мерзавцы, самовольно, даже не испросив воли государя, обрекли на уничтожение его лучший полк.

– Я сейчас по пути к тебе слышал от однополчанина ужасную весть. Семеновский полк хотят вывести за город и там расстрелять из пушек... Если это злодеяние совершится, я клянусь перед распятием Христа убить великого князя и Васильчикова. И я исполню мою клятву!

Иван Вадковский остановился, крепко взяв брата за руку:

– Не горячись. Не верь выдумкам...

– А знаешь ли ты, Ваня, причину поспешного удаления семеновцев? – спросил Федор и сам же ответил. – Ночью, после того как мятежный героический полк загнали в казематы, во дворце спохватились: «Что же мы сделали? Мы сами отдали крепость в руки мятежникам. Лейб-гренадеры из караула примкнули к бунтарям, и тогда они завладеют крепостью... И будут держаться в ней до тех пор, пока смута не охватит все столичные полки...» Каково, а?

Около Троицкого моста они нагнали колонну гренадер.

– На какой бородинский редут идете, братцы? – весело обратился подпрапорщик к ближним солдатам.

– В точности не ведаем. Но скорее всего – семеновцев укрощать, проще сказать – устрашать...

– Устрашать или стрелять в своих братьев?

– Как прикажут командиры...

– И вы готовы стрелять?

– Стрелять солдат всегда готов. А уж куда стрелять – солдату видней.

У Троицкого моста Федор простился с братом.

В крепости у комендантского крыльца стоял Васильчиков в окружении генералов. Вадковского он встретил благосклонной улыбкой. И даже пошутил:

– Простился? Ну, с богом в дорогу, – и вполоборота через плечо распорядительно Сукину: – Второй батальон на плац!

Подскакал нарочный адъютант и доложил:

– Пушки выдвинуты!.. Зарядные ящики подвезены!

– Ждите дальнейших распоряжений, – отвечал Васильчиков.

Заскрипели ржавые казематные затворы. Из душного каменного чрева крепость как бы выплевывала роту за ротой на грязный крепостной плац.

Второй батальон выстроился, не обнаружив и малейших признаков неповиновения или ропота. «Слава тебе господи, – в мыслях облегченно поблагодарил всевышнего Бенкендорф, – не противятся, не бесчинствуют и о государственной роте ни слова. Как видно, пребывание в крепости подействовало вразумляюще».

Ветер шевелил высокие султаны на киверах. Колочий дождь бил в лица. Но несмотря на дождь и ветер, первые минуты на открытом воздухе после утомительной длинной ночи, проведенной в тесных каменных норах, солдатам показались благодатными.

Васильчиков вышел перед строем и вторично огласил приказ об отставке Шварца, после чего сделал солдатам внушение:

– Побольше, поусердней молитесь богу, за богом молитва не пропадет. Не шалите дорогой... Не ропщите. А ежели обнаружится какой смутьян, зачинщик – вы его за руки, за ноги и за борт. Пускай купается. Вас сопровождает блистательный командир – полковник Вадковский! Под началом такого командира состоять – большая честь! Ревностная служба господина Вадковского достойна всяческих похвал и отличий. Слушайтесь же командира. Мы вручаем всех вас его попечительству!

Вадковский вместе с генералами отошел от строя шагов на двадцать, чтобы рядовые не слышали их разговора.

– Я глубоко тронут вашими похвалами, господин корпусной командир, – обратился Вадковский к Васильчикову. – И любезностями вашими, столь щедро обращенными на меня. Право же, я их не заслуживаю. Ваши похвалы постараюсь оправдать прилежным исполнением данного мне поручения.

– Похвально, похвально! – перебил Васильчиков. – Я иного ответа от вас и не ожидал. Вам пора, давно пора вручить полк.

– И мы будем ходатайствовать об этом, как только возвратится государь, – вставил Бенкендорф. – Великий князь Михаил Павлович о вас отличного мнения!

– Я прошу позволения обратить ваше внимание на вид батальона, порученного мне, – выслушав любезности, озабоченно заговорил Иван Вадковский. – Вы сами, господа генералы, видите: половина солдат почти без обуви, шинели на всех ветхие. При таком ветре и дожде вояж будет сопряжен с огромными трудностями и опасностями.

– А что бы вы хотели, полковник? – удивился Васильчиков.

– Как-то одеть и обуть батальон.

– Это в данных обстоятельствах невозможно, Иван Федорович, – дружески взяв его под руку, объяснил Бенкендорф. – Где мы сразу возьмем столько шинелей и обуви? Возвращение в казармы, хотя бы на час, – исключено.

– Неудобства и тяготы могут породить новое своеволие по пути в Свеаборг, – предупредил Вадковский.

– Милый Иван Федорович, ты совсем зря сокрушаешься об этих канальях, они живучие, их ни голод, ни холод не сшибет, – добродушно возразил Васильчиков и засмеялся. – Ты о себе заботься, а о них сам господь бог позаботится, если сочтет нужным. Они, шельмецы, всегда чем-нибудь недовольны. Меньше всего их следует слушать. Мы их не вплавь нагишом отправляем, а сажаем на лучшие шимботы. На шимботах теплынь! Там и босиком не озябнешь. Доплывете до Кронштадта с божьей помощью, там обогреетесь, отдохнете в тепле и отплывете к Свеаборгу.

Вадковский молчал, плотно сжав зубы.

– Не отягощайте себя, Иван Федорович, излишними, ненужными заботами, – продолжал Васильчиков. – Главное – сохранение повиновения и спокойствия. А озябших обогревать – не ваша забота. Они сами согреются. Мы вам верим, на вас полагаемся. Будем думать, как только вернетесь, о представлении вас к награде. Не сомневаемся в благосклонности государя к вам.

Так ничего и не добился полковник. Пришлось принять под свое начало полураздетый, полуразутый баталион.

Под проливным дождем он повел колонну на пристань, чтобы разместить ее на три шимбота.

Ветер становился свирепей, холодней. Генералы, посвятившие все утро напутствиям, забыли накормить солдат перед отправкой в плаванье.

Кронштадт, куда предстояло плыть, нельзя было увидеть и в подзорную трубу.

Тепла, обещанного генералами, в сырых шимботах не почувствовали солдаты и командиры.

Расчленение стойкого Семеновского полка на разрозненные баталионы, поспешная отправка баталионов по разным крепостям привела дальновидных офицеров к выводу: Семеновский полк сокрушен окончательно.

Так думал и полковник Иван Вадковский, стоя на палубе головного шимбота, взявшего курс на Кронштадт. «Как мы в такое позднее время поплывем из Кронштадта к Свеаборгу, ведь запрещено в такую пору выпускать военные корабли в море? Или хотят отдать нас всех на суд стихии?» Он вспомнил горячие слова кавалергарда Федора и многие чувства меньшого брата признал справедливыми.

Ветер, напирая с залива, затруднял путь шимботам, словно наперекор генералам хотел обратно причалить суда к недавно покинутой пристани.

24

Семеновцы, служившие в 1-м баталионе, за исключением арестованных 755 нижних чинов, группами выводились из столицы. Шварц и сейчас все еще не решался показываться на глаза безоружным, разрозненным и сломленным солдатам – так сильна была боязнь возмездия. Васильчиковым и Закревским на него была возложена ответственность за передачу вчерашних гвардейцев армейским офицерам.

И среди офицеров Старо-Семеновского полка у него не нашлось почти ни одного друга, а тем двоим его избранникам – Скобелыну и Бибикову – он сейчас боялся вверить солдат: ожесточенные гвардейцы могут выместить свою обиду на ненавистных командирах. Долго Шварц перебирал в мыслях фамилии и остановился на Муравьеве-Апостоле. Он послал за ним дежурного нарочного в офицерские казармы.

Муравьев-Апостол явился в полковую канцелярию.

– Я прибыл за приказанием! – отдав честь старшему, сказал на редкость выдержанный, умеющий владеть собою капитан.

– За последним приказанием, Сергей Иванович, – с горечью и чистосердечно заговорил Шварц, чего никак не ожидал от него Муравьев-Апостол. – Много кающихся, да мало воротящихся... Я поступал по заповеди: замри, душа, остановись, сердце, а надо было поступать по другой; но никто мне ее, другую-то, не сказал, а у самого, знать, не хватило ума. Верь мне, Сергей Иванович... – Шварц взял его за руку и подвел к висевшему на стене образу. – Как бог свят, я не виноват, что лишил Россию ее лучшего полка. Не сам лишил, а послушался других... Мне сказали, что это полк карбонаров и настоящих бунтовщиков, и я слепо этому поверил; а теперь сам вижу, что не стою последнего солдата этого полка. Прости меня и проси всех своих товарищей, равно как всех нижних чинов и солдат, чтобы простили. Я же от всего сердца, прозревшего с опозданием, всем им желаю высочайшего прощения и заступничества господня.

Муравьев-Апостол был поражен этой добровольной исповедью человека, приравненного многими к закоренелому злодею и приравненного не напрасно; человека, которого, по общему мнению петербуржцев, отвергает человечество. Капитан видел и чувствовал, что в эту минуту старший полковник говорит голосом пробудившейся совести. И вид у полковника такой, что жалко на него смотреть.

– Теперь мне порой начинает казаться, что я допустил большую ошибку, когда побоялся во время ночного смятения появиться перед мятежниками и отдаться на растерзание, – продолжал Шварц. – Побоялся растерзания и тем самым обрек себя на еще большую казнь. Не из трусости поступил я так...

И Шварц поднес к глазам носовой платок и долго тер им ресницы и брови.

– Скрылся я от неминуемого растерзания из жалости к солдатам, потому что знал: суд жестоко покарает несчастных за мою смерть. Я знаю капитана Муравьева-Апостола, как лучшего офицера, и потому открылся перед ним со всей чистотой.

– Но ведь вы нарушили не только служебный долг, но и присягу...

– Не отрицаю. Не оправдываюсь. Нарушил то и другое и жду суда, чтобы понести наказание, – не оправдывался Шварц и не валил вину с больной головы на здоровую. – Я оказался главным разрушителем полка... Поручаю вам, капитан, обеспечить образцовую передачу семеновцев армейским офицерам. И прошу вас исполнить это мое последнее вам приказание со строгостью, аккуратностью и точностью, свойственными вам. И помолитесь за меня, грешного, перед творцом, а я помолюсь за всех за вас...

В сильной духом, но сострадательной груди человеколюбивого Муравьева-Апостола вдруг проснулось чувство жалости к этому служаке, которого не только никто не любил, а и не уважал.

– Считаю своим долгом выполнить данное мне приказание, – обещал капитан. – Поскольку вы впервые заговорили со мной на языке полного чистосердечия и доверия, то разрешите и мне отплатить вам тем же.

– Плати, капитан, плати, я все равно уже обреченный...

– Вина ваша перед гвардией и Россией огромна, – продолжал Муравьев-Апостол. – Такое не забывается и не прощается, как современниками, так и потомками. Самое страшное – вечное презрение и проклятие в потомстве. Но то, что я нынче услышал от вас, я считаю прозрением совести, хотя и запоздалым. Огонь чести загорелся в душе вашей, и он, несомненно, светом благодати озарит ваш разум. Не дайте вновь потухнуть этому спасительному пламени. И если государю угодно будет сохранить вас на службе, то делами докажите, что вы не жалеете сил и живота своего ради искупления вины; изыскивайте все возможное для того, чтобы смягчить участь погибшего полка. Если же государю будет угодно судить всех нас, то своими показаниями не обременяйте и без того тяжелую долю бывших ваших подчиненных, как офицеров, так и солдат. Обещаете?

– Уж коли я назвал себя слепцом, то какой смысл мне оправдываться? Ведь всем известно, как я поступал, о том знали и оба великих князя, Николай и Михаил, и командующий гвардейским корпусом Васильчиков... И Бенкендорф... Да и сам государь требовал от меня только одного – строгости и образцового порядка, да чтобы среди подчиненных не было и малейших признаков умствования... Вот я и старался... – и в этом не кривил Шварц.

Муравьев-Апостол отправился выполнять приказание.

25

Все важные бумаги, в которых командир гвардейского корпуса Васильчиков сносился с государем, Главным штабом, с графом Аракчеевым, великими князьями и министрами, писались, по его поручению, штабным адъютантом ротмистром гвардейского гусарского полка Петром Чаадаевым. За спиной умного адъютанта, отлично владевшего пером, корпусный командир жил как за каменной стеной.

Вернувшись в штаб из крепости, ободренный благополучным выдворением из столицы опасных мятежников, Васильчиков пригласил адъютанта к домашнему обеду.

Обедали вдвоем. После обеда генерал, блаженно поглаживая обеими ладонями живот, выпиравший из-под мундира, доверительно сказал:

– Петр Яковлевич, нам надо опередить всех шустрых с донесением государю. А шустрых, сам знаешь, вокруг нас много. Один Арсюшка Закревский, из молодых да ранний, намолот может всякого вздору целую гору. Боюсь, иностранные послы через своих курьеров наплетут еще больше, огорчат государя, к радости Меттерниха. Нам надо

поспешить первыми. Надо еще снестись с министром внутренних дел Кочубеем, чтобы он задержал хоть на сутки выдачу паспортов заграничным чертям. Берись за перо.

В тишине генеральского кабинета ротмистр Чаадаев принялся за составление донесения на высочайшее имя.

– Не мне тебя учить слогу, Петр Яковлевич, но за ход дела ответственность целиком на мне. Насильников, смутьянов, возмутителей, бунтовщиков не выгораживай. И обязательно обрати внимание его величества на то, что офицеры Семеновского полка в сем прискорбном случае не оказали той ожидаемой от них твердости, распорядительности, которая необходима при таких проказиях. Единственная причина неустройства сего события – неосторожное, неблагоприятное поведение полковника Шварца, который излишними придирадками вывел из терпения нижних чинов. Обстоятельство сие не заключает в себе никакой опасности и не таит никакой другой причины возникновения, кроме той, что упомянута выше.

Чаадаев писал, облекая мысли генерала в подходящие канцелярские одежды, сам думал: «Смотри-ка, у моего Иллариона мозги имеются: все сваливает на других, как будто он вовсе и не причинен к событиям. Обелился и вместе с тем, чтобы не испугать и не разгневать царя, успокоительного елеса просит подбавить».

– А в заключение, Петр Яковлевич, не премини обещать, что дальнейшие подробности мною будут доставлены в Троппау государю с нарочно посланным моим адъютантом. Разумеется, никто о нашем рапорте не должен знать. Перебели донесение сам, переписчику такую бумагу вверять не позволено.

Чаадаев старательно переписал набело донесение. Генерал при нем запечатал пакет с надписью «В собственные руки государя» тремя печатями.

– Вчера Милорадович читал мне из «Невского зрителя» сатиру «К временщику» и на весь штаб хохотал от удовольствия. «Вот, говорит, какую пулю отлил отставной сочинитель! Какой-то, вишь, Рылеев появился. Право, кажись, ни разу не слышал о таком».

– О нем, очевидно, скоро услышат многие.

– Вон как?.. Вроде Пушкина, что ли? Задира? Пересмешник? Милорадович говорит про написавшего сатиру: «Вот это стрелок! Трахнул не дробью, а картечью, прямо в цель! Угодил так угодил... Но и разозлил, нужно полагать, одного великого молчальника...» На кого генерал-губернатор намекает, по-твоему?

– На кого вся Россия пальцем указывает, но боится высовывать палец, чтобы топором не отрубили, – рассеянно отвечал Чаадаев. – В Рылееве искра дарования божия несомненна. Да будет к нему ласково провидение, да не даст оно погаснуть таланту необыкновенному.

– Поди, тоже из каких-нибудь голодушников семинаристов поповской выпечки?

– Почему так думаете?

– В наш век выходцы из семинарий в почете. Магницкий... Сперанский... Особенно этот последний выскочка наделал разного шума, чуть всю Россию не продал Наполеону. Вот какие блохи водятся под поповской рясой.

– Рылеев из дворян, правда, из небогатых.

– Дворянское происхождение не дает гарантии. Радищев тоже был из дворян.

Васильчиков, захав за дежурным генералом Закревским, направился во дворец. Здесь в присутствии великого князя Михаила Павловича был назначен состав военного суда над 1-м батальоном. Председательствовать в суде, состоящем из двух генерал-майоров и четырех полковников, поручалось лютому, как и полковник Шварц, и столь же ненавидимому в гвардии генералу Левашеву. Назначение Левашева председателем военного суда заранее превращало судоразбирательство в судилище.

– Господа генералы, вы близко стоите к командирам и нижним чинам, скажите мне, как же могла зародиться в головах солдат преступная мысль о неповиновении? – спросил, недоверчиво глядя из-под нависших бровей, Михаил Павлович. – Неужели проникла зараза со стороны?

– Ваше высочество, сама по себе такая мысль не могла возникнуть в головах солдат, – уверенно начал Закревский, – как это ни прискорбно, но неблагонамеренных надо искать среди офицеров.

– Не думаю, не думаю, – зачастил Васильчиков, поняв, что такое утверждение полностью расходится со смыслом его донесения императору. – Шварц – всему виной. Со Шварца все началось и на нем одном должно покончиться!

Но великий князь куда более внимательно принял слова дежурного генерала, нежели беспечные уверения командира гвардейского корпуса.

– Думаете, замешаны офицеры? – еще острее и холодней сделался и без того неласковый взгляд великого князя. – Ничего нет удивительного. Среди офицеров попадаете немало негодяев. На кого прежде всего падает ваше подозрение? – и он стал по памяти медленно называть фамилии полковников, подполковников, майоров, штабс-капитанов мятежного полка: – Вадковский?.. Кознаков?.. Обрезков?.. Нарышкин?.. Яфимович?.. Панютин?.. Кошкарлов?.. Муравьев-Апостол?.. Тухачевский?.. Скобелевы?.. Тулубьев?.. Рындин?.. Бибилов?.. Тютчев?.. Пирх?.. Врангель?..

Пауза после каждой названной фамилии делалась для того, чтобы дать генералам высказать свое мнение о благонадежности поименованного офицера.

Закревский в присутствии Васильчикова не решился заподозрить кого-либо из перечисленных, но продолжал уверять и без того мнительного, как и все его братья, великого князя в подстрекательстве к бунту со стороны командиров или каких-нибудь тайных обществ. Васильчиков весьма запальчиво и не без надменного высокомерия начал резко оспаривать Закревского и намекнул на то, что офицеры полка, если только просочится к ним такой слух, могут заявить об общей отставке из-за недоверия к ним. Дежурный генерал повторял одно:

– Трудно поверить, что солдаты взбунтовались сами! Их кто-то подучивал, кто-то руководил ими.

Генералы поссорились в присутствии великого князя, который не пожелал примирить их. Он отпустил Васильчикова, но попросил задержаться Закревского, чему дежурный генерал обрадовался: с глаза на глаз он мог сказать Михаилу Павловичу значительно больше того, что было сказано при Васильчикове. Без особого труда ему удалось убедить великого князя в причастности какого-то злонамеренного офицера, а возможно, и большой группы офицеров, к возмущению в полку.

– Я тебе, Закревский, верю больше, нежели Васильчикову, ты смотришь в корень, а тот скользит по верхам, – похвалил генерала великий князь. – Как бы открыть нам сие лицо или даже, может быть, многих?

– Лучше всего употребить самые строжайшие меры к открытию через следствие и суд, – отвечал Закревский. – Генерал Левашов – экзекутор многоопытный, и на него можно возлагать надежды.

– В донесении государю особенно обратите высочайшее внимание на высказанные вами подозрения, – поучал великий князь и без того многоопытного в канцелярской стратегии молодого генерала. – Вы правы, генерал, солдаты были кем-то подучены и, возможно, тайно руководимы злоумышленниками. Истину необходимо обнаружить.

– Помяните мое слово в те поры, ваше высочество, если даже суд не обнаружит истину, то время обнаружит ее и подтвердит мои слова: главные зачиналы, руководители, конспираторы окажутся не из рядовых и не из нижних чинов. Такое единодушие в поведении трех тысяч человек, какое мы видели в эти дни, само собой стихийно не зарождается, оно немыслимо без хитроумного руководства. Семеновский полк показал доселе не слыханное во всех российских войсках неповиновение командирам, назначенным государем императором!

– Вашими устами, генерал, говорит сама истина, а Васильчиков – верхогляд и ротозей, под стать ему и Бенкендорф. Не медлите с донесением государю! Постарайтесь убедить его в необходимости строгого следствия, суда и примерного наказания виновных.

Несговорчивые семеновцы дали работы всем. Морковников, которого граф Аракчеев на время своих отъездов из столицы оставлял при петербургском доме в качестве главного осведомителя, на тройке в крытых дрожках поскакал к своему покровителю в Грузино, чтобы доложить о событиях в Семеновском полку. Аракчеев, со времени отъезда Александра

за границу сидевший почти безвыездно в своем Грузине, уже от кого-то был подробно осведомлен о главной столичной новости, но сделал вид, что ничего не знает.

Выслушав Морковникова, он благоговейно взглянул на помпезный настенный портрет Александра и сказал:

– Все мы недостойны щедрот и милостей нашего ангела... Гоги-магоги решили омрачить его ангельскую душу и помешать великим работам отца и благодетеля нашего... Граф Милорадович за танцовщицами хлыщет, бенефисы для наших красоток устраивает, а важное дело – надзор за умами доверил гогам-магогам... Гоги-магоги бывают не только во фраках, вроде щелкопера Греча, но и в гвардейских мундирах. Этого нужно было ожидать от семеновских солдат и нижних чинов, развращенных оксфордским бонжурой и хлыстом Потемкиным. Еще не то могут показать своевольные семеновцы...

Донос Морковникова Аракчеев окаменело выслушал в своем домашнем кабинете, а обедать верного человека послал в людскую вместе с дворней, над которой властвовала графская наложница Настасья Минкина.

Казалось бы, как лицо, которому самим монархом фактически вверена вся Россия со всеми ее внутренними государственными делами, Аракчеев должен был незамедлительно сесть в венскую коляску и мчаться в Петербург. Но он этого не собирался делать ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, не думал браться за перо, чтобы уведомить отсутствующего императора о столь важном происшествии... Он без колебаний решил и дальше отсиживаться в Грузине, делая вид человека, которому ничего не известно. От такой позиции он ждал себе выгод по целому ряду соображений: во-первых, он останется чист во мнении своего благодетеля-государя, так как волнение в Семеновском полку произошло во время длительного его, Аракчеева, отсутствия из столицы; во-вторых, он долгое время ничего не знал, сидючи в Грузине, о семеновской истории, не знал не по собственному нерадению к государевой службе, а по вине гордецов Милорадовича, Кочубея и Васильчикова, не пожелавших снестись с ним и прибегнуть к его помощи; в-третьих, вырисовывается самый удобный случай обратить гнев государя сразу на самых неугодных ему, Аракчееву, людей: Милорадовича, Кочубея, Васильчикова, Бенкендорфа и особенно на дежурного генерала Закревского, все язвительные отзывы которого о царском фаворите давно были известны в Грузине.

Аракчеев оставался в стороне. Втайне он желал даже, чтобы бунт разгорелся пожарче, как год тому назад случилось в Чугуеве, чтобы события на какое-то время ускользнули из-под контроля петербургского большого начальства. При таком ходе событий государь, получив в Троппау тревожное донесение, немедленно вспомнит о графе Аракчееве как о единственном лице, способном усмирить бунт. Другого человека, которого царь предпочел бы Аракчееву, нет во всей России. И тут представится счастливая возможность еще раз отличиться перед благословенным.

Порозовевший фискал Морковников вернулся из людской, попыхтывая после сытного обеда.

– Поезжай, братец, да скажи там всем, кого только увидишь, шибко неможется мне. Здоровье пришло в крайнее расстройство, а душа моя рвется быть в городе, поближе к царской семье, дабы оберечь надежно ее покой и благополучие. Боюсь, до возвращения нашего ангела-хранителя не отдать бы мне, грешному, душу мою всевышнему... Ох, ох...

27

Предусмотрительный Милорадович предпринимал все для того, чтобы не дать обесчестить себя перед мнительным царем притаившемуся в Грузине зломстительному коршуну. С первой же беспокойной семеновской ночи он забыл и о покровительствуемых танцовщицах, и о бильярдных битвах с артистами Брянским и Каратыгиным.

В обстановке, усложняющейся с каждым часом, генерал-губернатору особенно был нужен надежный и умный советник и дельный помощник. Этим качеством больше, чем кто-либо другой, отвечал Глинка.

– Теперь мы с тобой уж никогда не разойдемся, – не раз повторял он Глинке. – Не перемирие между нами, а вечный мир!

– Моя заветная мечта – жить в мире с умными людьми и быть полезным любезному отечеству! Я офицер, как и вы, воин, но никогда не был сторонником кровавых действий, – был ответ Глинка.

В третьем часу ночи возвращался Глинка домой со службы, а в шесть утра снова находился в канцелярии генерал-губернатора. Милорадович в это время был уже на ногах. Вторые сутки обдумывал он донесение государю в Троппау.

На голубом роскошном диване душистой кучей лежали смятые дорогие шали, под какими любил понежиться генерал-губернатор в спокойные дни. Но теперь ему было не до дивана и не до пламенеющих красками востока шалей. Он начал свой трудовой день при тусклом свете свечей, коптивших на его, как плац, просторном столе. Поодаль от стола в глубоком кресле сидел задумчивый Глинка.

– Душа моя, бог мой, надобно поторопиться, чтобы наше деликатное донесение не опередил своим доносом Аракчеев и дурно не повлиял на чувствительнейшее сердце государя, – говорил Милорадович, расхаживая вокруг стола. – Аракчеев непременно потщится изобразить все это семеновское происшествие в выгодном для себя свете. Надо нам поспешать, душа моя!

– Текст донесения может быть составлен в течение двух-трех часов, – обещал Глинка. – Час потребуется на перебелку, а там пакет гонцу в руки – и колокольчик динь-динь-динь...

– Плохо опоздать, но бывает, что поспешишь – кур насмешишь. Я хочу, чтобы мое донесение от начала и до конца было правдивейшим. Государь достоин того, чтобы мы говорили ему только правду! – с чувством произнес темпераментный генерал-губернатор.

– Я придерживаюсь таких же правил, – согласился Глинка. – Так, может быть, мне приняться за черновик?

– О содержании донесения ни Геттун, ни Крыжев, ни Наумов ничего не должны ведать, – предупредил Милорадович. – Деликатным образом старайтесь быть от них на безопасном расстоянии.

– Будьте покойны, граф, – улыбнулся Глинка, покидая кресло.

– Подождите, душа моя, есть еще одна тонкость, – остановил его Милорадович. – Закревский и великий князь Михаил Павлович, слышал я краем уха, решили напугать императора. Оба они, мне кажется, перепуганы не столь событиями у семеновцев, сколько своей оплошностью и усиленно ищут козлов отпущения.

– Это очень похоже на них, – согласился Глинка.

– В том-то и дело, душа моя, – подмигнул Милорадович. – Неустройства в Семеновском полку Закревский хочет представить как результат офицерского заговора, чуть ли не как повторение испанской песенки. Будучи напуганным до несдержания мочи, этот генерал-душечка старается нагнать страх и ужас на всех остальных: на меня, на министра внутренних дел, на обеих цариц, на великого князя, на всю столицу и на всю Россию. Но, душа моя, к чему этот всеобъемлющий страх в рамках целого государства может привести? Старая царица, говорил Вилламов, уже переполохана до бесчувствия: по ночам кричит, бредит ужасами Французской революции... Читает близким какие-то свои письма чуть ли не тридцатилетней давности, что получала от родных из Германии в то время, когда молодой дерзновенный корсиканец тряс Францию, как садовник грушу...

– Ваше сравнение чудесно, – искренне рассмеялся Глинка, – уж очень оно поэтическое. И все ж таки чего же добиваются Закревский и Михаил Павлович?

– Деликатно поворошить бумаги у всех семеновских офицеров на их квартирах и в офицерских казармах и одновременно порыться у всех тех подозрительных лиц, с коими семеновцы состояли или состоят в переписке. Прежде всего у Вадковского, Ермолаева, Муравьева-Апостола, Щербатова, Кошкарова...

– Что ж, можно будет и бумаги поворошить, – совершенно равнодушно отвечал Глинка. – Ворошение бумаг в таких делах иногда бывает полезным, но ко всякому такому ворошению надо тщательно подготовиться, чтобы не спугнуть понапрасну нужных нам птиц.

– Согласен, согласен, душа моя! – громко говорил Милорадович, разминаясь по ковру. – Я так и сказал: за обыском дело не станет. Закревский, а за ним и Бенкендорф находят, что якобы некоторые из семеновских офицеров, пользуясь отсутствием ангела

нашего государя в России, решили повторить опыт Риеги и Квируги... Но я такое суждение нахожу несостоятельным. С потолка взято. А?

– У страха воистину глаза велики, – улыбнулся Глинка. – Государь посмеется такому донесению. За эти дни я успел побеседовать со многими нижними чинами и офицерами Семеновского полка и не нашел в их мыслях, объяснениях, поведении малейших признаков модной болезни, якобы занесенной к нам из Испании... Лепет какой-то...

– Интересно, Федор Николаевич, что же вы думаете о семеновском возмущении?

– Смешно не только утверждать, но и фантазировать о каких-то несуществующих революционных поползновениях в Семеновском полку, – повел обстоятельную беседу Глинка. – Я уверен, что солдаты даже слов революция и конституция никогда не слыхивали. Виной всему – старший полковник Шварц Григорий Ефимович – клевет и ухо господина светлейшего из светлейших графа Аракчеева. Только он! И больше никто!

– Свиное ухо... Гнилое ухо! – поморщившись, пробурчал Милорадович. Глинка между тем продолжал:

– Ведь никому не приходило в голову считать революцией волнения среди Бугского, Чугуевского, Новгородского поселенного войска. Сколько подобных мятежей пришлось утихомиривать и силой оружия и без применения одного лишь за последние пять лет, то есть в то время, когда не только Россия, но и сама Испания, пожалуй, не слышала ничего ни о Риеге, ни о Квируге. Круто привыкли гнуть, вот и лопаются, когда совсем не ждешь... На этот раз надломился не армейский копыл, а надтреснулась гвардейская дуга. И винить в том надо одного Шварца.

– С удовольствием бы, душа моя, сей же час отдал я эту двуногую скотину под военный суд и не пожалел бы для нее лучшей намыленной веревки, – яростно стукнул кулаком по столу Милорадович. – Но не властен! Аракчеев крепко покровительствует мерзавцу. – Милорадович прокашлялся, оттянул золоченый воротник мундира, успокоившись, спросил: – Что скажешь, бог мой, о семеновских офицерах?

– Большинство из них – вне всяких подозрений, – без колебаний отвечал Глинка. – Потемкин сумел воспитать в своих подчиненных истинно гвардейские качества: благородство и честность. Но, как это ни прискорбно, в офицерской семье завелись и наушники. Шварц успел развратить слабовольных и нравственно нестойких.

– Кто они?

– Скобелыцын, Бибилов, подозрителен и фельдфебель Брагин. И малое число рядовых, из тех, кому место не в гвардии, а на каторге.

– У Закревского, как дал он мне понять, есть сведения, что волнение было устроено якобы по хитро продуманному плану, творцами которого являются отставной полковник Ермолаев, полковник Вадковский, капитан Сергей Муравьев-Апостол и князь Иван Щербатов. По его словам, Семеновский полк является лишь небольшим отделением какого-то в высшей мере засекреченного тайного общества, имеющего свои постоянные сходы и чуть ли не ежегодные съезды... Или просто вздор?

Глинка засмеялся.

– Многие нынешние уличные шпионы или по глупости своей, или по подлости едва ли не всякого безобидного масона пытаются представить начальству членом ужасного тайного общества, и уж конечно с революционными целями. У нас, как всем известно, по традиции прошлого века насчитываются десятки различных масонских лож, совершенно легальных, высочайше разрешенных и совершенно безобидных и безопасных, хотя и имеющих громоздкие уставы, статуты... Я тоже масон, и вы масон. Не дай бог, какой-нибудь не по уму усердный фискал и безупречный патриот и нас с вами в одном из шпионских донесений сопричислит к злоумышленным заговорщикам...

– Все это так, душа моя, – в раздумье проговорил Милорадович, – а бумаги кое у кого придется поворошить! Обязательно деликатно! В самые ближайшие два-три дня.

– Я не против. Но как вы мыслите это сделать?

– Деликатно! Только деликатно! Без варварства! По моей методе: ласково и нежно приглашаем ко мне на чай в канцелярию сразу весь офицерский цвет Семеновского полка, например Ермолаева, Вадковского, Яфимовича, Обрезкова, Муравьева-Апостола, Кошкарлова, Левенберга, Тулубьева, заводим с ними деликатную беседу, а тем временем

обер-полицмейстер с молодцами едут к ним на квартиры и деликатненько делают обыск, забирают бумаги, привозят благополучно в полицию... Ну, а в полиции известно, что делают с бумагами...

– А если в изъятых бумагах не обнаружится никаких улик, в чем я почти не сомневаюсь, то как мы станем выпутываться? – с безразличным видом поинтересовался невозмутимый Глинка.

– Как-нибудь выкрутимся... Полиции не привыкать...

– Давайте попробуем.

– Чтобы государь не упрекнул нас в нерадивости.

– Не находите ли нужным, граф, снести с министром внутренних дел на предмет этого отважного предприятия?

– Я уже снесся с ним. Кочубей морщится, но соглашается на обыск семеновцев. Ну-с, а теперь, душа моя, займитесь первостепенным делом – донесением государю.

Ровно через два часа Глинка положил на стол графу донесение на высочайшее имя. Генерал-губернатор, прочитав, ласково и признательно глянул на чиновника для особых поручений.

– Сразу видно острое перо и легкая рука Федора Глинки! Тут мне и править нечего. Прямо на перебелку особому чистописцу присяжному. Одно сомнительно, душа моя, не слишком ли безоблачно ты все изобразил?

– Зачем же столь маловажными происшествиями омрачать государя, занятого на конгрессе неотложными европейскими делами? Кстати, – Глинка рассеянно оглядел стены и обратил взор на генерал-губернатора. – В числе трех тысяч семеновских солдат, запертых в разных местах в казематы, числится много серьезно больных, которые из чисто товарищеского чувства солидарности, находясь на излечении в полковом госпитале, самовольно убежали с больничных коек и примкнули к своим ротам. И вместе с остальными однополчанами угодили в заточение. Хворых надо вызволить из темниц и возвратить в гошпиталь и лазареты, а то перемрут в переполненных смрадных и душных каморках.

– Не возражаю, бог мой. Обратись, душа моя, к коменданту крепости.

– Вчера обращался, старый пьянчужка не хочет брать на себя ответственности.

– Переговори с дежурным генералом, а я не против. Ради чего хворых морить в заточении? Где же наше человеколюбие? – Подумал. Отрубил решительно взмахом руки. – Беру всю ответственность на себя. Переведи их в гошпиталь. Даже больных колодников, осужденных преступников и то, при надобности, кладем в тюремные лазареты. А семеновцы не преступники и не злодеи.

– И еще: мне необходимо выехать в Семеновские казармы, с тем чтобы, по возможности, успокоить солдатских жен и несчастные солдатские семьи, претерпевающие большую нужду.

– Поезжай. Утешь жен и детей. Мне самому жалко их. А тем солдаткам, что слишком бедны, помоги. На вот раздай все, что тут есть. – Милорадович достал из стола бумажник, набитый ассигнациями, не считая, передал Глинке. – Тут сот пять, пожалуй... Заедешь в лавку – разменяй. Пока неустройство устраивается, о солдатских семьях надо подумать, в том наш святой долг.

Глинка сел в коляску и поехал в Семеновские казармы.

28

По пути Глинка думал о том, каким образом наверняка разрушить замысел о внезапном обыске на квартирах у офицеров-семеновцев, среди которых было немало его друзей. Он не исключал того, что этот налет может дать в руки полиции нить, ведущую к сокровенным тайнам Союза Благоденствия. Ведь Муравьев-Апостол – член Коренной Управы. Его стараниями среди надежных семеновцев пущена по рукам копия с «Зеленой Книги», через которую многие приходили в стан заговорщиков.

Глинка легко соскочил с дрожек у Семеновских казарм. В это время из ворот вышли Сергей Муравьев-Апостол и Михаил Бестужев-Рюмин. Оба они были тревожно возбуждены. Глинка, оглянувшись, заговорил с ними на французском.

– Далеко ли?

– Бестужева-Рюмина требуют к дежурному генералу, а меня в штаб гвардейского корпуса, – отвечал Сергей Муравьев-Апостол, – вот уже третьи сутки только тем и занимаюсь, что пишу пространные рапорты, докладные и объяснительные записки...

– Писание записок и рапортов – это полбеда... А почему так разгорячились?

– Полчаса назад имел объяснение с мерзавцами Скобелыцыным и Бибиковым, полностью взявшими во всем этом деле сторону негодяя Шварца. Я решил вызвать Скобелыцына на поединок...

– А я – Бибикова, – добавил Бестужев-Рюмин.

– Спокойнее, господа. Они проникли в тайну Коренной Управы?

– Не думаю, они просто подлые люди, – ответил Муравьев-Апостол.

– Коли так, то смешно и безрассудно рисковать жизнью, сходясь на поединок с ничтожными людьми. Подлую кровь пусть проливают другие, – вразумляюще заговорил полковник Глинка. – Учтите и немедленно примите все меры предосторожности: на ваши жилища и жилища ваших друзей и родственников надвигается повальный полицейский ураган. Предполагаются обыски, изъятие бумаг, писем. Вы будете приглашены или к графу Милорадовичу, или к графу Кочубею, а возможно, и в другое место. В это время богатырская дружина обер-полицеймейстера Горголи начнет разбойничать по казармам и квартирам...

– Меры предосторожности на сей счет мною уже взяты, – быстро ответил Муравьев-Апостол. – Но вот беда: в казарменной квартире нашей хранятся бумаги князя Ивана Щербатова и Римского-Корсакова, один в домовом отпуску, другой на длительном излечении.

– Немедленно уничтожайте или прячьте надежно, – сказал строго Глинка. – Закревский и великий князь хотят представить семеновское дело мнительному государю как начало революции в России и тут будут цепляться не только за устав Союза Благоденствия, но и за каждое неясное слово, выуженное из писем.

– За наших, которые в настоящее время находятся в столице, я не опасаюсь, – заверил Муравьев-Апостол. – Мы не дремлем, здешние все предупреждены, но опаснее положение наших друзей на юге и в Москве. Мы не успели их предупредить, а полицейские нарочные могут опередить нашу эзоповскую почту. Федор Николаевич, ваш ум неистощим на поразительные ходы. Изобретите способ помешать обыску или хотя бы задержать его на несколько дней. Воздействуйте на человеколюбие Милорадовича.

Глинка рассказал о смятении во дворце, о зловещем молчании Аракчеева, который не без коварного умысла не хочет показываться в столице, об опасении Милорадовича и графа Кочубея оказаться виновными во мнении государя.

– Думаю и придумать не могу, как бы отвратить Милорадовича от идеи обыска среди офицеров, – признался Глинка. – Любовью атакой его не возьмешь, нужно нечувствительное проникновение в его душу... Но как в нее проникнуть при столь накаленной политической обстановке?..

На плацу показался фельдфебель Брагин. Муравьев-Апостол исподлобья глянул на него и перемигнулся с Глинкой. Полковник вдруг преобразился – стал говорить громко и начальственно, словно за что-то распекал стоявших перед ним офицеров. Брагин, поравнявшись, взял перед полковником под козырек по всем правилам. Но Глинка придрался к нему, обвинив в плохом знании фрунта. Минуты три он отчитывал фельдфебеля, а потом велел убираться с глаз долой.

Когда фельдфебель исчез за казарменными воротами, Муравьев-Апостол сказал Глинке:

– А я нашел ключ к Милорадовичу! Воспользуйтесь моим советом. Наш Семеновский полк считается императорским! Полк – любимец государя! Государь долгое время был нашим шефом... И как же можно без разрешения императора столь грубо вмешиваться в жизнь государева полка? Обыск на квартирах у офицеров – неслыханное дело... Государь вознегодует и строго накажет виновных в бесчинстве... Внушите Милорадовичу... Внушите, и он отменит обыск!

Эта мысль показалась Глинке привлекательной.

– Стоит подумать, – сказал он. – Но вы не благодумствуйте и все, что только можно замести, заматайте.

Из Семеновских казарм Глинка проехал к дежурному генералу Закревскому в дом Главного штаба, а оттуда в Петропавловскую крепость и на пороховой завод, чтобы добиться возвращения в лазареты больных солдат. Но ничего он не добился, даже ясное заявление генерал-губернатора принять всю ответственность на себя за перемещение в лазареты хворых семеновцев не подействовало на коменданта крепости.

Возвращаясь с порохового завода, Глинка заехал в кондитерскую, чтобы выпить стакан чаю. Здесь он неожиданно встретился с отставным полковником Ермолаевым, который с удовольствием и в полный голос прочитал уничтожающий памфлет на старшего полковника Шварца, памфлет, неведомо кем сочиненный, но в один день разлетевшийся по всем гвардейским полкам. Ермолаев, пренебрегая всякой осторожностью, проклинал Шварца и вместе с ним Аракчеева, а заодно к ним пристегивал и Васильчикова с Закревским.

– Возьмите под арест негодяя Шварца, – просил Ермолаев Глинку. – А не возьмете, мы сами устроим суд над ним! Суд справедливый и нелицеприятный! Мы марать руки об него не станем, мы в базарный день выведем его на Сенную площадь и кликнем народу: «Вот он – душегуб и истязатель Шварц!» И туту ему, как говорится в песне, славу поют и на могилу плюют!

Глинка увидел, как в кондитерскую семенящей походкой вошел полицейский фискал Валяев в нахлобученной на лоб серой широкополой шляпе. Наступив на ногу Ермолаеву, кивнув на вошедшего, шепнул:

– Из наших уличных подлецов... Будь осторожен...

Глинка расплатился за чай и покинул кондитерскую. К Ермолаеву подсел Валяев и сразу завел «горячие» разговоры. Ермолаев слушал, слушал его, потом встал, расправил широкие плечи, взял крупными пальцами Валяева за вислое и большое, словно у теленка, ухо и повел к двери, приговаривая:

– Не блуди! Не блуди! Не возмущай ложными словесы государевых верноподданных.

Валяев вывалился за порог, вслед за ним полетела шляпа.

– Вторая моя виктория после Бородина, – сказал себе суровый Ермолаев и пошел мыть руки за цветную занавеску.

В двенадцатом часу вечера Глинка вернулся в генерал-губернаторскую канцелярию. Окна кабинета Милорадовича сияли всюду. Глинка прошел прямо к графу и застал его беседующим с обер-полицмейстером Горголи.

– Федор Николаевич, я окончательно условился с дежурным генералом Закревским и господином полицмейстером относительно нашей деликатной операции, – шумными словами встретил его Милорадович. – Думаем, бог мой, начать завтра после обеда. Приглашаем ко мне всех семеновских офицеров, а полицейские тем временем рыскнут по квартирам. Вот перечень лиц и квартир, на которые следует обратить особенно внимание, – и он вручил Глинке список, составленный чьим-то нетвердым почерком.

На первом месте в списке среди особо подозрительных лиц Глинка увидел знакомые фамилии – Муравьев-Апостол, Вадковский, Ермолаев, Кошкарлов, князь Щербатов, князь Шаховской, ротмистр Петр Чаадаев, Бестужев-Рюмин и, кроме того, фамилии нескольких партикулярных лиц, с которыми дружили поименованные офицеры. Глинка не спешил возвращать список. Все свое внимание он употребил на то, чтобы запомнить почерк. Затем с видом полнейшего безразличия положил список на стол.

– Обыск так обыск...

– Что-нибудь да найдем! – с резким кавказским акцентом предвещал возбужденный Горголи. – Не может быть, чтобы не нашли. Книжку какую-нибудь или переписку недозволенную! И этого уже достаточно, чтобы любого вольнодумца взять за вороток и проводить на сибирский холодок.

Глинка устало опустился на диван. Глаза тотчас же начали слипаться. Слова Горголи пролетели мимо ушей.

– Итак, господа, завтра приступаем к деликатной операции! А теперь поедемте почивать! – Генерал-губернатор сладко во весь рот зевнул и не перекрестился.

– Спать так спать, – вяло согласился Глинка. – Конечно, обыск может кое-что обнаружить. Но нам надо заблаговременно подготовиться к отражению всех неминуемых

жесточайших атак против нас в случае провала с обыском, от чего мы тоже не гарантированы.

Милорадович весь насторожился, испытующе глядя на Глинку.

– Каких атак? С чьей стороны?

– Во-первых, со стороны самих господ гвардейских офицеров, чести которых будет нанесен непоправимый урон полицейским обыском. Ведь он будет произведен в государевом полку без ведома государя, – все так же сонно говорил Глинка. – Во-вторых, со стороны самого государя, который может прийти в яростный гнев и осудить наше опрометчивое и, увы, непоправимое предприятие...

Милорадович растерянно посмотрел на Горголи и, встретив бессмысленно преданный взгляд, отвернулся.

– Можно не сомневаться, что все офицеры, подвергшиеся обыску, – продолжал Глинка, – немедленно сделают представление своему шефу – государю-императору, и не исключено, что всей артелью заявят о переводе из полка или о выходе в отставку. А такой демарш может привести в грусть и недовольство государя. Вот я и думаю – не нажить ли нам беды... Да еще какой...

Горголи, испуганно моргая, не сводил глаз с начальника. Он тоже понимал, что в случае чего именно на него в первую очередь падет царский гнев.

– Да, да, да, да, да... – заладил вдруг Горголи. – Об этом-то мы и не подумали... Да, да, да, да, да... Семеновским полком шутить нельзя. Ни дежурный генерал, ни Васильчиков этому полку не распорядители. Давайте, господа, воздержимся с операцией. Ей-богу, государь может шибко прогневаться...

– Что же вы предлагаете, Федор Николаевич? – уже сухо вато и как бы официально спросил Милорадович.

– Пожалуй, господин Горголи прав – с обыском следует воздержаться до получения на то высочайшего указания, – посоветовал Глинка. – Наш первейший долг – свято исполнять возложенные на нас государем обязанности – ни в чем не отступать от справедливости, от законности, человеколюбия, своей ревностной службой помогать государю в сохранении его нравственных, духовных и умственных сил для успешного завершения той великой работы, которой в настоящее время отдано все его внимание. Было бы печально и легкомысленно с нашей стороны слепо поддаться внушениям не всегда предусмотрительного и политически зрелого военного начальства, в личных видах желающего раздуть маленькое семеновское недоразумение до масштабов бунта. Согласившись с ними, мы можем оказаться в самом невыгодном свете перед лицом монарха, привыкшего на все взирать спокойно и рассудительно. Таково мое мнение, граф, полагаю, его разделяет и господин Горголи.

– Да, да, да, да, да! Полностью, полностью, Николай Федорович, полностью! – с редкой готовностью подтвердил полицмейстер.

Милорадович с хрустом расправил плечи и с сияющим видом воскрешенного от смерти решил:

– Воздержаться с обыском! И графа Кочубея убедим! Несомненно, на свой риск он не захочет заваривать крутую кашу вкупе с такими поварами, как Закревский, Бенкендорф и прочая... Донесение в собственные руки государю отправляю немедленно в том виде, в каком оно составлено. Адъютанта!

Влетел адъютант.

– Лучшего нарочного! С пакетом государю в Тропшау!

Домой Глинка приехал в три часа ночи и, едва сбросив мундир, повалился на кровать.

Дежурный генерал Закревский, как и Васильчиков с Бенкендорфом, отлично понимал, что события в Семеновском полку дали самый сильный козырь в руки их затаенному недругу Аракчееву. Несомненно, друг царя этим козырем воспользуется и пустит его в игру, не дожидаясь возвращения императора в Петербург. Поэтому-то опытный в интригах и придворных склоках Закревский все время был начеку, он везде, где только можно, и у всякого, у кого только можно, собирал сведения о настроении царя, о предпринимаемых им

повелениях, о готовящихся высочайших указах. Закревский искал себе союзников среди столичной военной верхушки.

Поздно вечером он заехал в канцелярию к генерал-губернатору и нашел его за рисованием милой дамской головки.

– Приехал перекинуться новостями, милостивый государь! – здороваясь за руку, запросто говорил Закревский.

– Давай, давай, бог мой, душа моя, серка на менка, – отзывался Милорадович, – я с тобой поделюсь – столичными, ты со мной – заграничными.

Они сели на диван, закурили трубки.

– Ну, что я могу сказать о столице нашей? Полна разными слухами, догадками, выдумками и просто сплетнями. Все со дня на день ждут возвращения государя, – спокойно рассказывал Милорадович.

– Не возвратится, ни за что не возвратится! – уверял Закревский.

– Почему?

– Гроза миновала...

– А миновала ли? У меня несколько иное мнение... Ну, чем еще богата нынешняя столица? Повсеместными проклятиями Шварцу, – продолжал генерал-губернатор, – и я уверен, если бы он рискнул выйти на улицу и был опознан обывателями, то его разорвала бы на куски чернь. И аристократы то же самое сделали бы с ним. Он человек не только грубый, невежественный, глупый, но и совершенно лишенный чувства нежности, снисходительности к солдату.

– А нужна ли нежность и снисходительность в службе? – возражал Закревский. – Нежность и снисходительность к русскому солдату может принести лишь вред. Солдат рожден для палки. Без палки из русского болвана нам никогда не вымуштровать солдата, угодного его величеству. Палка в руках умного и крепкого командира может сделать чудо. Беда не в палке, граф...

– В чем же, Арсений Андреевич?

– В бурбонах. Во вновь назначенных в полки неспособных командирах, которые даже собственным кулаком и капральской палкой не умеют распорядиться к пользе дела, – довольно резко и осудительно рассуждал Закревский. – Я сам последние три года отказывался понимать, что творится в гвардии. Обратите внимание на нынешние назначения полковых командиров... Почему так происходит? Не понимаю... Может, вы мне объясните, граф?

– Не по моему ведомству... Об этом лучше бы поговорить с Васильчиковым.

– Говорил...

– Ну, и что?

– Он знает не больше моего.

– А так ли, Арсений Андреевич?

– Одно твердит: «Не я назначаю, так государю угодно».

– Допустим, что так.

– Во время вашего командования гвардейским корпусом ни одной такой стоеросовой дубины не назначали в полковые начальники, – неподдельно возмущался Закревский. – А ныне посмотрите, только за один год скольких профессоров ружистики и шагистики назначили в полки. Московский полк осчастливили Фредериксом... За что? За какие заслуги и отличия?

– По-дружески... Вы же не хуже моего знаете: Фредерикс – личный приятель великого князя Николая Павловича... К тому ж он лучше всех в гвардии умеет носить щегольский мундир, – весело смеялся Милорадович.

– В Преображенский назначен Пирх, в лейб-гренадерский – Стюрлер, в Измайловский – Мартынов, в Семеновский – Шварц... – перечислял полковых командиров Закревский, а сам брезгливо морщился. – Все внимание их обращено только на носки, на пряжки и на бляшки, они в два счета обратят гвардию в черт знает что. Я ничего не понимаю, граф, в причинах таких странных перемен. Будто кто-то замыслил коварный заговор против гвардии в угоду мерзавцам стюрлерам и фредериксам...

– На сей счет интересно бы потолковать с сиятельнейшим графом Алексеем Андреевичем Аракчеевым, – лукаво подмигнув, порекомендовал Милорадович.

Закревский подскочил с дивана, круто повернувшись лицом к смеющемуся Милорадовичу:

– Чтобы я поехал к этому дворцовому дикарю и чугуевскому людоеду? Разрушение и осквернение гвардии – его затея, дело его грязных рук. Ежели я завтра из генералов буду разжалован в рядовые, я все равно не унижусь до того, чтобы обратиться за содействием к этой пресытившейся свинье.

Милорадович, слушая перуны дежурного генерала, посылаемые в друга царя, добродушно смеялся и верил в то, что возмущенный Закревский не рисуется, а извергает давно накипевшее.

От Милорадовича распаленный гневом против шварцев и стюрлеров Закревский поехал на квартиру к генерал-аудитору Булычеву, о котором была добрая слава в гвардейских полках. Именно ему, Булычеву, были обязаны своим спасением от несправедливого жестокого наказания по суду не только провинившиеся офицеры, но и многие рядовые. Беспристрастный, неподкупный, твердый в суждениях, хорошо знающий непроходимые дебри так называемых российских законов, он опротестовал немало приговоров различных военно-судных комиссий, вернул судные дела на пересмотр, добился торжества справедливости и тем самым спас многих людей, одних – от каторги, других – от смерти, третьих – от разжалования в рядовые.

Булычева терпеть не мог Аракчеев. И если бы на то его полная воля, он давно бы упек строптивного и бесстрашного аудитора к чертям на кулички, но не получал согласия царя на такое удаление. Император ценил Булычева за деловитость, исключительную осведомленность в юридической казуистике, а больше всего за прямоту и откровенность, чего он не находил почти ни в одном из приближенных ему генералов. В душе царь уважал Булычева несравненно больше, нежели какого-нибудь Васильчикова, Бенкендорфа, Гурко, Клейнмихеля, Алексея Орлова, Сухозанета. И самодержцу он нужен на этом месте не только ради пользы дела, но и для яркой декорации, как и Милорадович на посту генерал-губернатора. На Булычева можно было разгневаться, можно было против него возмутиться, но упрекнуть его в подлости, низости, лести или малодушии никак нельзя. Это был человек редкостного цельного характера, и трудно было поверить, что этот характер складывался, мужал под той же сенью престола, под которой сложились ничтожные характеры раболепствующих васильчиковых, гурко, бенкендорфов, да и самого Закревского, служившего царю совсем не по тем правилам, какими руководствовался генерал-аудитор Булычев.

Булычев, в домашнем василькового цвета бархатном халате и домашних туфлях, у себя в кабинете занимался кропотливым изучением недавно поступившего к нему судного дела о возмущении в одной из рот поселенных войск Старорусского уезда.

Увидев Закревского, он отложил дела, принял гостя со всем радушием. Пригласил на чашку кофе с ликером. Он не стал напяливать мундир. Сел к столу по-домашнему. Внешне в нем ничего не было генеральского: манеры мягкие, голос совсем не начальственный, лицо приятное, в глазах свет истинного добродушия. Он был выше среднего роста, не тучен, но и не сухощав, над закругленным лбом курчавились густые темно-русые волосы в колечко. Говорил не торопливо, но и не медлительно. Отличался исключительной находчивостью в беседе за дружеским столом, равно как и в аудиторской палате.

– Не прибавилось бы вам, милостивый государь, скоро работенки, – говорил Закревский, держа в руке рюмку с ликером, – все казематы крепостные до отказа набиты семеновцами...

– Нет, не думаю, Арсений Андреевич, – отвечал Булычев. – Насколько мне ведомо, там никакого преступления не случилось. Правда, есть один преступник, давно подлежащий отдаче в военно-судную комиссию, но он остается недоступен карающей руке закона.

– Вы имеете в виду нелюдя Шварца?

– Не только его одного... А чем лучше этого нелюдя, скажем, Стюрлер? Фредерикс? Или наши соотечественники – Гурко, Мартынов? Но они вошли в моду...

– Кто же, по-вашему, выходит из моды?

– Генерал-адъютант Потемкин... Генерал-майор Михайла Орлов, – стал перечислять Булычев имена известных и любимых гвардией генералов. – Генерал Фонвизин... Да и ваш покорный слуга ныне не так уж моден.

Они назвали многих. Потужили о новых полковых назначениях. К чему же все это клонит – оставалось неясным для Закревского, который не отличался ни большой наблюдательностью, ни проницательностью. Но у Булычева на этот счет было определенное мнение:

– Попомните мое слово, Арсений Андреевич, за перемещением полковников начнется перемещение генералов, не исключено, что и министров, – предсказывал Булычев.

– Вы думаете?

– Не сомневаюсь... Признаки таких перемещений, а вернее – отстранений, налицо... Так что следующая очередь за вами и за мной, – без тени волнения говорил Булычев.

Закревский же от этого расстроился еще больше. Всякая мысль о том, что он вдруг может лишиться своего поста, повергала его в уныние.

По возвращении в гостиную Булычев рассказал много судно-следственных ужасов. Закревский подговаривал генерал-аудитора любой ценой привлечь к военному суду и беспощадно покарать полковника Шварца. Дежурный генерал гнался не за тем, чтоб в полной силе восторжествовало правосудие, он преследовал прежде всего личные цели: если удастся приговорить Шварца к повешению, то уже тем самым полбеда будет скачено с плеч столичных генералов – Шварц предстанет перед царем как главный и единственный виновник возмущения семеновцев. Перед отъездом Закревский пообещал Булычеву сделать со своей стороны все возможное, чтобы помешать Шварцу отвертеться от военного суда. Давая такое обещание, Закревский понимал, что ему нелегко будет ухватить Шварца за жабры. Шварц в любую минуту может оказаться под надежной защитой не только графа Аракчеева, но и великого князя Михаила Павловича, который будто по сговору с Аракчеевым настоятельно рекомендовал царю назначить армейского полковника Шварца командиром в гвардейский полк. Не кто иной, а сам великий князь, поздравляя Шварца с назначением в гвардейский полк, в присутствии многих генералов и полковников наставлял его беспрестанно содержать семеновцев в труде и в поте и «денно и ночью выбивать из них потемкинскую дурь». Шварц, как показали его дальнейшие дела, не остался глух к великокняжеским наставлениям.

И тем не менее Закревский дерзал... Он делал ставку на общественное мнение и на мнение гвардейских офицеров. И с этой целью решил делать все для того, чтоб негодование против Шварца разгоралось и разгоралось с каждым днем. Разжигать его в данной обстановке было не так-то уж тяжело. Одно упоминание имени Шварца сразу приводило в ярое негодование не только столичных вольнодумцев и салонных либералов, но и отъявленных консерваторов, преданных слуг престола; к числу последних, без всяких оговорок, принадлежал и Закревский.

От Булычева, несмотря на слишком позднее время, он проехал в помещение Главного штаба, чтобы осведомиться, нет ли каких новостей от государя с конгресса. Здесь его ждал ездовой с пакетами от князя Петра Волконского, доставленными из-за границы.

Закревский с тревожным волнением принялся за их вскрытие.

30

Измученный бешеной гонкой фельдъегерь в шинели, шапке и шарфе, от сапог и до плеч окиданный дорожной грязью, с кожаной сумкой на боку, ввалился в ярко освещенную настольными и стенными свечами приемную генерал-губернатора. Был уже первый час ополуночи.

– С пакетами от государя! – прохрипел высокорослый гонец.

Дремавший в креслах адъютант встрепенулся, протер глаза и поспешил в кабинет, чтобы доложить.

Милорадович и Глинка, оба утомленные и обеспокоенные, сидели перед догорающим камином, рассматривая какую-то бумагу.

– Ездовой от государя! – доложил адъютант.

– О, душа моя, бог мой, счастливая минута! – торжественно провозгласил Милорадович и с легкостью портупей-прапорщика кинулся к порогу навстречу гонцу, лицо которого казалось залубенелым от ветров и непогоды.

Ездовой вручил Милорадовичу захламленную со светлыми металлическими кольцами и надежным замком сумку, ключ от которой хранился лишь у двоих лиц – у отправителя и получателя. Милорадович извлек из сумки сразу три пакета. Что-то кроется под этими надежно прилепленными сургучными печатями?

Он с нетерпением, осторожно и умело с помощью изящного инкрустированного желтого костяного ножа вскрыл тот пакет, адрес на котором был писан рукой царя. Прочитал письмо и сильно чем-то огорчился. Повздыхал. Федор Глинка взглядывал на него, подбрасывая лучинки в камин, не спешил спрашивать. Еще раз прочитав письмо, Милорадович с досадой заговорил:

– Доделикатничались, бог мой... Мне объявлено неудовольствие... Вот она, деликатность, чем может обернуться... Повелено государем обыск в офицерских казармах и партикулярных квартирах не предпринимать...

– Видите! Я же говорил, – поторопился заметить Глинка.

– Говорить-то говорил, бог мой... Плохо то, что я в этот раз послушался тебя – отказался от обыска по горячим следам, – сожалел Милорадович, держа письмо в руке. – Их величество недоволен нашей медлительностью и нерешительностью. И я виноват всех больше. Горголи – болван, и с него спрос невелик. Но я чего испугался? Что меня остановило? Околдовало? И государь прав, когда вчуже учит нас простой истине: в таких делах все зависит от первого момента. С обыском мы прозевали... Проворонили... Проделикатничали...

Наблюдательный сердцевед Глинка сразу почувствовал навеянный досадным промахом холодок в словах расстроенного графа, который теперь вдруг на все взглянул по-другому, своими глазами, а не глазами помощника. Такой оплошности граф не мог простить самому себе. Выраженное царем неудовольствие равносильно выговору и может стать началом больших неприятностей. А исправиться уже не представлялось возможным. Он в сильном волнении то подкручивал и без того подкрученные острые кончики густых гвардейских усов, то, расхаживаясь, звонко щелкал белыми пальцами, вскидывая руку к виску.

– Ваше сиятельство, милостивый государь Михайла Андреевич, не сокрушайтесь, – подал совет Глинка, – настроение их величества, как и всякого человека, переменчиво. Могло быть и так: мы в погоне за первым моментом самолично рискнули сделать обыск у офицеров и ничего обличающего их не нашли, оскорбленные офицеры непременно нажаловались бы на нас государю, как на превысивших власть и на преступивших закон... Могло случиться и хуже...

Невеселый Милорадович остановился у стола, задумался. Оба долго молчали.

Камин догорел. Дотлевали золотистые угольки на колосниках.

Милорадович отпустил Глинку из своего кабинета уже без той приятной улыбки на лице и без обычного веселого и остроумного напутственного слова.

Только по выходе из канцелярии Глинка вспомнил, что у него в карманах хоть шаром покати – не осталось и двугривенного на извозчика. Пошел пешком.

Полуночный гигантский город порой казался вымершим. Фонари погасли. Громады дворцов и особняков выглядели черными, мрачными. Свистел сырой ветер, от которого не могли спасти шинель и мундир. Глинка поднял воротник, вобрал голову в плечи. Шел и думал о делах завтрашнего дня. Кроме служебных, его ждали и другие заботы: надо непременно оповестить всех членов Коренной Управы Союза Благоденствия о том, что миновала угроза полицейского налета, о важном письме царя генерал-губернатору. О мужественном достойном похвалы поведении семеновцев, брошенных в казематы, – держутся стойко, на допросах отвечают умно.

С Петропавловской крепости в неурочный час вдруг ударила пушка – она предупреждала спящих жителей столицы о том, что в Неве угрожающе быстро прибывает вода и не исключено наводнение. Там и сям в дворцах и лачугах замелькали огоньки, петербуржцы просыпались, припадали к оконным стеклам, поспешно выскакивали на улицу.



Часть четвертая Прекрасный полк

С пакетом от корпусного командира «Государю в собственные руки» ротмистр Чаадаев скакал день и ночь, памятуя наказ начальства: «Лошадей не жалеть! Гнать и гнать и гнать! Хотя миллион извести на загнанных лошадей, но любой ценой опередить австрийцев...»

Проделав верст триста на колесах, он пересел в санки. Через двое суток из санок вновь пришлось переместиться в коляску: погода испортилась, снег сменился дождем, дороги развезло; низины, покрытые хрупким льдом, сверкали озерами.

Дорога, несмотря на отчаянную гонку, была утомительной и скучной. Скука усиливалась унынием, повсеместно сковавшим природу: куда ни бросишь усталый взгляд – повсюду видишь одно и то же: серое небо, серые поля, черные безмолвные леса...

Предстоящая встреча с самим императором не изменила сколько-нибудь к лучшему мрачного настроения Чаадаева, человека выдающегося ума, блестящего образования, славившегося изящными манерами, умением одеваться. В последние месяцы все чаще овладевала им беспросветная меланхолия. Постоянные сосредоточенные противоречивые размышления над прошлым, настоящим, будущим России и русского народа приводили его к выводам, полным пессимизма. Ум независимый, оригинальный и сильный, тяготеющий к философическим обобщениям, с презрением отвергал едва ли не все утверждения казенной историографии, казенной науки, казенной философии и казенной истории. Бездумный купеческо-генеральский лепет о патриотизме, православии, народности, вековых традициях представлялся ему насквозь фальшивым, как и официальное разглагольствование властей о монаршей любви к подданным. Бескомпромиссное отрицание Чаадаевым всякой наукообразной фальши приводило его к новым и новым душевным столкновениям с самим собою, с вчерашними своими убеждениями, к новым противоречиям, к новым кровотокающим потрясениям. Он безжалостно опровергал живые и мертвые авторитеты, преследуя одну цель: помочь вызволению сознания соотечественников из губительной бездны всевозможных застарелых заблуждений, бездны, в которую толкают людей их собственная незрелость, неспособность к осмыслению событий, прописные истины, выдаваемые бесплодными профессорами и сочинителями за откровения науки, за опыт истории.

В подсурмленном, в подбеленном, подкрашенном лице современной ему крепостнической России он все больше замечал страдальческих морщин. Преклоняясь перед единственным для всех веков и народов авторитетом, достойным разумного, а не языческого преклонения, собственным умом и умом истинных мыслителей, вроде профессора Куницына, он иногда приходил к удручающему выводу: «Одни из подлого раболепия, низкого пресмыкательства, трусости, другие из ложно воспринятого понятия о патриотизме, национальном приоритете не хотят или стыдятся сказать всю горькую правду о самих себе. Эту правду в состоянии выслушать и сделать из нее необходимые выводы только сильный, безумно смелый ум...

Не заколдовали ли нас звоном мечей? Заколдовали до того, что мы поверили во всякую небыль... Не оглушили ли нас колокольным звоном и пушечной пальбой бесчисленных салютеций? Оглушили до того, что за пушечным и колокольным ревом мы разучились слышать голоса разумного предостережения остального мира, вдруг обставившего нас как в государственности, в нравственности, в просвещении, так и в гражданском – истинном – героизме.

По сравнению с гражданским героизмом все кровавые подвиги многочисленных и ничтожных для человечества, для истории человеческого духа Чингиз-ханов, Тимуров, Мамаев, Наполеонов кажутся по значению своему не выше подвига паука, заманившего муху в липкую паутину.

Великомученики и великомученицы, сонмы придурковатых юродивых, паразитствующих монахов, алчных и ненасытных, как и крапивное чиновничье племя, ныне с быстротой насекомых размножающееся по бесчисленным канцеляриям, департаментам, ведомствам, министерствам, огадили прекрасное лицо и великую душу былой России, той России, которую мы не застали, но в былом величии которой, кажется, нет никаких

оснований сомневаться. Та Россия, выйдя из племени вольнолюбивых древних славян, создала свои письмена, свою государственность, свои законы, свою культуру, выпестовала свой истинно русский характер и, по уверению историков, процветала до тех пор, пока не рухнула под напором бродяжьих полуразбойничьих ватаг международного авантюриста Рюрика. Рюриков сменили дикие орды Мамаев. И все погибло. Начался закат русского духа. Россия героическая медленно умирает под барскими батогам на конюшне. Дух Великого вольного Новгорода давно истреблен. Этому истреблению кто-то изыскал оправдание. Нужно ли искать подобные оправдания? Не знаю... Гений наш несомненен, но он опочил. Навсегда? Нет! Рано или поздно он воскреснет, чтобы вновь возвестить всему миру истину, достойную внимания и уважения всех народов!

Странная и непостижимая судьба великой нации! Будто сама желая, чтобы над нею из века в век смеялись чужеземцы, она тратит свои последние силы и нищенские гроши на отливку царь-колоколов и царь-пушек. Помпезность, парады, внешний блеск кучки захвативших всю власть в стране паразитов, убили остатки живого духа в груди России. Не так ли начинают изникать и сходить с исторической сцены целые некогда могущественные государства, великие народы? О, не дай боже...»

Мелькали полосатые дорожные столбы. Свистел ветер в ушах. По ветру взвивались гривы. Верста за верстой ныряла под колеса с быстротой птицы летящего экипажа. Чаадаев, отогнав мрачные раздумья, с наслаждением и упоением не уставал повторять неисторжимые из души прекрасные строки из стихотворных посланий опального Пушкина: «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы...» Как только ум и сердце наполнялись удивительным сиянием этих сладкозвучных строф, полных гражданского пафоса, мужества, благородства, ума, – весь мир как бы преображался перед глазами ротмистра. Необыкновенный прямо-таки океанский прилив сил начинал испытывать он, и будущее России уже в ином, блистательном свете представало перед его воображением. Верилось, что скоро, очень скоро сверкающие молниями вдохновенные призывы войдут в душу, в мозг, в плоть и кости всех жаждущих счастья для родины соотечественников, как они навсегда вошли в душу самого Чаадаева. Ему было отрадно сознавать свою причастность (ведь Пушкин был его лучшим другом) к сотворению драгоценных жемчужин великой поэзии, какой еще не слыхивала Россия, богатая великими поэтами. «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы...» В Семеновском полку эти строки не только офицеры, но и грамотные солдаты затвердили наизусть, как молитву. Чаадаев верил, что желанная заря близка. Он готов был на любую жертву и на любой подвиг ради ускорения ее прихода. Вспоминались незабываемые беседы с Пушкиным, с Пестелем, Никитой Муравьевым, Иваном Якушкиным, Сергеем и Матвеем Муравьевыми-Апостолами. Из бесед и встреч с каждым из них Чаадаев вынес много драгоценного и вместе с тем каждого из них обогатил силою своего духа и страстных порывов, жаждой подвига во благо и славу отечества, очищенного от скверны рабства и просвещенного и подслащенного лукавством и лицемерием махрового деспотизма Александра, такого же убежденного защитника бесправия и крепостничества, как и его отравленные ядом единовластия предки.

Чаадаев с улыбкой вспомнил пушкинскую эпиграмму о нем, ставшую известной всей столице:

...У нас он только офицер гусарский...

Гусарство и офицерство не только одному ему становилось в несносную тяжесть, хотя Васильчиков не переставал уверять его при каждом подходящем случае о его близком продвижении в чинах и званиях. Но не к чинам и званиям все чаще устремлялась мысль исполнительного офицера.

Дорога с каждым часом уносила гонца все дальше от туманного Петербурга. Там, впереди, за непроницаемой мглой многих верст начинаются страны, где все не по-нашему, где, кажется, люди никогда не испытывают такой тоски, скуки и омрачения, какие преследуют Чаадаева.

Расплатившись со станционными зрителями, он скакал дальше, не сбавляя прыти, не считаясь ни с чем. Чтобы согреться, но не терять на это дорогое время по харчевням и

трактирам, он подкреплялся, не выходя из коляски, тянул из фляги вино и закусывал пирогом с грибами, захваченным из Петербурга.

Тяготы столь быстрое езды скрашивала не теряемая надежда на возможность своим советом, если представится удобный момент, повлиять на государя при окончательном решении участи семеновцев, как солдат, нижних чинов, так и офицеров: среди последних у Чаадаева немало личных друзей, благополучие которых для него дорого.

На девятые сутки, 30 октября, после полуночи Чаадаев прискакал в Лайбах и остановился у светлейшего князя Меншикова. В эту ночь прибыли один за другим три курьера. Известие, доставленное Чаадаевым, было вторым.

Александр со скучающим видом принял пакет из рук гонца, лениво и как бы против желания вскрыл, прочитал донесение и, бросив его в кожаный портфель с какими-то другими бумагами, сказал:

– Семеновская история мне уже известна. Только в донесении Васильчикова много излишнего оптимизма, а Закревский смотрит на событие более трезво... По всем признакам дело не обошлось без подстрекателей. Рассказывайте все, что не уместилось на бумагу... Побольше подробностей, обстоятельств... О положении в городе, какие слухи среди обывателей, что говорят в английском клубе, как отнеслись к происшествию иностранные послы и посланники?

Чаадаев сделал подробнейший рассказ о всем, что интересовало и беспокоило Александра. Царь слушал его с вниманием необыкновенным и вдруг прервал повествование неожиданным вопросом:

– Пока вы с пакетом находились у Меншикова, не заходил ли кто из иностранцев или наших?

– Нет, не заходил.

– По пути в Силезию во время остановок на станциях не было ли у вас с кем-либо разговоров о предмете столь деликатном и важном?

– Остановки, государь, были так кратковременны, что едва я успевал выпить чашку чая и снова в путь.

– Австрийский посланник не опередил нас с донесением Меттерниху?

– Не думаю, государь. Министр внутренних дел Кочубей принял нужные меры, чтобы задержать оформление подорожных для иностранных курьеров.

– За это он молодец! Рассказывайте дальше, что говорили солдаты и нижние чины, покидая казармы? Как вели себя офицеры во время всего происшествия? Я – бывший шеф Семеновского полка... Слушать о нем печальную повесть мне так же прискорбно, как бывает прискорбно отцу узнать о страшном заблуждении родного сына. Ни один полк так горячо не любил я, как Семеновский... И вдруг такая катастрофа... Боже мой, боже мой... Рассказывайте, рассказывайте подробнее и ничего не тая.

Болезненная гримаса исказила пухлое холеное румяное лицо царя. Чаадаев рассказывал со свойственной ему увлеченностью, без раболепия и преклонения, не чернил ни солдат, ни командиров, ни высших военачальников. Он хотел изобразить перед государем событие таким, каким оно вылилось, но, соблюдая предельную объективность, старался при удобном случае ход дела представить в свете, выгодном для семеновцев. Из его пространной, продуманной информации у государя должно было сложиться мнение о непричастности штаб- и обер-офицеров к возбуждению духа неповиновения среди солдат.

– Чернь и фабричные люди не вышли из повиновения?

– В городе полнейшее спокойствие за исключением нескольких маловажных и даже смешных недоразумений, – отвечал Чаадаев.

– Что за недоразумения? – с заметным оживлением спросил Александр.

– В первый день, когда случилось прискорбное происшествие в Семеновском полку, в доме английского посла возникло смятение.

– Причина тому?

– Вечером английский посол давал бал... Под окнами посольства подрались два кучера, должно быть, оба были пьяны... Шум и крик драчунов услышала собравшаяся в зале публика. Кто-то крикнул: «Семеновцы грабят город!» Гости кинулись кто куда. Но вскоре выяснилась причина смятения, и бал благополучно продолжался, а кучеров высекли в

полиции. И еще одно малозначительное недоразумение: вечером толпа фабричных людей встретила у подъезда дома генерала Закревского, с тем чтобы принести ему жалобу на притеснительства, исходящие от содержателя фабрики.

– Все это и прискорбно, и возмутительно, – сделавшись унылым, заметил Александр.
– А на военных поселениях не сказалось ли дурно семеновское возмущение?

Чаадаев не располагал никакими сведениями о настроении жителей военных поселений, но убежденно заверил, что в военных поселениях едва ли когда и узнают о семеновской истории ввиду ее малозначительности.

– Из донесений и вашего рассказа о том, как возникло и протекло происшествие, – чуть ли не сквозь слезы, прочувствованно заговорил Александр, – я составил для себя живую картину всего события. И признаюсь вам, что семеновцы, даже совершая преступление, остались доблестными семеновцами: они вели себя примерно. Отлично, хорошо вели себя... Очевидно, больше всех виноват Шварц, не сумевший удержать полк в должном повиновении...

Чаадаев при этих словах облегченно вздохнул: смягченный человеколюбивый тон, каким говорил царь, вселял надежду на высочайшее снисхождение к провинившемуся любимому полку, а за признанием виновности Шварца должно было последовать и его наказание.

– Да, но кто же причастен к подстрекательству? – задумчиво проговорил Александр. – По вашему объяснению, Чаадаев, я вынужден буду, принимая окончательное решение по семеновскому делу, взять в соображение настойчиво вами внушаемую мне мысль о том, что никаких подстрекателей нет и не было, что неповиновение вспыхнуло стихийно, что гром грянул над нашей головой как божия гроза. Но я что-то плохо верю в такое толкование. Едва ли кто на свете убедит меня, что такое происшествие было вымыслено солдатами из-за жестокого обращения с ними Шварца. Отчего же вдруг сделаться моему образцовому офицеру полным варваром? Не представили ли его таким во мнении неспособных к размышлениям солдат ловкие подстрекатели? Надо докапываться до тайных причин происшествия. Только вот чье было внушение: военных или партикулярных? Я склонен думать, что замешаны в подстрекательстве партикулярные люди со стороны. Если бы это была рука военных, то они, конечно же, принудили бы солдат прибегнуть к оружию, но солдаты не взяли даже за тесак. Не испугать ли уж нас хотят злоумышленники из разных тайных обществ?.. Не хотят ли уж мои враги того, чтобы я, узнав о возмущении, бросил на полпути столь важную работу на нынешнем конгрессе и поспешил возвратиться в Россию?.. Глупцы, они не знают ни России, ни духа русского солдата, как знаю я! Идите, Чаадаев, отдыхайте. Спасибо вам за отличное выполнение столь важного поручения.

Чаадаев покинул кабинет государя. Финал беседы не обрадовал Чаадаева: он увидел, что царь завяз в тенетах мнительности, внушенной окружением или порожденной собственной подозрительностью, а возможно, и секретной информацией, ежедневно стекающейся к нему.

На лестнице Чаадаева догнал князь Волконский:

– Государь повелел сказать вам, чтобы вы держали язык за зубами и ни слова не говорили находящемуся в свите его величества вольнодумцу и либералу светлейшему князю Меншикову о вашей беседе с государем. Откровенная беседа государя с вами – знак высочайшего к вам благоволения.

– Я оправдаю высочайшее доверие!

Семеновский полк уже второй день ни на минуту не уходил из мыслей государя. Еще будучи цесаревичем, Александр являлся шефом этого полка, знал в лицо всех офицеров и многих солдат, порой баловал полк, поощрял похвалами, отличиями, поблажками. Заботы цесаревича о семеновцах не пропали: Семеновский полк помог ему памятной мартовской ночью 1801 года перешагнуть через труп отца – коронованного деспота и завладеть тронном. Семеновцы, как и офицеры других полков, в день коронации Александра делали вид, что они не замечают наскоро подмытых кровавых пятен на шапке Мономаха. Они нелицемерно плакали от радости, обнимались, целовались, приветствуя своего шефа – молодого царя, от которого вместе со всей Россией ждали обновления.

И вот этот обласканный полк оказался самым неблагодарным: он первым показал дурной заразительный пример для всей гвардии и всей армии.

– Ни донесениям, ни объяснениям Чаадаева я довериться не могу, – встретил царь вернувшегося в кабинет Волконского. – Или они действительно ничего не понимают, или говорят неправду. Упражнения Николая Греча в ланкастерской школе зароняют в души воспитанников ложные, вредные идеалы. Тайные общества размножаются и ускользают из-под моего в моей полиции контроля. Кочубей, Милорадович и Глинка плохо следят за всем, что происходит в тайных обществах. Там подвизается много опасных, влиятельных людей, которые, если того захотят, могут уронить кого хочешь во мнении правительства и света. К тому же они располагают огромными средствами и потому оказываются в состоянии проводить свою политику вразрез с моей волей. – Порывшись в кожаном портфеле, он продолжал: – Корень зла – в тайных союзах, в секретных сборищах, в неблагонадежных писаниях разных гречей. Ростопчин был прав, когда предупреждал меня о возрастающей опасности, исходящей от тайных обществ, кои ловко прячут свои преступные замыслы под символические обряды масонских лож.

Государь принялся за собственноручное письмо графу Аракчееву, слово и дело которого уже давно имели власть и силу слова и дела самого императора. Он писал своему могущественному наперснику: «Никто на свете меня не убедит, чтобы сие происшествие было вымыслено солдатами или происходило единственно, как показывают, от жестокого обращения с оными полковника Шварца. Он был всегда известен за хорошего и исправного офицера и командовал с честью полком. Отчего же вдруг сделаться ему варваром?»

Австрийский курьер прискакал в Троппау днем позже. Александр распорядился тотчас пригласить к себе Меттерниха, чтобы посвятить представителя австрийского правительства в события, происшедшие в российской столице.

Меттерних прибыл к Александру и по утомленному виду русского царя понял, как глубоко потрясена и ожесточена душа его раскатом грома, докатившемся от Петербурга до Троппау. Александр коротко рассказал канцлеру о возмущении в Семеновском полку и заключил выводом, обрадовавшим собеседника:

– Событие неприятное, но поучительное не только для нас с вами, канцлер, но и для всей остальной Европы. Мне радостно отметить, что нынче мы почти не спорим, но оба одинаково судим об этом происшествии, его причинах и могущих быть последствиях.

– Да, государь, я тоже с большим удовлетворением отмечаю, что мы судим о них одинаково.

– От одинаковых суждений надо перейти к одинаковым действиям на благо обоих наших государств, – предложил Александр. – Три тысячи русских солдат взбунтовались не сами собой: розовые радикалы задумали пострадать меня и тем самым понудить возвратиться в Петербург. Без науськиваний радикалов русский солдат не дерзнет оказать неповиновение законному начальству. Смотреть сквозь пальцы на проделки радикалов я не намерен.

– А вы не преувеличиваете силы радикалов? – осторожно выразил свое несогласие Меттерних. – Неужели так сильны радикалы в России, что они в состоянии повелевать целыми полками? Причем самыми послушными полками, больше других обласканными государем.

– Три тысячи человек, как один солдат, встали против своего командира и согласились идти в крепость, но не смириться...

– И все-таки, государь, это больше похоже на стихийную вспышку, чем на инспирированное кем-то восстание. Конечно, вспышка огорчительная, неприятная, она так или иначе отзовется на состоянии умов в России... И возможно, не только в России...

Информировав Меттерниха и вежливо проводив его до порога, Александр дописал письмо Аракчееву и приступил к обсуждению с братом Николаем Павловичем письма от флигель-адъютанта Бутурлина, присланного на имя начальника штаба Волконского. Флигель-адъютант в страхе перед возможностью восстания, должно быть, сгоряча резко осуждал поведение не только Шварца, но и великого князя Михаила Павловича, который своими распоряжениями только мешал командирам укротить восставший полк. Бутурлин своим паническим письмом напугал Александра больше, чем все донесения Васильчикова,

Бенкендорфа, Милорадовича и Закревского, вместе взятые. Неповиновение семеновцев он называл не вспышкой, не принесением общей всепокорнейшей жалобы, а страшным бунтом, восстанием чуть ли не с оружием в руках. По словам Бутурлина, такого возмущения еще не знавала русская столица со дня ее основания, оно повергло в страх и смятение весь город и вызвало брожение в других полках и даже в отдельных военных поселениях. Испуг Бутурлина передался и царю. Обращаясь к брату, он сказал словами флигель-адъютанта:

– Вот что без меня творится: если бы пришло на ум кому-нибудь из офицеров призвать солдат к оружию, и все бы полетело к черту! Благодарение всевышнему, что такого негодяя не нашлось среди офицеров. Но кто меня убедит в том, что такие негодяи не таились среди них? Кто и какими чарами спаял солдат? Даже те несколько сот, которые не примкнули к восстанию, добровольно вызвались разделить участь отъявленных преступников. Семеновского полка, каким я его знал прежде, больше не существует...

Царь прикрыл брови пухлой ладонью. Когда он отвел руку, на глазах у него появились слезы. Белое, будто из мрамора изваянное лицо великого князя Николая Павловича сделалось грозным, и глаза его, быстрые, пронзительные, подернулись как бы прозрачной ледяной коркой.

– И нужно было поступить с бунтовщиками именно так, как предлагалось некоторыми: для острастки расстрелять каждого десятого из арестованных, – срывавшимся на крик звонким тенорком решительно сказал Николай Павлович.

– Еще не поздно воспользоваться этим предложением, ваше величество, – заметил Волконский. – Преступники в наших руках.

– Но где гарантия, что дурному примеру семеновцев не последуют преображенцы, павловцы и другие гвардейские полки? – добавил Николай Павлович. – Молодость, неопытность брата Михаила извинительна, но куда смотрели генералы? Почему они своевременно не разнюхали, какой либеральной заразой пахнет в Семеновском полку?

В упреках великого князя слышался выговор и самому начальнику Главного штаба князю Волконскому, не имевшему привычки возражать Николаю или опровергать его мнение, о чем бы ни заходила речь. Великий князь принимал за дерзость, за обиду всякое возражение, особенно если оно исходило от военных.

– Семеновского полка больше нет... Рассыпался один из величественных нерукотворных памятников великому нашему предку, – уныло повторил царь.

Смутные мысли его блуждали то по семеновским казармам, то по казематам Петропавловской крепости, то по анфиладам петербургских дворцов, то переносились под своды дворцовых парламентов тех европейских столиц, в которые он вступил с полумиллионной русской армией прославленным победителем и миротворцем. Что теперь говорят в Вене, в Берлине, в Риме о русской армии, которая еще вчера внушала страх народам едва ли не всей Европы? Не есть ли это первый удар меча по позлащенным дипломатической мишурой цепям Священного Союза? Без надежной армии никакие дипломатические уловки и хитрости не удержат в повиновении целые иноплеменные народы и государства.

Царь велел Волконскому заготовить проект приказа относительно Семеновского полка и уединился, чтобы на коленях помолиться на сон грядущий.

Утром он, смутный и расстроенный, приступил к работе рано. Прочитав подготовленный Волконским проект приказа, царь выразил неудовольствие как содержанием, так и крикливо угрожающим тоном приказа.

– Для тебя, князь, Семеновский полк – пустой звук, а для меня он – кровное мое детище.

Царь остался один и своею рукой от начала и до конца написал мучительный для него приказ. Перечитав и поправив написанное, он велел камердинеру позвать брата.

Когда Николай Павлович вошел в рабочий кабинет царя, он увидел Александра смятенным. Утирая платком глаза, царь подал бумагу великому князю со словами:

– Все-таки решился... Всю ночь мне снился почему-то генерал Потемкин... Будто ездит он, сев на спину Аракчееву, как трубочист с метлой по Летнему саду, а семеновские флейтчики и барабанщики бьют Турецкий марш... Замучили меня кошмары... Но и

решившись на такой шаг, я останусь благосклонен к семеновским офицерам... Виновных же придется отыскать и примерно отечески наказать.

Николай Павлович, прочитав приказ, печально опустил крупную русую голову с глубокими блестящими залысинами. Редко кому в семье и в царском дворце приходилось видеть его с поникшей головой.

Александр, встав из-за стола, шагнул к брату, положил руку на его гвардейски упругое плечо, утешающее проговорил:

– Мне понятна твоя печаль. Мы, Романовы, все очень чувствительны и сострадательны к людям. Но святость отцовских законов и честь имени российской армии обязывают меня прибегнуть к таким мерам. С тяжелым чувством душевного сокрушения я скреплял нашу монаршую волю своей подписью. Я шеф полка... Моя безмерная личная привязанность к полку, к сослуживцам, надеюсь, известна всей гвардии, всей армии, всей России... Но иного выхода для меня нет... Я плачу... Я со слезами принуждаю себя сделать так, как я сделал... Что ты, брат, скажешь на это?

Николай статно выпрямился, гордо вскинул голову, сверкнув повлажневшими глазами:

– Я в эту минуту исполнен таких же чувств, что и вы, ваше величество... Я вместе с вами оплакиваю доблестных семеновцев... Я целиком одобряю ваше волеизъявление, ибо иного пути к воцарению столь желанного спокойствия для драгоценного нашего отечества не нахожу.

– Решено...

И Александр, взяв свечу, собственноручно наложил на пакет черные сургучные печати.

2

Чаадаев в ожидание высочайшего решения сильно переживал. Дальнейшая судьба Семеновского полка была для штабс-ротмистра небезразлична. Кроме того, он никак не хотел стать вестником несчастья для своих друзей-семеновцев.

Наступил день возвращения в Петербург. Его позвали к царю. Александр встретил ласковой улыбкой питерского гонца. Вышел ему навстречу из-за стола, положил руку на плечо и с минуту безмолвно смотрел в глаза.

– Скоро будете флигель-адъютантом. Я хочу, Чаадаев, чтобы вы были ближе ко мне. Вы заслужили этого. Вы храбрый офицер и высокообразованный умный человек. Мне нужны вот такие.

Чаадаев поклонился в знак благодарности.

– Довольны ли вы, Чаадаев, встречей со мной?

– Государь, ваше высочайшее ко мне внимание и столь высокая оценка моей вам службы и моих скромных познание и талантов наполняют мое сердце безграничной признательностью... Я почту за великое счастье служить своему просвещенному государю, ибо служба престолу в моем понятии неотделима от служения отечеству.

– Чаадаев, вы очень верно понимаете высшее назначение службы. Итак, вы возвращаетесь в наше любезное отечество, а я вынужден оставаться здесь, – жаловался Александр. – С какой радостью вместе с вами в одном экипаже полетел бы я в Россию...

В душе Чаадаева опять проснулась надежда. Но мрачило его настроение одно немаловажное обстоятельство: царь нынче почем-то сменил свой любимый щегольский семеновский мундир на черный фрак. Случайно это или неслучайно?

Он решился дерзнуть с вопросом.

– Ваше величество, могу ли я, возвращаясь в Петербург, тешить себя надеждой на лучшее?

Царь посмотрел на него непонимающими глазами. Заговорил не сразу и как бы поневоле:

– Можете, Чаадаев... Я знаю вашу исключительную скромность. Разрешаю вам по возвращении порадовать своих друзей и родных вашим повышением... Да, можете себя считать флигель-адъютантом, я об этом уже сказал князю Петру Волконскому и велел написать в Петербург Васильчикову и Закревскому.

Царь или на самом деле не понял вопроса, или слукавил. Чаадаев еще раз рискнул спросить.

– Ваше величество, я не о себе, я о судьбе Семеновского полка... Для меня было бы страшно огорчительно привезти что-нибудь неприятное.

Александр вдруг будто сбывчился, немного свалил плешивую, но красивую голову к плечу и вернулся к письменному столу.

– Зачем же вам, Чаадаев, огорчаться?.. У вас решительно нет никаких причин для огорчения... Знайте одно: ничто и никогда не охладит моей любви и доверия к доблестному Семеновскому полку. Никто и никогда... Что бы там ни случилось с нами, но я всегда буду любить Семеновский полк! – И царь начал по именам называть не только офицеров, но и рядовых из государевой роты, чтобы тем самым показать не только близость, а и душевное родство с семеновцами. – Я сохранил и впредь сохраню все преимущества за этим полком. А о прискорбном недоразумении более подробно и в деталях я написал Закревскому, о чем и будут вскоре отданы приказы по гвардии и армии. В остальном же, ротмистр, станем уповать на творца...

Чаадаев готов был расцеловать руку царя и не сделал этого лишь только потому, что царь вдруг часто-часто заговорил и рассуждал очень долго об истинной христианской добродетели, любви к ближнему, как к своему брату.

– Ваше величество, вы делаете меня поистине самым счастливым человеком, – изливал неподдельную признательность Чаадаев. – Что может быть возвышенной сознания того, что ты своим участием способствуешь благу и добру. Мой обратный путь будет легким и необыкновенно приятным. Из ваших слов я понял, что везу счастье, дарованное вами, везу успокоение всем, чья душа взволнована и страждет в томительной неизвестности.

– Вы правильно поняли меня, Чаадаев, ничего другого я так не желал и не желаю, как полного спокойствия, – медленно говорил Александр, глядя мимо Чаадаева. – Спокойствия для спокойной России и беспокойной Европы... И ради этого страстного моего желания приходится много трудиться. Очень много. И без меня этого никто не сделает так, как мне угодно. Только полное спокойствие может дать нам сладкий плод просвещенного благоденствия. К сожалению, в современном мире слишком много появилось лжемудрых недругов законного порядка и спокойствия. Достаточно вспомнить события этого года.

Все, что сейчас Чаадаев слышал от царя, было откровенным, искренним. Доброе, почти отеческое напутствие еще больше взбодрило ротмистра. У него появилось желание скакать день и ночь, не думая об отдыхе и дорожных удобствах. До удобств ли сейчас, когда там, в Петербурге, ждут ездового тысячи обеспокоенных несчастьем людей. Хотелось лететь на крыльях, обгоняя борзые тройки и птиц.

3

Рылеев все эти дни проводил или на улице среди простолюдинов, вслушиваясь в разговоры о семеновской встряске, или у полковника Федора Глинки, в руки которому сходилась множество сведений обо всем, что делается, говорится и замышляется в столице. У Рылеева возник план написать правдивую историю возмущения в Семеновском полку; с этой целью он и начал по горячим следам событий собирать все, что представлялось возможным собрать. Особенно его внимание привлекали колоритные, овеянные поэтическим дыханием изустные рассказы солдат из разных гвардейских полков, рассказы солдатских жен, ямщиков, лавочников, приезжих крестьян, военных поселенцев. В этих рассказах попадались такие яркие блестящие слова и мысли, перед которыми в благоговении склонялась душа поэта. Из разрозненных цветистых кусочков народного повествования воображение пылкого историографа уже представляло величавую картину будущей эпопеи. Какие окончательные формы обретет она под его пером, для него самого еще не было ясно, но в том, что такая эпопея рано или поздно будет исполнена – он не сомневался... Он сейчас не задумывался и о том, где и каким образом опубликует ее. Будет рожь – будет и мера. Нашел же Александр Радищев возможность опубликовать потрясающий манифест правды о бедствии и бесправии народном. Сумеет и Рылеев, дайте только срок...

Сыпался обильный снег. И не таял. С утра многие обновляли зимний путь.

После обеда Рылеев отправился бродить по городу. Разговоры о семеновцах можно было услышать везде, где собирались возбужденные люди.

Он вздумал заглянуть в известный всей гвардии «дом Цвеца», изобилующий «гостеприимными женщинами».

Здесь по вечерам собирались солдаты почти всех столичных полков: Измайловского, Егерского, Московского, Учебного Карабинерного... Под хмельком у гвардейцев, на час обретших свободу, развязывались языки, и тут-то можно было узнать и услышать много такого, чего никогда не вычитаешь ни в «Сыне отечества», ни в «Русском инвалиде», ни в «Невском зрителе».

Заняв стол около буфета, Рылеев заказал пару чая. Тотчас к нему подкатился пожилых лет в потертой чиновничьей шинели человек и попытался завязать беседу. Но Рылеева больше интересовали солдаты, которых здесь уже собралось порядочно.

– С кем честь имею соседствовать за столом? – спросил незнакомец и представился: – Отставной 9-го класса чиновник Валяев.

– Мы-с новгородского купца Кузьмы Веретенникова старший сын и приехали с позволения-с папеньки с товаром.

– С каким товаром, позвольте полюбопытствовать?

– С канатами и парусами.

Назвавшийся чиновником смотрел явно с недоверием на Рылеева.

– Изволите-с шутить.

– Наше купецкое сословие шуток не любит и не понимает их.

– Личностью и одеждой вы не похожи на купеческое сословие.

– Почему же не похож? – с обидой заговорил Рылеев. – Вы, образованные и необразованные городские господа, привыкли видеть наше промышленное сословие вот с такой, до пояса, бородачицей, с намасленными деревянным маслом волосищами, в нескладной мухояровой поддевке или в кафтане. Но мы, купцы, и вообще промышленные люди, не хотим больше оставаться такими лесными медведями. Разве мы не можем носить сюртуки, фраки, модные прически? Разве мы не можем в совершенстве постичь науки и языки? Можем! К тому же нам, деловым людям, науки и языки нужны более, чем кому-либо другому, не занятому никаким полезным трудом.

– Но мы с вами так и не познакомились, молодой человек.

– Тятенька-с запретили мне заводить знакомства с гулящими городскими мужчинами и гостеприимными женщинами.

– Почему так?

– Опасно: выманивают у нас деньги и разоряют нашу коммерцию.

– Вы нас, городских, стало быть, почитаете вымогателями?

– Не всех. Но есть среди вас и вымогатели.

– Как это мы вымогаем?

– Подбиваете нас на дорогостоящие увеселения и гуляния, а нам, купеческим людям, торгово-промышленному сословию-с гулять и увеселяться некогда, нам в пору дело вести вперед, чтобы не разориться, не обанкротиться. Эти два стула заняты – сейчас подойдут еще два купца паклей, оба они вспыльчивого характера и не любят знакомств и расспросов об именах и званиях, советую заблаговременно обеспокоиться мерами безопасности.

Валяев повертелся, повертелся около стойки и юркнул за матерчатую занавесь в другую половину помещения, где было так же шумно, дымно, по-кабацки неуютно.

Входили поодиночке, вдвоем, втроем солдаты Преображенского, Егерского, Измайловского, Московского полков.

У порога повстречались трое измайловцев и преображенец. Они по-братски обнялись, расцеловались и сели за соседний с Рылеевым стол.

– Ну, как у вас в Преображенском? Вы – всей гвардии голова! Как вы, так и мы.

– Преображенцы не тужат. Нынче хорошо, а скоро будет лучше, – бойко рассказывал преображенец. – Мы не унываем. За нас есть кому заступиться: императрица Мария Федоровна так строго накричала на безмозглых генералов, что они перед ней с испугу в портки опустили... Вот как... Мария Федоровна уже послала семеновцам на харчи четыре

тысячи рублей, настрого наказала генералам, чтобы семеновцев не морили голодом, чтобы щи, кашу и квас обязательно!

– Хорошо, что царица к сердцу приняла беду семеновцев.

– Семеновцы скоро воротятся в свои казармы!

– Государь – во дворец, семеновцы – в казармы. А государь вот-вот будет в Петербурге.

Преображенец оказался басовитый, сказоватый, скоро вокруг их стола сгрудилась целая толпа солдат. По мундирам Рылеев различал егерей, павловцев, московцев, преображенцев, измайловцев. Мундиры на солдатах были разные, но думы и чувства общие.

– Мы только из «дома Низовцева», – рассказывал подвыпивший павловец, – там к нам один привязался, все допытывался, как нас звать, да как по фамилии, а мы ему за это по харе... Генерал-губернатор Милорадович сам лично приезжал в крепость, когда котел со щами из казарм привезли, вынул ложку из-за голенища и снял пробу – хорошо ли кормят арестантов. Сказал: «Хорошо! Так и впредь кормить! Квасу не жалеть!»

– Измайловцы Дуньку бросили в Фонтанку...

– За что?

– За длинный язык...

– Спать к себе нашего брата водила, тайны выпытывала и в полицию доносила...

– Выплыла?

– Какой-то дурень вытащил.

Солдаты раз пять пили за здоровье вдовствующей императрицы Марии Федоровны, потом преображенец лирическим тенорком затянул задушевную и вместе с тем полную удали и молодечества песню, принесенную им в столицу, должно быть, откуда-то из Верхневолжья.

Пел он превосходно. После каждой песни его угощали «вне ряду», он не отказывался, но не пьянел – пение, в которое он вкладывал всю свою душу, как бы сразу же лишало всякой силы хмель. Его глаза нее мутнели, а с каждой песней становились ясней и вдохновенней. Рылеев за время пребывания в армии встречал немало «ротных соловьев» – голосистых запевал, но такого певца, как этот, ему привелось увидеть впервые. Певец, настоящий певец.

Кто-то из толпившихся около стола спросил:

– Откуда ты столько песен нахватался?

– Ан сам не знаю! С песнями вместе родился, – отвечал преображенец. – В наших местностях все такие голосистые певуны. А глухим медведем шастать по чужим клетям лучше, что ли? Песня – щелок! Песня – кипятик! В ней любую портянку можно отстирать – чище ширинки станет! А в чем веселье, как не в песне? Хмель без песни душе не в радость, а в тягость! Песней можно железо раскалить докрасна и любой булат выковать! Вот что такое песня. А корешки у наших заповок волжские, и сами мы в большинстве люди работные, фабричные, в светелке родились, в красильной бочке крестились, ткацкому станку молились, а выросли – Преображенскому полку пригодились.

Он занятно, увлекательно начал рассказывать о своей сторонке, мешая быль и небыль, его рассказы слушать было так же приятно, как и пение.

– Помню, зимой, вечером, соберутся соседи в огород – там фабрик стоял – побалакать да поучиться, как дедушка Митрей набойку трафит. Что тут и пойдет, чего только ни припомнят, кого ни помянут – всех переберут по седьмое колено. Кто на ком женился, кто чем разжился: этот церковь обокрал да на те денежки полотную поставил, на том черт по полотному заводу катался... Наигрыш-то возьмут от Ярославля, а доведут до нашего городка. Слушаешь – у самого мороз по коже, особенно, ежели сосед челночник дед Григорий почнет сказывать... Он в молодости по Волге бичевой хаживал, ну и помнил всего... Матушка Волга на своих парусах с понизовья и с верховья каких только новостей не приносила. Что бурлак, что фабричный одинаково горазды сказывать. Ну и текло от старого к малому, с одного клубка на тысячу веретен... Другой баит, рассыпает, как порошок посыпает. И таких было – сколько хочешь.

И опять преображенец завел чисто, голосисто:

Уж как по мосту, мосту
По калиновому,
По второму-то мосточку
По малиновому...

Откуда-то опять появился давешний отставной чиновник. Он незаметно приткнулся к солдатам. Запевала, утирая лоб надушенным платком, пустился в такие рассуждения:

– Ведь и после нас наше место пусто не останется. А народцу всякого собиралось в фабрички – все наше старое сельцо Упино, из деревушек, из поселков ближних – Малой Купчихи, Лопахина, так же с Девьей Горы, из Фотеехи. Помню, зимовал в нашем городке бедовый человек не то из бурлаков, не то из беглых солдат. Савостьян. Рябоватый был. Щедр на шутку. Бывало, сам про себя скажет: «Рыжий да рябой – самый народ дорогой: каждая оспинка – полтинка. Сколько их у меня на щеках? Сосчитай-ка».

Мы к нему.

– Откуда у тебя, Савося, добра столько?

– Градом побило, вот и взрыло, – отвечает он. – Картечью орленой ударило – добавило.

– Полноте, больно уж град-от мелок.

– Это у вас здесь мелок, а в других местностях крупен. Или не слыхали, как у нас в Костроме, на той стороне, градом дрова побило, скошенную траву на корень поставило?

– Про такое-то, кажись, слыхали...

Сам смеется. И нам смешно. Горазд был сказки сказывать. Слыхал я от него и такую:

...Вот раз чистил гвардейский солдат свои белые полотняные панталоны мелом – к парадному смотру готовился. Разложил вокруг себя всю амуницию. И что в карманах было, повыложил. Откуда ни возьмись Черт. Но ничего страшного в нем нет, рожки небольшие и хвост не такой уж длинный.

– Здравствуй, солдат!

– Здравия желаем, ваше чертячье величество!

– Что ты, служивый, делаешь?

– Али сам не видишь? Мелюсь, чищусь, белюсь, к параду готовлюсь. Сам царь на меня смотреть будет. А за царем служба не пропадет.

– И это все твое?

– Все мое!

– Кто тебя такой красивой одеждой и обувкой наградил?

– Царь-батюшко дал мне: и панталоны полотняные, и фуражную шапку, и кивер с лошадиным хвостом, и ранец с ремнями, и шинель с медными пуговицами, и темляк, и ботфорты со светлыми пряжками, с разными бляшками. Только мел да свечи приходится на свои денежки покупать.

– А за службу-то царь платит?

– Как же: и на спичку, и на соль, и на сахар, и на смоль, да сверх того на мясной приварок!

– Эх, ты, солдат. Какой ты счастливый. Вот бы мне так-то, – взяли Черта толстопятого завидки. – Ты, солдат, вон как щеголяешь. А я что? Весь век в одной коже... Шерсть сменю да опять за то же. А сколько ты, солдат, служишь?

– Свой срок, положенный государем, ни дня меньше, ни дня больше.

– Давай, солдат, поменяемся душами.

– Давай, Черт. Только моя-то душа солдатская дорого стоит, потому как она самая выносливая на свете.

– Неужели выносливей моей?

– Выносливость верной службой царю-батюшке проверяется.

– Я, солдат, тебе придачу дам за твою выносливую душу. Отвалю все, что у меня нажито. Но уж ты мне со своей душой отдай и все свои украшения.

– Ладно, Черт, я согласен. Только уж ты в моей амуниции мой срок сполна отслужи.

– А сколько осталось?

– Да немного: столько да полстолько, да еще четверть столько. Я тебе вместе с душой, амуницией отдам полное звание свое. И даже имя. Бери, пользуйся себе на удачу моим непорочным именем. Только по кабакам не ходи и в долг не напивайся, чтобы после между мной и ротным целовальником путаницы и раздора не получилось.

Скоренько они стакнулись. Дунул солдат в склянку, подает ее Черту:

– Вот тебе, Черт, моя самая наивыносливая душа.

И Черт так же поступил, дунул в склянку, подает солдату:

– Вот тебе на обмен моя честная чертячья душа.

Ну, а руки, ноги, спина, место по которому бьют, у каждого остались свои, чтобы опять в наидальнейшем не перепутать, что твое, а что мое.

Вот примундирился, приобулся, ополчился гвардейский Черт во все натертое, начищенное и в казарму, прямо к фельдфебелю с докладом:

– Так-то и так-то, гвардии фузелер, скажем, Иван – Вдовий сын явился в полной готовности к параду: ботфорты начищены, панталоны мелом выбелены, пряжки, застёжки надраены – горят красным золотом!

– Хорошо, солдат! Иди к казначею ротному годовые деньги получать.

Обрадовался гвардейский Черт, помчался со всех ног. Еще бы не возрадоваться, и дня не служил, а уж деньги дают.

Стал казначей ему отсчитывать, думает, что перед ним не подставной, а настоящий гвардеец Иван – Вдовий сын.

– Вот тебе на год на приварочное семь гривен с двумя копейками на мясо, вот тебе 24 копейки на соль. Что останется, нищим отдашь на вспомоществование. Да не забудь же соблюдать все великие посты и малые. И чтобы в среду и пятницу не скоромиться. На мел и на свечи отложи из этих денег, на починку, покупку обуви и амуниции из них же возьмешь.

Поначалу Черт-гвардеец неважно разбирается в коммерции-то, особенно в полковой, солдатской.

Вот назначили инспекторский смотр. Сам штабной гвардейский командир смотрел полк, спрашивал солдат, нет ли каких претензий. Но солдата на мякине не проведешь: он помалкивает о своих претензиях, за претензии в манеже могут шкуру с живого содрать.

А усердный Черт-гвардеец по малоопытности к генералу с жалобой:

– Пальцы ободрал до костей панталоны мелом белючи!

– Ах, тебе пальцы свои дороги, а государева служба не дорога!

Да раз Черта по щеке да по другой. На втором инспекторском смотре Черт помалкивал вместе с другими. И о чем бы генерал у него не выпытывал, отвечал в одну статью:

– Все прекрасно, вашество! Все хорошо, лучше быть нельзя!

– Доволен службой?

– Премного доволен.

– А почему усы не расчесаны?

– Они у меня, вашество, такие уж отроду!

– Так давай я их выдеру, купишь другие, приклеим взамен выдранных.

И выдрал генерал у Черта вполне для Черта подходящие усы.

А тут вскоре сам государь смотр назначил полку своему любимому, куда судьбой прибило счастливого Черта.

Прошел полк перед царем и всеми его генералами церемониальным маршем – лучше быть нельзя. Истинное загляденье. Уж так ли Черт наш старался с приклеенными усами. Но разве угодишь на царей и генералов.

Разгневался государь, подходит прямо к Черту, да прямо в нос кулаком:

– Что невесел? Что нос повесил? Радости великой не вижу при такой хорошей жизни.

Черт как захохочет, словно леший в лесу, для ради того только, чтобы высказать государю свое веселье и радость от солдатской службы.

Царю его веселье еще больше не полюбилось. И приказывает он полковому командиру:

– Сделайте-ка этому дураку полный алярм с секурсом, походной выкладкой, рекогносцировкой, должной гвардейской выправкой и по всем армейским артикулам, а я посмотрю, чему ваш солдат научился за год службы.

Ну и стали делать гвардейскому Черту алярм с секурсом на виду у всего полка.

Три дня маршировал он в дворцовом манеже с утра до вечера, с вечера до утра.

Изо всех последних сил старается Черт, а полковой шомполом порет его по чему ни попадя, сам орет, чтобы угодить царю-батюшке:

– Дистанции не вижу! Качание в корпусе! Носок! Носок!!

До того домуштровал Черта, что из него, погоняй еще, – и дух вон. Отступились. Ограничились шпицрутенами – шесть раз в проводку через баталион. Живой бородавки не осталось на спине у Черта. В гошпитали едва выходили. Долго он лядел. Все ж таки оклемался. Вернулся в роту. Спрашивает фельдфебеля:

– Долго ли еще мне сроку служить осталось?

– Недолго – без одного года и трех дней четверть века.

Был Черт черней угля, стал седей старика от этой вести.

И затосковал смертно гвардейский Черт. И уж ума он не приложит, как бы ему скорее разменяться душами с настоящим-то солдатом.

Той порой солдат Иван освоился с чертячьей душой, – а с чем русский солдат не освоится? – и живет, припеваючи, в одном болотце под Новгородом, скажем, неподалеку от военных аракчеевских поселений. И в ус не дует. Лыки в лесу дерет. Лапти плетет. Столько наплел – девать некуда. По дорогам разбрасывает, нищие, убогие пройдут, подберут – спасибо скажут.

И надумал Черт улукнуть со службы. Назначили его часовым. Он и дал стрекача с плитки. На лошадях гнались – не догнали. Вот как махал. Прибежал к болотцу – бряк к ногам солдата Ивана амуницию, кивер с лошадиным хвостом, ботфорты с золотыми пряжками. Ну и, конечно, склянку с солдатской душой.

– Ради бога, братец, давай разменяемся душами. Еще больше придачу дам, нежели первая. Нет сил моих больше служить царю. Как вы, гвардия, только терпите?

– А как же быть нам со сроком?

– Я семь раз умру, солдат, пока срок твоей службы исполнится. Уж сжался надо мною, служивый...

Сжалился солдат. Отдал Черту его душу, себе взял свою, обмундировался и пошел часовым на плитку как ни в чем не бывало.

...Еще долго солдаты разных полков подбрасывали довески к сказу, и каждый имел свой взгляд на выносливость Черта и гвардейца. Московец с большой багровой бородавкой над переносьем, стуча деревянной ложкой по ставцу из-под требухи, похвалил рассказчика-преображенца:

– Все правильно! В одном ты промазал: не ту мену подобрал для простака Черта.

– С попом, что ли, Черту меняться? – возразил кряжистый рыжий солдат с двумя Георгиевскими крестами на груди. – Черт исстари может наняться к попу только в работники. А чтобы поменяться душами – никогда! Так не бывает. Кого хочешь спроси!

– Все на свете бывает, – игуменским басом провозгласил крепко подгулявший преображенец-усач, которого товарищи называли Емельяном. – Бывает, что и у девки муж помирает, а то и у вдовы, да живет. Так ли, ей, Анюта? Где ты тут? К кому привилась? С павловцами? А-а-а, с егерями... Ну, ну, развлекись. Они мастера... Здесь нашего брата, как в Ноевом ковчеге, всякой твари по паре, только вот семеновцев-удальцов, жаль, не выпускают. Хоть бы кто-нибудь погромче клич кликнул...

Емельян обвел застоллицу хмельным отчаянным взглядом и смачно сквозь стиснутые зубы прикрикнул.

– Какой клич-то? Кому? – вклеился в разговор подвернувшийся Волков.

Емельян, сбывчившись, смерил его недружелюбным взглядом. Рылееву показалось, что лихой преображенец сейчас съездит Валяеву по физиономии. Но Емельян, внушительно подержав полупудовый кулак перед самым носом присмирившего чиновника, вдруг подобрел и зачастил с простоватым видом:

– А вот какой: напились сбитню, а теперь сверх сыты и водочки добавить не грех. Да наш империял, бедняга, что-то захворал, всяку силу потерял, немощней старинного елизаветинского пяточка стал. Словом у солдата в кармане грош гуляет на аркане...

– А почему и не добавить? Да я для нашего солдата последнюю беленькую разломлю!
– разгульно воскликнул Валяев и достал из кошелька новенькую хрустящую ассигнацию в двадцать пять рублей.

И сразу он стал для всех друг и брат. Сдвинули три стола. Здесь же оказались и черноглазая Анка с подругой.

Через некоторое время и еще беленькая двадцатипятирублевка выпорхнула из запасников отставного чиновника. Не на шутку разгулялись солдаты на даровые деньги. Шум, говор, песни мешались с визгом увеселительных девиц, которых попеременно мяли и целовали дюжие гвардейцы. А грозный Емельян до того опьянел, что уже плохо соображал, что говорит и делает. Он сидел в обнимку с Валяевым, все просил у нового знакомого прощенья за свое плохое обхождение.

– А клич-то, братец, вот какой, – громко шумел Емельян. – Ночью с трещоткой пробежал бы кто-нибудь хоть из павловцев или московцев по всем казармам да прокричал: чего спите? Пошто молчите? Семеновских в крепость упекли стервецы-генералы, самого царя волю нарушили! Вставай вызволять семеновских! Давить генералов-подлецов! Думаешь, не повскакали бы с нар и кроватей? Все бы, как один, похватались за ружья... Клянусь, похватались бы...

– Знать, трещотки такой нет в Питере, – потягивая воробыиными глоточками водочку, сказал Валяев.

– Трещотка есть! – ожесточенно возразил Емельян. – Человека такого не находится...

– А ежели найдется? – поддерживал горячий разговор Валяев.

– А ежели найдется, то вся земля под гвардейскими казармами затрясется, – ответил преображенец. – Мы бунтоваться не собираемся, но своих товарищей и самих себя в обиду генералам-подлецам не дадим. И царь за это с нас не взыщет. Самолюбы подлецы, всякие шварцы-гарцы обесчестили первый российский полк... Сам государь вот уж сколько лет над Семеновским полком шефствует, а они на-ка, пока флаг над дворцом не вьется, пока государя дома нет, запрятали семеновцев в темницы.

– Да, трещотка нужна... Без трещотки в эту осень нам никак не обойтись, – вторил товарищу солдат с крестами на груди. – Надо в полковой церкви богу поусерднее помолиться...

«Солдаты ждут трещоточного боя, – вслушиваясь в несвязный, нестройный, порой пустой и грубый солдатский говор, что летел в уши с разных сторон, думал Рылеев. – Нужен трещоточник... Возможно, что и в Испании в начале этого года и в Италии по весне начиналось вот так же, с призыва смелого трещоточника! Чего же господа офицеры расквартированных вдоль Фонтанки гвардейских полков не прислушаются к этим призывам и мольбам солдатским? Неужели среди наших офицеров не найдется ни Квируги, ни Риуги? Нет, не хмель солдатам развязал языки...»

Мысли его прервал звон разбитой посуды, грохот скамеек и табуреток. За артельным столом началась свалка. «Увеселительных девиц не поделили», – было первой догадкой Рылеева. Но, оказалось, девицы тут ни при чем. Могутный бомбардир с руки на руку бил по щекам Валяева, бил, приговаривая:

– Знает кошка, чье мясо съела... Ты у меня давно на примете... Из-за тебя уже многие пострадали...

Емельян с приятелем пытались заступиться за Валяева, но богатырского склада бомбардир легко отшвырнул обоих и замахнулся табуретом, чтобы обрушить его на лысую голову отставного чиновника. Солдат с крестами успел, ухватившись сзади за ножки, повиснуть на табурете. Валяев метнулся к двери и был таков.

– Дурачье, не разбираетесь в людях, хлебаете, с кем придется, – бранил гневный бомбардир шумевших солдат, – вот такие, как этот слизняк, и вынохивают, а мы через них страдай... А ты, преображенец, хоть и два Георгия на твоей груди, настоящий чурбан. Пошто схватился за ножки? Я бы его, как муху, на месте пришиб... За такого бог не взыщет.

К себе на квартиру на Васильевский остров Рылеев вернулся и неясно радостный и смутно опечаленный. Радовался тому, что солдаты не прочь помечтать о призывном бое ночной трещотки. Но, боже мой, сколько еще серости, дикости, невежества виделось ему в солдатском разгуле.

В эту проклятую ночь плохо спалось вдруг почувствовавшему недомогание Рылееву: в ушах все еще раздавался нестройный солдатский говор, вспоминались приятные и неприятные лица гвардейцев и льнувших к ним ошалелых увеселительных девиц. Но чаще всего мысль его обращалась к словам о ночной трещотке, которая могла бы взбаламутить все казармы на берегу Фонтанки. Он думал о кроткой и нежной жене, гостившей у своих родителей в селении Подгорном, в Острогжском уезде, о предстоящей поездке на уездное дворянское собрание в Старую Руссу. На этом собрании, как ему стало известно, дворяне собирались избрать его заседателем в уголовный суд Петербургской губернии. Предполагаемому избранию он был рад, но не из тщеславия и честолюбия, а из страстного желания служить добру, людям и справедливости. Думал он и о ближайшем собрании ложы «Пламенеющей Звезды», на котором предстояло ему выступить с сообщением на немецком языке «О добродетели истинной и ложной». Сообщение это давно им подготавливалось, но теперь, после возмущения в Семеновском полку, после встреч с солдатами хотелось многое переделать, потому что события вызывали иные чувства и новые мысли.

Он встал с постели, надел байковый домашний халат, меховые с хорьковой опушкой туфли, зажег свечу и сел к письменному столу.

За стеной подсвистывал ветер, в стекло дробно стучал гололед. В верхнем уголке листа с водяными знаками перо Рылеева начертало солдатские слова, призывающие трещоточника-побудчика.

Редко Рылееву приходилось испытывать такое радостное душевное волнение и кипение ума, какое он испытывал в эту ночь. Сейчас он забыл о холодных и отвратительных, как у последней проститутки, глазах цензуры и всю ночь до рассвета оставался наедине с правдой и совестью. Ничто так человека не вдохновляет, как сознание того, что он служит той высокой справедливости, о которой истосковался весь народ, постоянно и тысячеустно отравляемый бесстыдной ложью с амвонов и со страниц высочайших рескриптов и манифестов, со страниц молитвенников и бульварных романов, выдаваемых за пищу духовную. Он писал нынче с той же апостольской готовностью принести себя в жертву, с какой не так давно писал свою огненную сатиру против временщика.

С первых же строк его очерк истории Семеновского полка являл собою образец блестящей политической прокламации, он был пропитан любовью к семеновским солдатам и офицерам и ненавистью к подлым усмирителям в генеральских аксельбантах.

«Удивительно было видеть сей полк, прежде блестящий, однообразный, одному движению покорный, а теперь превращенный в шумную нестройную толпу; но еще более удивления было достойно единомыслие, одушевляющее эту нестройную толпу людей»... – Он надолго остановился на прерванной строке и задумался над тем, чем же и кем же выковано это поразительное единомыслие, ведь оно, при всей сплоченности солдатской массы, не могло возникнуть стихийно, само по себе, кто-то отважно потрудились над выковкой этого единомыслия, и от этой мысли Рылееву захотелось рукоплескать кому-то неведомому, но безгранично дорогому и близкому за мужество, отвагу и умение. «...Единомыслие, – продолжал он, – которым она горела только в часы битвы, предводимая любимым начальником. Тогда почитали их героями, теперь – бунтовщиками. Тогда они забывали себя для пользы общей – теперь хотят напомнить о своих страданиях. Благодарность тяжела, мщение легко».

За окнами занимался мутный рассвет. Рылеев устал. Он сел в кресло около стола и задремал.

Сквозь летучую мглу свинцово-серых туч пополудни пробилось слабогреющее, хотя и яркое солнце. Граф Аракчеев, сильно недовольный вчерашней неудачной инспекцией поселенных войск, во время которой на его коляску кинулся бородастый мужик с топором и

едва не зарубил, одевшись потеплее, вышел из каменного дома, чтобы размяться и обозреть свои владения, обнесенные оградой с чугунными литыми решетками.

Ненастье поздней осени погасило все краски и цвета в природе. В огромном обнаженном саду раздавалось громкое воронье карканье, всегда навевавшее на графа тоску и странное озлобление. Прибитая дождями листва пожухла, почернела, была во власти тления. Но кудрявые высокие рябины там и сям кроваво рделись – в этом году богато уродились ягоды. Под нарядными рябинами, приспустившими гибкие тонкие ветви под тяжестью сочных кистей, прохаживался мужик с трещоткой – на случай прощального налета грачей и прожорливых дроздов-рябинников. Здесь ни одна ягода с кустов и деревьев не снималась без графского на то позволения или распоряжения управительницы Настасьи Минкиной; рябину, шедшую в мочку, сушку, мороженье и на изготовление домашних настоек, обычно снимали по первому настоящему морозцу, где-то в пределах зазимка.

По отлогой «графской и царской тропе», по которой под страхом жесточайшего наказания никто не имел права ходить, кроме самого графа и время от времени наезжающего в гости царя, Аракчеев грузно сошел к пристани, унылой и почти безлюдной в такую пору.

Ветер рябил воду в погрозневшем перед зимним сном Волхове. Граф прежде всего заглянул в грот, возведенный дворовым крепостным архитектором невдалеке от Новгородской дороги. На каменном постаменте хранилась позолоченная рыбацья лодка, над ней сверкала буквами вделанная в стену грота медная доска с надписью, замысленной ее автором на многие века: «Во время посещения императором Александром Благословенным графа Алексея Аракчеева в селе Грузине, в означенное здесь время его императорское величество изволил в оной лодке и сими самыми веслами сам перевозить через реку Волхов обер-гофмаршала графа Николая Александровича Толстого и графа Аракчеева; да сохраняются на вечныя времена сии драгоценныя вещи, и да будет проклят всякий тот, кто осмелится истребить оныя».

Эту лодку графом приказано было всей дворовой челяди сохранить как драгоценность. В чтении и перечитывании надписи граф находил неизреченную отраду, а грозность придуманного им предупреждения давала ему уверенность жить и в памяти потомства таким же, каким он считал сам себя. С обнаженной головой он постоял перед лодкой, ласково погладил ее боковину, даже пошевелил одним веслом, которое когда-то держали царские руки, умиленно вздохнул, и пошагал обратно от пристани в гору.

Дойдя до церкви, что была построена на возвышении, он отсюда полюбовался прекрасными даже в осеннюю унылую пору окрестностями. Между этой церковью и селом был построен еще храм с чугунными колоннами, в котором было выставлено колоссальной величины изображение святого Андрея Первозванного.

Около графского дома с левой стороны белел мраморный бюст Александра I на каменной тумбе. Он оказался загаженным птицами. Аракчеев выхватил носовой платок и принялся старательно вытирать каменную голову и каменные плечи. Вытирал, будто живого, сам кого-то бралил:

– Ужо я вам задам... Ужо я вам, разбойники...

В это время в саду показался помощник садовника, курносый тридцатигодовалый Трофимка, в сером кафтане, опоясанном кушаком, в серой катаной шляпе и с садовничьими ножницами в руках.

– Арш сюда, бестия! – рыкнул граф.

Тот бросился со всех ног.

– Или не видишь, шельма, чью голову огадили?

Он, словно железными клещами, двумя пальцами намертво зажал ухо покорного Троима и повел испуганного холопа к двум отдаленным старым липам. Под ними на каменном столбе чернел чугунный бюст какого-то старца с надписью на металлической доске.

– Читать умеешь, возгривец?

– Умеем, ваше превосходительство, сиятельныйший граф и государь, отец и кормилец наш...

– Читай мне, что на сей доске писано! Да громче, шельма!

– «В память стодвадцатипятилетнему старику Исаку Константинову, коим в его молодости сажены сии дерева; родился 1681 году, умер 1806 году», – прочитал Трофимка, преодолевая страшную боль – ему казалось, что его ухо уже наполовину оторвано.

– Твоему умному рачительному деду и слуге моему верному я по велению души моей учинил нетленную память в потомстве за его труды и прилежание, – говорил Аракчеев, не выпуская из руки Трофимкино ухо. – А тебе, дурак, за твое нерадение велю нашему коновалу ухо отрезать и собакам скормить. Видишь обапол в саду господском непорядок и проходишь мимо. Обаче, какой же ты обалдуй...

– Ваше превосходительство, отец родной, смиловитесь, у меня и поднесь спина не зажила после тогдашнего битья, – взмолился Трофимка, безуспешно пытаясь пасть на колени.

– Иди к генеральной управительнице Настасье Федоровне и скажи ей, чтобы она распорядилась по своему усмотрению.

– Батюшка, отец родной, лучше по твоему распоряжению, чем по Настасьину, – еще пуще взмолился Трофимка...

– Вот ты какой разбойник: она еще ничего плохого тебе не сделала, а ты уж клепнешь и на нее... Какой же ты после этого христианин? – вразумлял Аракчеев, не повышая голоса. – Не хочешь, чтобы Настасья распорядилась, ну, так я сам распоряжусь... Иди в контору и скажи, чтобы тебе одно ухо подрезали, как у моего серого выжлока брыластого... Сам бог велел всякую шельму метить... Иди с богом...

До смерти напуганный Трофимка поплелся к флигелю.

У ворот остановилась коляска. Аракчеев узнал в приехавшем домашнего агента Морковникова. Тот привез найденное вчера лакеем Тришкой в подворотне петербургского дома письмо на имя графа. Аракчеев взял солидный пакет и поспешно удалился в свои покои, оставив Морковникова за порогом. С нетерпением вскрыл письмо – подписи не было. В первых строках анонимный автор выражал графу полное сочувствие в постигшем его несчастье... Это несчастье доброжелатель видел в сокрушительной сатире некоего мало кому известного стихотворца Рылеева, помещенной в «Невском зрителе».

«Сиятельный граф! Вас дурачат, – издевался аноним, – временщиком подразумеваетесь вы. Никакого древнего поэта **Персия** не существовало. Ссылка на перевод – выдумка. Ныне вся столица только тем и занята, что читает и перечитывает оду, сочиненную в вашу честь. Непременно приобретите «Невский зритель» и каждый день, отходя ко сну и поутру пробуждаясь, читайте душераздирающее творение.

Вся столица с замиранием ждет ваших дальнейших рескриптов. Кто кого? Вы – Рылеева или Рылеев вас? Зрелище восхитительное: дерзкий отставной подпоручик с отвагой Брута и Риэги вызвал на поединок вас, высящегося над всеми в недоступном грозом величии. Каким отличием увенчаете вы сию неслыханную дерзость? Министр народного просвещения князь Голицын намерен наградить золотым наперстным крестом старательного цензора, без всякой задержки пропустившего сатиру, подобную грому среди ясного дня.

Имеем честь сообщить вам, что Зевс-громовержец занят сочинением другой сатиры (тоже перевод из **Персия**), также посвященной графу Аракчееву.

Вольное общество блюстителей геральдической чистоты отныне и навеки присваивает вам новое титуло: граф Аракчеев Андрей Проперсиевич Временщиков.

Примите и проч... и проч...»

Оскорбленный граф тотчас раскрыл еще неразрезанный журнал «Невский зритель» и увидел своими глазами ту самую сатиру, о которой его заблаговременно уведомляли. С первых же строк, острых как бритва, он уразумел, в кого нацелены каленые стрелы действительно дерзкого стихотворения. «Оказывается, не один бывший лицеист Пушкин наводняет Россию возмутительными стихами... Появился еще возмутитель... Пушкинские «ноэли» ходят по рукам, а этот отважился печатно... – возмущался граф, дочитывая обжигающую каждым словом сатиру. – Министр просвещения – ханжа, бабий шерстяной чулок, монахов клобук... Цензоров надо в каземат! Всех до одного... Нынче пошлю указ на подпись государю... Император не потерпит такого возмутительства... Рылеева надо в Сибирь! Кто он? Откуда появился в столице? Не тот ли самый, за которого хлопочет старая лиса – адмирал Мордвинов, скрытый карбонарий и подмутчик во дворце...»

Но если злобный рок, злодея полюбя,
От справедливой мзды и сохранит тебя...
Все трепещи, тиран! За зло и вероломство
Тебе свой приговор произнесет потомство!

Эти строки, словно проволочным бичом, хлестнули властолюбивого графа, привыкшего слышать изустно и на бумаге только лесть и раболепие. А тут прямо в лицо, в сердце, в мозг будто крупной дробью из пистолета... Пожалуй, впервые за все свое властвование он так болезненно почувствовал непостижимо могучую силу печатного слова. Снова и снова граф, сцепив зубы, перечитывал сатиру.

– «Селения лишил их прежней красоты...» Я лишил селения прежней красоты? Без манования государя ни один плетень не переставлен мною на новое место... Щелкопер он несчастный... Новгород, Чугуев, Смоленск – все по воле государевой и по моему совету... Такие журналы не нужны России.

Он бросил «Невский зритель» на пол. Но страница и под ногами его все еще кричала голосом сатиры, и от этого крика он не знал куда деться. «Анонима разыскать и на всю жизнь в крепость... В самый страшный каземат... Чья проделка? Не сармата ли Фаддейки Булгарина и его дружка Сенковского? Государь давно подозревает Булгарина... По кому анонимы замыслили ударить: по мне или по пасквилянту Рылееву? Или по обоим сразу? – положив тяжелые, крупные, как у мужика ломовика, стиснутые кулаки на стол, размышлял Аракчеев. – Кто-то из мерзавцев неглупо рассчитал с этим изветом... О, если бы увидеть хоть одну ненавистную морду... По десятое колено с корнем вырвал бы я весь преступный род...»

Граф поднял с пола журнал. При новом прочтении сатира показалась еще ужасней, еще дерзновенней. От самого начала и до конца бичевала она его, графа Аракчеева, а не какого-то мифического временщика Рубеллия.

«Я знаю, что моим врагам приятно повторять сии нелепые обвинения. Врагов у меня много не только во дворце, но и по всей России, – трезво думал Аракчеев. – И я лучше других веду им счет, и редко в ком ошибаюсь. Вот и еще один прибавился... Я никогда не трепетал перед недругами. И сейчас не трепещу. Любые козни пресеку. Но этот журнальный выпад как пресечь? Все прочитали сатиру... Как ее вырвать из памяти людей? И нужно ли вырывать? Весь словесный дым о Цицероне, Катилине, Катоне изобретен Рылеевым для маскировки. На мою голову и голову высочайшего моего покровителя призывает он Кассия и Брута, врага царей Катона... Уже одного этого вполне достаточно, чтобы причислить его к государственным преступникам, как Емельку Пугачева, как Александра Радищева... Он грозит... Кому он грозит: мне или монарху? И чем пугает – ужасным бунтом разъяренной черни... Вот каковы у нас министры просвещения... Вот каковы у нас цензоры, призванные оберегать покой государства и достоинство его величества».

– Козьявки чернильные... Бонжуры... Гог-магоги журнальные... Погодите же!.. Замри, душа, остановись, сердце, – бормотал Аракчеев, исходя гневом и злобой.

Он и хотел бы отвернуться с презрением от ненавистного альманаха, но не мог, сатира будто притягивала его, словно в ней была заключена колдовская сила...

Надменный временщик, и подлый, и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны своей,
Внесенный в важный сан пронырствами злодей!

Бросал журнал и снова брал в длинные руки. От возгорающейся жажды мести кровь закипала в сердце. Думал: «А к кому бы еще можно было приложить эти иносказания?» И никого не находил ни в Петербурге, ни в Москве, ни во всей России. Нет другого человека, кто был бы вознесен вровень с ним. И никто не мог разделить с ним нанесенное ему оскорбление.

До полуночи расстроенный и донельзя обозленный Аракчеев бродил по обширной Александровой портретной, обдумывая все, что завтра же следует предпринять не только против ненавистного сочинителя, но и против издателя журнала, имя которого было ему совершенно неизвестно – какой-то Иван Сниткин.

В шесть утра в надежно слаженной карете, запряженной шестериком, осатанелый граф выехал в Петербург. В утренней сырой мгле гнал, как на пожар, наводя ужас на встречных.

Едва вступил на порог огромного петербургского деревянного чертога, как сразу же отдал распоряжение помощнику Василию Васильевичу представить справку, какой цензор и когда дал безответственное легкомысленное разрешение на выпуск злосчастного номера «Невского зрителя», был ли этот номер, до того как попасть на печатный станок, показан министру просвещения Голицыну, в каком количестве экземпляров отпечатан журнал, в лавки каких книгопродавцов он отвезен и много ли экземпляров этого издания осталось нераспроданным на данное число и на какую сумму.

На другой день исчерпывающая справка была подана графу. Она ошеломила его: весь тираж «Невского зрителя» с сатирой Рылеева разлетелся в несколько дней. У книготорговцев больше не осталось ни одного экземпляра, а волна покупателей, ищущих номер журнала, прибывает. Книготорговцы готовы взять к распродаже еще несколько тысяч книжек «Невского зрителя», если бы издатель согласился на повторение тиража. Ни один из журналов в последние дни не читается с таким интересом, как «Невский зритель», журнал словно ветром разнесло по всем уголкам столицы; его можно увидеть в руках у всякого, кто мало-мальски умеет читать. Книжка с сатирой проникла в кадетский корпус, в институт благородных девиц, ее читают в Кронштадте на военных кораблях капитаны, мичманы и матросы, она ходит по рукам в казармах гвардейских полков, кто-то из поляков-литераторов, живущих в Петербурге, скорее всего Булгарин или Сенковский, успели переложить ее на польский. В Варшаве с польского ее переложили на французский и немецкий языки. Не устояли перед ней и ворота дворца: фрейлины, чтобы только не отстать от моды, заучивают наизусть оду «К временщику». В Москве списки с сатиры продают за большие деньги. Строки из сатиры, мгновенно обретшие крылья афоризмов, шпики успели подслушать среди солдат, торговки и обывателей на пароме. В трактирах читают сатиру чуть ли не за каждым столом. Один полицейский агент доносил, что на съезде двора какой-то ярославский купец за несколько кусков добротного льняного полотна приобрел из-под полы список с журнальной сатиры.

Вся читающая столица под именем Рубеллия с наслаждением видит Аракчеева. Нет ни одного салона, где бы множество раз не прозвучали бьющие наповал строчки из сатиры. В театрах во время антрактов за кулисами, около буфета и гардероба, на стоянках у театральных подъездов повторяют сатиру. Ямщики ее, как песню, под аккомпанемент поддужных колокольчиков уже развозят по всей России.

Вот тебе и Рубеллий...

Аракчеев решил прибегнуть к заступничеству царя и одновременно окончательно очернить в глазах императора министра народного просвещения князя Голицына, едва ли не главного виновника появления столь зловредной сатиры в журнале. Но прежде чем поднимать шум во дворце и в императорской канцелярии, Аракчеев силой своего грозного величия попытался подмять князя Голицына. Он пригласил его к себе в служебный кабинет во дворце.

Министра просвещения и духовных дел, ласкового, обходительного князя Александра Голицына называли «серым мужичком». Конечно, не за его манеры (он был аристократ до мозга костей, совоспитанник государя и друг его юности), а за то, что повсюду и неизменно появлялся в сером фраке. В молодости Голицын славился буйной разгульной жизнью, кутежами, а под старость решил спасти душу. Не только свою собственную... Ему царь вверил спасение душ всех верноподданных.

В занимаемом князем большом доме на Фонтанке, против Михайловского замка, была с предельной пышностью и великолепием отстроена роскошная домашняя церковь –

моленная, сиявшая золотыми и серебряными окладами икон, украшениями лампад, подсвечников, иконостасов.

Князь был кроток и смирен, никогда не возмущался, не бранился и не повышал голоса даже на самого последнего министерского чиновника или на домашнего лакея. Теперь он увлекался уже не шумными пирушками, а усердными молитвами, чтением и толкованием библии, священных писаний, душеспасительными беседами с дочерьми православной церкви, пощением. Он легко и натурально перенимал все манеры императора и во всем старался следовать и подражать своему покровителю. Если глубоко вздыхал и набожно крестился царь – то же делал и Голицын. Если царь с тихой грустью говорил: «О творец, о творец», обращая взор к небу, те же слова многократно и в карете и дома повторял смиренный князь Голицын.

Как и все приближенные монарха, князь в глубокой тайне презирал и ненавидел Аракчеева, но не забывал приглашать его к себе на блины о масленице.

– Что же это вы, министр народного просвещения, заполняете журналы непристойными выпадами против священной особы государя и его верных слуг? – прокурорски сурово заговорил Аракчеев, лишь только Голицын переступил порог кабинета. – Вы следите за журналами? Думаете над значением того, что в них публикуется?

– О творец, о творец... – вздыхая, уныло повторял Голицын.

– Ведь так мог написать какой-нибудь безумный Робеспьер или кровожадный Марат. Извольте-ка послушать:

Не сан, не род – одни достоинства почтенны;
Сеян! и самые цари без них презренны...

До чего мы докатились, князь?! Уже не столько слуги царей, но и сами цари стали презренны... Где мы с вами живем: в Петербурге или в Париже?

– О творец, о творец...

– Дерзновенная брань в каждой строке! Ругательства. Упреки в подлости, пронырстве, неблагодарности, тиранстве, злодействе, злобе, вероломстве. Нет таких злодеяний и пороков, которые бы сочинитель с наслаждением не бросил в лицо какому-то тирану...

– Рубеллию, – смиренно заметил Голицын.

– Метил в Рубеллию, а попал в другого... В чье-то лицо всем комом грязи! – сорвалось с языка у Аракчеева. – Да-с! Рубеллий тут сбоку припека. Разглагольствования о каких-то страданиях... Где они? Кто такие? И откуда появились? Слава богу, в России освященная веками монархия, а не республика оборванцев!

Князь Голицын, давно разгадавший истинный смысл сатиры, не ожидал, что прожженный наперсник Аракчеев признается кому-нибудь в том, что узнал себя в некоем вымышленном Рубеллии.

«Эко забрало его», – с тайным злорадством думал князь, не забывая сокрушенно бормотать привычное:

– О творец, о творец...

– Александр Николаевич, одними унылыми вздыханиями и повторением всуе имени творца зло на земле не искоренишь, – в сильном раздражении поучал Аракчеев. – А оно должно быть вырвано! С корнем!

– Как вы мыслите приступить к искоренению?

– Я, возмущенный неслыханной дерзостью, полагал, что министр народного просвещения сам найдет пути пресечения зла и способ наказания виновного.

– Увы, сочинитель не в моей власти.

– О сочинителе в будущем я позабочусь сам, вам же советую управиться с цензором, пропустившим в печать потрясательную сатиру.

– Я обещаю сделать соответственное внушение, – с готовностью обещал Голицын.

– Внушения недостаточно.

– Сделаю строгое предупреждение.

– Мало, князь. Я требую предать суду цензора-преступника, с тем чтобы его карьера и дни закончились в крепости или в Сибири! – крупный крепко стиснутый кулак Аракчеева проехался по столу – граф будто смахнул мокрые останки только что раздавленной букашки.

– Крепость и Сибирь не по моему ведомству, – ответил Голицын.

– Я помогу вашему ведомству.

– Отдавать под суд добросовестного цензора, граф, я не нахожу оснований...

– Тогда, светлейший князь, и вам вместе с цензором не желательно ли будет сесть на одну скамью? – чувствуя за собой безграничную поддержку царя, жестко спросил еще больше помрачневший Аракчеев. – То-то приятно будет узнать монарху, что его министр просвещения покровительствует злостным пасквилянтам-сочинителям и цензорам-преступникам. Я отнесусь к вам с письменным протестом и требованием дать мне исчерпывающее объяснение прискорбному приключению.

– О творец, о творец... – еще раз вздохнул князь Голицын и отправился к себе.

На другой день он получил от оскорбленного Аракчеева обещанный письменный протест. В бумаге вновь повторялось свирепое требование без всяких проволочек отдать под суд цензора.

Перед настойчивостью мстительного Аракчеева начинал колебаться покладистый министр просвещения. Он понимал, что требование графа равносильно повелению царя, возмущение графа не легче царского негодования. Как нельзя маханием шапки остановить или повернуть в другую сторону вдруг подувший с севера ветер, так невозможно остановить и Аракчеева, если он решил что-либо свершить. Много ли таких, кто дерзнул открыто сопротивляться ему? И что случилось с теми немногими, которые так или иначе пытались противиться всеильному царскому «другу и брату»?

Князь Голицын с нарастающим беспокойством шелестел только что доставленной бумагой. Он, поразмыслив, послал за Александром Тургеневым – директором Департамента Духовных Дел, который жил в том же казенном доме, на Фонтанке, что и Голицын.

На Тургеневе был серый фрак из превосходного тонкого сукна с черным бархатным воротником, белая шейная батистовая косынка и бархатный голубой в белую клетку жилет. А под ним еще белый пикейный поджилетник со стоячим воротником, серые эластичные панталоны из кизимира. На ногах шелковые ажурные чулки и черные туфли на небольшом каблуке. На груди лорнет в золотой оправе на черной узкой ленте.

– Не бойтесь, Александр Иванович, что и вас легкодумцы назовут «серым мужичком»? – после ласкового приветствия спросил Голицын. – Повесы... Выдумщики... Бог им судья... Только бы министерство наше не называли «серым департаментом».

– Князь, вы меня остроумно предвосхитили, я только что хотел вам сказать это, – доверчиво отвечал Тургенев. – Надо опасаться не серого фрака, а серого ума, серой жизни, серых чувств!

– Верно, верно, Александр Иванович! – похвалил князь и, подхватив Тургенева под руку, повел от порога к своему столу. – Люблю братьев Тургеневых! В их лице всегда вижу цвет истинного просвещенного российского дворянства, а что касается «серых мужичков», то о них издревле говорится: «Хоть мужичок и сер, да ум-то у него не волк съел». – Он усадил Тургенева в кресло, обходительно погладил мягкой и легкой рукой по плечу. – Все ли слава богу в вашем департаменте?

– Все идет, как и шло, князь, установленным чередом, или, говоря языком Аракчеева, «повсеместно тишина и спокойствие».

Оба дружно рассмеялись.

– Ну и слава богу... О творец, о творец... Сколько же времени мы с вами, любезнейший Александр Иванович, не виделись, не встречались?

– Да уж, кажись, более двух недель, князь...

– Вот как, а ведь работаем в одном министерстве и живем в одном доме казенном. Всю прошлую неделю я постился и потому редко появлялся... Братец твой младший, Николай Иванович, чем сейчас занят?

– Составлением проекта жюри и новыми экономическими изысканиями.

– А другой брат, Сергей Иванович?

– Очевидно, скоро отправится в Порту по линии министерства иностранных дел.

– Ко мне желает?

– А куда?

– Скоро должно освободиться одно важное место... – Князь помедлил, будто прикидывал: открывать или не открывать до конца весь замысел. – Весьма, весьма важное... В цензурный комитет.

– А вместо кого?

– Тут нам велено одного цензора под суд отдать. Вот я вас затем и позвал, чтобы обдумать и посоветоваться... Нас хотят опорочить и возможно окончательно уронить во мнении государя, а кто этим занимается, вы не хуже моего знаете...

И князь озабоченно стал рассказывать о том, что произошло. Он рассказывал, а сам наблюдал, как мрачнело и становилось строже и без того строгое лицо породистого Тургенева. Александр Иванович был физически самым крепким из братьев. Высокорослый, плотный, несколько медлительный в движениях и неторопливый в разговоре, он имел острый ум, решительный характер и доброе отзывчивое сердце. Темно-русые в завиток волосы буйно курчавились на его голове. Он не носил ни бакенбардов, ни усов, ни бороды. Слегка недоверчивый взгляд его постороннему мог показаться настороженным, а выражение полного лица – угрюмым и даже суровым. Но его нельзя было назвать человеком мрачным, он любил повеселиться и пошутить, не чурался забав и удовольствий. Выше же всего ставил пищу духовную. По-французски писал и говорил он так же свободно, как и по-русски. С юности зачитывался романами Вальтер Скотта, а из молодых русских поэтов превозносил Константина Батюшкова. По-ученически благоговел перед именем Карамзина, убежденно называя его великим нашим историографом.

Изложив все обстоятельства дела, Голицын печально заключил:

– Граф решил dokonать беднягу цензора, а заодно пальнуть и по моему министерству. Ничего иного не остается – отстранить цензора от должности с отдачей под суд.

– И вы согласны уступить при первом же натиске?

– Что же делать-то, милый мой? С кем затеваем тяжбу? С самим Аракчеевым...

– Да с Рубеллием Андреевичем...

– То-то и оно. Беритесь за перо и сочиняйте ваш ответ... Я сейчас пошлю за цензором, – совсем упал духом министр.

– За цензором не посылайте, – решительно возразил Тургенев. – Вы что же, князь, не видите – все козыри у нас на руках? Если хотите, то мы загоним Аракчеева в угол – он и не твякнет.

– Вы в своем уме? Графа всей России не загнать в угол, а он, если того захочет, может один всю Россию загнать в тараканью щель.

– Он уже это сделал, князь. В щели так тесно, зачем же и нам с вами в нее лезть? Разрешите, князь, изложить план кампании?

– Излагайте, – качнул головой Голицын.

– Первое. Никакой ответной бумаги не составляйте, а сами поезжайте в канцелярию к графу и на словах изъясните ему полнейшую готовность безотлагательно приступить к строжайшему расследованию по случаю пропуска цензором возмутительной Персиевой сатиры. Второе. Тут же сделайте одно деликатное предложение оскорбленному величию. Примерно в таком духе: «Ваше сиятельство, чтобы успешно начать и быстро завершить следствие над цензором и цензурным комитетом, дерзнувшим не заметить оскорбительные для вас выражения в опубликованной сатире, мне крайне нужно знать, какие именно непочтительные выражения вы относите к себе, полностью принимая их на свой счет. Соболаговолите, милостивый государь, поставить их мне на вид...» Тут-то вы и увидите, что станет гнуть оскорбленный Сила Андреевич. Уверяю, он зафырчит от такого предложения, как кот от горчицы.

– А вдруг он укажет эти выражения?

– Полностью исключено, князь. Иначе пришлось бы признать Аракчеева умалишенным. Судите сами: если он укажет на такие выражения, то завтра же эта новость разлетится по всей столице, по всей России. Аракчеев сам себя выставит на всеобщий позор. На такое он не решится, и цензурный комитет, и авторы, и журнал будут спасены.

Князь Голицын подумал, повздыхал, вспоминая творца, и одобрил план. Тотчас же он направился к графу, имея при себе изложенное на бумаге небольшое, но крепкое условие, подсказанное Тургеневым.

5

Погода внезапно изменилась – потеплело. Слезливая оттепель слизнула непрочный первый снег, нарушив санный путь. Зимние возки курьерам и горожанам пришлось менять на коляски.

Раздробленный на части Семеновский полк был разбросан по разным местам. 1-й, едва ли не самый дружный батальон томился в Петропавловской крепости и на Охтенском пороховом заводе, одна половина 2-го батальона находилась в заточении в Свеаборге, другую половину, чудом уцелевшую во время морской бури, прибило в Ревель, где она и была оставлена; 3-й батальон пешим ходом под казенным конвоем пригнали в Кексгольм. Офицеры, нижние чины и солдаты ждали вышних решений, которые все еще не поступали. Над 1-м батальоном велось следствие.

Отставной полковник Ермолаев, уверовав в зимний путь, двумя днями раньше взял у Шаховского зимнюю повозку и своевольно отправился в Кексгольм, чтобы спроведать и подбодрить семеновцев. Недавно выйдя в отставку по болезни, он все еще не сумел отделить себя от полка, в котором начал службу юношей и кончал тридцатилетним полковником. В полку еще было немало солдат, вместе с которыми он проделал походы 1812, 1813, 1814 годов, участвовал в сражении под Можайском, Бородином, Смоленском, на берегах Березины. В огне и дыму он постиг величие духа русского солдата и проникся к нему безграничной любовью, уважением и состраданием.

И то, что по происхождению он был дворянином и помещиком Саратовской губернии, не мешало ему оставаться в сердечной дружбе со многими унтер-офицерами и рядовыми Семеновского полка, не мешало вести с ними переписку, а при случае и выручать солдат, попавших в беду.

В дороге Ермолаева застала оттепель, и до Кексгольма он добрался с большим трудом лишь на вторые сутки. В 3-й гренадерской роте, где в 1809 году он начинал службу подпрапорщиком, его встретили с радушием необыкновенным.

Когда гренадеры узнали, что отставной полковник по доброй воле предпринял эту поездку только для того, чтобы повидаться с ними, своими напутствиями поддержать их дух в эти трудные для них минуты, на глазах у многих огрубевших от муштры гвардейцев выступили слезы.

– Вина разная, а наказание для всех одинаковое, – как бы с упреком кому-то заговорил нижний чин из гренадерской роты, когда прощался с ним за руку Ермолаев. – Мы не хотели в то утро выходить, но были выгнаны насильно из комнат другими ротами. За что же нас выдворили из Петербурга?

Ермолаев, зная, что и среди гренадер не обойтись без наущника, отвечал осторожно:

– Видя такую тревогу, не следовало вам ходить дальше ротного двора. А выйдя на ротный двор, надо бы дожидаться приказа не выходить из роты. Вся вина ваша в том, что вы скопом вышли на полковой двор, а не на ротный. Но я не думаю, что милостивый наш государь сочтет такой незлоумышленный проступок за преступление и не вспомнит ваших заслуг. Заслуги и самый строгий закон обязывают к смягчению.

Он раздал передачи, присланные женами, рассказал гренадерам все, что знал об их семьях, о настроении солдат в других гвардейских полках, о поездке Чаадаева к царю в Троппау, о том, как чувствуют себя остальные однополчане в Петропавловке и на Охтенских пороховых заводах, обещал и в будущем не терять их из виду, что бы там с ними ни случилось, обещал присылать письма и посильное вспомоществование, принял солдатские поручения, просьбы и наказы своим осиротевшим семьям, обещал с воинской точностью выполнить все поручения по возвращении в Петербург.

Его неожиданный приезд подбодрил гренадеров, они увидели, что вокруг есть люди, не только желающие им добра, но и творящие это добро бескорыстным участием.

Расставание с отставным полковником Ермолаевым было трогательным. В глазах солдат он читал ту же святую готовность стоять насмерть друг за друга, какую не раз видел

на лицах воинов, идя вместе с ними в огонь сражений у села Бородина и на Можайской дороге.

3-я гренадерская рота 3-го батальона вся поголовно любила своего бывшего командира Ермолаева не только за его доброту, но и строгую, однако не унижительную взыскательность, за умение ревностно и толково исполнить служебный долг.

В присутствии роты Ермолаев крепко обнял унтер-офицера Ефима Юдина и спросил:

– Мы с тобой, кажись, оба старые семеновцы?

– Так точно, ваше высокоблагородие, – отвечал подтянутый унтер. – И годами, почитай, ровня! Нахожусь в службе с апреля 1812 года и до этого беспокойного происшествия не имел ни одного взыскания! Начинал я службу в армии в Екатеринбургском пехотном полку, из коего в 1813 году за усердие и отличие переведен в лейб-гвардии Семеновский полк, где и служу по сей день! А ныне, говорят, нас хотят отправить ловить медведей за Уральский камень. Другие бают – придется снова в армию.

– Что бы там ни случилось, Ефим, не поддаваться унынию, – во всеуслышание наказывал Ермолаев. – И в армии, Ефим, служи так же примерно, как служил в гвардии. Позволю тебе писать ко мне оттуда, где будешь служить впредь! Пиши о себе и о товарищах своих, если знать будешь, где они и что с ними...

– Ладно, ваше высокоблагородие!

Ермолаев не обошел ни одного, кого любил в роте. Вот он обнял рядового Отрока.

– Отличный ты солдат, Никифор! Любил и люблю тебя!

– И мы, ваше высокоблагородие, помним вас с подпрапорщичьего чину! И тоже душевно уважаем и всегда добрым словом вспомняем!

– Пиши мне, Никифор, о своем местопребывании, о здоровье. Если нуждаться будешь, то знай, что я, по возможности, всегда помогу тебе.

– Спа... спасибо, ваше высокоблагородие, дай вам бог здоровья и благополучия, – изменившимся голосом отвечал Отрок, с января 1807 года тянувший солдатскую лямку. Слезы вдруг навернулись на его глазах. – Я тоже, как и Ефим, старый семеновец... Спасибо, благодетель наш... Как отца родного, повсюду вспоминаем вас...

Глядя на Отрока, и другие закаленные в походах и битвах бывалые усачи зашмыгали носами, зачихали, засморкались, стыдясь обнаружить свои чувства.

И у самого мужественного Ермолаева дрогнуло сердце и ярым воском начало таять. Полковник заметил выглядывавшего из-за чьего-то плеча солдата Козлова. Сколько знал его Ермолаев, всегда он выглядел сумрачным, недовольным, прилежанием и исполнительностью не отличался. В начале лета, по воцарении Шварца в полку, он свершил два неудачных побега, оба раза был схвачен, жестоко наказан, в первый раз – лозанами, во второй – фухтелями. Всю осень Козлов провалялся в полковом госпитале. Спина его, изодранная в клочья, и сейчас еще являла собой вид сплошной болячки. Облепленный разными пластырями, с бинтами на груди и на пояснице, он своевольно убежал из госпиталя, как только услышал о возмущении в полку, и примкнул к возмущившимся. Он питал неистощимую ненависть ко всем командирам, начиная с унтера.

И хотя Ермолаев ни разу не причинил ему никакого вреда, искалеченный экзекуцией гренадер глядел неприязненно, исподлбья.

– Козлов, ты тоже можешь стать примерным солдатом! Но иногда ты нехорошо вел себя, был дерзок в разговоре с командирами. Послушай меня, выздоровев, обрати все свои усилия к хорошему поведению. Побег к добру не приведут. Вот тебе на лечение и поправку... – Ермолаев вручил ему несколько ассигнаций. – И ты из новых мест дай знать о себе.

– Я не горазд грамоте, – хмуро отвечал солдат, а сам отводил растерянный взор в сторону, на лице его отображалась душевная сумятица. – Я, ваше высокоблагородие... Я не заслуживаю...

– Полно, Козлов, заслуживаешь... А неграмотность не помеха дружбе, любой писарь по твоей просьбе напишет письмо ко мне.

Солдат молчал, понуро опустив голову.

Сокрушенный 1-й батальон Семеновского полка в ожидании военного суда томился в крепости и на пороховом заводе. Петербург был полон разных слухов.

Командир гвардейского корпуса Васильчиков быстро почуял, откуда дует ветер, и заставил себя принять точку зрения Закревского: возмущение не было стихийным, оно кем-то подготовлено. Как человек дела и ревностный службист с головы до пят, Васильчиков не ограничился принятием чистой идеи, а попытался немедленно извлечь из нее практические выводы: необходимо учредить в гвардии повсеместную слежку за любым солдатом и офицером, дабы впредь не допустить повторения семеновского неурядища.

Подготовку к созданию тайной полиции при гвардейском корпусе Васильчиков начал немедленно. Прежде всего он заручился поддержкой Аракчеева, который обещал уговорить царя дать согласие на такую меру. Великому князю Михаилу Павловичу он также внушил мысль поддержать его нововведение перед царствующим братом. Не дожидаясь возвращения из-за границы начальника Главного штаба князя Петра Волконского, Васильчиков писал ему на чужбину о своих замыслах, сокрушаясь о нынешнем падении нравов, кое и вынуждает его к деяниям, столь противоречащим понятиям о чести.

Полное сочувствие своим замыслам командир гвардейского корпуса надеялся найти и у молодого генерала Закревского. Пригласив его к себе в штаб, Васильчиков рассказал о своих замыслах. При этом он изобразил дело так, будто мысль об учреждении тайной полиции в гвардии впервые подал ему сам Закревский. Тут же командир гвардейского корпуса познакомил Закревского и с проектом сметы. К немалому удивлению Васильчикова, непоследовательный Закревский отнесся к новой затее весьма скептически. Он сказал:

– Я считаю, гвардия и тайная полиция несовместимы! Гвардия взбунтуется, если только узнает об этом унижительном для ее достоинства поползновении. Вам, Илларион Васильевич, не менее моего известно, что такое лейб-гвардия и из каких людей она состоит. Из представителей лучших дворянских фамилий. Гвардия – цвет войска российского! В гвардии любой солдат на три головы выше простолудина и обывателя! И вдруг мы посадим к гвардейцам каких-то мерзких паршивых шпионов из военной полиции... Увольте, милостивый государь, от подобной комиссии. Ведь мы с вами тоже гвардейцы...

– Помилуйте, генерал, но вы же сами в докладе великому князю изволили красноречиво и недвусмысленно указать на то крайне тревожное обстоятельство, что возмущение в Семеновском полку могло быть подготовлено офицерами. Так или не так?

– Я и ныне склонен так думать. Но при чем же здесь тайная полиция? – горячился Закревский.

– Стоит ли нам так громко называть десяток-другой шпииков? Ни одна душа не будет о них знать, и, следовательно, никакого ущерба достоинству гвардии мы не нанесем. К тому же великий князь Михаил Павлович тоже находит мой проект заслуживающим поддержки.

– Но я этого не нахожу, – независимо говорил Закревский. – На мне гвардейский мундир, и подобная мера глубоко противна моим правилам. А что станут говорить о нас в обществе?

– Мне тоже она противна, но теперь иного выхода нет, – с горестным вздохом проговорил Васильчиков. – Я заставил сам себя встать выше личных моих предубеждений... Ради интересов государя и отечества. Полагаю, Арсений Андреевич, они вам дороги не менее, нежели мне.

– Разумеется. Обаче следовало бы поискать иной выход из положения. Учреждение тайного надзора за гвардейскими офицерами ничего, кроме очевидного большого вреда и нравственного ущерба, не даст!

– Вот посмотрите – даст!

– Разве мы не имеем возможности знать о всем, что делается в полках, через их командиров?

– То-то и оно, что сведения от полковых командиров части бывают неполны и ненадежны. За многими командирами за самими надо наблюдать. И против тайных чужеземных агентов, которых, безусловно, немало проникло в гвардию, надо выставить ловушки. Как же обойтись без тайной полиции, само существование которой мною мыслится покрытым непроницаемой тайной!

– И велика ли должна быть такая ловушка?

– Как видите, не мала, – Васильчиков кивком указал на смету.
– Не лучше ли эту сумму употребить на иные нужды? И где вы наберете честных людей на такую службу?
– Честные на такую службу, как правило, не идут.
– На кого же вы делаете ставку?
– На мерзавцев. На законченное отребье. Только на них. К нашему счастью, мерзавцев у нас всегда хоть отбавляй.

Закревский рассмеялся, но Васильчиков вовсе и не думал смешить его.

– Именно на одних мерзавцев, – с брезгливостью повторил он. – На кого же еще? Потому и сумма набежала крупная в моем проекте. Чтобы купленные мною глаза и уши этих мерзавцев хорошо видели и слышали, им надо хорошо и платить.

– Вы хотите к сонмищу уже имеющихся негодяев прибавить еще столько же. За хорошую плату они очернят и нас с вами. Или не было тому примеров?

– Знаю, Арсений Андреевич! И это знаю. И не буду оспаривать. Сколько ложных тревог бывает в полиции по причине жадности ее агентов, которые, чтобы доказать, что они не дармоеды, не паразиты, не бездельники, а еще больше из-за того, чтобы добыть себе денег, лгут, врут, клеветают, выдумывают, что им взбредет. Я же вам говорю – мерзавцы, чистой воды подлецы. Не только у нас, везде агенты такие же. После выдачи им денег приходится почище мыть руки. А наш петербургский полицмейстер разве не мерзавец? Да еще какой. Вот вернется князь Волконский из-за границы, и мы с ним окончательно утрясем. Узаконим указом его величества новое полноценное министерство мерзавцев... С мерзавцами живется легче. Ведь в сущности мерзавцу, да если к тому же он тайный, не так-то уж много и надо.

Закревский не стал спорить. Он понял, что учреждение в гвардии тайной полиции – вопрос почти решенный и противостоять ему значило навлечь на себя неудовольствие и гнев во дворце.

– Дожили, – сорвалось у него. – Что ж, делайте, как знаете. – И встал.

– Приходится, Арсений Андреевич, приходится. Сами понимаете, не от хорошей жизни, – доверительно лепетал Васильчиков, провожая Закревского до дверей кабинета.

Оставшись один, Васильчиков начал переписывать набело проект о введении тайной полиции и смету к нему.

Адъютант доложил:

– Корнет Ронов жаждет предстать перед начальником гвардейского корпуса.

– Что у него?

– Командировку просрочил.

– Так ему прямо на гауптвахту надо, а не ко мне. Впрочем, давай, погляжу, что это нынче за корнеты, которые забывают, на какой срок дана им командировка.

Перед генералом предстал румяный, тоненький корнет, будто сошедший с лубочной картинки. Выслушав, Васильчиков сочувственно сказал:

– Ничем помочь не могу. Серьезное нарушение воинского артикула, господин корнет. Пахнет военным судом. А если государь разгневется, то могут воспоследовать меры и более суровые.

Подтянутый холеный корнет и бледнел, и краснел, умоляюще глядя на генерала. Долго выжимал из него холодный пот грозный Васильчиков, прежде чем смягчился.

– Ладно, так и быть, возьму грех на душу перед государем и творцом всевышним – прикрою твоё нарушение воинского регула, продлю командировку. Но и ты послужи царю-батюшке.

– Рад стараться, ваше превосходительство! – выпалил обрадованный корнет.

– Ну, вот и договорились. Хорошо послужишь – за царем и за мной усердная служба не пропадет.

Васильчиков достал из железного ящика листок и подал корнету:

– Прочитай все, что есть на одной и на другой стороне и распишись. И чтобы никто, кроме тебя и меня, да еще двух лиц во всей столице об этом не знал. Нарушишь обет – сгинешь в каземате.

Ронов прочитал написанное на обеих страницах, но медлил с подписью.

Васильчиков сделался недовольным.

– Что, корнет, нос повесил? Боишься подписывать? Я тебе открыл государственную тайну, а ты... Сейчас же с завязанными глазами, со связанными руками, заткнув тряпкой рот, отправлю в рavelин, и больше никогда не увидишь не только отца с матерью, но и белого свету. Червям темничным на съедение брошу. – И рассерженный Васильчиков вырвал у хрупкого корнета листок.

– Я... я... я готов, ваше превосходительство... От неожиданности растерялся.

– То-то же, – приняв расписку, подобрел генерал. – Есть лишь два человека в Петербурге, кроме меня, которые вправе потребовать от тебя все, что им нужно и дать тебе любое приказание по тайной службе. Эти люди: генерал-губернатор Милорадович и его ближайший чиновник полковник Глинка. Запомни. Ну, да еще государь будет знать о твоей службе, о чем я уведомяу его нынче же с нарочным фельдъегерем. А с чего и как приступить к делу, мы с тобой сейчас детальнейше обсудим.

Только спустя три часа корнет Ронов вышел из штаба гвардейского корпуса.

Мокрый снег валил крупными хлопьями и слепил глаза.

7

Поздним вечером 15 ноября ротмистр Чаадаев возвратился из-за границы.

Его беговая богатая коляска вся была густо облеплена дорожной грязью.

В непроглядной сырой мгле спрятался огромный город, будто он чего-то опасался.

Страшно утомленный Чаадаев в дорожном плаще поверх шинели распахнул дверь в кабинет Васильчикова. Генерал что-то писал. Перед ним на столе ярко горели семь восковых свечей в медном, украшенном литыми фигурами подсвечнике.

Увидев Чаадаева, он шагнул из-за стола и обеими руками схватился за холодную фельдъегерскую кожаную сумку.

– Воротился?.. Что привез? Как здоровье нашего родного отца государя-императора? Да ты, я вижу, хоть и устал, а глаза цветут! Садись, садись, рассказывай, как тебя встретили там, какие разговоры при особе государя?

– Я, кажется, князь, привез добрые вести, – сев в кресло у стола, заговорил Чаадаев. – Во всяком случае ясно одно: государь наш и на этот раз показал себя проницательным и дальновидным. Семеновский полк будет сохранен. Я видел монарха душевно сокрушенным, был свидетелем нелицемерного излияния его чувства личной привязанности к семеновцам. Он обласкал меня и, отпуская в обратный путь, заверил, что для грустных предчувствий у гвардии нет никаких оснований. Остальное – там в пакете. – Сдав фельдъегерскую с секретным замком сумку Васильчикову, Чаадаев устало рухнул в кресло, после дорожной тряски все тело ломило, а захладававшие ноги затекли от длительного сидения.

Васильчиков держал извлеченный из сумки пакет за сургучными печатями и медлил со вскрытием.

– Если ты привез радость, то и я ей рад, – уже перестраивался Васильчиков, немало сделавший для того, чтобы вместе с Закревским внушить Александру мысль о существовании злонамеренного тайного общества, избравшего Семеновский полк своим орудием. – Я ведь тоже плакал, сокрушался при виде несчастья семеновцев. Значит, доволен поездкой?

– Вполне, князь.

– Могу тебя порадовать, служба твоя государем не забыта, – оповещал Васильчиков, – можешь считать себя флигель-адъютантом. Позавчера получил я от государя собственноручную записочку относительно твоего повышения.

– Не скрою, весть для меня в высшей степени приятная!

– Значит, будем верой-правдой служить государю?

– Будем, князь!

– В отставку не собираетесь?

– Нет. Да и как можно при таком счастливом течении дел говорить об отставке? Государь расценил бы ее как неуважение к его высочайшему благоволению.

– Я тоже так считаю. Ты и на этот раз благоразумен. А то нынче стало модой, как чуть что – так скорей в отставку.

Васильчиков сколупнул ногтем хрупкие ломкие сургучные печати. Вынул хрустящий лист гербовой бумаги.

– Писано собственноручно государем... Высочайший приказ российской армии... – И генерал смолк на несколько минут.

Чаадаев в домашнем тепле вдруг ощутил крайнюю усталость и непоборимое желание уснуть. И только интерес к тому, что же он привез из заграницы, помогал ему преодолевать дремоту.

– А приказ-то все-таки крепкий... Такой, какой и должен был последовать... Я такого и ждал... Хотя он и расходится с тем, что ты только сказал.

– Семеновский полк сохраняется? – с нетерпением спросил Чаадаев и даже встал.

– Сохраняется, но совсем в ином качестве...

– Как это понимать?

– Понимать нужно в полном соответствии с высочайшей волей... Вот послушай...

И Васильчиков со странной радостью начал вслух читать высочайший приказ. Он читал и от строки к строке расцветал лицом, словно речь шла о новой ленте и новой звезде ему на грудь.

– «К прискорбию моему и целой армии извещаю ее о постыдном происшествии, случившемся 17 октября в лейб-гвардии Семеновском полку. – Васильчиков облизнул губы, вдруг ставшие сухими до крапивного жжения. – Российская армия, сверх приобретенной незабвенной славы на поле чести, с первейших времен ее образования всегда была примером верности, соблюдения священной клятвы и неприкосновенного повиновения своему начальству. – Васильчиков не удержался от того, чтобы прервав чтение, дать свое толкование мыслям царя. Потом продолжал: – Святость законов и честь имени российской армии требуют, дабы состав полка, оказавшего столь нетерпимое своеволие, был уничтожен».

– Как уничтожен? – вскрикнул Чаадаев и шагнул к генералу. – Вы ошиблись...

– Читай! – Васильчиков показал написанное царской рукой. И повторил: – Уничтожен... «Вследствие чего, с непоколебимою решимостью, но с душевным сокрушением и не останавливаясь чувством моей личной привязанности к семеновцам, по необходимости долга, на мне лежащего, повелеваю: всех нижних чинов лейб-гвардии Семеновского полка распределить по разным полкам армии, дабы они, раскаясь в своем преступлении, потщились продолжением усердной службы загладить оное...»

– За ними нет преступления! – с болью сказал Чаадаев.

– «Российское же войско, – дочитывал Васильчиков, – довольно заключает в себе много храбрых воинов, достойных занять место в лейб-гвардии Семеновском полку».

Чаадаев в голос зарыдал. Опустился в кресло. Подаренная царем табакерка с алмазным вензелем покатила по полу.

«Вот почему император сменил семеновский мундир на фрак, – невольно вспоминалась Чаадаеву минута прощания с Александром. – Его печаль была неподдельна, и в то же время он разыгрывал из себя друга Семеновского полка».

– Петр Яковлевич, не сокрушайтесь, государю виднее, нежели нам, – начал уговаривать Васильчиков. – Не будем спорить с государем, это к добру не приведет. Важно то, что Семеновский полк сохранится, хотя и в новом составе. Государь так и приказывает: для немедленного укомплектования лейб-гвардии Семеновского полка назначаются роты из гвардейских полков по особо данному повелению. С благоговением и покорностью верных слуг престола будем ждать особо данное повеление... А табакерочку поднимите, не хорошо ей валяться на полу, она же с царским вензелем.

Чаадаев оставался неподвижен. Васильчиков поднял с полу табакерку, сдунул с нее, положил на край стола.

– Семеновский прекрасный полк убит... Уничтожен самим государем, – повторял Чаадаев. – Никакой новый полк не заменит старого и не будет пользоваться такой любовью, какой пользовался старый... Вместе со старым полком убит и я... Убиты мои упования и надежды. Что-то в душе моей вдруг и навсегда рухнуло. Непоправимо. Вчерашнего светлого храма во мне больше не существует. Я отныне самый несчастный человек в Петербурге, а может быть, и во всей России. Я ждал чего угодно, но только не этого...

– Делать нечего, приходится приступать к выполнению монаршей воли – печатать приказ и рассылать по войскам.

Чаадаев потрогал пакет, лежавший на столе кверху сургучными печатями, и после длительного молчания вдруг сделал неожиданное сравнение:

– Эти пять печатей похожи на пять с запекшейся кровью глубоких ран... Вы не находите?

– Ах, друг мой, раны или болячки – не все ли равно. Вам, Петр Яковлевич, следует хорошенько отдохнуть после дороги.

Вскоре Чаадаев покинул генерала, забыв на его столе дарственную табакерку.

Преодолевая усталость и ломоту в суставах, Чаадаев прямо из штаба направился к Шаховским – здесь чаще всего по вечерам собирались друзья: Шаховские, Сергей Муравьев-Апостол, Михайла Бестужев-Рюмин, брат Петра Чаадаева – Михаил Яковлевич Чаадаев, полковник Ермолаев, полковник Иван Вадковский, его средний брат кавалергард Федор Вадковский, до января 1818 года служивший прапорщиком в Семеновском полку, из которого он был переведен в Кавалергардский полк юнкером, а в августе этого года произведен в эскадрон-юнкеры, капитан Кошкарлов, князь Щербатов.

Чаадаеву повезло – он застал почти всех в сборе. В уютной гостиной, освещенной тремя подсвечниками, удобно расположились в креслах Муравьев-Апостол, Ермолаев, Бестужев-Рюмин, Михаил Чаадаев, Федор Вадковский.

Едва Чаадаев появился в дверях – гости в едином порыве поднялись навстречу с распростертыми объятиями. Его возвращения ждали с нетерпением, от него жаждали услышать самые достоверные новости.

– О, други мои! Милые мои, сколько вас! И почти все – вчерашние семеновцы, – проговорил Чаадаев от дверей.

В камине весело взметал золотистые петушиные крылья пламень. Наталия Дмитриевна – обаятельная, ласковая, гостеприимная хозяйка – немедленно взяла Чаадаева на свое попечение.

– Грейтесь! Отдыхайте! Рассказывайте! Вот вам царское место!

Она предложила ему самое удобное место у камина.

– Чудесная Натали, разреши мне отныне держаться подальше от всего, что начинается со слова «царское»...

Чаадаев все же принял предложение и сел в старинное, почерневшее от времени кресло, с высоким заспинком, которое здесь в шутку называли домашним тронem.

Сергей Муравьев-Апостол, встав позади и положив на заспинку руки, сказал:

– Петр Яковлевич, хотите быть подальше от всего, что начинается со слова «царское», а вот от трона не отказались.

Ротмистр, повернувшись всем корпусом, хмуро поглядел на украшенный резными фигурками заспинком, ответил:

– Считайте самозванцем. Но меня так уколохало, что уже, кажись, не хватит сил переместиться с монаршьяго трона на республиканский диван.

– Все говорят, что ты ездил в коляске шикарнее аракчеевской? – спросил Ермолаев.

– Ну, так же я ехал с донесением не к пензенскому вице-губернатору. Наш благословенный любит пустить пыль в глаза.

Руки Чаадаева расслабленно опустились на подлокотники.

– Больше не могу... Подаю в отставку... Душно... Мундир стал для меня теснее железного панциря. Не хочу больше быть свидетелем безобразий и беззаконий. Той армии, которая удивила весь мир в войне с Наполеоном, больше не существует. Последние бастионы, в которых оберегались благородные традиции тех лет, рушатся самим государем. Аракчеевский угар наполняет все казармы и штабы, правительственная копоть заволакивает голубое небо России. Гаснет последний луч надежд и упований. Мы погружаемся в какой-то мутный океан, где дух и мысль каждого регламентированы, скованны, выверены по линейке. Неужели испанская заря только для одной Испании?

Присутствующие удивленно переглянулись – никто из них до этого дня не слышал, чтобы блестящий Чаадаев, которого все считали любимцем царя, собирался в отставку.

– Напрасно, Петр Яковлевич, – с укоризной покачал головой Муравьев-Апостол, – уходить в отставку никак нельзя. Ермолаев ушел, ты уйдешь, глядя на вас, и я уйду – на кого же мы оставим гвардию? Отдадим ее во власть шварцев, бибиковых, стюрлеров, великих князьков-сопляков? Нет, нет, Петр Яковлевич, ты не прав. За каждую роту, за каждого солдата следует бороться, надо давать отпор шварцам и тем, кто стоит за их спиной, надо всячески сопротивляться искоренению патриотического духа и человеческих начал в армии.

Муравьева-Апостола с юношеской пылкостью поддержал Михаил Бестужев-Рюмин. Такого же взгляда придерживался и Ермолаев.

– Я вышел в отставку лишь по причине плохого здоровья, – заговорил он. – Но как только наступит улучшение, вернусь на службу непременно. Нельзя лучшие наши гвардейские полки уступать грубым неотесанным чурбакам в эполетах, всяким ефимычам... Мы, гвардейцы, сумеем постоять за свою честь! Солнце Бородина нам и ныне светит.

– Должен огорчить вас: с нынешнего дня вы уже не гвардейцы, – горько улыбнувшись, объявил Чаадаев. – Да, господа, вы уже не гвардейцы. Волею высочайшего лицемера и деспота...

– Как? Что? Ужели?!

Все повскакали с мест.

– Петр Яковлевич, не может этого быть, – всплеснула руками хозяйка.

– Я, господа, первый хотел бы в данном случае оказаться лжецом, – тихо говорил Чаадаев. – Но вот беда – я ручаюсь за истинность каждого моего слова. Завтра, господа, будет напечатан и разослан приказ о раскассировании и распределении по армии Семеновского полка, за исключением 1-го батальона. Все вы переводитесь в армейские полки с повышением в звании...

Белые, но сильные руки Сергея Муравьева-Апостола будто вдруг приросли к высокому резному заспинку.

– За что? За какое преступление? – с яростью неукротимой воскликнул Михайла Бестужев-Рюмин, будто все это злосчастье происходило по воле Чаадаева.

– За неумение, как изволил выразиться лукавый государь, предупредить случившееся неустройство, – объяснил Чаадаев.

– В армию? Ни за что! Легче – самому себе пулю в лоб...

– Дослушай же, огненный подпрапорщик, – снисходительно, как старший брат к младшему, обратился Чаадаев к подпрапорщику. – Рассылают вас все же с сохранением выгод гвардейских чинов.

– Мы служим в гвардии не ради выгод! – шумел Бестужев-Рюмин. – Россия никогда не простит тому, кто уничтожает лучший ее стариннейший полк!

– Семеновский полк будет заново составлен из отборных рот гренадерских полков, на сей счет уже готовится особенное повеление.

Весть эта поразила всех, но особенно возмущался Бестужев-Рюмин: в эту первую минуту удаление из гвардии для него показалось крахом всей карьеры, всей только что начинающейся сознательной жизни.

– Петр Яковлевич, вы были рядом с глухарем плешивым, почему вы не убили его? – бросил упрек дерзкий подпрапорщик. – Убив тирана, вы свершили бы великое благодеяние для всей России. Возьмите меня в фельдъегери к Васильчикову и дайте мне поручение скакать нарочным в Троппау, и я сделаю то, что не захотели сделать вы.

Чаадаев поднял на Бестужева-Рюмина печальные глаза.

– Вот они, нынешние подпрапорщики – в каждом дремлет завтрашний Брут или Квириг.

Он как-то вдруг поник, склонив русую голову, потер ладонью белый большой лоб.

– Тяжко, друзья мои... Больно... Невыносимо... Как на похоронах лучшего друга или брата. Вместе с вами я глубоко скорблю по Старо-Семеновскому полку, вместе с вами оплакиваю его ужасную гибель... Ведь он родной полк и братьям Чаадаевым, как и братьям Муравьевым-Апостолам... Крупица и наших усилий отдана славе и доблести этого полка...

Чаадаев говорил истинную правду: восемнадцатилетним юношей, московским студентом, в мае 1812 года он поступил подпрапорщиком в Семеновский полк, в начале осени был уже прапорщиком и только через два года перешел в Ахтырский гусарский полк.

И брат его Михаил с 1812 по 1819 год служил в Семеновском полку и все время был на отличном счету.

– Крушение Семеновского полка не пройдет бесследным для страдающего под игом деспотизма отечества, – не поднимая крупной поникшей головы, предсказывал Чаадаев, – оно, возможно, явится началом событий, грандиозность которых сейчас во всей полноте и представить трудно. – Он с увлечением заговорил о любимейшем предмете – гиспанской конституции. – Может быть, повторяю, героическая Испания покажет возможность чего-нибудь такого, что по сию пору мы почитали невозможностью. Дай-то бог! Слава тебе, славная армия гиспанская! Слава гиспанскому народу! Скоро ли европейцы воскликнут: слава тебе, славная армия российская! Слава тебе, российский народ!

Донельзя удрученного юного Бестужева-Рюмина уже за полночь воспрянувший духом в предчувствии близкой грозы и бури ротмистр увез от Шаховских к себе на квартиру в Демутов трактир.

Жестокий царский приговор сразу разрушил все розовые мечты и надежды юноши. С этой минуты он стал не рад ни службе, ни жизни. Внезапное крушение оскорбило и ожесточило его до крайности. Мысль об отмщении не покидала, о чем бы он ни говорил и ни думал.

В трактире Бестужев-Рюмин с еще большим жаром стал уговаривать ротмистра как-нибудь устроить через влиятельного Васильчикова перевод в штаб, а затем и поездку с каким-нибудь донесением за границу к царю.

Чаадаев сразу охладил юношеский пыл, ответив, что этого сделать он никак не может и что замысел подпрапорщика об отмщении обречен на полную неудачу.

– Тогда ради чего прозябать на этой земле, как прозябают миллионы других рабов?

– Прозябать не нужно. Нужно жить.

– Во имя чего?

– Во имя вольности, красоты и совершенства.

– Петр Яковлевич, друг и товарищ, какие же могут быть красоты и совершенства в такой стране, как наша рабская из рабских Россия?! – воскликнул Бестужев-Рюмин.

Чаадаев братски положил руку на плечо юному другу.

– Красота и совершенство все-таки есть! Вот живое воплощение красоты и совершенства.

Чаадаев достал из чемодана портфель с бумагами.

– Вот оно, совершенство! Вот она, нетленная красота! Узнаешь, чьей рукой писано это послание к ротмистру Чаадаеву? Рукой самого Пушкина! Рукой друга моей юности.

И Чаадаев с чувством, но без аффектации начал читать, не заглядывая в листок:

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти вековой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.

Михаил слушал, затаив дыхание, и на глазах его показались слезы.

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна
И на обломках самовластья

Напишут наши имена!

– Ты с ним в дружестве?.. – Бестужев-Рюмин обнял Чаадаева и расцеловал. – Когда встретишься, поцелуй его и от меня! И скажи ему: он спас мою жизнь, он влил в мою сокрушенную душу надежду на лучшее! Надо жить! Стоит жить, Петр Яковлевич! Я согласен с тобой. И при полном бесправии и рабстве жизнь прекрасна, когда души людей омывают от всякой скверны вот такие целебные строки. Дай спишу...

Он переписал стихотворное послание в записную книжку. Кончив переписывать, еще раз с неутолимым наслаждением артистически прочитал вслух.

– Мишенька, ты же великолепный чтец!

– Потому что стихи великолепны. Приведется ли нам, Петр Яковлевич, увидеть своими глазами обломки самовластья?

– Едва ли, Мишенька.

И Бестужев-Рюмин, уважавший мнение Чаадаева, заметно сник.

– Едва ли, – повторил Чаадаев, – но готовить нелепое сооружение единовластия к падению мы можем. Должны. Обязаны. Эта честь историей, пожалуй, возложена на наше поколение.

– А способно ли оно на такой подвиг?

– Всякий подвиг сам по себе не происходит, его приближают люди путем утверждения идей.

– Уж очень все ничтожно и мелко, как посмотришь вокруг себя.

– Я с тобой согласен. Но ты не поддавайся мизантропии, для России будет достаточно и одного мизантропа в моем лице.

Несколько дней Бестужев-Рюмин, пока шло окончательное расформирование Семеновского полка, прожил у Чаадаева в Демутовом трактире. Он не раз порывался написать в Москву строгому отцу о недавних событиях в полку, но всякий раз, начав письмо, откладывал перо и бумагу – щадил здоровье старого отца и больной матери. Он заранее знал, какое смятение внесет в семью известие о переводе его в армию, сомневался в способности вспыльчивого, грубого отца правильно понять и оценить все, что случилось с сыном.

Скорее всего рассерженный отец лишит сына, попавшего в царскую немилость, и без того скудной денежной поддержки.

8

Чаадаев обещал Шаховским поразведать у начальства относительно командира государственной роты князя Ивана Щербатова и поехал прямо к дежурному генералу Закревскому. После свидания с государем за границей перед ротмистром теперь легко открывались любые двери.

Тридцатичетырехлетний генерал принял посетителя весьма любезно, и Чаадаев приступил к делу:

– Не считите дерзостью, милостивый государь, мое желание узнать о судьбе друзей. Кроме того, я имею поручение от княгини Наталии Дмитриевны Шаховской. Она беспокоится о своем брате, князе Щербатове. Надобно ли, можно ли Щербатову приехать в Петербург или отправиться прямо к месту нового назначения?

– Я на месте Щербатова посиживал бы тихо и мирно в Москве, – учтиво отвечал Закревский, под участливой улыбкой как бы скрывая главный смысл того, что хочет сказать.

– А еще яснее отвечу: являться сюда не нужно. Конечно, если невтерпеж, то приехать можно, но, как говорится, на свой страх и риск. Гораздо полезнее для князя чистый воздух Москвы.

– Есть ли возможность получить отставку?

– Кому?

– Князю Щербатову. Если есть, то как скоро и какие для сего лучше употребить средства?

– Что за поветрие такое пало на гвардейских офицеров – они только и помышляют об отставке, – с искренним огорчением говорил Закревский. – Я наблюдаю, как появится

хороший, умный, инициативный, полезный для службы офицер – так обязательно изобретает средства получить отставку.

– Очевидно, Арсений Андреевич, тому есть глубокие причины.

– Господин ротмистр, не нам с вами дано измерять глубину тех или иных причин... Давайте ревностной безупречной службой высочайшему благодетелю доказывать нашу правоту. – Закревский помолчал и продолжал уже без начальнических ноток в голосе. – А если попросту, Петр Яковлевич, то про отставку пока что ничего неизвестно. Ключи от всех замков не у меня, а в Троппау. Пошлем, спросим, может быть, последует позволение, но после того как утихомирится кутерьма с семеновцами. Вы же сами недавно от государя, видите, что творится.

Он заглянул в только что поступивший из типографии приказ по армии.

– Можете уведомить капитана князя Щербатова, он переводится майором в Тарутинский полк.

– А Муравьев-Апостол?

– Подполковником в Полтавский.

– Кошкаров?

– Подполковником – в Бородинской. Могу вам подарить приказ по армии, в нем вы найдете полное расписание: кто, каким чином и в какой полк переводится, начиная с полковников и кончая подпоручиками.

С свежим приказом Чаадаев приехал к Шаховским.

– А про вашу поездку за границу, Петр Яковлевич, глупцы, завистники, салонные болтуны, вроде графа Блудова, уже разносят по городу всякий вздор, – сообщила княгиня.

– А что именно?

– Больше всего выдумывают о вашей встрече с государем...

Чаадаев, почтительно выслушав княгиню, с грустной язвительной иронией сказал:

– Да, встреча была в своем роде примечательная. Историческая, по крайней мере для моей судьбы, встреча...

И Чаадаев рассказал кое-что о своей беседе с монархом.

– А здесь плетут всякое... Будто государь так разгневался, что велел посадить вас в чулан и не выпускать до самого отъезда. Из чулана вас посадили прямо в экипаж и с жандармами проводили до самого Петербурга.

Неподдельным смехом встретил Чаадаев этот рассказ.

– Какая же чепуха, прелестная княгиня! Потолок воображения пустопляса графа Блудова. Хорошо уже и то, что не меня винят в несчастье Семеновского полка, – печально закончил он.

– Представьте, Петр Яковлевич, и на сей предмет сплетничают, – огорчила его Наталья Дмитриевна.

– Ужели? – Чаадаев помрачнел и надолго смолк. – Ужели? – машинально повторил он. – Этого я больше всего опасался. Это ужасно! А коли так, то мне ничего другого не остается, как немедленно подать в отставку! И пускай каждый умный соотечественник поймет вместе с главным виновником крушения Старо-Семеновского полка: моя вынужденная отставка – прямой и решительный протест против лицемерия и жестокости государя. Иных возможностей выразить протест у меня, к сожалению, не имеется! Я так и поступлю.

Княгиня огорчилась. Она уговаривала Чаадаева, но напрасно.

– Видите ли, Наталья Дмитриевна, ваш покорный слуга ротмистр Петр Чаадаев своим усердием в роли нарочного фельдъегеря ускорил приход несчастья для стольких благородных людей, – вручая Шаховской приказ, сказал Чаадаев. – Был полк и вдруг не стало полка. Дальнейшее мое пребывание на военной службе бесцельно. По этой части все мною решено окончательно. Если бы я знал, что мне предстоит привезти из Троппау такой погром, то уж, конечно, я уклонился бы от поручения, хотя бы ссылкой на болезнь. Садитесь за стол и пишите брату о всех печальных подробностях.

– А можно к письму приложить и приказ?

– Пускай боярско-татарская Москва поскорее узнает о высочайшей благоглупости.

В присутствии Чаадаева Наталья Дмитриевна по-французски описала все подробности, добытые ротмистром, в заключение письма с целью охладить нетерпеливость беспокойного брата заметила, что более пока нельзя ничего узнать.

Прямо из полковой канцелярии навестил Шаховских Михайла Бестужев-Рюмин. Увидев приказ на столе под руками у княгини, он спросил:

– Готово? Отпечатали?

– Вас, Мишенька, из лейб-гвардии Семеновского полка по высочайшему повелению переводят в Полтавский пехотный полк тем же чином.

– Ну, теперь пришел срок написать обо всем отцу, – сказал униженный таким переводом подпрапорщик.

После ужина Бестужев-Рюмин заехал к родственникам, чтобы оповестить их о предстоящем отбытии из столицы.

В передней, к немалому удивлению, он встретился с отцом, который приехал в столицу, как только до Москвы дошли слухи о крушении всего Семеновского полка. У отца не было никаких связей с влиятельными сановниками и придворными воротилами, но старик все-таки на что-то надеялся и верил, что своим приездом и наставлением может выручить сына из беды.

– Ты, Мишка, пошто молчишь, будто воды в рот набрал? – начал отец с упреков, подставляя свою руку для поцелуя. – Почему до сих пор ничего не отписал мне и матери о прискорбных здешних происшествиях?

– Папа, мы все были так заняты в связи со сдачей взводов, рот, баталионов и всего полка в целом... Нынче собирался писать тебе и мама. Каково ее здоровье?

– Держалась все лето и осень, а вот недобрые вести о здешней катавасии подорвали мать. Разве ты от нее ничего не получал?

– Получил в прошлом месяце.

Они прошли в отведенную отцу комнату.

– Ну, как тут у вас? Есть ли надежда на высочайшую милость?

– Мы опасаемся, как бы от высочайшей милости у солдат под фухтелями спины не переломились.

– Не смей так дерзновенно отзываться о царствующем благодетеле нашем! – прикрикнул отец.

– Из-за его благодеяний стали несчастными на всю жизнь более трех тысяч человек, не включая сюда солдатских жен и детей, – отвечал сын. – Полк расформирован. Раздроблен на куски. Упрятан по крепостям. Офицеры, все до одного, из гвардии переводятся в армию.

– В армию?.. – У отца перехватило дыхание. – И тебя в армию?

– В Полтавский полк. Уже и приказ отпечатан.

– Всех до одного! Значит, все вы повинны перед императором! Кто всему делу главный зачинало?

– Никаких дел, папа, никаких зачинал у нас в полку не было. Страдаем из-за негодяя бывшего командира Шварца.

– Не может того быть, чтобы не открылось за кем-то из офицеров большой вины. И ты от меня не скрывай, я за тем и пустился в опасный по моим летам путь, чтобы приставить свою голову к твоим плечам.

Сын, желая успокоить отцовское сердце, обрисовал в подробностях всю историю возмущения семеновцев. Но отец, выслушав, не счел его рассказ заслуживающим внимания.

– Пока не зазвенел поддужный колокольчик, бери перо и пиши на высочайшее имя наипокорную повинную.

– Мне, папа, виниться не в чем.

– Будь поумнее! Перед государем всяк невиновный виноват – на то он и государь. И не фордыбачь много-то. В твои лета надлежит слушать старших, а от суждений несогласных воздерживаться. Сейчас же пиши покаянную, целуй руки, ноги и края священной одежды государя.

– Папа, я этого никогда не сделаю, даже если бы государь ссылал меня не в армию, а вводил на смертную плаху. Бестужевы-Рюмины согласно записям в книге нашего

родословия служили царям верой и правдой, но никогда не раболепствовали и не целовали царских одежд.

У сына, сделавшегося неистовым, загорелись непримиримостью глаза. Его горячность еще больше возмутила отца, никак не ожидавшего такого неповиновения.

– Ты, мальчишка, только начинаешь жить, а мне уже скоро в гроб... Не смей так говорить при мне о священных особах! – Одышка прервала и без того сиплый его голос. – Я перед государем отвечаю за каждый твой шаг. Моя родительская воля – закон, и ты его не смей преступать.

Трясущимися руками он расстегнул истрепанный кожаный саквояж, извлек шикарную книгу родословия.

– Ползай в ногах у царя, но любой ценой вымаливай себе прощение. Вот отсюда выпиши все наши глубокие дворянские корни и ветви. Укажи, как твои предки всегда похвально служили российским государям. Тут все титулы, чины, звания и сроки указаны.

Михаил не притронулся к тяжелой книге.

Павел Николаевич вдруг почувствовал свое досадное бессилие перед семнадцатилетним сыном, которого он до последней минуты считал мальчишкой.

Перед сном Михаил вышел к воротам, чтобы прохладиться после изнурительного словесного поединка с отцом. «Какая бездонная пропасть между тем, что я нынче выслушал от отца, и тем, что ворвалось в мое сознание с бесценной странички послания к Чаадаеву, – размышлял он. – Отец хочет научить меня московской барской мудрости. Он наивен и весь в прошлом. Наше поколение не мерит меркой минувшего столетия. Но история никогда не движется вспять. Вроде бы всю жизнь провел независимо в своем имении. А раболепия и лакейства в нем не менее, чем в любом придворном шуте. О, люди, люди...»

Захотелось вернуться к Чаадаеву в Демутов трактир, но из чувства уважения к отцу Михаил не сделал этого – еще пуще обидится старик, если сын не останется ночевать с ним.

Около недели Павел Николаевич Бестужев-Рюмин провел в Петербурге и каждый день осаждал сына требованиями сочинить покаянное письмо. Михаил отказался наотрез, несмотря на заверения отца в том, что ему якобы посчастливилось договориться с одним хорошим знакомым, который запросто вхож в канцелярию к Аракчееву. Приятель, уверял отец, дал надежное обещание доставить челобитие в собственные руки могущественному царскому наперснику.

Ничто не поколебало решимости сына – не искать себе милости ценой унижения.

Павел Николаевич от простуды или от расстройства слег. Между тем приближался срок отъезда Михаила из Петербурга к новому месту службы на Украину.

Ослабший, исхудалый после болезни, отец, садясь в сани, бросил сыну страшный упрек:

– Ежели я умру в дороге, то так и знай – ты меня убил. Ежели что недоброе случится с матерью, то помни: ее несчастье на твоей совести.

– Отец, можешь быть спокойным, безупречной службой в армии я добьюсь благоволения государя, перед которым я и ныне ни в чем не виновен! – твердо сказал Михаил.

Отец в дороге заболел горячкой. Когда его привезли в Москву, он был без сознания.

9

Одевшись в темный фрак для верховой езды и обув сапоги со шпорами, Чаадаев нанял у Демутлова трактира ямщика и поехал в офицерские казармы Семеновского полка к Муравьеву-Апостолу.

Сырые ветры пронзительно дули с Финского залива. Ноябрь уходил из столицы по лужам, по слякоти. Не подсушило и в начале декабря. Морось, сменяемая густыми, но кратковременными снегопадами, расшугала по домам, по теплым гостиным и будуарам, поближе к уютным каминам и печам, завсегдатаев с Невского, великосветских щеголей и щеголих, зевак из простолюдинов. Меньше покупателей толпилось в чумазах лавчонках и в шикарных магазинах.

Только на жизнь солдат плохая погода никак не повлияла. На полковых и ротных дворах, на плацах, в манеже, на Васильевском и Елагинском островах, на площади перед

Зимним дворцом продолжалась все та же муштра, постылые разводы, смотры, парады; от ударов гренадерских каблуков, от топота кавалерийских эскадронов сотрясалась земля и колыхалась вода в Неве.

Сергей Муравьев-Апостол в этот час находился дома один. Недавно протопленная денщиком печь хорошо нагрела жилище. В одном верхнем жилете с шалевым воротником из белого пике и в светло-серых панталонах из полусукна, он сидел у стола и что-то писал, часто останавливался, перечитывал написанное, перечеркивал, начинал снова. В подсвечнике перед ним горели три сальных свечи, он так был увлечен писанием, что не хотел оторваться и на миг, чтобы убрать нагар со свеч. Одна свеча накренилась и погасла, тлеющий фитиль коптил, наполняя просторную комнату смрадом. Под рукой у него лежала кипа исписанных бумаг, несколько распечатанных конвертов со следами сургучных печатей. Крепко заваренный чай в стакане давно остыл, но он не хотел беспокоить денщика, чтобы попросить горячего, изредка отпивал по глотку из стакана. Он очень устал, однако усилием воли заставлял себя работать, потому что дело не терпело проволочек.

На серой пуховой шляпе и оливково-зеленом сюртуке вошедшего Чаадаева таяли пушистые сырые снежинки. Муравьев-Апостол, держа обмакнутое перо в левой руке, встретил друга с присущей ему любезностью, позвал денщика и велел приготовить ужин и бутылку вина.

– Что там на улице-то, Чаадаев, зима или осень?

– Зима. По всей России лютая зима. Во всей Европе... И вряд ли мы с тобой доживем до желанной весны, – мрачно отвечал Чаадаев, сдвывая денщику шляпу и сюртук. – Зима... Кромешная монархическая тьма.

– Доживем! Ей-богу, доживем! А почему бы нам не дожить? Я с утра носа не показывал на улицу, сижу, как проклятый стряпчий, над составлением постылых рапортов, объяснений, ответов на вопросники в полсотни пунктов и более, ответов на секретные предписания и повеления господина генерал-адъютанта Левашева, дежурного генерала Главного штаба его императорского величества господина Закревского, на разные бестолковые повеления из инспекторского департамента и прочая и прочая...

– Не завидую тебе, Серж, никак не завидую... От одной мысли о том, что тебе приходится иметь дело с таким покрытым щетиной животным, каков генерал Левашев, я со стороны испытываю смертную тоску, – сумрачно говорил Чаадаев, остановясь около письменного стола. – Ни Левашев, ни Закревский не стоят тех свеч, что ты потратил, составляя для них объяснения.

– Мороза с Левашевым осталась позади, – отвечал Муравьев-Апостол, – ответ для него составлен. А сейчас я занят перебеливанием одного уж очень важного документа... И хочется мне составить его так, как подобает всякому порядочному командиру, любящему своих солдат. Хочется, но жжется. Боюсь, все мои ухищрения разоблачат мерзавцы, вроде Скобелы и Бибикова. Видишь, исписал две страницы. – Он показал Чаадаеву листок, с обеих сторон испещренный фамилиями. – Хочется мне спасти мою 3-ю роту от участи, которая ей, возможно, уготована тупыми колунами... Составляю именной список тем лицам, которые, по моему ведомству, из роты вовсе не выходили... А на обратной странице, видишь, другой список людям, которые по должностям, командировкам или за болезнь никак не могли участвовать в событии, ныне называемом неустройством в Семеновском полку...

– И за чем же остановка? Позабыл фамилии солдат и нижних чинов? – спросил Чаадаев, сев к столу рядом с Муравьевым-Апостолом.

– Не то. О, как хотелось бы мне всех включить в список! Но, сам понимаешь, нельзя этого сделать... Все же вписал многих из тех, кто особенно вел себя шумно. Получилось на пословицу: кто умней, тот и шумней. А честно говоря, ни один из них не виноват.

Слуга принес на подносе ужин на двоих и бутылку вина. Ужинали за письменным столом, сдвинув бумаги на край.

– А вот недавно завязалась переписка государственного значения, в которую, кроме Кочубея, Милорадовича, Закревского, по всем видам, включились министр просвещения князь Голицын, сам святейший синод и полоумный монах Фотий. А дело преважное: нижние чины бывшего лейб-гвардии Семеновского полка 3-й фузелерной роты, честь командования которой принадлежала мне, решили пожертвовать ротный образ в полковую церковь...

– Ну и что? И пускай жертвуют...

– Не тут-то было... Ханжи и святоши из Главного штаба и синода и ротный образ – икону, писанную в Палехе, – сопричислили к мятежникам и не хотят ставить рядом с другими немые иконами в полковой церкви... Меня винят чуть ли не в кощунстве и неуважении к православной вере. Мне достоверно известно, уже полетело на сей счет донесение на высочайшее имя, а пока что велят икону держать под спудом.

– Уж и ее под конвоем проводили бы в Петропавловку, – грустно улыбнулся Чаадаев первый раз за весь вечер. – Вот это и есть отвратительное лицо несчастной современной России.

– Да, отвратительное! Только не России! Отвратительное лицо гнусного бездарного правительства, отвратительное лицо блюстителей народной нравственности и так называемых трех устоев, – возразил Муравьев-Апостол. – А Россия тут ни при чем! За подлость и глупость правителей великая Россия с ее разноплеменными умными народами не в ответе. В ответе аракчеевы и аракчеевцы, в ответе фотии и фотиевцы! Мне известно через Александра Тургенева, что Фотий первым пронюхал об этой злосчастной иконе ротной и в письмах к министру просвещения требует сожжения ее, как еретической, на базарной площади в присутствии народа или на Елагином Острове на виду у гвардейских полков. Подлый монах уже написал об этом императору, в своем доносе он называет меня главным ересеначальником в полку...

– Вот это и есть, Сергей Иванович, та Россия, о которой я говорю, – повторил Чаадаев.

– Нет, это не есть Россия. Не вечно же все то возмутительное, что творится в России, будет приниматься и восхваляться прозревшими россиянами. Придет время, и мрак развеется.

– Едва ли придет оно, – не соглашался Чаадаев. – Само оно не придет, а ускорять его приход некому. И вот помянешь меня, царь, прочтя донос монаха, скажет: «Быть по сему». А баба-начальник главного штаба генерал Волконский этому «быть по сему» придаст силу закона. И, не дай бог, вместе с опальной ротной иконой могут сжечь и главного гвардейского еретика Муравьева-Апостола, а заодно с ним страдающего за любезную Россию Чаадаева. А ханжи и придворные скоморохи будут плясать и скакать, будут радоваться, что вкусно пахнет на всю Россию жареной человечины. Нет, друг мой, что ни говори, а современная Русь – самая каннибальская страна.

...Бутылка давно была пуста, а друзья все еще сидели за столом. Чаадаев порой говорил несвязно, и эта несвязность объяснялась не путаницей неясных мыслей и не отсутствием убежденности или идеала, а переполнявшими его грудь скорбью и безысходной грустью. Своими безотрадными рассуждениями он поверг в уныние и собеседника, совсем не склонного к меланхолии.

Сняв витыми фигурными щипцами черный нагар с белой восковой свечи и поставив еще бутылку вина на стол, бодро заговорил Муравьев-Апостол:

– Дорогой Петр Яковлевич, ты знаешь, как высоко ценю я тебя, как уважаю твой тонкий независимый проницательный ум, твои завидные познания, твои всегда такие интересные оригинальные суждения... – И после спада со вздохом признался: – Но нынче ты впервые разочаровал меня своими крайне безнадежными думами. Ты нынче не похож сам на себя! Ты не такой! Ты совсем не такой! Ты неправ. Твои беспросветные выводы случайны, они навешаны вдруг какими-то душевными невзгодами, навешаны временно. Ты сам завтра же от них откажешься. Ты же, как и я, как и Пушкин, первый в России жизнелюб и оптимист! Именно таким мы знаем и любим Петра Чаадаева. Я верю в Россию. Против твоих нынешних обезоруживающих наш кипящий ум и возмущенную душу оценок восстают легионы исторических фактов. Против твоего скептицизма выступают все нелицемерные историки России от первого нашего летописца Нестора и до Тацита наших дней – великого Карамзина. Разве это не так, умнейший из умнейших, Петр Яковлевич?

Спорить с Муравьевым-Апостолом было нелегко даже Петру Чаадаеву.

– Наш Карамзин, разумеется, большой молодец, – меланхолично отвечал Чаадаев, – но он на все смотрит сквозь розовые очки, я же на отечественную историю и современность смотрю по-иному.

– Полно, полно, Петр, где же здесь розовые очки? Не одна ли святая правда? – возбужденный Муравьев-Апостол, достав с полки карамзинский томик в желтом кожаном переплете, раскрыл книгу на загнутой с уголка странице и, стоя, продолжал: – Вот послушай: «При взгляде на пространство сей державы, мысль цепенеет...» Разве неправ наш несравненный историк? Петр, ты не хмурься. Ты внемли: «Никогда Рим в своем величии не мог равняться с нею своей обширностью, господствуя от Тибра до Кавказа, Эльбы и песков африканских. Не удивительно ли, как земли, разделенные вечными преградами естества, неизмеримыми пустынями и лесами непроходимыми, холодными и жаркими климатами, как Астрахань и Лапландия, Сибирь и Бессарабия могли составить одну державу с Москвою? Менее ли чудесна и смесь ее жителей, разноплеменных, разнородных и столь удаленных друг от друга в степенях образования? Подобно Америке, Россия имеет своих диких; подобно другим странам Европы, являет плод долговременной гражданской жизни...»

Но и выразительное чтение карамзинских отрывков не изменило к лучшему сумрачного настроения Чаадаева.

– Где же это сей хваленый историк подсмотрел плод долговременной гражданской жизни? – саркастически усмехнулся он. – Уж не в Сенате ли? Или в Государственном совете? А может быть, в Петропавловской крепости, куда запрятан ныне Семеновский полк? Вот как раз плодов-то гражданской жизни я и не вижу у нас в России...

– Плодов и я не вижу, но это не умаляет и по гроб не умалит моей любви к России и веры в ее будущее. Плоды будут, они созреют – я в этом уверен.

– На каком дереве, позволь узнать? Признаков гражданской жизни, если не считать эпоху Великого вольного Новгорода, у нас никогда не было, нет и сейчас, и едва ли когда они будут при дурных качествах нашего окончательно многовековым рабством испорченного национального характера. Из некогда гордых свободолюбивых славян жестокое самовластие всех нас превратило в жалких рабов, в холопов по убеждению и безвольных холопов по принуждению.

– Конечно, это страшно больно сознавать, – поспешно отозвался Муравьев-Апостол. – Однако и ныне не все мы рабы... Человек, хоть раз всерьез подумавший об ужасах рабства, уже в душе своей не раб. Ни тебе и никому другому, даже самому богу я не дам в обиду любезную Россию... Слушай, дружище, что говорит о русских Карамзин: «Не надобно быть русским, надобно только мыслить, чтобы с любопытством читать предания народа, который смелостью и мужеством снискал господство над девятою частию мира, открыл страны, никому доселе не известные, внес их в общую систему географии, истории и просветил божественною верою». Разве неправда? – Он положил на стол перед Чаадаевым раскрытый томик.

– Правда, Сергей Иванович, святая правда!

И они оба замолчали, думая об одном и том же. Повсеместно творимые жестокость, беззаконие, произвол, продажность, двуличие лукавого самодержца, покорность и разрывающее сердце долготерпение предельно униженных, придавленных соотечественников все чаще омрачали его душу и скрадывали в непроглядном мраке не только пленительное будущее, но и поистине великое героическое прошлое России, которую он любил беспредельно и за которую мучился, как и Муравьев-Апостол.

Первым нарушил молчание Муравьев-Апостол. Он подошел к другу и положил руку на его плечо.

– Я буду побивать тебя, Петр Яковлевич, твоим же оружием. Ты только что сказал, ничто само не приходит. Я помню тебя сияющим, полным сил, веры, готовности на подвиг. И это было совсем недавно – в марте текущего года.

– О да, Сергей, я тогда ликовал вместе с тобой! Я в те дни почувствовал великое пробуждение не только в душе моей, а и во всем мире: газеты, что ни день, приносили радостные вести о революциях в разных государствах. Гишпаниа в те дни одарила нас величайшей всемирной новостью. Революция совершилась за три месяца, и не пролито ни капли крови. Это же образец для всех народов мира: вся нация восстала, и король подписал конституцию. Во всем этом я видел кое-что, близко нас касающееся... Я надеялся, я ждал, я готовился... В течение семи месяцев свершилось три революции, но только не у нас... Вот почему порой я начинаю презирать мир, презирать всех и самого себя...

– Я от кого-то слышал: презрение – признак бессилия или неспособности к какому-либо действию, – сказал Муравьев-Апостол.

– Едва ли так, Сергей Иванович. Кто способен презирать подлый мир, тот способен и готов исправлять его к лучшему!

Муравьев-Апостол походил по покою, вышел в другую комнату и через минуту вернулся с какой-то тетрадью.

– Находясь в дружестве с тобою, Петр Яковлевич, долгое время, я окончательно убедился в твоей готовности трудами своими умножить величайшую всемирную новость. Недалек тот день, когда может вдруг исполниться твое страстное желание – народы мира воскликнут: слава русской доблестной армии, слава русскому свободному народу. Вот тебе список с устава тайного общества. Оно всеми силами приуготовляет приход желанного дня.

И Муравьев-Апостол вручил Чаадаеву список с устава Союза Благоденствия. Чаадаев с минуту оставался недвижимым, будто его заворожили. Потом вскочил, крепко обнял Муравьева-Апостола и поцеловал в лоб.

– Ты возвратил мне мои надежды и вновь укрепил мою вдруг пошатнувшуюся веру в зарю пленительного счастья. Верь мне! Я заранее быть готов с теми, с кем мой друг, мой лучший друг Сергей Муравьев-Апостол! Готов, на все готов! Капля по капле отдам кровь мою за дело, наполняющее жизнь высшим смыслом.

– Твою осторожность и разборчивость я хорошо знаю, Петр Яковлевич, – совершенно трезво заговорил Муравьев-Апостол. – Мне было поручено заняться твоим приуготовлением. Я счастлив, что смог выполнить это приятное поручение. Ты скоро будешь введен во все дела тайного общества. Оно есть! Оно давно существует. Оно вобрало в себя все лучшее, что есть среди образованного офицерства. События в нашем полку поставили перед нами много трудно разрешимых задач. Но мы ищем пути к их успешному разрешению.

Муравьев-Апостол стал рассказывать преобразившемуся Чаадаеву о задачах и целях Союза Благоденствия.

Проводив Чаадаева, Муравьев-Апостол долго шагал по комнате, размышляя о секретном письме Павлу Пестелю.



Генерал-губернатор Милорадович дневал и ночевал в канцелярии, такой же образ жизни всю эту беспокойную осень вели и его помощники. Особенно много забот и трудов выпало на долю безотказного Федора Глинки. Ложился спать в три часа ночи, а в седьмом часу снова спешил в канцелярию. И так каждый день, не исключая и воскресений.

В руки Милорадовичу попала прокламация, найденная на дворе Преображенских казарм. Таким языком, каким она была написана, доселе никто не разговаривал с гвардейцами. В ней каждое слово искрилось ненавистью к деспотизму, как искрится раскаленный кусок металла, выхваченный из пылающего горна. В ней Семеновский полк, обращаясь к Преображенскому, указывал на главных виновников всех бед и несчастий – на дворян, великих князей и вельмож. Семеновцы призывали преображенцев, как первый полк российский, подняться не только против командиров-истязателей, но и против царя-тирана, с тем чтобы, свергнув единовластие, водворить взамен его справедливого законоуправителя, подотчетного во всех делах избранным от войска депутатам. Прокламация восставала против ненавистного самовластия. Революционный пафос ее мог вскипеть не в сердце стихийного бунтаря, а в голове человека, мыслящего на республиканский лад.

Милорадовича пугала не столько сама прокламация, сколько необходимость уведомления о ее появлении государя. У него не оставалось никаких сомнений в том, что царь, узнав о таком дерзком вызове трону и властям, впадет в еще большее уныние и будет крайне раздражен неповоротливостью столичного тайного сыска – прокламацию нашли, а ее составителя до сих пор найти не смогли. Немалая доля вины, если не вся целиком, падет на генерал-губернатора и на его чиновника по особым поручениям. Но и утаить такое от государя опасно: рано или поздно он узнает о возмутительном листке, и тогда генерал-губернатору придется еще солонее.

Обдумав и взвесив обстоятельства, Милорадович остановился на том, что надо приложить все усилия к отысканию составителя и принять действенные меры к тому, чтобы пресечь дальнейшее проникновение подобных листовок в казармы.

Но как это сделать и с чьей помощью?

Он пригласил к себе на второй этаж полковника Глинку, у которого от длительного недосыпания болела голова и воспалились веки.

– Знакомы с такой шалостью? – показал генерал прокламацию. – Преображенцам подбросили.

– Нет, впервые вижу, – отвечал Глинка.

– И склад, и лад воззвания не солдатский, – уверенно заявил Милорадович. – Кто-то посторонний замешан. Кто-нибудь из петербургских сочинителей. Измайлов? Греч? Булгарин? – Постучав кулаком по столу, добавил: – Надо найти шалунов, бог мой, иначе влетит нам от государя.

– Мы, пожалуй, погрешим, если заподозрим сочинителей, – возразил Глинка. – Наши лучшие сочинители образец благопристойности: Воейков, граф Хвостов, Шишков, Жуковский, Крылов, Гнедич... Да и о других нет оснований думать плохо.

– Кто же упражняется в таких материях? Офицеры? – Встав за столом, Милорадович потер руки, как бы обрадовавшись внезапной мысли. – В самом деле, почему бы нашим ребятам не заняться обиженными семеновскими офицерами? Там среди них есть уж очень горячие головы и к тому же острые на перо: Сергей Муравьев-Апостол, отставной Ермолаев, князь Щербатов, который ныне в отпуску, Левенберг, Рачинский.

– Среди рядовых семеновцев, Михаил Андреевич, также немало людей грамотных, начитанных, – заметил Глинка. – Есть даже говорящие на иностранных языках.

– Неужели они додумались заняться подражанием Робеспьеру и Марату? – Милорадович скептически поджал губы. – Трудно поверить. Ты только послушай, каким языком безвестные нынешние Емельки Пугачевы говорят с государем: «Истина: тиран тирана защищает! Александр восстановлен на престол тиранами, теми, которые удавили отца его Павла. Следственно, государь не кто иной, значит, как сильный разбойник.

Бесчестно российскому войску содержать своими силами государя-тирана. Нет христианской веры там, где друг другу помощи не творят. По-ихнему возмутителем называется тот, который ищет спасения отечеству». — Отвлекаясь от текста, Милорадович сказал: — Обратите, полковник, внимание на лексикон и некоторые обороты речи. Не напоминают ли они вам фактурой своей чьи-либо журнальные статьи или рукописные прожекты, которые лежат у меня в железном сундуке. Ясность изложения свидетельствует о ясности мысли.

Через руки Глинки прошло немало всяких письменных проектов, но по стилю прокламации он не решался отнести ее авторство к кому-либо конкретно.

Милорадович с выразительностью артиста, увлеченного доставшейся ему приятной ролью, читал дальше:

— «Кровь моя должна быть пролита рукою тиранов, но я почитаю, что на поле умереть против врага не столь важно, сколь важно в отечестве за правду, которая сокрыта от народа, и за оное дни свои кончить ужаснейшими мучениями...»

— Совершенно новая мысль о героизме, а следовательно, и о патриотизме, — не удержался от замечания Глинка. — Мысль дерзкая, и она, бесспорно, найдет сторонников.

— Есть и еще более дерзновенные выпады. Вот вам: «Взамен государя должны заступить место законы... Не разумом тиранов управлять собою, но следует истреблять врага и в руки им не отдаваться...» — Милорадович передал Глинке листок и поинтересовался: — Кстати, что представляет собой некий стихотворец Рылеев? И нет ли у него дружбы с офицерами бывшего Семеновского полка?

— Отставной подпоручик. Образ жизни ведет весьма уединенный. С семеновцами не являлся. Все свои силы посвящает занятиям словесностью, — без выражения, механически отрапортовал Глинка. — Его сатира «К временщику» — яркое свидетельство дарования оригинального, слог его богатырски мужает, образ мышления самобытен, русским духом дышат его строки.

— Пригляните все-таки за ним. И приложите, бог мой, все усилия к скорейшему установлению личности составителя прокламации или хотя бы переписчика, кого-то надо прищучить.

— Хорошо.

— Где и как расставлены наши глаза и уши?

— В местах самых наиудобнейших: дом Цвета, перевозки на Фонтанке, дом Иноземцева, торговая баня. Квартальным надзирателям и уличным осведомителям дано указание быть повсюду: на поденщине, в мелочных лавках, на базарах, около бань, казарм, в торговых рядах, среди приезжих крестьян, в трактирах, харчевнях, цирюльнях и даже на папертях святых храмов.

— Поступают интересные доносы?

— Да, есть.

— Кто из осведомителей особо отличился усердием?

— Отставной чиновник 9-го класса, некий Валяев Григорий Иванович; от него почти ежедневно поступают сообщения.

— Надежный?

— Присматриваюсь. Проверяю. Сличаю его доносы с доносами других. Одновременно установлено наблюдение за ним самим.

— Если усерден и если не клеветает, то погуще подкармливай — свинья любит погуще!

— Этого прыщавого недоноска досыта никогда не накормишь. Вы улыбаетесь? Не верите?

Милорадович добродушно засмеялся.

— Знаю, сколь жадна и падка на деньги подобная нечисть, но без нее в наш просвещенный век не обойтись.

— Ссылается на то, что много расходует на девок. Их он выставляет, как приманку, и сам кутит вместе с ними. Зная такое его поведение, я думаю, о чем же он нас осведомляет? О болтовне пьяных солдат в гостях у разгульных девок? Но ведь спьяна и благонамеренный человек, бывает, наплетет всякой ерунды, а вызовешь такого потрясателя к дознанию, он Христом-богом клянется: «Говорил, должно быть, непозволительные слова, ничего не помнивши, поскольку находимшись зело угощен водкой с приправами из сушеного

бешеного гриба и нюхательного табака...» Из таких, с позволения сказать, донесений тайный сыск мало почерпнет полезного.

– За теми, чьи сообщения покажутся маловероятными или вымышленными, нельзя ли нам установить дополнительную проверку? То есть к одним тайным ушам и глазам приставить еще тайные глаза и уши?

– Я думаю над этим, Михаил Андреевич. И уже есть сдвиги.

– А тех мерзавцев, которые пожирают огромные деньги и не хотят добросовестно служить, самих хватать и отправлять в Сибирь.

– Предлагаемая вами мера необходима в целях улучшения всего сыска и для поднятия дисциплины. Никто так не опасен для общественного спокойствия, как шпион, тайно сеющий ложь. Инструкцию в таком духе я уже сделал начальнику Нарвской части, завтра для беседы на этот же предмет вызываю начальника Петербургской части.

– В самую Петропавловскую крепость не худо бы посадить двоичку или троичку наиболее порядочных негодяев.

– Уже назначены. Указано смотреть не только за семеновцами, но и за самим комендантом и плац-майором.

Паутина тайного сыска опутывала всю столицу, каждую казарму, баню, лавку, каждый дом и каждую квартиру. Ее плели сразу несколько пауков в генеральских и полковничьих мундирах. Мудрено было не только легкодумным, беспечным, но и осторожным предусмотрительным людям не запутаться хоть одной ногой в предательских сетях.

– Долг нашей чести – найти злоумышленника! Сами проследите за ходом розысков, – отдал последние наставления Милорадович, – заплатите подороже этим мерзавцам – тайным шпионам. Они любят деньги... За целковый отца не пощадят.

На улыбку Милорадовича полковник ответил улыбкой и, взяв с собой прокламацию, покинул кабинет.

2

Временами у Милорадовича, не любившего и даже презиравшего полицейских и полицейское дело, появлялось желание напомнить о правах и обязанностях градской и земской полиции блюстителям порядка в городе и губернии, с этой целью он в ночь-полуночь спешно сзывал к себе в канцелярию всю верхушку городской и земской полиции во главе с петербургским полицмейстером и по заранее отобранному труdolюбивым Глинкой извлечениям из разных старинных указов и Устава Благочиния начинал просвещать собравшихся выжимками из сей мудрости.

И ныне полицейские чины заполнили зал при канцелярии генерал-губернатора. Прежде чем пуститься в туманное путешествие по указам и высочайшим повелениям, Милорадович минуты две-три, молча стоя у стола, наблюдал за присмиревшими столпами градской и земской полиции. Наблюдения свои он и на этот раз заключил горькой мыслью: «Ни одной порядочной рожи: подлец на подлеце и подлецом погоняется». Начальственно покашляв, генерал-губернатор начал:

– Еще Петром Великим сказано: законы должны быть в памяти и исполнения их не должно откладывать; презрение законов не разнится с изменою, и от непослушания может произойти общая гибель. Сто годков с лишним минуло, как были сказаны эти золотые слова, а многие ли из вас держат законы в памяти? Многие ли? Что это вы, господа, вдруг себе под ноги стали смотреть? Или полтинники из худых карманов посыпались на пол? После подберете, а сначала я вас спрашиваю, как вы знаете права и обязанности градской и земской полиции.

Милорадович замолк, сам посматривал, как полицейские лениво расправляют согнутые спины и боязливо поглядывают на генерал-губернатора. У некоторых инда пот градом катится с лица. Что с ним будет, если генерал начнет немилостиво гонять по бесчисленным указаниям на права и обязанности полицейских? В такие минуты любил блистательный Милорадович смотреть на притихших перед ним дерунов, секунов и скуловоротов и в душе посмеиваться над ними.

– Пускай петербургская градская полиция покажет всем остальным пример хранения в памяти законов!

Встал упитанный, с лицом оливкового цвета полицмейстер Горголи.

Милорадович не торопился с вопросом, поскольку и сам не знал, какой должен был последовать ответ на приготовленный вопрос. Сначала он прочел всю выписку на полстраницы, а потом уже и спросил:

– Кому дозволено ездить по городу с белыми простынками?

– С белыми простынками, кроме двора императорского величества кавалеров, никому не ездить, а других цветов с простынками ездить не запрещается! – по-ученически залпом на одном дыхании выпалил Горголи, назвав год издания указа, месяц и число.

– Вот это полиция! – похвалил Милорадович. – Молодцом! – И опять заглянул в лежавшие перед ним на столе выписки. – А ежели кто в санях тройкою с двумя вершниками ездить будет?..

Горголи, не дав даже досказать вопроса, с сияющим видом отчеканил:

– То с такового за третью припряжную лошадь по пятисот рублей штрафа взыскивать и крепко о том наблюдать, как повелено указом!

– Пятьсот? А не меньше? – не без хитрости переспросил Милорадович.

– По пятисот! В точности! – вдруг грянули все.

Милорадович не мог отказать себе в удовольствии посмеяться: он этот вопрос нарочно задавал полицейским при каждом сборе.

– Уж что-что, а пятьсот рублей вы крепко помните... Где должен быть частный пристав в день крестного хода?

– Частный пристав в день крестного хода обязан быть в своей части со всеми своими подчиненными людьми! – резал, как по писаному, Горголи, давно изучивший все замашки генерал-губернатора. – Запрещается для смотрения хода на улице поднимать громощение и на поперешных улицах, переулках и мостах останавливаться прежде хода и во время шествия оно!

– За твоим языком не поспеешь босиком! Вот так и нужно служить нашему благословенному ангелу – их императорскому величеству! – похвалил Милорадович. – Что такое градская петербургская полиция? Маяк для всех городов России! Светоч! Опора! Пример для подражания! Без полиции нам ни туда и ни сюда... Частный пристав Лубецкий!

Вскочил укололицый сухощавый Лубецкий, у него под глазом был синяк, накануне посаженный каким-то подгулявшим солдатом Преображенского полка.

– Как поступить с тем, кто злообычен в пьянстве?

– Буде кто злообычен в пьянстве, непрерывно пьян, или более времени в году пьян, нежели трезв, того отдать на воздержание в смиренный дом, пока исправится, – уверенно отвечал Лубецкий, не раз удостаивавшийся похвал и даже наград.

– На кого возложено наблюдение по улицам тишины и порядка?

– Для наблюдения по улицам тишины и порядка учреждаются при каждой будке караульщики; для ночного же времени повелено определить в каждом квартале нахт-вахтеров, которые обязаны ходить ночью по улицам и наблюдать безопасность, а дабы обыватели о неусыпном бдении нахт-вахтера удостоверены были, то должен он каждый час провозглашать, сколько часов било, – без запинки и заминки голосисто отчитался частный пристав.

– Что такое есть полиция в просвещенном государстве, каким есть нынешняя Россия?

– Полиция есть особенное чиноначалие, имеющее попечение о благочинии, безопасности и устройстве общества, – пересказывал давно заученное Лубецкий. – Полицейские законы имеют целию привести благоденствие гражданина в теснейшую связь с общим благом!

– Чудесно! Чудесно, душа моя! – расцвел Милорадович. – Полиция вообще делает все то, что служит к пользе и приятности, дозволенной в жизни. Может ли быть полицейским человек, находящийся в гражданском состоянии?

– И в гражданском состоянии во всяком просвещенном и человеколюбивом государстве всякий человек есть некоторым образом надзиратель действий других людей...

Федор Глинка, сидевший о правую руку Милорадовича, одобрительно кивал головой в знак полного согласия с отвечающим, темно-карие глаза полковника смотрели так пристально и проницательно на частного пристава, будто видели в нем нечто такое, что недоступно другому.

– Всякий гражданский и от донесения о незаконном происшествии, равно и от свидетельства, к которому может быть призван, отречься не может. Каждый житель обязан наблюдать за благопристойностью нравов своих домашних, должен также объявлять о всех происшествиях, в доме его случившихся, равно о приезжих и отъехавших, дабы иметь сведение о качестве людей. Сие больше может относиться к многолюдственным городам, где чаще могут скрываться подозрительные и неблагонамеренные люди.

– Петербургская градская полиция с честью выполняет задачи, возложенные на нее через Министерство внутренних дел нашим государем, – заметил Глинка.

– Эти двое умеют хранить законы в памяти, – согласился Милорадович и стал искать глазами, кого бы еще поспрашивать. – Вон там в седьмом ряду второй от края, скромный такой, застенчивый, все вроде за чью-то спину хочет спрятаться... Ты, ты, квартальный! Давай-ка блесни своими знаниями прав и обязанностей!

Квартальному надзирателю пришлось встать.

– Скажи: что такое есть генерал-губернатор? – Милорадович от предвкушения удовольствия потер руки, пахнувшие парижскими духами.

Спрашиваемый тупо моргал розовыми, как у язя, глазами, краснел, но молчал.

– И что от генерал-губернатора зависит? – еще больше утяжелил свой и без того нелегкий вопрос Милорадович.

Квартальный надзиратель будто в рот воды набрал, лоснящиеся салом обрюзглые щеки его казались студенистыми, мятыми.

– Ну, думай, думай... За что же деньги получаешь и чин носишь? И что не может генерал-губернатор делать? – второй довесок на свой вопрос положил Милорадович.

В помещении было тихо, как в гробнице. Внешне строгий генерал-губернатор в душе смеялся над этим неуклюжим и, должно быть, исключительно тупым охранителем спокойствия и тишины столичной.

– Ты что, такой уж от рождения или захворал? – сочувственно спросил Милорадович. – Языком-то хотя чуть-чуть умеешь ворочать?

– Умею, в-в-вашество!.. – выпалил квартальный.

– А чего же молчишь?

– По причине сильной головной боли и полного непонимания.

– А с чего же голова разболелась?

– С перепоя, ваше высокопревосходительство!

– И сколько же вылакал?

– Счет потерявши, ваше высоко...

– Зачем же счет терять?

– Находимшись при исполнении служебного долга!

– С кем?

– С Преображенского полку нижними чинами в приятном обществе увеселительных девиц; имел приказание относительно разных непозволительных разговоров среди солдат одного полка... До самой зари продолжалось...

– И каждый раз ты так собираешь непозволительные разговоры?

– Полагаю, отравленной водкой, ваше превосходительство, испортили мою память... Цулибухой, подозреваю, угостили...

Тут уж никто не мог удержаться от смеха. Милорадович махнул рукой и велел Горголи еще раз напомнить собравшимся, что такое есть генерал-губернатор. Горголи не то что проговорил, а почти пропел от наслаждения:

– Генерал-губернатор, или государев наместник, есть строгий и точной со всех ему подчиненных мест и людей взыскатель о исполнении законов и определенных должностей! Он несет бремя служебное с любовью к государю! Он не есть судья, но уберегатель узаконения, ходатай за пользу общую и государеву, заступник утесненных и побудитель безгласных дел!

– Надо, господа, крепко помнить эти слова: оберегатель узаконения, заступник притесненных, – сделал замечание Глинка.

– Он имеет пресекать всякого рода злоупотребления, а наипаче роскошь, безмерную и разорительную, обуздывать излишества, беспутства, мотовство, тиранство и жестокости, – с подъемом продолжал Горголи, которому вновь в знак полнейшего одобрения кивал из-за стола Глинка. – Генерал-губернатор не может делать от себя собственно никаких установлений и в тех пунктах, кои по точному и словесному смыслу учреждений ему в должность предписаны.

Милорадович, понимая, что его ищущий взгляд наводит страх и ужас на многих из собравшихся здесь, продолжал развлекаться этим своеобразным экзаменом на полицейскую зрелость.

– Еще самым незабвенным великим россиянином и несравненным государственным светочем Петром Великим в одном из его указов сказано: «К управлению Государства ничто так не нужно, как крепкое хранение Прав Гражданских, потому что напрасно Законы писать, когда не хранить, а по сему никто неведением о Государственных Уставах не должен отговариваться», – просвещал генерал-губернатор подчиненных все по тем же выкладкам, приготовленным Глинкою. – Устами одного же незабвенного строителя и трудолюбца указано: «Никто не должен от невежества, буйства и строптивости, или же для занятия своей праздности, к нарушению тишины и покоя разсеять слухи непристойные, соплетая их из происшествий дел военных и политических». Толковое указание – ничего не скажешь. А вот ты, частный пристав Мылов, можешь ли поручиться, что в твоей части не нарушаются тишина и покой и не рассеваются слухи непристойные и нет соплетений из происшествий дел военных и политических?

У Мылова дрожь забила руки, он, встав, неуверенно ответил:

– За всю часть, ваше высокопревосходительство, поручиться рискованно, но за соплетателями и нарушителями тишины и покоя недремное наблюдение денно и ночно производится мною лично!

– День и ночь наблюдаешь, когда же ты, душа моя, спишь?

– А мы, ваше высокопревосходительство, сызмальства привыкли неспамши, а мало-мало прикурнумши.

– А скажи, Мылов, что будет с тем, кто узнает о каком злом умысле противу величества и не донесет вовремя?

– Коль скоро кто узнает о скопе, заговоре или каком злом умысле противу величества, тот должен о нем донести; буде же не донесет, а сие откроется само собою, в таком случае наказан будет смертию! – школярски бойко пробарабанил Мылов.

– Вижу, что на этот раз, бог мой, не поленился – зазубрил, – не то похвалил, не то посмеялся Милорадович. – А вот скажи: что народ российский мудростию своею изрек о нашей бане?

Мылов встал впень. Побагровел. Лоб его засверкал испариной.

– Не могу в точности ответить, ваше высокопревосходительство, поскольку в «Правах и обязанностях градской и земской полиции» об этом ничего не написано!

– Там-то, я знаю, не написано, но вот здесь должно быть начетано! – И Милорадович сам себя постучал пальцами по лбу. – Кто скажет, что в народе говорится о бане?

И Милорадович снова окидывал всех медлительным взглядом, выбирая самого тупого и безнадёжного.

– Жар костей не ломит, выше превосходительство!

– Нет, не то. Жар и баня – предметы хоть и близкие, но не в них премудрость.

Горголи и тот не сумел дать толковый ответ.

– Так вот, Мылов, и все прочие, пора бы знать мудрость народную: в бане – веник государь! Слышали такое?

– Приходилось, выше высокопревосходительство, да из памяти вымело...

– Вымело или вымыло? Выметает ветром, а вымывает водой и водкой, – потешался Милорадович. – А почему в бане и веник – государь, пускай каждый своей головой подумает. Вот в твоем участке, Мылов, есть экономическая баня?.. Есть или нет?

– Есть, есть!

– Хорошо уж и то, что помнишь. А вот что за народец моется в той бане и какие ведутся разговоры, уверен, ты не знаешь.

– Банщик и истопник, ваше высокопревосходительство, по этой части получили наставление от меня, по пяти рублей задатку и дали полное свое согласие.

– Ну, что твой истопник! А ведь в эту баню ходят похлестаться веником гвардейцы чуть ли не из всех полков, – продолжал Милорадович, – там и о неустройстве в Семеновском полку, поди, немало поговаривают. Баня для умного шпиона – клад, в ней можно всего услышать больше, нежели на перевозе. А частный пристав Мылов и нос туда не показывает, доверился какому-то истопнику...

– Исправлюсь, ваше высококородие, и непременно три раза в неделю буду лично посещать баню! – выпалил Мылов.

– Исправься, исправься, чтобы другим не пришлось тебя исправлять, – с иронией говорил Милорадович. – Когда другие исправляют, хуже получается. Но исправляясь, Мылов, не забывай, что есть полиция! Господин Горголи, напони ему, что есть полиция!

Горголи с радостью с характерным грузинским акцентом чеканно пояснил:

– Полиция есть та часть городского начальства, которой вверено наблюдение благочиния, добронравия и порядка: а по сему полиция, надзирая за всем тем, что на улицах, площадях и водах, а также на перевозах, в харчевнях, банях и прочих богоугодных заведениях, происходит, всякое случившееся неустройство приводит в порядок кротким и тихим образом!

– Отменно, душа моя! Отменно! Запомните, господа: приводит в порядок кротким и тихим образом, я же от себя добавлю: и деликатным образом. Сие говорит о том, что в образе действия нашей просвещенной полиции есть нечто от кроткого ангельского характера.

Глинка слушал остроумного Милорадовича, умеющего развеселить самых невеселых, и в мыслях улыбался почти каждой тираде витийствующего с самым серьезным видом генерал-губернатора. Не зря умные петербуржцы, чье уважение к Милорадовичу вне всяких сомнений, нередко называют его мастером пускать бенгальские огни и ракеты.

– У меня есть сведения: на Охте, по соседству с пороховыми заводами, развелось много картежников, – обратился Милорадович к частному приставу с Охты. – Сей тревожный сигнал свидетельствует о том, что местная охтинская полиция забыла указ об азартных играх.

– Указ об азартных играх нами не забыт, – оправдывался частный пристав, – сим указом мы руководствуемся, искореняя азартные игры.

– Плохо искореняете...

– Конечно, кроме тех частных домов, в которые вход для полиции затруднен.

– Кто же мог затруднить его? – удивился Милорадович. – Впервые слышу, чтобы полиция в нерешительности остановилась перед чьим-либо порогом. Кто вам мешает?

– Строгое следование духу и букве указа, в котором сказано: во всякия азартные игры в карты, то есть в фараг, квинтичь, и тому подобные, и в прочие всякого звания игры на деньги и на вещи никому и нигде (исключая дворцов императорского величества) ни под каким видом не играть, а только позволяется употреблять игры в знатных дворянских домах не на большие, но на самые малые суммы денег и не для выигрыша, но единственно для препровождения времени, как-то: в ломбер, кадриль, пикет, контру и панфиль.

Осведомленность частного пристава привела в умиление Милорадовича, крепко забывшего о существовании подобного указа. Он, чтобы скрыть этот пробел, по-французски написал несколько слов сидящему рядом Глинке: «Душа моя, разве есть у нас и такой указец?» – «Есть! Есть! Он воспроизведен дословно!» – по-французски же черкнул на том же листе Глинка.

Милорадович похвалил охтинского пристава за безупречное знание столь важных указов и добавил:

– А зачем полиции нарушать покой в дворянских домах? Дворянин и проиграется – по миру не пойдет. Самые опасные картежники – неимущие. Им и проигрывать-то нечего, но все равно ухитряются, проигрывают... И еще надо глядеть в оба за солдатами, особенно за гвардейцами, чтобы не пристращались к азартным играм и не проигрывали государево

жалование. Удадь солдатская, что Волга-река в половодье, берегов не знает. Азартные игры ведут к разным нежелательным шалостям, вроде неустройства в Семеновском полку... Чем тише, чем спокойнее в столице, тем государю нашему отраднее. Наказ всем: впредь всякое слово, от кого бы оно ни было вами почерпнуто, касающееся неустройства в Семеновском полку, незамедлительно доводите до сведения ответственных лиц в моей канцелярии. Как это делается – вам известно.

Этим напутствием Милорадович закончил урок по натаскиванию чинов градской полиции.

Когда все разошлись, а Федор Глинка занялся делами в своем кабинете, у Милорадовича испортилось настроение, встреча с этими унылыми и ограниченными, при всей их хитрости, людьми, часто повергала его в меланхолию.

3

Стихотворное переложение псалмов имеет мало родственного с повелениями о состоянии умов в столице, о разговорах в салонах, аглицком клубе, в театрах, в экономических банях, в казармах, с донесениями об анекдотах, крамольных надписях на заборах, о списках с запретных сочинений, передаваемых из рук в руки, о песнях, которые поют в казематах, и о разговорах, которые ведут с караульными отчаянно дерзкие смельчаки, рискнувшие сразиться с чудовищем самодержавия и за это объявленные умалишенными.

Мало ли всяких сведений стекалось со всего Петербурга и столичной губернии в канцелярию генерал-губернатора и попадали на стол к Федору Глинке.

Нередко на недели забывал он о стихах, выуживая из агентурных донесений самое главное, с тем чтобы подать экстракт Милорадовичу.

Нынешняя осень оказалась совсем неблагоприятной для безобидных занятий поэзией. Приходилось дневать и ночевать в канцелярии. Обычно беспечный и добродушный Милорадович, умеющий сквозь пальцы смотреть на некоторые слабости подчиненных, после мятежа в Семеновском полку изменился к худшему, как бы почувствовал приближение высочайшего гнева.

Глинка приехал в гости к Рылееву неожиданно и без приглашения. Он застал поэта за письменным столом.

– Прошу прощения, – извинялся полковник. – Я вижу, что нарушил священные минуты. Извини за столь выспренный слог. Но я одурел от канцелярской писанины, от чтения скверных подметных писем, от всей грязи, процеживать которую заставляет меня мой белоручка и сибарит. Ему подай готовенькое, он не любит рыться в кучах... Чем же волновалась душа ваша?

– Делами еще более скучными, нежели генерал-губернаторские, – закрывая тетрадь, отвечал Рылеев. – По просьбе матери занялся экономическими расчетами по нашему сельцу Батову.

– И каковы итоги?

– Самые безотрадные. Село заложено. Неурожай окончательно подорвал у мужиков дух. Вот ломаю голову, на какие средства купить ржи и овса. Во-первых, чтобы поселяне и их семьи не перемерли с голоду, во-вторых, чтобы весной они могли засеять скудные поля.

– А не лучше ли продать Батово?

– Родительница дорожит сельцом. По существу оно и не наше. Оно было подарено матери. А подарок продавать не принято.

Они разговорились о дороговизне, о трудностях, переживаемых всем народом, о вопиющем и повсеместном беззаконии, продажности судов, алчности чиновников-взяточников, об ограблении и без того нищего люда ростовщиками, кабатчиками.

– Но всем кабатчикам кабатчик тот, который в короне, который взял за обычай править Россией, находясь от нее за тысячи верст! – сердито, сжав кулак, сказал Рылеев.

Глинка, слушая его, не возражал, лишь время от времени посмеивался резкостям поэта.

Внимание полковника привлекло странное, с длинной стволиной ружье, висевшее на стене.

– Впервые вижу сию археологическую штуку, – остановясь перед массивным ружьем, сказал Глинка. – Из какого новгородского кургана выкопано?

– Чуть-чуть не угадал – из-под Острогожского могильника. Подарок.

– От кого же?

– От одного доброго человека. Это гром-ружье в один не очень-то прекрасный миг сделало из меня убежденного фаталиста.

– То есть?

– Как-то раз один подпоручик навел на меня это дуло, а я, видя, что ружье древнее, шутя сказал ему: «Пали!» Курок щелкнул – осечка. Я отступил. Подпоручик еще нажал. И вдруг – оглушительный выстрел. Комната полна дыму, заряд вlepил в стену...

С разрешения хозяина Глинка снял с крюка старинное оружие, весом в добрых полпуда.

– Поистине Царь-пушка.

Подкурочные пластины были украшены узорной вязью. Искусный оружейных дел тульский мастер в растительный орнамент великолепно вкомпоновал вензель «Е.П.»

– О, да это штука времен Елизаветы Петровны! – воскликнул Глинка. – Вот и начальные буквы.

– На взгляд чиновника для особых поручений сия громобойная громада принадлежала царице Елизавете Петровне, – посмеиваясь, сказал Рылеев, – а на взгляд вольных острогожских казаков, эти буквы свидетельствуют совсем о другом.

– Ты, Рылеев, меня заинтриговал. Но коли так, то расскажи, какими же судьбами ты стал обладателем оной древности и что скрывается под вензелем?

Приняв из рук Глинки громоподобный самопал и оперевшись грудью на его стволину, начал рассказывать Рылеев:

– Служил я в ту пору артиллерийским прапорщиком. Батарея наша стояла на Дону, в Белогорье, это неподалеку от Острогожска. Был у меня друг – подпоручик Федя Миллер.

Как-то раз прогуливались мы с Федей Миллером по селению. А мне надо было еще на почтовую станцию завернуть, сказать, чтобы прислали назавтра тройку – батарейный командир собрался в Острогожск ехать. Содержал станцию лихой казак Ермолай.

Нередко во время поездок в Воронеж он, по моему наказу, привозил мне из книжной лавки книги.

Вот к нему-то мы с Миллером и заглянули. Я посмотрел в окно, окликнул Ермолая, попросил приготовить к утру тройку. Миллер толкает меня в бок:

– Глянь, что там за диво.

Через окно вижу приставленное к стене необыкновенное ружье с предлинным стволом. Миллера разбирает любопытство. Спрашивает:

– Что это за самопал? Как он сюда попал? Ствол чуть не до потолка...

– Громобой. Некоторые полагают, Петру Великому самым искусным тулянином Демидовым скована эта пицаль, – с лукавиной отвечал Ермолай, распахивая всей пятерней черную густую бородину.

– Где же ты раздобыл такую диковинную штуку?

– Надысь купил по дешевке у одного здешнего мужика.

– А мужик где достал?

– В степи из кургана выкопал.

– Как же эта диковина в курган попала? И чья же она доподлинно?

Ермолай, человек обстоятельный, беседовать через окно больше не стал, вышел на крыльцо и удивил нас своим рассказом:

– Литеры, господа, видите: «Е и П»? Сие значит: Емельян Пугачев. Туляне в подарок ему смастерили беспромашную орудию. С нарочным тайком переслали. Сам Пугач палил из этого дула. Это дуло, господа, многих сдуло. – С этими словами Ермолай подарил мне ружье.

Целую историю рассказал Рылеев.

– Драгоценность, – заключил он свой рассказ, погладил цевье и повесил ружье на стену.

– Уж коли речь зашла о днях и делах Емельяна Пугачева, то у меня тоже есть чем удивить, а возможно, и порадовать тебя, Кондратий Федорович.

Рылеев так весь и встрепенулся, словно сокол перед боем.

– Какие-нибудь документы о пугачевщине попали тебе в руки?

– О, бери выше, – завлекал Глинка.

– Что же может быть? Ну, не томи душу мою, Федор Николаевич!

– Держи в строжайшей тайне все то, что сейчас узнаешь. – Глинка подошел к окну, глянул на улицу. – Главное, чтобы люди, подобные Булгарину и Измайлову, не знали об этом, – страшные болтуны оба. Все, что они нынче болтают на улицах, в салонах, на перевозах, завтра лежит на столе у Милорадовича. Понимаешь? Прекрасно, тогда слушай. Недавно я объезжал наши государственные человекоморильники, то есть здешние тюрьмы и крепости. В одном из казематов встретил жену и дочь Пугачева. Говорил с ними. Несчастные жертвы безумной и трусливой мести...

Рылеев, пораженный новостью, ошеломленно смотрел на друга.

– Не может этого быть! Жена и дочь Пугачева? Никогда не слыхал, чтобы и они были заточены. И еще больше поражен тем, что они все еще живы. Боже мой, Федор Николаевич, как ты меня всколыхнул! Ну, устрой еще смотр тюрьмам и под любым предлогом возьми меня с собою! Возьми же! Я не перестану тебя упрашивать, если для этого потребуется даже несколько лет. Назначай любую цену! Я готов! Я никогда не прощу себе, если не добьюсь исполнения этого моего желания!

– Но как это сделать? Вход в тюрьмы посторонним запрещен. А семья Пугачевых, пожизненно заточенная, содержится в особой строгости и тайне.

– Возьми меня, кем хочешь: денщиком, слугой, писарем, лекарем, наконец, духовником – я на все согласен. Ведь она, жена великого Емели, может многое рассказать, если обойтись с ней по-человечески... – Мысли молодого поэта уже витали в заманчивых творческих высях. – Федор Николаевич, я верю в твой тонкий ум и в твою изобретательность! Я умоляю! Я не перестану умолять!

– Ну как я могу отказать? Твердого обещания не даю, но сделаю все для того, чтобы удовлетворить твое кипящее любопытство, Кондратий, – обещал Глинка.

– О, благодарю, благодарю... Ведь если так или иначе напомнить лишний раз о несчастных заточниках царю – он, вероятно, мог бы даровать им свободу. Я еще не утратил веру в человеколюбие и благородство Александра – кумира моего отрочества и ранней юности. – Рылеев заговорил рассудительнее и строже. – Ведь, может статься, перед судом истории во всех бесчисленных бедах и злосчастиях повинен не столько он сам, сколько зловерное окружение. Надо все сделать для того, чтобы его наперсниками стали не Аракчеевы и Голицыны, а Мордвиновы и Сперанские, тогда вновь в неотразимом Александре пробудятся во всей красоте добрые свойства его души. Надо умно напоминать нынешнему самодержцу о незавершенных начинаниях, которыми было озарено начало его царствования.

– А как это сделать издалека?

– Надо найти способ приблизиться. Наши писатели и журналисты, я имею в виду не подлецов и не льстецов продажных, многое могут сделать для того, чтобы привлечь мысли государя к блистательным делам на пользу всей России. Проще сказать, нужно любой ценой вырвать царя из когтей змея. Надо не льстить, а достойно подсказывать государю. В том я нахожу высший долг поэта! – Рылеев вынул из стола тетрадь. – Вот я задумал обратить свое слово к Александру и набросал несколько строф.

Ты понял долг святой царя,
Ты знаешь цену человека.
И к благу общему горя,
Ты разгадал потребность века.
...Везде брожение умов,
Везде иль жалобы, иль стоны,
Оружий гром, иль звук оков,
Иль упдающие троны.

Равно ужасны для людей
И мятежи и самовластье.
...Спешу ж, монарх, на подвиг свой,
Как витязь правды и свободы,
На подвиг славный и святой –
С царями примирить народы!

Рылеев захлопнул тетрадь и утер лоб.

– Вчера начал, не знаю, во что окончательно выльется.

– Ход искусный избран. Одобряю.

– Боюсь, как бесчестья, упрека в лести. Лесть – отвратительна.

– Твои сомнения напрасны. Никто до тебя с таким истинно гражданским достоинством не пытался говорить с царями, – успокоил Глинка. – Желаю удачи. Но ты, Рылеев, умнейший хитрец, ты как бы просишь царя, но, прося, все время оглушаешь его громами грохочущих по всей Европе революций. Не знаю, как проглотит он эту пилюлю. Если она будет принята со вниманием и благосклонностью, то ты своим посланием воздвигнешь такой мощный редут, о который разобьет лоб твой пожизненный «друг» – сиятельный граф Аракчеев. Он тебя не забыл и едва ли когда-нибудь забудет. А вот такое послание тебе известно?

Глинка развернул рукописную прокламацию к преображенцам. Рылеев со все нарастающим интересом начал читать листовку. В это время в передней послышался громкий голос нового гостя. Рылеев оторвался от листовки.

– Это Булгарин. При нем можно?

– Ни в коем случае. Ни боже упаси.

И Глинка быстро спрятал прокламацию.

– Я, пожалуй, поеду.

В дверях он столкнулся с проворным Булгариным, поздоровался, обменялся несколькими словами и откланялся.

Едва за ним закрылась дверь, Булгарин, захлебываясь от нетерпения, предостерегающе заговорил:

– Ты при этом господине держи язык за зубами...

– Почему?

– Или ты не знаешь, что он губернаторский волк, подрядившийся блюсти либеральных овец в Петербурге? Он же главарь всех столичных сыщиков, и рано или поздно раздавят его, как муху. Ужасный человек. Он со всем бутором запродавался Кочубею и Милорадовичу. Через него уже многие пострадали. Но мы скоро выдворим его из Петербурга.

– Мы толковали с ним о поэзии.

– Поэзия – прикрытие. Всей столице известны его главные занятия. Его уже не принимают ни в одном порядочном доме.

Булгарин снял со стены старинное ружье.

– Ты его, если он заявится еще раз, пугни из пугачевской пищали, хоть одним пыжом, чтобы он забыл сюда дорогу.

– Меня свели с ним чисто литературные интересы.

– Он такой же литератор, как мой пес – император, – скаламбурил Булгарин.

Рылеев молча улыбнулся одними глазами.

4

Государева рота и почти весь 1-й батальон в ожидании суда томились в крепостных казематах. Бестолковые следователи, не прекращая допросов днем и ночью, отыскивали зачинщиков. Из Зимнего дворца, Главного штаба, от генерал-губернатора, из штаба гвардейского корпуса фельдъегери доставляли донесение за донесением в Троппау – царь торопил генералов в установлении подстрекателей и суда над ними.

Шварц составлял пространные объяснения для военного суда, с тем чтобы начисто обелить себя и очернить других. Дело с каждым днем разрасталось. В следственных

протоколах и дознаниях все чаще мелькали фамилии Ермолаева, Вадковского, Щербатова, Кошкарлова, Муравьева-Апостола. Следователи задались целью любой ценой сокрушить единого солдата, напасть на след солдат-зачинщиков, а через них добраться до подстрекателей-офицеров.

О семеновской истории говорила вся Россия.

Щербатов, наскучив пребыванием в деревне и в Москве, порывался возвратиться в Петербург до истечения срока домашнего отпуска. От него письмо за письмом летело в Петербург – сестре Наталье, однополчанам, зятю Шаховскому, Ермолаеву, Сергею Муравьеву-Апостолу. Он считал, что его возвращение к месту службы необходимо, но совсем иного мнения держались его родные и друзья.

Шаховской, получив письмо шурина из Москвы, набросал Щербатову коротенький ответ. Он обещал через несколько дней, при первой возможности, выехать из Петербурга и дня на два остановиться в Москве. Поездка Шаховского в Москву назрела безотлагательно: нужно было съездить в деревни, чтобы на месте сделать хозяйственные распоряжения. И семейные дела благоприятствовали поездке: было занемогшая беременная жена Шаховского оправилась.

Вечером собрался обычный круг друзей. Немного опоздав к чаю, твердым четким шагом вошел в гостиную сильно возбужденный Михаил Бестужев-Рюмин.

– Мишель, судя по вашему виду, вы опять возмечтали о славе Брута и Риеги, – сделала ласковое замечание привлекательная княгиня.

– Господа, я и не подозревал о той силе, какая скрыта в семеновском взрыве, – с пафосом заговорил подпрапорщик. – Вся Россия в лице ее лучших людей сочувствует нам и нашим солдатам. Вот тому блестящий образец. Сын адмирала Сенявина поручик Сенявин вчера познакомил меня с корнетом Роновым. Он здесь в отпуске. И что же вы думаете? Ронов рассказал мне, что большая группа знатных людей, военных и партикулярных, желая облегчить участь рядовых и нижних чинов бывшего Семеновского полка, собрала приличную сумму денег, но не знают, как и через кого передать их арестованным солдатам.

– Были бы собраны деньги, а передать сумеем, – подхватил Муравьев-Апостол. – Корнет сказал сущую правду.

– Он горит желанием войти в знакомство и дружбу с бывшими командирами семеновцев. Он называет нас героями, ныне прославленными на всю Россию.

– Мишель, почему же вы не привезли к нам этого чудесного корнета? – ласково упрекнула княгиня.

– У меня была такая мысль, Наталья Дмитриевна, но я не отважился без вашего на то позволения.

– Привозите, Мишель, того корнета завтра же ко мне, – предложил Ермолаев. – Я берусь передать воспомоществование солдатам и их семьям.

– И еще приятную весть узнал я от корнета Ронина: строго доверительно он рассказал мне о существовании тайного общества в столице, имеющего целью введение в России конституции.

Муравьев-Апостол резко откинулся на спинку стула. Чаадаев, подкручивая ус, набожно произнес:

– Дай-то бог.

– Общество имеет самые широкие связи и ответвления по всей столице и окрестностям. Ронов недавно принят в него и получил поручение вербовать новых членов. Особенно, говорит корнет, устроители общества имеют виды на обиженных офицеров бывшего Семеновского полка.

– Мишель, а тебя он склонял к вступлению в общество?

– Если бы действительно такое общество существовало, то я готов отдать себя в полное распоряжение оно, – без колебаний отвечал Бестужев-Рюмин. – Но я думаю, что корнет, говоря о тайном обществе, имеет в виду какую-нибудь масонскую ложу.

– Разве ты, Мишель, не сочувствуешь масонам и благотворительным целям масонских лож? – спросил Муравьев-Апостол.

– Я не имел чести подробно ознакомиться с правилами и целями масонских собраний, никогда не читал их устава, но слышал от других, что масонские собрания похожи на

театрализованные представления жрецов в храме добродетели. Некоторые же весь масонский ритуал называют забавами стареющих людей, решивших приспособить к своему возрасту детские игры.

Бывший учредитель и член масонской ложи Федор Шаховской воспротивился такому безоговорочному осуждению масонов.

– Нет, Мишель, масонские собрания – не детские забавы стареющих бар, в них есть зерно будущего, пускай не ясного, но неизбежного. Если сделать свод всех человеколюбивых дел, предпринятых масонами, то мы невольно проникнемся к ним уважением.

Единодушным приговором всего дружеского кружка Бестужеву-Рюмину предложили в ближайшее время привезти к Шаховским корнета Ронова, против знакомства с которым никто не возражал.

5

В канцелярии генерал-губернатора занятия шли своим чередом. Глинка просматривал свежие бумаги. Один донос особенно заинтересовал его. Помимо того, что он был написан хорошим слогом, в нем излагались весьма важные сведения. Корнет Ронов, о причастности которого к тайному сыску еще неделю назад Глинка узнал от Милорадовича, сообщал, что в Петербурге существует тайное общество под названием «Хейрут». Своей конечной целью оно ставит низвержение властей и установление в России конституционного образа правления. Одним из главных членов общества является сын прославленного вице-адмирала поручик Сенявин. Глинка задумался над доносом...

А через полчаса он докладывал о доносе Милорадовичу. Прочитав сообщение Ронова, генерал-губернатор устался на своего помощника.

– Что ты об этом думаешь, душа моя?

– Пока ничего, граф. Знаю только, что адмирал Сенявин – преданнейший слуга государя и постоянно пользуется его благорасположением.

– Да, да. Ты прав. Государю будет крайне неприятно узнать, что в доме его вернейшего слуги свили себе гнездо якобинцы, – озабоченно рассуждал Милорадович, не таивший своих мыслей от Глинки.

– Если таковые действительно существуют, – вскользь заметил Глинка.

– А кто с достоверностью скажет? – Милорадович хитровато прищурился. – Ты хочешь сказать?..

– Что корнет Ронов из молодых да ранний, – подхватил Глинка. – Без году неделя, как занимается сыском, а успел открыть тайное общество.

Милорадович упруго, по-молодому легко вскинулся с кресла, прошелся, остановился перед Глинкой и, поблескивая живыми глазами, беззаботно сказал:

– А ведь этот твой корнет, душа моя, – прохвост, право, прохвост! Денежки огреб, прогулял и решил их тут же отработать ложью. Полиция, дескать, безмерно глупа. Ах, прохиндей! Поручика Сенявина оболгал и тем бросил тень на любимого государем слугу престола. А?

– В том-то и вся суть, Михайла Андреевич. Вы попали в цель.

– Как же не попасть, как же не попасть, душа моя, коли весь извет шит белыми нитками. – Поразмышлял молча. – Завтра же вызвать корнета Ронова ко мне. Приготовь каких-нибудь выписок из указов и постановлений. Я с ним поговорю по-своему. А огорчать старика Сенявина и омрачать и без того постоянно опечаленного монарха нашего среди его повседневных тяжких трудов мне очень не хотелось бы.

– Нельзя не учитывать и того немаловажного обстоятельства, Михайла Андреевич, – деловито добавил Глинка, – что в случае подозрения на поручика Сенявина его легко воспламеняемый отец может предстать лично перед государем, и государь, я знаю заранее, поверит ему. Мы же с вами можем заслужить, и справедливо, высочайший упрек за необоснованное огорчение, причиненное человеку, которому всегда благоволил и благоволит государь.

– Такой ошибки мы никогда не сделаем, – твердо решил Милорадович.

На другой день Федор Глинка сидел за круглым столом у окна на втором этаже в роскошно обставленном кабинете Милорадовича и слушал, как генерал круто разговаривает с корнетом.

Ронов выглядел совсем молоденьким мальчиком и сейчас стоял перед строгим представительным генералом, как провинившийся шалунишка.

– Под каким предлогом вы задержались в Петербурге сверх положенного срока, корнет?

– Под предлогом болезни.

– Кто за вас рапортовал?

– Командующий отдельного гвардейского корпуса генерал-адъютант Васильчиков на высочайшее имя.

– И вы получили разрешение задержаться на две недели?

– Так точно.

– Цель задержания?

– Движимый желанием показать свою особую преданность и верность государю...

– Похвально, похвально, господин Ронов...

– Я по поручению генерала Васильчикова взялся доставлять сведения по части полиции. И уже успел напасть на след тайного общества, занятого разработкой какой-то конституции.

Глинка со скучающим видом обратил взгляд на потолок, разрисованный амурами и похожими на ангелов музами.

Ронов подробно докладывал генералу о первых своих успехах. Он не знал, что Милорадович все уже знает о нем от Васильчикова.

– Мне удалось проникнуть в дом вице-адмирала Сенявина...

– Под какой личиной?

– Под личиной дружбы с его сыном – поручиком Финляндского полка. Я спроведал, что сей поручик состоит членом преступного тайного общества «Хейрут», что значит в переводе с еврейского – «Свобода». Это общество открыл мне сам поручик Сенявин, о чем я не преминул немедленно довести до вашего сведения пять дней тому назад.

– И вы ручаетесь за истинность донесения?

– Ручаюсь, ваше высокопревосходительство. Оное тайное общество занимается приготовлением конституции!

Милорадович рывком открыл ящик письменного стола, достал письмо в распечатанном конверте.

– А если я вас уличу во лжи, господин Ронов?

Оттопыренные уши корнета сделались малиновыми.

– Мой донос основан на том, что я услышал...

– Для доноса мало услышать, надо точно узнать. Ваш донос основан на желании поскорей выскочить во флигель-адъютанты и на чьем-то несчастье построить свою карьеру... Вы лжец, молодой человек!

Глинка отвлекся от потолочных амуров, оглядел Ронova с головы до ног. Милорадович, стоя, изничтожал почему-то сразу не полюбившегося ему добровольца осведомителя.

– Знаете ли вы, юноша беспечный и легкомысленный, что ждет вас за ложный донос?

– наседали Милорадович. – Вы можете совершить прогулку в Сибирь раньше тех, на кого вы доносите. Наш государь неумолим к лжеизветчикам.

Ронов невнятно бормотал в свое оправдание, по памяти передавая разговоры, услышанные им от поручика Сенявина. Но много ли можно выведать за две недели? Милорадович его почти не слушал, не переставая уличать во лжи.

– Все ваши разговоры о тайном обществе – чистейший вздор, выдумка. Через других лиц точно установлено, что никакого тайного общества не существует и не существовало...

– Но я могу назвать лиц... Могу уличить...

– Назвать вы можете, но уличить никогда. Если вы уверены в существовании тайного общества, назовите его адрес.

– Адреса у меня нет.

– Ничего у вас нет. Вы прокутили с Анкой-Цыганкой государевы денежки и решили отработать ложью. Все это может очень печально кончиться для вас.

– Умоляю вас – сделайте мне очную ставку нынче с поручиком Сенявиным, чтобы я имел возможность уличить его.

– Без вашей мольбы придется вам поглядеть в глаза поручику Сенявину.

– Я прошу нынче же... Сейчас же, если возможно.

– Срок очной ставки будет назначен позже. Деньги, что вы прокутили с гостеприимными женщинами и с приставом, очевидно, придется вернуть, – нагонял пущего страху генерал-губернатор на растерянного шпика. – Я так и доложу благодетельному государю моему о вас, корнет, что офицер таких свойств не может быть терпим не только в гвардии и армии, но даже ни в какой гражданской службе. Теперь только от вас зависит изменить это мое мнение. Идите и готовьтесь к очной ставке с теem, кого вы оклеветали. О дне и часе будете уведомлены...

Ронов не сразу смог сдвинуться с места. Милорадович градом обличительных упреков, будто гвоздями, приколотил его ноги к натертому воском паркету. Глинка обратил внимание, как совершенно растерявшийся корнет по-рыбьи глотает сухими губами воздух и уж не в состоянии что-либо сказать. В такой предельной подавленности и растерянности немногие уходили из этого кабинета, где начиналось и пресекалось много роковых бед и несчастий. И какая бы запутанная нить ни тянулась сюда, она не ускользала от внимания чиновника особых поручений. И уж, конечно же, такое дело, как тайное политическое общество «Хейрут», не могло быть решено генералом в одиночку.

Во все время беседы генерал-губернатора с корнетом Глинка оставался совершенно безучастным, поскольку к нему ни разу не обратился его начальник.

– Служить государю по полицейской части могут лишь во всех отношениях безупречные люди! Вы, корнет, по всем видам, к таковым не принадлежите. Идите! – распорядился Милорадович.

Ронов вышел из генерал-губернаторского дома, как из преддверья ада. Ад ждал его впереди, и попадать туда ему никак не хотелось.

Мысли в его голове путались, он потерял волю над самим собой, в растерянности стоял у подъезда, не зная, куда ехать, что делать, чем доказать свою правоту. «Немедленно ныне же написать обо всем царю с пометой «В собственные руки его величества». Но все равно попадет донесение в руки Милорадовичу или Аракчееву. Явиться во дворец и на коленях умолять, чтобы допустила и выслушала государыня. Иначе Милорадович упечет меня в крепость или в Сибирь. Он не хочет предстать перед государем в плохом свете по причине того, что до сих пор не обнаружил тайное политическое общество, обосновавшееся у него под боком. Поехать во дворец?.. Но кто меня туда пустит?»

После ухода Ронова, уловив свободный час, многозаботный Глинка взял извозчика и погнал в Семеновские казармы. Муравьева-Апостола он застал дома.

– Выручай, Сергей Иванович! Необходимо в высшей мере деликатно исполнить одно горячее и небезопасное дело.

– Я в твоём распоряжении, друг мой, – подал руку Муравьев-Апостол.

– Не подходишь для такого поручения. Ты слишком известен. Требуется надежнейший и близкий нам умный человек, которому мы могли бы всецело довериться, но который не принадлежал бы к Союзу Благоденствия и не был бы известен пылкому старику вице-адмиралу Сенявину... Дело вот в чем...

И Глинка рассказал о доносе Ронова, затем изложил свой рискованный план отведения большой беды от себя и от своих товарищей. С минуту подумав, Муравьев-Апостол твердо сказал:

– Есть нужный нам человек! Отставной полковник Ермолаев Дмитрий, уверен, может сослужить нам эту деликатную службу. Он сейчас, по всей видимости, у Шаховских... Я лечу туда...

И велел денщику подать шинель.

Вечером слуга доложил поручику Сенявину:

– Вас хочет видеть человек – имя-звания сказать не пожелали.

В передней Сенявина ожидал посетитель. Лицо его показалось знакомым, но поручик так и не мог припомнить, когда и где они встречались.

– Я к вам по поручению одного в высшей степени благородного господина. Желаящего добра лично вам и вашему начинанию.

Поручик пригласил незнакомца в свою комнату, указал на покрытую цветистым ковром тахту.

– Я буду короток, – садясь, сказал незнакомец. – И прошу вас выслушать меня хладнокровно. Вам грозит большая опасность. Тайное общество, членом которого с недавних пор вы имеете честь состоять, выслежено. Список членов уже в руках полиции.

– Ложь! Клевета! – вгорячах отрицал поручик. – Кто подослал вас ко мне?

– Ошибаетесь – не подослал, а послал. Имени его, по понятным причинам, я не могу назвать. Мне нет надобности уличать вас, а вам нет нужды оправдываться передо мною.

Сенявин поддался спокойному внушению, должно быть, сильного духом человека.

– В ближайшие дни вам предстоит очная ставка с корнетом Роновым, который и донес на вас и ваших друзей.

– Ронов?..

– Приготовьтесь к очной ставке в присутствии генерал-губернатора. Все начисто отрицайте. За исключением того, что предлагали Ронову вступить в масонскую ложу. Все иное – клевета. И на этом стойте твердо. А теперь, не мешкая, отправляйтесь к тем, кого считаете нужным оповестить. Промедление не в вашу пользу.

– Я вам верю. Спасибо. Сейчас же еду.

– Ваш отец дома?

– Он у себя в кабинете курит трубку после кофе.

– Разрешите мне повидать вице-адмирала Сенявина.

– Это обязательно?

– Имею поручение.

– Поручение предупредить и его? Но он же не имеет никакого отношения и решительно ничего не знает, – поручику явно не хотелось допускать пришельца к отцу. – К тому же он нездоров. В грязную и сырую погоду ему делается плохо.

– Я не хочу его расстраивать, и встреча моя с ним имеет своей единственной целью ваши интересы. Ваш отец – лицо влиятельное и всеми уважаемое в высших кругах, он может для вас сделать то, что вы сами сделать не в состоянии.

Поручик Сенявин провел посетителя к отцу, отдыхавшему в ковровой гостиной, и удалился.

– Я не назову своего имени, адмирал, но смею вас заверить, его я ношу с гордостью и посетить вас меня побудило чувство чести и справедливости. Выслушайте меня спокойно. В руках полиции находятся сведения о ныне действующем в столице тайном политическом обществе, которое имеет зловерные виды против правительства, а возглавляете это общество вы, вице-адмирал Сенявин.

У старого поседелого генерала табачный дым как бы заплутался во рту, казалось, что дымятся не только его ноздри и плотные серебристые усы, но и волосатые уши. Забыв о недомогании, Сенявин соскочил с тахты и засуетился по гостиной, словно что-то искал и никак не мог найти.

– Ах, негодяи... Завистники, недруги задумали оклеветать меня перед лицом царя. И вы, милостивый государь, верите в то, что будто я начальник какого-то противоправительственного заговора?

– Нет, я не верю. Если бы верил, то не приехал бы к вам с предупреждением.

– Спасибо, милостивый государь. Но кто вас послал?

– При всем уважении к вам, адмирал, я не имею права удовлетворить ваше законное любопытство.

– Я, как потребую к ответу, всегда оправдаюсь перед государем, и клеветническая грязь к моим честным седидам не прилипнет.

– Не следует ждать, когда потребуют к ответу, лучше предупредить коварство клеветников и сразу разрушить все их замыслы.

– Но как это сделать? Государь отсюда далеко, скоро ли вернется – неведомо. С великим князем Николаем Павловичем мне бог ладу не дал. Да и он за границей. Старая ступа – Мария Федоровна мне не благоволит с некоторых пор, – растерянно сетовал Сенявин. – К Аракчееву? Но боюсь, этот не напортил бы мне еще больше до возвращения императора.

– Аракчеева пока что лучше не беспокоить. Но ведь в столице, кроме него, есть министр внутренних дел Кочубей, генерал-губернатор Милорадович. Кроме них – весьма влиятельный чиновник по линии особых дел в канцелярии генерал-губернатора полковник Федор Глинка. Вам есть к кому обратиться, есть кому выслушать вас и оборонить от злостных оговорщиков ваше доброе имя. Хуже будет, когда сама полиция потребует вас к дознанию. Тогда ваш гнев и возмущение могут показаться фальшивыми, как средство самозащиты. Сейчас же ваше справедливое негодование, я уверен, будет принято и понято правильно как Кочубеем, так и Милорадовичем.

– Я полагаю, и командир гвардейского корпуса Васильчиков не даст меня в обиду перед очернителями.

– Тем более, адмирал, надо действовать.

– Завтра же поеду к Кочубею! Не знаю уж, как вас и отблагодарить, милостивый государь...

Сенявин растерянно повернул к себе шкатулку, в которой, должно быть, хранились деньги. Незнакомец разгадал намерение вице-адмирала, и лицо его мгновенно порозовело. Сенявин смутился, стариковски закашлялся. Посетитель поторопился откланяться, сказав на прощание:

– Лучшая для меня награда – ваше незапятнанное злостными наветами имя. Кстати, тайные ваши недруги хотели бы очернить и вашего сына. Оберегая свою репутацию, вы защищаете и его будущее.

– О, как верно вы рассуждаете!

Поспешно выйдя из адмиральского дома, незнакомец свернул за угол и вскочил в поджидавшую его коляску. Он сошел неподалеку от Семеновских казарм и минут через десять появился на пороге муравьевской квартиры. Навстречу из гостиной выбежали Сергей Муравьев-Апостол и Глинка.

– Ну, что? Благополучно ли? – нетерпеливо в один голос спросили оба.

– Цель поражена, – улыбнулся отставной полковник Ермолаев (это был он). – Только в дальнейшем увольте от таких деликатных поручений...

– А что случилось?

– Хлебосол старик Сенявин, – не знаю, за кого уж он меня принял, – чуть было горстью серебра не отблагодарил...

Друзья с облегчением вздохнули и крепко пожали руку Ермолаеву.

Весь вечер Сенявин провел в беспокойном волнении. Приливы негодования на завистников-клеветников сменялись мысленными оправдательными речами перед Васильчиковым, Милорадовичем, Кочубеем, наконец, перед самим Александром I.

Решил: если завтра он не найдет понимания и защиты здесь, в столице, в министерстве внутренних дел и в полиции, то испросит подорожную у Кочубея на поездку в Троппау, чтобы принести покорное прошение о высочайшей защите от страшных клеветников.

С большой головой рано пробудился адмирал и сразу после завтрака, который он съел без аппетита, стал собираться.

В приемную министра внутренних дел он приехал первым, задолго до появления министра.

Кочубей где-то задержался и только около полудня сумел принять Сенявина.

– После бессонной, в тревожнении проведенной ночи я, возможно, не сумею высказать вам всей глубины прискорбного огорчения, которое вчера поразило меня самым чувствительным образом, – так начал адмирал свою исповедь. – Я приехал искать у вас покровительства и защиты от зловредных клеветников.

– Почту за честь для себя оказать вам защиту, адмирал, от несправедливой обиды, – с готовностью ответил Кочубей. – Какая же материя поразила вас столь чувствительным образом?

– Зловредными людьми я назван зачинщиком и главарем тайного общества, питающего самые вредные замыслы против законного правительства. Чудовищная клевета! Я ж, поверьте, никаких тайных обществ отродясь не знал и знать не хочу. Это я-то, верный слуга императору и отец семейства, руководитель какого-то общества? Да пускай отсохнет язык у самого клеветника и его детей за сию столь оскорбительную для моих лет и чина ложь.

Кочубей слушал адмирала сочувственно и не сомневался в его чистосердечности.

– Да и я слышал о каком-то здешнем недавно открытом тайном обществе, – признался он. – Но кто его руководитель, для нас пока что неясно. Во всяком случае Сенявина мне никто не называл.

Слова министра внутренних дел обескураживающее подействовали на вице-адмирала. Ему пришла мысль: «Уж не сын ли мой главенствует в этом тайном обществе, а в полиции по ошибке впутали меня?» Он раскашлялся. Прокашлявшись, с жаром сказал:

– Я был, есть и останусь безупречным слугой государя. Долгие годы прослужив с честью, трудами своими я приобрел чины и почести, а вышед в отставку, веду по обыкновению моему образ жизни уединенный, редко куда выезжаю и нахожу на склоне лет утешение в кругу любящего меня большого семейства. Сие подтвердит всяк, коротко знающий меня. И мне в шестьдесят мои лет крайне прискорбно видеть себя столь злостно очерненным.

– Если и существует некое тайное общество, то вам нет причин к безутешной скорби, – утешил Кочубей. – Лично я всегда был о вас самого высокого мнения, считал вас человеком благомыслящим, благородным, преданным монарху. Да кто же причинил вам такую тревогу? Заслуживает ли он доверия?

Вопрос благожелательно настроенного министра поставил Сенявина в затруднительное положение.

– Сие гнусное обвинение объявил мне вчера человек, не пожелавший назвать себя.

– Н-да... Для меня затруднительно, милостивый государь, сказать вам что-либо определенное, – посочувствовал Кочубей. – Из уважения я вам открою один секрет: не я распоряжаюсь тайным политическим сыском. Все, что по части такого надзора, в руках у Милорадовича и его помощника – полковника Федора Глинки. Постучитесь с этой оскомой к Милорадовичу, он, я уверен, окажет вам большее содействие, нежели могу оказать я.

– Благодарствую. Сейчас поеду к генерал-губернатору.

Милорадович встретил адмирала, как старого приятеля, как бывалого воина, взял его под руку, стал прохаживаться с ним по просторному кабинету.

– Осень-то, осень-то нынче какая! – шумно говорил генерал-губернатор. – То холодно, то жарко. То мороз, то грязь. Плохая погода и на гвардию плохо действует – вон как расшалились семеновцы.

Выслушав рассказ адмирала о всех его прискорбных огорчениях, Милорадович решительно успокоил взволнованного старика.

– К императору вам ездить не надо, сами разберемся. Надзор не в одних моих руках, по всем самым большим делам приходится сноситься с Васильчиковым. Я знаю, что вы не Робеспьер и не Марат.

– Избави нас боже...

– Это кто-то по злу или по глупости назвал вас главой тайного общества. Такое общество, возможно, и есть, но вице-адмирал Сенявин тут ни при чем. А не бывает ли у вас в дому корнет Ронов?

– Бывает, милостивый государь. Мой сын Финляндского полка поручик с недавних пор свел дружбу с оным корнетом, – признался вице-адмирал.

– Посоветуйте вашему сыну впредь быть разборчивее при выборе друзей.

Янтарной прозрачности намек Милорадовича подтолкнул адмирала к правильным выводам. Домой он возвращался с надеждой вновь в скором времени обрести безмятежно тихое существование в кругу семьи.

В передней он столкнулся с юрким корнетом Роновым, вбежавшим несколькими минутами раньше.

– Господин Ронов, кого вам здесь нужно? – не ответив на его приветствие, грозно спросил седой адмирал.

– Я к поручику, но ваш человек говорит, что его нет дома.

– Вам нечего делать у моего сына. И советую забыть дорогу к нашему дому. – Сенявин распахнул дверь. – Вон!

Ошеломленный корнет стоял как пришибленный, с ужасом замечая в плечистом могучем слуге веселую готовность выполнить повеление старого барина с полунамека.

– Вам помочь? – угрожающе напомнил рассерженный Сенявин.

Корнет выскочил за дверь.

На первом попавшемся извозчике поскакал он вдоль Невы, не отдавая себе ясного отчета в том, куда и к кому едет. Все пятеро новых его петербургских знакомых, с которыми свел поручик Сенявин, могли нынче обойтись с ним, как обошелся адмирал. Корнет догадывался, что сам попал в западню, которую уготовил для других. «Где, с кем и в чем допустил я ошибку? – в смятении спрашивал он себя. – Теперь друзья поручика могут пристрелить меня без дуэли, прямо в номерах. Васильчиков плохо наставил меня, генерал Милорадович не помог ни единым словом, а теперь страшает, угрожает тюрьмой... Не повидаться ли с полковником Глинкой – от него, говорят, многое зависит...»

Ронов ткнул извозчика кулаком в спину:

– К канцелярии генерал-губернатора!

Полковник Федор Глинка перебеливал стихотворный псалом, когда к нему неуверенно вошел Ронов. Корнет начал прямо с жалоб.

– Недовольство графа Михаила Андреевича моим усердием в деле, вам известном, лишило меня не только возжеленного покоя, но и сладостных надежд на будущее. Вы человек влиятельный, и я обращаюсь к вам за советом, как мне исправиться перед генерал-губернатором.

– Самый верный путь к исправлению – ревностная служба государю, – по-отечески наставительно ответил Глинка. – Я понимаю, неопытность сыграла с вами злую шутку. Род службы, который добровольно избран вами, требует особой тщательности и точности. Всякая небрежность, всякая ошибка в надзоре может обернуться преступным намерением ввести правительство его величества в пагубное, опасное непоправимыми последствиями заблуждение. К сожалению, такое несчастье постигло и вас, господин Ронов. Я понимаю всю глубину вашего огорчения, сочувствую вам и даже готов помочь своим советом.

– Но я и не помышлял о злонамеренном введении в заблуждение правительства, – клялся и божился корнет со слезою в голосе. – Я сделал незамедлительное донесение со слов Сенявина, он открыл мне тайну общества. Поручик Сенявин, разумеется, станет запираяться, но в его положении ничего иного и не остается.

– Вы заблуждаетесь, господин Ронов, ибо плохо знаете полицию, – сочувственно вздохнул Глинка. – У нас имеется немало возможностей проверить правильность каждого агентурного донесения и прилежность самого агента, а также надежность и законность способов, коими добыты те или иные сведения. Вы оказались транжирой: почти тысячу вытянули у генерала из кармана, а ценного ничего не добыли.

– Как не добыл? В обществе есть пароль: «Хейрут». По этому слову члены общества узнают друг друга и вступают в откровенный разговор.

– Мало ли у нас в русском языке всякого наносного мусора: французского, татарского, еврейского, немецкого... На отдельных словах нельзя строить столь смелых догадок, таковое строительство чревато бедой. Мне-то ясно, что вас сбilo с толку. Поручик Сенявин, по всем видам, говорил о его принадлежности к какой-то масонской ложе, а вы, очевидно, будучи сильно навеселе, масонскую ложу сочли за общество и поспешили донести. Но масонские ложи не имеют ничего с тайными обществами, они разрешены самим государем.

Ронов никак не хотел примириться с таким объяснением. Он доказывал Глинке, что считает себя вполне способным отличить масонскую ложу от тайного политического общества.

Глинка терпеливо выслушал его и огорченно развел руками.

– Как знаете, как знаете, господин Ронов. Но коли желаете выйти сухим из воды – вот вам мой совет: не упорствуйте. Такое признание, уверяю вас, пойдет только на пользу. Так чистосердечно и покайтесь, мол, без всякого злого умысла, по неопытности, принял за тайное общество разговор во время пирушки о масонской ложе. И тогда никто напрасно не пострадает.

– А я?

– Имейте в виду, корнет, генерал-губернатор исключительно великодушен и сострадателен к молодым офицерам, в особенности к тем, в коих почувствует чистосердечное раскаяние.

– А не отдаст меня Васильчиков под военный суд?

– Не думаю, не думаю. Все будет зависеть от вас. Я уверен: вам еще не раз представится возможность отличиться на поприще надзора, и многие награды и благодарности отметят преданность, усердие и старание. Промах скоро забудется, урок пойдет на пользу.

– Но мое пребывание в Петербурге продлено всего на две недели.

– Продление – пустяки, все в наших руках. Завтра предстоит очная ставка, подумайте над тем, что я вам говорил. Моя исключительная откровенность с вами – плод уважения к вам и горячего желания помочь. Обещаете хранить важную тайну?

– Обещаю.

– Отец поручика Сенявина, вице-адмирал Сенявин, старый друг Васильчикова и Милорадовича и пользуется особым благоволением у государя. Подумайте, да получше, и над этим.

– Я чувствую... Я... Я вижу... Я попал в какие-то сети! – вскочив, крикливо зачастил Ронов. – Почему, почему вы мне не верите?..

Глинка обратился к бумагам, сухо процедив сквозь зубы:

– До свидания, господин Ронов, у меня дела.

Поручик Сенявин прибыл в генерал-губернаторскую канцелярию в указанный ему срок – поздно вечером, когда уже все рядовые служащие разошлись по домам.

В кабинете у Милорадовича томился корнет Ронов в ожидании очной ставки. Федор Глинка сидел в стороне за круглым столиком.

Войдя в кабинет, Сенявин поклонился Милорадовичу и Глинке, с уничтожающим презрением поглядел на корнета.

– Господин Ронов доносит на вас, поручик Сенявин, как на одного из руководителей злонамеренного тайного общества, в которое предлагали вы вступить и ему. Расскажите подробно, что это за общество, как оно организовано и каковы его истинные цели?

– С удовольствием, Михаил Андреевич! Да, действительно, я рассказывал Ронову о моем намерении вступить в одну масонскую ложу, объяснял цели сей ложи и обязанности, добровольно принимаемые на себя ее членами. Правильно сообщает Ронов и о том, что я предлагал и ему вступить вместе со мной в эту ложу. Сей господин по забывчивости или по иным неизвестным мне видам, о которых я могу лишь догадываться, второпях спутал ложу с тайным обществом. Это дело исключительно его совести. Правильность каждого слова моего показания готов подтвердить присягой.

– Ну, где же тайное общество? – холодно посмотрев на корнета, спросил явно раздраженный Милорадович. – С крепкого похмелья приснилось?

– Я напал на след, но до самого тайного общества не добрался, – тихо проговорил Ронов.

– Не добрался, а доносишь об открытом тобою обществе.

– Я только собирался открыть.

– Ну, а ты можешь дать обещание, что откроешь это общество?

– Затрудняюсь.

– Почему?

– Теперь я уже как бы утратил след.

– Могло так случиться, корнет Ронов, что приглашение, сделанное тебе Сенявиным, вступить в масоны, ты принял за приглашение вступить в тайное общество? А разговоры о конституции припел для вящего правдоподобия?

Растерянный корнет покосился на полковника Глинку. Тот невозмутимо рассматривал свои ногти и, кажется, скучал. Ронов понял – рассчитывать больше не на кого. С усилием пролепетал:

– Я с расстройства многое забыл... Вполне возможно, что он приглашал меня и в масонскую ложу.

Милорадович, будто поневоле, усмехнулся, встал из-за стола, подошел к Сенявину.

– Поручик Сенявин, можете быть свободным. – Генерал-губернатор пожал ему руку.

– Извините за причиненное вам беспокойство. Всякое подозрение с вас и с вашего отца полностью снимается.

Когда Сенявин ушел, Милорадович, холодно прищурившись, долго смотрел в нагловатые глаза корнета.

– Сколько прокутил денег?

– Девятьсот рублей.

– С кем кутил?

– С разными нужными лицами. С полицейским приставом Батуриным. С Мыловым. С Валяевым. Угощал уланов и гостеприимных дам в доме Цвеца и других прибежищах. Возил одного ротмистра в гости к Анке-Цыганке.

– Здорово ты, корнет, облапошил генерала. И полицейские чины тоже отличились. Ну, я думаю, с тебя, Ронов, хватит полицейской службы. А о том, как достойным образом и без шума помочь тебе выехать из Петербурга, последует распоряжение.

Когда посиневший от испуга и унижения корнет вышел из кабинета генерал-губернатора, его тотчас взяли под стражу и отправили на гауптвахту.

Оставшись с Глинкой с глазу на глаз, Милорадович не отказал себе в удовольствии поиздеваться над начальником гвардейского штаба Васильчиковым.

– Мало корнет вытряс из кармана у этого осла. Вот бы деликатно было, если б заодно Ронов пропил и генеральские штаны. Ну, Васильчиков первый обрел это сокровище, пускай он и выпутывается перед государем... И я, душа моя, доверившись Васильчикову, частично попал на удочку...

6

Узнав о провале Ронова, генерал Васильчиков отложил задуманный неделю назад выезд в поле с гончими. Из доклада было видно, что корнет-осведомитель злонамеренно пытался ввести в заблуждение полицию и правительство.

Неудача Ронова явилась неудачей и Васильчикова с его планами тайной военной полиции. Ведь из таких, как корнет Ронов, и должна была состоять эта тайная полиция. Но тайное с самого начала стало явным. Теперь уже многие из-за оплошности малоопытного осведомителя узнали, что среди столичных офицеров подвизаются тайные шпионы в гвардейских мундирах. Вот это-то больше всего и пугало Васильчикова. Еще проект об учреждении тайной военной полиции окончательно не рассмотрен государем в Троппау, а вся затея оказалась на грани провала. И как быть дальше с корнетом Роновым? Куда его упрятать и под каким предлогом? В крепость? В Шлиссельбург? Без суда? Под суд?

Васильчиков ругал сам себя за то, что недели две назад поторопился уведомить царя о счастливой находке в лице корнета Ронова, «обещающего быть вельми полезным по части полиции». Надежды не оправдались. Приходится бить отбой перед царем. Как-то на все на это взглянется самодержцу? Граф Аракчеев, вне сомнений, узнав об этой истории, позлорадствует и посмеется над командиром гвардейского корпуса. Да и собственных денег стало жалко генералу – надеялся воротить их по утверждению царем сметы, а теперь, если смета и будет утверждена, как-то неудобно запускать руку в казенный карман, не сделав для сыска никакой услуги.

Утром следующего дня Васильчиков примчался в канцелярию генерал-губернатора в надежде приглушить назревающий скандал.

Васильчиков повстречался с Глинкой, который спускался от генерал-губернатора.

– Здравствуйте, Федор Николаевич, – забыв о надменности и высокомерии, первым поприветствовал генерал. – Граф у себя?

– Отдыхает возле камина.

Командующий гвардейским корпусом направился к Милорадовичу.

«Понимаю, чем так озабочен надменный князь, – думал Глинка, вернувшись в свой кабинет. – Блистательный его шпион провалился с треском, и теперь изворотливый, но недалекого ума генерал изыскивает способы спасти свое лицо. Неплохо было бы знать, о чем они там беседуют». Глинка принялся за дела. Первым в кожаной папке лежал свежий рапорт Валяева. Едва ли не самым усердным доносителем числился этот Валяев. За один день он каким-то образом успевал побывать во всех городских кварталах и в каждом квартале сразу находил нужную себе добычу. В его донесениях опытный в таких делах Глинка не замечал ни вымыслов, ни выдумок. Памятливый сыщик не только старательно, дословно воспроизводил подслушанные разговоры, анекдоты, песенки, стихи, эпиграммы, но указывал фамилии и адреса лиц, от которых он все это перехватил. У Валяева полковник порой находил признаки сочинительского дарования: если донесение касалось солдат, то и речи воспроизводились истинно солдатские, если чиновников, то Валяев прибегал к типично чиновничьему слогу и лексикону.

Более всего Валяев охотился на нижних чинов, потому ареной его действий оставались перевозки, кабаки, бани, улицы около казарм, базарные площади, ночные притоны, невысокие по цене и вполне удовлетворяющие запросы солдат.

Одно место из доноса ошеломило Глинку. Он резко откинулся к спинке глубокого мягкого кресла и тыловой стороной ладони протер уставшие от чтения глаза. Да и как тут было не поразиться: в донос к столичному фискалу попал пребывающий в Кишиневе генерал Михаил Орлов, по лету назначенный командиром 16-й пехотной дивизии.

«А в доме Цвеца два солдата Преображенского полка да с ними бомбардир Вакжанов, что возвратились недавно из домового отпуска из разных селений с Дону, с чужих слов восхваляли генерала Михайлу Орлова за то, что он считает нашего государя лукавцем, дурачком и отвратительным человеком, – читал Глинка. – В Киеве и Кишиневе вольнодумцы говорят не боясь, что скоро во всей России повсеместно пройдет революция, крестьяне отойдут от помещиков, генералы и полковники всю власть отберут у царя и у Ракчея, будут править сами, а для подмоги соберут Земской собор, наподобие как попы в старину собирали... А главным среди генералов посадят Михайлу Орлова, так как все солдаты готовы идти за ним на любой приступ, как под Парижем, а в помощники ему назначат Сперанского, еще какого-то большого петербургского енарала, нись Мордвинова, нись самого губернатора Милорадовича. Дело поставлено у них крепко... Потому Орлов и школы везде заводит, чтобы научить всех, как сшибать помещиков и вызволить крестьян из-под их напасти. В школе у Орлова обо всем можно узнать: где и когда, и почему бунты среди народа были... И в Петербурге у нас есть Орлова надежные друзья, только они до времени себя не показывают, но власть в их руках огромная, может, все гвардейские полки уже у них в кармане... В других странах генералы и полковники сшибают королей и царей, а почему наши не могут... Вот имена этих солдат...»

Глинка, перечитав донос, изъял его, но не уничтожил, приберег, чтобы показать друзьям по союзу.

Явился адъютант и попросил Глинку подняться к Милорадовичу.

Генерал-губернатор и Васильчиков, стоя возле камина, как понял вошедший Глинка по отрывочным фразам, оба в дурном настроении заканчивали затянувшийся разговор.

– Подписывай подорожные! – Милорадович отдал распоряжение полковнику.

Глинка присел к столу, не переставая прислушиваться к тому, что говорилось возле камина.

– Я был уверен в мошеннике, никогда не думал, что он такая пустоперая ворона в полицейском одеянии, – возмущался круглоглазый с всклокоченными черными волосами Васильчиков.

– Кто сокол, а кто ворона – не разберешься и на свежую голову, – отвечал Милорадович, играя генеральским аксельбантом на своем всегда, точно с иголочки,

шегольском мундире. – Денег спустили торбу, а много ли вывели? Ни пылины. Уж не бог ли нас сначала лишил ума, а потом подослал Ронова? Кто такой Ронов? Желторотый мальчишка. Чего с него взять? И как ему доверяться? Сенявины опровергли весь его лепет. Не дай бог, вся эта комедия дойдет до сведения государя. Сами даем камни в руки Аракчееву, которыми он и побивает нас же.

– От государя я не могу утаить историю с Роновым, – хмуро сказал Васильчиков. – Буду просить отдать под суд, а там уж сумеем заткнуть ему рот. Одно из двух: либо Алексеевский равелин, либо разжалование в рядовые без права выслути.

– А ты, Федор Николаевич, что скажешь? – живо обернулся Милорадович к столу, где Глинка подписывал подорожные. – Мы тут гадаем, что с корнетиком делать. Князь вот предлагает отдать под суд.

– Мера сия представляется мне малополезной, – в раздумье отозвался Глинка. – Судите сами, господа: нет такого военного суда, как и уголовного, чтобы тайна не просочилась сквозь его каменные стены и железные затворы. Ронов за собой потянет в суд и нас с вами, то есть тех, кто ссужал его деньгами и давал ему инструкции и кого он надул. Таким образом, суд отпадает. Разжалование в солдаты тем более не дает ни малейших гарантий на сохранение важной тайны. В первый же год о ней узнает вся рота, затем – весь полк, потом – вся дивизия...

– А мы, нынче разжаловав его в рядовые, завтра же назначим ему дисциплинарное наказание шпицрутенами двенадцать раз через тысячу человек, как это делает Аракчеев, – возразил Васильчиков. – И можно не сомневаться, богу душу отдаст.

– Жестоко, генерал.

– Есть и жестче наказания.

– Полноте, князь. Наказывать телесно рядового из бывших дворян, даже если он предстал перед судом, мы не имеем права, – вспомнилось Милорадовичу одно из узаконений. – Зрелище, когда лупят лозанами, отвратительно.

– Как же поступить? Неужели оставить Ронова безнаказанным? – с недоумением проговорил Васильчиков. – Если его надежно не упрятать, то жди новой беды.

Глинка озабоченно потер виски под слегка закудрявленными волосами.

– Безнаказанным оставлять корнета Ронова никак нельзя. Но мы в силах обеспечить спокойствие общественного порядка мерой вполне гуманной – за несвойственный офицерскому званию поступок вышлем корнета Ронова в ту губернию, где у него есть родственники, под строжайший надзор полиции с предписанием, чтобы никогда и никуда за строго обозначенные пределы выпускаем не был. Решение об отправке Ронова довести до сведения государя, указав причины, и всеподданнейше просить их императорское величество о повелении отставить корнета Ронова от службы, с тем чтобы впредь никуда не определять.

Милорадович и Васильчиков, выслушав Глинку, вопрошающе поглядели друг другу в глаза.

– Федор Николаевич, как всегда, умеет найти даже там, где никем не потеряно, – открыто гордясь перед Васильчиковым своим помощником, весело заговорил Милорадович. – Безвыездно под надзор полиции – лучше всяких лозанов! Я согласен!

– И я не против такого побыта. – Васильчиков подошел к столу, за которым подписывались подорожные. – Давайте-ка, Федор Николаевич, напишите теми же словами, как вы сейчас сказали. А я там у себя перебею и нынче же отошлю к государю.

Глинка взялся за составление черновика. Когда он окончил, Милорадович сказал:

– Подмахни еще две подорожных – на корнета Ронова и полицейского пристава да отвези к Кочубею.

– Я тоже к нему загляну, – обещал Васильчиков и поехал к себе в штаб.

Было решено удаление корнета Ронова из столицы произвести тайно в глухую полночь, не дожидаясь повеления императора. Здесь не сомневались, что высочайшее указание на доклад Васильчикова, составленный Глинкой, последует без промедления – все, что касалось арестов, высылки, тайной слежки, заточения в крепость, долго не залеживалось на письменном столе у самодержца. Александр любил, когда к докладам и донесениям были приложены проекты высочайших решений.

Туманы, сырые, холодные, напирали с моря на город, по пояс омытый буйными наводнениями, не раз на протяжении столетия врывавшимися на площади и улицы. Густая непроглядная муть скрыла от глаз окна и подъезды домов, в двух-трех шагах ничего не было видно. Не различишь у встречного ни лица, ни цвета одежды. И ямщицкая гоньба нынче присмирела даже по вечно бойкому Невскому проспекту.

Каразин радовался дням, похожим на сумерки. В такую гнилую погоду он охотно разъезжал по нужным ему присутственным местам, посещал салоны, собрания.

И дневники писались скорее. Доступу к этим сокровенным тетрадам не имел никто, а писать приходилось много.

В прошлом году его избрали действительным членом Вольного общества любителей российской словесности. Он сразу же пошел в гору на этом поприще и через полгода был избран вице-президентом, помощником Федора Глинки по Вольному обществу. Президент на первых порах обрадовался деятельному помощнику, но скоро ему стало известно, что Каразин все свои речи, с которыми выступает перед публикой, предварительно тайным порядком пересылал в особую канцелярию министерства внутренних дел графу Кочубею.

Каразинская коляска остановилась у подъезда министерства внутренних дел. В вестибюле перед зеркалом Каразин поправил прическу, поднялся в приемную и попросил доложить о себе министру. Через несколько минут его пригласили в кабинет.

Поклонившись Кочубею с порога, Каразин добыл из-под сюртука тетрадь и подошел к столу.

– И мы умеем быть безгранично преданными слугами государю, – со значением проговорил он и тряхнул тетрадью. – Помните, Виктор Павлович, еще в марте я предсказывал: дух развратной вольности неминуемо приведет к возмущениям, и они, скорее всего, начнутся в Семеновском полку? Не пророк, а угадал. Так и случилось. Вот убедитесь, и в дневнике мной еще в августе записано: «Я уверен точно, как в собственном бытии моем, что предстоящая нам насильственная перемена произойдет от гвардейцев и едва ли не от Семеновского полка». Сбылось. Я, на месте государя, приказал бы без суда четвертовать заглавного злодея...

Кочубей озадаченно уставился на посетителя.

– С кем же вы так круто собираетесь поступить, Василий Назарьевич?

– Со Шварцем, Виктор Павлович, со Шварцем. Сей подлый истязатель к людям относился с несравнимо меньшим уважением, нежели к полковому козлу Федосею. Такие шварцы несравнимо опаснее открытых карбонаров. Они унижают русский народ, презирают все русское, смеется над нами, сеют заразу бунтарства, безначалия, с тем чтобы потопить престол в крови дворянства! – Каразин перевел дыхание и чуть не сквозь слезы заключил: – И они, эти шварцы, при нашем возмутительном попустительстве и равнодушии, добьются своего. Граф, мне, очевидно, больше не придется упасть на колени перед монархом с мольбами внять голосу моего беспокойного разума...

Мысли министра графа Кочубея были обращены к недавним событиям в Семеновском полку, и он от всякого, с кем приходилось встречаться, выпытывал все, что только можно было выпытать, чтобы не показаться беспечным и благодушным перед царем.

– Правда ли, Василий Назарьевич, что петербургские вольнодумцы в Аглицком клубе, в театрах, на балах и во время пирушек порицают полковника Шварца, к которому, как мне известно, и ныне остается благосклонным их императорское величество?

Каразина не смутил этот не без умысла хитро поставленный вопрос.

– Порицают – не то слово. Шварца повсеместно проклинаят, и проклятиям этим нет и не будет конца.

– Кто проклинаяет?

– Все! Солдаты, офицеры, генералы, сенаторы, члены Государственного совета. Даже великосветские дамы.

– Вы как считаете Шварца?

– Скотиной. Негодяем. Я на месте государя приказал бы без суда четвертовать злодея,
– с неукротимым негодованием отвечал Каразин, вдруг став как бы непохожим на самого себя. – Никто с таким презрением не относится к достоинству человека, как этот выродок. Шварц – воплощение всего гнусного, отвратительного, позорного, жестокого, что, увы, все чаще и чаще встречается в гвардии и армии. Истязания, какими прославился сей варвар, были не только безумно жестоки, но и циничны, отвратительны. Происками и клеветой врагов я оторван от священной особы государя. Падите же вы на колени, молитесь, упрашивайте его, пока не поздно.

Рассуждения и призывы его делались похожими на истерический вопль, на стенания человека, провидящего надвигающуюся гибель всего, что вчера еще можно было обезопасить, оградить от разрушения. Каразинские панические предсказания уж не впервые слышал граф Кочубей. В его столе лежали записки о семеновцах, разные проекты искоренения зла и даже необыкновенно смелое обращение к царю с призывом восстать против всех, кто унижает русский народ, искореняет русский дух во всем и повсеместно. В некоторых бумагах смелость Каразина граничила с дерзостью.

– Вервь натянута до предела, – сверкая сумасшедшими глазами, с дрожью в голосе вещал Каразин. – Вервь может внезапно расскочиться. Семеновский полк показал губительный пример, как нужно рвать до отказа натянутую крепь. Разночинцы и отпущенники ждут того часа, чтобы возглавить буйство черни и двинуть рати злодеев на вселенский разбой против трона и верных короне слуг.

– Дворянство стояло и зорко стоит на страже своих интересов, и оно не допустит, чтобы злодеи робеспьерствовали...

– Граф, всякая революция, как буря, копит свои разрушительные силы подспудно, исподволь, но коль скоро они накоплены, то вырываются с такой сокрушительной быстротой, что остановить их не могут ни царь, ни генералы, ниже сам господь бог, – с возгорающимся страхом пророчествовал Каразин. – А сколько дряни среди дворян! Сколько нищих скрывается под одеждой дворянина! Каждый такой промотавшийся дворянский отпрыск, закоснелый в разврате, – заведомый злодей. Они обычно тяготеют службой, льстят черни, подстрекают ее к бунту и при первой вспышке мятежа присоединяются к ней.

– Что же даст сим безумцам якшание с чернью?

– Граф, на развалинах нашего с вами благосостояния они замышляют найти свое благоденствие.

– Василий Назарьевич, престол огражден надежным валом на случай божьей стихии и кровавых наводнений.

Каразин так и подскочил на стуле, будто уколотый.

– Где он, этот вал, граф? Укажите! Министры? Простите за чистосердечность – гнилые столбы. Они слепы и глухи ко всему, что делается в народе, и сразу повалятся при первом же ударе мятежной волны.

– Позвольте... – попытался возразить Кочубей, но Каразина уже невозможно было остановить.

– ...Государственный совет? Он уже давно являет собой вид разбитого зеркала, и в нем все отражается криво, коряво и мутно. Что еще? Престол?.. Престольные златоусты?.. Ораторство с русского престола на дурной, насквозь фальшивый английский образец не оградит Россию от грядущих бурь, потрясений и несчастий. Златоусты – плохие громоотводы. А мы нынче нуждаемся в громоотводах как никакой другой народ. Грозы сверкают совсем близко. И вспышки иной раз так ослепительны, что сердце замирает...

– Так, может быть, избрать нам в громоотводы какую-нибудь нынешнюю конституцию, а в истолкователи ее пригласить кого-нибудь из сладкопевцев, вроде Сергея Муравьева-Апостола или Николая Тургенева?

В словах министра Каразин уловил лукавство и тотчас сбавил тон:

– Нынешние конституции – не то лекарство... Оно не пригодно для России... Оно ей в прямой вред... С такого лекарства матушка Русь начнет корчиться в судорогах от кровавой рвоты и кровавого поноса.

– Что же, по-вашему, исцелит ее?

– Есть такой исцелитель в лице просвещенного дворянства! – воскликнул Каразин. – Но оно остается не у дел. Только оно, истинно просвещенное русское дворянство, может вдохнуть живой дух в грудь опасно больной России, лишь оно, оттолкнув от престола невежд, льстецов, воров, интриганов, вернет государству его бывшее могущество! Просвещенное дворянство выдвинет Россию на первое место среди прочих европейских государств! Авторитет штыка пора заменить авторитетом разума. Россия никогда не была бедна умом и талантами, но ее трагедия в том, что ум и талант остаются не у дел или попираются всяким, кто научился душить и глушить. Правителям России пора бы понять, что они правят русскими, а потому надо уважать русские начала, обычаи, особенности русского мышления, русского слога, склада характера и самобытность русского духа. Царь, если он хочет остаться в памяти народа как монарх добродетельный и просвещенный, должен потрудиться, опираясь на просвещенных друзей трона, найти начала обновления всех звеньев государственного устройства в древних обычаях наших предков, у которых было достаточно мудрости, чтобы понять еще на заре нашей государственности, что в России все должно быть устроено в соответствии с ее духом, устроено своим разумом и своими руками. Ныне цари забыли о силе заветов своих отцов, забыли не по лености ума, а в угоду наперсникам-иностранцам. Вы изволили сказать – конституция. Конституция – пустой звук. Она России не ко двору.

Министр, благо разговор происходил с глазу на глаз, не одергивал дерзкого Каразина на крутых поворотах, а лишь потешался неожиданными сравнениями. Не только устно, но и письменно Каразин иной раз угощал скрытного министра такими ошеломительными импровизациями, что министерский ум останавливался перед ними, как перед Сфинксом.

– Пора понять монарху, что он и Россия – не одно и то же. Не она ему служанка, а он ей слуга – тому учит вся жизнь Петра Великого. Должно бы знать государю, что не Россия лежит у него в кармане, а он у нее сидит за пазухой. И коли он причинит ей неудобство, то она может и вытряхнуть его из-за пазухи.

– Василий Назарьевич, Василий Назарьевич! – Кочубей замахал руками. – Милейший, сколько раз я вам повторял: не увлекайтесь дерзновением, дерзость выражений может уничтожить всю пользу ваших рассуждений... Вы же знаете, как государь не одобряет неумеренных выражений и впадает от них в печаль.

– Простите, граф... Наболело... Я хочу, чтобы меня поняли хотя бы здесь, если отказывается понять сам государь. Голос моей совести повелевает мне еще раз сказать: Россия не есть собственность государя. Государь ко благу царствующего дома и всех верноподданных должен перестать почитать Россию своей собственностью. Россия онемела от ужаса в преддверии непоправимого несчастья; чтобы спасти ее, царь должен протянуть руку навстречу нам, просвещенным дворянам. Не протянет – злодеи подтолкнут Россию, и она из преддверья ада рухнет во ад. Злодеи разворотливее и дальновиднее нас, они с сатанинской прозорливостью даже Книгу царств и Евангелие, призвав бога в помощь себе, делают своим оружием против монархической власти.

– Ах, Василий Назарьевич, давно ли вы мне предлагали учредить нечувствительный надзор за Вадковским, Рылеевым, Пушкиным, Кюхельбекером и даже Глинкой, но сами вы, Василий Назарьевич, выражаетесь так неводержанно, что хоть за вами самим устанавливай нечувствительный надзор, – пытался урезонить шумного либерала Кочубей. – Неужели вы повсюду и со всеми таковы?

– Что вы, что вы... Я знаю, где нахожусь и с кем имею честь вести откровенный и доверительный обмен мнениями, – успокоил Каразин. – Но Совет министров в его нынешнем виде я все-таки называю сборищем недоумков и угодников. Это гнойный нарыв на теле государства, а не власть, управляющая и знающая настроение народа.

– Вы других слышите, но и другие слышат вас. Вот мне стало известно, как вы в одной из бесед резко, неуважительно отозвались о речи государя на открытии сейма в Варшаве. Верно или неверно доносят на вас?

– Не отрекаюсь – говорил, и повторю: император своей речью в Варшаве плюнул в лицо русскому дворянству, унизил его по сравнению со шляхтой. Плюя в лицо соотечественникам, он плюнул и себе на грудь. Нет, нет, граф, не подозревайте меня в

злонамеренных умыслах. Резкость выражений моих проистекает от беспокойства за нашего любимого монарха, от искренней преданности престолу.

– Я готов верить вам, Василий Назарьевич, – благосклонно кивнул Кочубей. – Кстати, у меня скопилось немало ваших писем и записок. Вы желаете, чтобы они были доставлены его величеству, я так понимаю?

– Несомненно, ваше сиятельство, милостивый государь!

– Обещаю снести с их величеством на сей счет. По моим наблюдениям опасность вовсе не столь велика, как вы ее обрисовали.

– Она, ваше сиятельство, во сто крат ужаснее всего, мною написанного и сказанного.

– Гм, я ничего подобного не замечал.

– И не удивительно, граф. Простите меня, сквозь стены, за которыми вы пребываете, вам не слышно и не видно, что делается в народе, о чем говорит нынешняя зараженная либерализмом молодежь, чем недовольны торговые люди. Вы, как и все наши министры, привыкли видеть перед собой пол, потолок и четыре стены – вот весь ваш мир. А послушали бы, что говорят приезжающие из провинций. А загляните в наши губернии – и вы ужаснетесь тому, что там творится. Никчемное правительство наше повсюду презираемо и проклинаемо. И это понятно. Недавняя война научила людей мыслить. А мысль, как ветер, за шиворот ее не схватишь, в мешок не посадишь. Службу называют каторгой. Наказания – истязанием. Жалованье – нищенским подаянием. Строгости – бесчеловечием. Крестьяне воют с голоду, как волки. Суд наш называют насмешкой и оскорблением всякого правосудия и законности. Мы гнием с корня. Снизу гниль, сверху тля. Молодежь негодует при виде злоупотреблений, бесправия, взяточничества, открытого грабежа. Вот откуда вольнодумство и вольнодумцы-проповедники.

– Но ведь все они, эти вольнодумцы, ретивые мальчики, кто их уважает? Кто их всерьез станет слушать? Кто за ними пойдет? Если бы вольнодумничали генералы, полковники, штаб-офицеры, то, разумеется, было бы основание к тревоге...

– И мальчики, и небольшие люди при том всеобщем неудовольствии и тайной склонности черни к смятению могут стать тем ветром, что превратится в бурю. Толпа жаждет себе пастырей, вождей, предводителей. А в суматохе любого мальчишку-выскочку буйная чернь вознесет до высот Робеспьера.

– Я за нашу дворянскую молодежь спокоен, Василий Назарьевич.

– Ваше сиятельство, я ближе вас к дворянской молодежи. Среди молодых дворян безрассудных людей несравнимо больше, нежели среди других слоев. Демократическая зараза вскружила дворянам, и неглупым, головы.

– Вы имеете в виду братьев Тургеневых и Рылеева?

– И не только их. А Пушкин, Илья Долгоруков, Кюхельбекер, Федор Шаховской, два брата Чаадаевых, часто наезжающий сюда из Москвы Иван Якушкин, Дмитрий Ермолаев, Иван Щербатов, Сергей Муравьев-Апостол, братья Вадковские, братья Бестужевы и несть им числа... Многие из них – образованные офицеры, а на случай бунта – готовые Наполеоны. Да и среди солдат есть такие удалыцы грамотеи, что хоть сейчас в полковники и в генералы. А там, где люди грамотны, поверьте мне, сударь, они к доброму и недоброму памятливы. Нынешнему солдату щей да каши с квасом мало. И чарочкой его не укупишь. В казармах читают газеты, журналы и за всяким печатным словом охотятся. Казарма нынешняя не та, какой была прежде. Для любопытства, ваше сиятельство, наведите справки, сколько ныне расходится «Инвалида», и сравните с прошедшим... Результат получится поразительный! Солдат нынче хочет рядить, судить и свое мнение иметь не только о том, что делается у себя дома, но и что происходит во всем мире.

– Я не вижу ничего страшного в чтении «Инвалида» солдатами из бывших семинаристов, господских людей и стряпчих.

– Дерзну с вами не согласиться, граф. Журналы наши из-за попустительства цензуры сеют не те семена, на которых может взрасти и созреть сладкий плод благоденствия, – горячо возражал сильно возбудимый Каразин. – В том же «Инвалиде» неосмотрительно напечатали опасную статью «Революция гишпанская – подвиги Квиорога». После таких статей не приходится удивляться беде в Семеновском полку. Тут, конечно, и Шварц, и другие постарались вдоволь. Никто не хвалит строгость, употребленную генералами и государем

при усмирении семеновцев. Многие распоряжения люди находят безрассудными и жестокими, принятыми как бы по подсказке Шварца. Недаром Муравьев-Апостол острил за обедом в трактире «Веселые Острова»: «Фухтель, которым Шварц сдирал кожу с солдат, поднял Васильчиков, велел полковому кузнецу вдвое нарастить и пустил опять в ход».

Слушая Каразина, министр внутренних дел думал: «С ним время от времени полезно иметь беседы. Он знает и помнит, где, когда какая собака вильнула хвостом, какая неласково твякнула. Чего больше в дерзких мыслях его: любви к трону или ненависти, выдаваемой за любовь? Много ударов испытал он в жизни, и мало чему научился: был в опале, в ссылке, под арестом за неуместные письменные советы царю и опять лезет в наставники к самодержцу... Чем все может кончиться? Крепостью или еще более тяжелой карой?»

Каразин передал Кочубею копии недавно читанных в Вольном обществе любителей российской словесности стихов Рылеева и Бестужева со своими пояснениями и обещал в ближайшие дни прислать список с повсюду читаемого злонамеренного сочинения «Гений отечества», написанного, по слухам, каким-то полковником.

– Кто он, этот полковник?

– Пока что не успел выяснить.

– Как же так, Василий Назарьевич? Полковников, которые упражняются в стихотворстве, у нас в столице пересчитаешь на пальцах одной руки.

– Постараюсь уточнить, милостивый государь.

Недовольство, прозвучавшее в словах Кочубея, уязвило самолюбие Каразина и повергло его в тягостное состояние. С ним разговаривали чуть ли не как с обыкновенным шпионом. С ним, который порывается служить государю, России, а вовсе не Кочубею... Мучительные противоречивые чувства часто обуревали его, тогда ему начинало казаться в самом неприглядном свете все, что он делает, о чем думает, чем заполняет страницы своих дневников, на обложках которых его рукой крупно выведено: «При возможном изъятии меня из обращения сии записки, включающие в себя мои размышления, подслушанные разговоры и другую ерунду, запечатать сургучом и передать в собственные руки его императорского величества». От осинового жала стихийно налетающих сомнений не было спасения. Все вокруг становилось противным и жизнь, клонящаяся к завершению, при внимательном взгляде на нее, представляла, как куст репья, в колючках укора. И некуда было скрыться от самого себя, от всего того, что было вольно или невольно сделано в прошлом. Будто кто-то из дали грядущих лет приказывал сжечь все дневники и записки, выкрасть из тайных хранилищ в разное время отосланные туда бумаги, вытравить, выжечь всякий след от поступков, которые могут стать вечным укором.

Сникший Каразин показался Кочубею приниженным, жалким.

– Я знаю, как горек запах опалы, – начал Каразин. – Я был уже низвергнут государем в пучину изгнания. Та же царственная рука вызволила меня из пропасти ссылки, даровала мне свободу и облагодетельствовала меня. И вот я, отец семерых детей, сознательно рискую всем. Моя любовь и преданность государю выше моего и моей семьи благополучия и счастья, мой святой долг, как и ваш, обнаружить перед государем истину. Во имя истины люди шли на крест и нам завещали следовать их примеру. Ваше сиятельство, вы министр, страж истины, неподкупный слуга монарха, помогите же голосу моей совести долететь до слуха венценосца...

– Полковник Федор Глинка с бумагами от графа Милорадовича, – доложил адъютант.

Испуг отразился на бледном лице Каразина. Встреча с Глинкой в этом кабинете для него была не только нежелательной, но и опасной.

– Я не хотел бы, ваше сиятельство, встречаться с Федором Николаевичем в данных обстоятельствах, – поглядывая на дверь, которая вела, минуя приемную и парадный подъезд, к черному ходу, сказал Каразин.

– Понятно, Василий Назарьевич, – усмехнулся Кочубей. – Или у нас дверей мало? – Он распахнул дверь, ведущую к черному ходу. – Счастливо. Жду обещанного «Гения отечества»! И впредь не забывайте нас.

– Вы меня не оставьте своим покровительством.

– С нами поведешься – добра не оберешься, – самодовольным баском напутствовал с порога Кочубей.

Таким образом Каразину удалось разминуться с президентом Вольного общества любителей российской словесности.

Вошел собранный, аккуратный полковник Глинка. Кочубей шагнул ему навстречу, приветливо пожал руку. Чиновнику для особых поручений при генерал-губераторе часто приходилось встречаться с министром внутренних дел. Между канцелярией Милорадовича и канцелярией Кочубея не было распри и вражды. И при всем при том в тайниках у Кочубея хранилось несколько анонимных доносов на Федора Глинку. В них он описывался как искусный покровитель вольнодумцев и скрытый недруг верных слуг государя.

Иной раз, заглядывая в эти изветы, Кочубей с грустной иронией думал: «Ведь и на меня, поди, скромные друзья престола, не желающие подписать свое имя и звание под доносом, строчат Аракчееву для передачи «в собственные руки самому государю». И тоже изображают покровителем вольнодумцев, поскольку мне совместно с графом Милорадовичем время от времени приходится очищать столицу от всяких лжеизветчиков, вроде Ронова».

– Перед вашим приходом у меня сидел один человек и три часа подряд заклинал меня Христом-богом принять все меры к открытию и искоренению тайных политических обществ в столице, – начал Кочубей разговор с Глинкой. – Уверяют, будто в Петербурге чуть ли не в каждом доме есть ячейка тайного общества.

– Не верю, Виктор Павлович! Смутьяны, выдающие себя за слуг государя и ревностных защитников благоденствия и тишины, самые зловредные люди, они готовы из малейшего, малозначащего происшествия, вроде недоразумения, бывшего в Семеновском полку, поднять звон на весь город о вольнодумцах, карбонарах, Робеспьерах, Маратах. Я глубоко убежден в лживости таких доносов. В Петербурге в настоящее время нет никаких тайных обществ.

– Верно, верно, Федор Николаевич. Не стану же я выдумывать тайные общества там, где их никогда не было и нет.

– Нам надо решительно отсеивать от столь важного государственного дела, как надзор, шпионов, не заслуживающих доверия. Будем откровенными: мы же с вами знаем, сколько всяких грязных мух садится на полицейский пирог.

– Прав, прав ты! Проходимец Ронов – это ли не муха?

– Ронов – находка Васильчикова. Он подсунул его нам с Милорадовичем. Вот я, как раз, заготовил подорожные... Ваше мнение на сей счет?

– Не расходится с вашим. Так и скажите графу Михаилу Андреевичу; в полном соответствии с его мнением, я от себя доношу государю о корнете Ронове и еще раз уверяю его величество, что решительно нет никаких указаний на существование незаконных обществ. Кстати, один вопрос, не имеющий никакого отношения к нашей службе. Как вы находите Каразина? Некоторые считают его перо излишне бойким, а разговоры невоздержанными... Я с ним почти что незнаком.

– Зато я, ваше сиятельство, успел с ним познакомиться в достаточной мере. Я отвечу вам строчками писателя Воейкова:

Вот в передней – раб-писатель
Каразин-хамелеон,
Земледел, законодатель...
Взглянем, что марает он?
Песнь свободе, деспотизму,
Брань и лесь властям земным,
Гимн хвалебный атеизму
И акафист всем святым.

Каразин – пирог с начинкой сорока сортов: в нем мы найдем и жареный лук, и гречневую кашу, и червивые грибы.

– Вон как, сколько разных добродетелей заключено в одном лице: раб-писатель, хамелеон, земледел, законодатель, певец свободы, обличитель деспотизма, льстец, атеист,

поставщик акафистов... Какую же надо иметь голову! – пряча насмешку за серьезным тоном, заметил Кочубей.

– И какой длинный язык! – подхватил Глинка. Он мигом сообразил, что не зря Кочубей заговорил о Каразине. Именно Каразин мог быть тем человеком, который перед приходом Глинки сидел у министра и заклинал его принять все меры к искоренению тайных политических обществ. Глинка оглянулся на дверь и, чуть подавшись к Кочубею, проговорил не без некоторой доверительной таинственности: – Сие может показаться странным, милостивый государь, но словесная вышивка некоторых статей и речей Каразина поразительно сходствует с либеральными узорами подметных прокламаций, найденных в Преображенских казармах.

– Неужели? – Кочубей беспокойно задвигал густыми бровями. – А почерк?

– Кто же ныне станет своей рукой переписывать пасквили? Для этого у нас достаточно переписчиков, копиистов, подъячих – за четвертак накачают что угодно.

– Это верно, Федор Николаевич. А нельзя ли каразинскую словесную вышивку сличить с либеральными узорцами?

– По линии нашей канцелярии розыск начат.

– Давайте, давайте... Ведь из-за каких-то пасквильных листков государь вообразит всю столицу зараженной лишаями тайных обществ. А это, как вы понимаете, чревато большими неприятностями... Ах, Каразин, Каразин... Вот так замок с секретом...

Глинка откланялся. Спускаясь по широкой лестнице, покрытой пестрым ковром, удовлетворенно насвистывал мелодию веселой песенки-колядки. В тот же день он доложил свои соображения относительно Каразина генерал-губернатору.

8

Утром в кабинет Глинки явился обер-полицмейстер Горголи.

– Распоряжением графа Михаила Андреевича вам вменяется наладить строгий надзор за статским советником Василием Каразиным, – сообщил Глинка обер-полицмейстеру. – Оный Каразин местожительство имеет на Литейной, недалеко от Преображенского полкового двора.

– Личность известная, – поделился своей осведомленностью Горголи, – живет в шикарной квартире с пятнадцатью окнами на две стороны на третьем этаже.

– Соседство Каразина с Преображенским полком в свете тревожных событий наводит министра внутренних дел и генерал-губернатора на серьезные подозрения, – наставлял Глинка. – Тщательным расследованием почти достоверно установлено участие Каразина в написании возмутительных пасквилей и в подбрасывании оных в подворотню Преображенского полкового двора. Дайте строгий наказ подчиненным, чтобы наблюдали за каждой бумажкой, которая, возможно, найдется около дома Каразина или поблизости. Буде таковая отыщется, незамедлительно, сударь, доставлять мне для передачи графу Михаилу Андреевичу.

Горголи тотчас же распорядился о надзоре за указанным домом и его обитателями.

Каразин особенно усердно трудился весь беспокойный октябрь и начало ноября, каждый день записывая в тетради для памяти события дня (происшествия, разговоры, слухи, анекдоты, эпиграммы, стихи, великосветские сплетни) и почти ежедневно составлял очередную тайную записку для передачи в руки министру внутренних дел Кочубею. Тетради в один лист, которые он называл журналами, пестрели кратко изложенными заготовками будущих тайных донесений полиции и даже самому царю.

После утреннего чая Каразин, в домашнем темном бархатном халате и алых туфлях, вышел в переднюю и положил кипу бумаг на стол для переписки. Домашний прыщавый человек из уволенных семинаристов, беспрестанно покашливая, уже корпел за столом, усердно перебеливал с черновика мудреную статью, от начала до конца густо нашпигованную статистической цифирью. Склонив лысую голову к плечу и прикусив рассеченную губу, переписчик так старательно вырисовывал букву к букве, что со лба его катился пот. Хозяин был неумолимо взыскателен к каждой запятой в чистовике, и не дай бог,

если хоть одна литера покачнется не в ту сторону и не под тем наклоном или задерет голову выше других.

Каразин вздрогнул от узких плеч и до вертлюгов, когда лакей в ливрее бесшумно отворил дверь и доложил:

– Вас хочет видеть господин полицейский офицер.

С минуты барин оставался недвижим и безгласен от неожиданности, затем поперед лакея выбежал в переднюю.

– Очень... очень рад, милостивый государь...

– И я очень счастлив познакомиться с вами, Василий Назарьевич. Помощник частного пристава Яковлев Франц Францович, – стукнув каблуками, представился офицер с нафабренными усами. – Будучи с малолетства приерженным к разным ученым сочинениям и открытиям на пользу человечества, я собственными глазами прочитал в одном почтенном семействе собственное ваше ученое сочинение: «О возможности приложить электрическую силу верхних слоев атмосферы к потребностям человека». С той поры воспылал желанием, не щадя живота, быть вам помощником в сем полезном начинании.

– Да, такая статья написана мною для филотехнического общества.

– И еще меня увлекла ваша статья «О посадке картофеля в полях». Очень и очень любопытно...

– Да, и эта статья моя. А у вас много полей?

– В настоящее время ни одного, но я надеюсь на дальнейшее.

Каразин вынужден был оказать хотя бы внешнее гостеприимство восторженному последователю его теорий и практических наставлений.

Офицер проявил настойчивое желание ближе ознакомиться не только с научными трудами, но и со всей квартирой хозяина. Он бесцеремонно заглядывал во все комнаты, во все уголки, но особенный интерес проявлял к книжным полкам и разным бумагам в бюро и на письменных столах.

Домашнему человеку – безукоризненному чистописцу гость уделил внимания не менее. Присев рядом, он обратился к нему с разными расспросами. Какие бумаги чаще всего приходится переписывать, что больше всего запомнилось переписчику из перебеленных бумаг, приносят ли на переписку что-либо посторонние лица, еще кто из живущих в этом доме занимается перепиской, есть ли у переписчика знакомые копиисты, умеющие с такой же тщательностью перебеливать бумаги, так как полицейскому офицеру якобы требовался опытный письмоводитель.

Обещав Каразину отныне быть его прилежным учеником и помощником во всех полезных начинаниях, полицейский офицер уехал.

– Тычь им в свиное рыло прямо пером, если они станут рыться в моих бумагах, – поучал Каразин переписчика. – И чтобы впредь лясы не разводиться ни с кем о переписке. Ни на какие вопросы не отвечать, переписанных бумаг не показывать.

Он открыл журнал для ежедневных записей. Но голова что-то плохо соображала, и перо спотыкалось на каждой букве. «Что, бишь, я хотел записать? Ага, «Гений отечества»... Мысли о возможном сочинителе... Полковник... Именно, что всех полковников-сочинителей по пальцам можно перечесть. И первый середь них – Глинка... Ох, уж этот Глинка. Ведь на лбу написано, что карбонар, а попробуй подступись... С начальником своим Милорадовичем состоит в хитромудром дружестве. Мало того, поговаривают, будто к императору близок, ближе Петра Чаадаева, набивается в любимцы к самодержцу. Похоже на правду, иначе Кочубей вряд ли пропустил бы мимо ушей многочисленные мои намеки насчет вольнодумства сего загадочного сочинителя в полковничьем мундире. Вот отчего государство все больше и больше приходит в упадок – те, кому надлежит строжайше блюсти устои, сами же их прикровенно и колеблют. О, как бы я рад был с оружием в руках умереть у подножия престола, защищая того, кто не хочет внять ни моим мольбам, ни предостережениям, что сулят мне возможные напасти и несправедливое гонение... Меня редко обманывают мои предчувствия. Будь что будет, но я не остановлюсь ни перед чем...»

Каразин макнул гусиное перо в чернила, но тут вошел лакей.

– Ваше превосходительство, милостивый государь, приехал познакомиться с вами 5-й части пристав Лубецкий.

Недовольный Каразин с сердцем бросил перо.

– Пристав? Со мной? Слава тебе господи, вся петербургская полиция с чего-то вдруг ударилась в просвещение и повалила к Каразину за советами! – Он помедлил. – Что ж, зови и частного пристава. За Гречем бы они смотрели в оба, а не за мной – моя гранитная верноподданность неоднократно проверена самим государем.

Пристав Лубецкий, отрекомендовавшись, объяснил причину визита давнишним желанием свести знакомство с лицом таких обширных познаний, могущим дать полезный совет на всякий случай. Алчущий познаний ум пристава был взволнован статьями Каразина «Речь о необходимости усилить домоводство» и «О важности лесоводства для России».

– У вас много лесов? – спросил Каразин.

– Лично у меня-с ни одной березы, но у тестя моего...

– Я все понимаю... Кроме лесов и домоводства, вас интересует моя квартира?... Вот она! – Он повел пристава из комнаты в комнату. – Вас интересуют мои бумаги и книги? Вот они! – введя пристава в кабинет, указал на столы и книжные полки. – Еще какие научные опыты не дают вам покоя? Мой чистописец, что трудится прилежно над перепиской статистических бумаг? Вот он! – Каразин энергичным жестом указал на лысого переписчика, затем распахнул дверь в переднюю. – Еще какие мои труды и речи взволновали жаждущие света полицейские умы?

Лубецкий видел, каких усилий стоит Каразину сдерживать себя от бурного негодования. Сказал с простодушной усмешкой доброго малого:

– Что вы, что вы, досточтимый Василий Назарьевич, так плохо думаете о целях и намерениях моего к вам визита. Грешно вам, сударь, право грешно... Всякий истинно просвещенный ум, как божественный солнечный свет, снисходящий от творца, привлекает к себе сущее на земле...

– Нет, нет, господин пристав, я не из добродушных простаков... Я достаточно пожил на свете и кое-чему научился, – раздраженно оборвал Каразин. – И позвольте дать вам совет: сокрушайте не тех, кто учит устройству громоотводов, а тех, кто хотел бы на всех на нас навлечь грозу, бурю и кровавые дожди. Вместо моих статей почитайте «Невского зрителя». Там напечатана бесподобно дерзновенная сатира «К временщику», отставного подпоручика Рылеева. Прямой призыв к бунту, к мятежу, угрозы жестокой расправы, истинная пугачевщина. Вот за кем следовало бы охотиться, а не за Каразиным и его переписчиками.

– Ваша правда, сударь, ваша правда, – охотно поддакивал пристав.

В конце концов Каразин угостил гостя чаем и хлебом, испеченным с прибавлением желудей, а также сливовой настойкой собственного изготовления.

Лубецкий остался доволен состоявшимся знакомством и просил Василия Назарьевича в ближайшие дни непременно отплатить нынешнее посещение ответным визитом.

На другой день по приказанию полиции сделали перекличку всем людям в квартире Каразина, выпрашивали о грамотных и фамилию каждого грамотного записали.

Как только окончилась перекличка и двое полицейских покинули дом, взбешенный до умоисступления Каразин поспешил к обер-полицмейстеру с жалобой.

– Почему ко мне, к моей квартире и к моим домашним людям такое особенное внимание? – возмущенно спрашивал он. – За кого меня считают? Я, слава богу, дворянин с незапятнанной репутацией... Я уже сед... Я правдолюб! Буде идет розыск мятежного пасквиля, о котором говорят во всем городе со дня беспорядков в Семеновском полку, то не проще ли заставить всех, кто умеет грамоте, написать по несколько строк и затем сличить почерк каждого с найденной пасквилью.

– Прекрасная мысль! – одобрил обер-полицмейстер и заверил: – Вас больше никто не станет беспокоить, по всему видно, произошла досадная ошибка. Знакомство же с приставом Лубецким я одобряю – такого милейшего человека не часто встретишь.

От обер-полицмейстера Каразин возвращался ободренный и успокоенный, волнения утихомирились, и он снова почувствовал себя в состоянии приняться за работу.

Многолюдная в дневное время Литейная сейчас заметно опустела. Под окнами каразинской квартиры остановился пристав Лубецкий, постоял. Около самой стены белела какая-то бумага, придавленная с одного конца камешком. Он поднял ее, вытер о рукав и, сунув в карман, на извозчике отправился прямо в канцелярию генерал-губернатора.

Пристав зашел было к полковнику Глинке, но письмоводитель сказал, что «полковник у его высокопревосходительства». Лубецкий помчался наверх. Очутившись в кабинете генерал-губернатора, он положил бумажку на письменный стол перед Милорадовичем и отрапортовал:

– Найдена лично мною под окнами дома, в котором квартирует статский советник Каразин!

– Что в ней?

– По всем признакам – список с воззвания семеновских бунтарей преображенцам!

– Под окнами Каразина?

– Так точно-с, ваше сиятельство!

Милорадович взял бумагу, подал невозмутимому Глинке.

– Список с воззвания... Теперь, Федор Николаевич, можно с уверенностью приняться и за этого пустоболтунствующего реформатора. Васька Каразин такая странная птица, что не поймешь сразу, кто перед тобой: голубь или коршун? То лихо ухнет по-республикански филином, то вдруг заворкует в своих записках и доносах верноподданнейшим из верноподданных голубем.

Генерал-губернатор послал дежурного нарочного за обер-полицмейстером Горголи, а пристава за примерную службу бросил сторублевую ассигнацию.

– Теперь отправляйся на квартиру к Каразину и объяви ему о неотложной явке ко мне, а зачем, о том узнает по прибытии.

Лубецкий на паре покатыл на Литейную. Он застал Каразина в том же бархатном домашнем халате за письменным столом.

– Я к вам, Василий Назарьевич, с приятной вестью: вам приказано тотчас же явиться в канцелярию генерал-губернатора, а зачем, о том будет сказано по прибытии.

Перо в руке Каразина зацепилось за бумагу и брызнуло чернилами.

– Хочу видеть приказание в письменном виде...

– В письменном не имеется, только в устном. И не приказание, а, скорее, дружеская просьба, – слукавил Лубецкий, почувствовав дух упрямства в ответе статского советника. – Я вас подвезу в моих санках.

– Как прикажете понимать: я арестован или приглашен генерал-губернатором на беседу?

– Конечно, приглашены... Для меня было бы весьма и весьма прискорбно подвергнуть вас арестации.

Пристав Лубецкий привез Каразина в канцелярию генерал-губернатора, куда уже успел прибыть обер-полицмейстер Горголи.

Пока привезенный ожидал в приемной, Лубецкий доложил Милорадовичу, как брал Каразина с квартиры и что тот говорил в ответ на объявление о явке.

Милорадович распорядился, обращаясь к обер-полицмейстеру:

– Сними деликатно письменный допрос, а допросив, объяви ему, бог мой, об аресте и отправке в Шлиссельбургскую крепость. Сам поедешь к нему на квартиру, захватишь все бумаги и доставишь мне в запечатанных пакетах.

Глинка стоял у догорающего камина и ни одним словом не вмешивался в распоряжения генерал-губернатора.

Горголи, выслушав наставления, вышел в приемную к нервно возбужденному Каразину, который, чтобы заглушить сильное волнение, обеими руками дергал свои сидящие бакенбарды.

– Пройдемте вон в тот покой, – указал обер-полицмейстер на дверь, возле которой стоял караульный с ружьем.

Они вошли в комнату, похожую на тюремную камеру: кроме скверного стола и такого же скверного стула да железных решеток на окне, глаза ничего не увидели.

– Мне приказано, досточтимый Василий Назарьевич, деликатно снять с вас письменный допросец.

– Кем? Какой допрос?

– Самим графом Михаилом Андреевичем. Да-с, графом...

– Но он же приглашал меня для беседы с ним?..

– Вот мы и побеседуем. Расскажите-ка откровенно о вашем участии в составлении обращения Семеновского полка к Преображенскому. Список с одного обращения был найден под вашими окнами.

У Каразина вдруг сделались как бы неживыми немигающие выпученные глаза, и нижняя губа отвисла, словно у старой лошади.

– Что?! Что вы с-сказали, милостивый государь! – словно обуянный приступом безумия, вскочив, закричал Каразин. – Немедленно передайте господину генерал-губернатору, чтобы он выкинул из своей головы столь подлые мысли обо мне! Если бы я сочинил такую зловредную прокламацию, то разве бы я стал бросать ее у себя под окнами или близко дома? Допросите всех моих людей и прочих жильцов, и вы убедитесь, как ошибочны оскорбительные подозрения столичного и слишком доверчивого своим помощникам генерал-губернатора. И знайте, что в моей судьбе всегда принимал самое близкое, поистине отеческое участие сам государь, он взыщет с виновников за несправедливую обиду, что причинена мне...

Много разных доводов в доказательство своей невинности приводил взбешенный Каразин, но в протокол допроса обер-полицмейстер не занес и десятой доли.

Закончив допрос, совершенно равнодушным голосом он объявил:

– Приказом графа Михаила Андреевича вы арестованы и под караулом отправляетесь в крепость впредь до особого распоряжения.

Каразин отскочил от стола, лицо его сделалось блее стены.

– В крепость? Да в своем ли уме господин генерал-губернатор? У меня жена... Семеро детей... Я недавно обласкан самим государем... Он, это известно всей столице, великодушно избавил меня от ужасного бремени – разорительного долга. Меня лично хорошо знает полковник Глинка – мой недавний начальник по Вольному обществу любителей российской словесности. Прошу позвать его!

– Глинка уехал домой, – наобум лазаря отвечал Горголи.

– Разрешите мне проститься с семьей и привести в порядок бумаги.

– Удовлетворить вашу просьбу не могу, сие превышает мои возможности.

– Позвольте мне всего на одну минуту увидеться с графом.

– Граф просил не нарушать его уединения, он занят составлением спешного письма его величеству. Итак, милостивый государь, долг службы обязывает меня...

– Что же будет с моими бумагами?

– Возможно, ими поинтересуется граф. Мне приказано, отправив вас в крепость, ехать к вам на квартиру за бумагами.

– Я рад, что такому благородному человеку поручено взять мои тетради! – обрадовался Каразин. – Бумаги меня оправдают. На них теперь вся моя надежда. В них и пороки мои, и глупости, и семейные ссоры. Я прошу вас запечатать их при моей жене и передать в собственные руки его величества... – как бы в полузатмении торопливо говорил Каразин. – Могу ли надеяться на исполнение моей единственной просьбы? Из бумаг государь ясно увидит все мои тайные связи и знакомства, узнает сокровенное моей души, мои помыслы и желания...

– Мне приятно будет хотя бы чем-нибудь помочь вам, – обещал Горголи, помышляя лишь о том, как бы поскорее закончить дело.

Каразина под караулом повезли в крепость, а обер-полицмейстер, передав Милорадовичу протокол допроса, отправился за бумагами арестованного.

С Финского залива дул пронзительный сырой ветер. В лужах, подернутых рябью, отражался свет тусклых уличных фонарей. Улицы были почти безлюдны. А Горголи, подняв воротник шинели, что-то насвистывал и время от времени чему-то улыбался.

Вскоре пять плотно набитых вместительных пакетов за печатами легли на стол генерал-губернатора.

– «В собственные руки его величества». Чья надпись? – спросил Милорадович, таща за угол к себе объемистый пакет.

– Самого Каразина, – ответил Горголи.

– Вишь, какой предусмотрительный. Да вот желания его исполнить не могу. Его величество далеко, а передавать в собственные лапы – пардон, пардон! – передавать в собственные руки его очаровательному и всегда необыкновенно ласковому ко мне душеприказчику, то есть в собственные когти Силы Андреевича, не хочу – оцарапит.

Вдвоем с Федором Глинкой Милорадович распотрошил все пакеты, пренебрегнув грозно предостерегающей надписью, и принялся за просмотр бумаг.

Но скоро графу наскучило это занятие, и весь каразинский архив он сдвинул на край стола к Глинке.

– У меня нет никакого желания копошиться в этом ворохе. Просмотри, Федор Николаевич, насколько терпения хватит. Если попадется что-нибудь достойное внимания и нужное в дальнейшем для ведения дела, отложи. Составь опись бумагам, а там решим, что с ними делать. Надо приструнить сего неисправимого возмутителя спокойствия нашего благословенного государя императора... Давненько я не заглядывал в театры из-за Семеновской встряски, но, кажется, в столице ныне полное спокойствие. Завтра бенефис у одной из очаровательных фей...

Трудолюбивый чиновник для особых поручений старательно прочитывал страницу за страницей каразинские бумаги, расшифровывал подозрительные словесные ребусы и шарады, под которыми спрятаны были определенные события, лица, имена, разговоры, мысли, идеи, вдумывался в заметки к будущим журнальным статьям и речам в Вольном обществе любителей словесности, но с особой тщательностью он просеивал и провеивал фразу за фразой, слово за словом из проектов и предложений, в разное время пересланных неумным статским советником царю и графу Аракчееву, из писем и донесений к министру внутренних дел Кочубею, к митрополиту Евгению – другу и единомышленнику.

Там и тут на разных страницах и в разной связи Глинка находил упоминания и о себе.

Бумаги помогли заглянуть в душу Каразина, увидеть в истинном свете суть его, которую он не хотел обнаруживать даже перед своей семьей. Его попытки настойчиво стучаться в царскую дверь с надеждой на ответ и понимание отнюдь не были плодом расстроенного воображения и болезненного ума. Тревога и с каждым днем нарастающий страх возникали в нем едва ли не потому, что он раньше и вернее других угадывал чутьем обеспокоенного за свою судьбу помещика зарождение вихрей в умах и настроении современников, безошибочно определял расстояние от непрочного благоденствия до надвигающейся неотвратимой ломки всего, что так мило и дорого было его сердцу, без чего он не мыслил будущее России, что хотел оградить от разрушения и сохранить на века.

Не мания величия непризнанного государственного ума десятки лет не давала покоя Каразину. Где бы ни жил он – на Украине, в Москве, в Петербурге, – повсюду тревожился об одном и том же: каким образом сделать жизнь дворянскую вечным раем для дворян. Чутье крепостника-землевладельца редко обманывало его в том, по какую сторону искать друзей, по какую противников. Он одинаково негодовал против предприимчивых недругов и бездейственных друзей самовластья, требуя удаления с пути дворянства как тех, так и других. Но в награду за все усилия получал лишь подозрения со стороны властей, вражду и ненависть со стороны вольнодумцев.

Милорадович заглянул в кабинет к Глинке:

– Есть ли что, полковник?

– Есть, есть, Михаила Андреевич, – расстегивая на коленях портфель, отвечал Глинка.

– У вас великолепное чутье, граф, вы не ошиблись, препроводив сумсбродного вольнодумца Каразина в Шлиссельбургскую крепость.

– Говоришь, сей храбрый заяц оставил на петербургском заплеванном снегу следок? Есть скидки?

– Да еще какие...

– Если так, то на этого храброго зайца и члена многих ученых обществ нам надо напустить всех самых крупных столичных борзых – уж они ему зададут гонку... – О

предстоящей расправе над человеком генерал-губернатор говорил шутливо, как о невинной забаве. – Личностей касается?

– На каждой странице...

– Больших задевает?

– Никому не дает пощады, в том числе и нам с вами.

– Храбрец... Ну и храбрец... Читай!

– Выборочно или подряд?

– Подряд – долго и скучно. У меня, видишь, душа моя, важное письмо не дописано!

Глинка начал читать обведенные красными чернилами места из довольно откровенных и по-либеральному резких дневниковых записей, обращенных преимущественно к министру внутренних дел.

– «Вероятно ли? в самих глазах друзей сих, многия тысячи народа, запроданныя как рабочий скот подрядчикам, вопиют к небу, и вспоминая своих несчастных жен и детей, оставленных за семьсот и более верст на скудных нивах, в одиночестве, со слезами безславят имя государя (тогда, как он ни о чем столько не заботится, как о доставлении им благосостояния и свободы!) и они сего не донесут ему! не обратят ниже единым словом внимания его человеколюбивого сердца на **такой** предмет!.. не избавят его от неправильных укоризн народа...»

– Карбонар! Какой карбонар! – качал головой осанистый граф Милорадович.

– «...Укоризн народа, его обожать рожденного!.. И эти люди, – с расстановкой, внятно продолжал читать Глинка, – смеют себя называть друзьями царя, лучшими сынами отечества в нынешнее просвещенное время!»

– А ведь, ей-богу, этот Каразин не дурак! – звякая шпорами, весело говорил Милорадович. – Не дурак, но какой при этом мерзавец! Выписку этого бранчивого места послать графу Аракчееву и всем главным министрам, сенаторам и членам Государственного совета, особенно тем, кто поглупей, но позлей! Пускай они всей сворой пощиплют храброго зайца... Однако, полковник, кого же он разумеет, выделив и подчеркнув слова: «**эти люди**»?

Глинка нашел нужное место.

– «...Помещики Витебской губернии граф Борх, сосед его – Платер, Шадурский, Михельсон, Шишкин, Могилевский, граф Сологуб, князь Любомирский, Кроиер (картежник и любимец графа М.) отдают своих крестьян подрядчикам на целое лето, то есть, от 10 мая по 10 октября в работу на дорогах, получая по 110 рублей за человека; кормить их должны подрядчики чем заблагорассудят, а покоить под открытыми небом!»

У Милорадовича на холеных нежных щеках, не поддающихся старости, проступил заметный румянец – под буквой М. он, конечно, сразу же узнал себя. О его неоднократном заступничестве за Кроиера в Сенате и перед императором знали многие.

– Какой удалец: и по мне пальнул! Я люблю честный бой, но только не с мелюзгой, – с прежней веселостью рассуждал Милорадович. – Чувство мести мне не известно, тем более преследование человека в личных видах. Всякий генерал-губернатор не есть бог и даже не есть апостол, и ругать генерал-губернатора может и должен всякий, чтобы наши генерал-губернаторы стали поумнее, потому что среди генерал-губернаторов уж очень много непревзойденных глупцов! С Кроиером я дружил и дружить буду, хотя это и не нравится Каразину... Личная обида, нанесенная мне, – ничто, но огульное опорочение всех близких друзей царя обязывает меня вспомнить о предоставленных мне полномочиях и долге, возложенном на меня... И еще какие поклепы возвел он на правительство и знатных особ?

– Извольте послушать: «Не удивляюсь, что своевольные и развращенные правительства, признавая так называемые либеральные начала за истину, ищут скрывать их от народа, дабы продолжать господствовать. Но христианская монархическая система не только не должна быть тайною для кого бы то ни было (не исключая последней черни)...»

– О-го-го-го! Куда хватил! Не исключая самой **черни**! – воскликнул Милорадович и пересел с роскошного дивана на жесткий стул рядом с Глинкой. – Санкюлот! Настоящий санкюлот под личиной помещика! Дальше! Дальше!

– «...Но она должна быть всегласно проповедуема на улицах, на площадях, в церквах, на всех народных сборищах... Делается ли у нас это?.. К сожалению, совсем нет, а делается

противное. Боятся дать повод рассуждать о взаимных отношениях правительства и народа...»

– Экстракт в собственные руки его величеству, с нашим объяснением! Как возвратится из Троппау – и прямо на стол! – подсказывал Милорадович. – Читай дальше.

И Глинка читал:

– «Полиция с жезлом в руках, – цензуры, духовная и гражданская с затворами для слов и мыслей, поставлены на страже, чтоб не прокралась в народ какая-либо черта сей благодетельной системы, успокаивающей всевозможные волнения умов...»

– Его величеству в собственные руки! Дальше!

– «...Рукою власти возводит католических еретиков на кафедры, – читал Глинка, – гонит и смешивает все религии, все начала; учреждает училища, но подчиняет их невеждам или фанатикам, подобным слабоумному монаху Фотию; запрещает говорить и печатать все то, что не отвечает духу мистицизма и вавилонского смешения!»

– Выписку сего бреда сразу в трое руки: государю, графу Аракчееву и князю Голицыну! Берегись, храбрый заяц! Еще что тут есть?

– Проект политического катехизиса для народа.

– Ну-ка, давай, давай!

– Заканчивается сей катехизис такими словами: «Я говорил истину языком потомства».

– Хочу послушать язык потомства! – оживился Милорадович.

Глинка стал читать отдельные извлечения из катехизиса.

– «Всякая власть, всякое старшинство без обязанностей, есть злоупотребление в обществе и грех перед богом. Это суетное изобретение человеческое, а не установление божие. Наконец, государь, представляющий последнюю степень власти перед богом, необходимо должен заимствовать свой разум от высочайшей его премудрости. Сим образом открывается необходимость в Совете; ибо разум одного человека ограничен», – закончил чтение Глинка.

– Вон чего захотел храбрец – власть государя, от бога данную, возмечтал заменить каким-то советом, – проговорил Милорадович с казенной возмущенностью, в которой Глинка уловил глубоко скрытую иронию. – Слава богу, у нас есть один такой Государственный совет, и хватит с нас. Совет тогда хорош, когда подальше от него живешь. Подчеркни в нашем истолковании пожирнее то место, где он считает разум благословенного ангела нашего **ограниченным**. Уж если первое лицо в государстве ограничено, то каков же оком тех, кто под ним? Ах, Каразин, Каразин, какой болтунище...

Каразинские тетради и бумаги с многочисленными красными пометами, сделанными Глинкой, генерал-губернатор велел запереть в железный шкаф. В этом шкафу вместе с делами, предназначенными в собственные руки государя, лежали душистые коробки с преподношениями, купленными для очаровательной примадонны, и письмо, над которым он не один вечер трудился с пылом и страстью молодости.

Ни генерал-губернатор, ни его чиновник для особых поручений в продолжение всего свидания ни слова не сказали друг другу о том, что говорилось взглядом. Вольнодумство Каразина и пристрастие его к сочинительству проектов для правительства и государя не таило в себе – и они оба понимали это лучше других – решительно никакой опасности для общественного спокойствия. Каразин для Милорадовича, а еще больше для Глинки был нежелателен и даже серьезно опасен не монархическим вольнодумством своим, а стремлением любой ценой обогнать всех в служении монарху, действительностью верноподданнических убеждений. Глинка хорошо знал генерал-губернатора и точно направил удар его решительной и властной руки.

– С утра продолжишь сортировку бумаг, – сказал Милорадович, отпуская утомленного Глинку.

В сырой мрачной каморе было душно, тесно; сидеть и лежать приходилось по очереди; от продолжительного стояния на одном месте деревенели, отекали ноги. И

несмотря ни на что донельзя изможденные узники оставались, как и в начале, крепки духом. О их твердости с восхищением говорила вся аристократическая столица.

У Дурницына нынче туманилось в глазах и временами подкатывала к горлу тошнота: он почти вот уже сутки оставался на ногах, уступив доброхотом свою очередь полежать совсем ослабевшему Амосову, который сильно маялся от расстройств живота: гнилая пища да вода, разбавленная уксусом, заместо квасу, свалили многих. Нескольких уже отвезли в лазарет; но и в лазарете класть хворых некуда, как и в каземате, лежат на полу.

За долгие дни томительного заточения сказаны и пересказаны все неистощимые запасы былей и небылиц, преданий и сказок, анекдотов и забавных побасенок, без которых еще ни один солдат на Руси не служивал.

Тусклый образок, висевший на осклизлой серой стене, рябой от бесчисленных раздавленных клопов и тараканов, оказался очень кстати: на него клятвенно крестился всякий перед тем, как отправиться на очередной допрос в следственную комиссию.

Угрюмый караульный ввел в камору унтер-офицера Петра Федорова, который служил в 3-й фузелерной роте, но посажен был вместе с государевой ротой.

– Исповедался, Петруха? – спросил Дурницын. – Только посидеть-то негде, становись рядом со мной.

– Исповедался...

– Без причастия или с причастием по усам?

– До рукоприкладства не дошло, но висело на волоске. Три часа стращали.

– А чем: судом божьим или отсечением головы по-здешнему? – раздался с нар голос свирепо сверкавшего глазами Штанникова.

– Все внушали, мол, что для тебя, Федоров страшнее: зачинщиков назвать и за то получить милость от самого государя императора или быть повешену вместе с другими подмучниками и заговорщиками? – стал рассказывать Федоров подробности допроса. – Можно сказать, главный допрашатель – без пяти минут палач...

– О чем больше допытывались?

– А все о том же.

– А ты, Петро?

– Как условлено промежду нами, так и отвечал, и ни одного слова лишнего. Зачем они лишние-то? Чай, не на свадьбе за столом.

– Добро, Петро! В тюрьме да в суде: слово – серебро, а молчание – золото! – крикнул недавно водворенный в каземат фельдфебель Брагин, лежавший рядом со Штанниковым. – И мы твоему примеру последуем: больше знай, да меньше бай, и нигде не пропадешь.

Обросший рыжеватой с сивым подседом бородой Амосов лежал на спине у самых ног Дурницына и временами глухо, словно стыдясь своей слабости, стонал.

– Потапыч, ты из-за меня, ледящего, окаменеешь, на одном месте, будто на часах, стоючи. Полежи, а я встану, – просил Амосов.

– Лежи знай: пока ноги держат, значит, не упал, а уж коль упаду, то и полежу, когда к сатане в лапы ужою, – отвечал Дурницын. – Будь доволен: в почетном карауле над тобой стою, чтобы скорее твоя гребта миновала, – отвечал Дурницын, растирая онемевшие бедра.

– Посиди, Потапыч, все равно в ногах правды нет, – предложил унтер-офицер Мягков, страдавший глазами. – Посиди, а я постою.

– На такой побит и я согласен!

Дурницын осторожно перешагнул через лежавших вповалку и сел на конец доски, что служила скамьей для всех.

– Хорошо, нагрел место, как клуша гнездо, – похвалил он уступившего место Мягкова. – По-христиански поступаешь и в соответствии со справедливостью. Помнишь, как рассказывали о человеколюбии капитаны Муравьев-Апостол и Кошкарлов! Значит, ты человеколюб и мог бы вершить правосудие. Говоришь, в ногах правды нет? А в чем же она? Я считал, как раз правда в наш век лицемерный и подлый переселилась из головы и сердца человеческого в ноги, поближе к пяткам, вместе с собой и совесть прихватила. Раньше баяли: правда у Петра и Павла, а нынче она в чьих руках? Ума не приложу...

– А почему правда поселилась ближе к пяткам? – спросил кто-то из мрака дальнего угла.

– А чтобы при необходимости окончательно убежать от людей, – отвечал Дурницын. – Так-то оно так, но куда бежать? В темный лес? В Москву? К татарам в Крым? Вот времячко-то, братцы, пришло: правде некуда деться, негде голову приклонить. В сам деле, друг-товарищ, в толк возьми: куда правда побежит из последнего пристанища: в Москве – бояре, в Крыму – татары, в лесу – черти, в земле – черви; одно остается: лезь мужику в голодное брюхо, окошечко прорубишь, там и зимовать будешь до второго пришествия Христа.

Всех сумрачнее выглядели женатые многосемейные солдаты, никакими шутками и присказками не возможно было разогнать их черных дум и безотрадных предчувствий. Дурницыну это горе было знакомо, но он не поддавался ему.

Он и в заточении не давал падать духом государевой роте.

Каморщик из старых инвалидных солдат открыл дверь и позвал:

– Рядовой Амосов, на допрос!

Каморщик не захотел входить и на полминуты в смрадную темницу и поскорее закрыл дверь.

Амосов с трудом поднялся с полу.

– В третий раз... Вот привязались...

– Васюк, неколебимо держись общего уговора нашего: ничего и никого не знаю, потому и зачинщиков назвать не могу, – напомнил Дурницын. – Помытарят и отвяжутся, а для пущей твердости духа глянь на образок, – указал Дурницын на тусклую иконку, – именем господним снова укрепишь памятью и разумением и держись нерушимо. И каждый из нас останется таким до конца...

Амосов, мертвецки бледневший при каждом вызове в комиссию, поглядел на тусклую настенную иконку. В глазах у него мутилось. От слабости во всем теле его шатало из стороны в сторону.

– Ну, с богом, Вася!

– Не робей!

– Держись, милый, держись!

И Амосова под ружьем повели в дом коменданта крепости.

Часа через два его привели обратно в переполненную душную камеру.

И когда дверь захлопнулась, Дурницын спросил бледного Амосова:

– Ну как, устоял, Васюк?

– Устоял...

– Долго что-то соборовали?

– Зачинщиков ищут. Я одно говорил: нет и не было среди нас зачинщиков, все мы виноваты в равной мере.

– Молодчина! – шлепнул Амосова ладонью по плечу фельдфебель Брагин.

– О командирах наших много спрашивали...

– Пускай спрашивают, – с чувством победителя заговорил Дурницын, – они – сила, а мы – тоже не соломинка! Стой дружной стеной, и никакой ветер не уронит...

Лязгнул ржавый ключ в двери и послышался голос:

– Дурницына и Брагина на допрос!

– Слава тебе господи, и про нас не забывают, – сказал Дурницын, перекрестился на иконку и пошел в коридор.

11

В морозном воздухе белесыми столбами дым поднимался к небу. Дровяное тепло согревало дворцы и лачуги. Обозы с сухими березовыми дровами со всех сторон тянулись к столице.

А в казематах Петропавловской крепости круглый год было холодно, сыро и душно. Печи грели плохо. Да и что за печи. Давно не чищенные трубы не вытягивали дым. Заключение в камерах часто угорали до полусмерти и потому не рады были никакому теплу.

Комиссия военного суда над 1-м батальоном лейб-гвардии Семеновского полка быстрым порядком приводила дело к окончанию. Командующий гвардейским корпусом

поторапливал суд, чтобы к возвращению царя в столицу в ней и не пахло мятежным духом прежнего Семеновского полка.

Дежурный генерал Закревский вел беспрестанную переписку с начальником Главного штаба Волконским, который вместе с царем недавно переехал в Лайбах.

В начале января очередное донесение Закревского было доставлено фельдъегерем в Лайбах и тотчас же начальником Главного штаба доложено царю. Александр не захотел утруждать себя чтением рапорта. Волконский пересказывал ему соображения дежурного генерала относительно семеновцев.

– Менее виновных нижних чинов Закревский намеревается отправить в Порхов...

– Зачем? Порхов слишком близко от Петербурга, – задвигал бровями царь.

– Отправить в Порхов и расположить их там до воследования высочайшей конфирмации на мнение аудиториата.

– До Порхова рукой подать от Зимнего дворца, – повторил царь. – Закревский не учитывает всего, что учитываю я.

– Он испрашивает высочайшего соизволения. Только если оно воследует, он отправит менее виновных нижних чинов в Порхов.

– Под чьим надзором?

– Под надзором принадлежащих к батальону офицеров и унтер-офицеров.

– А если сии последние окажутся главными виновниками возмущения?

– В таком случае он считает возможным прикомандировать к ним впредь до распределения по армейским корпусам унтер-офицеров из полков 1-й гренадерской дивизии.

– А кто мне может поручиться за надежность унтер-офицеров из этой дивизии!..

– Далее Закревский полагает принадлежащий нижним чинам багаж при отправлении их из крепости в Порхов вывезти на третий переход от Санкт-Петербурга и там раздать по принадлежности, одновременно распорядиться об отпуске им в дорогу тулупов и теплой обуви.

– Согласен, – вяло сказал царь. – Но только чтобы выводить из крепости по полуночи и без стечения черни и свидетелей из других полков. А как он думает поступить с теми нижними чинами, которые окажутся виновными?

– По воследовании высочайшей конфирмации Закревский полагает произвести им постановленное наказание шпицрутенами в присутствии полков 1-й гвардейской дивизии.

– А как с теми, которых определено будет высечь плетью?

– Наказание плетью Закревский собирается исполнить на Конной площади в Петербурге.

Царь обеими руками начал тереть ожиревший затылок. Смутный взгляд его чем-то напоминал Волконскому взгляд мученика.

– Опасно на Конной площади – близко столичная чернь. Чернь может затеять новое смятение и дурно повлиять на гарнизон.

– И на сей случай Закревским взяты будут своевременные меры, – объяснял Волконский. – Чернь будет укрощена. Спокойствие между гарнизоном и чернью во время экзекуции будет сохранено совместными мерами Закревского, Васильчикова и Милорадовича.

– Меры мерами, а бунт бунтом. Чернь любит ликовать при виде погромов и виселиц.

Царь лениво протянул руку к бумаге и нетвердым почерком на полях докладной записки начертал свою волю:

«Невинных или менее виновных отправить всех прямо в полки 3-го пехотного корпуса по направлению, мною назначенному для людей, кои оставались в казармах 1-го батальона».

Положил перо. Но через минуту снова взял и добавил к написанному:

«При отправлении же из крепости наблюдать: чтобы их выводить вдруг не более десяти человек и, проводя через Петербургскую и Выборгскую сторону на Охту, переправлять через Неву у Рыбачьей и оттуда прямо вести в село Славянку, а оттуда через Гатчину далее по маршруту. Тех же, коих имена будут упоминаться в деле или будут почему-либо нужны делу, всех отправить через Охту же и Рыбачью в Шлиссельбургскую крепость для содержания до окончания дела. В город же Петербург ни одного не впускать».

Он вернул докладную записку Волконскому и добавил:

– Касательно офицеров и унтер-офицеров и багажа солдатского исполнить по представлению дежурного генерала. Наказание виновных шпицрутеном полагаю удобнее исполнить не в 1-й гренадерской дивизии, а в новом Семеновском полку, оная экзекуция послужит блистательным для него уроком.

Волконский ниже царских строк вписал и это.

Нарочный фельдъегерь доставил царское послание в Петербург.

Дежурный генерал Закревский, вчитываясь в резолюцию, небрежно набросанную на полях его докладной записки, большую часть ее находил бессмысленной.

– Глина этот князь Волконский: не сумел или не захотел убедить государя в том, что можно и чего нельзя сделать. И без того столица полна всяких толков насчет старого и нового Семеновского полка, – в присутствии адъютанта сердито бранился генерал. – Неужели ни тот, ни другой не понимают, требуя во что бы то ни стало произвести экзекуцию в новом Семеновском полку, что это послужит к его бесчестию? Ведь новый Семеновский полк во всех правах равен прочим гвардейским полкам. О чем они там за границей думают?

Он принялся за составление новой докладной записки на имя начальника Главного штаба.

Написал и вслух зачитал своему адъютанту, с тем чтобы выслушать возможные замечания.

– Я полностью солидарен с вами, Арсений Андреевич, – отвечал адъютант. – Вы, бесспорно, правы, когда говорите, что отправка виновных из Петропавловской в Шлиссельбургскую крепость может стать сильной причиной разных крайне нежелательных толков. Всего этого можно избежать, оставя виновных нижних чинов там, где они теперь находятся. Прочность Петропавловской крепости не уступает прочности Шлиссельбургской.

– А что скажешь о наказании бывших семеновцев в новом Семеновском полку?

– И по этой части, Арсений Андреевич, доводы ваши заслуживают полнейшего уважения. Никак нельзя наказывать виновных в новом Семеновском полку, это может явиться плохим примером. Экзекуция именно даст такой неблагоприятный вид, как будто и новый полк уже замыслил неповиновение или бунт, подобно прежнему.

– О том и толкую я этой бабе – Волконскому. Подозревать новый Семеновский полк не можно и не должно. Надо щадить самолюбие солдат и офицеров гвардейского полка.

– Нельзя ли только, Арсений Андреевич, смягчить одно опасное выражение во избежание могущего последовать раздражения со стороны начальника Главного штаба и гнева государя.

– Какое же выражение?

– Вы пишете, чтоб честь нового Семеновского полка не была оскорбляема сим действием, которое нельзя не назвать постыдным. Постыдным – не слишком ли крепко сказано?

– А разве такое действие, если оно совершится, не постыдно? Постыдно! Посему не изменю.

Нарочный гонец повез докладную записку дежурного генерала в Лайбах.

Волконский, прочитав ее, на докладе царю назвал представление Закревского дерзким и непродуманным. Он советовал еще раз подтвердить прежде сделанное высочайшее повеление к неуклонному и точному исполнению. Доводы Закревского начальником Главного штаба были названы столько же легковесными, сколько и вредными.

– Ваше величество, пора бы дать понять генерал-адъютанту, чтобы он в своих донесениях на высочайшее имя избегал столь не подобающих для всякого верноподданного выражений, как, например, «осмеливаюсь мыслить...» Мыслит государь, а мы – безупречные исполнители его повелений. Мыслить, наконец, можно, когда государь призовет нас к исполнению сего долга. А осмеливаться мыслить самовольно и к тому же вразрез с высочайшим повелением по меньшей мере неприлично.

Волконский давно вынашивал замысел сместить дежурного генерала, и сейчас, ему казалось, подвернулся подходящий момент. Изгнание Закревского из Главного штаба зависело от настроения царя.

Немало Волконский потратил усилий, чтобы склонить мнение Александра на свою сторону против влиятельного Закревского. Но нынче царь не поддавался его внушениям.

– Утвердить мнение дежурного генерала касательно второго и третьего пункта, – к огорчению Волконского распорядился сумрачный царь. – Наказание учинить 2-м Карабинерным полком, за рекою расположенным, дабы приговоренных к экзекуции через город не водить, а прямо к полку Карабинерному.

Прикусившему язык начальнику Главного штаба ничего иного не оставалось, кроме как безропотно и дословно записать царское повеление на полях докладной записки, что он и сделал в присутствии государя за царским столом и царским пером.

Александр вынул из портфеля еще какую-то бумагу.

– С проектом Васильчикова относительно быстрейшего устройства тайной военной полиции при гвардейском корпусе я ознакомился и нахожу соображения начальника гвардейского корпуса своевременными и полезными. Каково ваше мнение, Петр Михайлович?

– Всякое истинно благоденствующее государство, ваше величество, для своего дальнейшего процветания нуждается в прочно поставленной тайной военной полиции.

– Я тоже так думаю, князь. Я все больше убеждаюсь: у Васильчикова голова не только для шапки. Доводы его в пользу учреждения военной полиции блистательны! Он совершенно прав, когда доказывает необходимость для начальства гвардейского корпуса иметь самые точные и подробные сведения о расположении умов, о замыслах и намерениях всех чинов.

– Да, да, ваше величество, сей корпус окружает вашу священную особу, и мы должны знать, что не только на языке, но и на уме гвардейцев.

– Я согласен с Васильчиковым и в том, что после семеновской истории ныне и за самими полковыми командирами надо строго наблюдать, – разбирая пункт за пунктом весь проект, продолжал Александр. – Беспокойное брожение умов во всей Европе должно насторожить и нас. И в России могут найтись злонамеренные люди.

– Злонамеренные, государь, всегда недовольны самым лучшим правлением, даже таким, каким является ваше царствование.

– Мы не ограждены от распространения пагубных затей. Чужеземцы через подосланных тайных агентов могут просочиться в общество.

– Конечно, государь, они прилепятся прежде всего к гвардии. И без военной полиции никак не ухватишь таких лазутчиков.

– Теперь для меня ясно: чтобы гвардия не перестала быть гвардией, дух ее нужно оздоровить безотлагательным учреждением военной полиции при гвардейском корпусе, – Александр вслепую протянул руку с пером к чернильнице. – Именно так и нужно сделать, чтобы само существование военной полиции покрыто было непроницаемой тайною. С удовольствием подписываю сей столь нужный для блага отечества проект.

Он написал сверху листа: «Быть по сему. Александр. Лайбах, генваря 4-го 1821 года».

12

Новый год ротмистр Чаадаев встречал в семействе Шаховских. Много здравниц было сказано в новогоднюю ночь в честь бывшего Семеновского полка и его командиров.

В Демутов трактир, к себе в номер, он вернулся только к вечеру на другой день и принялся за письмо княгине Анне Михайловне Щербатовой в Москву.

Так легко никогда не писалось, как нынче. Чувство у Чаадаева было такое, будто он после длительного пребывания в душной темнице вырвался на волю, где ему уже больше не грозит заточение; душа его пребывала как бы в состоянии вольного, беспрепятственного полета.

Он сидел, склонившись над письмом, когда вбежал к нему Бестужев-Рюмин, удрученный неотвратимым отъездом в армию. Разлука с петербургскими друзьями страшила его. Но особенно не хотелось расставаться с Чаадаевым, к которому Михаил привязался, как к родному брату.

Чаадаев тонко чувствовал нежную привязанность к нему юного друга и привечал его с радушием, идущим от всего сердца.

– Как проводили старый год, Петр Яковлевич?

– С той же генеральской торжественностью, с какой Васильчиков и Бенкендорф провожали Семеновский полк в Петропавловскую крепость, – привлекая в объятия юного офицера, отвечал Чаадаев. – А Новый встретил с радостным пламенем в груди. Нынче у меня так легко и светло на душе, будто я только что повстречался с Пушкиным на Невском. Давай пить чай.

– Последний чай... Я ведь заехал проститься... Уезжаю в армию... У подъезда сани со всеми бренными пожитками.

За прощальным чаем Чаадаев показал Бестужеву-Рюмину письмо на французском.

– Вот написал любезной моей тетушке в Москву, что я больше не слуга царю.

– Вам же сам государь обещал в ближайшем флигель-адъютанта...

– Мишенька, все решено бесповоротно. Я подал просьбу об увольнении. И надеюсь, что она будет уважена.

– Ведь я сначала не верил, что вы серьезно просите отставки, – признался Бестужев-Рюмин.

– Почему же не верил?

– Я и сейчас, Петр Яковлевич, не могу понять, что заставляет вас поспешить с уходом со службы в то время, как вы вот-вот должны получить то, чего, по-видимому, так желали, чего все так добиваются.

– Да, Мишель, очень желал.

– Для совсем молодого человека в вашем чине то, что ожидало вас, было бы самой лестной наградой.

– Ну, теперь-то мне верите?

– Поневоле приходится верить. Многие у нас полагают, что вы просите об отставке с умыслом придать ей больше весу, а поездка в Троппау была исключительно к вашей выгоде.

– Заблуждаются, кто так думает. Пройдет немного времени – и они убедятся в своем заблуждении.

– Но зачем же вы так торопитесь с отставкой? Если правильны упорные слухи об обещанном вам назначении флигель-адъютантом, то не разумнее ли было не поспешать?

– Слухи правильные, Мишель. По возвращении императора меня действительно хотели назначить адъютантом к нему.

– Вы уже были у самой цели.

Чаадаев засмеялся и по-французски прочитал отрывок из письма к тетушке:

– «Я счел более забавным пренебречь этой милостью, нежели добиваться ее. Мне было приятно высказать пренебрежение людям, пренебрегающим всеми. Как видите, все это чрезвычайно просто. В сущности, надобно сознаться, я очень доволен, что мне удалось отделаться от благодетелей, так как скажу откровенно – нет на свете человека столь высокомерного, как Васильчиков, и моя отставка будет настоящим сюрпризом для него».

Перед Бестужевым-Рюминым впервые с такой необыкновенной яркостью сверкнула новая грань в характере мудрого ротмистра. Его соображения и чувства становились более понятными. Одного не мог решить Бестужев-Рюмин: является ли поступок Чаадаева отказом от честолюбивых устремлений? Если да, то оправдан ли такой отказ и не умаляет ли он офицерской гордости?

Об этом он и спросил Чаадаева.

– Я слишком честолюбив, мой милый друг, чтобы удовлетвориться чьей-либо милостью и пустым почетом – неизбежным следствием ее, – отвечал Чаадаев. – Всякая милость и всякий почет подобны красивой мебели или дорогому экипажу. Желание иметь какую-нибудь игрушку не чуждо и людям серьезным. Я решил за игрушку отплатить игрушкой.

– Но Васильчиков навсегда затаит против вас злобу.

– Знаю, Мишель. Мне приятно видеть злобу высокомерного глупца.

– И все-таки, Петр Яковлевич, мне очень грустно быть свидетелем вашего ухода в отставку, – не скрывал своей печали Бестужев-Рюмин. – На что же вы думаете, став партикулярным лицом, употребить свои силы?

– Я чувствую себя лишним человеком на родине, в России мне нечего делать, – с грустью говорил Чаадаев. – Сначала мы с братом поселимся в Москве, отдохнем от здешнего шума и суеты, потом через некоторое время брат поедет в свое имение, а я – в Швейцарию, где и поселюсь навсегда...

– Извините меня, так ли я вас понял? – удивленно переспросил Бестужев-Рюмин. – На несколько лет, вы хотите сказать?

– Нет, Мишенька, я не оговорился. Я намереваюсь остаться навсегда в Швейцарии. Но ты, мой друг, не печалься: я буду навещать моих родных и друзей через год, через два, однако отечеством моим будет Швейцария. – Чаадаев на минуту закрыл глаза рукой. – Мишель, вы знаете, я безгранично люблю Россию, но своей особой любовью... Вы, как друг мой, поймите: отныне иного выбора у меня нет. Надежды и упования гибнут, рушатся. Мне невозможно оставаться в России по многим причинам.

Отзывчивый Бестужев-Рюмин готов был зарыдать от непреодолимой тоски, теснившей грудь.

Распили на прощание бутылку шампанского. Чаадаев, надев шубу, вызвался проводить юного друга до первой станции.

– Ну, с богом, в добрый час, – простуженным голосом сказал багроволицый бородатый кучер в нагольном одинцовом тулупе и размашисто осенил грудь крестом.

Бестужев-Рюмин с ненавистью и презрением посмотрел в сторону царского дворца и здания Главного штаба и кому-то погрозился кулаком.

Медленно падал сухой снежок.

Санки понеслись по петербургским подбеленным зимой улицам. Говорили только на французском.

– Солдаты семеновцы показали чудеса сплоченности и стойкости духа, – с восхищением говорил Бестужев-Рюмин. – Туполобые генералы, следователи, судьи, а вместе с ними и сам царь посрамлены! Солдаты на манер бородинского испытания еще раз показали наш русский характер! Ни одного признания, ни одного оговора! Ни одного малодушного, ни одного предателя! Чудесные люди, дай им бог всем благополучно и в скором времени выйти невредимыми из мрачных заточений!

– Я тоже молюсь за благополучие всех родных мне семеновцев, – с чувством добавил Чаадаев.

– Прошу, Петр Яковлевич, не торопиться с отъездом из Петербурга, – упрашивал Бестужев-Рюмин. – Вы здесь так нужны, через вас мы будем получать не только нужные нам вести, но и поддерживать связь с мучениками, что томятся в казематах, через вас будем помогать им. Надежных и верных людей осталось так мало...

– Пока поживу, Миша, здесь, а там видно будет...

– По крайней мере до окончательного решения участи узников не покидайте Петербурга... И еще: вдохновите меня надеждой, хотя бы изредка, получать драгоценные весточки от вас. Вы и представить не можете, как вы дороги для меня!

И Бестужев-Рюмин на какое-то время смежил черные густые ресницы. На них садились снежинки и таяли, а Чаадаеву вдруг показалось, что по лицу его друга катится слеза за слезой...

Они замолкли. Застава осталась позади.

На начало 1821 года в Москве был назначен Чрезвычайный съезд Союза Благоденствия, который должен был проходить в строжайшей тайне. От Петербурга в нем должны были участвовать Федор Глинка и Николай Тургенев. Тургеневу удалось легко отпроситься в отпуск по домашним обстоятельствам. Труднее обстояло дело с поездкой у Глинки. Милорадович никак не хотел отпускать в столь горячее и тревожное время своего помощника. Кроме того, Глинке не на что было ехать. Кое-как с помощью Никиты Муравьева для него сколотили тысячу рублей.

Милорадович же продолжал упираться. Глинка свою поездку объяснял желанием ближе и лучше познакомиться с прекрасной архитектурой Донского монастыря, а нужно это Глинке для написания нового романа, героем которого должен стать Амвросий, умерший во время бунта в 1772 году. Генерал-губернатор лишь посмеивался, отвечая, что полюбоваться

архитектурой Донского монастыря можно и в другое, более спокойное время. Глинка не отступал. Он выставлял еще причину: ему как президенту Вольного общества любителей российской словесности давно поступило приглашение от Московского общества испытателей природы приехать в первопрестольную и выступить с чтением на одном из собраний.

– Натура никуда не убежит, – не переставал подшучивать Милорадович, – наша с тобой натура ныне обретается по крепостям и казематам. А роман и московские натуралисты подождут и до весны.

Глинка решил, что поехать ему не придется. Но вдруг мнение Милорадовича резко изменилось, он сам предложил Глинке:

– Поезжай-ка, братец, любоваться прекрасной архитектурой Донского монастыря да заодно поразведай-ка деликатно, душа моя, зачем прикатил в Москву генерал Михаила Орлов и как он проводит время. Он же известный шалун. Московский почт-директор Булгаков доносит своему братцу петербургскому почт-директору, что приезд Орлова в Москву неспроста, что его появление скорее всего связано с неустройством в Семеновском полку.

Глинка покатил в Москву на почтовых. Архитектурой Донского монастыря он на этот раз не любовался, а все время проводил на заседаниях тайного общества Союза Благоденствия в доме Фонвизиных на Малых Кочках. Съезд был трудным и тяжелым. В результате было вынесено решение распустить Союз Благоденствия, все его работы считать прекращенными, а бумаги предать уничтожению, о чем и поставить в известность все местные управы. Проект такого решения был выработан при активном участии Николая Тургенева и Федора Глинки. Но это был всего-навсего тактический маневр. О роспуске Союза Благоденствия объявлялось с тем, чтобы отсечь от него всех случайных, ненадежных, бесполезных. Самоликвидация предполагала возрождение тайной революционной организации на новой, более высокой основе.

С этими результатами и возвратился Глинка на берега Невы. Милорадович целый вечер слушал его увлекательные рассказы о Москве и москвичах, о прекрасной архитектуре Донского монастыря, о колоритном характере Амвросия...

– Значит, самоликвидировались?

– Ничего иного у них и не оставалось, – отвечал Глинка о благоденцах с иронией, как о людях совершенно чуждых ему. – Беспочвенные мечтатели, фантазеры, подражатели чужим образцам.

– Шалуны, душа моя, шалуны! – подхватил Милорадович. – И Мише Орлову пора бы остепениться и не якшаться с юношами.

И Глинка опять с головой ушел в дела, связанные с семеновским неустройством.



Над Шлиссельбургской крепостью вовсю сияло все жарче пригревающее внешнее солнце. А в затхлых казематах, отравленных гнилыми испарениями, и в светлый полдень было сумрачно, душно, сыро.

Каразин, после полугодового пребывания в каменном мешке, стал похож на мертвеца. Худое лицо его покрылось замшелой прозеленью. За все время заточения его ни разу не стригли, не брили и не водили в баню. Вонючий тюфяк, набитый соломой, перетертой в труху, кишел паразитами. К нему ни разу никто не входил, кроме молчаливого, как скифская баба, надзирателя, никто не обмолвился с ним ни одним словом, ни на один его вопрос не последовало и односложного ответа ни от караульного, ни от надзирателя. Ни одной весточки не получил он с воли от семьи, ни одного его слова не передали родным. Он еще больше поседел и боялся сойти с ума от ужасной гнетущей тишины. Слабеющие с каждым днем мысли его бессильно терялись в мучительных догадках: «За что заточили? За какую вину? Чьими хитродумными происками я оклеветан, как самый последний злодей, и приравнен к самым опасным государственным преступникам? Почему граф Кочубей до сих пор не хочет разобраться во всем? Неужели и он – своекорыстный ласкатель государя, забывший свой служебный долг перед престолом? Если бы Кочубей лично заглянул в мои самые сокровенные бумаги разных лет и во все двенадцать объемистых тетрадей моих дневников, а также и во все куверты под литерами «ОС», то легко убедился бы, что меня за все мои бескорыстные старания следовало не в крепость сажать, а просить государя о моем награждении и переводе меня из третьей части книги дворянского родословия в часть первую, в чем мне было без всяких к тому оснований трижды отказано Герольдией...»

Боясь отравления, Каразин первые дни наотрез отказывался от тюремной пищи. Его не принуждали хлебать противную мутную крупяную баланду и жевать заплесневелый хлеб. Но от голодания он вскоре так ослаб, что не мог уже стащить с койки по самой неотложной нужде. Поневоле пришлось есть отвратительную пищу, которую приносили лишь два раза в сутки – в шесть утра и в шесть вечера. Порой он утешал себя надеждами: «Да уж только бы выкарабкаться живым из этого страшного душеморилица, тогда-то я докопался бы до хитродумных главных врагов отечества и моего возлюбленного государя. Я нашел бы путь повергнуться к его ногам и омыть моими чистыми слезами его стопы, облобызать края его одежды... И мне помогла бы в этом великая княгиня Александра Федоровна и ее супруг – великий князь Николай Павлович... только бы вырваться отсюда... Я, моя жена и все семеро наших детей пребывали и до сих пор пребываем в несказанном восторге от сладостного воспоминания о том, как минувшим летом великая княгиня всех нас удостоила чести: вместе с нами в одной карете ехала из Павловска в город. А вдовствующая государыня императрица Мария Федоровна удостоила внимания и одобрила мой проект об устройстве особого училища в пользу простого народа, подобно Фелленбергову и Песталоциеву, но в системе более приличной положению России, духу ее народа и намерениям государя. И после всех сих милостей – крепость, каземат... Кто же тот коварный злодей, что задумал погубить меня и мою семью?»

Каразин навзрыд расплакался от нахлынувших воспоминаний о жизни вместе с семьей в Павловске поблизости от вдовствующей царицы. Теперь те минувшие дни показались ему блаженством рая. Каразины жили на Конюшенной улице в доме хлебника Мейера. Жилось Каразину в Павловске хорошо: он проводил время в повседневных занятиях в богатейшей библиотеке императрицы, досуг коротал в приятных беседах с придворными знакомыми, а чаще и больше всего – с Федором Павловичем Аделунгом и Иваном Павловичем Шамбо. Именно там, в императрицыной библиотеке сидя, он обдумал и вчерне набросал два очень важных письма графу Кочубею; одно из них было предназначено для передачи государю в собственные руки. Но кто проверит: дошло ли то важное письмо до собственных рук императора? И теперь Каразин раскаивался, что эти письма доверил графу, а не передал в руки великой княгине или ее царственной свекрови...

Только бы освободиться... Только бы удалось снова пасть к ногам царя...

От несносного горя, от ядовитых удушающих испарений его дыхание почти прекратилось, в глазах потемнело, и он грохнулся на холодный грязный пол.

Заскрежетал ключ. Дверь со скрипом отворилась. Из коридора потянуло свежим воздухом. В каземат в сопровождении плац-майора вошли полицмейстер Горголи и частный пристав Лубецкий.

– Нечем дышать... Впусти свежего воздуха! – первым делом потребовал Горголи.

– И свечи! Ни черта же не видно! – добавил Лубецкий.

Караульный с разрешения плац-майора принес два подсвечника, зажег свечи и, встав на табурет, вынул стекло из крохотного зарешеченного оконца, что мутнелось почти под самым потолком.

В душный каземат ощутимо влилась струя свежего воздуха. Каразин опять потерял сознание – от пьянящей ли свежести, от ярко ли горевших свеч. Когда его привели в чувство, он жалобно сказал:

– Я плохо вижу... Ничего не вижу... Я здесь ослеп...

Глаза с непривычки ломило, и он закрыл их ладонями.

– Надеюсь, наконец-то господин военный генерал-губернатор воочию убедился, что я не злодей, – не отводя ладоней от лица и всхлипывая, бормотал узник. – Я уверен, что теперь все мои записки просмотрены, все мои знакомые и малознакомые допрошены, все справки обо мне собраны, все научные бумаги перерыты. Я в крепости, во мраке, в полном безгласии, но еще раз утверждаю, что ничего не могло и не может свидетельствовать против меня. И верю, что с вашим приходом, господа, бог даровал мне возвращение к малым детям моим и нежнейшей моей супруге...

Караульный внес убогий грязный стол, поставил чернильницу, положил перо и несколько листов бумаги.

– Господин военный генерал-губернатор приказал взять с уличенного преступника Каразина собственноручное признание на предмет сочинения и распространения пасквилей, – холодно начал Лубецкий. – Признание и раскаяние в содеянном нужно для смягчения вашей участи, чтобы их сиятельство могли обратиться к государю с просьбой о помиловании...

– Я не виноват! Суда надо мной не было! И не в чем мне просить помилования! – истерично закричал Каразин.

– В составлении и распространении пасквилей против вас свидетельствуют многие из ваших близких знакомых. Садитесь и пишите! – приказал Лубецкий.

Каразин рухнул на камни, крестясь на высоко висевшую в углу тусклую иконку; он сморкался, плакал, божился в полнейшей непричастности ни к каким пасквилям.

– Сам бог тому неподкупный свидетель... Я не какой-нибудь отставной подпоручик Рылеев и не забияка и задира Бестужев... Я – потомственный дворянин Каразин... Отец почтенного семейства, не единожды облащенного членами царской фамилии... Я – ученый, много лет возглавляющий всем известное филотехническое общество! Когда мне думать о пасквилях? Бог с вами, господа... В мои-то лета? Да с чего вы взяли? Пасквили пишут злодеи, коим уже терять нечего, пишут их отверженные всеми преступники. На пасквили падки молодые люди. Я же обременен многочисленным семейством...

– Много не болтай, а садись и пиши показания о всех своих злодеяниях под видом ученого, – пристав Лубецкий подтащил Каразина за воротник к стоящему посередине камеры столу. – Я тебя заставлю, бестия зловредная!

– Да найдется ли во всей вселенной человек моих лет, моего звания, моего имени, который бы из гнусного удовольствия сразу загубил и себя, и жену, и семерых детей, – не переставал божиться и бормотать Каразин. – Да на любого пасквилянта, если бы только я его знал, то немедленно донес бы его величеству, как и прежде доносил...

– На кого доносил? Господину генерал-губернатору о твоих якобы доносах на пасквилянтов, к сожалению, ничего неизвестно, – сказал Лубецкий. – Пиши, ежели не хочешь быть поротым...

– Стыдно, стыдно его превосходительству господину военному генерал-губернатору! – иступленно кричал Каразин, шмыгая воспаленным мокрым носом. – Стыдно не знать истинных неподкупных защитников трона и спокойствия нашего

благословенного монарха. Милорадович, очевидно, не считает, что могут существовать добродетель и патриотизм в России. Не знаю, кто есть господин генерал-губернатор, а Каразин – истинный патриот, спросите об этом господина управляющего министерством внутренних дел, и он вам скажет, кто первый донес его величеству о злонамеренном сочинении полковника Шелихова! И не только на него на одного... И прежде доносил...

Но его перебил пристав Лубецкий:

– Нас интересуют не твои доносы, а твои пасквили! Бери перо и царапай, ежели не хочешь быть принужденным к написанию способом, предоставленным нам свыше!

У Каразина задрожали руки и ноги – сейчас станут бить. Он страшился не боли, а унижения. Взял перо, но рука тряслась, и буквы, раскорячистые и неровные, ломались под пером, перо плохо подчинялось руке.

– Господа, господа, выслушайте глас истины! Взываю к вашему благородству, – взмолился Каразин. – Возьмите в соображение хотя бы то: разве пасквили в наш век от руки размножают? Для этого нужна типография. У меня же ее не было и нет! Поразмыслите здраво вместе с военным губернатором: как можно в одно и то же время сочинять пасквили и писать открыто к тому же правительству представления, моим подобные?

– Военному генерал-губернатору ничего неизвестно о таковых представлениях, – сказал Лубецкий.

– Как неизвестно? Не поверю, что он не рылся в моих бумагах! Наконец, пускай на этот предмет спросят графа Кочубея и сиятельнейшего графа Аракчеева! Милорадовичу надо не за пасквилями охотиться, а смотреть в оба за теми хитрецами, которые под прикрытием разных вольных обществ сеют повсюду дух ненависти к государю и его правительству. И в Семеновском полку, о чем мною не раз были ставлены в известность некоторые важные особы, завелись опасные вольнодумцы, на манер полковника Шелихова, восторженные поклонники Пушкина и Рылеева, сеятели разных сомнений и несбыточных слухов среди нижних чинов...

– И кто же они? – спросил Горголи.

– Полковник Ермолаев – первый в полку якобинец! Под стать ему были оба брата Муравьевы-Апостолы, полковник Иван Вадковский, князь Щербатов, Кошкарлов... И много других умных прельстителей... Вот в чьих бумагах пускай ваш Милорадович пороется, а не в моих. В моих ничего ко вреду государя и правительства никогда не хранилось, а в портфелях у семеновских офицеров и могут отыскаться ключики, что ищет Милорадович... Ищет, да не обрящет, потому что ищет не там, где нужно искать...

Каразин в запальчивости вскочил и закричал на допрашивающих:

– Или все вы безумцы вместе с вашим Милорадовичем? Или все вы злонамеренные и лукавые ласкатели благословенного государя, не желающие правдой служить престолу? Выпустите же меня на волю – и я через неделю наведу слепого Милорадовича на верный след! Наведу! Клянусь господом богом, не обману! И в Преображенском полку есть офицеры – сеятели всякой якобинской заразы и смуты. И поименно всех таких завтра же могу назвать! Только выпустите... А я здесь томлюсь безвинно, ослеп от мрака и заживо истлел от смрада и ядовитых испарений...

– Первым пунктом напишешь о пасквилях своих, вторым – об известных тебе якобинских вольнодумцах среди офицеров, а мы через графа Кочубея исхлопочем тебе у военного генерал-губернатора освобождение, с тем чтобы ты помог нам напасть на верный след, – пообещал Горголи.

На этом условии, ласкаемый надеждой на вызволение из мертвого дома, Каразин взял перо и начал писать подробное показание, которое от первой и до последней строки состояло из довольно резких упреков генерал-губернатору, упреков и поучений, иногда доходивших до грубости. Он защищался с блеском искушенного в юриспруденции адвоката и с искусством проникновенного психолога. Все доказательства, щедро выдвигаемые им в защиту своей полной невиновности в семеновском бунте и в непричастности к составлению противоправительственных пасквилей, были убедительны, последовательны, логичны.

Он кончил писать только к вечеру и хотел начерно написанное перебелить, но Горголи взял у него исписанные листы и перо, а караульному было велено унести стол и чернильницу.

– Господа, позвольте же через вас передать краткую весточку возлюбленной моей жене и милым деткам моим, весточку, хотя бы всего в одну строку, – умоляюще упрашивал Каразин.

Но просьба его осталась без всякого внимания.

Глухо захлопнулась осклизлая дверь каземата, и он опять остался один под низким сырым сводом.

2

Не успело солнце и на полкруга выставиться из-за горизонта, а у дворцового подъезда, из которого обычно выходил царь, отправляясь в дорогу, уже стояла коляска, запряженная тройкой вороных. Кучер Илья Байков, радуясь теплomu тихому утру, обеими руками прихорашивал и без того холеную бороду – густую, волнистую, чуть ли не на всю богатырскую грудь. Два рослых гайдука стояли на запятках. С минуты на минуту должен был выйти царь, пробуждавшийся едва ли не раньше всех. Любовь царя к ранним выездам объяснялась частично и тем, что по утрам против маленького крыльца на Адмиралтейском бульваре меньше всего собирается просителей, что каждый раз готовы пасть под колеса экипажа, только бы вручить царю свои слезные жалобы. Ох, как он тяготился этими жалобами и просьбами, и сколько сердитых выговоров получил от него сострадательный кучер Байков.

Нынче у подъезда просителей не было никого, и такое безлюдье рассудительный Байков счел за большую редкость.

И вдруг к подъезду подошла приятная с лица средних лет дама, одетая во все траурное, словно она собралась на чьи-то похороны. В руках у нее была сафьяновая выбранная бисером бордовая сумочка. Дама была бледна, грустна и напугана.

Без спросу стало понятно, что привело ее сюда горе. Вместе с нею пришли пятеро мальчиков, старшему из которых было лет пятнадцать, а младшему не больше пяти, и девочка годов тринадцати.

Байков, оставаясь неподвижным на облучке, поймал горестный взгляд женщины, сочувственно подмигнул ей, кивнув на двери, из которых вот-вот должен был выйти царь.

Вышел свежий с лица царь, в черном мундирном со светлыми эполетами сюртуке, застегнутом на все пуговицы, в черных длинных панталонах и черных лаковых башмаках. Первым поздоровался с бородатым кучером и бритыми гайдуками, но на стоявшую в нескольких шагах просительницу не обратил внимания.

И тут сообразительный Илья Байков как бы невзначай опустил ременную вожжу и тем самым дал ее переступить пристяжной.

– Поехали, Илья! Прямо! – сказал царь, сев в коляску.

– Пристяжная запуталась, ваше величество... – И кучер соскочил с козел, чтобы высвободить заступленную пристяжной вожжу.

Просительница осмелилась и вместе с детьми приблизилась к царскому экипажу.

– Государь, перед вами жена статского советника Василья Назарьевича Каразина и его несчастные дети, – со слезами начала рассказывать Александра Васильевна. – Ваше величество, исторгните из темницы ни в чем не повинного вашего верного слугу, любящего мужа и отца большого семейства. Неведомая рука, против которой он так самоотверженно боролся, рука, враждебная престолу царскому, злокозненно покарала его... Мы не знаем, где он и что с ним... Вот часть бумаг моего супруга, государь, которые не изъяли полицейские, из этих бумаг вы увидите всю безграничную верность Каразина вам и престолу вашему... Дети: Вася, Егорушка, Филадельф, Сашенька, Николенька, и ты, Пелагеюшка, просите же, умоляйте государя, единственного вашего заступника.

Дети Каразина встали на колени перед экипажем. Царь взял из рук просительницы какие-то бумаги.

– Откуда эти бумаги? – спросил он.

– Государь, они заблаговременно были отданы моим супругом на сбережение одному из его друзей, имя которого я указала, – отвечала Каразина.

Байков, не спеша, выправил вожжу и влез на козлы.

– Ваше величество, верните нам Василья Назарьевича, – умоляла Каразина.

– Обещаю во всем разобраться и наказать строго тех, кто причинил столь глубокое огорчение нежно любящей супруге и горячо любящим своего родителя чадам. Идите спокойно домой, – обещал царь, ласково улыбнувшись Александре Каразиной и ее детям. – Не надо упрашивать на коленях, это огорчительно для меня, как для христианина – я поставлен всевышним быть оградой законности и человеколюбия.

Просители встали. Коляска покатилась.

– Прямо! – раздраженно повторил царь, когда они проехали несколько сажен.

Байков знал строгое правило царя: кучеру беспрестанно оглядываться и ни о чем не спрашивать.

– Прямо!

Байков догадался, что царь намеревается ехать в Царское Село.

Уже на подъезде к Царскому Селу царь не утерпел, упрекнул:

– Ты, Илья, хитрец, нарочно дал запутаться пристяжной... Ежели еще так случится, то ты будешь наказан... Строго взыщу...

Байкову оставалось одно – молчать.

Всю дорогу до самого Царского Села мысли раздраженного царя витали над бывшим Старо-Семеновским полком. В его воображении вставало множество знакомых лиц, ныне уже в большинстве рассеянных по армейским полкам, а частично пребывающим в заключении. Царь был сильно раздражен нераспорядительностью Васильчикова, Закревского, Бенкендорфа, Кочубея, Милорадовича и коменданта Петропавловской крепости Сукина.

Вчера царь до того возмутился, что всю военно-следственную комиссию пригрозил отдать под военный суд за ее недозволительную беспомощность – за восемь месяцев следователи не сумели добыть никаких важных открытий и преподнесли такой доклад, что царю сделалось не по себе.

Васильчиков, Закревский и Бенкендорф трепетали.

По приезде в Царское Село, после короткого отдыха, Александр принялся за державные дела. И среди этих дел на первом месте оставалось семеновское дело.

Нынче он был строг и холоден со всеми генералами, привыкшими к его обычно ласковому обхождению. Больше чем кому-либо другому досталось дежурному генералу Закревскому, разговор с которым происходил в присутствии Волконского.

– Вы, генерал, и назначенные вами следователи восемь месяцев бездельничали и к моему приезду не сумели открыть ни одного зачинщика как среди офицеров, так и среди солдат, – резко упрекал царь молодого форсистого генерала. – Злоумышленники могут оставаться безнаказанными. Объясните мне причину вашей и следователей беспомощности?

И жилки под глазами у царя часто запульсировали.

– Ваше величество, все восемь месяцев солдаты хранят странное молчание, – сказал Закревский, стоя навывтяжку перед царем, – не выдают зачинщиков и в один голос уверяют следственную комиссию, что все они одинаково виноваты.

– Как все? Рота? Баталион? Весь бывший Семеновский полк? – скороговоркой спрашивал царь.

– Весь 1-й баталион, государь!

– Генерал, получилось то, чего я никак не хочу! Не позволю! – вскричал царь. – Мне нужны отдельные злоумышленники, кучка злоумышленников, а не тысячная толпа непокоривцев! Толпы непокорных – это уже революция! А в России нет и не может быть никакой революции, могут быть лишь отдельные злоумышленники из среды офицеров, партикулярных и даже солдат! – Привораживающее свечение в ласковых глазах императора исчезло. И сейчас в его лице на мгновение улавливалось смотрящими на него генералами нечто сходственное с выражением лица великого князя Николая, когда тот бывает разгневан. – Что это за военные следователи, которые беспомощно опустили руки перед молчанием 755 злоумышленников? И не постыдились докладывать мне о своих жалких результатах...

У Закревского жгло огнем пересохшие губы.

– Государь, – отвечал он, – комиссия находит, что отрицание столь дружное и единодушное происходит не от истинного незнания, а от клятвенного положенного между всеми заключенными бывшими семеновцами условия, равнозначимого стачке фабричных

людей. Сие клятвенное условие за истекшее время сделалось твердым и обдуманым. На допросах наиболее смелые и развитые семеновцы так прямо и говорят комиссии: они крепки мужеством, своею правдою и страданием...

– Это вы, растяпы, своим неумением вознесли их в глазах глупой публики до божественной высоты страдальцев за правду! – возвысил голос царь и в раздражении встал из кресел. – Это вы вашим преступным небрежением спаяли разрозненную толпу в дружную, подобную разбойничьей, ватагу с круговой порукой. Вместо того чтобы заниматься дознаниями, вы занялись совершенно ненужными делами – оборудованием при крепости дополнительного госпиталя почти на сотню коек! А зачем нужны такие роскошества при крепости?

– Ваше величество, госпиталь оборудован по настоянию и под полную личную ответственность военного генерал-губернатора Милорадовича, – оправдывался Закревский. – Желание Милорадовича нашло одобрение и со стороны ее величества государыни Елизаветы Алексеевны.

При упоминании имени царицы Александр стал говорить спокойнее и опять сел в кресла.

– Ваше величество, заведение дополнительного госпиталя оправдалось, – добавил Закревский. – Нам удалось пресечь эпидемию кишечных заболеваний, прекратить цингу, чесотку... Смертных случаев было немного...

– Это хорошо, генерал, я не против госпиталей... Но почему вы, даже не испросив на то высочайшего соизволения, многих так называемых недужных семеновцев, как оказалось, размещали по городским госпиталям? А где гарантия тому, что среди этих недужных не было притворяющихся? И кто может поручиться за то, что все эти больные в городских госпиталях не вели с посторонними людьми нежелательных разговоров? – строго смотрел царь на генерала.

– Государь, нами и генерал-губернатором на сей счет были взяты все меры предосторожности.

Статс-секретарь Трофимов внес пакет на имя государя. Пакет был доставлен от генерал-аудитора Булычева. Царь при генералах вскрыл пакет.

3

Мнение генерал-аудитора возмутило царя. В присутствии Волконского и Закревского он швырнул со стола на пол бумаги и сказал:

– Он всех выгораживает, кроме полковника Шварца, а этот последний как раз менее всего виноват. Скажите Булычеву, чтобы он во всем разобрался, как того заслуживает это столь серьезное дело, и изменил свое мнение... Не в угоду мне, а в соответствии с истиной.

Волконский обещал Александру сделать должное внушение чрезмерно независимому в своих суждениях и выводах генералу.

Закревский отделался молчанием: он лучше Волконского знал характер, ум и правила генерал-аудитора Булычева, который любил повторять искрометные слова недавно скончавшегося поэтического кумира минувшего века Державина: «Будь в правде чертом – и всегда останешься прав не только перед царями земными, но и перед самим царем небесным!»

Выслушав наставление Волконского о пересмотре аудиторского мнения по семеновскому делу, Булычев ответил:

– Пересмотреть дело можно, но истина, сколько ты ее ни пересматривай, так и останется истиной.

Закревский переслал ему дополнительные показания рядовых и нижних чинов по этому исследованию, а также письменные показания Кошкарлова, Муравьева-Апостола, Вадковского.

Сердитым выглядел Булычев, когда, склонившись над бумагами, во второй раз внимательнейшим образом пересматривал ход всего судопроизводства.

Вскоре он доложил Закревскому:

– Мною все сделано!

– Ну и как?

– Читайте, увидите.

Закревский накинудся на пространное донесение аудиторского департамента, прочитал и схватился руками за голову:

– Что вы делаете? Зачем это вам нужно? Против кого вы ратоборствуете? Вы же целиком остались при старом мнении.

– Совершенно верно, Арсений Андреевич.

– Но ведь вы же знаете, как ваше мнение было встречено в Царском Селе.

– Знаю...

– Ваше вновь подтвержденное мнение вызовет не только недовольство, но и гнев государя. И мне из-за вас не поздоровится.

– Я самим государем поставлен караульным у ворот правосудия, и как же я могу писать то, что не согласуется с законом и справедливостью.

– Что же будем делать?

– Передайте мнение аудиторского департамента на высочайшее рассмотрение.

– Это рассмотрение для всех нас окончится плачевно.

Закревскому так и не удалось переубедить генерал-аудитора. В уговоры ввязался Волконский, он больше всего напирал на то, что государь после тяжелых лайбахских трудов и без того весьма грустен, зачем же верноподданным увеличивать его печаль, зачем огорчать государя возведением основной вины на Шварца, которому царь всегда благоволил?

– Никак нельзя делать Шварца козлом отпущения! Шварц еще может пригодиться государевой гвардии.

Не сломил стойкости Булычева и натиск командующего гвардейским корпусом.

Против мнения генерал-аудитора выступили оба великих князя и их мать.

И все-таки Булычев не отступился. Закревскому ничего не оставалось другого, как отвезти в Царское Село подновленное мнение аудиторского департамента.

Поздно ночью из Царского Села примчался нарочный и повел генерал-аудитора прямо к царю.

В комнате с открытым балконом сидел за массивным столом понурый император, по обеим сторонам стояли Закревский, Бенкендорф, Васильчиков, Милорадович, Волконский и полковник Федор Глинка. На балконе спиной к двери стоял великий князь Николай. Перед царем лежало мнение аудиторского департамента.

Милорадович подмигнул Булычеву, это подмигивание призывало несговорчивого генерал-аудитора учесть не только позднее время, но и дурное настроение Александра.

Александр первым поклонился вошедшему, но руки не подал.

– Вам, генерал-аудитор, было передано наше повеление?

– Так точно, государь!

– Тем более грустно... Очень грустно, господа... Как я понял, вы остаетесь при том же мнении?

– Да, государь, сообразя все подробности дела с законами, я не мог изменить своего мнения. Я не мог отвергать того, что нижние чины, бывшие в лейб-гвардии Семеновском полку, были жестоко отягощаемы от полкового командира полковника Шварца.

Булычев, не теряя присутствия духа, подробно перечислил унылому царю все притеснения, жестокости и надругательства, в которых был повинен Шварц.

– А вон командующий гвардейским корпусом иного мнения, – кивнул царь на Васильчикова.

– С мнением командующего я согласиться не могу, равно как не могу согласиться и на определяемое им наказание рядовых роты вашего величества, – отвечал Булычев.

– Какие у вас к тому основания?

– Оснований, ваше величество, вполне достаточно. Вот главнейшие из них: начальные показания Глухова и Пироженьки, во-первых, по разноречию их, а во-вторых, как вне суда учиненные, не могут служить доказательством выхода солдат в запрещенное время, неосновательны доказательства и в отношении слушания против фельдфебеля...

Царь не мешал генерал-аудитору высказать все, что тот считал необходимым. Закревский ждал беды на свою голову и голову Булычева. Васильчиков, как только Булычев

начинал опровергать его доводы и мнение, терял спокойствие и пытался привлечь симпатии царя на свою сторону.

– И далее, ваше величество: в военном суде было установлено, что нижние чины роты вашего величества вышли в коридор во время, для переключки назначенное, и просили по команде с покорностью и без малейшего ослушания фельдфебеля, доложить капитану о их желании принести ему просьбу...

– Вы, должно быть, генерал-аудитор, забыли содержание 133-го воинского артикула относительно подозрительных и непристойных сходбищ для написания челобитень, – вмешался Васильчиков.

– Сие не имеет никакого отношения к тому, что произошло в роте его величества, – отвечал Булычев. – Это не было подозрительным сходбищем. В их поступках я не обнаружил малейшего ослушания и ни одной черты, могущей подать повод к возмущению. Все дурные последствия произошли исключительно по преступной нерадивости полкового командира.

– Я понял из вашего мнения, Булычев, что виноват во всем один Шварц, за остальными вы не находите никакой вины? – заговорил царь.

– Я нахожу существенную вину людей роты вашего величества единственно в нарушении установленного порядка: они, не объявляя на инспекторских смотрах об отягощении, стакнулись просить по команде исходатайствования у начальства облегчения.

– Разве это не преступление? – подал звонкий голос Николай, вернувшийся с балкона. – Всякое преступление наказуемо по всей строгости закона.

– Участники общего неповиновения на полковом дворе по мнению командующего гвардейским корпусом рассылаются по армейским полкам без всяких фухтелей и шпицрутенгов, почему же нижних чинов роты вашего величества, которые менее виноваты, подвергать телесному наказанию? Сие я нахожу противным законам, смыслу высочайшего приказа от 2 ноября 1820 года и самой справедливости. От своего дважды высказанного письменного мнения я отказаться, государь, не в состоянии, ибо такой отказ был бы противен моей совести и чувству христианина.

4

Внимательно прочитав только что доставленный рапорт от командующего 2-й армией Витгенштейна, царь зевнул, перекрестил рот и сказал:

– Витгенштейн с Киселевым уверяют меня, что о прискорбном семеновском неустройстве давно уже все господа офицеры забыли. Но я этому не верю. Я в успокоениях не нуждаюсь. Чтобы напасть на след главных подстрекателей к возмущению, надо Бородинского пехотного полка ныне подполковника Кошкарлова 1-го немедленно и внезапно арестовать и доставить в Петербург под крепким надежным конвоем.

Волконский тотчас же послал фельдъегерского корпуса пропорщика Федорова в Волоколамск с предписанием командиру 5-го пехотного корпуса графу Толстому отправить подполковника Кошкарлова под строгим присмотром фельдъегеря в Петербург.

Все руководство следствием Александр взял в свои руки. Он ни за что не хотел отказаться от мысли о том, что за спиной бунтовщиков солдат стояли их вдохновители к неповиновению – офицеры.

Он пригласил к себе в кабинет Волконского, вновь выразил ему свое неудовольствие плохой работой тайной гвардейской полиции и тут же подсказал, как нужно выуживать сведения у заключенных:

– Одиночным заключением надо сокрушать тех, кто запирается. У вас до сих пор сидят кучами в казематах без всякого разбору зачинщики беспорядков и слепые исполнители их преступных замыслов. Надо рассадить поодиночке фельдфебеля Брагина, унтер-офицера Мягкова, ефрейтора Глухова, рядовых Щербакова, Дурницына, Штанникова, Хрулева, Торохова, Жикина, Грачева, Отрока, Петрова Дмитрия, Иванова Ефтея. Пошлите за Закревским, за этим самонадеянным болтуном и растяпой...

Закревский, холодно принятый царем, вернулся из Царского Села в подавленном состоянии. Ему казалось, что дни его пребывания в должности дежурного генерала сочтены.

Но кто всех больше навредил дежурному генералу – Аракчеев или начальник главного штаба князь Волконский – трудно было сказать. Поправить дело можно было только каким-нибудь ревностным усердием по розыску зачинщиков семеновской истории. На это и решил бросить всю свою изобретательность Закревский.

Он с утра и до вечера не выходил из канцелярии. Во все высокие ведомства развозили и разносили его строго секретные предписания и рапорты. Не удовлетворяясь перепиской, он лично посещал столичных воротил и столоначальников. Особенно стал ласков с генерал-губернатором и министром внутренних дел, в них он намеревался увидеть возможных своих заступников. На Васильчикова и Бенкендорфа он не рассчитывал, потому что отлично знал того и другого; они, чтобы выгородить себя, готовы пожертвовать не только каким-то удачливым выскочкой Закревским, но и всей Россией. И он решил действовать подобным же образом.

Сегодня утром он отослал секретный рапорт Милорадовичу, а после обеда явился к нему в канцелярию лично, найдя, что в рапорте не все сказано с исчерпывающей ясностью.

– Как принял государь? – спросил Милорадович.

– С той выразительной и приветливой улыбкой, за которой кроется страшный холод. Государь на все события смотрит глазами своего друга...

– Бог мой, на что их величеству чужие да к тому же изношенные старые глаза, которые и через двойные очки уже ничего не видят, кроме своей экономки, – вольно острил Милорадович.

– Аракчеев решил крепко заработать на семеновской истории. Начинаем все сызнава, – рассказывал Закревский. – По высочайшему повелению поручено заняться расследованием командиру сводного пехотного баталиона подполковнику Жуковскому вместе с майором учебного карабинерного полка Басовым.

– Ого! Кто выбирал столь усердных следователей?

– В деревянных чертогах Кащей Смертного, что на Литейной...

– Оно и сразу видно, генерал...

– И еще здешнему ордонанс-гауза аудитору Андрееву...

– Ничего себе троица.

– Для приведения сей высочайшей воли государя в немедленное исполнение покорнейше прошу, ваше сиятельство, дать предписание коменданту Санкт-Петербургской крепости генерал-лейтенанту Сукину, чтобы завтра в пять часов утра рассажены были в крепости поодиночке в разных местах бывшие лейб-гвардии Семеновского полка роты его величества фельдфебель Брагин, унтер-офицер Мягков, ефрейтор Глухов и рядовой Щербаков, – сказал Закревский.

– Ладно, прикажу рассадить.

– И еще, ваше сиятельство, предпишите коменданту, чтоб подполковник Жуковский обще с майором Басовым и обер-аудитором Андреевым допущены были к допросу на каждого особо в доме господина коменданта Сукина, так удобнее и внушительнее.

– Не возражаю, вечно пьяный старикашка со свекольным носом безногий Сукин привык к подобным комиссиям, – засмеялся Милорадович.

– Не оставьте также, ваше сиятельство, дать приказание, чтобы обер-аудитор Андреев завтрашнего же числа поутру в восемь часов прибыл в квартиру подполковника Жуковского, на Петербургской стороне состоящую, куда также приказано явиться и майору Басову.

– За приказаниями не станет! В приказаниях у нас никогда недостатка не было, – охотно откликнулся на все просьбы Милорадович, время от времени вставляя в речь язвительные словечки и уподобления. – Берегись, зеленый лес, дровосеки топоры точат...

– О дальнейшем же содержании в крепости означенных нижних чинов, ваше сиятельство, я не премину донести вашему сиятельству особенно, как только приступим к следствию, – обещал Закревский.

– Буду ждать... Но мне кажется, сколько ни исследуй, все равно там не обнаружится то, что охота найти некоторым близким к его величеству особам, – смело заметил Милорадович.

Закревский ответил ему одобрительной улыбкой друга, понимающего смысл недосказанного.

Из канцелярии генерал-губернатора Закревский проехал к начальнику оставленных в Петербурге войск генерал-адъютанту Голенищеву-Кутузову, которого он не любил и в душе презирал, как и графа Аракчеева, но эти неистребимые чувства глубоко таил под личиной приятных улыбок и ласковыми словами. Голенищев-Кутузов в свою очередь высокомерно относился к молодому генералу Закревскому, считая его выскочкой, не имеющим права на генеральский аксельбант.

С первых же слов с Голенищевым-Кутузовым Закревский был казенно официален и говорил застывшим языком обыкновенного рапорта.

– По высочайшему повелению прошу покорно, ваше превосходительство, дать ваше приказание, чтобы находящийся в учебном карабинерном полку майор Басов прибыл к командиру сводного пехотного батальона подполковнику Жуковскому завтра поутру в восемь часов непременно для исполнения возложенного на них поручения.

– Ваше ходатайство с должным вниманием и надлежащей тщательностью будет рассмотрено лично мною, – важно и сухо сказал Голенищев-Кутузов.

И оба они почувствовали, что больше говорить им не о чем и оба они один другому в тягость.

В канцелярии дежурного генерала уже сидел подполковник Жуковский, вызванный нарочным, и ждал возвращения Закревского.

Вошел Закревский, дружески взял Жуковского под локоть и повел в кабинет.

– Садитесь, подполковник! Мне захотелось дать вам счастливую возможность отличиться в ревностном исполнении высочайшего поручения! – напевно на французском заговорил Закревский. – Комиссия мною составлена из людей испытанных, надежных, проверенных. Остается лишь проявить усердие. Вы сами понимаете: высочайшая воля государя императора должна быть приведена в надлежащее и немедленное исполнение! Рекомендую вашему высокоблагородию завтра поутру в восемь ровно явиться к коменданту крепости вместе с членами комиссии, к коему времени они прибудут в квартиру вашу. Господин комендант уже к сему времени получил предписание военного генерал-губернатора. Допросы будете производить в квартире Сукина. Фельдфебель Брагин, унтер-офицер Мягков, ефрейтор Глухов и рядовой Щербаков будут содержаться в крепости каждый в особом месте. Отобранные от нижних чинов ответы немедленно представить ко мне в оригинале. Надеюсь, вы довольны столь ответственным поручением.

Жуковский не обнаружил прилива бурной радости, а скорее наоборот.

– Что вас смущает или не устраивает?

– Видите ли, ваше превосходительство, нет того хуже выправлять испорченное дело. Если бы оно было мне поручено с самого начала, то можно было не сомневаться в безупречном его исполнении.

– То были не следователи, а мямли. И они за это уже наказаны государем, – напористо убеждал Закревский. – Я в вас верю. Я на вас надеюсь. Неоднократно испытанная мною строгая справедливость ваша по службе, неподкупность, благоразумные распоряжения, опытностью в делах приобретенные, уверяют меня, что изложенные в сих вопросных пунктах предметы обнаружены будут совершенно и в кратчайший срок.

– Не смею прекословить высочайшей воле государя императора.

– Вот это хороший ответ, иного я от вас и не ожидал. Теперь несколько вам моих наставлений...

Закревский вручил подполковнику листы с заранее заготовленными вопросами, которые родились не в голове дежурного генерала, а были с ученической точностью записаны со слов царя.

– По возвращении домой изучишь, а сейчас я сделаю лишь несколько пояснений. Надо нам прежде всего распечатать для справедливого признания уста фельдфебеля Брагина. А сделать это удобнее всего через нижних чинов и рядовых. Надо из всех заключенных отобрать тех, кого наказывал фельдфебель или оскорбил словом. Брагин запирается и не хочет говорить правду. Возможно, он боится мести солдат. Оказавшись в одиночке, он будет говорить смелее и откровеннее. Сбивайте его и остальных вот на чем: невероятно, чтобы Брагин, живучи в одной казарме и служа в одной роте, не мог различить и не знать

людей по голосу, кто первый начал вызывать в коридор. И почему Брагин о собрании роты уведомил не сам лично капитана, а послал сперва гренадера Осипова?

Жуковский слушал наставления генерала с прилежанием школяра.

– Можно и приманку подкинуть Брагину. Мне стало известно, что он влюблен в молодую жену Дурницына, находящегося в заключении в той же крепости. Тут уж вы должны проявить свою неиссякаемую и поразительную изобретательность, – явно льстил дежурный генерал, возбуждая скверные инстинкты в подчиненном. – Взнуздайте фельдфебеля Брагина и не слезайте с него до тех пор, пока во всем чистосердечно не признается, пока не расскажет о причинах и главных причинителях происшествия, ибо, по словам солдатских жен, вероятно, и сам он был из числа первых зачинщиков. Переспросите всех солдатских жен поодиночке. Они могут оказать большую пользу следствию. За признание и открытие важных сведений одаряйте деньгами и вселяйте мысль о высочайшем помиловании, строптивых и упрямых пугайте нищетой, голодом, казематом, плетью, каторгой... Сначала все усилия – на покорение Брагина; с ним справитесь, там станет легко разматывать. Но в мыслях своих всегда держите главную цель: в чьих руках были послушным орудием солдаты и нижние чины.

– Потеряно драгоценное время, Арсений Андреевич, если и были следы к офицерским покоем, то теперь они, надо полагать, так основательно замечены, что и признаков не заметишь, – трезво рассудил Жуковский.

– Нет такой тайны, чтобы не всплыла на поверхность! Время работало не только против нас, но и на нас, – увлеченно убеждал Закревский. – Как уповательно, время показало подсудимым их заблуждение, а ожидание неизбежного и очень, может быть, строгого, без всяких послаблений, наказания сильно подействовало на самых закоренелых упрямцев, особенно на женатых, на семейных. Комиссия должна и этим воспользоваться умно и последовательно. Старайтесь к изысканию истины употреблять различные способы, законами дозволенные. Семейным за каждое имя зачинщика обещайте по тысяче рублей, немедленное возвращение к семье и повышение в чине. И здесь я жду от вас проявления изобретательности и сообразительности. Об особо опасных и подозрительных, что определены в Шлиссельбургскую крепость, речь пойдет на более позднем этапе, когда начнем брать за гриву господ офицеров Семеновского полка.

– Вы надеетесь, что дело дойдет и до этого?

– Надеется государь, а ему виднее! Многое будет зависеть от вас в возглавляемой вами комиссии! Желаю успеха! Я всегда к вашим услугам. В любой час дня и ночи обращайтесь ко мне. И незамедлительно радуйте меня каждым открытием! Помните, что о вас думает их императорское величество и надеется на вас.

Жуковский, приехав домой, просмотрел составленные для следователей вопросы и покачал головой: такие вопросы без особого труда составит всякий мелкий канцелярист в засаленном от долгого ношения писарском сюртуке с узким галуном по воротнику. В этих вопросах, возникших в голове царя, он не нашел для себя путеводителя и указателя. Оставалось одно: изобрести их самому.

Этому изобретению он и посвятил весь вечер.

3

Квартира коменданта крепости с приходом в нее следственной комиссии превратилась в застенок. Здесь при наглухо закрытых дверях с утра и до вечера раздавались угрозы, брань, стук кулаками по столу, удары допрашиваемых по лицу. Пол в квартире был не раз полит не только слезами солдатских и унтер-офицерских жен, привлеченных к допросу, но и кровью стойких семеновских солдат.

Подполковник Жуковский сгорал от желания любой ценой отличиться. Его ежедневно заслушивал начальник гвардейского корпуса Васильчиков и каждый раз повторял:

– Смотри же у меня, на тебя сам государь возложил большие надежды, счастье в жизни не повторяется. Тебе полная власть дана, и теперь все зависит только от тебя.

Так продолжалось несколько дней. Не видя никаких сколько-нибудь важных вновь добытых признаний, Васильчиков забеспокоился. При каждом донесении Жуковского он разносил его и даже грозился сорвать офицерские знаки отличия.

– Промaxedнулся я, рекомендовав тебя! Другого надо было назначить. Так и доложу государю.

Васильчиков своими подхлестываниями порой доводил Жуковского до остервенения. Разъяренным Жуковский появлялся в квартире коменданта. И в такой день дознания были похожи на пытки.

Нынче перед комиссией более трех часов простоял навтыяжку доведенный до позеленения в лице фельдфебель Брагин. Он, как и остальные семеновцы, не прибавил ничего нового к своим прежним показаниям. И делал он это потому, что помнил общий уговор, составленный в заключении солдатами и нижними чинами. А тем уговором было единодушно принято суровое решение: любого отступника от клятвы настигнет неминуемая смерть от руки своих же товарищей, расплата будет коротка и неотвратима, она может последовать прямо в каземате. Брагин, отлично зная нрав нижних чинов и солдат, прекрасно понимал, что слово их не разойдется с делом. Такая же участь ждала и всякого малодушного.

Подполковник Жуковский, то краснея, то бледнея от ярости, злился, вскакивал, налетал с кулаками на фельдфебеля, но тот стоял прямо и глядел непокорно. Майор Басов, всегда являвшийся в заседание комиссии после сильного похмелья, охрипшим голосом лениво изрыгал скабрзные присказки и ругательства, ворчал, будто потревоженный медведь в берлоге.

– Ты не фельдфебель, ты – сукин сын, ты прохвост, проходимец, ты пьяница, ёрник, ты главный подмучник в государевой роте, ты не минешь Сибири за свое упрямство! В Шлиссельбургскую отвезем, в каменный колодец бросим, в стену замуруем, по кишке через горло ржавым крючком станем выдирать, по ногтю отламывать... Собака, свинья, вошь, гнида казарменная! – орал Жуковский и хватал фельдфебеля за руку, будто собирался тут же привести в исполнение изрыгнутую угрозу – отламывать по пальцу, отдирать по ногтю.

Наверное, уже сотый раз Жуковский с Брагиным повторял один и тот же вопрос:

– Не известно ли тебе, фельдфебель Брагин, по каким именно причинам собрались люди в коридор и кто именно первый подал к тому повод или был зачинщик?

Брагин отвечал будто наизусть заученными словами, ничего не прибавляя и не убавляя:

– Я перед тем временем более недели, будучи больным, никуда, как на учения, так и в другие должности, не выходил, ни о каком намерении рядовых не слыхал, и был ли между ними кто зачинщик, не знаю, в чем готов очистить себя и присягою.

– Врешь! Это мы от тебя тысячу раз слышали! А теперь хотим услышать другое! – топал Жуковский. – Мы тебя заставим говорить правду! Уже всеми рядовыми ты назван, как главный подмучник! И лишь чистосердечное признание может искупить твою вину перед государем.

Ничего так и не добился подполковник. У фельдфебеля от неподвижного стояния на одном месте сильно кружилась голова, его подташнивало, силы были на исходе, и он боялся упасть без сознания.

– Уведите мерзавца! – приказал Жуковский.

Вся следственная комиссия пошла обедать к коменданту Сукину. Пили шампанское вместе с хромым старым и опустившимся генералом Сукиным и спившимся плац-майором Подушкиным, которого давно вся столица считала взяточником, мародером и палачом. Он знал об этом и ничуть не тяготился этим.

Распорядители и хранители крепости, равнодушные свидетели страданий множества людей, прошедших через эти мрачные сырые холодные гробницы, наперерыв рассказывали разные тюремные истории, то трагические, то нелепые, припоминали имя следователей, отличившихся умением быстро вырывать признание у подсудимых, пересказывали речи, рапорты, донесения разных несчастных узников, потерявших рассудок в заточении, советовали малоопытным следователям там, где не берет страх, прибегать к помощи креста и евангелия, почаще посылать в казематы, особенно в одиночки, тюремного священника, его

увещевания нередко приносят полиции, суду и государю больше пользы, нежели старание следователей.

Но и пребывание в одиночных казематах не сломило духа упрямства у арестантов. Рядовые ни в чем не признавали себя виновными и не делали никаких показаний, которые бы порочили их товарищей или командиров. Ни один ефрейтор не польстился на посулы, обещания наград, денег, хорошей пищи.

Следователи особенно усердно допрашивали рядовых и унтер-офицеров об отношении к ним бывшего командира 3-й фузелерной роты Муравьева-Апостола. Не писал ли он за кого-нибудь из солдат по неграмотности последних писем к их родным, не показывал ли ему кто из солдат полученных из деревни писем, не давал ли он кому личных денег, не вел ли с кем из рядовых насмешливых речей о командире полка Шварце, не присылал ли в крепость через кого-либо передачек и весточек узникам и о многом другом, за что бы можно было следователям зацепиться. С таким же пристрастием выспрашивали о Кошкарове, Вадковском, Щербатове, Кознакове, Левенберге, Бестужеве-Рюмине.

Подследственные хотя и были сильно изнурены заточением, держались стойко, в показаниях не сбивались, не путали ни себя, ни других. Многомесячное томление в крепостных камерах не сломило их духа и чувства дружества. Ни один из них в продолжение многих недель не сдавался ни перед угрозой истязания, ни перед соблазном тайного подкупа. Солдатская спаянность бесила следователей.

Целый месяц фельдфебеля Брагина ежедневно по несколько часов допрашивали то на квартире у коменданта, то в канцелярии, а по ночам с завязанными глазами в наглухо закрытой карете возили в штаб гвардейского корпуса, в канцелярию генерал-губернатора.

Каждый день допросы, допросы, допросы. Посулы. Брань. Подкуп. Запугивание.

Оттого ли, что его изнурили до крайнего предела, оттого ли, что ему царским именем твердо обещали полное прощение и немедленное повышение в чине, в начале лета фельдфебель Брагин стал мало-помалу колебаться, чему весьма обрадовался Жуковский.

– Не будь дураком, фельдфебель, – улещивал его подполковник. – Берись за ум, пока не поздно, выбирай одно из двух: или чин офицера и милость государя, или кандалы каторжника. Нам все уже известно. В уважение некоторых твоих причин я обещаю выхлопотать у коменданта крепости преимущественное содержание в пище противу других.

Брагин ободрился и стал откровеннее в показаниях:

– Пишите, ваше высокоблагородие, всех, кого я знаю, как заглавных возмутителей. Гренадеры Венедикт Семенов, Штанников, Жикин, Хрулев, Грачев, Дурницын...

С полчаса следователь, не перебивая, писал все, что рассказывал голодный, исхудалый Брагин. У фельдфебеля горели щеки и кружилась голова так, что временами подступала острая тошнота. Болезненный жар в лице сменился бледностью, и подполковнику пришлось прервать допрос.

Брагина, напоив водой, отвели в одиночный каземат.

Радуюсь вдруг одержанной победе, Жуковский тут же направился к хрому генералу Сукину на квартиру.

– Наставление государя возымело действие! После моих обещаний фельдфебель Брагин заговорил по-другому. Уже многое открыл. Надеюсь через него выудить еще больше. Нельзя ли с завтрашнего дня дать ему преимущественное содержание в пище? Он очень исхудал и ослабел. Сие преимущество он примет как знак совершенной его невиновности.

– Лучше всего, батенька, насчет мясных щей и гречневой каши с маслом снесись с дежурным генералом Главного штаба, – наставлял комендант крепости Сукин. – Как дежурный генерал мне предпишет, так и будем кормить. Баранья косточка во щи всегда найдется.

Жуковский незамедлительно отправил Закревскому письменное ходатайство с просьбой дать Брагину преимущественное противу его товарищей содержание в пище по уважению некоторых причин.

Просьба была уважена.

Стрелкового взвода рядовой Василий Амосов, накануне избитый до потери сознания, в продолжение нескольких часов стоял навтыжку перед расшвырянутой следственной комиссией.

Его и нынче несколько раз били, но он не сдавался – не хотел назвать никого из зачинщиков. Позвали тюремного попа с евангелием. Увещевания духовника не поколебали твердости солдата.

Поп ушел. За рядового снова принялись следователи. Его терзали до тех пор, пока он от изнеможения не упал без памяти на пол.

Когда он открыл глаза, то увидел стоящего над ним майора Басова с какой-то за сургучными печатями бумагой в руках. Амосов не сразу мог вспомнить, где он находится и что с ним происходит.

– От государя поступило повеление рядового Василия Амосова, как не имеющего божеской совести, за его злостное нехотение объявить имена первых виновников возмущения, прогнать через тысячу шпицрутенгов двадцать раз и, заковав в кандалы, сослать в Сибирь навечно в каторжные работы.

– Что, доупрямился? – с сожалением сказал Жуковский.

– Я думаю, мы еще можем испросить для несчастного высочайшее помилование, если он сейчас же, не уходя отсюда, раскается в заpiresательстве и назовет главных подмучников, – говорил майор Басов.

В разбитой до крови от удара о стену голове так звенело, что Амосов плохо слышал и плохо понимал, что ему говорят и что от него требуют.

Подождали, пока он не отдышится. Подняли с полу. Посадили к столу. Жуковский еще раз прочитал якобы только что полученный от царя немилосердный приговор об отослании на вечную каторгу солдата. Амосов ничего не соображал и не догадывался, что его обманывают.

– Суди бог, суди люди, – вдруг заговорил сломленный Амосов. – В памятную ночь с 16 на 17 октября дело было так... Я белил панталоны. Распахнулась дверь, из коридора громко крикнули: «Выходи на поверку!»

– Так, так. И кто же кричал?

Амосов опустил голову, следователи не торопили его и не понуждали, видя, что и без понуждения он окончательно сломлен.

– Кто же были первые виновники?

– Кажись, ефрейторского взвода Николай Степанов и Яков Хрулев... Да еще: Иван Дурницын, Захар Жикин, Штанников, Грачев...

– И еще?

– Других никого не помню и греха брать на душу не хочу.

– Так и запишем, – с удовольствием сказал Владимир Жуковский.

Аудитор-чистописец уже выводил букву к букве на бумаге: «Стрелкового взвода рядовой Василий Амосов, будучи терзаем совестью и не в состоянии более тайне содержать злоумышленников, при допросе объявил, что первые виновники к возмущению были ефрейторы гренадерского взвода Николай Степанов и Яков Хрулев».

Амосова при рапорте сейчас же отправили к коменданту для помещения в особый каземат. Через час Жуковский письменно рапортовал дежурному генералу Главного штаба о новой победе.

Но этот рапорт не обрадовал Закревского. Еще меньше он обрадовал царя. Смутный Александр, прочитав доставленное ему Волконским донесение следователя, недовольно сказал:

– Не ефрейторова ума дело – устраивать мятежи. Надо добираться до корня. А корень – тайные общества. Не забывайте: там, где хоть один день пробыли Муравьевы или Бестужевы, всего ожидать можно.

Закревский в тот же день довел до сведения главного следователя недовольство царя ходом и результатами следствия. Дежурный генерал все это преподнес подполковнику в такой форме, что тот струсил, почуяв беду над своей головой. Он опасался, как бы недовольный царь не отстранил его от следствия, а такое отстранение грозило полным крушением карьеры.

Чтобы как-то поправить дело, а главное, показать усердие, Жуковский стал проводить допросы не только днем, но и ночью. Благо летние ночи более напоминали ранние сумерки.

Нынче он приехал в крепость пьяным и таким рассвирепевшим, каким еще ни разу его не видели сподручные по следственной комиссии.

В сырой грязный застенок со сводчатым потолком, слабо освещенный сальной свечой, одного за другим привели Захара Жикина и Якова Хрулева. Гренадеры не поддались запугиванию и угрозам – выколотить из них ничего не удалось.

Последним караульные доставили стрелка Ивана Дурницына. Его особенно ненавидел Жуковский за дерзкую смелость, бесстрашие, с каким он умел держать ответ перед следователями. В этом на вид грубом солдате была такая воля, такое чувство собственного достоинства, что и враги не могли отказать ему в уважении. Своими ответами, краткими и острыми, он обличал не только Шварца, но и высшее военное начальство столицы, не исключая великих князей.

Это был, пожалуй, единственный из подследственных стрелков, перед которым, несмотря на всю ненависть к нему, Жуковский не решался прибегать к грубой брани, угрозам и рукоприкладству.

Ивана Дурницына при допросах он держал около порога, подальше от стола, а рядом с арестантом всегда находился караульный с ружьем.

Дурницын наотрез отказался подтвердить хотя бы одним словом показания, вырванные у фельдфебеля Брагина и рядового Амосова. С неизменным спокойствием и апостольской невозмутимостью вел он разговоры со следователями.

Когда Жуковский по ходу допроса плохо отозвался о командире 3-й роты Муравьеве-Апостоле, Дурницын посмел пристыдить главного следователя:

– Не знаю, ваше высокоблагородие, хватило ли бы у вас смелости сказать в глаза Сергею Ивановичу то, что вы о нем сейчас сказали. Я Муравьева-Апостола знаю лучше вашего, и потому никакому наговору на них не поверю даже из уст самого государя императора. Сергей Муравьев-Апостол редкостной души человек. Исключительный человек! Все мы, начиная от рядового и до фельдфебеля, любили Муравьева-Апостола, как отца родного, и готовы за него голову положить. Не по той причине, какую вы подозреваете. Никаких подачек мы от него не получали, никаких подспудных писем и бумаг он нам не читал, насмешек над великими князьями от него отродясь не слыхивали. Но что правда, то правда: Сергей Иванович зря своего солдата в обиду не даст никому и в беде солдата не бросит. За то и любили. С таких командиров надо брать пример всем. Я Сергея Ивановича, хоть загони меня в Сибирь или еще дальше, всегда добром вспомню!

Уже на крепостном дворе в пыльных кустах акации заливались птички, когда осовелый следователь, ничего не добившись от Дурницына, велел увести его в каземат.

7

Гренадер Венедикт Семенов после общей камеры скучал в особом каземате. Сырая каменная клетка – шесть шагов в длину и четыре в ширину с грязным узеньким оконцем почти под самым потолком – кишела клопами. Гнилой застойный воздух и дурной запах от ночного горшка делали пребывание в ней невыносимым.

Общительный по складу характера и любивший порассуждать не о каких-нибудь зряшных происшествиях, а о событиях в Порте, в Греции, в Польше, о том, будет ли царь воевать с турецким султаном и чем эта война может закончиться, Семенов жаждал случая с кем-нибудь перекинуться словом.

Но стены каземата глухи, как могильный склеп. Однажды дверь открылась и надзиратель впустил в каземат фельдфебеля Брагина. Гренадер обрадовался: теперь есть с кем отвести душу. Поговорив о том о сем и видя, что фельдфебель совсем приуныл, выносливый Семенов начал его подбадривать, призывал не выдавать своих, разоблачал уловки следственной комиссии, которая вздумала водворить один противу другого несогласие и вражду. Она для того ныне и рассаживает поодиночке по особым казематам, чтобы легче было ей ссорить арестованных промеж себя. Когда люди во вражде, в ссоре, они теряют доверие друг к другу, отступают от справедливости и общего уговора.

В тот же день после разговора с Семеновым Брагина вызвали в комиссию.

Повеселевший после мясных щей и обещанного офицерского чина, фельдфебель донес комиссии обо всем, что удалось ему узнать.

– Гренадер Семенов говорит, что стрелок Иван Дурницын первый закричал на переключку. А другой стрелок Амосов и правящий капральством Дмитрий Петров распахнули дверь в одну из комнат и Петров гаркнул: «Что ж вы не выходите на переключку? Или забыли дневной уговор?»

– Василий Амосов – зачинщик? – с удивлением переспросил Басов и поглядел на Жуковского и Андреева. – Дальше, дальше, фельдфебель.

– Семенов говорит, да я и сам то знаю: за время сидения в крепости между всеми узниками положены нерушимые условия. Условия эти сделались твердыми и обдуманными, и того, кто их преступит, постановлено покарать как отступника и предателя, – разматывал тайные нити Брагин, теперь уже ждавший покровительства от комиссии. – От унтер-офицера Логинова можно многое выведать. Тот же Венедикт Семенов говорил мне, что, мол, здесь, в крепости, Логинов в сильном хмелю забрел к стрелкам. Когда стрелки выпроваживали его, чтобы зря не шумел, он кричал: «Меня выпроваживают те, за коих вся рота страждет. Вы заглавные, вы всему делу голова: Иван Дурницын, Николай Степанов, Петр Федоров, Василий Амосов. Да еще Яков Хрулев с Венедиктом Семеновым!» Всех самых ревностнейших поименовал!

Донос фельдфебеля приближал комиссию к обнаружению истины. Брагина обласкали, напропорочили ему всяких благ и отличий в ближайшем времени. Это еще больше развязало его язык.

– Не верьте показаниям рядовых о том, будто унтер-офицеры ничего не знали о заговоре стрелков, будто стрелки от них все утаили. Никакой утайки не было. Унтер-офицеры все знали и сами причастны к заговору, но, сидя в заключении, они уговорили стрелков давать одинаковые ответы и никого не открывать. Унтер-офицеры находились в равном с людьми заговоре.

Жуковский дал Брагину рубль, пожал руку и проводил до порога, наказав:

– Побеседуй еще денька два с гренадером Семеновым. Побольше заводи разговоров о бывших семеновских командирах, о тех, кто был любим солдатами и кто нелюбим. Особенно обрати внимание на то, как станет Семенов отзываться о Муравьеве-Апостоле, Римском-Корсакове, Щербатове, Ермолаеве, Кошкарове, Вадковском, Бестужеве-Рюмине. И если у самого имеется что добавить о командирах, то не премини уведомить комиссию.

Брагин постоял с минуту в нерешительности, будто собирался с духом сказать что-то очень важное, но так и не сказал больше ничего.

На другой день Семенов и Брагин разговаривали опять о каверзных ухищрениях следователей, о запугивании, о тех, кого рассадили поодиночке. Гренадер уверял, что скоро следствие прекратится, и те, кто ни в чем не признался, будут возвращены к службе чуть ли не в прежний полк. Семенов от кого-то с воли узнал о возвращении государя из Лайбаха и о его намерении наказать не солдат, которые не виноваты, а виновных во всем генералов и прежде всего – Закревского, Васильчикова, Бенкендорфа и Милорадовича. Потому они будут наказаны, чтобы загладить обиду, причиненную всей гвардии. Обижать же гвардию государь никому не позволит, тем более в такое время, когда не нынче-завтра ожидается выступление в поход против Порты.

– За нас есть кому заступиться, хоша мы и в крепости, – уверенно говорил Семенов. – Недавно с воли в казармы передачи большие передали. И денег – каждому унтер-офицеру по рублю, стрелку – по полтиннику.

– От кого же такая помощь?

– От добрых людей. Думаешь, нас забыли командиры? Наше унижение им тоже горько. И тем, кто на Охтенские пороховые заводы отправлен, с воли передают и передачи, и деньги, и всякие вести.

– Неужели? Вести? А какие?

– Разные. Было письмо от отставного полковника Ермолаева унтер-офицеру Юдину. И Сергей Иванович Муравьев-Апостол деньги присылал через своего каптенармуса – сразу пятьсот рублей.

Брагин попросил Семенова раздобыть через караульного хоть одно письмецо рядовым от их бывших начальников. Семенов обещал постараться через доброго каморщика.

В комиссии фельдфебеля встретили, как своего, ласково выслушали, записали.

– Государь желает это дело окончить немедленно, – доверительно сказал повеселившийся Жуковский. – Давай, друг мой, фельдфебель, помогай государю в успешном завершении дела и ты выйдешь из крепости подпоручиком. О твоём производстве в следующий чин есть полная договоренность с начальником Главного штаба. Ночью в каземат к Семенову мы посадим Захара Жикина, а Семенова удалим. Потом – Василия Амосова. Вызови-ка и этого на душевные разговоры, может, тебе он откроет больше, чем нам.

Из разговора с осторожным Захаром Жикиным фельдфебелю ничего вывести не удалось. Жикин, как и во время допроса, говорил, что зачинщики ему неизвестны.

Василий Амосов советовал фельдфебелю назвать главными зачинщиками Семенова, Дурницына, Жикина.

– Розыскания все равно приведут к открытию. Все равно кто-нибудь да выдаст, – рассудил он. – Так уж лучше давай мы их назовем, такая услуга судом и государем учтется.

– Откуда же тебе ведомы имена первейших заводчиков?

– Это я узнал из подслушанного в крепости разговора между Хрулевым и Степановым. Степанов наедине мне и сам признался, что он один из первых виновников зла. Главных начинщиков и заговорщиков мы прикрываем себе на беду.

– Что же ты не сказал об этом в комиссии?

– Меня не водили в комиссию, – солгал Амосов. – Но я испытываю терзание совести оттого, что до сих пор не сумел дать признание о виновниках.

Тем временем комиссия допрашивала оговоренного стрелка Захара Жикина. Долго бились с ним, но ничего от него не узнали. Он свои показания начал словами:

– Зачинщики мне неизвестны.

Этим же словами и закончил. Комиссия допросила унтер-офицера Логинова, ефрейтора Дмитрия Петрова, рядового Ефтея Иванова; всех троих отправила в одиночные казематы, чтобы предотвратить общение с товарищами.

По особым казематам после допроса рассадили стрелков Алексея Маркова и Прокофия Прошкина, которые держали себя при допросе так же, как и Захар Жикин.

Брагин донес комиссии о всем услышанном от Амосова и так заключил:

– Амосов и сам из первых зачинщиков наравне с Яковом Хрулевым, Захаром Жикиным, Штанниковым и Грачевым. А на других доносит, чтобы спастись самому.

Комиссия потребовала Амосова еще раз. Он выкладывал все, что знал, не щадя никого, объявил всех главных и несомненных виновников.

– А себя что же ты не назвал? – спросил Жуковский.

Амосов осекся и лишь подвигал рыжими усами с бурым подседом.

– Ты тоже был ревностнейшим участником заговора наравне с Дурницыным, Хрулевым, Семеновым.

– Ваше высокоблагородие, как же я мог оговорить сам себя?

– Откуда тебе известен весь ход дела и имена застрельщиков бунта?

– Я подслушал здесь в крепости разговор между Хрулевым и Степановым...

– Давно ли подслушал?

– В точности не могу припомнить, но с того дня испытываю терзание совести оттого, что раньше не мог объявить об устроителях бунта.

Перед тем как отослать Амосова обратно в каземат, Басов сказал:

– О подслушанном разговоре – вранье.

– Но я же объявил всех поименно.

– Да, объявил, но не по причине терзания совести, а от страха перед розысканием. Страх заставил тебя выдать своих товарищей раньше, чем самому быть выданным. Так ли?

Амосов молчал.

– Выдачей товарищей ты не спасешься. Отправляйся в каземат.

Фельдфебель Брагин мысленно уже примерял новенькую шинель подпоручика, но внезапно встретилось непредвиденное затруднение. Его позвали в комиссию, и здесь он услышал от майора Басова, временно замещавшего подполковника Жуковского:

– Ты уже завтра мог бы покинуть крепость подпоручиком. В Главном штабе высоко оценивают твои услуги, и мы благодарны тебе. Но государь, просматривая последний рапорт комиссии, изволил сделать замечание: «От фельдфебеля Брагина можно было ожидать большего. Хорошо поступил Брагин, как истинный патриот, давая комиссии весьма полезные сведения, но почему-то не высказал никаких подозрений об офицерах бывшего Семеновского полка».

Вошел Жуковский и включился в разговор.

– Твои услуги комиссии, фельдфебель, не могут быть умалены. Ты первый назвал всех людей, которые вечером 16 октября во фрунте нижнего коридора больше прочих изъясняли ропот свой на тягость службы – все это хорошо. Но государю императору весьма желательно, чтобы ты пролил свет на подозрительное в тех условиях поведение офицеров. В частности, не можешь ли что добавить о капитане Кошкарове?

И Брагин добавил:

– У меня ослабела память, и потому я не смог все сразу припомнить. Но с того дня, как я получил преимущество в пище, память моя начала улучшаться. Вдруг припомнилось: ввечеру 16 октября я, провожая капитана Кошкарова за ворота, имел с ним разговор о замеченных мною зачинщиках возмущения, но капитан был так занят своими мыслями, что ничего не ответил мне.

– И ты больше ему не напоминал об этом?

– Поутру 17 октября мной подана была записка капитану Кошкарову.

– О чем же?

– В той записке я поименовал до двенадцати человек, коих я и ныне, кого только припомнить мог, объявил комиссии.

– Нынешнее показание – главнейшее из всех! – воскликнул Жуковский. – Значит, записка тобой была подана капитану Кошкарову?

– Так точно!

– И как же с той запиской поступил Кошкаров?

– Не могу знать.

– Готов ли ты подтвердить клятвой на евангелии верность своего показания?

– Готов дать любую присягу.

Брагина заставили написать собственноручно это показание. Он написал. Его отправили в каземат, а свежее показание тотчас же в оригинале повезли в Главный штаб. Отсюда оно без задержки попало в руки царю.

Нынешним рапортом царь остался вполне доволен.

– Видишь, Петр Михайлович, что открывается? Я же еще там, в Лайбахе, предсказывал участие офицеров в бунте, – напомнил он Волконскому. – Из материалов следствия вытекает, что Кошкаров умышленно с преступной целью сокрыл имена первейших зачинщиков, поименованных в записке фельдфебеля Брагина. Укрывательство офицером подстрекателей к прямому бунту есть прямое участие офицера в этом бунте. Но Кошкаров действовал не один. В наш век в одиночку не бунтуют... Теперь нитка в наших руках, по ней будем добираться до клубка. Кошкарова доставили?

– С часу на час ждем возвращения фельдъегеря вместе с арестованным...

– Надо строжайше рассмотреть и поведение самого фельдфебеля Брагина, – наставлял царь. – Он, будучи фельдфебелем, в отношении к своей роте должен быть всеведущим и не допускать роту к разговорам.

– Комиссия, ваше величество, вникла и в эту сторону дела, – объяснял Волконский. – Но оказалось, что оный был нездоров, вместо его должность исполнял унтер-офицер Филатов. На ученье, где злоумышленники учинили уговор, Брагин по нездоровью не был.

– Как только Кошкарова привезут, немедля ни одной минуты приступить к допросу вот по этим пунктам. – Царь, смягчившись, подал листок с вопросами. – После допроса отправить в каземат и содержать под строжайшим караулом. Фельдфебеля Брагина я жалую

чином подпоручика и перстнем с моим вензелем. Но сделать это все нужно не сразу... Рядового Амосова осудить наравне с остальными первейшими бунтовщиками.

8

Прямая, будто по линейке проведенная бойкая Московская дорога зимой и летом, днем и ночью, в любую пору, в любую погоду никогда не знает покоя. Круглые сутки заливаются над ней валдайские колокольчики; беззаботные ямщики поют для нее все песни, какие только когда-нибудь знала россия. И кандалный звон знаком ей не менее, чем Владимирке.

Фельдъегерский офицер в полночь арестовал подполковника Кошкарлова на квартире в Коломне и, посадив его рядом с собою в забрызганную дорожной грязью коляску, погнал обратно в Петербург.

Такой бешеной езды не помнил подполковник Кошкарлов.

Мелькала станция за станцией. Смотрители, подгоняемые нетерпеливым офицером, быстро меняли лошадей, и коляска неслась дальше.

Пятые сутки не смыкал глаз фельдъегерь, но не жаловался на усталость. Да при такой гонке, при такой тряске и невозможно уснуть.

Подполковнику Кошкарлову всю дорогу было тоже не до сна. Дороги и переходы для него не внове – весь 1812, 1813, 1814 годы он провел в походах и сражениях. За отличие в боях был награжден орденами Святого Владимира 4-й степени, Святой Анны 4-го класса, Прусским железным крестом и имел медаль в память 1812 года. Находясь в службе с 1809 года, он не получил ни одного взыскания, и вдруг так бесцеремонно обошлось с ним высшее начальство. Не испуг, а нестерпимая обида будто огнем жгла сердце тридцатичетырехлетнего подполковника.

Из светлой ночной июньской дымки показались молчаливые громады столицы.

В третьем часу утра подъехали к заставе.

Вскоре коляска остановилась у подъезда Главного штаба. Дежурный генерал не спал в ожидании возвращения фельдъегеря из Коломны.

Кошкарлова сразу же допросила комиссия военного суда. Затем его отвезли в крепость, а в пятом часу утра его уже допрашивал неугомонный Жуковский в присутствии обоих помощников.

Кошкарлов не хотел безоговорочно признаваться в получении какой-либо записки от фельдфебеля и вместе с тем не намеревался решительно отвергать возможность ее получения. Единственный человек из подчиненных, который знал о записке и лицах, перечисленных в ней – фельдфебель Брагин. Если он не выдаст Кошкарлова, то больше выдать некому. Устоял же Брагин в казармах во время смятения перед Бенкендорфом и великим князем Михаилом Павловичем – умолчал о записке. Но то было в казарме, в присутствии людей из своей роты.

Показания, сделанные Кошкарловым на первых допросах, Александр прочитал с нескрываемым раздражением и вернул Закревскому с упреком:

– Кошкарлов всех вас обвел вокруг пальца. Пора бы, наконец, понять моим генералам, что я желаю открыть, от кого именно произошло начало злоумышленного возмущения в 1-м батальоне, желаю изыскать подробно те предметы, которые в развязке дела необходимо нужны. Приказываю вам лично наблюдать о немедленном сего дела окончании.

Этот разговор состоялся в Царском Селе.

Закревский в тот же день вернулся в Петербург, зашел в аудиторский департамент Главного штаба и сказал невозмутимому аудитору Булычеву:

– Государь страшно недоволен. Желает открыть истину, от какой свечи загорелась Москва... Этого и нужно было ожидать. Делать нечего – снова и безотлагательно берите по-настоящему в работу Кошкарлова, хоть на дыбу поднимайте, но вытягивайте из него все, что только можно вытянуть. Я жду больших неприятностей...

Булычев понял: царь хочет расправиться с Кошкарловым и другими офицерами и ищет к тому формальных поводов.

Захватив с собой начальника отделения Вешнякова, генерал-аудитор отправился допрашивать Кошкарлова.

– Высочайшим повелением аудиторский департамент предлагает дополнительные вопросные пункты к пояснению дела необходимо нужные.

– Все, что знал, я исчерпывающе изложил в моих неоднократных ответах следовательно подполковнику господину Жуковскому, – усталым голосом ответил Кошкарлов. – Вряд ли я могу чем-либо способствовать немедленному окончанию дела.

– Я, господин подполковник, лишь исполнитель чужой воли, – как бы оправдываясь за себя и за других перед заключенным, говорил Булычев.

– Я готов отвечать.

– Ответствуйте справедливо, по чистой совести и долгу присяги, в противном случае...

– Да, я знаю, господин генерал-аудитор, в противном случае подвергаю себя ответственности по законам. – Кошкарлов улыбнулся. – У меня каждый раз легче становится на душе и не так теснит сердце, когда я слышу о действиях в соответствии с законами.

Булычев сделал вид, что он занят своими бумагами и не расслышал слов Кошкарлова.

– Так вот, милостивый государь, в бытность вашу командиром роты имени его величества вы, конечно, прекрасно помните все, что и как там случилось?

– Да, конечно.

Кошкарлов со всей подробностью обрисовал начало смятения в государевой роте. Рассказал, как за ним были присланы нарочные, как он явился в смятенную роту, какими жалобами встретили его солдаты. Вспомнил весь свой ночной разговор с возмущившимися.

– А когда фельдфебель Брагин в тот же вечер провожал вас из казармы, то дорогой не объявлял ли он вам о некоторых рядовых и унтер-офицерах, больше прочих шумевших?

– Шумели все. А в коридоре было так темно, что приметить говоривших в лицо не было никакой возможности.

– Не получали вы от фельдфебеля Брагина поутру 17 октября записку о зачинщиках, им замеченных, и кому вы оную представили?

– От фельдфебеля Брагина мною действительно была получена записка, но куда я девал оную, по всей справедливости не припомню. Я не обратил на нее никакого подозрения, да и не до записок тогда мне было при таких тревожных и смутных обстоятельствах.

– Почему вы, господин Кошкарлов, не представили ее в тот же день при следствии на месте происшествия, то есть в 1-й роте, производимом генерал-адъютантом Бенкендорфом?

– Я о ней в тот момент совершенно забыл, и по всей вероятности ее у меня уже не было.

– А почему не объявили генерал-адъютанту Бенкендорфу о всех людях, больше других с вами говоривших при смятении в роте?

– Я не объявлял о всех людях генерал-адъютанту Бенкендорфу лишь потому, что не имел к такому объяснению никакой побудительной причины, о чем я исчерпывающе рассказал в первых моих ответах. Я не имел ни на кого из рядовых и нижних чинов особого подозрения.

– В тот же день от командующего гвардейским корпусом дано было роте время, чтобы солдаты и нижние чины оной до семи вечера объявили зачинщиков неповиновения. Почему же вы и на этот раз не вспомнили о списке и лицах, поименованных в нем? Какие были к тому непредставлению побудительные с вашей стороны причины?

– Решительно никаких! Я поначалу происшествия не видел в нем ни мятежа, ни бунта. Могу в дополнение и пояснение к ответам моим, данным в прошлом месяце, прибавить одно сейчас только припомненное обстоятельство: гренадер Осипов стал мне жаловаться об отяготительных смотрах по десяткам... И хотя жалобу эту я находил справедливой, но тем не менее сразу же сказал всей роте: «Вы, выбранные гренадеры, должны быть всегда примером, а вы тяготитесь службою». В ответ на мое внушение заговорили все: «Мы не прочь от службы! Только доложите начальству, чтобы отменили десятки!» Кричали буквально все. Как же я мог указывать генералу на кого-нибудь одного или на группу рядовых, как на пущих возмутителей? Ни истина, ни совесть офицера не позволяли сделать такой оговор своих подчиненных.

Генерал-аудитор Булычев составил вопросные пункты таким образом, чтобы они не дали царю повода обвинить его в послаблении в отношении подследственного. Но в то же

время в них не было ничего такого, что бы сбило с толку Кошкарлова или поставило под сомнение все его прежние показания. Все ответы подполковника он находил не только обоснованными, но и достаточно исчерпывающими существо предмета. Генерал не испытывал никакого желания в угоду мнительному царю происшествие в государственной роте раздуть до масштабов злоумышленного деяния, опасного для государственного благоденствия. Поэтому от начала и до конца весь допрос он провел вежливо, без повышения голоса, без намеков, рассчитанных на запугивание.

Но дополнительные показания, полученные от Кошкарлова, не удовлетворили царя. Он сделал выговор Закревскому.

Непреклонному генерал-аудитору Булычеву пришлось еще несколько раз составлять и посылать дополнительные вопросные пункты Кошкарлову на гауптвахту. И это не дало следствию ничего существенного. Кошкарлов твердо держался удачно избранной им линии: он не отрицал получения записки от фельдфебеля Брагина, но что это была за записка и о чем она, с уверенностью сказать не мог. В суматохе он сразу не успел заглянуть в нее, а потом, должно быть, потерял.

9

Лето было в полном разгаре, а командующий гвардейским корпусом редко выезжал за город, все его внимание приковала к себе Петропавловская крепость с ее узниками. Васильчиков с трепетом и страхом ждал результатов следствия, так как от них зависело его будущее. Если ожидание царя не будет удовлетворено – останутся невыявленными зачинщики возмущения, то едва ли Васильчикову сдобровать и удержаться на своем месте.

Он сам стал ездить в дом к коменданту крепости, чтобы принять участие в допросах и убедиться, все ли дозволенные и недозволенные способы применяют Жуковский с Басовым при производстве дознаний. Сначала он возвращался из крепости удрученный и раздраженный: его бесила и повергала в уныние стойкость солдат и нижних чинов, о которой он и не предполагал, готовность не только постоять друг за друга, но если надо, то и смело пойти на смерть за товарищей-однополчан.

Потом появились просветы в настроении генерала: посулы, угрозы, бесстыдный обман, подкуп, шантаж помогли следователям расколоть удивительное единство батальона и одного за другим выявить малодушных, слабовольных, не устоявших перед натиском следователей.

И, наконец, Жуковский привез командующему корпусом на квартиру два до отказа набитых бумагами портфеля с протоколами дознаний.

– Все ж таки добились своего, полагаю, что государь на этот раз останется нами доволен! – доложил Жуковский и вручил Васильчикову добытые сведения.

Они вдвоем целую ночь потрошили портфели, перечитывали бумаги, сортировали, добавляли, исправляли, переиначивали некоторые показания в выгодном для Васильчикова духе. Васильчиков каждый лист с вопросами и ответами старался подчистить так, чтобы выгородить себя. Такое выгораживание ему удавалось. Выгораживая себя, он против своей воли выгораживал и генерала Бенкендорфа, с которым давно враждовал, которого ненавидел и желал ему только плохого и в то же время вынужден был служить с ним рука об руку – так хотели царь и Аракчеев, давно взявшие за правило сводить вместе, сталкивать лбами враждующих, подтачивающих друг друга. При такой вражде легче управлять враждующими, легче собирать от них все то, что не выудишь от уважающих друг друга сослуживцев.

Жуковский охотно подчищал, вымарывал, выдирал из книги целые листы и тут же заменял их другими. Показания подравнивались таким образом, чтобы ими в конечном счете подтвердилось все то, что неустанно повторял в своих донесениях царю струсивший Васильчиков.

Уже на рассвете закончили они сортировку бумаг.

– Вижу, что военно-судная комиссия потрудилась на славу. Нынче же доложу об этом государю. Награда обеспечена. Вот именно этого и добивался царь. Вы правильно поняли желание государя. Теперь слово за судом, голубчик!

– От суда будет очень многое зависеть, – напомнил Жуковский, словно опасаясь, что добытые им сведения суд отвергнет или возьмет под сомнение.

В эту минуту вошел генерал Алексей Орлов. Жуковский откланялся и покинул кабинет. Они сразу заговорили о семеновском деле.

– Неужели вы сочувствуете этой, прямо скажу, бесчеловечной скотине? – удивился Орлов, когда Васильчиков осторожно вступился за Шварца. – Никак невозможно было смягчить. Я вменил ему в вину только то, что нельзя не вменить, я не записал и сотой доли сказанного против него солдатами, нижними чинами, штаб- и обер-офицерами. Вот показания Сергея Муравьева-Апостола. Полубопытствуйте. Нас сочли бы самыми последними людьми, как военные, так и партикулярные, ежели бы мы не сказали хотя части правды о тиране и человеконенавистнике. Я сам слышал от преображенских, измайловских и московских офицеров: если только Шварц, главный и единственный, по их убеждению, виновник несчастья целого полка, не будет примерно наказан, а точнее сказать – повешен или подвергнут расстрелянию, то все гвардейские полки в знак протеста взбунтуются. Армия тоже негодует.

– Вы серьезно, Алексей Федорович?

– Вполне. Гвардия до сих пор твердо уверена в непоколебимой решимости государя сурово покарать Шварца за обесчещенный им любимый государев полк. Это очень правдоподобно, и я, признаться, в это крепко верю, – откровенно сказал Орлов. – И потому военно-следственная комиссия, добывая всеми способами сведения о зачинщиках, сделала все от нее зависящее, чтобы дать достаточно неопровержимых улик против Шварца и тем представить возможность суду исполнить намерение разгневанного царя в отношении Шварца.

– Думаете, царь казнит его? – На лице Васильчикова изобразились испуг и удивление, ему почему-то подумалось, что казнь Шварца явится прологом к целой серии казней, от которых не спастись и самому Васильчикову.

– Заслуженная казнь Шварца может примирить государя с обиженным полком! – еще уверенней заявил Орлов. – Так думают в городе, в гвардии, в армии. Все уверены в том, что царь уже во всем разобрался и понял, кто его чуть-чуть не поссорил со всей гвардией.

Васильчиков растерялся. Он начал тереть ладонями седеющие виски. Ему стало жарко и душно, хотя утро стояло прохладное и с улицы в открытые окна веяло приятной свежестью.

– Но ведь, Алексей Федорович, не следует забывать о сиятельном графе Аракчееве, – напоминал Васильчиков. – Кроме того, все считают, что великий князь Михаил Павлович не раз в обществе называл Шварца своим близким другом и лучшим полковым командиром...

– Голос великого князя мало значит перед голосом Аракчеева. Аракчеев же, собрав к себе командиров поселенных войск, вскоре по возвращении государя назвал Шварца подлецом, скотиной и мерзавцем, на которого даже жаль намыленную веревку расходовать.

– Правда?

– Несомненная.

– Значит, Шварца надо первого ставить среди виновных?

– Он сам себя поставил первым в списке виновных своими распоряжениями в бывшем Семеновском полку.

10

Васильчиков, сидя у себя дома, ломал голову над тем, из каких лиц составить ему военно-судную комиссию, на которую можно было б надежно положиться, что она поведет дело так, как это желательно ему, командующему гвардейским корпусом.

Писал и перечеркивал. Наконец, выбор его остановился на следующих лицах: презусом – генерал Левашев, ассессоры – полковники: Преображенского полка – князь Голицын, Измайловского – Воропанов, Егерского – Арбузов и 1-й гвардейской артиллерийской бригады – Статковский.

Наутро в помещении штаба Васильчиков отдавал наставление кривоногому приземистому генералу Левашеву с искрящимися, как у разъяренной рыси, раскосыми глазами, уж очень любившему всякое поручение свыше, что дает право распоряжаться чьей-то жизнью, да к тому же и не одной.

— Есть возможность отличиться, ваше сиятельство! — убежденно наставлял Васильчиков. — Военно-судную комиссию я составил на славу! Не тушуйтесь! И плюньте на всякую болтовню масонскую о каком-то человеколюбии. Наше дело — верой и правдой служить государю! Все остальное — комариные песенки! Не миндальничайте. Не деликатничайте. Пускай Милорадович деликатничает. Чем жестче, тем вкуснее, тем государю лучше. Петр Первый по пяти тысяч голов за один прием рубил... А как же иначе-то? Судите и помните крепко: веревок и столбов у нас хватит, топоров и дубовых плах — тоже!

Чернявый, с горящими, но ничего не выражающими глазами, со впалыми щеками и горбатым ястребиным носом, службистый до корней волос, Левашев слушал, широко раздувая ноздри.

— Все сделаю для того, чтобы строгость самых человеческих наших законов обратить ко благу государя и отечества, — заверил он.

— Знайте, генерал: всякое вольное или невольное наималейшее послабление будет неодобрительно встречено в обоих здешних дворцах — в Зимнем и в Деревянном, на Литейной...

— Не пожалею усилий, милостивый государь!

— Дополнительных вопросов злодеям не задавать, зачем попусту тратить время. Можно даже особо языкастых и ловких на ответы не вызывать в присутствие комиссии, а легче всего по ротным формулярам, посписочно... Подумаешь, какие персоны...

— Я так же считаю.

— Так-то мы значительно ускорим течение суда. И государь желает как можно скорее порешить с этим делом. И Аракчеев не любит тянуть, медлить. Чему быть отрубленным, то надо рубить, — поучал Васильчиков.

Левашев охотно принимал все его наставления и обещал быстрый суд.

— Как презус, накрепко смотри, чтобы ничто не просочилось сквозь каменные крепостные стены наружу... У нас не любят этого... Мы любим, чтобы все было тихо, спокойно. И боже нас сохрани, чтобы не попало что-нибудь в европейские газеты. Государь вот чего желает: Европа, когда узнает о нашем суде, должна поверить, что вся строгость неподкупных наших законов обращена единственно на виновнейших.

Левашев внимал подробнейшим наставлениям с преданностью бездумного холопа и с заскорузлостью палача, готового за очередную ленту или медаль себе на грудь отправить на плаху хоть сотню истинных героев, хоть половину России. Он желтел от зависти к тем, кому удалось обогнать его по службе и на чьей груди больше, нежели у него, звезд, крестов и других регалий. Его считали жестоким и вместе с тем трусливым; он, еще будучи полковником, трижды отказался от вызова на поединок; за это его презирали.

— Кто будет рассматривать сентенцию военно-судной комиссии? — спросил Левашев.

— Начальник дивизии барон Розен, дежурный генерал Закревский и я, — весело отвечал Васильчиков. — Все в наших руках... Так что можешь быть заранее уверен: строгость приговора будет понята и должным образом оценена. Надо сделать так, чтобы после нашего образцового суда лет на сто или на двести как в гвардии, так и в армии ни один злодей и помыслить не посмел о неповиновении, о принесении жалоб на начальство, с которого вправе спрашивать лишь один человек в отечестве — государь! Только страхом смерти и можно держать злодеев в узде.

Левашев, как бы чем-то недовольный, поморщился, и это заметил Васильчиков.

— Что вас не устраивает? — беспокойно спросил он.

— Закревский же слывет либералом... Вольнодумом... Едва ли ему придется по вкусу приговор, вынесенный по всей строгости законов, — открылся Левашев.

Васильчиков его сомнение встретил улыбкой.

— Он не столько либерал и вольнодум, сколько желал бы таковым показаться, гонясь за модой, в салоне у госпожи Екатерины Федоровны Муравьевой, — презрительно насмеялся Васильчиков, — или в гостиной у статс-дамы и гофмейстерины Волконской. У него голова кружится от незаслуженных успехов... Слишком рано и легко далось ему звание генерал-адъютанта и столь высокая должность. Плевал я на его вольнодумство. И ты не принимай во внимание... Такие вольнодумы не страшны. У них же все показное. А чуть обозначится

опасность для их карьеры и благополучия – они раньше нас с тобой слиняют и первыми розовое перо поменяют на черное. Салонный мусор и ничто кроме. Решать дела будет не Закревский и даже не барон Розен.

– Если так, то я спокоен... Все будет обеспечено...

– Дюжинки три-четыре из рядовых, самых-то закоренелых злодеев-зачинщиков, таких, как Дурницын, Жикин, Грачев, Хрулев, Заброцкий, Гуцеваров, Кузнецов, Васильев, Степанов, Павлов, Штанников, Амосов, Мягков, Отрок, надо одних живыми положить на колесо, других четвертовать, третьих к отсечению головы, остальных на столб с перекладной, – наставлял Васильчиков со странным равнодушием и даже веселостью, будто речь велась о дюжине петухов, которых предстояло порубить перед праздником.

Довольный обстоятельным наставлением, Левашев покинул штаб гвардейского корпуса в самом прекрасном настроении. Он считал большой честью для себя такое поручение. Оно давало ему желанную возможность – угодить государю, приблизиться к престолу и в дальнейшем постоянно оставаться на примете у царя для подобных же дел, а то, что станут завтра же говорить о суде и судьях, – ничуть не тревожило Левашева.

Военно-судная комиссия на другой же день взялась за работу. Судили в доме коменданта крепости.

11

На приморской даче начальника дивизии барона Розена съехались генералы Закревский и Васильчиков, чтобы рассмотреть поступивший накануне приговор военно-судной комиссии.

После чаю Розен зачитал приговор, составленный тяжелым казенно-канцелярским слогом, и подытожил:

– Итак, господа, военно-судная комиссия нашла виновными вышеперечисленных лиц и определила: нижних чинов, признанных зачинщиками, лишить жизни; солдат 1-й и 2-й роты, подавших пример беспорядка (164 человека 1-й роты и 52 души 2-й роты), повесить...

– А скольких колесовать? Четвертовать? Скольких к отсечению головы? – нетерпеливо спрашивал Васильчиков.

– Таковых в приговоре не значится, – вдруг переменялся барон Розен. – Приговор неплохой... Суд успешно справился... Это совсем не дурно, если по берегу Фонтанки выстроить в ряд 216 виселиц... Картина получится недурная... Не так ли, Арсений Андреевич? – оборотился барон к смущенному Закревскому. – Как вы находите?

– Я?... Я нахожу... Видите ли, милостивые государи, – отдуваясь, будто по принуждению и против своей совести, отвечал Закревский, – конечно, суд обязан был согласовать закон с милосердием... И он, кажется, достиг успеха в сем согласовании... В общем и целом я считаю, что вся строгость закона в точном соответствии с высочайшей волей обращена единственно на виновнейших...

И он стал освежать вдруг вспотевшее лицо опашалом.

– Мое мнение сходственно с вашим, – с сильным немецким акцентом заговорил барон Розен. – Двести шестнадцать виселиц – это не так уж плохо. Наглядный урок получают не только рядовые. Будет над чем призадуматься всей гвардии. Жаль, что в списке этом среди рядовых мы не видим полковника Шварца.

– Его место, несомненно, на первой виселице! – подхватил Закревский. – Так ли, Илларион Васильевич?

Васильчиков встал из-за стола и вдруг обрушился нападками на военно-судную комиссию.

– Плохой суд получился! Так злодеев не судят; бумаги извели много, а толку получилось мало: больше половины зачинщиков обелили, даже главарей выгородили... Куда это годится? На колесо – ни одного... Под топор – ни одного... Да разве это военный суд? Игра в бирюльки, а не судилище. Виселица злодею не страшна. Виселица – не казнь. Виселица для них – желанные золотые ворота в рай. Половину разбойников следует на колесо! На колесо! Другую – под топор. Или же наострить сталь некому? Да если нужно, я сам наострю... Приговорите только... И в сем суждении о сущности дела допущены большие упущения... Так нельзя, господа. Мы все – верные бескорыстные слуги любимого

отца нашего – благословенного ангела государя. Попомните мое слово: государь останется недоволен...

Предсказание о неминуемом недовольстве государя дурно повлияло на Закревского.

Васильчиков долго шумел, разнося мягкосердый суд.

– Подвел меня генерал Левашев. Да еще как... Суждения суда клонятся к обвинению Шварца. А зачем? Шварц – десятая спица в колесе. Не Шварц бунтовался, и не Шварцем нужно было заниматься суду, а карать по силе законов злодеев закоренелых.

Распаленный ненавистью к пощаженным судом солдатам, Васильчиков всячески уговаривал Розена и Закревского не соглашаться с представленным мнением военно-судной комиссии, отвергнуть приговор и даже не отсылать его на высочайшее утверждение, а вернуть военно-судной комиссии с предписанием в самый наикратчайший срок заново пересмотреть все дело и вынести еще более суровую кару большему числу семеновцев, и, кроме повешения, избрать мерой наказания колесование, четвертование, отсечение головы на плахе. Васильчиков добивался разнообразия... Командиру корпуса хотелось, чтобы предстоящая расправа над семеновцами превратилась в своего рода кровавое пиршество и эпическим размахом своим превзошла бы все печально знаменитые старопрежние массовые казни. Крупные масштабы удушения людей нужны были Васильчикову и в чисто личных видах – с их помощью он надеялся выйти сухим из воды.

Розен и Закревский не поддались натиску Васильчикова, твердо заявили о своем согласии с мнением комиссии.

Васильчиков вознегодовал, с угрозой закричал на коллег:

– Горько раскаетесь! Я нынче отвезу свое особое мнение государю. Я настою на своем! И весь двор останется недоволен таким приговором...

Поругавшись с обоими генералами, страшно рассерженный Васильчиков покинул дачу, не захотел даже и отобедать вместе с ними.

12

Вход в Петропавловскую крепость был свободный. Спозаранок обеспокоенные семеновки с узелками и сумочками собрались в крепость в надежде повидать мужей – может быть, последнее свидание. Многие привели с собой и детей.

Луша, всю ночь прометавшаяся в постели, как больная в жару, пришла вместе со всеми. Она была во всем черном, будто собралась на похороны. На голове рдел багряными цветами темный полушалок с кистями. За это время, пока шло следствие, она исхудала, изветшала, лицо осунулось, и под глазами, слегка раскосыми, обозначились первые морщинки.

В крепость ввели батальон павловцев и расположили его тремя колоннами перед домом коменданта крепости. Подъехало несколько карет с какими-то генералами и полковниками. Они прошли в дом коменданта.

Вскоре из казематов на крепостной плац стали выводить выцветших, позеленевших, запаршивевших солдат 1-го батальона бывшего Семеновского полка. Выводили поротно. Первой появилась государева рота. Ее поставили так, что она оказалась окруженной с трех сторон павловцами.

И тут послышались женские и ребячьи голоса. Жены и дети заголосили, как на погосте. Заморенная девочка с русой косичкой и в серых лохмотьях побежала к солдатам-семеновцам с душераздирающим воплем:

– Папаня, папаня!..

Она проскользнула сквозь конвой. Ее обнимали, прижимали к груди, передавали с рук на руки. И солдаты, глядя на нее плакали.

Подбежал фельдфебель-павловец, вырвал девочку из рук отца.

Левашев приступил к чтению приговора солдатам и нижним чинам.

Солдатки и их дети, одни стоя, другие на коленях, устремив просящие взгляды на взвившегося под самые облака медного ангела, слушали с замиранием сердца. И было от чего замереть их сердцам...

Государева рота в полном составе была приговорена к смертной казни. Суд обрек на смерть также первую и вторую роты.

Солдаты выслушали приговор в глубоком молчании. Наступила пауза. На площади было так тихо, что стало слышно, как воркуют голуби на крыльях у медного ангела.

Ошеломленные приговором, гвардейцы не утратили стойкости.

– По казематам! – прокричал полупьяный плац-майор.

– Дай в последние подышать божьим даром – свежим воздухом! – раздался голос Дурницына.

Жены и дети всей толпой вдруг бросились к узникам.

– Вон из крепости! – взмахнул палкой хромой старик комендант Сукин.

Вскоре крепостной двор опустел.

13

Вокруг Петербурга горели леса и болота. Дым и чад удушил город. Пахло гарью в дворцах и лачугах.

В эти дни особенно душно и тяжело было в сырых семеновских казармах. В семейных покоях безутешно голосили унтер-офицерские и солдатские жены и дети. Жестокий приговор военного суда о смертной казни нескольких рот поверг в ужас не только солдаток и детей. Весь Петербург встретил эту весть с содроганием.

Луша не находила себе успокоения и утешения. Почти все семеновки-солдатки скоро должны стать вдовами. Всем им уже приказано быть готовыми к освобождению семейных покоев. Выгоняют за ворота. А там хоть на все четыре стороны. Она не знала, что с ней будет завтра, куда и к кому приведет ее идти. Недавно случайно встретила на улице с земляком Андроном, он все еще не женился, с большим интересом расспрашивал о происшествии в Семеновском полку. Андрон не утешал ее и не огорчал, а только с сожалением на прощанье вспомнил минувшее:

– Не послушалась добрых людей, и, вишь, как дурно получилось. Я не помню обиды на Дурницына и зла ему не желаю, а уж ежели так суждено, так ты не покидай город, не повидавшись со мной.

И рассказал, как его найти.

На столе перед Лушей стыл чай в фаянсовой чашке с цветочками – подарок мужа ко дню ее рождения.

Перед двумя иконами, которыми она была благословлена перед венцом, денно и ночью теплилась лампадка. Всю минувшую ночь Луша провела в мольбе, стоя на коленях.

Русская мелодичная песня порой была для Луши, обладавшей даром недюжинной певицы, сладостней и целительней молитвы. Она любила и умела петь. Песня рождена не одной человеческой радостью, ей ведомо и людское безысходное горе, подобное тому, в каком находилась Луша с того дня, как ее мужа вместе с другими семеновцами заточили в крепость.

Подперев ладонью щеку, Луша негромко запела. Ее красивый грудной голос легко справлялся с самыми трудными напевами.

Есть на свете перва скука –
Оставляет мил меня;
Оставляет, спокидает
Здесь, в несчастной стороне.
Здесь несчастная сторонка –
Ненавистливый народ;
Здесь народ такой народец –
Во народе правды нет;
Правды нетутка в народе,
Ковыль-травка не растет;
Повилички травки нету,
И цветочки не цветут...

И слезы, слезы побежали из ее глаз. Она их не утирала. Будто хотела скорее выплакать все то, что камнем лежало на сердце, что и широкие песенные крылья не могли

поднять и развеять. Еще тягостнее становилось от мысли о народе, потерявшем всякую правду. А как людям жить без правды? Снова и снова вспоминались слова отца, врезавшиеся в ее сознание с детства: неправдой можно богатство нажить, власть добыть, но и при богатстве, и при власти неправдивому ни на этом, ни на том свете счастья не знать.

А теперь вот она увидела: неправда взяла верх над правдой, бесчестие – над честью, бессовестность над совестью. И некому встать за правду. Вчера она трижды видела мужа своего во сне. И не рада была тому, что рассвет прервал отрадные сновидения.

Грустно мечтала, веря свою душу словам песни:

Я вечер в слезах заснула,
Дружка видела во сне...
Вдруг проснулася, вздохнула,
Закипела кровь во мне.
Говорила я милому,
Любезному своему:
– Ежли я тебе по нраву,
Возьми меня за себя;
Ежли я тебе не ндравлюсь,
Сошли меня в свою сторону;
Ежли чем же недоволен,
Прекрати ты жизнь мою:
Возьми в руки пистолетик,
Прострели ты грудь мою;
Схорони ты мое тело
Между трех больших дорог:
Между Питерской-Московской,
Меж Владимирской, Тверской;
Кто ни пройдет – прочтает,
Всяк потужит обо мне...

Ни песня, ни жаркая молитва на коленях не наполнили успокоением, надеждой и благодатью ее измученную грудь. Так тягостно, что хоть руки сама на себя накладывай. Ей стало страшно оставаться в покое одной.

Кто-то постучал в дверь. Луша отбросила дверной крючок. И увидела перед собой на пороге бывшего фельдфебеля государевой роты в мундире поручика и с отличиями.

– Можно к вам, мадам? – поддельваясь под аристократа, спросил Брагин, вид которого совсем не напоминал о недавнем его заточении: поручик выглядел свежо, исправно, солидно.

– Если с приятными вестями, то просим милости, – поклонилась Луша почти в пояс.

Поручик, явно любясь своим новеньким мундиром и обувью, стал перед солдаткой во фрунт, молодежато щелкнул каблуками, шаркнул ладонью по рыжим усам:

– Позвольте вашу ручку, Лукерия Никоновна!

Он поцеловал ее ручку.

– Ой, как это вам повезло: были фельдфебелем и сразу в поручики? – спросила Луша.

– По милости государя императора!

– Ой, это хорошо, господин поручик, – обрадовалась Луша, – и в самом деле вы с доброй вестью: государь наш милостив, смотрите, как бы в искупление обиды, причиненной государевой роте, назначил вас поручиком. И остальных помилует... За какое же отличие вам такое счастье подвалило? И давно ли? Вы ведь вместе со всеми томились в темнице.

– За прошлую мою безупречную службу в государевой роте.

– Так ведь и наши также безупречно служили государю. – Луша предложила чашку чая поручику. – Как хоть мой Иван Потапыч чувствует себя? Когда с ним расстались вы?

– Да уж давненько расстались, с тех пор как рассадили нас по разным казематам.

– Как по-вашему, можно ли нам, солдатским и унтер-офицерским женам, уповать на скорую встречу с мужьями?

– Трудно сказать, Лукерия Никоновна! Боюсь, смертная казнь состоится, – медленно говорил он, а сам наблюдал за глазами Луши.

– Казнь? Боже мой, за что же? Одних в офицеры, другим казнь? – заметалась Луша, готовая зарыдать. – Господь не простит этого земным судьям.

– Лукерия Никоновна, ежели государь и отменит смертную казнь, то все равно желанной жизни вы не дождетесь, – еще более неприятное преподнес Брагин. – Не дождетесь потому, что мужа вашего, равно как и других семеновцев, ждет Сибирь. И вы из жены солдатской станете женой каторжанской. Нужно ли вам приносить себя в жертву при вашей приятности, изяществе и благородных манерах, а также и при вашем тонком уме?

– А что мне делать?

– По-серьезному подумать о своей дальнейшей жизни.

– Я обручена, я обвенчана, я клялась быть до гроба верной ему женой, клялась перед наломом, – трепетно заговорила Луша, потупив взгляд. – У меня и сейчас раздаются в душе божественные наставления: «А жена да убьется своего мужа». Я и помыслить не могу о нарушении брачных уз.

– Сам государь не станет возражать против развода с каторжанином, – Брагин говорил с участливой и даже сострадательной миной, но все его слова воспринимались Лушей так, будто он пришел сюда только за тем, чтобы терзать и без того истерзанное сердце солдатки. – Не исключено, что и такого развода не потребуются. Казнь все решит...

– Не говорите так. Мне больно слушать вас.

– Великодушно извините меня, но я скоро должен отбыть в полк, к месту нового моего назначения, – подсев ближе к Луше и взяв ее руку, продолжал Брагин. – Я зашел за тем, чтобы не только проститься с вами, но и сказать вам то, что давно приготовил для вас. Готовы ли вы благосклонно выслушать меня?

– Если для меня неприятное, то лучше ничего не говорите!

– Я хочу верить, что это будет приятно и для меня, и для вас.

Луша высвободила горячую руку из его надушенных ладоней.

– Ваше молчание я принимаю как согласие выслушать меня, мою исповедь?

Она ничего не ответила ему.

– Томясь в заточении, я много думал о вас, любезная Лукерия Никоновна, – начал Брагин, пытаясь вновь завладеть ее рукой, но она не разрешала. – Думал не зря, не ради тоски тюремной. И пришел я к такому выводу: вы достойны быть офицерской женой! Дурницын вам не ровня! Я не хаю его, но все же он недостоин вас. И независимо от того, чем все кончится, вам надо решиться покинуть его.

– Как – покинуть?

– Уехать, бежать с достойным вас.

– Я никого не знаю и знать не хочу, кроме моего Ивана Потапыча. Где тот, достойный меня, о ком вы изволите говорить?

– Он у ваших ног, Лукерия Никоновна, и умоляет вас сделать его счастливым! Верьте поручику Брагину! – он встал перед ней на колени. – Нынче вы солдатская жена, а завтра можете стать женой поручика! Верьте мне: государь обещал не задержать меня долго в поручиках! Придет желанный срок, и вы, Лукерия Никоновна, станете генеральшей. Мне обещаны великие щедроты и милости государем.

– Встаньте, встаньте, господин поручик, и покиньте мой покой, – упрашивала она, напуганная его предложением.

А он, обняв ее колени и в этом стараясь быть похожим на настоящего аристократа, продолжал уговаривать:

– Не покину, пока не услышу о вашем согласии. Верьте мне! Вы будете со мной счастливы. Государь обещал вернуть меня обратно в гвардию в самое близкое время! Вы умная, понятливая и скоро научитесь всем благородным манерам, как научился я. Вы собой статна и умом красна! Соглашайтесь, Лукерия Никоновна, и я вас увезу вместе с собой в одной кибитке.

– Ни за что, ни за что, – повторяла она в смятении, – не делайте меня клятвopеступницей и великой грешницей.

– Его казнить могут... Их всех казнят. И вы уже ничего не поправите своей верностью, – повторял он.

– Ежели казнят, то в монастырь пойду...

– Зачем же вам, Лукерия Никоновна, губить свою молодость-красу!

А в это время из одного семейного покоя в другой заходила ожесточенная до умопомрачения Хватова и оповещала пригорюнившихся солдаток и унтер-офицерских жен о том, что ей удалось каким-то образом узнать от часовых в крепости.

Она вошла в семейный покой к Мягковой, искавшей гребешком в голове у малолетнего мальчонка.

– Унтер-офицерша, кончай гнид давить, пойдем паразита фельдфебеля Брагина душить, он, первый возмутитель к бунту, сухим из воды вынырнул, предал всех, кого возмущал. Через его предательство приговорены к лишению живота наши мужья. А стервецу за его предательство сразу мундир поручика подарили. Уж из темницы выпустили. Да попадись он мне, я ему глаза выцарапаю, кипятком ошпарю.

Хватова увлекла за собой Мягкову вместе с ребятишками. К ним присоединялись все новые и новые солдатские и унтер-офицерские жены. И скоро уже полный коридор набрался женщин и детей.

Луша слышала возбужденные женские голоса в коридоре и начала вырываться из рук поручика Брагина.

Брагин выглянул в коридор. Его увидели солдатки. Он захлопнул дверь и накинуд дверной крючок.

– Здесь! Здесь он! У Лушки!

– Бесстыдница, кого принимает! Муж в темнице, а она с гостем!

– Открывай, неверная!

Из коридора кулаками и каблуками забарабанили в дверь. Луша порывалась открыть дверь, но Брагин отстранял ее от порога.

– Отворяй! Или под одно одеяло повалились?

– С крюков сорвем!

В дверь стучали с бешеным ожесточением. Откуда-то взялись палки, скалки, сковородники, ложила. Проломили дверь и ворвались всей женской ротой в Лушин покой.

– Вот он, стервец!

– По косточке, по жилке разорвать его!

– Предатель! Главный возмутитель!

– Из-за тебя, Июда, погибают невинные наши!

Хватова первая толкнула поручика. Он выхватил шпагу. Но это мало устрало разъяренных женщин. Они кучей лезли на отступающего Брагина.

Луша, напуганная и оскорбленная ложным и грубым подозрением вчерашних своих подруг и соседок, забила в угол, под теплющуюся лампаду.

Семеновки, презрев опасность и приличие, словно стая галок вокруг ястреба, кружилась вокруг поручика. Его выставили в коридор, под крик, вой, проклятья, улюлюканье гнали по коридору.

Таким образом Брагина выдворили на ротный двор; но и здесь не оставили в покое. Всем казарменным валтом гнали по двору к воротам.

У штаба стояли офицеры вновь сформированного Семеновского полка и потешались при виде этой необычайной картины.

Поручик Брагин выскочил за ворота и вдруг почти лицо в лицо столкнулся с вышедшим из экипажа царем, который в сопровождении генералов Васильчикова и Бенкендорфа приехал проведать новое начальство Семеновского полка.

– Что с тобой, поручик? – спросил царь, наводя лорнет на обезумевшего от испуга Брагина. – От кого убегаете? Кто за вами гонится?

– Жены и дети осужденных, ваше величество! Жены осужденных злодеев.

Тугоухий царь услышал возмущенный крик по ту сторону каменной ограды. Отвернулся от Брагина, сделав рукой повелительный взмах, чтобы скорее убирался с глаз долой.

Поручик юркнул в первые попавшиеся ворота.

Царь постоял, с укоризной посмотрел на Васильчикова:

– Ты до сих пор не освободил казармы от старой заразы? Я не хочу посещать полковую канцелярию.

И царь направился обратно к карете, запряженной шестериком с двумя гайдуками на запятках и вершником на передней.

– Завтра же полностью очистить все семейные каморы, – приказал царь, сидя в карете.

– Только чтобы не узнали об этом дипломаты и партикулярные...

14

Покои на Каменном Острове уже много лет служили для царицы Елизаветы желанным убежищем от постылой великосветской суеты и несносного лицемерия, царивших в унылом Таврическом дворце, где так часто разыгрывала маленькие комедии порфиноносная вдова.

Во время частых и длительных отъездов Александра она, нередко случалось, целыми неделями, как отшельница, таилась в своих комнатах. В чтении и размышлениях находила она для себя единственную отраду и успокоение. Молчание и покорность служили для нее защитой от нападков и злокозней старой мстительной царицы.

На круглом столе, поверх стопы разных книг на русском, французском и немецком, лежал перед грустно задумчивой Елизаветой раскрытый журнал «Сын отечества». Ее задумчивость мало тревожила и еще меньше удивляла Александра – он давно к этому привык. На нежном, бледном лице Елизаветы опять проступило созвездие красных пятен – первый и верный признак каких-то сильных волнений и переживаний.

Они воот уже больше двух часов сидели вдвоем лицом к лицу, душевно чуждые друг другу, как и в промчавшиеся молодые годы.

Елизавета хотела услышать от него как можно больше и подробнее о Троппау и Лайбахе, о Франце и Меттернихе, о Фридрихе и Гарденберге, о Фердинанде и Эммануиле, о Неаполе и Пьемонте, об Александрии и Турине, о лорде Стюарте и маркизе Караман, о графе Бенсторфе и Ла-Ферронэ, об итальянских карбонари и испанских кортесах, о дипломатических ухищрениях лорда Касльри в Лондоне и увертках князя Руффо, о герцоге Калабрийском и роли Поццо-ди-Борго в итальянских делах, о Римском дворе и хлопотах британских агентов, сбитых с толку, о гвельфах и консисториалах, реформированных иллюминатах и об аделъфах, а ему, отравленному атмосферой конгресса и собственным двоедушием, все эти интересующие ее лица и предметы до смерти надоели, и он хотел бы, очень хотел бы начисто и навсегда забыть о них, но такого ему не было дано судьбой и положением в государстве и в Европе. Он отделался от всех ее нескончаемых вопросов несколькими через силу выданными из себя словами:

– Как это все тяжело, тяжело... Ни в Троппау, ни в Лайбахе я не увидел за круглым столом рядом с собой и моими советниками ни одного истинного христианина... Все они – торговцы, устраивающие грязный базар во **храме**, имя которому – Священный Союз, коего я главный архитектор и хранитель... Но кончим, милая моя царица, о конгрессе. Я устал от него душой и телом. Я хочу быть ближе к тебе, мой ангел небесный. Было время, наши сердца разделял неумолимый рок. А теперь я все чаще и чаще с нежностью думаю о тебе... Тоскую без тебя... – Он увидел на ее глазах, не умевших притворяться и лицемерить, слезы. То были слезы не царицы, а слезы женщины, наделенной красотой, умом и сердцем, самой природой предназначенной для любви чистой и благородной и прожившей всю жизнь, не зная этой любви. – Знать, так нужно всевышнему, чтобы отныне сердца наши были вместе и, может быть, до самого гроба. Я хочу слышать от тебя больше о Петербурге, обо всем, что здесь произошло без меня. А произошло немало... – Он перевел усталый взгляд на раскрытый журнал. – Удалось ли найти в сем самозваном «Сыне отечества» хотя бы одного истинного сына отечества?

Вялая улыбка набежала на его напудренное лицо.

– Я веду, как и до этого вела, уединенный образ жизни, все петербургские важные новости обходят меня стороной, – склонив голову, отвечала она, голос ее, как и в молодости, оставался чист и приятен. – Наши журналы, государь, несмотря ни на что, не могут пожаловаться на отсутствие истинных сынов отечества!

Ее ответ удивил супруга и как-то сразу придал их беседе недостающие оживление и темп.

– Вот как? Кого же из сочинителей ты отличила?

– Вот вам, для примера, Федор Глинка! Разве такой россиянин не достоин называться истинным сыном отечества?!

– Я знаю твое ничем не излечимое пристрастие к стихотворцам, особенно к русским, пишущим на нашем полуславянском, полуварварийском монголо-татарском наречии... Да, Глинку я знаю. Что-то когда-то читал. Его песни в годы войны с Наполеоном распевали даже солдаты, распевала фабричная и дворовая чернь, вроде новгородских парусинщиков... Но он испортился. Давно испортился...

– Чем же, государь?

– Почему опять: «государь»? Почему не запросто: «Саша» или «Александр Павлович»? Я устаю от этого слова. Устаю... – Он притронулся к ее руке, нагретой белой шалью из козьего пуха, лежавшей на плечах. – Глинка испортился тем, что с некоторых пор пошел по стопам Греча, – во всем и по поводу всего слишком много умничает. Как Василий Каразин, как светлейший князь Меншиков... А всякий умничающий, я теперь глубоко убежден, уже не может быть истинным и безупречным сыном отечества.

– Раньше такого утверждения я от своего умного супруга не слышала.

– Было время, время заблуждений, когда и я бесплодно умничал, и тем давал дурной пример многим. Но то время, слава богу, миновало. Я о нем не сожалею, и возврата к нему никогда не будет.

Царь сказал это твердо и категорично, как будто отдавал повеление.

Слабые пятна на бледном лице Елизаветы сделались багровыми, и в глазах, по-иконописному глубоких и проникновенных, появилось что-то неизъяснимо скорбное, как бы не поддающееся полному выражению словами и жестами, – состояние, давно знакомое Александру. Оно овладевало супругой перед безотчетными неутешными слезами или же перед страстным, упорным, даже отчаянным отставиванием своего взгляда на что-либо.

– Почему в Россию все бросают грязью? Прямо в ее прекрасное лицо? Почему в России не умеют любить и ценить свое собственное великое национальное достояние? – голосом взволнованной откровенной души спрашивала Елизавета, перелистывая журнал. – Даже как бы в собственное посмеяние перед другими народами все высшее дворянское общество и двор наш пренебрегают своим прекрасным несравненным русским языком, и детей своих уже с самой колыбели отравляют этим космополитическим пренебрежением. В Царском Селе, в Павловске, в Петергофе, в Зимнем, здесь, на Каменном Острове, иной день и двух слов не услышишь на русском, мне поневоле приходится звать мою горничную Корниловну и просить, чтобы спела русскую песню или рассказала чудесную сказку...

– Русские сплошь или дураки, или подлецы и мерзавцы, я в этом давно утвердился и не изменю своего взгляда! – с непонятым озлоблением буркнул царь и отнял холодную руку от горячей руки жены.

– Зачем, государь, так жестоко и так несправедливо говорить о своих подданных, которые тебя обожают и гордятся тобою? Зачем? Чему и кому в угоду? Не русские ли показали всему миру чудеса доблести, сокрушив Наполеона? – говоря это, она готова была зарыдать.

– Я сокрушил! Я! С помощью всевышнего!

– Пускай, государь, это будет так. И все же моя любовь к русской словесности, к благозвучному русскому языку безгранична! Я говорила и матери моей и всем моим германским родственникам, и еще раз с удовольствием это повторю: звуки русского языка для меня сладостны, как хорошая музыка. Смолоду для меня занятия русским языком были и остались истинным наслаждением!

– В России нет настоящей словесности.

– Пускай литература наша в младенчестве, но уже и в таком состоянии ее богатства поразительны! И когда проникаешь во все неиссякаемые кладовые языка, то ясно видишь, что можно бы из него сделать! Какие сокровища! Какие самоцветы! Нужны только руки, могущие разработать, воззвать к жизни эти сокровища, а таких рук России не за морем

покупать. Разумеется, красота языка, государь, во многом зависит от того, из чьих уст его слышишь.

– Не спорю. В сатанинских устах Меттерниха и язык ангелов будет звучать как словоизвержение станционного смотрителя.

– Из уст истинного поэта всегда приятно слышать русский язык.

– И все же, дорогая моя царица, русский язык, против которого я никогда не объявлял гонения, наоборот, иногда строго одергивал гонителей, – уже лицемерил Александр, – язык слишком грубый для аристократического обихода. Он, возможно, и хорош для базарных площадей, для биржи, для купцов и ямщиков, но для сеймов, конгрессов, для Сената и кабинета малоподходящ. Но тебе, нежнейшая супруга моя, я всегда отдавал и отдаю должное в том, что ты так легко научилась говорить по-русски лучше и правильнее многих коренных русских людей.

– Любовь, государь, лучший наставник.

– Ты, Лиза, трудолюбива и последовательна.

– Я научилась русскому без труда, научилась так же незаметно, как учатся улыбке или родному языку. Нет для меня ничего отрадней дум о благоденствии моей дорогой, моей любимой России... – На глазах Елизаветы опять сверкнули искренние слезы. – Россия страдает, и я страдаю вместе с нею во всех проявлениях ее страдания. Страдаю и не могу ничем ей помочь. Мое страдание видят во дворце или же подозревают о нем, и за то я в царской семье всеми нелюбима, особенно нелюбима той мухой на рогах у вола, которая всю жизнь привыкла бездарно разыгрывать комедию и делать других вынужденными соучастниками ее нелепых представлений. Я безгранично благодарна моему государю, моему, несмотря ни на что, мною любимому супругу, моему Александру Павловичу, моему ангелу-хранителю Саше, вот этому самому близкому мне человеку... – Она схватила его надушенную руку и, плача, начала ее целовать. – Благодарна за то, что великодушно с определенных пор избавил меня от мучительной необходимости пребывания в Таврическом мрачном, полном тягостных воспоминаний дворце...

– Все еще ужасно много варварства в нашем народе во всех его слоях, я не исключаю и сферы правительственные, – размягченно проговорил царь.

– Много варварства? Нет! Не согласна! Это вымыслы недругов! Государь, я вместе с тобой видела прекрасную Россию в самый страшный для нее год, и теперь никто меня не убедит в том, что это страна варварства! – горячо возражала Елизавета, прижимая к груди руку царя. – О, какой же это достойный народ! И он сумел показать сам себя во всем нравственном величии и блеске перед теми ханжами Южной Европы, которые упорно считали и ныне продолжают считать его варваром. А русские женщины потрясли меня своей верностью и самоотречением, превзошедшим самые очаровательные легенды древних! Никто в России, вы помните, от мала и до велика не хотел позорного мира для своего отечества... – От волнения речь ее утратила стройность, но оттого не сделалась хуже. – Я вместе с тобой, друг мой бесценный, помнишь, когда в 1817 году мы ехали в Москву, остановилась на ночлег в грязном помещении, полном тараканов. Мой храбрый камергер князь Голицын, который боится тараканов еще больше, нежели я, выдвинул мою кровать на середину комнаты, но эти тараканы, угрожающие забраться ко мне в постель, несмотря на то, что дверь в комнату не запиралась и рядом стояли часовые, не заслонили от меня красот и славы России, не умалили истинного ее величия, изумительного народа, достойного высшего преуспеяния во всех замыслах и начинаниях!

Александр, в душе совершенно равнодушный к нежным словам, слушал Елизавету, испытывая возрастающее подозрение. Ему вдруг вспомнилось подметное письмо с предупреждением о якобы зреющем в глубокой тайне государственном перевороте, о коварных замыслах сделать Елизавету царицей. В его черной записной книжке появилась новая сокращенная, почти зашифрованная помета на основании свежих агентурных донесений тайной военной полиции о каком-то пока что определенно не выясненном елизаветинском обществе. Для Александра оставалось неясным: идет ли речь о каком-то новом тайном политическом обществе или же это – всего-навсего извращенные воображением фискалов слухи о масонской ложе Елизаветы, существование которой давно известно Александру.

– И все-таки в твоём безоговорочном восхищении есть много неоправданного, слепого, – меланхолически сказал царь.

– Нет, нет, это не слепое восхищение, которое будто бы мешает мне видеть преимущества других государств перед Россией, – непреклонно возражала Елизавета. – Нет! Я с глубокой болью вижу все ее незаживающие раны, вижу все недостатки, все язвы, но вижу также, чем она со временем может стать, и каждый ее нелегкий шаг вперед несказанно волнует, радует меня, наполняет мое сердце гордостью за нашу державу!

Александр слушал, сам размышлял: «Умонастроение ее, пока я отсутствовал, изменилось к худшему... Значит, моя мать правильно жаловалась мне на Елизавету за ее покровительство разным слишком ученым и начитанным генералам, вроде Якова Потемкина, Михайлы Милорадовича, за расточение незаслуженных высочайших похвал разным либеральничавшим сочинителям. Во время каждого моего отъезда Каменный Остров превращается не то в Добровольное общество любителей словесности, не то в штаб-квартиру карбонарии петербургских... Ее выпренные гимны вшивой чесоточной России легко, конечно, могут воспламенить разных умников и подвигнуть их на любое злодеяние. Оставлять Елизавету одну в Петербурге опасно...» Царь мрачнел, но все еще не хотел открывать всех своих тревог и сомнений.

– Ты сказала, что состоящий при генерал-губернаторе полковник Глинка – большой истинный поэт. Разреши сделать одно замечание. Не знаю, как насчет поэзии, но насчет истории сей сочинитель показал себя большим путаником и невеждой...

– В чем же, государь?

– Даже в том, чему он был живым свидетелем. – И царь вынул из кармана черную записную книжку. – Вот сочиненная Глинкой «Песнь русского воина при виде горящей Москвы». И что же мы в ней читаем? Мы находим в ней нечто, с чем никак нельзя согласиться:

Друзья, бодрей! уж близко мщенье:
Уж вождь, любимец наш седой,
Устроил мудро войск движенье
И в тыл врагам грозит бедой!

Такое необузданное прославление Кутузова не отражает закономерностей хода истории. А в чем же заключалась роль государя и его лучших советников? Это близко к клевете на новую историю отечества и русскую армию, которую всегда отличала безграничная преданность своему монарху и вера в его премудрость, как ставленника божия на земле. А выдумщик Глинка отдал всю любовь воинства русского, отдал вопреки истине, какому-то дряхлому и уже слабоумному старику, отдал, очевидно, уступая общественному мнению и советам некоторых вкрадчивых лукавцев. И вот стихотворец, ничтоже сумняшеся, возвеличил в вожди того, который только мешал мне своим старческим брюзжанием...

– Я, государь, не генерал, и не мне судить о чисто военных делах. Но Глинка не раз был опален пороховым пламенем, – заметила Елизавета.

Александр сунул обратно в карман записную книжку, хотел что-то сказать, но раздумал – решил до времени оставить про себя.

В продолжение всей беседы Елизавета по выражению царского лица следила за движением его души и мысли. Она ловила благоприятный момент, чтобы предстать перед ним за осиротевших и претерпевающих неимоверные лишения солдатских и унтер-офицерских жен бывшего Семеновского полка.

И такой момент, ей показалось, наступил, когда царь, повеселев, начал пересказывать анекдоты и каламбуры неистощимого Милорадовича.

– Я хочу, милый мой, опять обратиться к тебе как к возлюбленному государю, – ласково и непритворно заговорила Елизавета. – Государь, облегчи участь несчастных жен и детей твоего любимого полка... Они ни в чем не виноваты. Несносно было видеть их мучения и слышать вопли. Без тебя я сочла своим христианским долгом навестить несчастных страждущих, утешить и помочь, чем могла... Но моя поездка в Семеновские казармы к несчастным солдатским и унтер-офицерским женам, равно как и мое моление

вместе с ними в полковой церкви о ниспослании небесной благодати, было встречено новыми бурными сценами во дворце... А кем – нет надобности называть это имя...

Брови царя учащенно задергались. И хотя еще улыбка не исчезла из его глаз, но они уже были не такими, как минутой назад.

– Чем же и как ты их утетила?

– Надеждой на высочайшую милость, государь! Они молятся за тебя. Они уповают на твое чуткое, сострадательное сердце, – рассказывала Елизавета. – Бездетным я из моих личных денег раздала по сто рублей, а семейным по двести. Но это было давно. Деньги и пожитки солдатками прожиты, дети солдатские кормятся мирским подаянием.

– Как это ужасно! Как это ужасно! – зачастил царь, и под глазами у него задергались жилки. – Я не дам в обиду несчастных. Но твое посещение, Лиза, казарм бывшего Семеновского полка может быть понято и истолковано превратно! Не дай бог, дипломаты разнесут об этом на всю Европу. Женам и детям, да и самим бывшим семеновцам недолго осталось переносить лишения. Я обещаю сделать все к облегчению их участи. У меня сердце сжимается от боли, когда я думаю о них.

На глазах у царя как бы появились слезы.

– Государь, ты поистине великодушен и щедр, как богочеловек, и так же, как он, сострадателен к ближнему!

– На то я и христианин. Я подумаю, как помочь женам и детям. Я велю аудиториату сделать все для облегчения участи несчастных, – обещал он.

– Государь, прости им всем. Еще громче будет слава о тебе. Ты своим великодушием все сердца привяжешь к себе.

Он задумался.

– Осуждение уже проведено, и я отказался бы от суда над ними, но мне было неудобно перед следователями, – осторожно отвечал он. – Я издавна придерживаюсь правила: повеления не должны отменяться или изменяться. Но что бы там ни решил суд, за мной остается последнее слово. И при этом моем последнем слове я обязательно вспомню твою просьбу о несчастных.

– Спасибо, государь! Спасибо, милый мой супруг! Надеюсь, что ты не взыщешь на мне за то, что я во время моего посещения казарм, желая облегчить неутешное горе молодой солдатки, по совету гофмейстерины, взяла ее к себе в служанки, – волнуясь, тоном слегка провинившейся сказала Елизавета.

– К себе? Во дворец? – с внезапным возбуждением спросил царь.

Он встал и зашагал по покою.

– Я разрешила ей приходить ежедневно.

– Милая царица, ты поступила опрометчиво и сим покровительством печально нарушила мой незыблемый принцип, – с нескрываемой укоризной говорил царь, продолжая ходить.

– В чем же нарушение?

– В том, что сим жестом отдала предпочтение одной фамилии перед остальными. А я так никогда не делал. Для меня все семеновцы одинаковы! И вообще, почему брать в служанки солдатскую жену?

– Ваше величество, если бы ты увидел ее в праздничном наряде или на молении, то ты не подумал бы, что это солдатская жена, – решительно вступилась за Лушу царица. – Она изящна, умна, красива и очень переимчивая ко всему хорошему... Как-то даже не верится, что она родилась и выросла в крестьянской семье. К тому же она нрава кроткого, такая чистоплотная, опрятная, на нее приятно смотреть, и мне с ней бывает хорошо, когда она наводит чистоту и порядок в моих здешних покоях.

– Все равно нехорошо, царица, – уже совсем помрачнел царь. – Сострадание никогда не должно впадать в противоречие с политикой. И ты этого часто не понимаешь.

– Государь, это та самая Луша Дурницына, которую венчал с лучшим солдатом государевой роты генерал Потемкин, – напомнила царица в надежде разжалобить супруга.

– Не знаю, как сват хорош ли Потемкин, но как генерал он плохой, – царь сделался раздраженным. – Облагодетельствованной солдатке-служанке дай денег и откажи от дворца. Так надо!

Он уже не мог скрыть своего недовольства. Мрачный покинул покои жены.

15

В полном одиночестве совершив часовую прогулку на Каменном Острове, Александр вернулся во дворец. Ему хотелось поскорее покинуть постылый Петербург с его вечной придворной суетой и уехать в благовонную тишину Царского Села, но накопившиеся за многие месяцы дела мешали отъезду. Вчера почти весь день ушел на обстоятельные разговоры с графом Кочубеем, Васильчиковым, Закревским, Воронцовым и приехавшим с Кавказа своенравным генералом Ермоловым. Нынче назначена аудиенция генерал-губернатору Милорадовичу. Послушать Милорадовича всегда приятно. Памятуя просьбу болезненного графа Кочубея о временном принятии дел его министерства, Александр вынашивал мысль о назначении Милорадовича в будущем министром внутренних дел. Другого подходящего на этот пост человека он не видел среди придворных.

Прогулка не сняла с царя душевной переутомленности, которую он с каждым днем ощущал все острее и болезненнее. Однако это не мешало ему думать о таинственной причине семеновской истории, о возвращении в столицу змея-искусителя, бывшего государственного секретаря графа Сперанского и о предстоящей встрече с ним, нежелательной, но неизбежной, о заступничестве старой царицы и великого князя Николая с его супругой за статского советника Василия Каразина, якобы несправедливо притесненного генерал-губернатором и его подчиненными, об усиливающейся глухоте, о непокорных братьях Муравьевых, к которым никогда не питал ни доверия, ни благоволения, о недавно полученном письме Витта, тайно сообщившего о кумовстве и похлебстве в главном штабе 2-й армии на Украине, об удаленном из столицы графе Виельгорском и об изгнанном поэте Катенине, о вновь назначенном главаре тайной военной полиции Грибовском, в преданности которого сомневался – не есть ли сей бывший член Союза Благоденствия хитро прикрывающийся шпион из стана карбонариев и вольнодумцев?

В огромном императорском кабинете на просторном столе лежала груда распечатанных и нераспечатанных писем от самых разных знакомых и незнакомых лиц с обязывающей императора пометой – «в собственные руки его величества». Пакеты были доставлены сюда из дворцовой канцелярии и от министра внутренних дел. Царю до смерти не хотелось рыться в этом бумажном ворохе, и он уже подумывал, на чьи бы руки сбавить его – министру внутренних дел Кочубею или генерал-губернатору, благо его помощник Глинка слывет первейшим в столице трудолюбцем. Из всей бумажной груды царь вчера выбрал и в первую очередь прочитал письма от архимандрита Фотия, от «дщери возлюбленной творцом небесным» Анны Орловой-Чесменской и от давнишней приятельницы госпожи Крюденер да еще от набожной княгини Софьи Мещерской.

Начитавшись писем с разными душеспасительными советами, он предался пламенным молениям, молился на коленях перед иконой в своем кабинете, молился в дворцовой церкви, молился у графа Аракчеева в его городском доме, молился в домашней молельной у князя Александра Голицына и дал обет вскоре съездить поклониться отцу Фотию и получить от него благословение.

Вскоре приехал жизнерадостный, неистощимый на шутки и анекдоты Милорадович, в блестящем парадном мундире, с голубой лентой через плечо и при всех регалиях. Всем своим видом он показывал радость губернии и вверенной его попечению столицы по поводу возвращения из дальних краев обожаемого монарха. Александр, в черном мундирном сюртуке с серебряными эполетами, сам открыл двери своего кабинета перед генерал-губернатором, обнял, расцеловал, взял под руку и провел не к столу, а к открытому окну, в которое доносился уличный шум с Каменного Острова.

– Здесь, Михайла Андреевич, легче дышится, – сказал царь. – Как душно в современных городах, у нас и в Европе, и как я их не люблю... Как не люблю... Душа, словно голодный по хлебе, стосковалась по тишине. И только долг, возложенный на меня всевышним, удерживает среди этих постылых каменных громад, в этой вечной пыли и духоте.

Глядя в смутные глаза царя, Милорадович понимал, что тот не лицемерит. Для начала он ввернул два веселых анекдота екатерининских времен о проделках заглавного атамана

тогдашней полиции Шешковского. Александр, хотя и не расслышал половину, но одобрительно ухмыльнулся. Потом спросил:

– Где ныне Каразин? Вот тут за него хлопочет чуть ли не вся наша фамилия...

– Душа моя! – воскликнул бурный Милорадович и немедленно спохватился: – Простите мне великодушно, ваше величество, мою закоренелую приверженность к этим двум словам. Привык, забываюсь, особенно когда начинаю докладывать моему государю сущую истину.

Александр милостиво принял извинение. Свалив голову к плечу, чтобы лучше слышать и без того громко говорившего генерал-губернатора, повел его под руку от окна к столу, где лежал набитый бумагами замшевый с золотыми фигурными застежками портфель генерал-губернатора.

– Каразин, кого хочешь, ежели задумает, может ввести в заблуждение, – начал докладывать Милорадович. – Я не удивляюсь, что за него хлопочут члены императорской семьи. Проживание прошлым летом в Павловске сей ловец незаслуженного счастья не без успеха постарался использовать в личных видах... Я против статского советника Каразина ничего не имел и не имею лично, но долг, возложенный на меня вашим величеством, обязывает меня быть строгим и неподкупным. – Милорадович, встав из кресел, расстегнул портфель и продолжал, будто со сцены: – По внимательнейшем рассмотрении всех бумаг Каразина, с преизбытком наполненных вредным либеральным пустословием, и вместе с тем, не найдя в оных ни золотника к приращению славы государю и пользы любезному нашему отечеству, я и Глинка, с полного согласия министра внутренних дел графа Кочубея и горячего одобрения его сиятельства графа Аракчеева, согласуя строгость вашего величества с человеколюбием, сочли за благо отослать неисправимого вольнодумца, сеятеля смуты, в его родовую деревню Кручик, без права возвращения в столицу. Ведь вот до чего дописался этот неистовый малороссийский реформатор... Позвольте задержать, ваше императорское величество, внимание ваше хотя бы на отдельных извлечениях из зловредных каразинских умствований...

Александр благосклонно кивнул, и Милорадович с подъемом громко стал читать заготовленные Глинкой выписки из арестованных бумаг. Читая, он время от времени взглядывал на слушающего.

– Он уже мне однажды писал о том, что ему неоднократно приходила в голову мысль о **невидимой** руке, – заметил царь по ходу чтения. – Ему не дает покоя мысль о том, что какая-нибудь **невидимая** рука движет внутри отечества нашего погибелейшими для него пружинами... Я, признаюсь, не оставил без внимания этого предупреждения и повелел Кочубею снестись с подателем, чтобы добраться с помощью Каразина до той **невидимой** руки.

– Вся полиция, ваше величество, была поставлена на ноги, но никакой невидимой руки обнаружено не было, – уверенно говорил Милорадович. – Кочубей и я в этом единодушны. Мысль Каразина оказалась чистейшей фантазией и продиктована нечистоплотными личными намерениями.

Благосклонный кивок императора предлагал продолжать чтение извлечений.

– Далее дерзкий честолюбец впадает в такие неистовства, утверждая, что престолы окружены опасностями, что бунты везде свирепствуют, журналы говорят с народом дерзновенно, – давал Милорадович пояснения читаемым экстрактам. – Сей вольнодумец в своем опасном умопомрачении не хочет доверять не только правительству, ниже мудрости самого государя. Он так и пишет: «а давно ли дело отечества, в котором я живу, в котором будут жить мои дети и внуки, перестало быть моим собственным делом? Из какой азиатской системы взята мысль эта? **Учить правительство** – выражение, изобретенное нарочно для уязвления самолюбия лиц, правительство составляющих! Мы все учим и учимся до самой смерти. Несчастлив тот, кто вообразит, что ничего уже не остается ему узнать. Правительство есть средоточие, в которое необходимо должна стекаться мысль о благе народном...»

– Не находите ли вы, граф, сии дерзновенные выражения похожими на выражения в подметном пасквиле? – спросил Александр.

– Даже очень нахожу похожими! – воскликнул Милорадович. – То же находят и Кочубей, и Глинка. А вот как дерзновенно и непочтительно сказано о нашем духовенстве: «Наше духовенство, которое по необходимости обращается с библиею каждый день, есть одно из развращеннейших классов народа. Не напрасно с древних времен и поныне встреча с попом считается дурною встречею!» – Милорадович прочитал с таким усердием, что тугоухий царь слегка прикрыл оттопыренные уши ладонями. Прикрыл и посмотрел на икону, висевшую на стене. А генерал-губернатор уже был готов оглоушить царя еще более страшными извлечениями: – «Нашему веку свойственно пускать пыль в глаза и бесполезно умножать способы. Корыстолюбие и чванство, пользуясь благодетельнейшими наклонностями государей, обманывают их кругом. Библейские общества сеют волнения в умах народа. Иностранцы ввели вредную систему в министерстве финансов, эта система ведет к государственному банкротству, обогащая только спекулянтов...»

Царь слушал, склонив голову с мясистым, перевалившимся через тугой высокий воротник загривком, сам становился все печальнее.

– Со стариком Браунштейном сей статский советник возвели клевету на известных в отечестве помещиков: графа Борха, Платера, Шадурского, Михельсона, Шишкина, графа Сологуба, князя Любомирского, скромнейшего и честнейшего Кроиера, который якобы есть мот и картежник. Каразин уверяет, будто миллионы расхищаются без малейшей пользы для государства. И по чьей вине? По вине правительства, о котором означенный лжемудрствователь дерзает отозваться так: «Тысячу раз я представлял себе российское правительство огромным и чудесною силою одаренным исполином, который вместо устройства себе покойного жилища истощается на бесполезное перекладывание камней с места на место, без всякого отдыха. Но здесь я вижу сего исполина усыпленным враждебными чародеями у подошвы сооруженных им громад, готовых уже на него обрушиться... Есть немало людей, действующих во вред России...»

– Вот уже более двадцати лет он пугает меня неизбежным скорым крушением и обрушением каких-то громад, а сам не указывает на них, – грустно сказал царь без всякой злобы на Каразина.

– И никогда не сможет указать, ваше величество, потому что все подобные громады, готовые обрушиться, существуют лишь в его умоисступленных фантазиях!

– А что найдено у Каразина, непосредственно связанное с неустройством, имевшим место в Семеновском полку? – спрашивал царь о том, что сейчас больше всего тревожило его мнительное и никому, кроме одного Аракчеева, до конца не верящее сердце.

– Найдено и о семеновцах, душа моя... Виноват, ваше императорское величество. – Царь лишь улыбнулся, не поставив генерал-губернатору в вину и эту оговорку. – Вот о семеновцах мнение Каразина: случившееся недавно происшествие – неповиновение лейб-гвардии Семеновского полка, по крайней мере у нас, россиян, еще небывалое...

– Как, как он сказал? – переспросил Александр, подставляя поближе ухо к читающему.

– Считает происшествие **небывалым**!

– Небывалое... Небывалое, – повторил царь. – Ну, что ж, и он в том прав... Я тоже считаю небывалым. Дальше, что найдено в связи с семеновским волнением?

– «Из этого происшествия я вижу, – читал далее Милорадович, – во всем блеске благороднейший характер бесподобного русского народа, и что, взяв надлежащие меры, можно еще спасти его от всеобщей заразы...»

Александр не сразу вник во весь смысл прочитанного Милорадовичем и переспросил:

– Как это понять: видит во всем блеске благороднейший характер?

– Можно понять лишь только как безоговорочное восхваление бунта, ваше величество! Именно восхваление, а не осуждение! Да разве в таких словах есть хотя бы грань осуждения печального семеновского неустройства: «О народ единственный! Я становлюсь перед тобой на колени: слезы наполняют глаза мои. Я горжусь тем, что к тебе принадлежу!...»

– И за этого Каразина предстательствуют передо мной моя мать и брат Николай? – покачал головой Александр. – Им известны выдержки из бумаг, что вы только что прочитали мне?

– Не известны, ваше величество. Долг моей службы не позволил мне до вашего возвращения доводить до чьего-либо сведения столь важные бумаги. Вот соблаговолите выслушать далее: «Случай с Семеновским полком составляет как бы первую ступеньку в лестнице, которую строит для нас дух века; во-вторых, по отголоску, который раздается о сем и в чужих краях, и во всех концах нашего государства..»

– «Во всех концах нашего государства», – вздохнув, глухо повторил император.

Милорадович отошел к круглому столу, чтобы налить себе из хрустального графина стакан воды.

– Дух века... Дух века... – глухо повторил царь. – Дух века... Этот дух заставляет меня вот уже много лет носиться с одного конгресса на другой. Этот ветер, дующий с запада, я пытаюсь остановить сотнями тысяч штыков... Дух века... Но только не Каразину и не в таких до дерзости неприличных выражениях философствовать об этом.

Генерал-губернатор вернулся к большому столу, чтобы дочитать оборванную на полуслове фразу.

– «Первое оскорбительно только для нашего честолюбия: ибо мы в то самое время громко говорим, что умирняем других; но последнее составляет истинный вред, то есть подрыв нашего общественного мнения. До сих пор оно **власть** и войско почитало за **одно**».

– А теперь разве оно уже не почитает власть и войско за одно? – тревожно спросил Александр.

– По мнению умоисступленного честолюбца, якобы уже больше не почитает власть и войско за одно, ваше величество. Но такие утверждения решительно ни на чем не основаны и являются полнейшим сумасбродством.

– На кого он возлагает вину за возникновение семеновской истории?

– Во-первых, бранит Шварца, говоря, что прекрасный полк был отдан тирану. Жестокости Шварца были не только тяжки, но и отвратительны: они показали явное презрение к человеку, к достоинству человека, которое в последнем солдате должно быть свято сохранено. Ибо куда будет годиться воин, если истребить в нем чувство чести!.. Сей скотствующий начальник, презирая вверенных ему людей, верных сынов отечества, совал солдатам в ноздри горящие окурки, вырывал ради потехи усы, ходил к женатым в спальни ночью, подбирая людей, как скотов, по цвету кожи и волос...

– Как я не соглашался, как я не соглашался и долго отказывался сделать Шварца командиром полка, – будто сам перед собственной совестью оправдываясь, тихо проговорил царь. – Но не устоял перед моим другом и братом – графом Алексеем Андреевичем. Это он сделал Шварца командиром любимого моего полка. Это он... Но грешно христианину винить другого в том, в чем сам должен ответственность перед всевышним, – поднял глаза к потолку царь. – Значит, всю вину возлагает на Шварца?

– К сожалению, не только на одного Шварца, – отвечал Милорадович, еще много имея про запас. – Каразин и тут не обошелся без того, чтобы дерзко не отозваться о правительстве и государстве в целом. Да и не только о правительстве...

Оживление появилось на круглом одутловатом лице царя.

– «Время укрепит расслабевающий состав нашего государства!» – повторяет Каразин какие-то прежние слова, якобы не раз высказанные им вашему величеству. – «Время заменит религиозное к престолу почтение другим, основанным на законах!»

– Знакомые слова, знакомые, – заметил царь. – Он не врет.

– Здесь уже он прямо договорился о замене престола законами, – не без расчета привлек Милорадович внимание царя к такому выводу. – Допелся до куплетов, сочиненных на французский лад. Далее Каразин дерзает наглешим образом поучить обожаемого монарха и призывает не верить поклонам и речам, не верить ни министрам, ни губернаторам, а верить только одному всезнайке Каразину.

Царь достал из стола экземпляр пасквиля, что прислан был ему в Лайбах и оттуда привезен обратно, и положил его на столе перед собой. Потом из того же ящика извлек целый пакет каких-то бумаг. Милорадович продолжал читать и давать короткие пояснения к выдержкам.

– Великая перемена, уверяет Каразин, произошла в умах. И позволяет себе сделать какие-то странные туманные намеки: «множество причин на сие действует и день он, яко

тать, придет!» Что это за день, яко тать, приходящий? И уж совсем ужасно становится даже читать, когда встречаешься с такими возмутительными утверждениями: «Правительство само способствует тому всеусильно, непонятным каким-то образом...» Что же получается, если на минуту согласиться с Каразиным? Получается, что правительство его величества состоит из людей, являющихся единственной причиной происшедшей перемены умов. Каразин уверяет, что народ хочет видеть государя окруженным советчиками, но из царства иного! Он сравнивает себя с графом Ривароль, который опоздал с деловыми советами в конце 1791 года... А Каразин не желает опоздать. Помыслы господина Каподистрии он находит подозрительными для россиян. Начитавшись прошлым летом в Павловске сочинений Шатобриана, он бредит химерами о каких-то добровольных народных правителях, которые своими добровольными постановлениями должны предварять постановления насильственные. В письме к княгине Чарторьской изображает нашу российскую действительность унылой и непривлекательной.

Царь встал из кресла и перешел на другую сторону стола, чтобы сесть рядом с генерал-губернатором. Уж чего-чего, но попытки Каразина завязать переписку с чванливыми Чарторьскими царь не ожидал. Отношения царя с Адамом Чарторьским, другом детства и юности, были так деликатны, трудны, извилисты, то ясны, то туманны, что разобраться в них могли лишь они двое. В их отношениях переплелись наряду со сложными большими государственными делами и противоречиями мотивы чисто личного, порой интимного характера. В их переписке, которая то оживлялась, то замирала на длительный срок, было много огорчительного для той и для другой стороны. И Александр боялся чьего-либо проникновения в тайну их нелегкой дружбы. Каразин с полунамека может понять тайну их совершенно доверительной переписки. Многие откровенные мысли, которыми русский властитель охотно делился с умнейшим польским аристократом, никто из русских никогда и не слышал от Александра. Он и не собирался этими мыслями делиться с соотечественниками, потому что не скрывал своего к ним презрения. Перед другом своей юности Александр всю жизнь упорно старался предстать не таким, каким был на самом деле, изобразить цели своего царствования не такими, какими они были, тщился представить отечество в радужных красках. Он всю жизнь верил в то, что его игру в либерала и поборника свобод никто не может раскусить и никогда не раскусит, никто не разберется в его двуличии и лицемерии, благодаря которым ему удавалось достичь многого, как у себя во внутривластных делах, так и в делах европейских.

– И что же он пишет княгине Чарторьской? – спросил царь.

– Опять пугает княгиню и сам себя какими-то несуществующими ужасами и уверяет, что нас-де, мол, спасти может единственно немедленное употребление в дело просвещенного дворянства, к лику которого он прежде всего причисляет себя, поскольку считает себя изобретателем сухарей из капусты и брюквы... – Милорадович не упускал случая снабдить свои порой язвительные пояснения щепотью соли. – Теперь вот тщится изобрести зеркало, в котором бы цари могли ясно видеть общественное мнение.

– Опять общественное мнение?.. Или ему не известно, что ныне стало с Европой от этого так называемого общественного мнения? И какое же зеркало он изобрел?

– Ясно, что самое кривое и совершенно негодное для россиян. Начала нашего государственного постановления, по его странным умствованиям, должны быть отысканы в религии и в древних обычаях нашего отечества, а для этого он призывает создать государственную думу. Дума – вот его зеркало...

– Уж не снюхался ли этот Каразин с графом Сперанским? Тот в свое время помешался на разных кривых зеркалах, подобных этому.

– Каразин находит, что граф Сперанский мешает делу подлинного обновления России – по своей англomanии, он пригласил около себя много молодых демократов, он всегда опирался на Каподистрию, от которого России ничего, кроме вреда, ждать не приходится.

Затем Милорадович зачитал то место, где Каразин тщился защищать дворянство, и не только русское, но и европейское. Он доказывал, что следы разрушительной, на его взгляд, системы прошедшего века оставили свой отпечаток на образе мыслей государей нашего времени, и за это ревнитель чести международного дворянства упрекал прежде всего

воспитателей датского Фридриха-Вильгельма, Франца и самого Александра Первого, учителем которого являлся швейцарец Лагарп.

– «Все эти масоны и Лагарпы, – читал Милорадович, – были люди, напитанные порочною системою прошедшего века, что питалась ядовитыми соками энциклопедистов, сеявших повсюду безверие».

Царю весьма не понравилось такое вольное и явно осудительное высказывание об учителе, о котором он и нынче, не смея в этом признаться, вспоминал с почтением; Лагарп был таким же богато одаренным человеком, как и Адам Чарторыйский, как суздальчанин Михайла Сперанский, и острота ума, в которой нельзя было отказать Александру, а вместе с тем и лукавство, в детстве и юности, а потом и на престоле были отработаны им не без помощи этих очень не похожих друг на друга недюжинных людей.

– Сколь безгранична возмутительная дерзость этого поклонника государственной думы, – разгневался царь, слушая резкие выпады Каразина. – Он уже в дворцовые дела дерзает внести свои правила, хочет учить государей тому, как и у каких наставников они должны воспитывать великих князей и княгинь.

– И не только в дворцовые, – добавил Милорадович и, сообразуясь с умонастроением возмущенного царя, с пафосом прочитал каразинские перуны в державную власть: – «Мы зажимаем глаза, и сами себя обманываем! Пора перестать затыкать уши и зажимать глаза! Благородное наше юношество и народ также выходят уже из детского возраста, стоят в настоящее время на самом опасном пути, а вернее всего – на самом опасном распутии. Одно мгновение: и они пойдут в тот или иной путь невозвратно!.. Не самовластные меры, не подслащенные слова, ниже тонкости французской полиции в лице Горголи, тут потребны, все это даст совсем противный оборот делу! – но честность, строгая честность, систематический план, основанный на истине, от первой буквы до последней...»

– Ужасно, ужасно иступленное кричание этого сумасшедшего помещика, – сказал пришедший в смятение Александр. – Чего он еще от меня хочет? Чего? Недавно я ему простил большие долги, дал ленту... Сыновья учатся... Чего он еще добивается? Чтобы я открыл для него департамент статистики и занялся подсчетом того, сколько младенцев родилось и сколько умерло в Украина-Слободской губернии? Мне такой департамент не нужен! Взять ко мне в письмоводители? Не возьму! Я и не от таких письмоводителей вынужден был избавляться с помощью полиции. Что ему, сумасброду, нужно?

На покрасневшем лице Александра выступила испарина, в последнее время он сильно потел, как только начинал чрезмерно волноваться. Царь утерся платком и продолжал:

– В министры я его никогда не возьму, Каподистрию на Каразина никогда не поменяю. Чего он добивается? За Байкал захотел прогуляться?

– А вот чего, ваше величество: напрасно думают, что у нас нет людей для составления мнения государственного. Их очень достаточно. – И Милорадович показал императору строки в тетради, обведенные жирным красным овалом. – Вот, душа моя, чего он хочет.

– Вон куда метит! В Государственный совет и не ниже... Решил переплюнуть конституционалистов братьев Муравьевых и Тургеневых. – Раздраженный Александр вернулся за стол, но долго там не усидел, снова подошел и сел рядом с Милорадовичем, в мыслях сожалея, что в своем зимнем письме из Лайбаха на имя Кочубея не распорядился сразу же отправить Каразина в Сибирь на поселение.

Милорадович нынче был вполне удовлетворен ходом доклада: все шло именно так, как хотелось ему и Глинке, – пути к возвращению в столицу для Каразина были окончательно отрезаны волей государя.

– Ваше величество, я не хочу более сумасбродством этого честолюбца обременять и без того обремененное множеством важных дел и забот чувствительное сердце, – обратился Милорадович к вспотевшему царю. – И того, на что я имел честь и счастье обратить ваше всемиловитейшее высочайшее внимание, вполне достаточно, чтобы составить ясное представление о целях злоумышленных сочинительств опасного смутьяна... Поэтому при всем моем сострадании и желании помочь мадам Каразиной в постигшем ее несчастии, я и министр внутренних дел вынуждены были отвергнуть ее слезы и просьбы.

– Где его домашние бумаги?

– Тщательнейшим образом просмотрены, некоторые изъяты для дальнейших расследований, остальные, малозначащие, в четырех тюках отосланы Харьковскому губернатору Муратову для доставления оных сосланному.

– И чтобы Муратов установил за ним строжайший нечувствительный надзор.

– Строжайший надзор, государь, установлен с первой же минуты по доставке под крепким караулом... По беспристрастном исследовании всех материалов оказалось непреложно: оный Каразин настойчиво пытался путем подачи вымышленных доносов на несуществующих мнимых карбонаров и чуть ли не заговорщиков снискать к себе доверие и расположение не только мое и графа Кочубея, но и самого Аракчеева. Однако неусыпными стараниями градской полиции злокозненный пасквилянт был выслежен, схвачен, обезврежен, изобличен и выслан... Особенное рвение в сем важном предприятии показали своей бескорыстной службой столичные чины: обер-полицмейстер Горголи и пристав Лубецкий, первый обнаруживший след, что вел от подметного пасквиля прямо к Каразину на квартиру... Горголи и Лубецкий, государь, заслуживают быть отмеченными за их усердие в высочайшем рескрипте! Это, государь, еще больше поднимет боевой дух всей градской полиции!

По части выколачивания наград, высочайших рескриптов, благоволения, золотых табакерок, медалей, орденов, крестов и лент всех расцветок для себя и для своих подчиненных Милорадович был величайшим искусником. Ни перед кем, кроме Аракчеева, Александр не был так податлив и сговорчив, как перед бравым, умевшим и польстить тонко генерал-губернатором.

– За рескриптом и отличиями для полицейских чинов дело не станет, – обещал Александр и снова заговорил о Каразине, шурша его тайными письмами. – Он давно болтает о каких-то непреложных законах и злонамеренно, под личиной друга престола и верного мне раба, хитроумно размножает ложные слухи о том, будто я собираюсь сказать России, указуя на какие-то вымышленные им непреложные законы: **«Се предел самодержавия моего и моих наследников, нерушимый вовеки!»** Вдумайся, граф, что все сие значит: **предел самодержавия...** Это уже слишком, он забыл, в какой стране живет...

– Ужасно, государь, ужасно! – с перевоплощением талантливое актера подхватил Милорадович. – Непостижимо! В лице сего чудовища я вижу слившихся воедино троих таких извергов: Маккиавеля, Робеспьера и Марата... Это же настоящий разбойник, ваше величество, и второй на Руси Ванька Каин с дипломом помещика!

Царь пригласил генерал-губернатора обедать. Обедали они вдвоем. Милорадович, видя, что на столе нет ничего из вина, поманил пальцем камердинера, тихонько попросил:

– Душа моя, рюмку водки! Только рюмку!

Александр подозрительно посмотрел на генерал-губернатора, разговаривающего о чем-то с камердинером, – опять глухота мешала ему, – но, увидев на подносе наполненную рюмку, благосклонно улыбнулся и сказал:

– Уж извини великодушно, Михайла Андреевич, забыл, что мой генерал-губернатор имеет свой обеденный обычай.

Милорадович, выпив рюмку и закусив по-мужицки корочкой ржаного хлеба, с аппетитом хлебал уху из ершей и громко хвалил это любимое царское блюдо. Царь жаловался на то, что в Неве с каждым годом убывает рыба, что много всякой грязи сбрасывает в реку быстро растущий город, и что полиция должна строже взыскивать с осквернителей речных вод.

– Рыбы убывает, ваше величество, зато утопленников с каждым днем прибывает, только успевай откачивать и приводить в сознание, – весело и без раболепия начал Милорадович. – Много заботы утопленник доставляет полицейским чинам, особенно частным приставам. Вот послушайте, государь, как некий обер-полицмейстер лихо распорядился при откачивании утопленника. В одном полку солдата крепко наказали палками, он – камень себе на шею, да и бултых в реку. Стоявший поблизости будошник, парень удалой, сбросил сапоги и прыг с моста. С превеликим трудом достал со дна утопленника, выволок на берег, а солдат уже без памяти. Будошнику на подмогу бежит купец из лавки, кричит:

– Клади на бочку! Качай! Приводи в память!

Будошник с купцом взяли утопленника за руки, за ноги, положили на бочку и начали тормошить, раскачивать, трясти – сбежавшую душу на прежнее место заманивать. И уж вроде оживать стал утопленник... В это время ехал мимо обер-полицмейстер, отменно заучивший права и обязанности градской полиции, соскочил с дрожek.

– Что случилось?

– Самохотенного утопленника приводим в чувство!

– По наставлению департамента полиции приводите?

– Никак нет, по-своему трясем!

– Отставить по-своему! Приводить в чувство в строгом соответствии с наставлением департамента полиции! Будошник, есть ли тебе наставление?

– Никак нет, дома забыли!

– Беги домой за наставлением!

Побежал будошник. Принес.

– Читай наставление!

– Мы очки забыли!

– Ну, я сам прочитаю! Слушай! И чтобы у меня обязательно в строгом соответствии с наставлением! – И обер-полицмейстер стал читать наставление: «Кто, по нещастию, утонет и вынут будет из воды, и если не будет вскорости врача, то, до прибытия оного, не качать его на бочке и не трясти сильно, но положить в теплой покой на спину, так чтобы голова была повыше, и обтерши тело, нагревать теплыми одеялами и под оными тереть тело снизу вверх...»

Побежали искать теплый покой. Внесли в теплый покой.

– Есть теплые одеяла?

– Нетути, батюшка, сами под рогожкой спим...

– Сбегать в лавку, занять теплое одеяло!

Сбегали. Заняли. Принесли. Но долго спорили над тем, где у лежащего утопленника верх и где низ, чтобы правильно тереть тело снизу вверх по наставлению.

– Слушайте наставление дальше! – провозгласил полицмейстер. – «Сильному человеку вдвухать свой воздух в рот утонувшего, и в сие время зажимать крепко нос у него...» Кто здесь самый сильный?

– Здесь все слабые...

Побежали на базар искать самого сильного. Нашли. Привели.

– Слушай дальше! – сказал полицмейстер, не разрешив сильному человеку, покуда до конца не выслушает наставления, вдвухать свой воздух утопшему. – «Мешочек нагретого песку или золы положить на сердце и трение не прекращать до тех пор, пока придет в память». Так наставляет градскую полицию сам его превосходительство, господин генерал от инфантерии и генерал-адъютант, член Государственного совета, сенатор, генерал-губернатор Рязанский, Тульский, Орловский, Воронежский и Тамбовский, и орденов: Святого Александра Невского, Святого Владимира первой степени, Большого Креста, Святой Анны первого и четвертого классов; иностранных: Королевского Прусского Красного Орла первой степени, Грос-Герцогства Баденского Верности и Цирингского Льва Кавалеру, и Королевско-Баварского ордена военного Максимилиана Иосифа командор Александр Дмитриевич Балашев! Поняли?

– Поняли!

– Повторить слово в слово и потом уже приводить в память.

Повторили. Потом бегали в Адмиралтейство подогреть мешочек с песком. Подогрели. Принесли. И начали тереть по-балашевски. И до сих пор не прекращают трение, а солдат так и не приходит в память. Очевидно, ждет нового наставления.

Александр, уже давно равнодушно смотревшему на все веселое в жизни, этот анекдот полюбился. Он посмеялся и сделал несколько колких замечаний о жадном к чинам и наградам Балашеве, которого сам же возвеличил. Балашев оказал царю большую услугу при удалении Сперанского из Петербурга, но затем и сам под благовидным предлогом, хотя и с повышением в должности, был выжит из столицы.

Александр пригласил Милорадовича совершить вместе предвечернюю прогулку по Каменному Острову.

Они шли медленно, никого не было видно, как впереди, так и позади. Царь рассказывал Милорадовичу о злокознях и вероломстве Меттерниха, выражал недовольство Васильчиковым, Закревским и Бенкендорфом в связи с Семеновским делом, просил через полицейские каналы разведать, не читает ли молодежь в университетах рассуждений Леклерка о рабстве в России, рассуждений, на которые когда-то любил ссылаться Каразин в своих обращениях непосредственно к царю; просил навести справки, не переведена ли эта книга на русский и не печатается ли в типографии у Греча. Ежели буде переведена и печатается, то немедленно приостановить печатание, а печатные экземпляры конфисковать. Просил подробно и откровенно изложить свое мнение о личности Грибовского, но так, чтобы все это для самого Грибовского осталось вечной тайной. Рекомендовал установить такое же строгое наблюдение за Гречем, какое было установлено для Каразиным, – между этими двумя царь не находил большого различия...

Жмурясь от лучей клонящегося к закату солнца, Александр на ходу вынул из кармана записную книжку в черном кожаном переплете, раскрыл ее, близко поднес к носу, так, чтобы зоркий Милорадович не смог подглядеть его записей, полистал, отыскивая нужную помету, и не вдруг спросил:

– А не был ли Каразин в дружбе с Иваном Муравьевым-Апостолом и его сыновьями – офицерами бывшего Семеновского полка?

– Через Федора Глинку, ваше величество, мне известно, что Сергей Муравьев-Апостол никогда в дружестве с Каразиным не состоял, квартиру его не посещал, переписки с ним не имел, – ответил уверенно Милорадович.

– А остальные бывшие семеновцы?

– Семеновцы, ваше величество, вообще не любили Каразина, если не сказать большего – они всегда смеялись над его химерами. Да и как над ними не смеяться образованным и гуманным офицерам, задававшим благородный тон во всей гвардии и, можно сказать, во всей столице, – разошелся Милорадович. – Ум и душа каждого семеновца были сотворены по образу и подобию человеколюбивой и нежной души своего государя. А Каразин от начала и до конца – невоспитанный малороссийский бурсак с претензиями на вольтерьянца и энциклопедиста.

Слушая генерал-губернатора, Александр все больше хмурился, но не прерывал. Милорадович заступался за семеновцев с сознанием большого риска. Он знал, что такое заступничество может сильно задеть царя – главного виновника бессмысленной гибели лучшего гвардейского полка, издавна воспетого в песнях всей России. Золотистые брови с изломом двигались все беспокойнее, ресницы царя мерцали все чаще – Милорадович понимал, что это значит, но не робел перед мрачающим самодержцем.

– Мне стало известно, Михайла Андреевич, в Оксфордском университете, почетным доктором которого является бывший командир Семеновского старого полка Потемкин, главенствуют либералы и якобинцы, – печально повествовал Александр. – Пагубный дух Оксфорда сей почетный доктор права пытается сеять у себя на родине, и это для меня крайне прискорбно, потому что я знаю: Потемкин – ваш давнишний друг...

– Это верно, душа моя, друг! – воскликнул Милорадович. – И друг безупречный! Чей полк на поле Бородинском одним из первых был вашим величеством удостоен георгиевских знамен? Полк Потемкина! Семеновский прекрасный полк! – этими своими продуманными похвалами попавших в немилость семеновцев генерал-губернатор все еще надеялся повлиять на омраченного царя в лучшую сторону. – А сколько благодарственных рескриптов получил сей полк, находясь под началом Потемкина!.. Я не знаю другого человека, более преданного вам, нежели Потемкин...

Но царь не повеселел, он оставался при прежнем своем мнении.

– Я имею сведения о вольностях генерал-адъютанта Потемкина, и эти вольности рассматриваю как проявление прямого неуважения к моим повелениям, – жестко проговорил царь.

– Ваше величество, этого не может быть! – яростно заступился Милорадович за своего друга. – У Потемкина много недругов и завистников...

Царь, насупившись, слушал Милорадовича, сам изредка заглядывал в карманную записную книжку в черных обложках.

– Вот вы заступаетесь за Потемкина и заступничеством своим сами же себя сокрушаете, – упрекал царь отважного Милорадовича. – Мне еще в Лайбахе стало известно, что генерал-адъютант, хорошо зная о расформировании мною старого Семеновского полка, демонстративно и не раз появлялся в театре и на балах, в частности в Русском театре, в полной форме бывшего Семеновского полка. Только вы, генерал, почему-то не сообщили мне об этом ни в Лайбахе, не сказали и по моем возвращении... Еще у вас тут недавно появился какой-то новый журнал «Невский зритель», – дипломатично перевел разговор на другую тему Александр. – Немного он пожил на белом свете, а уже успел заявить о себе самым неприличным образом. Нанесено гнуснейшее, жесточайшее нравственное оскорбление каким-то шелкопером Рылеевым мудрейшему государственному мужу, пестуну российской армии, герою войны, моему другу. Вы, граф, понимаете, о ком я говорю...

– Понимаю, душа моя! Понимаю! Я сам, ваше величество, по первом прочтении был глубоко возмущен, – докладывал Милорадович внешне беззаботно и даже весело. – Немедленно снесся с министром князем Голицыным, тут же поручил полковнику Глинке строжайше во всем разобраться. Расследование установило, что никакого посягательства на известного государственного мужа стихотворцем допущено не было. Сие стихотворение является лишь вольным переводом Персиевой сатиры, и в ней подвергнут осуждению вельможа Рубеллий. Но самое главное: известнейший муж и государственный светоч, о ком идет речь, когда я встретился с ним и имел разговор о нашумевшем стихотворении, изволил одобрительно отозваться о сочинителе и его сатире, как о безобидном упражнении молодого, но, безусловно, талантливого поэта, как об упражнении, воскрешающем одну из картинок далекого прошлого. Граф никак не хотел видеть и малейших намеков на себя во «Временщике» сочинителя Рылеева...

– Михаила Андреевич, надо понимать его нежную чувствительную душу и его всеобъемлющий государственный ум, – мягко поучал Александр, – и вы бы на его месте, пожалуй, не узнали себя...

– Душа моя, приходится узнавать, когда пишут обо мне. Случается, что и меня задевают, но я не сержусь, не ворчу...

– Вас во всех журналах хвалят ласкательными песнями. И я рад, что вас хвалят, вы заслужили похвал! Похвалы моим генералам есть лавровый венок моему царствованию, – пустился в литературные рассуждения Александр. – Хвалить моих слуг никому невозбранно, недопустимо наводнять Россию возмутительными стихами, равно как недопустимо для моих властей мирволить возмутителям, кто бы они ни были. Что из себя представляют издатели «Невского зрителя»?

Милорадович, на его счастье, имел в памяти исчерпывающие сведения об издателях названного нового журнала.

– Журнал издают Иван Сниткин и Гаврила Кругликов.

– Ничего сердцу моему не говорящие фамилии. Кто они оба?

– Кругликов – благонадежный служащий петербургской почты. А Сниткин окончил Рязанскую губернскую гимназию, государь, затем с наипохвальным прилежанием и отличными успехами слушал курс наук этико-политического, физико-математического и словесного отделения в Московском университете, награжден медалью и произведен в кандидаты, года два назад он был уволен из университета...

– За что уволен? За неблагонадежность?

– Уволен для определения к статским делам.

– И какое же ему нашли дело?

– Определен на службу в Петербурге в Департамент горных и соляных дел...

– То-то он так солоно варить начал свою кашу в «Невском зрителе», – иронизировал царь. – Определили к статским делам, ну и занимался бы солью, а не лез, куда не следует.

– Сниткин, уже находясь на службе, узаконенным порядком обратился в Цензурный комитет с просьбою дозволить ему потребить труды свои на издание журнала «Невский зритель».

– Сей магистр, судя по его журналу, хочет повторять зады Монтескье, Адама Смита, Бенжамена Констана, а этот мусор вовсе не нужен России, – брезгливо проговорил царь. – А Рылеева, теперь припоминаю, я узнал еще в ту пору, когда он прапорщиком служил в Дрездене. Еще тогда он отличился сочинением возмутительной эпиграммы на императора Франца-Иосифа, сравнив его значение со значением мухи. Я тогда же хотел на этого витию накинуть узду, да снизошел к просьбам его дяди генерал-майора Рылеева. К тому же за него просила и гофмейстерина княгиня Александра Николаевна Волконская. Не захотел я огорчать ее братьев, под началом одного из коих служил сей Рылеев. Я с тем и уволил его в отставку с чином подпоручика, без малейших к тому препятствий, чтобы избавить артиллерийскую роту, в которой он служил, от вредного духа его сочинительства. За ним надо смотреть в оба, как и за Пушкиным и Катениным. Не дай бог, и подпоручик не взялся бы за издание какого-нибудь журнала...

Милорадовичу было известно, что сочинитель Рылеев и штабс-капитан Александр Бестужев усиленно добиваются разрешения издавать какой-то альманах, но он благоразумно умолчал об этом.

– А «Невского зрителя», Михайла Андреевич, надо научить протягивать ножки по цензурной одежке. Ежели он этому не научится, то прихлопнуть, о чем и поставить в известность Цензурный комитет, – подытожил царь.

– Насчет прихлопнуть, ваше величество, это у нас быстро. Тут препятствий не предвидится, – заверил Милорадович, вовсе не желая в свои слова вкладывать иного смысла.

– К каким статским делам определен сочинитель Рылеев? – спросил царь.

– Весну и лето прошлого года он провел на Украине на родине своей жены, – отвечал Милорадович, державший всегда на примете всех, к кому может быть проявлен интерес царем. – Усердно занимается масонскими работами в ложе № 9 «Пламенеющей Звезды», с января этого года дворянами Старорусского уезда избран заседателем в уголовный суд Петербургской губернии, а недавно принят членом-корреспондентом Вольного общества любителей российской словесности, в коем за президента мой ближайший помощник полковник Федор Глинка...

– Сколько расплодилось всяких лож и обществ... – с раздражением рассуждал царь, трясая головой. – Какая польза от них? Глинка Глинкой, а вы сами посматривайте за этими любителями словесности. С вас взыщется больше и строже, нежели с Глинки.

– Знаю, ваше величество, ни единую минуту не забываю об этом!

– Ну, то-то же, – шутливо погрозил царь пальцем, – дружба дружбой, а служба службой.

В Каменноостровском саду веяло вечерней прохладой. Милорадович беззаботно насвистывал соловьем, он любил это мальчишечье занятие во время прогулок и не стеснялся присутствия царя.

– Попервоначалу хотел я сочинителя Рылеева, как и бывшего лицеиста Пушкина, выдворить подальше от Петербурга, куда-нибудь в Оренбург, где попросторнее и повольнее дышится, – признался Александр, – но всевышний сжалился над сим безумцем. Спасла его от заслуженной кары ангельская доброта графа Алексея Андреевича. Он сказал мне: «Шут с ним, ваше величество, пусть гуляет, теперь уже все успокоилось, а прищучить его никогда не поздно. Острога наготове».

– Конечно же, душа моя, не поздно! – охотно согласился Милорадович. – А что нам стоит? И не шелохнется. Таких ли прищучивали.

– Пойдемте со мной ужинать, – пригласил царь, вдоволь нагулявшись. – Кстати, я вручу вам бумаги, что передала мне госпожа Каразина. Разберитесь в них и что-нибудь ответьте ей... Поласковее... Щадите женское легко ранимое сердце. Сострадание к несчастию женщины – венец человеколюбия и первейший долг всякого истинного христианина. Найдите слова понежнее.

– Ваше величество, обещаю вам без промедления послать от моего имени самое наинейшее послание, – заверил Милорадович без всякой иронии.

– А в бумагах поройтесь со всей тщательностью, – лишний раз напомнил царь и дружески взял Милорадовича под руку.

Лучи клонящегося к закату солнца золотисто-туманными стрелами пронизывали густые купы деревьев.



С утра император занялся просмотром наиважнейших депеш в своем рабочем кабинете в Царскосельском дворце. Первым попало на глаза донесение, подписанное главнокомандующим 2-й армией Витгенштейном и начальником штаба Киселевым. В депеше излагались данные разведки, осуществленной по весне на Дунае, в Бессарабии и Валахии, в связи с событиями в Греции. Разведку под видом путешествующего дворянина провел подполковник Пестель. Донесение, по-видимому, также было составлено Пестелем. Его слог памятливым царь узнавал в каждой строчке. Блестящие политико-дипломатические пояснения к добытым фактам поражали Александра глубиной понимания весьма сложной и крайне запутанной международной обстановки. «Вот как нужно добывать полезные отечеству сведения о противнике и как преподносить добытое императору», – мысленно похвалил Александр даровитого офицера.

Вместе с этим донесением поступила просьба (уже не первая) от Витгенштейна с Киселевым, поддержанная Закревским, о повышении в звании подполковника Павла Пестеля. Безупречно выполненное важное поручение давало все основания повысить его до полковника.

– Он давно заслужил полковника. Я и без вас знаю об этом, – вслух подумал Александр и вынул из кармана черную записную книжку. – Посмотрим, что тут у нас имеется...

В записную книжку Александр изо дня в день мелко-намелко, чтобы побольше уместилось, заносил фамилии всех наиболее опасных и политически неблагонадежных известных и малоизвестных государственных и общественных деятелей. Записанное царским пером в памятку неблагонадежное лицо навсегда лишалось не только высочайшего благоволения, но и всякого доверия.

Вперемежку с фамилиями герцогов, принцев, королевских отпрысков, графов, князей, философов, писателей попадались имена женщин, в разное время и при разных обстоятельствах оставивших след в жизни правителя России.

Одетая в кожаный переплет книжка шелестела листками, будто о чем-то шепотом отчитывалась перед ее обладателем.

– П.. П... Пе... Пес... Пестель Павел... Якшается с братьями Муравьевыми-Апостолами, – тихо продолжал говорить сам с собой, качал головой Александр. – Один из безудержных заправил какого-то Союза Благоденствия. Не попадись он мне в этот список – завтра бы я произвел его в полковники.

Все похвальное, что не раз другими было сказано о Павле Пестеле, превращалось в ничто перед одной строкой из сокровенной царской книжечки.

Рука царя потянулась к другим важным бумагам. Среди них больше всего его внимание занимала записка о Союзе Благоденствия, представленная генералом Бенкендорфом на другой же день по возвращении царя из-за границы. И написана она была членом Коренной Управы Союза Благоденствия Грибом (он же – Грибовский). По своей ли воле, в силу ли происков генералов Васильчикова и Бенкендорфа – затесался он в главари тайной военной полиции.

Обстоятельная докладная вызвала у царя противоречивые чувства, радость перемешалась с испугом, доверие – с недоверием, уверенность – с сомнением. Она еще раз подтвердила справедливость его соображений о постороннем мятежном огне, кем-то подброшенным в казармы семеновцев. Еще раз он убедился, что трон и правительство опоясаны страшным поясом из гвардейских штыков. Сколько один Семеновский полк дал неблагонадежных офицеров! Павел Пестель, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, Иван Якушкин, Сергей Трубецкой...

Отрадным в списке было то, что осведомитель без оговорок сообщал: бумаги все сожжены и Союз Благоденствия закрыт. В записке бралось под защиту большинство членов переставшего существовать тайного общества. О них говорилось, как об обольщенных

наружностью и не постигших истинной цели союза при вступлении в него, чему Александр мало верил.

Особенно пристрастно он перечитывал список тех, которых, по мнению доносчика, никогда не должно упускать из вида: Николай Тургенев гордится названием якобинца, вселяет молодым людям пагубный образ мыслей, на сходках и пирушках у него бывал и поэт Пушкин. Федор Глинка умеет, как никто, втираться во все знатные дома, блеском выражений и заимствованными мыслями слепит неопытных; Фондербригген сеет повсюду туманные идеи немецкой философии, усвоенной в немецких университетах; Муравьевы мечут проклятия всем, кто мешает им возвыситься. Они искусно привлекают на свою сторону всех недовольных правительством; братья Фонвизины, мнящие себя рожденными стать во главе просвещенного правления, под видом исторических и прочих научных изысканий, добиваются далеко идущих целей; нельзя оставлять без надзора и умеренного Бурцова; генерал Михаила Орлов давно известен вольным образом мыслей, своей речью в Библейском обществе он вскружил головы всем, переписка его с Бутурлиным и знаменитые приказы по дивизии разлетаются в списках повсеместно, как запретные стихи Пушкина, ими зачитываются унтер-офицеры и рядовые во всей гвардии и армии; о Павле Пестеле утвердительно неизвестно – отошел он окончательно от общества или не отошел.

Шефы тайной военной полиции не рекомендовали царю начинать судебное исследование, так как трудно будет теперь открыть что-либо об обществе.

Самое обескураживающее и пугающее в докладной было то, что она подрывала доверие Александра к бравому генерал-губернатору Милорадовичу. В ней прямо говорилось: сего бдительного наблюдения за подозрительными лицами вовсе не можно поручить настоящему господину петербургскому военному генерал-губернатору, который окружен людьми, участвовавшими в обществе или приверженными к оному.

Александр по печальному опыту своего отца хорошо знал, чем может закончиться ссора излишне мнительного самодержца с умным и решительным столичным губернатором. Милорадович храбр не менее Палена, когда-то проложившего Александру через труп отца дорогу к власти. Милорадовича любит гвардия. Его знает вся Россия. Про него песни распеваются в народе. Целый рой не обидных, а скорее приятных анекдотов о нем летает по столице. О его истинной и показной доброте ходят бесчисленные были и небылицы. За ним навсегда упрочилась слава героя 1812 года. Он уж тем хорош, что не двуличен.

Впрочем, не объясняется ли столь резкий порочащий военного генерал-губернатора тон записки скрытым замыслом генерала Бенкендорфа пробраться в канцелярию Милорадовича? Много и других сомнений порождало это донесение. Федор Глинка, с которым царь совещался не один раз с глазу на глаз, не оставил у него впечатления человека скрытного или вкрадчивого, как его представили в доносе.

– Пускай тайная военная полиция утвердительно выяснит о Пестеле. Если он давно порвал с обществом, то дать ему полковника и полк, – размышлял вслух царь, убирая донос.

Всю свою жизнь Александр по существу помышлял лишь об одном: о полнейшем искоренении, истреблении гибельного духа партий не только у себя в России, но и в Европе; об уничтожении всего, что побуждает людей к политическим размышлениям, к изучению политических наук, к рассуждениям о рабстве, якобинстве, революциях, конституциях.

Монархическая шуба давно стала не по плечу многим европейским государствам, однако русский лукавый царь натягивал ее на подвластных и зависимых. Она трещала по всем швам, но он не уставал латать расхудившееся одеяние.

Случилось так, что пока чинил русскими нитками чужие шубы, свои прохудились на самом видном месте – взбунтовались семеновцы. Такой прорехи давно не видела Россия.

Царь, не полагаясь полностью на генералов, сам взялся за починку. Одною из таких заплат было решение двинуть гвардию поближе к границам Оттоманской Порты.

2

Аллеи Царскосельского сада, пронизанные солнечной пряжей, дышали прохладой.

К утренней прогулке Александр пригласил лишь бравого Милорадовича. В непринужденной свободной беседе царь задумал кое-что выведать у генерал-губернатора, чтобы еще раз проверить свои подозрения.

– Михайла Андреевич, твоими распоряжениями и я, и граф Алексей Андреевич Аракчеев очень довольны, – заговорил Александр, когда они углубились в пустынную аллею. – Ты своими распоряжениями сорвал злонамеренные планы неких вольнодумцев помешать моей столь важной и нужной работе в Лайбахе. Они хотели меня запугать и заставить поспешить возвращением, но ничего у них не получилось.

– И никогда не получится, душа моя! – с готовностью заговорил Милорадович.

Александр хотя и обратил внимание на оговорку, но не сделал замечания, лишь покровительственно улыбнулся.

– Знаю твою безупречную преданность мне, знаю твое ревностное отношение к службе, – негромко проговорил он, осторожно приближаясь к главной теме задуманного разговора. – Лучшего генерал-губернатора столицы едва ли имел кто из царей. Но я нынче еще раз хочу поговорить с тобой о полковнике Федоре Глинке.

Милорадович не смутился и не показал озабоченности. Мысли царя снова витали над «Запиской о Союзе Благоденствия», в которой Глинка упоминался вторым в списке тех, кого рекомендовалось не упускать из вида.

– Что ты можешь мне сказать о Глинке?

– Ваше величество, сам бог помог нам выбрать столь блистательного во всех отношениях чиновника для особых поручений! – без колебаний отвечал Милорадович. – Глинка как бы самой природой предназначен для такой деликатной должности. Если он вздумает проситься в отставку, его положительно нечем заменить.

– А Геттуном?

– Геттун перед Глинкой как летучая мышь перед орлом.

– Однако я получил весьма нелестные отзывы о полковнике Глинке от людей, коротко знающих его.

Генерал-губернатор ловко схватил на лету бабочку-крапивницу и, подержав в горсти, отпустил на волю.

– Видите, ваше величество, немного бабочка в темнице посидела, улетела и теперь, поди, бранит мою руку. Все обиженные на кого-нибудь да жалуются. Я не сомневаюсь – поступают изветы и на меня. Чем взыскательнее исполняешь служебный долг, тем больше появляется завистников, врагов, недоброжелателей.

– Что же ты выше всего ценишь в Глинке?

– Решительно все, государь: его ум, разнообразные таланты, трудолюбие, бескорыстие, прямоту, честность, умение вчитываться в такие темные китайские грамоты, в которых и сам китайский Конфуций запутается. Буду говорить прямо, не в обиду графу Кочубею и Васильчикову. Я через Федора Глинку получал и получаю всю основную, наиболее ценную тайную информацию о состоянии умов в столице, в гвардии, в армии, в литературе, в политике. Он один умеет добыть нужных сведений больше, чем все тайные платные шпионы, вместе взятые.

Тугоухий царь слушал генерал-губернатора, склонив к его плечу голову.

– Важные сведения, государь, добываются не подслушиванием какого-нибудь мусорного шпионишки через замочную скважину за дверью в передней. Они почерпаются, к примеру, скажем, душа моя, за тем же столом, за которым пируют вольнодумцы и бросаются мыслями во все стороны. Но за такой стол какого-нибудь бесталанного олуха не посадишь. Его просто выгонят, с ним не станут говорить. Тут нужен умнейший, хитрейший, искуснейший человек масштаба полковника Федора Глинки. И, разумеется, государь, если такой человек наладил дружбу с вольнодумцами, которых мы всегда должны иметь в виду, то, пируя вместе с ними или находясь на шумной литературной сходке, он, чтобы проникнуть в самые сокровенные тайны чужой души, вынужден напяливать на себя личину вольнодумца, разыгрывать отчаянного либерала (на словах, конечно), а порой, если хотите, и якобинца. Только такие люди, как Глинка, нужны и полезны в негласном политическом сыске.

Милорадович закатил целую разъяснительную лекцию. Слушая его, Александр отступал перед многими неотразимыми доводами. Милорадович умел защитить то, что по его мнению, достойно было защиты.

– Говорят, что успехи в словесности вскружили Глинке голову?

– Я этого не замечал, государь.
– Что Глинка стал падок на лесть?
– Нет, он не ищет ветреных поклонников и поклонниц.
– Что у Глинки появилась болезненная страсть быть членом всех видимых и невидимых обществ?

– Совершенная правда, государь! – воскликнул Милорадович и даже остановился, в нарушение этикета, ранее, чем это сделал царь. – В этом Глинка повинен! Но такое обвинение поставьте ему в великую похвалу! Я сам все время напоминаю ему: успевай бывать повсюду – в собраниях, заседаниях, театрах, балах, концертах, втирайся во все знатные дома, рыскай по всем влиятельным фамилиям, заводи всевозможные связи везде, где только можно.

И опять Александр не находил что и возразить генерал-губернатору, умевшему смотреть в корень полицейского надзора. То, в чем обвинялся Глинка, должно бы поставить в заслугу как ему самому, так и его начальнику.

– Говорят, Глинка рассказывает каждому за тайну важные секреты, которые узнает на службе или по доверчивости начальника.

– Государь! На свете есть лишь один человек, к кому моя доверенность безгранична. Этот человек – вы, ваше императорское величество. Глинка же посвящается мною далеко не во все важные секреты, а лишь в те, кои необходимо ему знать по службе.

Александр надул пухлые румяные щеки и начал гонять во рту воздух, словно воду при полоскании.

– Глинка излишне много пишет и посылает статьи во все журналы, а цензура почему-то невнимательно просматривает некоторые из них, – продолжал царь перечислять пороки, приписанные Федору Глинке в докладной о Союзе Благоденствия. – В статьях и в разговорах Глинка кстати и некстати привлекает политику, в которой мало смыслит, но отсутствие глубокого понимания пытается заменить блеском дерзких выражений.

В сквозину в купях деревьев прорвался солнечный луч и упал царю на лицо. Ослепленные глаза его показались генерал-губернатору пустыми.

– Знаете, государь, когда чижики или щегла опытный птицелов заманивает в западню, то прибегает к подсадке, манку или живой приманке. Нам с Глинкой нередко приходится обращаться к искусству птицеловов. Если Глинка порой, как в разговорах, так и на письме, кстати и некстати прилепляет политику, то это делается им только с тем, чтобы вызвать на ответное воркование других журнальных голубей, чижей, вьюрков, скворцов и канареек. Государь, поверьте мне, – без манка нам никак невозможно вникнуть в либеральные песенки, скажем, Фаддея Булгарина, Николая Греча, Измайлова, Воейкова.

– Из твоих слов, граф, можно сделать только один вывод – Глинка безупречен. А я в этом неуверен.

– Уверяю, государь, Глинка безупречен.

– Зачем он ездил зимой в Москву?

– Он принимал участие в собраниях Союза Благоденствия. Через него мы имеем надежные сведения обо всем, что происходило на этом съезде. Глинка под видом ревностного участника немало способствовал к самоуничтожению союза. И союз, слава богу, перестал существовать.

Александр умолк, как бы обидевшись на неуступчивость генерал-губернатора. Милорадович не нарушал его молчания. Так они прогулялись в оба конца аллеи.

– Прекратил ли Пушкин наводнять Россию возмутительными стихами? – спросил царь.

– Поведение ссыльного Пушкина, государь, превзошло все ожидания. Ни одной возмутительной строки, судя по донесениям, не вышло из-под его пера. Пушкин образумился к лучшему. Инзов о нем отличного мнения. Время проводит в безобидных семейных беседах у генерала, влюбляется в генеральских жен и генеральских дочек. Вы, государь, вашим великодушием и мудрым решением спасли пылкого, молодого, но истинного поэта, послав его вместо Сибири на юг. Россия и за это будет вечно признательна вам.

Ответы Милорадовича были не без лести, но без низкого раболепства.

– Надо глядеть в оба за Николаем Тургеневым! – приказал Александр. – Он якобинец. И за всеми Муравьевыми. А Павел Пестель, должно быть, остепенился. Ему надо дать полковника и полк. И не упускать из вида сочинителей сатир Рылеева и драгуна Бестужева. Словом, знать наперечет все буйные головы. Греч и Булгарин мне надоели до смерти, нельзя ли, Михаила Андреевич, обоих куда-нибудь подальше?

– Можно, ваше величество, просторы и размеры России благоприятствуют успешному проведению любых полезных начинаний, – обещал бравый Милорадович.

И опять они бродили безмолвно. Александр остановился, глядя в глаза генерал-губернатору и крутя пуговку на его щегольском мундире, спросил:

– Ты можешь мне головой поручиться за полковника Глинку?

– Без колебаний, государь!

Александр привлек Милорадовича и поцеловал в белый лоб.

2

Освещенные разноцветными огнями искрометные фонтаны перед Царскосельским дворцом с приятным, хотя и однообразным шумом бросали в прохладный вечерний воздух хрустальный дождь. Царь по причине тугоухости почти не слышал шума воды, а сильная близорукость мешала ему насладиться игрой летучих красок, но он всеми силами старался не обнаружить этих своих недостатков.

В предвечерье он бродил по саду с главноуправляющим Царским Селом Яковом Захаржевским, одноногим закоренелым холостяком и волокитой. Главноуправляющий был навеселе и, не стесняясь присутствием царя, умевшего не только замечать, но извинять грешки и слабости подчиненных, бранил знаменитого врача Арендта за то, что тот когда-то плохо отрезал ему ногу. Царь слушал Захаржевского снисходительно, время от времени отвечая одобрительными улыбками на резкости рассказчика.

На прощанье Александр осторожно взял главноуправляющего за жесткое, будто неживое ухо и покровительственно потряс, не причиняя и малейшей боли.

– Все твои грехи, неисправимый Захаржевский, мне ведомы. Слишком поздно возвращаешься от возлюбленной своего сердца, которая живет неподалеку отсюда. Остепенись или сделай так, чтобы об этом знали только ты и она.

Отпустив с миром Захаржевского, царь встретил главного садовника Лямина, переведенного сюда несколько лет назад из садовых мастеров Каменноостровского сада. Взял его под руку:

– Не желаешь ли, Федор Федорович, сопровождать мне в моей вечерней прогулке?

– С превеликим удовольствием, ваше величество! – отвечал Лямин.

– Ты, Федор Федорович, тоже царь, – вдруг сказал Александр. – Я царь над всеми моими подданными, а ты – царь над всеми моими цветами и деревьями. Царь цветов... Это очень красиво, Федор Федорович! И я не знаю, что лучше: быть царем над людьми или царем над цветами. Если б с тем же искусством я умел преображать души моих подданных к лучшему, с каким ты преображаешь этот благодатный уголок земли! Мой любимый уголок... В искусстве врачевания и совершенствования растений нет тебе равного. И выше тебя лишь он один – всевышний творец. Ты превратил в райские кущи великолепный Каменноостровский сад. С твоим приходом здешние сады стали еще прекраснее... Я объехал всю Европу и нигде не нашел ничего равного Царскому Селу... И мой метрдотель Миллер, всюду сопровождающий меня, такого же мнения.

Александр еще долго хвалил Лямина, который на самом деле был искуснейшим садовником, пытливым и трудолюбивым естествоиспытателем-самоучкой. Они прошли несколько раз по аллее.

Сколько министров, сенаторов, генералов и разных прочих охотников выслужиться, выскочить, оказаться наверху, наблюдая за прогулками царя с главным садовником со стороны, изнывали от зависти. Александр, будто желая позлить раболепствующих у его ног вельмож, нередко главного садовника менял на полицмейстера в Царском Селе – разгульного Цилова и мог целыми часами беседовать с ним. Садовник и полицмейстер бывали у царя даже в Янтарной комнате Царскосельского дворца – подарок короля прусского Фридриха Вильгельма I.

Наговорившись с главным садовником, царь взял под руку встретившегося графа Кочубея.

– Как ведет себя твоя подагра, граф? – участливо спрашивал царь. – И пьешь ли ослиное молоко? Виллье уверяет, что парное ослиное молоко очень помогает от таких заболеваний.

– Здоровье мое, по-прежнему, неважное, ваше величество.

Они вышли к шумному фонтану, одетому в белый мрамор. Остановились. Молча постояли, созерцая великолепное зрелище. В зеркале воды отражались опрокинутые обитатели царскосельских прудов – лебеди. Александр заговорил о том, что не давало ему покоя.

– Судя по только что поступившим сведениям, я затрудняюсь определенно сказать, чем больше занимается Михайла Орлов в Кишиневе: делами вверенной ему 16-й дивизии или масонскими фантасмагориями.

– Война с Наполеоном, ваше величество, показала, что Михайла Орлов отличный командир, – не виляя, сказал граф Кочубей.

– Я знаю, – вяло согласился царь. – Помню, при взятии мною Парижа он был безупречен и как воин, и как искусный дипломат. Но, увы, волею творца все подвержено порче в этом брэнном скоротечном мире... Портятся даже души самых преданнейших людей... Заслуживающие доверия люди уверяют меня, что возгордившийся Михайла Орлов корчит из себя либерала, старопржегного хлебосола-боярина. Свой великолепный дом в Кишиневе он превратил в клуб для избранных вольнодумцев. И кто ж они? Нас с тобою, граф, в списке избранных не оказалось. Зато среди первых там значится политический ссыльный Пушкин. Хороша подобралась компания – Орлов и Пушкин. Из всех масонских лож – кишиневская, сдается мне, ныне сделалась самой подозрительной. А виной тому – приезд туда молодца Орлова.

– За кишиневской ложей, как и за другими масонскими ложами, ваше величество, установлено хитроумное постоянное и нечувствительное наблюдение. Вообще пришлось сильно увеличить количество шпионов в южных губерниях в связи с известными печальными событиями как в политической жизни Европы, так и в наших внутренних делах, – заметил Кочубей.

Александр, не слушая, говорил свое:

– Орлов не постыдился объявить по дивизии, что он сам почитает себе солдата другом и братом. Вот до чего договорился онный либерал в аксельбантах. Но я не для того сделал его генералом, чтобы он требовательных и строгих к солдату офицеров называл злодеями в своих неприличных приказах. Он вкореняет во мнение солдат ложную мысль о том, что строгость равноценна истязанию... Солдата он ставит на одну доску с начальником, из всех сил доказывает подчиненным, что солдаты такие же люди, как и мы, что они могут чувствовать и думать. Зачем солдату думать? Зачем ему много чувствовать? По-моему, генерал и солдат думать и чувствовать по-одинаковому никогда не могут. Вместо того чтобы взыскивать с нерадивых солдат, он отдает под военный суд взыскательных командиров. Любая жалоба нижних чинов в нем находит защитника. В секретной инструкции для полковых командиров без всякой к тому нужды зачем-то припомнил обычаи римлян, говоря, что римляне позволяли себя бить, но только виноградной или лавровой палкой... Для кого и с какой целью он изыскивает эти римские примеры? И к чему призывает такими примерами? Мне в моей армии такие примеры не нужны. У меня в отечестве нет лавровых рощ, чтобы обеспечить лавровыми палками всю гвардию и армию. И уж совсем, Виктор Павлович, никуда не годится: списки с приказов Орлова наравне с возмутительными стихами Пушкина ходят по рукам. Полиция моя благодушествует, и я этого не потерплю. Я не хочу повторения семеновского неурейства, – продолжал царь, занятый мыслью, не дававшей ему ни забвения, ни успокоения. – Я теперь не знаю: можно ли Орлова и дальше оставлять при дивизии.

Кочубей почувствовал себя вынужденным подстроиться под настроение царя, чтобы не показаться сочувствующим нововведениям Орлова.

– В роду Орловых всегда отмечалась склонность к шалостям духа, – сказал Кочубей, желая как-то смягчить неудовольствие царя.

– Это не шалости, граф, – резко возразил Александр. – В друзья себе генерал Михайла Орлов взял еще какого-то сумасброда Раевского, сделал из него чуть ли не главного учителя всех ланкастерских школ, а у этого Раевского в голове такой же сумбур, как и у ссыльного Пушкина. Обратите, граф, особое внимание на майора Раевского.

– Слушаюсь, ваше величество. – И после короткой паузы граф Кочубей отважился заметить: – И все-таки Михайла Орлов храбрец!

Александр стал немного добрее говорить об Орлове.

– Храбрец-то он храбрец, да на свой образец. Я рад не всякому храбрецу. Для меня до сих пор остается загадкой: какая нечистая сила занесла сего храбреца на тайное сборище в Москву, в притон к известным московским подмучникам Фонвизиним? Сведениями тайной полиции я неудовлетворен. Много туманного и неясного. Я точно знаю, что Михайла Орлов был на этом съезде и читал какие-то свои трактаты. Тайная полиция, при некоторых ее заслугах, ни к черту не годна. Московское сборище окутано каким-то дымом. Противоречивыми донесениями запутали и меня.

Этот упрек был в адрес графа Кочубея. Никакие объяснения и справки уже не могли развеять подозрительности государя.

– Странно, Виктор Павлович, и то, что генерал Михайла Орлов до сих пор не женится...

– Государь, я в этом поступке Орлова не вижу злого умысла.

Граф придал своему замечанию форму шутки, но высочайший собеседник не принял ее.

– Все вольнодумцы и опасные либералы, помышляющие о разных неустройствах и смутах, предпочитают оставаться неженатыми...

– Смысл этого, государь?

– Чтобы ничто не мешало смутьянам в их предприятиях.

– Но Орлов, кажись, уже помолвлен... А возможно, уже и бракосочетался.

– И кто его невеста?

– Екатерина Раевская.

– Видите: опять Раевские... Будто, кроме Раевской, и невест других в России нет. Впрочем, горбатого лишь могила исправит. Д-да-с... Учтите, граф, на дальнейшее: всякий раз по приезде в Москву Михайла Орлов останавливается в доме довольно хорошо мне известного поэта Петра Вяземского.

– Слушаюсь, государь.

– Не смею вас более задерживать, Виктор Павлович.

Далее царь продолжал прогулку в одиночестве.

4

С восходом солнца Александр вышел из Царскосельского дворца. У подъезда его ждала венская коляска, запряженная тройкой вороных, на козлах сидел бессменный царский кучер бородатый Илья Байков в своем неизменном кафтане и шароварах, спущенных в сапоги.

– Здравствуй, Илья!

– Здравия желаю, ваше величество! – проворно обернулся кучер к государю.

– Поехали, – усевшись в коляску, по-доброму сказал царь. – Да смотри у меня, чтобы пристяжная постромку еще раз не переступила...

На запятках стояли два гайдука. Коляска покатилась. Илья, по заведенной привычке, перед каждым поворотом или развилком беспрестанно поворачивался, чтобы узнать от седока, куда дальше ехать.

Кучер оборачивался чуть ли не ежеминутно, а молчаливый царь кивал то направо, то налево, то прямо.

Так они выехали на тракт, что вел к Красному Селу. Илья догадался, что царь едет к брату, великому князю Николаю, но по привычке обернулся.

– Прямо, – повелительно сказал царь.

– Знаю, – и сам кучер не помнит, как это слово сорвалось у него с языка. – Знаю, ваше величество...

Царь вскрикнул разгневанно:

– Кучеру, кроме лошадей, ничего знать не положено! Приедем – сядешь под арест впредь до моего приказа.

По приезде в Красное село, кучера посадили на гауптвахту. Александр вместе с великим князем Николаем направился в беседку.

Александр, сумрачный и молчаливый, неотступно думал о Михайле Орлове, вспоминая то время, когда генерал Орлов находился в его свите. Особенно ярко воскресал в памяти тот незабываемый день, когда блистательный Орлов привез царю акт о капитуляции Парижа. Опыренный победой царь при всех свитских обнял Орлова, поцеловал в лоб и сказал во всеуслышание: «Орловы – воплощение русской доблести!» Слова эти запомнились многим.

– Командующий 2-й армией граф Витгенштейн – старый мерин, он сбил меня с толку, – с болезненным выражением на лице заговорил Александр, будто хотел оправдаться в чем-то перед братом Николаем. – Я шесть раз отказывал Орлову в получении дивизии, и еще бы шесть раз отказал, если б не заступничество Витгенштейна и Киселева. Они таким ангелом изобразили генерала Михайлу Орлова, что мне больше ничего не оставалось делать, как дать Орлову 16-ю дивизию... Я не поддался другу моей души, дочери Христа – графине Анне Алексеевне Орловой-Чесменской, а вот Витгенштейн с Киселевым сокрушили мою несокрушимую волю. – Глаза его были скорбны, полны тоски. – Да, я не оговорился, брат мой дорогой, Николаша, – именно несокрушимую! Ее не мог сокрушить сам великий Наполеон. Ее вот уж сколько лет разными способами пытается сокрушить известный сокрушитель и злой интриган Меттерних. Я мог бы назвать целый сонм не менее сильных и даже мудрых сокрушителей, которым я все ж таки не поддаюсь. Чего стоит один граф Михайла Михайлович Сперанский. Что бы там между нами ни было, но эта личность во всех смыслах необыкновенная. О, как тяжела для души державная обязанность, возложенная на меня творцом!

В благовонном саду райская тишина. Все Красное Село, где пребывал великий князь Николай с семьей, благоухало летними ароматами. В роскошной беседке, оплетенной стенолазами и плющом, сидели царственные братья Николай и Александр. Николай, люто ненавидевший Орлова за неучтивость по отношению к великим князьям, слушал царя молча. Он хотел дать до конца выговориться самодержцу и тем самым облегчить его душевное бремя. Вот таким же скорбным года два назад приезжал сюда царь. В тот раз под строжайшим секретом в узком семейном кругу он объявил Николаю о своем непоколебимом желании через некоторое время сложить с себя высшую власть и советовал брату уже сейчас постепенно готовиться к восшествию на престол. По словам Александра, цесаревич Константин добровольно отказался от престолонаследования.

В затененной прохладной аллее раздавался голос гувернантки, гулявшей с трехлетним мальчиком Сашей – сыном великого князя. Малыш уже превосходно говорил по-французски. В честь приезда дяди-царя его нарядили в дядин подарок – почти игрушечный мундирчик гусарского офицера, сшитый по всем правилам. Мальчик был в кивере и при золотой шпаге. Новый наряд ему страшно нравился, чем был очень доволен царь.

– Столько лет не хотел давать Михайле Орлову дивизию, не потому что я утратил к нему доверие или обиделся на некоторые дурные стороны его характера, – мысль царя повела беседу куда-то в сторону, – вовсе не потому... Я медлил с назначением Орлова лишь затем, чтобы не огорчать многочисленную знатную его родню, которая так умело влияет на умы.

– Неужели назначение командиром дивизии есть огорчение для назначенного и для его родни? – скороговоркой звонким тенором спросил Николай. Звонкость в голосе свидетельствовала о его раздражении.

– Ну ведь это баловни судьбы – Орловы, – странно вялым голосом отвечал Александр. – Когда я четыре года назад назначил Михайлу Орлова начальником штаба в Киев, то он, как мне стало известно, везде и всюду объявлял дерзко, что я выдворил его из столицы в ссылку. Вот я и думал, если он назначение в Киев приравнял к выдворению в ссылку, то что он и его языкаястая родня скажут, если я пошлю его командиром дивизии в мусорный городишко Кишинев? Заовпят в Петербурге, Москве, Киеве, Одессе и других

городах родственники и друзья этого республиканца о том, что я упек Орлова еще дальше...

Царь был непоследователен в своих рассуждениях, и это заметил Николай.

– Ваше величество, разве нельзя отнять дивизию у неисправимого болтуна Орлова? Дивизия – не имение, и она пожалована Орлову не в вечную собственность. Я вам могу порекомендовать на должность командира дивизии лицо, заслуживающее доверия...

Александр задумался над предложением брата, яростно отмахивающегося от комаров.

В беседку вбежал трехлетний мальчик в офицерском мундирчике и при золотой шпаге. Он был прелестен: круглое белое с румяными щеками лицо, большие навывкате, как у отца, глаза. Кивер с белым султанчиком он держал в руке, на голове его курчавились светлорусые мягкие волосы. Он обнял колени дяди-царя и пожелал взобраться на них. Александр охотно предоставил ему такую возможность. Держа племянника на коленях и дыша в мягкие его волосы, он на французском обратился к Николаю:

– Хотелось бы знать, еще пребывая на этом свете, какой-то будет держава наша под его скипетром? Этак лет через полсотни? Ему, пожалуй, будет труднее, нежели нам с тобою...

Николай улыбнулся всем белым римским лицом, но строгие глаза его остались холодными и непримиримыми.

– Как я благодарю всевышнего за то, что молитвы наши дошли до его престола и он даровал вам с супругой такого чудесного мальчика, – продолжал Александр. – Теперь я спокоен за будущее державы. Надо учить и воспитывать его уже с этих лет, но не так, как учили нас с тобою. А главное – воспитывать...

Александр отпустил с коленей обласканного непоседливого малыша, и тот опять убежал в благовонную сень аллеи под присмотр гувернантки.

– Нет, Николаша, сейчас отнимать дивизию у Орлова никак нельзя, – вернулся к прерванному разговору Александр. – Вредно поднимать шум вокруг Орлова до тех пор, пока мы не добрались до настоящих зачинщиков возмущения в Семеновском полку. Это была затея не солдат, а офицеров и некоторых из партикулярных. Не исключено, что заправилами всего неурядицы явились удалыцы из генералов, вроде Михайлы Орлова. В нынешней обстановке его не следует тревожить. Наоборот, необходимо взять все меры к тому, чтобы он принял нас за благодуществующих простаков.

– Как это сделать, ваше величество?

– Я об этом всерьез думаю и всю заботу беру на себя. – Даже перед братом Александр не захотел открыть до конца всего своего замысла. – Орловы, Николаша, обладают дьявольским политическим чутьем. Имея дело с ними, всегда нужно держать ушки на макушке.

– И Алексей Федорович Орлов такой же?

– Этот не так своенравен, как брат, но тоже с орловскими замашками. А замашки их по наследству сводятся вот к чему: царская семья должна править Россией, а они распоряжаться царской семьей.

– Мерзавцы! – не сдержался Николай, вскочил с белого плетеного кресла и заходил по беседке.

– Еще у нас, в чем я все больше убеждаюсь, крайне плохо следит за состоянием умов министр просвещения и духовных дел князь Голицын, надо сажать другого, – жаловался Александр. – Я во всем доверился ему в части духовных и просветительных дел, но, оказалось, таким людям доверяться нельзя. Речь генерала Орлова, произнесенную два года назад в Киевском отделении Библейского общества, мой министр истолковал мне не по существу, многое затемнил, а о многом, самом главном, не упомянул даже. Вот какие стали у нас министры... Как только развяжусь с зачинщиками семеновского неурядицы, сам возьмусь за Орлова.

В аллее, ведущей к беседке, слышались голоса беззаботных дам. Это прогуливалась по саду великая княгиня Александра Федоровна в сопровождении молодых фрейлин. Дамы подошли к беседке. При их появлении Александр сразу изменился: грусть пропала с его лица, глаза не только повеселели, но и помолодели. Блистая изысканной галантностью, он

вышел из беседки, поцеловал дамам ручки, пригласил их в беседку и сам под локоток взял великую княгиню.

В летнем светло-желтом платье из барежа, обшитом по подолу полосой лилового шелка, в коротком жакетике из светло-лилового шелка с нашивками из узких лиловых лент, в белой креповой шляпе, по полям окаймленной лиловой лентой, она выглядела премило. На фрейлинах, как на подбор, были белые батистовые платья с отделкой из белого шитья, цветные пояса с золотыми пряжками, белые перкалевые шляпы.

Александр для каждой нашел сказать что-нибудь приятное и веселое. У него появилось желание станцевать с великой княгиней контрданс, в беседке, без музыки. И он уже сделал первые па, но в это время к беседке вместе с главноуправляющим Красным Селом на беговых дрожках подъехал нарочный от Аракчеева с пакетом «в собственные руки государя». Александр прервал танец, распечатал пакет и через минуту распорядился:

– Главноуправляющий, подите на гауптвахту и велите кучеру Илье подавать коляску.

Он с очаровательной улыбкой на лице извинился перед дамами, на прощание поцеловал ручки и, взяв Николая под локоть, пошел с ним к парадному подъезду дворца.

– Дурные вести, брат, – не дожидаясь вопроса, заговорил царь. – У нас под боком, в Новгородской губернии взбунтовались поселенные войска. Жгут леса и поселенные образцовые посады, творят расправу над местными властями, грозят лишить живота моего друга графа Алексея Андреевича. Вот к чему могут привести речи некоторых не в меру ретивых просветителей на собрании Библейского общества, против благих намерений которого я ничего не имел и ныне не имею. Обрати внимание на состояние духа во вверенной твоему попечению бригаде.

С этими словами царь вскочил в подкатившую коляску.

5

Получив наставления от царя, Аракчеев в сопровождении целого эскадрона в венской коляске погнал в Новгород, чтобы оттуда начать, по его выражению, «ускромление буйства и смуты в поселенных войсках». Он мчался, как ураган, делая по семнадцать верст в час.

Без него Александр скоро заскучал, почувствовал утомление, велел статс-секретарю отпустить восояси всех, ожидавших приема в секретарской Каменноостровского дворца, а сам послал камердинера за дворцовым парикмахером Романом, чтобы послушать его занимательные рассказы и всякую всячину. Парикмахер Роман был личностью исключительно одаренной, большой острый ум и талант артиста делали его рассказы веселыми, забавными, увлекательными. Он был гениален в своем роде, как и знаменитый дворцовый шут прошлого века Балакирев.

Роман явился. Царь встретил его у порога кабинета, пожал дружески руку, взял под локоть и повел к столу.

– Скучно мне без тебя, Роман.

– Где ум, там и скука, ваше величество, – легко повел беседу Роман. – Тот не скучает, кто ни забот, ни трудов не знает.

– Генерал-губернатор Милорадович к тебе ездит бриться или к своему брадобрею?

– Заглядывает, ваше величество.

– Говорят, и генерал Потемкин бывает часто в дворцовой парикмахерской?

– Всего один раз, ваше величество...

– Когда это было?

– Бывало это, ваше величество, в тот памятный день, когда офицеры Семеновского полка с большими почестями провожали своего командира...

– И больше не заезжал?

– Больше не показывался.

– А какие почести ему устроили?

– Не был я там, ваше величество, но слышал от других: разные речи говорили, обнимались и целовались... А сначала, конечно, крепко пили, – рассказывал Роман.

– А у кого из моих генералов голова всех лучше? – спросил царь.

– Первая по красоте – это голова генерала графа Аракчеева, – не растерялся Роман. – Только всякий раз перхоти в волосах много. Но это опять не в осуждение, ваше величество –

кто больше всех думает, у того и перхоти больше! А вот у генерала Петра Михайловича Волконского перхоти в волосах никогда не бывает.

Они сели за маленький круглый столик играть в карты, колоду которых держал при себе парикмахер. Царь играл плохо и Роман, чтобы не печалить его, нарочно давал себя обыгрывать. Александр вскоре заметил это.

– Выпотрошу я тебя сегодня до полушки, Роман, – весело сказал он.

– В народе говорят: близко к царю – близко к смерти. А я так скажу: близко к царю – близко к милости. Царь не без милости, ваше величество.

– А не кажется ли тебе, Роман, что тот, кто уповает на царское милосердие, первый же и остается в накладе?

– Случается, ваше величество, и так. И еще говорится: царский гнев – гнев божий... А проще сказать, на бога надейся, а сам не плошай.

Неожиданно Роман покрыл карты царя козырным тузом.

– В карточном царстве туз – самый главный император! – сострил Роман.

Александр засмеялся.

– Хитрец ты, Роман.

И тотчас в голову пришло: «А не сыграть ли мне в поддавки с полковником Глинкой?»

– Доиграем завтра, Роман, да запомни: выигрыш за мной.

Когда Глинка по приглашению царя прибыл в Каменноостровский дворец, статс-секретарь Трофимов провел его в секретную комнату, где хранились особо важные бумаги, главным образом тайные доносы. Вход сюда воспрещался решительно всем. Царь не приглашал в этот покой даже своего любимца графа Аракчеева.

Александр, сделав шаг навстречу Глинке, приветливо поздоровался с ним, поблагодарил за усердность и умение справляться с такой трудной работой, какая на него возложена.

Царь сел в кресло, а другое предложил полковнику.

На столе лежал черный царский портфель с золотым хитросекретным замком. Портфель был открыт... Поглядывая на открытый портфель, царь признательно говорил:

– В вас, Федор Николаевич, я никогда не сомневался. Ваша преданность мне выше всяких похвал. Благоволение мое к вам пребудет неизменным.

– Весьма благодарен, ваше величество.

– Вы всегда видели во мне отца, а я в вас – верного престолу сына.

– Столь высокая оценка моих скромных заслуг обязывает меня в будущем, государь, не жалея сил и трудов, оправдать новыми успехами ваше ко мне благоволение.

Полковник Глинка обладал исключительным даром проникновения в невысказанные мысли и чувства собеседника, будь перед ним царь или квартальный надзиратель. С кем бы ему ни приводилось вести разговор, ни один вопрос не мог заставить его врасплох или привести в растерянность. И сейчас он оставался неизменно внутренне собранным, готовым ко всякому неожиданному повороту беседы. Ему ведомы были меланхолическая рассеянность Александра и привычка перескакивать с одного на другое во время выслушивания докладов, донесений, во время отдачи наставлений, приказаний, повелений. Что являлось причиной такой рассеянности – близкие к царю люди объясняли по-разному. Глинка считал такую манеру царя желанием душевно разоружить, лишить внутренней собранности собеседника, сбить как бы походя с заранее намеченной логической стези, помешать последовательности изложения того или иного доклада или отчета.

– В Москве на съезде тайного общества были?

– Был, ваше величество.

– Как это тайное общество называется?

– Называлось оно Союзом Благоденствия, но больше никак не называется, поскольку саморазрушилось.

– По причине?

– По причине распрей, несогласий, усталости и нежелания членов дальше заниматься подобными игрушками.

– Павел Пестель был на съезде?

– Нет, не был.

– Сергей Муравьев-Апостол?

– Не был.

– Фонвизины братья?

– Фонвизины хотя и присутствовали, но тоже не проявили никакого энтузиазма и были очень рады самоликвидации изжившей себя затеи.

– Генерал Михайла Орлов был?

– Кажись, на одном или двух собраниях, но сразу заявил о своем твердом решении больше не заниматься сей надоевшей забавой.

– А вы как попали на этот съезд, как вы залетели в их тайный улей?

Александр вынул из железного ящика прошнурованную «Зеленую Книгу» в сафьяновом переплете и показал последнюю страницу с печатью тайного общества – улей и вокруг него пчелы – и с подписью председателя.

– Вам такая книга знакома?

– Да, государь, видел, будучи в Москве.

– Так как же вы залетели к ним в улей?

– Под видом работающей пчелы, государь! Возложенные вами на меня столь важные обязанности заставляют изыскивать пути и способы беспрепятственного проникновения во все тайные ульи и труднодоступные гнезда.

– Это похвально, – будто поневоле, неуверенно отозвался Александр.

– Под видом полицейской осы проникнуть в такой улей и трудно и бесцельно. Когда в улей, полный меда, залетит оса или шершень, против них сразу поднимается настоящая пчелиная война – или зажалят, или прогонят ни с чем. Потому и мне привелось прикинуться, государь, либеральной пчелой.

– А вам знаком некто Грибовский? – Александр спрашивал о том, чей недавний донос перечитывал чуть ли не ежедневно.

– Да, знаком. Правитель канцелярии Комитета о раненых и библиотекарь гвардейского штаба Гриб, называющий себя Грибовским, являлся членом Коренной Управы бывшего Союза Благоденствия. Я лично ничего предосудительного не могу сказать о нем, отмечу лишь, что человек он весьма умный, предприимчивый, деятельный, – отвечал Глинка, – но все, кто его знают ближе, считают человеком алчным, коварным, не заслуживающим ни доверия, ни уважения. По их отзывам, Гриб сварлив, завистлив, труслив, мстителен, на все и на всех, и часто беспричинно, озлоблен. Я слышал, что очернить человека, чем-либо не приглянувшегося ему, для Гриба не составляет никакого труда. Он был единодушно осужден и изгнан из заседаний Союза Благоденствия еще до того, как Союз самоликвидировался.

– Могли бы вы посоветовать мне определить Грибовского на какую-нибудь партикулярную должность?

– Не решаюсь, государь, хотя он и очень умен.

«Генерал Васильчиков болван. И Бенкендорф не лучше. Не нашли никого, кроме Грибовского, чтобы возглавить столь важное дело, как тайная военная полиция, – в мыслях пробирал царь командующего гвардейским корпусом и начальника гвардейского штаба. – Убежден, им доселе неведомо, кто же сей Грибовский – обидевшийся предатель или искренне раскаявшийся грешник».

Мысль Александра текла одновременно двумя ручьями: один – вслух, другой – в разговоре с самим собой.

– Не замечали ли вы, Федор Николаевич, что министр внутренних дел граф Кочубей покровительствовал Каразину?

– Во всяком случае, ваше величество, Каразин весьма часто обращался к Кочубею, как к земляку. Суть этих обращений в большей части до сих пор остается тайной, по крайней мере, для графа Милорадовича и для меня.

«Кочубея надо отстранить, – сам с собой говорил Александр. – Васильчикова – тоже. Граф Алексей Андреевич весьма недоволен и дежурным генералом Закревским. Причина к неудовольствию основательна: под носом у этих нераспорядительных господ вспыхнул бунт,

который мог обратиться в пожар и охватить всю столицу. Аракчеев настоятельно советует Васильчикова заменить Уваровым. А заместо Закревского? Министра просвещения и духовных дел тоже надо менять... Изъять вредную книгу профессора Куницына «Теория естественного права». Сочинение Филарета – тоже... Министр просвещения – ватная кукла».

– Можете ли вы с уверенностью сказать мне, что ни в Петербурге, ни в Москве сейчас никаких тайных обществ не существует? Прежде всего обществ политических?

– Могу, государь! – без колебаний заверил Глинка.

– И в гвардии?

– И в гвардии, государь!

– И в армии?

– И в армии, ваше величество.

– И корешков не осталось?

– Никаких!

– А можете гарантировать, что впредь не появится нечто подобное Союзу Благоденствия?

– Долг, возложенный на меня вашим величеством, обязывает ответить положительно. Я считаю своей задачей не только обнаруживать оформившиеся тайные общества или союзы, но и предупреждать их зачатие, а для этого я должен наперечет знать всех, кто хоть в малейшей степени в мыслях своих склонен к участию в тайных обществах.

– Вы очень правильно понимаете свою задачу, – похвалил Александр Федора Глинку. – Так поступайте и впредь. Я до сих пор подозреваю журналистов Николая Греча и Фадея Булгарина в тайной сопричастности к неустройству в Семеновском полку.

– От того и от другого, как и от Каразина, государь, можно ожидать любой пакости. Оба они без чести и без совести и в выражении мыслей невоздержанны. Но мы их и на один час не выпускаем из-под пристального наблюдения.

– Если попадутся, то нечего с ними церемониться. И еще... Что-то за последний год здесь расшумелись два новых сочинителя: отставной Кондратий Рылеев и драгун Александр Бестужев. Приглядитесь к ним. Может быть, их тоже куда-нибудь подальше из столицы?

– Мое постоянное председательство, ваше величество, в Вольном обществе любителей российской словесности дает мне полную возможность наблюдать за Рылеевым и Александром Бестужевым. Оба они молоды, оба талантливы, оба добропорядочны и пылают безграничной любовью к вам, видя в вас достойного вашей великой бабки мудрого монарха. Достаточно заглянуть в восторженное стихотворение Рылеева, посвященное вам, ваше императорское величество, чтобы убедиться в благородности и дозволенности чувств и упований поэта. Осмелюсь прочесть вам его, государь.

Благотворить – героев цель.

Для сердца твоего не чужды

Права народов и земель

И их существенные нужды.

О, царь! Весь мир глядит на нас

И ждет иль рабства, иль свободы!

Лишь Александров может глас

От бурь и бед спасать народы...

Глинка по памяти прочитал почти все стихотворение, недавно окончательно отделанное Рылеевым. Александр выслушал чтеца с нескрываемым равнодушием, тягостным, как тоска.

– Видите, опять зачем-то поставлены рядом рабство и свобода, – после утомительного молчания заговорил печальный Александр. – Лучше бы нашим сочинителям обходиться без этих лишних слов. Спасибо Рылееву на его добрых чувствах ко мне. Но я не ищу похвал моим заслугам. Они мне в тягость. Лыстецов я различаю сразу. Рылеев – не лыстец, таким голосом, какой у него, лыстецы говорить боятся. Но ради бога, полковник, вы, как председатель Вольного общества любителей российской словесности, сделайте так, чтоб на собраниях и чтениях не говорилось од в мою честь, ни в стихах, ни в прозе. Мне стали

противны всякие восхваления. Все земное – недолговечно, призрачно, обманчиво, как туман, как дым. Восхваление власти или монарха стоит в непримиримом противоречии с законом нравственности и премудростью божественного писания. Если бы я царствовал в жестокие времена Петра I, то его страшный указ о вырывании ноздрей я дополнил бы одной существенной строкой: за ложный извет, равно как и за постыдную похвалу, лезть и пресмыкание низких и подлых раболепствующих душ перед государем и другими властями вырезать языки и отрубать пальцы правой руки, чтобы она впредь не могла уже взять льстивое перо.

Такое Глинка впервые услышал от Александра. Неприязнь самодержца к славословию была высказана с искренностью, не вызывающей сомнений. Глинка понимал: до отравления пресытившийся ядом единовластия царь изыскивает средства, которые хоть в малой степени притупили бы его душевную боль.

– В «Зеленой Книге» я не нашел ничего страшного, ничего противозаконного, больше того – я согласен с каждой ее строкой; цели, ясно начертанные в ней, прекрасны, – переключая книгу с места на место, говорил Александр. – Я вижу, умные, истинно добродетельные люди трудились над «Зеленой Книгой». Я готов золотыми буквами выписать и поставить на самом видном месте, чтобы прочитали все мои благомыслящие верноподданные, одну из замечательных страниц «Законоположения Союза Благоденствия» о том, что союз надеется на доброжелательство правительства, основываясь особенно на следующих изречениях наказа в бозе почившей государыни императрицы Екатерины Второя: «Если умы их не довольно приуготовлены к ним (законам), то возьмите на себя труд их приготовить, и вы тем уже много сделаете». И в другом месте: «Весьма дурная политика та, которая исправляет законами то, что должно исправлять нравами». Мудрые слова премудрой моей бабки. К ним прибавить нечего. Могу ли я препятствовать и таким целям Союза Благоденствия, как распространение между соотечественниками истинных правил нравственности и просвещения, чтобы споспешествовать правительству к возведению России на степень величия и благоденствия, к коим она самим творцом предназначена? – При этих словах Александр вытер повлажневшие глаза надушенным платком. – Мне порой становится больно от того, что такое благонамеренное общество перестало существовать. Кто писал устав Союза Благоденствия?

– Сведения самые противоречивые, ваше величество.

– Жаль...

От Глинки царю ничего нового узнать не удалось.

6

Решение под видом похода отбросить ненадежные гвардейские полки подальше от столицы полностью было одобрено Аракчеевым и уже исполнялось. Гвардейские дружины бесчисленными колоннами, растянувшись на десятки верст по колесным старинным трактам, продвигались в направлении Белой Руси и Литвы. Завершилось сколачивание нового Семеновского полка, о настроении солдат которого тайная военная полиция ежедневно доставляла дурные вести – будто в самом имени «Семеновский полк» навсегда остался его мятежный дух. Молва всенародная о пострадавших семеновцах уже успела превратиться в славу и стать силой, перед которой беспомощны и новые беспощадные командиры, и усердие тайных доносчиков, и гнев самого царя. Уже носились по столице слухи о том, что собранные под знаки Семеновского полка солдаты обещают повторить вызов своих предшественников.

Царю все чаще приходила мысль – не истребить ли самое название Семеновского полка, вместо старого придумать новое, чтобы это слово не произносилось больше. Но Аракчеев не советовал делать этого, находя, что такой шаг породит по всей гвардии неудовольствие и сделает славу Семеновского полка еще более зажигательной.

После того как Александр в его дворцовом кабинете вдвоем с Аракчеевым в порядке предварительном ознакомились с поновленным докладом аудиториата о производстве военных судов над нижними чинами и над бывшим командиром Старо-Семеновского полка Шварцем, к царю пригласили начальника Главного штаба Волконского.

– Не такого урожая ожидал я от военного суда, – выразил огорчение царь. – Все следы успела замести ничтожная горстка офицеров-возмутителей. Следовательно, главные виновники до сих пор остаются не только не наказанными, но и не арестованными. Отыгрались на рядовых. И это, князь, крайне прискорбно...

Волконский тяжело вздохнул, дав понять, что разделяет огорчение самодержца. Он с интересом ждал, что же скажет Александр о Шварце, для которого суд под председательством генерала Алексея Орлова определил наказанием смертную казнь.

Шварца начальник Главного штаба после окончательного крушения Старо-Семеновского полка возненавидел еще лютей, нежели до этого, как и солдаты и офицеры бывшего Семеновского полка, но считал благоразумным держать свою ненависть под спудом.

– А Шварца суд напрасно обидел, – наконец сказал Александр. – Приговорил к казни только за то, что он несообразно выбрал время для учений и якобы оказал нерешимость лично принять должные меры для прекращения неустройства в полку. Орлов перестарался. За столь мизерные проступки нельзя лишить живота.

– Ваше величество, вся столица выражает ликование по поводу такого приговора Шварцу, – решил прямодушно высказаться Волконский. – Шварца предают проклятьям буквально все – и знать, и чернь.

– А вы знаете, князь, чернь еще более буйно станет ликовать, если завтра вас и меня потащут на виселицу, – зло сказал Александр, бросив на Волконского острый взгляд. – Чернь будет ликовать и неистово орать: «Любо нам! Любо!» Я не хочу, чтобы мой суд судил верных мне офицеров в угоду слепой черни. Полковника Шварца достаточно отставить от службы.

– С тем чтобы впредь никуда не определять? – нерешительно добавил Волконский.

– Можно и так. Впрочем, там видно будет.

– Значит, ваше величество, дело о семеновском неустройстве на сем заканчиваем...

– Нет, Петр Михайлович, по-моему, только по-серьезному начинаем.

Вернувшись из Новгорода после успешного усмирения поселенных войск, граф Аракчеев в золоченой дворцовой карете, запряженной шестериком, отправился в свое Грузино. Только там он мог по-настоящему отдохнуть. Вблизи обожаемой им экономки Настасьи Минкиной он обдумывал планы новостроек в своих владениях, перемещение и отстранение от службы генералов, командующих дивизиями и корпусами, министров и посланников, профессоров и митрополитов, обер-полицмейстеров и сенаторов. Здесь он строчил наметки будущих указов, распоряжений, повелений от высочайшего имени. Сидя в роскошном дворце в Грузине, он, словно ворон из гнезда на черной подсохшей высокой ели, окидывал взглядом всю беспредельную Россию с ее военными поселениями, напоминающими каторгу, с ее каторжными рудниками, похожие на военные поселения.

Ни к кому с такой охотой и готовностью не ездил Александр в гости, как к владельцу живописного Грузина. То, что никому и ни при каких обстоятельствах не простил бы самодержец, охотно прощалось некоронованному правителю страны.

Каждое лето с отъездом Аракчеева в родовое гнездо, Грузино становилось местом ежедневного паломничества министров, управляющих департаментами, генералов, членов Государственного совета, сенаторов, особ святейшего синода. Вереницами мчались по ровной, как пол, специально для аракчеевского поезда выглаженной дороге экипажи всех сортов.

И все – в Грузино... В Грузино... В Грузино... Не на поклонение – на подпись с бумагами: челобитьями, прошениями, постановлениями судов.

Перед чертогами в Грузине в иные дни съезжалось экипажей больше, нежели перед Зимним дворцом.

Сановные тузы, вельможи-сibarиты, недоступные начальники, воротилы судов и разных палат, забыв спесь и капризы, в Грузине поворачивались, как встрепанные, бледнели от одного взгляда деловитого Аракчеева. Одни выскакивали от него такие легкие и радостные, будто их несло по белой мраморной лестнице на невидимых крыльях, другие после аудиенции еле волокли по ступеням отяжелевшие, словно чугуны, ноги, безмолвные,

подавленные, чувствующие себя бесповоротно уничтоженными одним презрительным взглядом и негромко сказанным сквозь зубы словом.

Смелому, сильному Милорадовичу и то не всегда удавалось отвертеться от таких поездок. Вдоволь набравшись у себя в канцелярии, он брал с собой Глинку и скакал в Грузино, да так лихо, что иной раз оставлял позади экипажи великих князей и княгинь, тоже ехавших к милостивцу.

И только дежурный генерал Закревский, на диво всему сановному Петербургу, вдруг взбунтовался и наотрез отказался выполнить поручение начальника Главного штаба Волконского – отвезти Аракчееву в Грузино запечатанный пакет с докладом аудиториата по Семеновскому делу. Волконский нажаловался царю о непослушании дежурного генерала, везти пакет пришлось самому – не пошлешь какого-нибудь адъютанта или вестового к такой особе.

И в Грузине свой доклад Волконский начал с жалобы на Закревского.

– Ну бог с ним, – выслушав, незлобиво заметил Аракчеев и начал большим ногтем, прочным, как сталь, сковыривать черные сургучные печати с пакета.

В тот же день в Грузино приехал развлечься сам Александр, и заодно вместе с Аракчеевым окончательно решить судьбу семеновцев.

Вдвоем они, сидя на застекленной террасе, рылись в бумагах. Из-за аудиторской малограмотности да еще из-за спешки, с какой, по приказанию царя, закручивали следствие и суд, писаря и их начальники не успели привести в должный порядок бумаги. Александр запутался в них. Запутался и граф Аракчеев.

– Обер-аудитор Беляев настоящая скотина и лентяй! – бранился недовольный граф, любивший содержать бумаги, как солдат, – в строю. – Этого аудитора самого надо прогнать раз двадцать через тысячу шпицрутенгов.

Александр грустил от того, что так и не удалось следователям и судьям уличить хотя бы одного офицера в подстрекательстве к мятежу; не удалось найти никаких улик и против бывшего, ныне якобы распавшегося Союза Благоденствия; не удалось даже уличить столь сильно подозреваемого вольнодумца и либерала Николая Греча.

В наказании же рядовых Александр не находил ни полного для себя удовлетворения, ни надежного успокоения. Строчки из письма князя Ивана Щербатова, бывшего командира государевой роты, так несмыслаемо отпечатались в памяти царя, что он никак не мог их позабыть: «...нашему брату не нужно было отставать в благородной решимости от сил необыкновенно расположенных, хотя некоторым образом преступных людей». В словах вчерашнего гвардейского офицера царю слышался робеспьеровский мятежный призыв. Настроение явно в пользу бунтарей, и решимость Щербатова стать в ряды возмущившихся не была результатом минутного безотчетного порыва. Он это сказал не в состоянии запальчивости, не в пылу стихийно вспыхнувшего жаркого спора. Он обдумал свои слова в тишине отцовского крова, находясь в домовом отпуску.

Это только то небольшое, что попало в руки царю, а сколько, вероятно, уличительных бумаг успели сжечь и припрятать преступники, пока неразворотливые генералы изобретали меры пресечения неустройства.

Наконец-то дотошливому деловитому Аракчееву удалось разобраться в списках осужденных.

Списков этих было девять, и по ним разверстаны фамилии более чем девятисот солдат и унтер-офицеров.

Списки лежали перед глазами смутного царя, которому наскучило это занятие, потому что требовало каких-то умственных усилий.

Вялость, расслабленность Александра никогда не приводила в замешательство Аракчеева. Никакая самая внезапная перемена в настроении властителя не могла застать врасплох всегда собранного, делового, не знающего в работе усталости царского любимца. При любой погоде он знал, что ему делать, в какой очередности, знал, как говорить с царем.

Чтобы подстроиться в масть Александру, Аракчеев также начал вздыхать. При этом он не забывал, что вздохи вздохами, а дело делом.

Сначала разложил перед царем списки приговоренных военным судом к смертной казни и, ни словом не обмолвившись о мнении непреклонного генерал-аудитора Булычева в защиту семеновцев, деловито пояснил:

– Вот, батюшка, Лексанта Павлыча, полный поименный перечень самых закоренелых непокорливцев, означенных к повешению. – И Аракчеев красным карандашом, словно живой кровью, крупно написал итоговую трехзначную цифру. – На этот раз суд недурно выполнил высочайшую волю, поступив по всей строгости закона. Ничего другого возмутители и не заслуживают. А столбов, батюшка, хватит...

Царь загляделся на крупную трехзначную цифру и замолк надолго. Затем он обратил рассеянный взгляд к небу. Все это время молчал и Аракчеев, лишь порой издавал глубокий вздох да поправлял на багрово-фиолетовом носу складные в черепаховой оправе очки, без которых он уже не мог читать и писать.

– Все-таки Левашев отменный ускоритель, молодец, – нарушил молчание Аракчеев.

– Молодец-то он молодец, да не очень... – заговорил царь. – Приговор, быть может, и хорош, но дурно то, что судьи не учли общего настроения в гвардии. А что после такого крепкого ускорения станет говорить и писать обо мне Европа? – И опять молчание. Царь колебался в поисках окончательного решения. – Нет, Алексей Андреевич, все ж таки придется ограничиться шпицрутенами, нужна какая-то уступка салонным либералам... А кому и сколько шпицрутен – сейчас с божьей помощью мы с тобой определим...

– Давай, давай, батюшка, и я на шпицрутены согласен... Так-то помиловательнее и в то же время в согласии с законом и заповедью сына божия, – охотно согласился Аракчеев.

Сидя рядом с царем о правую руку, он начал от имени Александра составлять именное повеление начальнику Главного штаба.

«Рассмотрев с должным вниманием производство военных судов над нижними чинами, бывшими в лейб-гвардии Семеновском полку, и над полковым командиром оного полковником Шварцем, нахожу...»

Аракчеев писал, размышляя вслух. Александр одобрительно покачивал головой, приветствуя каждое аракеевское слово, которое с этой минуты становилось непреложным законом.

Аракчеев рассортировывал по разрядам весь 1-й батальон, исходя из степени виновности подсудимых. Первыми он поставил списки с зачинщиками неповиновения. Выделил в особый список солдат – участников явного возмущения против начальства. Едва сумел уместить в четыре длинных списка солдат, которых нашел равномерно содействовавшими в неповиновении, но с меньшим умыслом. В три списка включил тех солдат, которые, по его усмотрению, не сумели воспротивиться силою пагубному действию застрельщиков смятения. Особое место в перечне лиц, подлежащих примерному наказанию, он уделил рядовому Сергею Торохову, найдя его виновным в дерзком ослушании против дежурного генерала в день мятежа. Наконец, добрался до полковника Шварца и явно в угоду Александру и к нескрываемому собственному удовольствию нашел своего протеже виновным только в несообразном выборе времени для учений и в нерешимости лично принять строгие меры для прекращения неповиновения в возмущившемся полку.

Александр не переставал одобрительно кивать головой после каждого слова наперсника, потом обнял его за плечи и, в приливе чрезмерной признательности за усердность, поцеловал в седеющий впалый висок.

– Дорогой друг и брат мой, граф Алексей Андреевич, ты давно знаешь мою дружбу к тебе. Ты выше всякой дружбы. Я не знаю, чем и как благодарить тебя. Когда ты рядом со мною, мне легче, я не испытываю мук и терзаний, которые одолевают меня постоянно. Ты надолго не покидай меня. Никто не умеет разгадать мои желания, как умеешь ты. Я тебе верю. Только тебе одному. Никому больше. Я вручил тебе бланки с моей подписью. Не побоюсь, если надо будет, доверить и корону отцов моих. Ты один такой на всем свете. Скажи, чем мне еще тебя наградить?

– Ваше величество, вы уже наградили меня выше всех других, проявив доверие и любовь ко мне. Выше этой награды нет и быть не может, – с чувством отвечал растроганный граф.

– Ну, пиши.

Аракчеев от имени Александра продолжал:

– «Желая уменьшить елико возможно число наказуемых, обратя должную строгость законов единственно на виновнейших, повелеваю...»

– Семеновский полк, Алексей Андреевич, научил меня многому, – перебил графа Александр. – До событий в полку я порой чувствовал себя как бы расколотым лагарповским клином на две половины. Больше таким расколотым я оставаться не хочу, как в делах государственных, так и в европейских. Только теперь я познал всю опасность быть столкнутым в бездну презренной черню, падкой на гнусные обманы всяких вольнодумцев. Отныне Европа будет видеть во мне непоколебимого защитника царей и королей. К ошибкам моей молодости, к замыслам первых лет царствования возврата не будет. Ты многому полезному научил меня, бесценный друг мой Алексей Андреевич.

Аракчеев, положив перо, поднялся и припал тонкими холодными губами к пухлой, как у женщины, руке царя.

– Пиши, граф, кого куда. Как напишешь, так и будет.

– «...повелеваю: поименованных в перечне пятом рядовых и нижних чинов, наравне с нижними чинами 2-го и 3-го баталионов отправить в армейские полки, составляющие 3-й корпус. Означенных в списке четвертом распределить по полкам Кавказского корпуса. Перечисленных в списке третьем, как более виновных, отослать в полки и баталионы Сибирского корпуса. Означенных в списке втором направить в полки и баталионы Оренбургского корпуса...»

Ни одной поправки, ни одного замечания не сделал Александр. Слово Аракчеева становилось и его словом, желание Аракчеева – и его желанием, жестокость Аракчеева – и его жестокостью. Здесь решалась судьба всего лишь сотен людей. Перо же Аракчеева привыкло с такой же страшной легкостью одним росчерком решать судьбу миллионов русских и инородцев, судьбу целых уездов, целых губерний, целых народностей.

– Покрепче, крепче, Алексей Андреевич, – подбадривал Александр графа, шерстившего 1-й баталион.

– «В первом и шестом перечнях упомянутых рядовых, как самых зловерных зачинщиков, дабы остальным впредь было неповадно, в пример и поучение другим, – поскрипывая пером, шептал Аракчеев, – прогнать шпицрутенами сквозь баталион по четыре раза».

– Мало, граф. По шести раз, с отсылкой в рудники, – сделал первое несогласие Александр. – А рядового Заброцкого после наказания содержать в каземате, он еще потребуется мне.

Аракчеев охотно внес царскую поправку в приговор.

– И еще: назначенным к распределению по корпусам Сибирскому и Оренбургскому быть зрителями при сем наказании, – дополнил Александр.

– «Полковника Шварца...» – не торопясь, буква за буквой выводил граф, решивший на этот раз не спешить с определением меры наказания, чтобы не получилось вразрез с мнением самодержца.

Александр, будто угадав его затруднения, поспешно сказал:

– Шварца отставить от службы и впредь никуда не определять.

– Мудрое решение, ваше величество!

– Я избавляю его от строжайшего наказания во уважение прежней долговременной и усердной службы...

– ...а равно храбрости и отличия, оказанных им на поле сражения, – подстроился в лад и ритм царю Аракчеев, который о храбрости Шварца слышал лишь от самого Шварца.

– Капитана Кошкарлова, ныне Бородинского полка подполковника, командовавшего 1-ю ротой Семеновского полка, за то, что он не представил ни начальству, ни военному суду записку с именами зачинщиков, поданную ему фельдфебелем **в самый вечер происшествия** в его роте и тем сокрыл от следствия, суда и наказания настоящих виновников неповиновения, повелеваем предать военному суду. – Царь оживился – дело дошло до офицеров. – Полковника Вадковского, командовавшего тогда 1-м баталионом, за то, что он слабым и несообразным с долгом службы поведением дал усилиться беспорядку, высочайше

повелеваем предать военному суду. Не сомневаюсь, скоро список преданных военному суду пополнится. И пускай тогда устыдятся мои тайные сыщики – беспомощные дармоеды. Учредить над поименованными Кошкарковым и Вадковским в Витебске комиссию военного суда под председательством командира конного полка генерал-адъютанта Алексея Орлова. Представляется возможность на деле проверить усердность и преданность Орлова. В Витебск спешно послать для производства дела обер-аудитора Терлецкого...

От этого суда Александр ждал больших результатов, чем от суда над рядовыми. Льняная суровая солдатская нитка так и не довела мнительного самодержца до потайного клубка: теперь он пытался поймать золоченую – офицерскую и по ней дойти до коренной тайны. На очереди за Кошкарковым и Вадковским царем были поставлены Сергей Муравьев-Апостол, Дмитрий Ермолаев, Иван Щербатов и другие офицеры, связанные со службой в бывшем Семеновском полку.

Когда Аракчеев записал повеление, Александр напомнил:

– Не забудь всыпать комиссии.

– «Комиссии же военного суда, производившей столь небрежно и неумело дело о нижних чинах, сделать строгий выговор за беспорядочное и с законами несогласное производство дела...»

Рука Александра потянулась к перу, чтобы царской подписью скрепить все написанное Аракчеевым.

– Еще одну строчку, Лексантик Павлыч! Обер-аудитора Беляева за небрежное исполнение своей обязанности посадить в крепость на месяц, отставя от службы.

– Быть по сему, любезный граф.

Вписав распоряжение о Беляеве, Аракчеев старательно, почерком почти каллиграфическим вывел последнюю омертвелую и обязательную для таких кровоточащих бумаг строку: «На подлинном подписано собственною его императорского величества рукою».

Царь взял из его рук перо и черкнул небрежно:

Александр.

И теперь уже сам всевышний ничего бы не сумел изменить в написанном и утвержденном, а следовательно, и в горестной судьбе сотен людей.

– Ну, кажись, управились, граф? – спросил царь.

– Батюшка, Лексантик Павлыч, это только доброе начало, – с ухмылкой себе под нос бубнил Аракчеев. – А доброе начало – полдела откачалось. Еще вот что, батюшка: женка солдата Дурницына повсюду разносит скверный пасквиль на тебя, батюшка, будто ты сам просватал ее за солдата государевой роты...

– Никого я не просватывал. Это Потемкина затея...

– Самозванка, вроде княжны Таракановой. Я считаю, нельзя оставлять без присмотра и крепкого надзора. Надо определить в дом умалишенных. Или в более благоприятное для выздоровления место, где всегда есть полная тишина и спокойствие, надлежащий присмотр и уход – в крепость, в которой пребывают Пугачиха с Пугачевнами, – предлагал Аракчеев, и слова из его темно-синих, словно бескровных уст летели как из какого-то говорящего деревянного устройства, в котором нет ни живой крови, ни горячего сердца.

Царь задумался.

– А если в монастырь солдатку?

– Можно и в монастырь, батюшка, но только не в ближний, а в самый отдаленный, ну хоть в тот же Соловецкий, – шел на уступки Аракчеев. – Но ведь и среди монашек и настоятельниц трепушек полно, разнести вранье могут...

Царь опять погрузился в какие-то размышления. Аракчеев побряхтел, сделал разминку и продолжал свое:

– Все-таки лучше всего, на мой вкус, всех со свихнутым умом определять в Шлиссельбургскую. А из монастыря и удрать может, а для сумасшедшего улизнуть – полдела.

– Надо это сделать через Милорадовича!

– Ну его, этого бонжуру, сладкопевца, – махнул рукой Аракчеев.

– Тогда через министра внутренних дел графа Кочубея.

– Неповоротлив больно, он, прежде чем кого-нибудь отправить в каземат или в монастырь, семь пудов бумаги изведет да куфу чернил. Дозволь, батюшка, мне всем этим заняться самому, – напрашивался старый Аракчеев.

– Мне жалко твоего здоровья, дорогой друг, – сочувственно говорил Александр, – оно нужно для отечества, для престола! Ты – мой краеугольный камень, на котором держится слава моего царствования, и славу мою я всегда мысленно делю поровну между нами обоими, иначе я перестал бы считать себя христианином.

– Спасибо, батюшка, спасибо тебе! – прослезился Аракчеев и долго размазывал слезы ладонью по крупному лицу с впалыми ноздрями. – Спасибо, утешил, ровно ангел крыльями нежными обнял мою чувствительную душу. Об одном прошу творца денно и ночью, чтобы сподобил он меня счастья неизреченного на склоне лет моих положить свой живот за тебя.

Царь ростом был несколько выше Аракчеева. Он встал и преклонил с поределыми дымчатыми волосами голову Аракчеева, поцеловал в плешинку, величиной с медный елизаветинских времен пятак.

– А с солдатской женой решишь, как знаешь. Я любил Семеновский полк, но никогда не унижу своего величия до того, чтобы назваться сватом какого-то султанчика, оказавшегося застрельщиком неустройства, этого негодяя в шинели семеновца...

– Займусь, батюшка, займусь и самозванкой, дай только срок, – каким-то неживым голосом обещал Аракчеев.

7

Александр очень опасался нарушения спокойствия в столице во время предстоящей экзекуции.

Он еще раз через Аракчеева приказал Закревскому, Милорадовичу и Васильчикову заблаговременно взять все нужные меры.

Меры приняли: еще больше бросили на улицы полицейских, тайных шпионов, конных и пеших патрулей.

Экзекуция началась.

На Конной площади в Петербурге с утра и до вечера, доставляя из крепости десятками, секли тех, кто был приговорен к наказанию плетью.

Оцепленную караульными из 1-й гренадерской дивизии площадь заполнили простолюдины. Среди зевак в пестрой толпе находилось немало солдатских жен и детей. Посмотреть, исправно ли проводится наказание, приехал в дворцовой карете великий князь Михаил Павлович. При нем неотступно находился заносчивый и высокомерный генерал Васильчиков.

– Щадишь, мерзавец! – великий князь вырвал плетку у молоденького гренadera, впервые выступавшего в роли экзекутора, и сильно хлестнул его по лицу. – Сечь надо сплеча.

Зато великий князь хвалил тех, на чьей плетке видел кровь.

Гарнизон оставался как бы глух ко всему, что происходило на Конной площади. Солдатских выступлений и смятения толпы, чего так опасался Александр, не случилось.

Исполосованных плетью солдат, которые могли держаться на ногах, отгоняли под конвоем в крепость, а недвижимых несли на руках свои же товарищи.

Наказание приговоренных волею царя к шпицрутенам решено было произвести в 1-й гренадерской дивизии 2-м карабинерным полком, за рекою расположенным, с тем чтобы осужденных через город не водить. Такой план еще по зиме утвердил Александр.

За реку к назначенному месту экзекуции на заре стянули несколько полков 1-й гренадерской дивизии.

Вокруг Петербурга горели леса и торфяные болота. Сквозь дымовые завесы не в силах было пробиться солнце. Окрестности столицы тонули в удушливом чаду. Ветром заволакивало косяки дыма и на улицы самого города.

Под барабанную дробь пригнали из крепости приговоренных к наказанию.

Вдали от полков и экзекуторов сбилось в кучу начальство, приехавшее проследить за приведением приговора в исполнение.

Барабанный бой не смолкал. Но к экзекуции не приступали – ждали кого-то особенно важного.

Один за другим в шикарных экипажах подъехали великие князья Михаил и Николай. Оба они любили присутствовать на подобных зрелищах.

Подкатила дворцовая золоченая карета с форейторами. В ней находились старая царица Мария Федоровна и ее личный секретарь Хилков. С ними же приехала и младшая невестка, жена Николая, Александра Федоровна. За ними – целая кавалькада колясок с дворцовыми статс-дамами, фрейлинами и приживалками.

Ждали Милорадовича, но он не появлялся. Через нарочного стало известно, что генерал-губернатор внезапно занемог.

Аракчеев, только что вышедший из кареты, сказал Волконскому:

– Как примерно-показательная порка, так у нашего генерал-губернатора обязательно заболит или глаз, или ухо, или брюхо. Он строит из себя человеколюбца, а другим, думает, любо глядеть, как палками слой за слоем сбивают живую кожу с провинившихся. Я тоже бы с удовольствием играл в преферанс с молоденькими актерками по копейке серебром, да вот приходится проводить время за рекой...

Барабаны забили тревожно, оглушительно.

Рядовые Дурницын, Жикин, Хрулев, Торохов, Петров, Семенов, Грачев, Штанников, Заброцкий, разжалованный в рядовые без права выслуги бывший унтер-офицер Мягков, Хватов, выцветшие в казематах до мертвенной бледности, блюдя достоинство, внешне сохраняли спокойствие духа.

После темничного смрада свежий воздух опьянял узников. У Дурницына слегка кружилась голова и пошумливало в ушах.

Несчастный Амосов до самой последней минуты надеялся на начальство, что оно в благодарность за предательство избавит его от суда и жестокого телесного наказания. Но ожидания его не сбывались: под суд он пошел вместе с теми, кого предал, меру наказания по суду получил такую же, как и преданные им.

Солдаты 2-го Карабинерного полка длинной лентой в два ряда выстроились на просторном полковом плацу. У каждого в руках по шпичрутену.

К барабанщикам браво подошел вымуштрованный Николай Павлович и что-то наставительно сказал им.

Барабаны забили частую дробь надрывно и еще более оглушительно.

Ослабевшие руки оголенных до вертлюгов исхудалых семеновцев карабинеры-поводыри привязали к ружьям. Пройти шесть раз через этот страшный карабинерский коридор значило получить по голому телу по шести тысяч полновесных ударов. Тут не только куска живой кожи, но и живых костей едва ли останется.

Немало было в гвардейских полках случаев, когда во время экзекуции бойцы богатырского сложения отдавали богу душу после первой же тысячи ударов.

Вчерашние семеновцы, ныне в угоду их покровителю приравненные к злодеям, к страшным преступникам, понимали, что определенная им высочайшим повелением мера наказания равноценна смертной казни. И все они, кроме Амосова, без содрогания сердца ждали теперь уже неизбежной кровавой развязки.

У сокрушенного Амосова дрожали руки и ноги, когда хмурые и молчаливые, как на похоронах, карабинеры стаскивали с него совсем ветхий мундир, привязывали его руки к ружьям. Он находился едва ли не на грани умопомешательства. Донельзя бледный, с мертвенно синими губами и безумным взглядом, он вяло дергался и все невнятно что-то бормотал, бормотал. Потом заговорил яснее:

– За что же меня, братчики родимые? Скажите вашему начальнику: я не виноват... Я все выдал, что знал. Я всех назвал по потребности совести. Ради бога, помилуйте слабосильного, я не вынесу... Я не выживу... Отец-старик пропадет без меня с голоду. Я еще пригожусь государю... Ночью мне было откровение, дух святой сошел на меня и открыл мне еще одну тайну... Ведите меня прямо к государю, дайте упасть к ногам его...

Руки его между тем накрепко прикрутили ремнями к стволам двух ружей.

– Замолкни ты, шкура! – в сердцах прикрикнул Дурницын, стоявший впереди. – Твои нюни больше плетей и шомполов.

– Братцы, – обратился к карабинерам Заброцкий, – ради бога, заткните вы подлюке поганый рот кляпом из-под дегтярной бочки. Жаль, что не придушили мы его в каземате.

Обнаженный Дурницын, несмотря на страшную худобу, был осанист и статен – хоть картину пиши с него. Крепостные казематы не разрушили его завидного здоровья. Но перед шпицрутенами вряд ли оно устоит – это Дурницын понимал...

Вдоль строя, швыряя прахом из-под копыт, проскакал командир карабинерного полка, проверяя готовность людей.

На плацу на огненно-рыжем коне показался сам Александр в роскошном кивере с белым султаном, год назад изготовленным знаменитым Семеновского полка султанщиком Иваном Дурницыным. Царя сопровождали Волконский и еще несколько генерал-адъютантов. Он обворожительно улыбался и почтительно первым кланялся дамам, сидевшим в золоченых каретах и колясках.

– Начали! – раздалось звонкое приказание командира полка.

Барабаны били в сумасшедшем темпе. Тенористо заливались флейты. Надрывно выкрикивали трубы. Какой-то юный флейтщик плакал чистыми детскими слезами – он был сыном семеновца, в семилетнем возрасте его отторгли от семьи и сделали маленьким солдатом, – плакал, а сам играл.

Первым вели сквозь железный немилосердный строй широкоплечего волгаря Ивана Дурницына. Шел он, держа высоко голову, крепко стиснув крупные плотные зубы. Глядел прямо, беспрестанно пошевеливая шелковистым усом. Командир полка, сидя в седле, сопровождал его вдоль всего строя. Следил – не мажет ли кто.

Но мазать на глазах у командира и у всего царского семейства было весьма и весьма рискованно.

Царь, не слезая с огненно-рыжего жеребца, наблюдал издалека. Время от времени он подносил к глазам белый сильно надушенный платок, сначала протирал лорнет, а потом прикладывал к глазам.

Удар за ударом... Удар за ударом... Справа и слева... Слева и справа... По два удара в один взмах...

Сначала с каждым ударом ножевая боль сокрушительно нарастала во всем теле. Дурницын с ужасом подумал: «Пока шесть раз проведут, я шесть раз умру».

Потом боль стала как бы притупляться. Его истязали, а он припоминал весь долгий тяжкий солдатский путь от родного села до Конной площади Петербурга.

...А барабаны бьют и бьют, будто на празднестве каких-то человекообразных дьяволов. Шпицрутены и плети с обеих сторон жалят, прокусывают до костей выносливую солдатскую кожу. Вся спина и плечи изжалены, искусаны до крови, а провели сквозь строй всего лишь один раз... Впереди еще пять таких страшных путешествий.

От ударов звенит и гудит в ушах, отдается нестерпимой ломотой в затылке и вертлюгах, будто рвутся мышцы, лопаются сосуды.

Амосов уже не в силах держаться на расслабленных, испорченных застарелым ревматизмом ногах; его волокут на ружьях татарин и чуваш. Но он не перестает жалобно скулить и выпрашивать милосердия.

– Православные, сжальтесь, я не виноват... Я не зачинщик... Самим государем мне обещана милость через господина следователя.

Обнаженный до поясницы погрозневший Дурницын, не выдержав душераздирающих воплей Амосова, вдруг останавливается и, сделав полоборота головой, кричит яростно:

– Замолкни же! – и к карабинерным солдатам: – Заместо его дайте мне двойную долю! Или же сразу прикончите этого недоноска!

Дурница резким рывком увлекают поводыри. А впереди наказуемых по всему строю от пары к паре передается весть о том, что самый нестойкий из приговоренных, последний по счету, виновен в страданиях товарищей – он предал всех.

Немилосердные удары падают на спину Амосову. Карабинеры лупят его без сожаления. Стоны и мольбы о помиловании ожесточают даже самых жалостливых. И те из сострадательных, что наловчились делать зверский взмах, но легкий удар, не милуют Амосова. Ему достается больше, чем остальным.

Три раза прошел Амосов сквозь строй, еле держась на ногах. В начале четвертой проводки он упал, и его поволокли на ружьях. Рассудок его окончательно помутился, и он начал кричать несуслазное:

– Ангел медный падает! Падает... Царь у меня невесту отбил... Царица Елизавета бунт подняла... Господи, прими душу мою... Братцы, простите меня! Братцы! Слышишь, царь, обманщик ты! Через твой обманный посул душа моя в ад пойдет... Братцы, бейте меня... Нещадно бейте за грех мой незамолимый! Больше жить не хочу...

Некоторое время он глухо стонал, затем умолк. Амосов лишился памяти, но и беспамятство не отвело от него назначенного количества шпицрутенгов. От битья у него выпали внутренности.

Когда Амосова положили на землю и руки его отвязали от ружей, он не дышал. Он умер, не осилив пятого провода, и последние две тысячи с лишним шпицрутенгов достались бездыханному трупу.

Шесть раз без остановки прогнали Дурницына сквозь строй, и, когда его отвели в сторону и отвязали руки от ружей, исполосованное тело его продолжало конвульсивно вздрагивать, будто на обезображенную, превращенную в одну сплошную болячку спину все еще сыпались удары.

Не у всех наказанных хватило сил дойти из-за реки до лазарета при Охтенском пороховом заводе. Ослабших, обескровленных пришлось положить на подводы.

Дурницын от подводы отказался.

Страшно было смотреть на его исполосованную до костей спину, но еще страшнее смотреть ему в налившиеся кровью глаза.

Горевшие леса и торфяные болота кадильным дымом окуривали столицу. Дышать становилось трудно. Гарью, смрадом были полны улицы.

Еще один из наказанных в тот же день сошел с ума: он то буйствовал на подводе, то истерично рыдал, то лаял по-собачьи.

Карабинерный полк высочайшим повелением за усердную работу получил по чарке водки. Ночью двое новобранцев дезертировали из полка, а один в ту же ночь, зарезав ротного, повесился на конюшне.

В конце лета 1-й батальон удаляли из Петербурга со всеми предосторожностями. Из крепости, по указанию царя, выводили униженных семеновцев десятками и под покровом темноты гнали через Петербургскую и Выборгскую сторону на Охту, переправляли через Неву у Рыбачей, отсюда вели в село Славянку, затем через Гатчину по назначенному маршруту. Нищий скарб солдатский заранее вывозили на третий переход от Петербурга. Царь ни за что не хотел, чтобы хоть один старо-семеновец засветло и свободно в последний раз прошел по столице.

Десятки отправлялись с интервалами в несколько дней, с тем, чтобы по пути следования не сбились в одну ватагу. Герои Бородина, Красного, Можайска, Кульма, Лейпцига брели по бездорожью, подобно французам, которых они девять лет назад выдворили из России. Семеновский доблестный полк, названный лучшими русскими поэтами прекрасным полком, усилиями многих храбрейших русских офицеров превращенный в рассадник идей вольнолюбия, человеколюбия и гражданственности, перестал существовать.

Брагину, выскочившему из фельдфебелей прямо в поручики, приказано было выехать из Петербурга к месту нового назначения в один из армейских полков.

А между тем из крепости каждую ночь выводили по десятку семеновцев и под крепким казачьим караулом гнали по маршруту, указанному царем.

С моря дул сильный ветер. Огромный медный ангел на шпиге Петропавловской крепости тоскливо поскрипывал, словно жаловался безучастному равнодушному серому небу на свое одиночество.

Луша остановилась в нескольких шагах от ворот крепости. При виде накренившегося ангела ее охватил смутный безотчетный страх, ей вдруг показалось, что медная громада с крыльями падает прямо на нее. Она перекрестилась и поспешно вошла в ворота.

С холщовым мешочком в руке Луша робко вступила в грязную тесную комнату с зарешеченными окнами. Эта каморка при комендатуре служила местом свиданий заключенных с родственниками. Пол был дочерна затоптан. Потолок и стены выглядели чумазыми. Вдоль стены стояла колченогая деревянная скамья.

У двери дежурил унылый солдат с ружьем. Глаза его казались какими-то неживыми, а матового, неприятного цвета лицо было изрешечено, словно крупной дробью, частыми и глубокими оспинами. Луша сказала солдату, кто она и зачем пришла.

Вскоре заспанный караульный в ветхой выцветшей шинели ввел исхудалого Дурницына, недавно покинувшего лазаретную койку. Большая густая, отросшая в заключении борода изменила его облик, но взгляд остался все тем же прежним – соколиным.

Глаза Луши заволокло вдруг подступившими слезами, и потому узник показался ей как бы сотканным из тумана.

– Ну, вот, бог привел, и свиделись на этом свете, дорогая моя Лукерья, – сдержанно и как будто без радости первым заговорил он и положил горячую руку на ее покорно склоненную голову. – На этот раз и в нашем полку оправдалась пословица: веселое горе – солдатская жизнь.

От этих спокойно сказанных мужем слов у Луши камень лег на сердце. Она почувствовала в них вступление к чему-то еще более страшному.

– Я собрала кое-что тебе с собой. Говорят, дорога будет дальняя... Вот белье... А это шарф и варежки...

– Спасибо тебе...

– Дозволят ли нам, солдаткам, следовать за вами, за мужьями своими, в дальние гарнизоны? Всяких страхов мы наслышались... После смуты в полку полиции приказано не выдавать нам паспортов и не разрешать временное или постоянное жительство в столице. На семейных глядя, на их мучения, я совсем извелась. Неужели откажут за своими мужьями увязаться?

– Об этом может знать только его величество, нам же досель ничего неизвестно, – задумчивей стал Дурницын. – А ты что одумала?

– Идти с тобой...

– Такую-то даль?

– Да хоть на самый край света, Иван Потапыч, друг мой сердечный, муж мой любезный...

И Луша приникла щекой к его плечу. Тяжко сделалось ему от ее непритворной готовности шагать за ним неизвестно куда.

– В каком дальнем гарнизоне ни станешь служить, я при тебе буду жить, и ропота моего ты никогда не услышишь.

– Какая уж нам теперь служба... Теперь служи хоть сто лет, а не выслужишь и ста реп, – сурово предупреждал он.

– Не на один день и не на один год я с тобой обручалась.

– Подумай, Лукерьюшка, подумай, прежде чем отважиться на такое. Конечно, для меня и то очень дорого, что ты и в горе не изменилась, не испортилась. Не у всякой хватит ума и совести...

– С тобой пойду! – решительно сказала она.

– А нужно ли? У нас не семеро по лавкам. Стоит ли губить свои молодые годы из-за меня, как есть каторжника в солдатской шинели? – продолжал вразумлять он. – Теперь нам, как ни старайся по службе, счастья не знаять. Надежду на лучшее – и ту милостивый царь у нас отнял. Хоть казнь телесную отменил, но, можно сказать, легкую казнь короткую заменил казнью самой страшной, казнью мучительной, длиной во всю жизнь. – И в глазах Дурницына будто запылали синие молнии. – Ведь никакого просвета, никакой самой малейшей отдушины не оставил нам наш благословенный. Хоть и грех наш был с орех, зато сделали ядро с ведро, через это и страдаем. Сравнили службу с пожизненной каторгой: в выслуге теперь нам отказано, об отставке нечего и думать, домового отпуска навечно лишены,

родные края велют выбросить из памяти. Приказано служить, пока не вытянешь ноги. До гробовой доски обречены тянуть солдатскую лямку. Но я не жалуюсь... А что сердце у семеновцев и поныне кипит, о том хоть сейчас готов сказать и самому царю.

Караульный оказался разумным и порядочным старым солдатом: он слышал, о чем говорит муж с женой, но не мешал беседе, а наоборот, делал вид, что вовсе не интересуется их разговором.

Старалась Луша успокоить разволновавшегося Дурницына, но Дурницын не смирялся и не хотел приглушать своих резких суждений о следователях, судьях, о малодушных отступниках Амосове и Брагине, о генералах и о самом «плешивом лукавце» царе.

– Пускай они помнят и не забывают, все те, кто лишил нас добытой солдатской кровью чести и славы, – резал Дурницын, – не вся еще песенка спета. Мы хоть и ошельмованы, но остаемся живы, а живой живое думает. А мы, семеновцы, слава богу, думать научились. Пусть не забывают: побежит вода с гор, так и речки станут мутны, мутнее Фонтанки... Бог уста лживых постыжает, рано или поздно постыжены будут наши гонители. Всяк от своих дел осудится и оправдается. Нас, придет день, вся Россия оправдает, а их осудит! Так вся наша бывшая государева рота думает и думать не перестанет! Главный гонитель решил из солдатской службы сделать для нас ад. Но он забыл вот о чем: и в аду обживешься, так ничего... А русский солдат и не такие преисподнии обживал, да еще и песенки певал...

И Луша одобрительно улыбнулась.

– Обживемся, Потапыч, непременно обживемся и тужить по Семеновским казармам не будем. Забудем их...

– Нет, Лукерья, мне Семеновских наших казарм никогда не забыть, я знавал в них не только плохое, но и хорошее, – возразил он наставительно. – Не то горько, что привилегий гвардейских лишили нас, хотя и это жалко, лишняя копейка солдату не мешает... Другая досада мое сердце на части разрывает: оказался я вроде обманщика перед дорогими мне и честными людьми.

– Да не может этого быть, Иван Потапыч.

– Получилось, вроде я, вчерашний гвардии Старо-Семеновского полка ветеран и кавалер ордена военного отличия, каждый год бывающий у причастия и святых тайн, обманул тебя, Лукерья, и твоих почтенных родителей... Я ведь не забыл моих слов и обещаний... Надеялся на выслугу и скорое возвращение в родные места или в какой-нибудь другой город, а теперь та моя и твоя надежда серым дымом под небеса улетучилась. Но я не обманщик, у меня и в мыслях не было обманных затей... Они нас обманули... А кто – сама догадайся... Вот почему ищу у тебя искупления за невольный обман. – У Дурницына перехватило дыхание.

Он вдруг опустился на колени перед растерянной, изумленной женой и стал умолять ее:

– Прости меня и не попомни зла... Прости за то, что исковеркал всю твою жизнь. Прости за то, ежели в чем перед тобой виноват. Не хочу, Лукерья, чтобы жизнь твоя молодая засохла вместе с моей, обреченной на увядание, отныне даю тебе полную волю и доброхотом, желая тебе добра, снимаю с твоей души и совести святые узы обручальные. Отныне вольная воля тебе: хочешь – оставайся в городе, хочешь – возвращайся на родную сторону. Хочешь – одинокой сиди, хочешь – замуж иди, если найдешь достойного... Выходи за Андрона Добросотова, если он еще холост, неженат. И родителей своих при встрече проси, чтобы и они меня простили. Уж так нескладно в моей планиде беспокойной получилось. Только ведай на всю жизнь, Лукерья, я и в эту нашу прощальную минуту ни в чем не раскаиваюсь, потому что решил пожить для других, зная, что и другие проживут для меня...

Караульный прервал их разговор:

– Пора в камору!

– Господи, прости мне все мои прегрешения, – прошептала Луша и шагнула к чугунной решетке. – Не хочу я на белом свете жить...

Она перекрестилась. Внизу, в гранитных берегах, бурлила серая страшная вода.

И в этот миг чья-то рука упала на ее плечо. Луша испуганно оглянулась и увидела перед собой незнакомую женщину в темно-зеленом шерстяном рединготе и белой бархатной шляпе, подбитой розовым крепом.

– Сестра во Христе, милая моя, поедем со мной, – душевно заговорила незнакомка.

Это была известная в ту пору искательница «истинной веры» – Татаринова. Она посадила Лушу рядом с собой в свою карету и повезла к себе на квартиру в Михайловский замок. Эта квартира с некоторых пор сделалась прибежищем для всех, ищущих «истинную веру». В Петербурге много говорилось о бывшей лютеранке Татариновой, вступившей в спасительное лоно православия.

В столовой, похожей на монастырскую трапезную, за длинным столом, накрытым льняными ярославскими скатертями, Луша увидела обедающих нищих, старцев и детей. Их было здесь несколько десятков.

– Кушайте, кушайте, братья и сестры возлюбленные, – поклоном на поклон отвечала Татаринова.

Она усадила Лушу за тот же стол, а сама, в помощь матери и двум кухаркам, надев передник, стала прислуживать нищим.

– Собственной персоной жалует их величество! – доложил лакей.

Обедающие забеспокоились. Но хозяйка сказала им:

– Не тревожьтесь, и государю рядом с вами найдется местечко.

У Луши застыла рука со сложенным троеперстием...

На пороге трапезной появился смиренный царь с треуголкой в руке. Его сопровождали Милорадович и князь Голицын. Государь смутным взглядом обвел плотно сидящих за столом и, наведя лорнет, увидел среди нищих и нищих давно знакомые ему лица: девицу Пипер, жившую в доме Загряжской и игравшую здесь роль Пифии, придворного музыканта Федорова, коллежского асессора Пилецкого, некоего Франка – друга Татариновой. И других. Помолвившись на иконы и поклонившись нищим, царь сел за стол.

Он съел небольшой кусочек ржаного хлеба и заговорил о божественном писании. На память читал псалмы, изречения библейских пророков. И чем больше говорил, тем жарче возгорался. Но вот он кончил. Заговорил словоохотливый проповедник Пилецкий. Александр не прерывал его, но почему-то хмурился. Не дослушав Пилецкого, насупленный царь встал, поклонился и направился к выходу.

И тут Луша бросилась перед ним на колени.

– Государь, благословенный и праведный, помилуй моего мужа – твоего семеновского солдата! Верни мне мое счастье...

– Кто ты? Как тебя звать? – остановившись, спросил Александр.

– Лукерьей. Жена твоего первого султанщика гвардии рядового Ивана Дурницына... Высочайшая супруга ваша обласкала меня... Она вошла в мое горе... Спаси, государь... солдаты не виновны, виновны тайные подмутчики...

– Кто же они, эти тайные подмутчики?

– Государь премилостивый, я не знаю их... Только слышала, что страдают твои солдаты через фельдфебеля Брагина... Государь, все мы денно и ночью за тебя молимся и молиться не устанем.

– Встань, – вяло повелел Александр. – Знай сама и скажи другим, что я никому не позволю и единого волоса уронить с головы невинной.

Из Михайловского замка он вышел не в духе. В экипаже он почти всю дорогу молчал, изредка тяжело вздыхая.

– Вдова Татаринова с компанией превратила представленное ей жилище в пристанище сектантов, – вдруг сердито заговорил царь. – Эту секту надо удалить из Петербурга. Михайла Андреевич, поручаю это сделать вам и Глинке, – мотнул он головой в сторону Милорадовича. – А вы, князь, по своему ведомству должны поинтересоваться, каким путем солдатские жены Старо-Семеновского полка попадают в тенета сектантке Татариновой. Я только глубоко вник во все ее хитрости. А девица Пипер сумасшедшая, и следует озаботиться определением ее в дом умалишенных. Пускай полковник Глинка возьмет всех этих лиц под нечувствительное наблюдение. И ни на один час не выпускать из виду солдатских жен. Им в Петербурге делать больше нечего...

Милорадович и Голицын внимали повелениям. Удаление секты Татариновой из Петербурга не огорчало ни того, ни другого. Генерал-губернатор, покорно слушая царя, сожалел лишь об одном: почему император не приказывает изгнать из Петербурга вместе с этой сектой и неводержанного на язык острослова библейщика Лабзина, изрядно надоевшего всем со своим «Сионским Вестником», в который генерал-губернатору приходилось заглядывать по необходимости. Но вот несчастную молодую солдатскую жену Милорадовичу было жалко. И он в мыслях прикидывал, что бы еще потихоньку сделать для облегчения участи семеновок и вместе с этим не ввести во гнев царя.

9

Вокруг Петербурга с самого лета продолжали гореть леса и болота. Дым расстилался по земле в окрестностях столицы, вливался в городские улицы, наполнял дворцы и лачуги, храмы и казармы. В иные дни дыму набиралось столько, что в нем, как в густом тумане, терялись очертания зданий.

Дымным утром Луша, собрав в заплечную суму оставшиеся пожитки, сообщая с другими солдатками и унтер-офицерскими женами вышла за петербургскую заставу, чтобы больше уж никогда не возвратиться в этот большой и страшный город. Она решилась идти в дальний гарнизон, куда недавно был сослан ее муж вместе с другими семеновцами.

Чем дальше отходили они от столицы, тем меньше оставалось смрадного дыма и удушной гари в воздухе. Вот наконец перед их глазами блеснула голубизна небес, открылись взорам необъятные дали, поля и луга, редкие селения по холмам и взгорьям.

По бойкой Московской дороге туда и сюда ехали и шли незнакомые люди. При виде ясных небес, просветлевших просторов молодая солдатка вострепнулась, оживилась и впервые с тайным облегчением подумала о том, что самое страшное осталось позади, там, среди этого дымного озера, в котором затонули царские дворцы и чертоги. Она не стыдилась идти в толпе солдатских жен и оборванных солдатских детей, многие из которых были босы и голодны. Им предстояло преодолеть сотни верст. И каких верст... Жены и дети жили надеждой – снова соединиться со своими мужьями и отцами. И эта святая неистребимая надежда давала им силу и уверенность в том, что рано или поздно они найдут тех, кого ищут.

Взойдя на побуревший пригорок, Кристинья Мягкова, ведшая с собою трех малолетних детей, оглянулась в сторону покинутого великого города, размашисто трижды перекрестилась и проговорила без обиды и упрека:

– Прощевай, батюшка-Питер, не поминай нас лихом! Ты всей России хранитель, а не гонитель... Не ты нас выгнал... Скажи, батюшка-Питер, нашим гонителям: не бойся царского гонения, бойся царского гонителя. Пускай помнит гонитель наш: за царское согрешение бог всю землю казнит, за угодность милует.

Глядя на мать, трижды осенили грудь крестом и ее послушные дети.

Все солдатки вошли на этот взлобок и все покрестились на покинутый город, утонувший в белесом дымном разливе, поверх которого струился и переливался лиловый воздух, а в нем плыло много серебристого тенетника – признак близкого бабьего лета.

Последней с пригорка сошла Луша. Глаза ее были полны слез. Многодумная Кристинья, заботившаяся о молодой солдатке, как о своей дочери, взяла Лушу за руку, с ловкостью заправской цыганки положила ее ладонь на свою, будто собиралась гадать, и, повеселев, сказала:

– Смотри-ка, ногти-то у тебя цветут – к обнове, к близкой радостной встрече, к гостинцу и перемене жизни.

Луша удивленно посмотрела на свои ногти: они и на самом деле цвели.